

ТАЙНЫ

Век XVII

А. И. Антонов

ВЕЛИКИЙ
ГОСУДАРЬ

М. Н. Загоскин

ЮРИЙ
МИЛОСЛАВСКИЙ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

И

ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVII

А. И. Антонов

**ВЕЛИКИЙ
ГОСУДАРЬ**

М. Н. Загоскин

**ЮРИЙ
МИЛОСЛАВСКИЙ**
или Русские в 1612 году

Исторические романы



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р
А72

Составитель *Г. Кожевников*

А72 Антонов А. И. Великий государь: Исторический роман. Загоскин М. Н. Юрий Милославский: Исторический роман. — М.: ТЕРРА, 1995. — 560 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-300-00161-9

В книгу включены произведения, повествующие о событиях смутного времени в России начала XVII столетия. В новом романе современного русского писателя Александра Ильича Антонова «Великий государь» в центре повествования личность патриарха всея Руси Филарета, в миру боярина Федора Романова, отца Михаила — первого русского царя из рода Романовых. Это был не только крупный религиозный и государственный деятель, но и человек, проживший жизнь полную опасностей и приключений.

Известный роман русского писателя Михаила Николаевича Загоскина «Юрий Милославский» дает возможность читателю взглянуть на смутное время с точки зрения россиянина XIX века.

А 4702010000-210
А30(03)-95 — Без объявл.

ББК 84Р

ISBN 5-300-00161-9

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

А. И. Антонов

**ВЕЛИКИЙ
ГОСУДАРЬ**

Исторический роман

Глава первая

ОПАЛА

Они стояли друг против друга как бойцы, готовые сойтись в рукопашном бою. Да силы были неравными. Царь Борис Годунов, усохший за последние три года, во всем уступал богатырской стати первого боярина России, князя Федора Романова. Князь-боярин стоял перед государем, возвышаясь над ним почти на голову. Широкие плечи развернуты, грудь полна мощи, а руки, которые он упирал в бока, таили бойцовскую силу. И атласный пояс под руками, затянутый по бедрам, тоже был из тех, что повязывают бойцы перед схваткой.

Глядел Федор Никитич на Бориса Федоровича гордым и независимым взглядом темно-серых глаз, и голова его была высоко вскинута, отчего высокий лоб с крутыми надбровьями казался еще выше. И стоило Федору сделать одно движение руками, схватить Бориса за грудь, он легко был бы распластан на мраморных плитах малого тронного зала, где случилось сойтись государю Борису Годунову и боярину Федору Романову, в прежние юношеские годы неразлучным друзьям.

Ан не дано было сойтись князю с царем в честном бою, потому как в сей час Борис не хотел этого боя, да и сила была в руках у него большая, чем у Федора. И царю нужно было лишь сделать легкий жест рукой, как два могучих царских рынды-телохранителя схватили бы князя и скрутили ему руки.

И сошлись они в середине малой тронной залы только потому, что царь Борис в присутствии множества вельмож, кои стояли за его спиной, был намерен обвинить боярина Федора Романова в измене и покушении на его жизнь. И с этой целью он собрал в свой дворец многих именитых думных бояр, князей, думных дьяков и архиереев, толпившихся в глубоком молчании и ожидавших развязки этого поединка.

Впереди толпы стояли бояре-князья Шуйские, Василий и Дмитрий, именитый боярин князь Федор Мстиславский, царский дядя боярин Семен Годунов и думный дьяк Василий Щелкалов. А за их спиной, стараясь быть незамеченным, стоял ключник боярина Александра Романова, брата Федора, Бартенев второй, главный свидетель обвинения.

Несколько дней назад черные слуги Разбойного приказа, который возглавлял боярин Семен Годунов, по навету Бартенева налетели на московские палаты князей Романовых в Китай-городе на Варварке, учинили обыск и нашли мешок кореньев — отравное зелье — в каморе у князя Александра и по приказу Семена Годунова арестовали весь род Никитичей от мала до велика. В те же дни, как началось следствие, по всей Москве были схвачены все, кто по родству и свойству был близок к дому Романовых. Арестовали князей Салтыковых, Сицких, Черкасских, Шереметевых. Все они теперь сидели в кремлевских тюрьмах и казематах, которые восстановил Борис Годунов после смерти милосердного царя Федора.

Царь Борис Годунов не спешил выносить приговор Федору Романову и его брату Александру. Он знал, что за него это сделают суд и Боярская дума, а все утвердят архиереи и патриарх. Но царю нетерпелось унижить Федора Романова. Он жаждал увидеть, как спадет с лица недруга гордыня, как тот слезно будет молить о пощаде, о милосердии. «Да не дождешься ты моего милосердия. Многажды был тобою уязвлен, теперь получи долг сполна», — подумал царь Борис и спросил Федора:

— Зачем вы, Романовы, искали моей смерти? Зачем посягали на жизнь царя и помазанника Божия?!

— Господь Бог свидетель, мы не искали тебе порухи, государь, — ответил Федор.

— Как же не искали? Вон твой слуга, коего ты отдал брату, скажет, как было дело. — И царь повернулся к своему дяде. — Дядюшка Семен, спроси у Бартенева, чьей волей он привез из костромской вотчины отравное зелье, какого злого умысла для прятали коренья?

Бартенев не стал дожидаться, когда его переспросит об этом же боярин Семен, а вышел вперед и ответил царю:

— Государь-батюшка, дал мне наказ ехать в костромскую вотчину князь Александр Никитич и говорил: воля моя и брата Федора Никитича привезти тебе из села Домнино коренья. И я привез, а какие они — не ведал, потому как в мешке покоились.

Тут сказал свое слово боярин Семен Годунов:

— Ты говори все изначально. Как ты попал на подворье Романовых?

— Они искали верного человека. Я им и показался. Да обмишулились, потому как я, раб Божий, верный слуга государя-батюшки...

Князь Федор не слушал. Он знал, что все сказанное Бартеневым измышление и навет. Он знал также, что «пронры лукавый», как в душе называл Федор Бориса Годунова, пытался перехитрить себя. «Ведает же лукавый, что многие бояре лишь терпят его, — размышлял Федор, — и, чуя глухой ропот бояр, Бориска ищет от них защиту, дабы оградить себя от козней. О, лучшей защиты, чем опала, не найдешь. И хитрости Бориске не занимать. Он же плевицами опутал и тайным надзором высветил всех, кого боится. Он вовлек в сей надзор боярских холопов, и те доносят на своих господ. Он не случайно дал волю ушкуйникам и оборотням, выпустив их из тюрем. И теперь они шныряют-шастают по московским дворам, подслушивают, что говорят о царе и несут все Семену, или хватают хулителя, тащат в застенки. Достойно ли сие государя, — воскликнул в душе Федор, — когда он поощряет доносы и клевету — язвы, зараза которых поражает россиян. Все доносят друг на друга и сын выдает отца, жена — мужа, брат — брата, отец — сына. И сколько же россиян невинно попали в пытошные башни, скольких разорили до наготы, подвергли тайным казням и пыткам. Господи, ни при одном царе, помимо батюшки Грозного, подобного не бывало!» — горестно вздохнул Федор Романов и опустил гордую голову.

Он еще не знал свою участь, хотя и представлял горькой. А ежели бы ведал доподлинно, решил бы на самый крайний шаг, наказал бы гонителя своего рода и всех сродников лишением живота.

Голос Годунова отвлек Федора от печальных дум.

— Теперь ты слышал, в чем вина твоя и твоих братьев и всего родства и свойства, — спросил царь Борис. — И есть у тебя один путь: покаяться, рассказать своему государю правду. Ты же не ищешь себе ни правезь на дыбе, ни позора, ни Лобного места. И я сему не хочу тебя подвргать.

— Ты — государь, и воля твоя как закон от Бога. Да ищу я лишь справедливости. Зачем мне желать себе худа, потому как мне ведома твоя судьба и день, когда ты представишься. И сам ты сие ведаешь. Потому спрашиваю: зачем берешь еще один грех на душу и взял нас, Никитичей, и всех наших сродников под стражу, заточил в сидельни-

цы? Коль несешь правду, как помазанник Божий, вели повязать Бартенева-иуду, спроси его каленым железом, чью волю выполнял, вознося навет на Романовых. Тебе и скажет, что дядюшки твоего, боярина Семена, потому как Бартенев у него на службе.

— Сам хулу несешь на честного раба государева! — выкрикнул Семен Годунов.

— Помолчи, дядя, — строго заметил царь Борис. — Твое слово впереди. — Он был недоволен дядей: князь Федор сказал правду, а она не должна была высветиться. Да сказанного не вернешь, счел царь, и теперь оставалось одно: подминать под себя Романовых, пока ликом не ткнутся в грязь, потому Борис Годунов закусил удила. — Ты о чести помни, Федор. Твой батюшка Никита завещал нам вместе хранить и честь и дружбу. Но ты попрал и то и другое. Потому наша правда от Бога и справедливость — тоже. Коренья нашли в романовских каморах, и ключи от камор в ваших руках. Вот и ответите за все злочинские умыслы сполна. — И царь Борис отвернулся от князя Федора, сказал боярину Семену: — Отведи его на место пока, а там посмотрим. Как в пытошную вести — скажу.

Мужественный и стойкий Федор дрогнул. Он испугался не пытки, но унижения. Не было еще в древнем роду Захарьиных-Кошкиных-Романовых, начиная от славного выходца на московскую службу из «прусс» Андрея Кобылы, кого-либо, кто бы подвергался позорным пыткам. Ему же, старшему сыну боярина Никиты Романовича Захарьина-Кошкина, уготована дыба, каленое железо, может быть, в хомуте погонят на Красную площадь.

В сей миг горькие размышления князя Федора прервал хриплый голос боярина Семена Годунова:

— Эй, вы, — крикнул он стражам, — ведите его в земляную тюрьму. — И указал на Романова.

Дюжие мужики в охабнях, в бараньих шапках в мгновение ока заломили Федору руки, связали их сырмятиной и, накрутив концы ремня себе на руки, повели из дворца. Федор попытался сопротивляться, но стражи враз дернули ремни и они впилась в запястья, и показалось князю, что по рукам прошлись ножом.

Земляная тюрьма была огорожена дубовым частоколом. За ним зияли, как раны, глубокие ямы, перекрытые решетками. Романова привели к одной из них, освободили от ремней и столкнули вниз. Упал он удачно. Встал на ноги, посмотрел вверх: стражи закрыли решетку на замок и ушли. В этой яме — три на три аршина — он уже провел две

ночи, полные кошмара во сне и наяву. С вечера, лишь наступала темнота, из нор появлялись крысы — больше дюжины. И начиналась борьба. Твари прыгали на ноги, пытались добраться по одежде к лицу, кусали сквозь кафтан. Федор отбивался от них, сбрасывал с себя, топтал ногами, но тщетно. Они ловко избегали его сапог и снова нападали. Час за часом продолжалась борьба. Федору казалось, что он не выдержит этой схватки, упадет на землю и отдаст себя на растерзание тварям. Однако в полночь крысы вдруг прекращали нападать на Федора, скрывались в норах и больше не показывались. В первую ночь князь Федор попытался забить норы глиной и в оставшиеся часы ночи ему удалось подремать и отдохнуть. Днем стражи спустили в яму лестницу и увели князя на допыт. Когда же к вечеру его привели в тюрьму и спустили в яму, все повторилось. Твари вскрыли норы и снова набросились на князя Федора. Как он выстоял? От попытки понять это кружилась голова.

Что ожидало князя на этот раз? То ли третья кошмарная ночь в яме, то ли еще более жестокое испытание в пытошных башнях Кремля. Он ходил по яме из угла в угол — пять шагов в одну сторону, пять — обратно. Это помогало ему успокоиться и поразмышлять над всем тем, что случилось с ним и с его близкими, попытаться выбраться из безвыходного, казалось бы, положения.

Невольно размышления завели его в юношеские времена. Он увидел себя и Бориса Годунова вместе. Оба они стояли пред лицом боярина Никиты, отца Федора, и он читал им увещательный устав о клятвенном союзе дружбы. Им надлежало жить по законам этого устава и быть царствию помогателями.

Но вечной дружбе рода Романовых с домом Годуновых не дано было окрепнуть. Едва зародившись, она начала разрушаться. «Проныр лукавый» нарушил клятву, кою давал отцу Федора, предал дружбу, потому как цель, кою выбрал честолюбивый Борис, исключала участие в ее достижении кого-либо из Романовых.

Федор Романов вскоре узнал, о чем мечтал Борис Годунов и к чему стремился. Поначалу посмеялся над честолюбивым замыслом, а позже, когда царствовал сын Ивана Грозного Федор, князь Романов стал свидетелем того, как Борис примерял царскую корону.

Тут-то и взбунтовался Никитич, потому как усмотрел в действиях Годунова черные замыслы против рода Романовых. Как он мог мнить себя выше первых российских бояр, кои находились в близком родстве с царским домом,

были уважаемы и любимы москвитянами и законно занимали самые высокие посты в государстве!

Самого Федора Романова, доброго и ласкового князя, любознательного и образованного человека и щеголя ко всему, знала вся Москва. Он тоже был честолюбив. Но еще и тверд нравом, терпелив и не подвержен мшеломству. Потому после кончины отца Федору дали чин боярина и он занял достойное место в Боярской думе.

Вражда, уже открытая, вспыхнула между Федором Романовым и Борисом Годуновым вскоре же после таинственной гибели царевича Дмитрия. Тогда вся Москва обвиняла в смерти девятилетнего сына Ивана Грозного правителя Бориса Годунова. Говорили в народе, что это он торит себе дорогу к царскому трону. Потому и посягнул на жизнь малолетнего престолонаследника.

В отличие от многих других вельмож, приближенных к царскому дому, у Федора Романова было иное мнение о трагедии в Угличе. Он не отрицал вины Бориса Годунова в убийстве малолетнего отрока, но считал, что тем отроком был не царевич Дмитрий, а некто другой, из простолюдинов, купленный князьями Нагими. И имя того человека, который продал сына, называли — стрелец инвалид Матвеев, доведенный нуждой до отчаяния. Правда, поговаривали, что все случилось не без участия оружничьего Богдана Бельского. Он в ту пору рьяно бился с родом Годуновых и даже называл себя русским царем Борисовским, по названию города Борисова, который построил, будучи в опале от правителя Годунова.

Сказывали, что Дмитрий в те майские дни девяносто первого года был отправлен в северные монастыри. Там он провел одиннадцать лет, принял монашество и жил под именем инока Григория. Несколько лет он занимался переводом и перепиской греческих духовных книг и преуспел в благодатном деле.

Неожиданно шагавший по земляной яме Федор остановился. Его поразила мелькнувшая мысль о царевиче Дмитрии. А что, ежели боярину Семену стало ведомо, как он, Федор Романов, вызволил с помощью патриарха Иова изпод Каргополя переписчика книг Григория — истинного царевича Дмитрия — и спрятал его в Чудовом монастыре? И теперь, когда боярин Семен прикажет пытать его, Федора, не выдаст ли он Дмитрия? И Федора прошиб холодный пот.

Сколько тревог и волнений пережил он, пока Дмитрия доставили в Москву, посадили в Чудовом монастыре за переписку книг, как берегли его от зорких глаз шишей.

Тайно же инок Григорий приходил на подворье Романовых. И Федор вел долгие беседы с ним, все больше о прошлом и будущем. Там, впереди, они видели одно: Мономахов трон и его, Дмитрия, на том троне в царском венце.

И теперь, пребывая в земляной тюрьме, Федор понял, для чего понадобилось Борису тайно завезти на двор Романовых отравные коренья и оклеветать Никитичей. Это и дало повод взять под стражу весь род Романовых. А причина — страх потерять трон.

Конечно же, боярин Семен, который держал по всей России сотни шишей-доносчиков, пронюхал о том, кто приходил на подворье Романовых из Чудова монастыря, кто тайлся под именем инока Григория. Нет, то был не Отрепьев, сын захудалого дворянина, сие Федор готов был утверждать даже на Суде Божьем. Инок Григорий в миру был истинным царевичем Дмитрием. И теперь Федор страдал за него больше, чем за себя. Коль схватил Дмитрия боярин Семен, не увидит больше света белого страдалец.

Но не удалось черным слугам Семена Годунова ухватить Дмитрия в Чудовом монастыре. Улетела птичка Божиим провидением. И вовремя. А как князь Федор осознал по поведению боярина Семена, что царевич Дмитрий на воле, так и возрадовался, на колени опустился, молитву прочитал:

— Царю Небесный! Скорый в заступлении и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне и благословив укрепи и в совершение намерения благого дела рабов Твоих произведи: вся бо елика хочещи, яко сильный Бог творити можещи...

И возродилась в Федоре легкость душевная, какую испытывал в дни благоденствия, и не страшила тюрьма поганая и дыба неминуемая. Дух Федора торжествовал. Вопреки всем проискам Бориса Годунова, он, Федор Романов, в сем рукопашном бою выходил победителем. «На воле Митенька, на воле! Мчит с сотоварищем иноком Григорием Отрепьевым в землю польскую, дабы там объявиться!» — торжествовал Федор.

— А как услышат о нем россияне, как встанут плечом к плечу стеною, да пойдут добывать трон истинному отцу своему, тут уж держись, «проныр лукавый», — говорил Федор, стуча кулаком по глиняной стене.

В тот миг, когда Федор в душевном порыве возносился в царство Небесное и приготовился к каким угодно переменам в судьбе, над его головою открылась решетка, в яму опустилась лестница и страж велел князю подниматься наверх, повел его, как счел Федор, на правож.

В пытошном каземате заплечных дел мастера готовились к работе. В подземелье стоял смрад, пылал горн, на нем калилось железо, на таганах кипела в котлах вода. Один из катов, увидев боярина Федора, улыбнулся ему, приветливо кивнул головой. Князь знал этого ката. Звали его Лучка, по прозвищу Тетеря. Еще при Иване Грозном, когда Лучка только встал к своему ремеслу, его изловили тати, коих он порол кнутом, избили изрядно и лишили языка. Малюта Скуратов сказал Лучке, когда тот пожаловался на татей: «Ты есть тетеря. Потому и потерял язык». С той поры, а миновало сему лет тридцать, Лучка слыл самым жестоким палачом во всей Руси. Один демонский вид Лучки приводил его подопечных в смертельный ужас.

Тут же, в пытошной, у стола со свечой сидел еще один не менее жестокий человек, боярин Семен Годунов. Хотя всем видом своим он был похож на благообразного пожилого россиянина с окладистой бородой, но нутро его выдавали узкие, черные и хищные глаза. Он заведомо ненавидел всех, кого приводили в пытошные казематы, как кровных своих врагов. Боярина Федора он сразу же словно хлыстом ударил, крикнул ему в лицо:

— На колени, тать!

Но Федор Романов был уже не тот, подавленный навалившейся на него бедой человек, каким чувствовал себя в первый день пребывания в тюрьме. Дух его окреп, и пред боярином Годуновым стоял истинно русский князь, гордый и несгибаемый. Он лишь спросил боярина:

— Видишь ли ты свою судьбу, выкормыш Малюты Скуратова?

И прозвучал сей вопрос так неожиданно, что боярин Семен опешил. Знал он, что Федор Романов якшался с ведунами-чародеями и мог ведать о роковом пороге любого смертного. И вздрогнул многожды свершавший злодеяния первый палач России. Но страх всегда пробуждал в Семене Годунове слепую ярость, и он еще громче крикнул:

— На колени, тать!!

Князь Федор продолжал стоять. Семен сделал знак Тетере, тот в миг подскочил к князю и ударил его ногой в подколенья, и князь Федор упал. Тетеря придавил его за плечи к каменному полу. Но Федор не смирился с насильем. В свои сорок шесть лет он был еще достаточно силен и не уступил Лучке. Он скинул руки палача с плеч и встал.

— Не смей прикасаться ко мне, кат! — крикнул он Лучке. И так же властно, словно отдавая повеление, сказал

боярину Семену: — Зачем достоинство боярина порочишь? Сам и пытай!

Боярин Семен не смотрел на князя. Он поднял руку и сказал Лучке:

— Ладно, Тетеря, мы еще лишим спеси сего татя. Иди к делу.

Лучка медленно, словно медведь переваливаясь с ноги на ногу, ушел в другой каземат, и в сей же миг оттуда донесся нечеловеческий крик. Палач как перешагнул через порог в пытошную, так схватил раскаленный шкворень из огня и ткнул в спину привязанному к столбу страдальцу. Этим страдальцем был дворовый человек Романовых по имени Глеб. Лучка прижег спину в новом месте, и Глеб заорал еще истошнее. В эту минуту боярин Семен ввел Федора Романова во второй каземат и сказал ему:

— Видишь, это твой Глеб-лабазник. Вот милостью просим его открыться, почему о зелье отравном молчал. Да будем пытать, пока не откроется. Ты слышишь, Глеб, вот твой боярин стоит, скажи, как он велел тебе молчать о кореньях. Он совестливый, отрицать не будет. Говори, и ты обретишь облегчение участи.

Глеб лишь промычал глухо в ответ. И тогда Лучка сунул каленый шкворень между ног под ягодицы. И снова раздался истошный крик.

— Зачем невинного терзаешь? Ему ничего не ведомо о кореньях. Бога в тебе нет, боярин Семен, — сказал князь Федор.

— Вот и откройся, порадей за него. Ты ведь жалостливый, нищелюбец и милосердец. Ну, открывайся же, с какой метой коренья в стольный град привез? — требовал боярин Семен.

Федор Никитич вновь ощутил душевное страдание. Не за себя, нет. Он отрешился уже от брэнного существа своего и страдал за ближних, за холопов, коих немало увели со двора черные слуги Годунова, за всех невинных, коих изводили волею царя Бориса. Князь Федор не знал, что делать. Но какое-то движение в груди началось и побуждало к чему-то. К чему, Федор еще не уразумел. А боярин Семен стоял над душой и требовал открыться, вынести себе приговор.

— Не жаль Глеба, так пощади инших. Все они, твои сродники, тут, у пытошных столбов. — И боярин Семен двинулся к другой двери. Стражи повели Федора Романова следом.

И то, что открылось опальному князю, повергло его в ужас. В подземелье были собраны все его четыре младших

брата, вся близкая и дальняя родня. Со всех уже содрали одежды и привязали к столбам. Палачи ходили близ них и пробовали, хлестко ли бьют плети, ударяли ими о каменные стены, о пытошные столбы. Средний брат, Михаил, богатырского сложения, увидев старшего брата, попытался оборвать ремни, коими были стянуты его руки за столбом, и тут же получил удар плети, на белой спине вспыхнул алый рубец. Князь Федор ринулся защитить брата, но стражи ухватили его за плечи, сдавили, словно тисками, и повели дальше, следом за боярином Годуновым.

Потом Федор Романов скажет, что истязание мужского тела еще не повергает в крайний ужас того, кто за сим наблюдает. То, что он увидел в третьем каземате, и оказалось той гранью, за которую князь зацепился ногами и упал на колени. В том третьем застенке Семен Годунов собрал всех женщин, девиц и отроковиц, кои были в большом роду Романовых, и среди тех, кто был с ними в родстве и свойстве. Над всеми орудовали палачи, готовили их к пыткам. Десятки женских обнаженных спин увидел князь Федор. И среди них узнал по родимому пятнышку спину своей супруги боярыни Ксении. Он крикнул:

— Ксюша, Господи!

Она же повернула голову и умоляющим голосом позвала:

— Батюшка Федор Никитич, смилостивись над нами, Христом Богом прошу! Не дай надругаться катам!

И то, что будоражило душу князя Федора, прорвалось ясной и осознанной мыслью: «Ежели есть на нас вина, то допрежь всего на мне! Потому токмо мне и нести тяжкий крест!» И как всегда скорый на действие, Федор потребовал от боярина Годунова:

— Иди к патриарху и скажи: Федор Романов готов к покаянию. Да пусть приходит со святейшим и царь.

Боярин Семен зло прищурился, кунью шапку на глаза пониже осадил, сказал, как хлыстом ударил:

— Много чести требуешь, тать. Мне покайся, пока плети не заиграли в охочих руках, — упрямо гнул свою линию Годунов и крикнул: — Эй, слуги государевы, замахнитесь-ка!

И надломил боярин князя Федора:

— Веди к царю, ему покаюсь!

— Так-то оно лучше, — согласился боярин Семен. И задумался: то ли вести Федора к царю, то ли ждать в пытошной, ведь обещал прийти.

Так и было. Царь Борис появился в казематах сам. И патриарх Иов его сопровождал. Да не было в том случайно-

сти. Еще прежде с глазу на глаз царь Борис велел своему дядюшке только устроить пытки как ближних Федора Романова, так и его самого, лишь для острастки подвергнуть всех мужей кнуту. Надеялся царь Борис через это заставить-таки Романовых оговорить себя в преступном заговоре против него. И уж после того, как сия мера не поможет, то вздернуть на дыбу вначале князя Александра Романова, а там и других Никитичей, ежели будут упорствовать. Ой как хотелось Борису Годунову выместить злобу и ненависть на этих непокорных князьях, над любимцем царя Ивана Грозного князе Федоре Романове. И сам царь Борис думал присутствовать в тот час, когда в пытошных запахнет жареным мясом, когда на белых спинах князей разольется алая руда.

Всему помешал твердый стоятель за правду и справедливость, защитник истинных православных христиан, патриарх всея Руси милосердец Иов. Он через тайну исповеди узнал от Бартенева второго о том, что на род Романовых возведен клевет. А как проводил с покаяния Бартенева, поспешил в царский дворец. Имени покаявшегося он не назвал, но сказал царю:

— Государь-батюшка, сын мой, ведома мне подоплека вины Романовых, и за ту вину нельзя их подвергать пыткам. Так ты уж, государь-батюшка, запрети палачам касаться Романовых и их близких. Именем церкви и Всевышнего Господа Бога прошу. Да вознаградит Он тебя за милосердие.

Царь Борис высоко чтит патриарха Иова, помнил, что только ему обязан восхождением на престол. Это он, крепкий адамант православной веры, в год кончины царя Федора девять месяцев твердо стоял против князей Романовых, Шуйских и князя Мстиславского, кои покушались овладеть тронном. И устоял пред натиском недостойных и венчал на царствие умнейшего россиянина. И царь Борис не уставал благодарить Бога и патриарха за великую милость к нему. И потому царь Борис не озлился на сказанное Иовом и прозвучавшее повелением. Он лишь спросил:

— Святейший владыко, почему я не должен посылать на праведных врагов моих? Они лишь получают по делам своим.

— Сие не так. И ты возьмешь грех смертный на душу за невинно пролитую кровь. — И тихо, но твердо добавил: — Помни об Угличе, государь-батюшка. Его колокола еще бьют набат.

Напомнив об Угличе, патриарх больно ударил царя Бориса, потому как со временем грех, взятый на душу за невинно пролитую кровь в том волжском городке, становил-

ся все тяжелее. Узнал Годунов недавно и то, что будто бы царевича Дмитрия в ту майскую пору убить не удалось. И он где-то близко. Страх заковал душу и сердце Бориса в обруч, и теперь сей обруч сжимался после каждого напоминания о трагедии в Угличе. Вот и сейчас у Бориса Годунова перехватило дыхание и трапезная, где он встретил Иова, поплыла перед глазами. «Господи, доколь же меня казнить будут?» — воскликнул царь Борис в душе. Да справившись со слабостью, впервые, может быть, за время царствования прогневался на патриарха и сурово сказал:

— Святейший, ты молись о спасении моей души, а в государевы дела не вмешивайся.

Но патриарх не дрогнул.

— Многие годы я печалуюсь о твоей судьбе, о твоей душе. Да тому конец близок. Потому как дерзание твое не против патриарха и церкви, но противу Господа Бога. Опомнись, сын мой. Подвигнемся в пытошную, остановим чинимый произвол.

— Повинуюсь воле Всевышнего. Тебя же еще попрекну, — сказал царь Борис и покинул дворец.

До земляной тюрьмы от царского дворца всего сто с лишним сажен. Вдоль дороги лежали высокие бунты бревен лиственницы, гранит, камень — все для нового храма Всех Святых, который задумал воздвигнуть Борис Годунов. Макет этого храма, в рост царя Бориса, уже стоял в дворцовой палате — красы невиданной, сказывали, великолепнее даже константинопольского собора Святой Софии. Да не воплотилась в жизнь мечта царя Бориса. Не позволил ему Всевышний соорудить сей храм, счел Господь, что нет у Бориса на то права.

Переступив порог пытошной тюрьмы, царь Борис сказал патриарху:

— Вот мы пришли, а тут тишина благодатная, никого правезом не пытаются. — Борис Годунов не заметил ни истерзанного палачами Глеба, ни крови на спине князя Михаила Романова.

Но патриарх Иов все увидел.

— Творя земной суд, бойся суда Божьего, — тихо сказал святейший царю и проследовал в тот каземат, где держали женщин и где в сей миг был боярин Федор. Патриарх подошел к нему.

— Знаю, сын мой, ты звал нас. Вот мы пришли, покайся, и государь проявит милость, — сказал Иов.

— Покаялся бы, святейший, да поклеп на себя возведу, потому как знаю, какого признания ждет государь.

В сей миг к князю Федору подошел царь Борис. Он посмотрел на Федора пустыми и безразличными ко всему глазами. На его лице лежала печать усталости и отчужденности. И было видно, что жизнь уже ничем не радовала государя. И причиной тому был все тот же царевич Дмитрий. Приблизившись к князю Федору, которого продолжали держать за руки стражи, царь Борис сказал:

— Ты есть раб Божий и не смеешь скрывать ничего, что во вред мне, помазаннику Божьему.

— Ты, государь-батюшка, услышишь мое откровение. Да пусть его услышит и святейший патриарх. А иным и нет нужды...

— Внял твоему побуждению. — И повелел боярину Семену: — Отведи князя Федора к алтарю Сенной церкви. — Федора повели, а царь Борис спросил патриарха: — Так ли ты хотел, святейший?

— Так, сын мой. Там, в храме, пред ликом Христа Спасителя, он не прольет лжи.

Федора Романова привели в ближайшую от пытошных казематов церковь, в коей в разное время исповедывались государевы преступники.

Царь Борис велел стражам покинуть храм. Иов же удалил священника, и они остались втроем. Князь Федор опустился на колени, помолился и встал, продолжая креститься, заговорил:

— Пред ликом Отца Всевышнего скажу только правду и ни слова лжи. Коренья на моем дворе подметные. И никто из рода Романовых никогда не мыслил отравить кого-либо зельем. Но ты, государь-батюшка, волен винить нас в другом, — голос князя Федора звучал чисто, звонко и легко возносился под купол храма. — Род Романовых, и тебе это ведомо, имеет прав на царский престол больше, чем род Годуновых. И после кончины царя Федора кому-то из Романовых надлежало встать у кормила державы. Но ты, государь, обошел нас. Да все благодаря патриарху Иову, который оценил твой ум выше моего ума. Не отрицаю, святейший прав. Но твой век, государь-батюшка, недолог. — Князь Федор не спускал глаз с царя Бориса и говорил ему ту правду, от которой душа его стала леденеть. — Мне ведомо, что написано на скрижалях твоей судьбы. Тебе дано царствовать семь лет — ты сие знаешь, — а что надвинется за гранью, ведомо токмо Всевышнему. И потому, пока жив хотя бы один отпрыск рода Романовых, мы лелеем надежду встать на троне святой Руси. На том целую крест. — И князь Федор поцеловал поднятый Иовом крест.

Царь Борис побледнел как полотно. На его лице выступил пот. Он готов был узнать какую угодно правду, но только не эту. Был день, когда он воскликнул перед ведунями, что будет рад надеть корону хотя бы на семь дней. Они же щедро подарили ему семь лет. И вот уже половина отведенного судьбой срока миновала. И страх неведомого, скорее всего ужасного, угнетал царя Бориса с каждым днем сильнее. И чтобы найти выход из заколдованного круга и забыться, он все больше скатывался на путь тирании. И все повторялось так, как было в последние годы жизни царя Ивана Грозного. Царь Борис преследовал всех, кто даже в самом малом выражал свои мысли против него. Для этого он и завел целую армию шпионов, доносчиков, клеветников, поставил над народом городовых, набрал сотни палачей. «Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совети», — сказывали очевидцы.

Потому-то правда, выраженная князем Федором Романовым пред алтарем храма, оказалась для царя Бориса страшнее пытки, на кою он думал обречь своего недруга. Терпение царя иссякло, и он крикнул в припадке гнева:

— Досталь! Нет у тебя никаких прав. Волею Всевышнего я лишаю тебя и всех твоих сродников всего земного! Эй, стражи, — повернувшись к вратам храма, крикнул царь Борис, — взять его! Отведите сей же миг на правож моим повелением!

Стражи подбежали к князю. Но в это мгновение проявил свою волю патриарх. Он встал перед Федором и защитил его.

— Изыдьте, досужие. — И повернулся к царю. — А ты, государь-батюшка, не чини суда несправедного и не поминай имени Господа Бога всуе, да будешь пребывать под его десницей.

Царь Борис и на патриарха замахнулся. Да увидев его суровый взгляд и каменную твердость в лице, и крест, который святейший поднял против него, словно отгонял беса, государь дрогнул и отступил. Он молча покинул храм, и в голове у него билась одна короткая мысль: «Я одинок! Я всеми покинут!»

Стражи взяли князя Федора за руки и повели из храма. Патриарх Иов тихо шел следом. К нему подошел служитель архидакон Николай и взял его под руку. Святейший думал в эти минуты о том, что настало время призвать Боярскую думу и архиереев к тому, чтобы они взяли судьбу Романовых в свои руки.

Глава вторая

ВЕДУНЫ

Близился второй год нового, семнадцатого столетия. Страх, который довлел над россиянами в конце прошедшего века, рожденный предсказаниями о великом Божьем гневе, уже развеялся. Конец света, как предвещали колдуны и ведьмы на площадях и папертях соборов и церквей, не наступил. И жизнь, постепенно одолевая страх последних лет, входила в свою колею. Но москвитян волновало всю весну и лето не только то, что их миновал гнев Божий, а страсти, которые разгорелись вокруг известного всей Москве рода Романовых.

Вот уже несколько месяцев дьяки Разбойного приказа строчили обвинения на братьев Никитичей в злочинстве против государя. А конца сему следствию не было видно. Москвитяне жалели Романовых. Возле их палат на Варварке ежедень собирались толпы горожан, судили и рядили на все голоса. И все надеялись, что царь Борис снимет наконец опалу с Романовых, выпустит их на свободу, а с ними и четверть Москвы сродников. Это была шутка, но горькая, по тюрьмам и правда томились в эту пору тысячи россиян. Ждали возвращения милосердных князей и сотни нищих, бездомных. У их ворот бедолаги часто находили коробка с горячими и вкусными пирогами с потрохами и капустой. Сколько их, нищих, неимущих приходило утолить голод к княжеским воротам.

И почти каждый день на Варваркино торжище, что близ подворья Романовых, приходили ведуны Сильвестр и Катерина. И только слушали, внимали всему тому, о чем говорил народ, сами ни с кем не вступая в разговоры. К тому же они прятали свои лица, меняли свой облик. Ведун Сильвестр появлялся в старом охабне, каждый раз в другом, капюшон на голову натягивал, рыжей бороды не носил, а вместо нее пегий клин выставлял, зеленые глаза прятал под мохнатыми сизыми бровями. И Катерина ходила по торжищу, упрятав голову в платки-хустки так, что никто не мог увидеть ее красивого лица, ее огненно-рыжих кос и обжигающих, зеленых, как и у Сильвестра, глаз.

Знали Сильвестр и Катерина, что в Москву собрались многие холопы и дворовые люди, крестьяне из вотчинных сел и деревень рода Романовых, коих немало имелось по России. И ведуны искали среди них преданных Романовым людей, дабы в нужный час взять их в помощь, коя могла

потребоваться. Катерине и Сильвестру помогал монах Яков, который до того, как принять постриг, долгие годы служил Романовым. Яков побывал во всех княжеских вотчинах, знал сотни холопов и крестьян, приписанных к княжеским землям. В тот день, как Катерине удалось встретить Якова да как разговорились, он сказал ей:

— Ведаю, благая Катерина, что тебе близок князь Федор, мой благодетель. И силу твою ведаю. Потому Христом Богом прошу порадеть за князя и спасти его от жестокого прикрута и опалы.

— Тебе спасибо, Яков, что сам радеешь и скорбишь за князей Романовых. Да помни, святой отец, о том, что судьба князя Федора в руках Божиих. И никто не волен изменить его участь. Но помни, Яков, и о другом, о том, что Всевышний проявит к князю Романову милость. Сие придет не скоро, но сбудется, как на смену ночи приходит день. О том и говори всем, кто верой и правдой служит князьям Романовым. Их час придет.

Увы, тогда и Катерина не ведала, что того часа придется ждать многие годы. А пока впереди у Романовых лежал бесконечно долгий путь по терниям и страданиям.

К июню следствие по делу Романовых было завершено и состоялся приговор. Его вынесли за два месяца до того, как пришел час проявиться истинному гневу Господнему, поразившему всю центральную Россию в августе 1601 года.

А тогда, накануне дня Святой Троицы, Пятидесятницы, среди москвитян прошел слух, что к Романовым якобы будет проявлена милость. И москвитяне искренне обрадовались, возносили хвалу царю Борису. И как же велико было их огорчение и разочарование, когда на Духов день свершилось-таки в Москве черное дело — суд неправедный. И никому из окружения государя не ударило в сердце, в душу, что в Духов день Господь призывает всех верующих и паче чаяния помазанников Божиих помнить о главной заповеди, о любви к ближнему, о милосердии к покающемуся. Потому-то и послал Вседержитель на землю в сей День Святого Духа — Утешителя.

На этот раз Утешитель не явился к россиянам. Москва взбудоражилась. На улицах, на площадях толпы людей метались туда-сюда, искали сведых людей, служилых, кои рассказали бы о том, что случилось в Кремле, какую кару придумал царь Борис Романовым.

Полудни возле Троицких ворот Кремля, из коих шел путь на Пречистенку, появилась Катерина. Она по-прежнему таилась от чужих глаз. Одежка на ней была старень-

кая, вытертый ситцевый платок с бахромами опущен почти на нос. В руках она держала корзину, в которой лежала разная огородная зелень. Затаившись близ ворот в углу под стеной, она зорко следила за каждым, кто выходил из Кремля. Долго ее лицо ничего не выражало. Но вот вдали появился думный дьяк Андрей Щелкалов, дом которого был в ста саженях от Троицких ворот. Лицо молодой женщины оживилось, она побледнела, а зеленые глаза властно вскинулись на Щелкалова, и у него что-то сдвинулось в душе, он смотрел только на Катерину, окружающее исчезло из его внимания. Он шел как слепой и шептал о том, что случилось в Кремле, какую кару Романовым вынесла Боярская дума и утвердил царь Борис. Все это длилось лишь несколько мгновений. А когда Щелкалов миновал Катерину, он вновь увидел толпу людей, их возбужденные лица, крики. Многие узнали его, требовали рассказать о судьбе Романовых. Но, отрезвев, он сурово отвечал настырным, что ничего не ведает о Романовых. Вырвавшись из толпы, он побежал и вскоре скрылся на своем подворье за высокими тесовыми воротами. На дворе он остановился передохнуть, а как перевел дыхание, то ему показалось, что с ним ничего не случилось, никому и ничего он не раскрыл из тайного. А если бы его все-таки спросили, почему он шел по спуску словно слепой, ответил бы, что усталость взяла свое, потому как больше суток не знал покоя, не спал. И добавил бы, что спасибо неведомой страннице, коя привела его в чувство.

А «странница» уже затерялась в толпе и торопливо уходила в сторону Пречистенки. Но вскоре свернула к Москва-реке, там улочками взяла путь к Донскому монастырю.

Катерина не случайно пряталась от москвитян. Ее знали многие. Она и ее муж Сильвестр держали на Пречистенке большую лавку, торговали узорчьем, паволоками, благовоениями — всем, что любили московские модницы. Да знали некоторые москвитяне, что Катерина и Сильвестр занимаются ведовством. Но одного почти никто не знал, того, что Катерина имела Божий дар ясновидения. И под ее чары попал дьяк Андрей Щелкалов, глава Посольского приказа.

Теперь Катерина могла бы рассказать москвитянам о том, что их волновало в судьбе Романовых. Все это она выведала у думного дьяка Андрея Щелкалова, который был в числе судей, вершивших неправедный суд над князем Федором Романовым, над его братьями и сродниками. Но нет, ей нельзя было открыться кому-либо. И показаться — тоже. Ей приходилось прятать лицо, и огненно-рыжие волосы, и манящие губы, и колдовской силы глаза, и дарст-

венную статью. Все, чем раньше любовались москвитяне, она спрятала от их взоров. Потому как стоило бы только одному шишу-доносчику узреть Катерину, как ее бы схватили. И охотились за нею по воле главы Разбойного приказа боярина Семена Годунова. Он давно искал ее повелением царя Бориса. Было же много лет назад такое, когда Борис-правитель в поисках ведунов заехал под Можайском в деревню Осиновку и там нашел предсказателей. И была среди них Катерина: приехала погостить у деда по матери. Она-то и открыла Борису Годунову его судьбу — семь лет царствования. А прошлым летом царю Борису показалось, что семь лет пробыть на троне — очень малый срок. Но больше Бориса беспокоило то, чего он не мог знать, что там дальше будет за семью годами. Он повелел своим слугам найти Катерину, привести ее во дворец. Но Катерина не отозвалась на просьбу царя и слугам его не далась, напустила им в глаза туман и скрылась.

Царь Борис во гнев пришел, велел разыскать ее во что бы то ни стало, схватить и на правех послать, дабы там открыла царскую судьбу за окоемом седмицы лет. И слава Всевышнему, что в ту пору послал ей защитника от царевой расправы, митрополита Казанского Гермогена. По его совету они тайно забрали все ценное в своей лавке и он же тайно отправил Сильвестра и Катерину в Казань. Там они и скрывались. Оттуда же митрополит послал ведунов в Москву узнать все что можно о судьбе Романовых, которых чтит.

Ведомо было россиянам, что митрополит Казанский Гермоген не признавал Бориса Годунова царем. И три с лишним года назад он и еще два противника Годунова из пятисот выборных не подписали избирательную грамоту и не целовали крест на верность новому царю. И все они, митрополит Московский и Крутицкий Дионисий, архимандрит Псково-Печерской лавры Антоний и он, Гермоген, попали в опалу, были всячески притесняемы. Гермоген и без того был в немилости, потому как дружил с князем Василием Шуйским, к князьям Романовым относился с уважением.

И теперь, когда последние оказались в беде, Гермоген счел долгом чести оказать им посильную помощь. И видел он ту помощь в одном, в побуждении царевича Дмитрия поскорее открыться народу. Только он, взойдя на законный престол по праву наследства, мог спасти Романовых.

Сам Гермоген не рискнул приехать в Москву. Знал, что о его появлении в стольном граде вскоре же будет ведомо царю Борису, а тот нашел бы повод обвинить неугодного

архиерея вкупе с князьями Романовыми. Потому и послал митрополит своих верных и преданных помощников с надеждой на то, что они сделают все посильное им.

Сильвестр и Катерина пришли в Москву в конце апреля под видом торговых людей. И товар у них был достойный на возу — мед и воск из заволжских лесов. Они остановились в посаде близ Донского монастыря среди ремесленников. Сами занялись ремеслом. Сильвестр купил небольшой дом по случаю, устроил при нем кузню, стал ковать немудреную церковную утварь. Катерина вышивала пелены. А как обосновались, взялись за то, что наказал им сделать Гермоген. Им было велено увести из Чудова монастыря инока Григория, работающего у патриарха Иова переводчиком и книгописцем духовных книг греческого письма.

В начале мая Сильвестру удалось встретиться с Григорием. Пришел Сильвестр к монастырю с коробом глиняных чернильниц и с ярославскими орешковыми чернилами к ним. Кому же как не монастырским писцам продать сей товар. Так и встретились инок Григорий с торговым гостем Сильвестром. И в келью Григорий привел его. Там иноку гость из Казани сказал:

— Ведомо нам, что тебя опекали бояре Романовы, а почему, сам знаешь. Теперь же они в опале, и надолго. И пришло время тебе самому позаботиться о будущем.

— Сия забота и меня одолевает, да не вижу начала, — ответил Григорий.

Сильвестр знал отца этого инока, видел его так же близко. И находил много сходства с батюшкой. Разве что черты были помельче, несли в себе нечто материнское, от красавицы Марии Нагой, последней супружницы Ивана Грозного. И потому Григорий был нраву покладистого, без побуждений к жестоким действиям. И те слухи, которые распускали по Москве еще десять с лишним лет назад, были ложью. Тогда на улицах стольного града можно было часто услышать, будто бы Дмитрию лепили снежные чучела, а он рубил им руки, головы и приговаривал: «Так будет со всеми моими супротивниками, как стану царем, а первому отрублю голову Бориске Годунову». «Ложь сие, дикая ложь», — утверждал Сильвестр. И побуждаемый жалостью к царевичу, сказал:

— Вот я пришел к тебе, дабы вывести на путь, по коему должно тебе идти. Сей путь, запомни это, благословил митрополит Казанский Гермоген. Он и меня прислал к тебе.

— Говори, брат мой, — попросил инок.

— Слушай, страдалец. Найду я тебе верного товарища или сам провожу тебя в Киев. Там придем мы к воеводе князю Константину Острожскому, и ты откроешься ему. Он же объявит тебя по всем зарубежным державам. Потом мы уйдем в Северскую землю, там найдем Почаевскую обитель и явимся в нее. И отдашь ты себя на попечение архимандрита Геласия. Он же пошлет во все российские города и земли иноков, кои повсюду будут открывать тебя. И тогда ты придешь в славный город Путивль. И будет он твоей названной столицей до поры. А как встанет близ тебя войско и рать народная, так пойдешь на Москву за троном.

— Господи Боже, как стройно все у тебя. Да исполнится ли сие?

— Ты под защитой Всевышнего.

— А коль исполнится, быть тебе моим первым советником! — воскликнул обрадованный царевич Дмитрий.

Они еще поговорили, и, расставаясь, Сильвестр сказал:

— Мы уйдем с тобой в день благословенного князя Дмитрия Донского. Ты придешь к вечеру в посад Донского монастыря и в доме близ южной башни найдешь меня, именем Игната. В ночь и уйдем.

— Приду, ежели смогу, — не очень уверенно ответил Дмитрий. — Ворота на ночь в Кремле ноне закрывают.

— Тогда днем уходи. Вот ты купил у меня орешковых чернил, а деньги, скажешь, не все отдал. И понесешь их, ежели что, — настаивал Сильвестр. С тем и ушел.

А накануне чествования Дмитрия Донского случилось то, чего инок Григорий больше всего боялся. Шиш-доглядчик из своей же монастырской братии усмотрел на груди Григория царский крест. Видел он подобный в сокровищнице Ивана Великого. Многим показывал тот крест боярин Семен Годунов, дабы шиши знали, кого искать. И предостерег Всевышний инок Григория в одном: разбудил его в тот миг, когда шиш исподнюю рубаху на его груди распахнул. Случилось сие в час отдыха после полуденной трапезы. Схваченный за руку монах отделался шуткой, а вскоре скрылся из обители. Инок Григория словно огнем обожгло: донесет. И он, не мешкая, собрал в суму кой-какие вещички, спрятал ее под сутану и пришел к игумену, показал деньги, отпросился из монастыря:

— Избавь от греха, преподобный отец, обещал ноне принести долг.

— Иди, раб Божий, да к вечерней молитве вернись, — велел игумен и благословил: — Во имя Отца и Сына...

И Григорий покинул Чудов монастырь, покинул Кремль, в стенах которого в молитвах и труде провел два года и в который думал вернуться в подобающем его праву звании. Он благополучно добрался до Донского монастыря, нашел в посаде дом Сильвестра.

Ведун уже приготовился к дальней дороге. Сам он тоже оделся в монашеский наряд. Катерина уложила в две сумы дорожные припасы: хлеб, колобушки, кокурки с запеченным яйцом, вяленого мяса, луку, соль, баклагу с вином — все, что давало возможность путникам не заходить в города и села, дабы не оказаться в руках приставов. Перед заходом солнца, пока заставы были еще открыты, Сильвестр и Григорий покинули Москву.

В тот же вечер в Чудов монастырь пришли люди Разбойного приказа, дабы заковать в железа татя, укравшего царский крест. Они самочинно вошли в дом с монашескими кельями и стали искать инока Григория. Но пришел архимандрит Пафнутий и спросил людей Семена Годунова:

— Зачем вы гневите Бога и чините смуту в обители?

— Мы по государеву делу. Где инок Григорий?

— Его нет в обители, он отпущен в город и скоро вернется. — Но что-то подсказало Пафнутию, что Григорий больше уже не появится в монастыре, и он порадовался за инока.

Люди Семена Годунова ждали Григория всю ночь да так и не дождались. Утром они обо всем доложили боярину Семену. Гневный и яростный, он примчал в монастырь и набросился с руганью на Пафнутия:

— Поднимай свою братию, преподобный, и пусть она обыщет всю Москву и приведет ко мне татя! А не найдете, быть тебе, потакатель, на Белоозере.

Спустя день так все и случилось. Вопреки воле патриарха, Пафнутия лишили сана и сослали в Кириллов монастырь на Белоозере.

Все это Катерина вспомнила по пути к Донскому монастырю спустя несколько недель, как покинули Москву Сильвестр и Григорий. «Да вознаградит тебя, отец Пафнутий, Всевышний за милость к страдальцу Григорию», — шептала Катерина, поднимаясь от Москва-реки на Якиманку. Она спешила, зная, что вот-вот вернется из дальнего похода Сильвестр. Из Москвы он ушел вдвоем с Григорием, но в пути к ним присоединились два инока Донского монастыря, Варлаам и Мисаил. Сильвестр и его спутники привели Григория в Киев. Там Сильвестр и Григорий пришли к палатам князя Константина Острожского

и ведун поручил инока слуге князя Богдану, который был истинным православным христианином и служил не только князю, но и русской церкви. Это был богатырь. За утренней трапезой он съедал молочного поросенка, гуся, кусок говядины, головку сыра, три хлеба и все это запивал жбаном сыты. Потом с нетерпением ждал обеда.

Двор князя Острожского служил пристанищем для всех, кто ненавидел латинскую ересь. Инок Григорий не проявлял к ней любви и потому оказался под надежной защитой. Досадно было Сильвестру то, что в пору их появления князь пребывал в отъезде. И Богдан не знал, когда тот вернется. Но слуга заверил ведуна, что отведет гостя к князю в тот же день, как князь вернется. И Сильвестр покинул Киев с чистой совестью. В пути он нигде не задерживался и вернулся в Москву в тот день, когда Катерина встретила близ Кремля с думным дьяком Андреем Щелкаловым. И теперь Катерина и Сильвестр сходились у Донского монастыря. И надо же быть такому, подошли к дому минута в минуту. Сильвестр вел на поводу усталого коня гнедой масти, купленного им в Киеве, и сам еле тянул ноги.

Катерина откинула с головы старенький ситцевый платок, раскинула на плечи вьющиеся волосы и, улыбаясь, ждала Сильвестра. Увидев Катерину, он забыл об усталости и поспешил к ней навстречу. И они сошлись. Сильвестр обнял Катерину, спросил:

— Вижу, ты в горести и куда-то ходила. Что тебе ведомо о Романовых?

— Как я по тебе изошла, любый. А была я близ Кремля и видела дьяка Щелкалова...

— И что он? Романовых осудили? Казнь? Дыба? Ссылка? — торопливо спрашивал Сильвестр.

— Ведаю одно: Романовы пойдут в изгнание.

— Господи, но сие не самое страшное. Век Бориса сочтен. И тогда...

Катерина посмотрела на мужа печальными глазами и он увидел в них боль души.

— Тебе еще что-то ведомо?

— Вижу за окоемом страдания непосильные... Вижу жальник и три креста над кладуницами трех братьев Романовых. А кто останется жив, пока не ведаю.

— По-твоему, в Волчьих пустынях их? — тихо спросил Сильвестр.

— Туда, — ответила Катерина и сама спросила: — А ты все ли исполнил?

— Все. Да за туманом не вижу, как у него впереди...

На Катерину и Сильвестра уже смотрели посадские бабы, ребятишки кружили близ коня.

— Что ж мы тут слупами стоим, — сказала Катерина и направилась к дому на подклете и с высоким крыльцом.

Отдых Сильвестра после дальней дороги был недолгим. Исполнив волю митрополита Гермогена, Сильвестр подумал, что хорошо бы проведать, в какие земли погонят Романовых или хотя бы одного из них — старшего брата Федора.

Катерина согласилась с мужем. И ранним утром в день мученика Лукиллиана ушли к Кремлю, дабы узнать, когда опальных погонят из Москвы. И узнала все в конюшнях Разбойного приказа. Там уже во множестве были приготовлены крытые возки и каждый из них был снабжен цепью, на коей сидеть преступнику, дабы не сбежал в пути. Катерина искала среди конюхов можайского земляка. — Его там не было, но она узнала, что конвой с осужденными покинет Москву с наступлением ночи. Не мешкая, Катерина вернулась в посад. Сильвестра нашла в мастерской, где он ковал подсвечники.

— Что там, любя? — спросил Сильвестр.

— Суд и расправа у нашего царя скорые. Нынче в ночь и погонят сердешных, — ответила печально Катерина.

Помолчали. Сильвестр еще постучал по пластине меди, лежащей на наковальне. А Катерина подошла к огню и сосредоточенно смотрела на него. Зрачки ее зеленых глаз сузились до крапинок, но к огню, или от огня к глазам, протянулись два луча. И Катерина увидела то, что раньше не давалось ей. На язычках пламени горна светился образ князя Федора в одеянии архиерея, но с патриаршей пангией на груди. На голове у него не было ни митры, ни клобука. А на губах, под опрятной русой бородой играла улыбка. Да и глаза излучали радостный свет. «Господи Боже милостивый, спасибо, что открыл истину!» — воскликнула в душе Катерина. А как погасло видение, ясновидица тихо сказал Сильвестру:

— Родимый, я видела князя Федора. Через плечо омофор и панагия на груди. Быть ему патриархом всея Руси, как наречено пятнадцать лет назад.

Екнуло от ревности сердце Сильвестра. Знал он, что до замужества Катерина любила князя Федора. Не осталось от него сокрытым и то, что вспомнила она в сей миг березовую рощу на берегу Москва-реки за Звенигородом и хоровод обнаженных дев в полуночную пору на Ивана Купалу. Сильвестр видел, как девы разбежались от костра по

роще и как Катерина попала в объятия князя Федора, как он подхватил ее на руки и унес в глубь леса под вековой дуб, и там свершилось таинство их сближения. Тогда-то Катерина и сказала молодому князю, что ждет его в будущем. И теперь в языках пламени Катерина все увидела вновь, возвращаясь к языческой поре юности. Сильвестр и свое в памяти ворошил. Было такое, когда и он подбирался тайком к девичьим хороводам, и не однажды умыкал юных дев и отдавался вместе с ними во власть бушующей молодой плоти. И ему ли упрекать Катерину в том, что он не первым познал радость близости с нею. Да вот теперь они уже многие годы торжествуют вдвоем, потому как в этой женщине, рожденной в пламени, огонь любви к нему разгорается с каждым годом сильнее. Сие он знал точно.

Сильвестр подошел к Катерине, обнял ее со спины, прижал к груди, и они долго смотрели на огонь вместе и видели общее — себя в природном естестве. Молча они ушли из кузни и вошли в избу. И там, в уединении, дали волю своей горячей страсти. Ловкие Руки Катерины раскинули на ложе чистые простыни. Потом же она скрылась за печью, сняла одежды, обмыла теплой водой груди, живот и все ниже, и пока натиралась благовониями, побудила раздеться Сильвестра. И он совершил обряд чистоты. Катерина ждала его на ложе, нежилась в ожидании мужа. И он опустился рядом. Он поцеловал ее девичьи груди и жаждущие губы, и счастливые, пламенеющие глаза. Он готов был утонуть в своей возлюбленной семеюшке, и смеялся и ликовал. Да Катерина, горя от нетерпения, побудила Сильвестра спрятать детородный уд в материнском лоне. И они предались забвению. И одному Богу было ведомо, сколько времени они блаженствовали и, казалось, что конца не было видно их жажде близости. И было похоже, что они забыли обо всем на свете. Ан нет. Все было проще и мудрее. Они свершали свой ритуал пред долгим расставанием. Так уж у них повелось в течение всех лет супружеской жизни, потому как помогало беречь себя в разлуке от бесовского наваждения. А дело у них всегда оставалось главным.

И когда день склонился к вечеру, Катерина собрала Сильвестра в дорогу, как и прежде, положила в дорожную суму все, что нужно путнику в долгом пути по диким местам. И про чистое исподнее белье не забыла, и баклагу с вином уложила, чтобы поддерживать в пути силы.

Расставались они в тот час, когда на землю опустилась ночь. Они увидели слева серпик народившейся луны и оба подумали, что это к удаче. На прощание Сильвестр сказал:

— Как вернусь, помчим в Казань. Ксюшеньку хочу обнять и подержать на руках, в глазыньки посмотреть.

Катерина легко ударила мужа по плечу.

— Господи, зачем травмишь душу. Уж я-то и вовсе извелась по доченьке. Но в благости Ксюша, хранимая отцом нашим Гермогеном.

Сильвестр поцеловал Катерину, молча поднялся в седло и, не оглядываясь, покинул двор. Конь ступал тихо по мягкой земле, и никто не слышал, не видел, как ведун, в какой раз, покинул ночью свой дом.

Катерина еще постояла у крыльца, закрыла конюшню и поднялась в дом, моля Бога о том, чтобы сохранил в пути ищущего истину, и прочитала молитву о путешествующих.

Глава третья

ИЗГНАНИЕ

Князь Федор Романов знал, за кого молить Бога о сохранении жизни. Он не сомневался ни минуты в намерении царя Бориса лишить его живота. Будь на то воля Бориса, он бы не только его, Федора, отправил на плаху, но и всех братьев послал бы на казнь, а прежде всех отрубил бы голову князю Александру. Но Всевышний лишил царя Бориса той воли и наградил его вдвойне патриарха всея Руси Иова-боголюбца. И когда на совете Боярской думы боярин Семен Годунов сказал, что злоумышленники братья Романовы заслуживают казни, что, казнив их, государь заслужит благодарность россиян, когда царь Борис встал, руку поднял, призывая Боярскую думу к вниманию и хотел уже сказать невозвратное слово, сидевший рядом с царем патриарх тоже встал и поднял патриарший посох, трижды стукнул и властным голосом произнес:

— Именем Господа Бога слушайте, дети мои, слово архиереев русской православной церкви. Мы, радетели за душу помазанника Божия царя Бориса, склонны к тому, чтобы наш государь всегда был милосерден и не казнил несправедливо, но миловал во благо себе и державы. Грех Романовых очевиден, отравные зелья попусту не хранят. Но мера их греха такова, что заслуживает токмо отлучения от града престольного и покаяния в молитвах. Вижу одну праведную меру: удаление Романовых в дальние обители, дабы там очистились от дьявольского промысла и обрели Господа Бога в душах. Инших сидельцев, по родству и

свойству близких к Романовым, милостью согреть царской и отпустить по домам с Богом.

Святейший хорошо знал право церкви, право патриарха — духовного отца всех россиян. И потому был тверд и добился своего: смертные приговоры не были вынесены Боярской думой. Она хотя и утвердила обвинение Романовых в том, что они пытались достать царство, но согласилась с патриархом: сослать виновников в отдаленные монастыри и скиты. В одном Дума не вняла голосу первосвященника. Вместе с родом Романовых сослались князья Сицкие, Черкасские, Лыковы, Салтыковы, а с ними многие из дворовой челяди.

Князь Федор Романов был приговорен к пострижению в монахи и ссылке в Антониево-Сийский монастырь Двинской области, в дикие северные места. Жена Федора, Ксения, тоже была пострижена в монахини и сослана в Заонежье. Два брата Федора сослались в Пермскую землю. А богатыря князя Михаила отправили в тюрьму сибирской Наробы и там приковали цепями к стене.

Царь Борис не пощадил даже малолетнего сына Федора Романова Михаила, коему в эту пору едва исполнилось четыре годика. Его отлучили от матери и сослали в Вологодскую землю вместе с князьями Черкасскими.

Вскоре же после приговора всех осужденных спешно и тайком, в ночную пору вывезли из Москвы и под конвоем погнали в места заточенья. Но как не были хитры и осторожны слуги царя и дьяки Разбойного приказа, им не удалось провести россиян. У Романовых и их сродников в Москве оказалось много сторонников и друзей. И видели приставы конвоя, как за ними шли до застав сотни москвитян. Когда же горожане спрашивали, куда гонят опальных, приставы отвечали и не скрывали, в какую землю держат путь. И только приставы, которые сопровождали возок с Федором Романовым, вели себя неприступно, и кое-кто из москвитян получил плетей. Сильвестр не показывался конвою на глаза и сопровождал его в отдалении до Дмитрова, до Калязина, до Мологи. За Мологой, когда конвой шел уже берегом Шексны, с Сильвестром случился казус. Он уже вывел коня с постоялого двора, чтобы ехать вслед за конвоем. Но к нему в этот миг подъехали два стрельца и один из них, уже в годах, с сивой бородой, потребовал от ведуна:

— Ну-ка назовись! Да не лухти!

— И назовусь, — не дрогнув ответил ведун. — Да ежели ищете рудого, то скачите вслед ему, там и увидите близ конвоя.

А пока стрельцы переглядывались меж собой, недоумевая, Сильвестр покинул постоянный двор и легкой рысью двинулся по дороге на север. Он ехал и думал о том, кто выследил его. И вспомнил, что в Дмитрове видел Бартенева второго. А тот знал, кто такой Сильвестр, и, поди, донес, кому следует. И теперь его ищут. Да вот уже и нашли. Что ж, решил Сильвестр, пока он не узнает, куда гонят князя Романова, не свернет с пути, даже если за спиной будут стражи.

Так и ехали весь день: Сильвестр — впереди, а за ним на расстоянии в двадцать сажен — стрельцы. Вот уже и Шексна ушла влево. Дорога вкатилась в мрачный еловый лес, где за каждым деревом можно было скрыться. Но Сильвестр спокойно продолжал путь, и, похоже, стрельцов это устраивало. Они были уверены, что это и есть сам Сильвестр, коего они ищут, и теперь сочли, что он у них в руках. Они разговаривали меж собой, и каждое их слово на лесной дороге, словно по трубе, долетало до ушей Сильвестра.

К вечеру молодой стрелец проявил беспокойство.

— Улизнет он от нас, дядя Кузьма. Заарканить бы...

— И заарканим. — Старый стрелец знал, кто такой Сильвестр, и побаивался его. Потому и не торопился «арканить». — Вот как вызнаем куда путь держит: ежели пойдет на Антониево-Сийский — берем в хомут, а нет, так пусть идет с Богом на все четыре стороны.

Эти слова старого стрельца пришлось по душе Сильвестру. Выходило, что он не больно-то рьяно служил царю Борису.

Лесная дорога, наконец, выбежала на простор и пролегла через огромный луг, по которому изредка поднимались островки кустарника. Прямо перед собой, почти на окоме, Сильвестр увидел конвой, сопровождающий князя Федора, которого гнали, Сильвестр теперь это знал, в Антониево-Сийский монастырь. И подумал ведун, что ему нет нужды следовать за конвоем до реки Сия, а разумнее вернуться в Москву. И когда миновали луг, и сумерки спустились на землю, и кустарник потянулся вдоль дороги, Сильвестр призвал на помощь благих духов и попросил их опустить на землю туманы, окутать ее. И они вняли голосу блаженного ведуна. Из кустарников на дорогу, словно молочная река, пополз густой белый туман. Он был такой плотный и так внезапно надвинулся, что Сильвестр вместе с конем растаяли в нем мгновенно. Но он не погнал коня вперед, а резко свернул в сторону и скрылся за купинами кустарников, замер. Цокот копыт на дороге остался.

Стрельцы в сей миг переполошились. И старый Кузьма крикнул:

— Удерет, шельмец! Слышишь, помчал?

— Слышу, дядька, слышу!

— Догнать! Схватить! Заарканить! — сполошно кричал

Кузьма.

И ретивые стрельцы вслепую помчались неведомо куда.

Сильвестр дождался, когда утихнет стук копыт, повернул коня назад, выехал на луговину и там свернул вправо. Видел он, как ехал лугом, вдали селение на косогоре. Там Сильвестр и решил найти пристанище на ночь.

По летней поре конвой, сопровождающий Федора Романова, двигался медленно. В каждом селении, кои изредка попадались на пути, стражники на сутки останавливались, отдыхали сами и давали князю размять ноги. Его выпускали из возка, и он прогуливался час-другой под надзором стражей, а на ночь его вновь сажали на цепь. Князь страдал от унижения, но был терпелив и хранил молчание. К месту назначения конвой добрался лишь к празднику святой иконы Владимирской Божьей Матери. В этот день по дороге, ведущей в Антониево-Сийский монастырь, шли богомольцы. На берегу озера Михайлова они садились в большие лодки, и монахи доставляли их на Антониев остров. Там, в церкви Святой Троицы, звонили колокола, звали христиан на богослужение.

Когда конвой прибыл к монастырю, князь Федор выбрался из возка в угнетенном состоянии духа. Его не радовало торжество в честь Богородицы, он не замечал тихой прелести северной природы. Его, сильного и деятельного человека, дальний путь и бездействие довели до оупения. Он не поднимал глаз, не хотел обозреть красу первоизданного края. А она здесь торжествовала всюду. Само озеро Михайлово окружали хвойно-березовые леса. Но белоство-лых красавиц было больше, и лес был светел, как храм в праздничный день.

Монастырь едва виднелся вдали. Высились крепостные стены и сторожевые башни по углам, за стенами поднимались две церкви, каменная и деревянная. Кто-то из стрельцов даже позавидовал князю Федору, проча ему благую жизнь в монастыре. Но Федор не питал надежды на это. Он знал, что ждет опального вельможу в монашеской среде. Князя посадили в большую лодку-завозню, за весла сели стрельцы, ими командовал десятский Матвей. Стрель-

цы гребли неумело, вразнобой ударяя веслами по воде, десятский на них зло ругался.

Крутая тоска подступила к самому горлу Федора, перехватила дыхание. Увидев вокруг себя зеленые воды, князь почувствовал боль в сердце. Злая воля разрывала его жизнь на две половины, на прошлое, которого у него уже нет и на будущее, которое лежало во тьме. Все, что связывало его с большой землей, с Москвой, с близкими, оставалось на удаляющемся берегу, а впереди — постриг в монашество, чужое имя, убогая келья — все, чему противилась его деятельная и общительная натура. И никто не мог открыть князю окно в завтрашний день, никто не мог сказать, сколько лет ему суждено провести в заточении. А то, что ему грозило заточение, а не обычная монашеская жизнь, он знал доподлинно. Стражи во главе с десятским, что были поставлены при нем, везли грамоту Разбойного приказа и повеление царя содержать осужденного князя Федора Романова в оскудении злобном, в каком должно пребывать татю. А царские повеления в монастырях блюлись строго. Так повелось издавна: когда государи преследовали кого и ссылали в монастыри, там им не было милости.

Так оно и было с князем Федором. Едва он сошел на берег, как стражи взяли его за руки, заломили их и при стечении многих богомольцев повели за монастырские стены. Там же десятский Матвей вручил игумену Арефу, который вышел встречать москвитян, грамоту. Ареф прочитал ее, печально посмотрел на князя и боярина Федора Романова, о роде которого знал многое, и молча направился в церковь. В церкви Ареф распорядился принести ножницы, монашескую сутану, клобук и другую одежду. Ножницы он вручил десятскому Матвею. И тот, мучимый совестью, со словами: «Ты уж меня прости, боярин», не поднимая на князя глаз, велел поставить его на колени. И тут Федор проявил непокорство, взбунтовался против насильственного пострижения. Легко оттолкнув от себя стрельцов, бросился бежать из храма, но во вратах храма наткнулся на других стрельцов и в грудь ему была наставлена сабля. Десятский со стрельцами подбежали к нему, схватили и после короткой схватки одолели, повели к амвону, и там Матвей, забыв о муках совести, набросился на Федора, занес ножницы.

Но в сей миг Ареф воскликнул:

— Остановись, воитель!

Матвей удивленно глянул на игумена.

— О чем скажешь? Обряд нарушаю?

— Нарушаешь, сын мой. Ему слово, — и Ареф показал на Федора. — Сын мой, тебе жить в обители, хочешь ли ты моей рукой постриг?

— Милостью прошу, — ответил Федор.

— Повторяй же, — повелел Ареф и начал читать обеты нестяжания, целомудрия и послушания.

Князь Федор все послушно повторил и подставил игмену голову. Ареф взял ножницы и отстриг с головы князя пук волос.

— Да нарекаешься отныне, сын мой, именем Филарета. Приемли и не взыщи.

После этого Федора переодели в монашеские одежды и повели из церкви в низкое деревянное строение, где располагались монашеские кельи. В конце длинных сеней перед Федором распахнули окованную полосами железа дубовую дверь, подтолкнули его в полутемное помещение и закрыли за ним двери, лишь звякнула дверная задвижка.

И Федор-Филарет оказался в келье, похожей на тюремную сидельницу.

В келье не было ни образа, ни лампы. И скудно: скамья, на ней — тюфяк из рядна, набитый мхом — и все убранство.

Федор-Филарет опустил на скамью, прибитую к стене, и застыл, словно мертвый. Да мертвый и есть. Потому как дух его был сломлен и растоптан сапогами гогуновских стражей. И нет уже в миру Федора Никитича Романова, первого российского боярина, князя, племянника царицы Анастасии, первой жены Ивана Великого, а есть инок Филарет, человек, неведомой впредь судьбы. Осознав всю горечь положения, смирившись с новым именем, Филарет долго сидел без дум и желаний, не ощущая слез, которые стекали на бороду. Прислонившись к стене, он впал в забытье. Сколько он пробыл во тьме, сие сокрыто, но когда пришел в себя, то увидел в келье двух старцев-инок. Они принесли лампаду и образ архангела Михаила, хранителя душ православных христиан. Образ и лампаду они повесили в передний угол на кованые гвозди, зажгли фитилек лампы, помолились и молча ушли. Но вскоре вернулись, принесли кувшин с водой, ломоть ржаного хлеба, луковицу и соли в деревянной солонке. С Филаретом они так и не заговорили, но пока были в келье, он слышал их монотонное и неразборчивое бормотание молитвы. Исполнив свое дело, они покинули келью. И снова двери были заперты на задвижку.

Так начиналось заточение Филарета. В первые дни его выводили лишь по утрам на общую молитву и на хозяй-

ственный двор, где позволяли колоть дрова. Все остальное время суток он проводил в келье, и долгое время его никто не тревожил, лишь раз в день ему приносили скудную пищу и воду все те же два молчаливых инока-старца. Да Филарет и не замечал, кто к нему приходил. Но он не замечал и главного, пожалуй, самого страшного — своего духовного опустошения. В келье он не молился Богу. Потому как забыл все молитвы, не осенял себя крестным знамением и не испытывал в этом нужды. Он даже пищу принимал с полным безразличием.

В эти первые дни и недели заточения Филарета произошли немалые перемены и в жизни Антониево-Сийской обители. Ее ворота были закрыты для богомольцев. И у ворот теперь вместе с монастырскими привратниками несли караул московские стрельцы с огненной зброей в руках. Монастырь стал тюрьмой, и всем монахам и даже игумену Арефу не разрешали разговаривать с иноком Филаретом.

Всего этого Филарет не знал. Но позже, когда постепенно успокоился, смирился с обстоятельствами жизни, увидел, в каком состоянии неприязни приходили к нему иноки-старцы, он понял, в какое оскудение быта он вверг своим появлением монастырскую братию. Монахи порицали Филарета. И лишь однажды один из иноков-старцев, посещавших его келью, страдающий за Филарета, несущего тяжкий крест опалы, нарушил запрет молчания, принес ему молитвослов и коротко сказал:

— Пробудись, брат мой, читай и моли Всевышнего о милосердии.

Потом Филарет скажет, что ежели бы не эти слова ободрения, изошел бы он тоскою и наложил на себя руки, потому как побуждение к тому приходило не раз.

В тот день перед сном Филарет впервые встал на колени пред образом Михаила-архангела и сперва как-то робко, будто впервые, а потом все усерднее стал молиться. И пробудилась память, он вспомнил каноны и молитвы, да больше те, с которыми в трудные минуты жизни обращался к Господу Богу. И первым каноном, коим откликнулась его душа на призыв инока-старца, был канон покаянный.

— О, горе мне грешному, — молился страстно Филарет. — Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачусия дел моих горько...

И пролились слезы облегчения, на душе стало светлеть, и, дабы сохранить проблески обновления, Филарет вознес

к небесным Святым Духам канон покаяния Ангелу Хранителю:

— Все помышление мое и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякие мя напасти избави...

Наступила глубокая ночь, а Филарет все молился, и память его очистилась от замутнения, все молитвы, кои он выучил в отрочестве, открывались ему, как на страницах книги. И очищалась душа его от всякой бесовской скверны, от жестоких и безрассудных побуждений, от злобы и жажды выместить ненависть на преследующих его. И уже под утро, встав с колен на одеревеневшие ноги, он тут же упал на скамью и, прошептав: «Господи, спаси и сохрани», — уснул в сей же миг, и так крепко, как никогда не спал последние месяцы жизни.

И было в том благостном сне Филарету явление многоликое. Да первым сошел к нему архангел Михаил — хранитель и заступник. Поначалу Филарет засомневался: он ли? Но потом узнал его. Он увидел, что архангел препоясан и сабля на боку висела, потому как служил он у Всевышнего в архистратегах. И крылья виднелись у архангела за спиной. Все, как и положено иметь Святому Духу. Он же сказал Филарету:

— Зачем, сын Божий, забыл о своем заступнике? Сколько ден и ночей провел в келье, а только ноне преклонил колени и помолился пред образом моим.

— Прости и помилуй, заступник-хранитель, — взмолился Филарет. — Грешен, и пребывал во власти бесов.

— Слушай теперь во благо спасения. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумлением твоим. Истинно любящий Бога презирает славу, богатство и все утехи мира считает за ничто. Проси Всевышнего быть всегда с тобой. И Он будет страдать с тобою вместе, и ты обретешь блаженство.

— Внемлю тебе, ангел-хранитель и архистратег Всевышнего. Но враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творить своя хотения. Но ты, наставник мой, не оставь меня, погибающим, — умолял Филарет архангела Михаила.

— Аминь! — ответил Святой Дух и улетел, лишь шелест крыл отметил его полет.

Еще и пот с лица не успел смахнуть Филарет после беседы с архангелом Михаилом, как послышался тонкий, взывающий о помощи детский голосок. Филарет в сей же миг узнал своего Мишеньку, а тот кричал в ночи: «Батюшка, спаси, родимый!» Голос прозвучал близко, а тот кричал

будто бы на речке погибал. И Филарет ринулся спасать его. Ан не тут-то было, вырос пред ним десятский Матвей. «Не пушу! Не велено!» — зыкнул он. «Сынок там, сынок на погибель брошен!» — и ответ — нацеленный в грудь бердыш. Матвей был ловок и силен, прижал Филарета к стене древком бердыша, потребовал: «Деньги давай, а там иди!»

Филарет взялся искать по карманам деньги, а там одни камни. В сей миг голос Миши оборвался на полуслове: «Батюшка, спа...» И десятский Матвей развел руками, в голубых глазах даже слезы появились: «Я же говорил, деньги давай». Филарет сказал: «Вот возьми», — и раскрыл ладони, в которых держал камни. Там же по десять ефимиков лежало. «Эвона, благо какое! — воскликнул Матвей. — Спасу я твоего сына!» — и убежал.

Матвей показался Филарету лукавым бесом. Он опустился на колени перед свечой и зашептал: «Господи милостивый, зачем Тебе понадобился мой сынок? Верни его мне, милосердец. Я обездолен, лишен воли и семьеюшки! Оставь мне сынка, Всемогущий». Да перестал стенать, потому как почувствовал, что на плече у него лежит чья-то рука. Посмотрел он влево — никого, вправо глянул — рядом ведунья Катерина сидит, такая же молодая, как много лет назад в лесу за Звенигородом. «Не печалуйся, князь любый. Сон тебе неверный пришел, — сказала ласково Катерина. И рукой провела по лицу Филарета. — Видишь сынка, он рядом с княжичем Иваном Черкасским сидит за трапезой». — «Вижу, вижу, Катенька! Дай Бог тебе здоровья. Да ты все тако же молода и красива, как в ту пору...» — А я и есть из той поры. — И Катерина снова провела рукой по лицу Филарета. — Ты вот чему внимай, князь любый, приласкай Матвея. Денег ему пообещай и дашь, как тебе их пришлют тайно. Он же страдает от бедности и жалостивый». «А что сие даст, Катюша?» — спросил волнуясь Филарет. «От доброты своей солнце увидишь. И людей подобных себе найдешь, добротой одаренных. Душа в покой придет, как в храм дорогу обретешь, как руками к работе прикипишь». «Смогу ли я подняться?» — печально спросил Филарет. Катерина еще раз рукой провела по лицу Филарета. «Сможешь. Видишь дуб вековой, под коим я нарекла тебе будущее. Все и сбудется, как с верой и стойкостью по жизни пойдешь. Все через терпение придет». Филарет еще дубом любовался, себя и Катерину под ним видел. А она встала и тихо ушла, дверь скрипнула.

В тот же миг Филарет проснулся, со скамьи поднялся, за ручку двери ухватился. Она была крепко закрыта. И

стало Филарету жутко от всего, что пришло ему во сне. Но по здравому размышлению он понял, что сон, пришедший в ночь на четверг, вещей и страшного в нем ничего нет, наоборот: уж коль явилась Катерина и все расставила по своим местам, то так тому и быть. К тому же Мишеньку, сыночка, показала и княжича Ивана — тоже. Как тут быть в сомнении и печали?

И Филарет встал на утреннюю молитву. Пока молился, за маленьким оконцем пробился рассвет и в силу пошел, ночи-то по северу в эту пору еще короткие. Филарет подумал, что в монастыре уже не спят и постучал в дверь. Но никто не отозвался. Спустя немного еще раз постучал. К двери, похоже, подошел стрелец, спросил:

— Чего тебе?

— Слушай, родимый, позови десятского Матвея, Христом Богом прошу!

Стражник не ответил, но шаги его удалялись долго. Прошел, может быть, час или два, Филарет не знал времени, и вовсе неожиданно для него загремел засов, дверь распахнулась, на пороге возник Матвей.

— Вот я пришел. Что тебе нужно? — Матвей не смотрел на бывшего боярина, а взирал на образ Михаила-архангела.

— Войди в келью, служивый, и двери закрой, — попросил Филарет.

Матвей вошел в каморку, дверь закрыл, к косяку прислонился.

— Ноне сон мне пришел, — начал Филарет, — явилась в келью ясновидица Катерина и сказала о тебе. Ты, говорит, живешь в бедности, потому как чадами обременен и службой тяготишься, не мздоимствуешь, ибо совестлив. Да говорит Катерина: помоги ему из нужды вылезти, а он тебя на солнце выпустит. Говорю истинно. — И Филарет перекрестился. — Правда ли сие, Матюша?

— Дивно сказал, — удивился десятский и признался: — Что уж там, все сие есть правда. Да проку ни в твоём, ни в моем откровении не вижу.

В Филарете вспыхнул тлевший природный дар умения попросту обращаться с кем угодно.

— Полно, Матюша, я за добро всегда добром плачу. Царь-батюшка меня не совсем разорил, и други верные есть, кои помогут. Потому и тебе окажу помощь, избавлю от маяты нищенской, слову моему поверь. Я вот ожил после нынешних явлений и работать хочу во Благо Господа Бога. Потому и прошу: прояви ж милость.

— Знаю твое слово, боярин, и верю. Да ведь меня живота могут лишитъ лютой казнью, ежели волю тебе дам.

— Передай сие Арефу, вместе помаракуйте. А я с острова — ни ногой! — заверил Филарет.

Матвей долго о чем-то туго соображал, сказал же коротко:

— Ладно, жди моего слова. — С тем и ушел.

И Филарет стал ждать этого «слова». Но дождался его не скоро. Да верил, что Матвей сделает для него посильное. И потому ожидание было деятельным. День за днем он учил молитвы, запоминал их. А однажды ранним утром у Филарета появилось желание написать свою молитву. Были сомнения: как дерзнуть на подобное, не порочно ли сие желание? Попросил Всевышнего просветить ум и остановить от ложного шага. Всевышний молчал. И Филарет принял сей знак за одобрение, попросил принести ему бумаги, чернил, перо. А как получил все, взялся сочинять молитву. Давалась она трудно. Филарету еще не хватало душевного равновесия. Однако он был упорен. И однажды ночью в его душе зажегся невечерний свет и осветил всю жизнь Филарета, все его деяния. Они были разные, да высветились и такие, кои вели к греховности. Филарет понял, что есть у него только один путь — к покаянию и очищению. Должно вымолить у Всевышнего прощение за все, к чему толкали бесы, за блуд и измену супружеским узам, за бранное слово, за рукоприкладство, а прежде всего за тьму грешных мыслей, за слабость веры, потому как многожды открывал свое сердце демонам и всякой другой нечисти. Обо всем этом Филарет излил душу коленапреклоненно, пред иконою и лампадой.

— Господи! Не знаю, что просить у Тебя! Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя! Отче! Дажь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою. Сердце Тебе мое отверсто. Ты зришь нужды, которые я не знаю, зри и сотвори по милости Твоей. Порази и испепели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желанія, кроме желанія исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь. — И Филарет многожды сделал земные поклоны, и продолжал изливать душу, ощущая всем существом своим ее полноту молением. — Милосердный Господи! Пошли благость Твою в грешное сердце мое, да

испелит сила Твоя Божественная всякое терпение в нем по благоволению Твоему! Нищ и убог есмь, но Ты помози мне. Аминь!

Филарет не озирался на темные углы кельи, но знал, что в сей миг там пребывают Святые Духи, архангел Михаил-хранитель и архангел Рафаил-целитель, и радовался тому, что они посетили его в час очищения. И продолжал разговаривать с Всевышним:

— Многомилостив Господи! Сподобь нас Божественного дарования святой молитвы, изливающейся из глубины сердечной, собери рассеянный ум мой, дабы всегда стремился он к Тебе, Создателю и Спасителю своему; сокруши разженные стрелы лукавого, отторгающие нас от Тебя, угаси пламень помыслов, сильнее огня пожирающий нас во время молитвы, осени нас благодатию Пресвятого Духа Твоего, дабы до окончания нашей греховной жизни Тебя Единого любить всем сердцем, всею душою и мыслию, и всею крепостью и в час разлучения души нашей от брэнного своего тела. О, Иисусе Сладчайший, прими в руке Твои души наши и помяни нас егда приидеши во Царствии Твоем. Аминь!

В сей миг предельного напряжения, когда закончил складывать свою молитву, Филарет впал в забытье. И тогда архангелы Михаил и Рафаил подошли к иноку, взяли его под руки, помогли встать и вывели из кельи на монастырский двор. Следом за Святыми Духами шел десятский Матвей.

Стояла августовская полночь. Звездное небо то тут, то там прочерчивали души проживших в чистоте деяний, теперь почивших и возносящихся в Эдемов Рай.

Филарет вздохнул полной грудью, ощутил несравнимое ни с чем чувство свободы и заплакал от счастья, так истрадался он по свежему воздуху ночной поры. Он был уже один, архангелы его оставили.

Монастырь спал. Филарет неторопливо направился к деревянной церкви, дабы возблагодарить Бога. Он был спокоен и уравновешен. И возблагодарив Всевышнего за подарок судьбы, он помолился за спящих иноков Антониево-Сийского монастыря, попросил Спасителя, чтобы послал обители мир и благодать.

Инок Филарет еще не ведал, что с этой августовской ночи, принесшей неисчислимые беды россиянам, начинался новый отсчет его жизненного подвига. И по всей державе люди еще пребывали в неведении своего сурового будущего.

А в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое августа случилось то, чего Русь не испытывала никогда в своей много-

вековой истории. Над центральной Россией разверзлись тверди небесные, повалил снег и ударил мороз. И все поля, луга, сады, огороды, леса, реки заковало льдом. Три дня шло умирание природы, которая к этому времени была готова одарить россиян богатым урожаем. Когда же через три дня мороз схлынул, снега и льды растаяли, стало очевидно, что державу ожидает великая беда — небывалый голод.

...Усердно помолившись, Филарет вышел из храма и увидел стоящего на паперти Матвея. Он смотрел на Филарета открыто и с уважением. Романов подошел к нему и Матвей сказал:

— Зачем ты сокрыл от меня, как просил воли, что за тобой святые силы стоят?

— Сын мой, хвала себе — великий грех, сатаню внушаемый.

— Ты теперь гуляй вольно по островам, кои на озере есть. О том просили меня Святые Духи, кои явились мне ноне в ночь. Да с ними была блаженная, обликом огненно-рыжая.

— Что она тебе поведала?

— Токмо показала. Да ведома она мне. И потому прошу тебя, боярин, о милости. Накажи ей, дабы сына мово Антона-отрока в услужение взяла.

— Накажу, как из Москвы человек придет. И во благо Антону-отроку желание твое проявилось. Теперь же иду твоим словом волей дышать.

И Филарет сошел с паперти, направился к роще.

Глава четвертая

ИСЦЕЛЕНИЕ

В послушании и молитвах прошли три года заточения Филарета Романова в Антониево-Сийской обители. В эти годы Филарет много читал, познавал истоки христианской веры. Он смирился с тем, что судьба уготовила ему сан священнослужителя. И потому хотел быть сведым во всем, что связано с православной, греческого закона церковью. В монастыре он нашел много книг об этом. Находились и такие, которые были написаны во времена Киевской Руси или привезены в Киев из Византии, а теперь каким-то чудом оказавшиеся в северных краях России.

Чтобы прочитать книги греческого письма, Филарет постиг греческий язык. И был доволен тем, что узнавал ис-

торию православной христианской религии по первоисточникам. Он познал труды богослова, философа и историка, известного церковного сочинителя Михаила Пселла, жившего в одиннадцатом веке. Сочинения архиепископа Солунского Евстафия «Рассуждения о необходимости исправлений в монашестве» открыли ему глаза на многие стороны монастырского быта. За прошедшие годы заточение Филарета стало терпимым. Годуновы о нем, похоже, забыли и никто не притеснял его монастырской свободы. Матвей получил обещанное вознаграждение. Привез деньги келарь монастыря, который ходил в Москву с обозом мороженой рыбы. Катерина, которую келарь нашел, передала ему не только деньги, но выполнила другую просьбу Филарета, взяла в услужение сына Матвея Антона и попросила Сильвестра учить его торговому делу. В Москве они в ту пору не задержались, снова уехали в Казань.

В начале второго голодного лета Матвей со стрельцами был отозван в Москву. И теперь за Филаретом по поручению игумена Арефа надзирали только монастырские служки. Он им не доставлял хлопот, потому как был самым послушным и исполнительным монахом и проявлял много рвения в служении Господу Богу.

Однако в Филарете подспудно еще многое оставалось и от прежнего удалого князя Федора Романова. Переболев из-за отлучения от мирской среды, он сохранил жизнелюбие. А его человеколюбие проросло христианским милосердием. Он болел душой за каждого страждущего. Князь Федор был любознательным в постижении ученой премудрости, и Филарет не растратил сей дар, но умножил его.

Однажды Филарет задумал узнать, с чего начинался Антониево-Сийский монастырь. И дотошно исполнил свое желание. Он нашел в монастыре старцев, которые хранили предание об основателе обители преподобном Антонии и в часы свободные от бдения и молитвы они рассказывали Филарету доподлинную жизнь подвижника. И Филарет возлюбил Антония, свершившего подвиг во имя веры.

В миру Антоний именем Андрей, был сыном земледельца из села Кехты, кое лежало в тридцати верстах от Архангельска. С детства у него пробудилось влечение к живописи, и он пристрастился писать иконы. А повзрослев, после кончины родителей, ушел в Новгородскую землю, там вступил в услужение к боярину, который держал иконописцев. В дворне боярина он встретил милую девушку и соединился с нею в церкви венчанием. Да недолгим был путь рабы Божьей Аглаи по земной юдоли. Господь взял

ее к себе за ангельскую кротость. Андрей пред алтарем поведал, что видел, как душа его любимой супруги вознеслась в царство Небесное. Овдовев, Андрей принял обет безбрачия и служения Богу. Он вернулся в родную Кехту, роздал бедным имущество, кое осталось от родителей и ушел искать обитель, чтобы принять там постриг.

Однажды, после долгого дневного пути, Андрей уснул в лесу под разлапистой елью и во сне увидел святого мужа. Тот сказал ему: «Ведаю, ты хочешь посвятить себя служению Богу. Иди в Пахомьеву пустынь. Зри на главную ночную звезду и придешь на реку Кену». Андрей поверил в сновиденье и отправился в путь, все на север по Полярной звезде. Добрался до реки Онеги, вышел к реке Кене и там нашел Пахомьеву пустынь. Порадовался, потому как без явления святого мужа блуждал бы во тьме лесов.

Как исполнилось тридцать лет, Андрей принял монашеский сан и взял себе имя Антония. Нраву неугомонного, он искал место для подвига. И пробыв в Пахомьевой пустыни совсем немного, уговорил двух иноков, Иоакима и Селесандра, и ушел с ними в дикие леса. Остановился вначале на реке Шелексе и основал там пустынь. Три подвижника за зиму срубили церковь во имя Святого Николая Чудотворца, поставили зимник.

Филарет искренне восторгался подвигом подвижников и не ведал еще, как обернется все то, что он узнавал о преподобном Антонии. Но за радение о святом старце он уже ощущал благо: монахи относились к Филарету почтительно.

О новой церкви на реке Шелексе прослышали в округе. И потянулись к ней богомольцы. Многие же остались в пустыни, приняли иночество. И зародился новый монастырь. Да крутого нраву оказались крестьяне ближней к монастырю деревни, не дали земли монахам под хлебопашество. Антоний осердился на них и ушел. На прощание сказал: «Живите ни голо, ни богато».

Он добрался до реки Си, здесь нашел озеро Михайлово с островами. Ему полюбилось это озеро, окруженное светлыми лесами. В печальной красе озера было что-то таинственное. В нем водилось множество рыбы, была и красная — кумжа. Узрев вдаль большой остров, Антоний решил до него добраться и заложить там новый монастырь. А пока построил на берегу озера келью и жил в ней. А как пришли однажды к озеру богомольцы, так нашел среди них доброхотов и послал их к великому князю всея Руси Василию Ивановичу с прошением возвести на острове Михайлова озера монастырь.

Еще не ведая, чем закончился поход северян в Москву, Филарет догадался, что великий князь Василий Иванович, отец Ивана Великого, благословил доброхотов. Так оно и было. Прислал великий князь Антонию грамоту жалованную и церковной утвари воз на обзаведение. То-то было радости у Антония. Да тут же он по льду перешел на остров и принялся рубить церковь в честь Святой Троицы.

Антоний стоял игуменом основанного им монастыря тридцать семь лет и преставился в 1557 году, спустя год после рождения Федора Романова. И зародилась у Филарета жажда отметить свое пребывание на острове хотя бы малым подвигом в честь преподобного Антония.

Неподалеку от монастырского острова поднимались два малых острова — Дудинцы и Падун. Сказывали Филарету старцы, что на Дудинце два года прожил отшельником сам Антоний. И было это в ту пору, когда он отказал братии встать над ними игуменом. Антоний ушел на остров по льду, взяв с собой лишь топор и суму с харчами. Там срубил келью. А пока рубил, жил в землянке. К нему многожды приходила монастырская братия, просила его вернуться в монастырь, избавить их от сиротства. И каждый раз Антоний отказывался встать над братьями. И лишь спустя два года его упросили вернуться в обитель и быть среди братии простым иноком. И Антоний вернулся. Да вскоре же услышал в ночи плач монашеский: просила братия Всевышнего вразумить Антония встать игуменом. Он же внял этому плачу, взял на себя отцовские заботы. И простоял преподобный Антоний игуменом до конца дней своих, почитаемый и любимый братией.

Добравшись в лодке до острова Дудинцы, Филарет нашел келью. Она уже подгнила местами, но жить в ней еще можно было. Осмотревшись, Филарет выбрал неподалеку холм, с коего далеко все окрест виднелось. Место для часовни пришлось по душе, и иннок взялся рубить лес, заготовил дубовых колод на поставы. А вскоре положил на них первый тоже дубовый венец часовни в честь преподобного Антония.

Филарет работал усердно. Вставал он чуть свет, а по летней поре северному дню и конца не видно, заря с зарею сходятся, и не выпускал топора из рук, пока из монастыря не приезжали служки и не привозили ему пищу. Покончив с трапезой, Филарет снова брался за топор, рубил углы, выбирал пазы в тяжелых сосновых бревнах. Часовня росла споро и к осени стены ее поднялась под кровлю. И подгоняло Филарета честолюбие. Хотелось ему утвердить свое

имя в Антониево-Сийском монастыре. Знал инок, что в том его желании тайлся грех, а совладать с ним не мог, но молился усердно.

Еще в молодости князь Федор Романов узнал, что честолюбие есть родовое достояние всех Захарьиных, Кошкиных, Романовых, начиная от князя Андрея Кобылы. Да сию толику в ту пору Федор не считал греховной. Ему же лично быть всегда в числе первых меньше всего помогала сия родовая черта. Заслугой тому были ум и деловитость Романова. В отличие от многих московских сверстников, у Романова не было ни лукавства, ни пронырства, дабы достичь державных высот, но во всех деяниях торжествовала честь. Он не позволял себе кого-то оттолкнуть с пути, и уж тем паче — перешагнуть через кого-то, как сие делал Борис Годунов.

И здесь, в монастыре, желание быть во всем первым, но по чести, не осталось незамеченным. После того, как Филарет поставил на острове Дудинцы часовню, игумен Арэф приблизил Филарета к себе, и на четвертом году пребывания в обители он был рукоположен в сан священника.

После трех голодных лет Россия вновь ожила. И снова из Москвы стали следить за ссыльными Романовыми. И грамоты поступали в места их заточения, в коих приставам приказывали «береженье держать большое». Но приставы, корысть имея, чинили Романовым многие мерзости. В Антониево-Сийский монастырь они только наезжали, да и то изредка. Но всякий раз, видя чинное житье священника Филарета, они, однако, искажали суть его поведения и докладывали дьякам Разбойного приказа черную ложь.

В марте 1605 года явился в обитель некий мздоимец Щекин. Он добивался, чтобы Филарет отдал ему нательный золотой крест. Но Филарет не поощрил кощунства пристава Щекина. Уехал пристав ни с чем, а боярину Семену Годунову нажаловался: «Живет старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит всеу про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил, а к старцам жесток, лает их и бить хочет, а говорит старцам Филарет: увидят они, пинков впредь будет».

Когда эта ложь доходила до Филарета, сие не угнетало его, он только улыбался и был выше той клеветы. Да была в грамотах приставов и доля правды: давно вышел он из уныния и радовался жизни. Филарет предвидел время перемен. Он хорошо помнил, сколько лет отвели ведуны Борису

Годунову на царствие. Однажды, после вечерних молитв, Филарет высчитал, что роковая черта на пути Годунова пролегла через апрель 1605 года. Филарет не сомневался, что за этой чертой Годунова ждет не отлучение от трона, а скорая смерть. Причин этой убежденности Филарет не ведал и мысли о том считал кощунственными, греховными, много молился, дабы изгнать беса, толкающего на грех. И ничего не помогало. Филарет радовался каждому минувшему дню, торопил приход апреля. Ругая беса: ах какой упрямец, Филарет улыбался. Что ж, у него было на то основание. Слишком жестоко расправился царь Борис с родом Романовых. За проведенные в изгнании годы в Антониево-Сийском монастыре Филарет узнал немало печального и трагического о судьбе своих братьев. Келари монастыря, кои ходили за товарами в Москву и далее, приносили немало разных слухов. Они же известили Филарета о том, что в Наробе от мук и голода скончался средний брат, богатырь Михаил. Он все пять лет был прикован к стене камеры цепями и кормили его только овсом и чечевицей. В зиму пятого года келари принесли новую жестокую весть. Неведомо как, сказывали они, погиб второй брат Филарета, погодок Александр. Пропал и Василий, умница и гулена. Филарет страдал за братьев, молился Всевышнему, просил, чтобы взял их души в царство Небесное. Здравствовал пока лишь младший брат Иван. И о нем просил Филарет Господа Бога, чтобы сохранил ему жизнь.

Дошли до Филарета вести и о том, в каком жестоком притеснении отбывали заточение князья Черкасские, при которых возрастал сын Филарета Миша-отрок. Мальчик много болел. Приставы часто запугивали его страстями, он рос нервным и трепетал от каждого шороха.

Не было у Филарета причин жалеть царя Бориса. И потому он молился Господу и просил Его исполнить начертанное судьбой. Для себя Филарет в случае кончины царя Бориса желал лишь одного: поскорее увидеть родных и близких, вернуться в родовой дом, вздохнуть полной грудью свободы — вот и все. В нем не было желания пуститься в какие-либо дворцовые игры-интриги. Знал Филарет, что монашеский клобук, прибитый к его голове, не снять и он лишен права быть царем. А если бы не клобук... Он же, Филарет, в родстве с покойным царем Федором, все-таки брат двоюродный. Да сказывали, что, умирая, царь Федор завещал престол старшему Романову. Теперь сие кануло в лета. Потому и вынашивал Филарет желание увидеть на престоле российском царевича Дмитрия. Фила-

рет уже знал, что Дмитрий объявился в Северской земле. Знал и то, что Дмитрий собрал войско в Путивле, что многие воеводы к нему прибились и бояре, дворяне, служилые люди крест ему целовали. Вскоре же и новые вести прилетели на Михайлово озеро: Дмитрий отправился в поход на Москву, дабы взять по праву принадлежащий ему трон. Сказывали, что шел Дмитрий споро, почти не встречая сопротивления царского войска. Оно, рать за ратью, переходило на сторону Дмитрия. В Москве по этой причине весь царский двор, а прежде всего царь Борис, пришли в панику, в стольном граде стояла неразбериха, хаос.

Новые вести приносили Филарету не только монастырские келари и богомольцы. За три ночи до Светлого Христова Воскресения пришел в полночь к Филарету Дух святого Учителя покаяния Ефрема Сирина и спросил Филарета: «Страдаешь ли ты душою за царя Бориса?» «Страдаю», — ответил без сомнений Филарет. «А сердце твое отверзает его?» «Отверзает», — честно сказал Филарет. «Вот он преставился в день святого Мартина-исповедника, ушел без покаяния и причащения святых тайн. Как мне быть, Учителю покаяния?»

Удивился Филарет тому, что мудрый Ефрем Сирин просит у него совета. Ответил: «Помолись за раба Божия Бориса, и я помолюсь. Да тщетно: гореть ему в геенне огненной». «Все так, — согласился Ефрем Сирин. — Да он помазанник Божий и ангелы-судьи сказывают, что ему быть в чистилище. Но не возьмешь из ада, потому как покаяния не было. «И не тщишь брать, Учитель, пусть пройдет очищение в преисподней через все круги ада». «Оно так и будет, — согласился Святой Дух. — Прощай, страстотерпец». — И Учитель обернулся голубем, улетел.

Пятнадцатого апреля 1605 года на утренней молитве в каменной церкви Пресвятой Богородицы к Филарету подошел Игумен Ареф.

— Брат мой во Христе, ноне ночью в час бдения ястреб в часовню влетел и упал на амвоне замертво. Спросил я преподобного Антония, к чему бы сие. Он же велел колоколами попечаловаться. А кто преставился, не поведал. По совету, как быть?

И Филарет попросил прощения у Отца Предвечного. Арефу же дерзнул ответить:

— Звони в колокола, преподобный отец. Вчера преставился государь всея Руси. — Самому Филарету стало жутко от сказанного. Что, ежели все обернется не так, как усмотрел? «Ан нет, не я усмотрел, а Святые Духи сокро-

венное донесли. Как им не верить?! Так и от Господа Бога можно отшатнуться!» — сурово упрекнул себя Филарет. И утвердил сомневающегося игумена:— Звони, брат мой во Христе, звони!

И по утренней заре над Антониевым островом, над озером и вдаль над лесами и рекой Сией разнеслись плачевные звоны. Никто в обители не знал, по ком звонят колокола, потому как ни Ареф, ни Филарет никого не просветили.

Звонарь изливал колокольную печаль долго и усердно. И сей звон был услышан в далеком селе Звозы, и там старенький священник сам поднялся на маленькую колоколенку и сам ударил в стопудовик, тоже стал звонить-печаловаться.

Да было же в тот апрельский день Иверской иконы так, что от первопрестольной Москвы покатались плачевные звоны на все четыре стороны света и в тот же день достигли северных земель. И уже к вечерней молитве долетели до Антониево-Сийского монастыря и обитель узнала, что умер царь Борис Годунов.

Перед вечерней трапезой игумен Ареф при стечении всей братии трижды поцеловал Филарета и сказал:

— Брат мой, ты был чтим мною в иноках и в священниках. Ныне склоняю голову пред тобой за чудотворную силу. Преподобному Антонию я поверил с сомнением. Ты укрепил мой дух. Да хранит тебя Господь Бог долгие лета.

Филарет внимал словам Арефа с благодарностью. От него он не испытывал притеснений за все годы пребывания в монастыре. Да пришло время расставания. И бывший князь-боярин Федор Романов в сердечном порыве опустился на колени и поцеловал руку игумена.

— Спасибо, отец преподобный, ибо я есть твоими молитвами и заботами. В том твое милосердие ко мне.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое апреля, когда шло празднование Светлой Седмицы сплошной и в монастырской церкви состоялась всенощная, Филарет не сомкнул глаз. Он много молился с братией, пел псалмы, каноны, покаянный к Господу Иисусу Христу и молебный Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.

И в эту благостную ночь за молитвами и пением к Филарету пришло очищение и исцеление от греховных мыслей, от черной ненависти к Борису Годунову. Он прощал усопшему рабу Божьему все его грехи, все злодеяния, причиненные роду Романовых. Он прощал Борису и то, что тот захватил трон несправедным путем, оттеснив его, Федора, от трона, как наследника царя Федора по материнской линии — по кике.

На рассвете, который наступил рано, Филарет тихо вышел из храма, из монастыря и долго бродил по острову, размышляя о том, что ждало его в будущем. И пришел к твердому убеждению и намерению остаться на всю отпущенную Всевышним жизнь священнослужителем. Только служение Богу и его детям, россиянам, может дать человеку ощущение всей полноты бытия, — счел Филарет. Как важно в этом суровом мире, в державе, повергнутой в смуту, дать страждущим надежду на вечное блаженство в царстве Небесном после праведных трудов на грешной земле.

Но жаждающая служить Господу Богу, Филарет не думал заточить себя в монастырских стенах. Он хотел быть священнослужителем белого духовенства. Ничто земное ему еще не было чуждо. И он слишком любил жизнь такую, какая она есть. Он любил семью, детей. Где-то за Белозером была в ссылке его жена. Он тосковал по своей Ксении-костромичке. В прежние годы кто-то пускал слухи, что его, Федора, женили на Ксении силою, дабы унижить достоинство князя с родством низкого происхождения. Ан нет, не удалось недругам опорочить князя-боярина. Ксения была дворянкой уважаемого костромского рода Шестовых. И всю жизнь они прожили в согласии и детей нажили, коих без любви не обретешь.

Мысль о детях всегда глубоко ранила Филарета. Одних уже не было в живых, умерли во младенчестве, другие — неведомо где. О двух дочерях до него так и не дошли никакие слухи за время пребывания в монастыре. Сумеет ли он собрать их под свое крыло, как вернется из ссылки? Еще Филарета волновало разорение. Ежели ему не вернут того, что силою отторгнул-изъял Борис Годунов, то он — нищий.

Много загадочного и неразрешимого возникало перед Филаретом в последние дни жизни в обители. Не было у него и ответа на главный вопрос: встанет ли на российский трон царевич Дмитрий? Не благословил ли Борис Годунов на царство своего сына Федора? Ой как не желал последнего Филарет. И с нетерпением ждал из Москвы новых вестей. А их все не было и не было. Но вот в день Радоницы — поминовения усопших — пришли в монастырь богомольцы и поведали то, чего так боялся Филарет. Они принесли весть о том, что сына Бориса Годунова, семнадцатилетнего Федора, венчали на царство.

Филарет сник духом. Не ждал он себе милости от младшего Годунова, да больше от его окружения. Надо думать, считал Филарет, Семен Годунов останется при власти и за ним — Разбойный приказ.

Но после богослужения и поминовения усопших к Филарету на исповедь подошел молодой торговый гость, с живыми карими глазами и, как показалось Филарету, очень похожий на десятского Матвея. «Не сын ли стрельцам?» — подумал Филарет. И не ошибся.

— Отец преподобный, батюшка мой, десятский Матвей, шлет тебе низкий поклон, — тихо прошептал он. — Велено тебе передать, чтобы ждал скорого облегчения. Царевич Дмитрий стоит в Серпухове.

— Вести отрадные. Спасибо, сын мой. Да хранит тебя Господь в пути и в ночи. Как твой батюшка мается?

— Истинно мается. Матушка и два моих братца да три сестрицы от моровой язвы умерли в голодные годы. А батюшка постригом озабочен, от мирской маеты уйти надумал.

— А ты как?

— Дай Бог долгих лет жизни тетушке Катерине и дяде Сильвестру. Их заботами в Казани торговому делу учился при владыке Гермогене.

— Как он, достойный воитель?

— В силе пребывает и в Москву отбыл.

Филарет был благодарен судьбе за то, что послала ему Антона, будто родного человека встретил. И провожал его с грустью. А после отъезда Антона две недели никаких новых вестей не приходило. Да была надежда у Филарета на то, что их принесут богомольцы на день Святой Троицы — праздник Пятидесятницы — явления Духа Божия в церкви. К сему дню стекались православные христиане из многих селений северной земли, расположенной на сотни верст от монастыря. Филарет корил себя за то, что ждал богомольцев с нетерпением, но избавиться от него не мог.

И пришел День Святой Троицы, большой Господень праздник. Было погожее солнечное июньское утро, северная природа торжествовала. С полуночи три больших лодки-завозни едва успевали перевозить жаждущих помолиться Господу Богу, Сыну Божьему и Святому Духу. Среди богомольцев вновь был Антон. Он сходил за товарами в Тверь и принес оттуда короб вестей. Филарет не стал ждать часа исповеди, а позвал Антона в камору за алтарем, там приласкал и спросил:

— Чем порадуешь, сын мой?

— Скажу, отец преподобный, прежде одно: царевича Дмитрия уже царем величают. Многие бояре и иншие вельможи ходили в Серпухов и там крест ему целовали. Еще добавлю к сему: те же бояре, а допрежь Прокопий Ляпунов рязанский, руки приложили к царю Федору и живота его

дишили. С ним и царицу Марию, еще боярина Семена. Нет их ноне в живых, царство им Небесное. — И Антон перекрестился.

— Царство Небесное, — повторил Филарет, осмысливая новину. Да ощутил боль: зачем новые невинные души загублены, Федор, Мария. «Едине Создателю, упокой Господи, душу раба Твоего Федора и рабы Божьей Марии», — подумал он. И попросил Антона: — Ты побудь в обители, пока приставы придут. Вместе и вернемся в Москву.

— Многие лета тебе, отец преподобный, — и Антон низко поклонился Филарету. — Вещает сердце, что батюшку здесь дождусь. Он сюда мыслил прибыть.

И прошло еще две недели. А в день празднования всех русских святых в монастырь явилось московское посольство, во главе которого стоял князь Иван Катырев-Ростовский. И привел послов десятский Матвей. Была радость встречи. И были слезы горести по убиенным и сгинувшим в ссылке князьям Романовым. В церкви Пресвятой Богородицы прошло торжественное богослужение в честь освобождения Филарета от опалы. И по просьбе Ивана Катырева-Ростовского игумен Ареф отслужил панихиду по всем россиянам, которых свел в могилы в последние годы Борис Годунов. А потом состоялось прощание монастырской братии с Филаретом. Провожали его с большими почестями. Постарался об этом сам игумен Ареф. Он же сказал вещие слова:

— Вижу тебя, брат мой, первосвятителем всея Руси. И приду в первопрестольную в день возведения на престол.

Через два дня после праздника Филарет и Ареф свершили постриг Матвея, он занял келью Филарета. И москвитяне покинули Антониево-Сийский монастырь. Расставаясь с обителем, Филарет прослезился. Многое она дала ему в понимании земного бытия, от многого исцелила. Пока плыл по озеру, душа его рвалась обратно. Нечто подспудное подсказывало ему, что он вступал на новый тернистый путь.

Так оно и было.

Глава пятая

ЯВЛЕНИЕ СЛУГ САТАНЫ

Над Россией встал новый царь. Он взшел на московский престол 25 мая, в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. О том новый царь не ведал. Да и некогда было ему заглядывать в святцы, потому как был

озабочен другим. Он бы и почтил праздник вниманием, собор посетил, если бы не тьма забот. Эти заботы выстроились пред ним в ряд лицами польских взаимодейателей и доверенными других лиц, которым новый царь был тоже многим обязан. Одни требовали долг от имени воеводы киевского князя Константина Острожского, другие от имени польского князя Адама Вишневецкого, третьи защищали интересы усвятского старосты Яна Сапеги и пана Юрия Мнишека, будущего царского зятя. Это они устилали коврами путь новому царю от Путивля до Москвы, до трона. И теперь всем им нужно было уплатить долги из российской государственной казны. Да беда не в этом. Новому царю пока не жалко было русского достояния. Он знал, что Россия сказочно богатая держава и ее запасов не исчерпать вовек.

Вступив на московский престол и впервые опустившись на царское ложе, где почивали великие государи, новый царь с трепетом подумал, что эта дерзость ему даром не пройдет, что обман его вскоре всплывет и россияне беспощадно посчитаются с ним. Совесть его не угнетала, потому как он знал, на что идет. Знал и в ту пору, когда обитал в приживалах у добросердного князя Константина Острожского. Он первым принял на себя заботу о царевиче, отеснив слугу князя, несмышленного Богдана. Еще пребывая в Чудовом монастыре, он открыл, как мылись в бане, истинное лицо инока Григория через крест, о котором всем шишам говорил боярин Семен Годунов. Но сын мелкого дворянина, он был большой пролазой и не побежал уведомлять главу Разбойного приказа, утаил то, что открыл, и ждал своего часа. И сей час настал. Подслушав разговор царевича Дмитрия с Сильвестром в келье, он в тот же день купил на торжище коня и покинул Москву, взял путь на Киев. Добравшись до палат князя Острожского, он повел себя загадочно, не открывал своего истинного лица, лишь сказал: «Зовите меня сын Иванов».

Увидев Дмитрия под опекой Богдана, сын Иванов отшил туповатого слугу от царевича и постарался не допустить Дмитрия до князя, ежели он вернется раньше времени. Он поселил гостя в своей каморе, в большом низком помещении, где жила челядь князя. На другой день к вечеру сын Иванов принес в камору вина, браги и устроил угощение. Сам сын Иванов почти не пил, но щедро поил Богдана и Дмитрия. Когда царевич сник от хмельного и уснул, сын Иванов нашептал Богдану, что перед ними лежит недруг и враг князя Константина. Богдан простодушно поверил. Но

когда Богдан отлучился по нужде, сын Иванов снял с Дмитрия крест, скоро собрался в путь и покинул камору. Он пришел на конюшню, оседлал коня и уехал навстречу князю Острожскому, надеясь встретить его на пути из Варшавы. Он ехал сутки не смыкая глаз, не удаляясь от шляха, дабы не пропустить кортеж князя и не разминуться. Судьба оказалась к нему милостива. И когда он уже падал на гриву коня от усталости, появился кортеж князя. Сын Иванов предстал перед воеводой усталый, запыленный, горестный. Он смело поднялся к князю в карету и со слезами на глазах рассказал ему обо всем том, что случилось с ним за прошедшие двое суток, тоном оскорбленного достоинства открылся князю и поведал свою судьбу.

— Милостивый государь, злой рок выгнал меня с твоего подворья. Да будет тебе ведомо, князь, что я, сын Иванов, истинный сын царя Ивана Васильевича Грозного. Вот мой крест, — и он распахнул перед Константином кафтан, исподнюю рубаху, — надетый мне в день крестин. Я покидаю твой двор потому, что там появился самозванец, именем Григорий Отрепьев, сын костромского дворянина, ликом схожий со мной. Он преследует меня всюду. В Москве, в Чудовом монастыре он подслушал наш разговор с ведуном Сильвестром и теперь явился на твое подворье, дабы оговорить меня. — Князь слушал внимательно, не спуская пронизательных глаз с лица сына Иванова. Он же стойко выдерживал этот взгляд и у него не дрогнула на лице ни одна черточка. И князь, считая себя душеведом, поверил, что пред ним истинный царевич. — И я покинул твое подворье, да не мог уехать от тебя, мой благодетель, не простившись.

— Куда же ты путь держишь, царевич? — спросил князь Константин.

— Явлюсь в Варшаву и буду просить защиты у короля Сигизмунда. Верю в его доброе расположение к России и знаю, что он чтит моего батюшку.

— Держать не смею, царевич, а помочь тебе готов, дам провожатых, как подобает, ссужу денег на первый случай и на обзаведение одеждой тебе подобающей.

— Век буду благодарить тебя, дорогой князь, и сторицей верну долг. — И «Дмитрий» поклонился Константину. Потом же, понизив голос, сказал: — Поведаю тебе, князь, малую тайну Отрепьева: он страдает богомильской ересью и всюду сеет ее семена.

— Господи, спасибо, что открыл сие! — воскликнул противник всякой ереси. — Да я живота лишу осквернителя

моего подворья! — И заспешил:— Ну, попрощаемся до встречи в Москве! — князь Константин обнял сына Иванова и трижды поцеловал, смахнул с глаз набежавшую слезу, выбрался из кареты, позвал молодого вельможу и распорядился: — Андрей, возьми с собой двух воинов и денег сто червонцев у казначея и проводи сына Иванова до Варшавы. Там и представишь его государю-батюшке Сигизмунду. Сие есть русский царевич Дмитрий, сын Ивана Великого!

Дворянский сын Андрей оказался расторопным и спустя несколько минут он и два всадника уже сопровождали сына Иванова.

Бывший писец, служивший в Чудовом монастыре под именем Григория, а в миру Юрий Отрепьев, сын Иванов, был дерзок, хитер и осторожен. Он и не думал пока идти с визитом к королю Сигизмунду, но повернул коня в Сандомир и велел Андрею представить его вначале воеводе Яну Сапеге, а еще вельможному пану Юрию Мнишеку. Так он вскоре оказался под заботливой опекой двух известных всей Польше вельмож. И из Сандомира начался его победный марш к московскому трону.

О судьбе истинного царевича Дмитрия он ничего не знал, не слышал. Да не сомневался в том, что князь Константин Острожский сдержал свое слово. О крутом, а подчас жестоком нраве князя ходили легенды. Сказывали, что в его огромных владениях, в замке, в лесных дачах Полесья сгинул не один десяток иезуитов и иных еретиков, кто утверждал, что Сын Божий произошел не только от Отца Господа Бога, но и от Святого Духа. И о судьбе царевича Дмитрия можно было только гадать. Что и делали все те, кого интересовала его судьба, до наших дней.

У Лжедмитрия судьба складывалась иначе. Пока она благоволила ему. Но это не избавило его от животного страха. И появился сей страх в тот же день, когда переступил порог царского дворца в Кремле. Каждый час, каждый день он боялся разоблачения. Но дерзостью одержимый, он даже подсмеивался над собой: «О, ежели разоблачить до исподнего и дальше, то каждый россиянин скажет, что пред ними человек не царского роду-племени, не от корня Даниловичей, долгой и знаменитой многими подвигами династии российских князей, государей. Скажут, это вор, поправший Христовы заповеди: не убей, не укради, не обмани». Он же все сие совершил, дабы захватить российский престол. Как же дерзнул сей молодой человек с грустно задумчивыми глазами на смуглом лице, с пегой бородкой, некрасивый, роста ниже среднего, с большой си-

зой шишкой близ носа под левым глазом, как он дерзнул захватить великий российский престол? Сие оставалось загадкой.

Но россияне умели разгадывать и не такие хитроумные узоры просто. Они сказали, что сей самозванный царь продал сатане душу, дабы в обмен получить трон и корону русских царей. Вкупе с сатаной чего не достигнешь, утверждали они. И было у них на то основание, потому как нашлись москвитяне, которые видели истинного Дмитрия в услужении у патриарха Иова переписчиком книг. И был он по внешности другим. Они помнили хорошо сложенного, среднего роста юношу с белым цветом лица и темными волосами. Да, возле носа у него была примета, но всего лишь малая коричневая бородавка, а не сизая шишка. Еще говорили очевидцы, что у него были белые длинные кисти рук, речь же была смелой и походка его, манеры держаться носили царскую отлику.

Неприятности для Лжедмитрия начались на второй же день его пребывания в Кремле. Лишь только он появился на красном крыльце царского дворца, чтобы сказать свое слово москвитянам, как из толпы горожан, подступившей к самому крыльцу, раздался громкий возглас:

— Россияне, сей царь не есть Дмитрий! Царевича Дмитрия я знал, встречался с ним в Чудовом монастыре, как к брату архимандриту Дионисию приходил!

Лжедмитрий растерялся, но царедворцы, стоявшие с ним рядом, защитили его и воодушевили.

— Это поп-растрига, мшеломец! — крикнул князь Рубец-Мосальский. — Повели схватить его и казнить!

И Лжедмитрий велел рындам взять крикуна и отсечь голову принародно, чтобы другим не было повадно ложь измышлять.

Ан москвитяне не дали в обиду астраханского священника, дерзнувшего открыть истинный лик царя. Сплотились перец рындами и не пустили их к смельчаку.

— Грех тебе начинать царствие с казни! — крикнул мастеровой с Кузнецкого моста.

— Ну погодите, я до вас доберусь, смутьяны! — крикнул царь.

Разговор его с москвитянами так и не возник, и царь поторопился уйти во дворец.

А времени добраться до «смутьянов» у Лжедмитрия не оказалось, потому как каждый день до глубокой ночи нужно было присутствовать на приемах, балах и пирах в честь своего воцарения. Еще каждый день он раздавал награды,

имения, земли всем новым фаворитам, подписывал дарственные грамоты. Он и не помышлял о державных делах, озабоченный только тем, чтобы угодить своим благодетелям — польским вельможам. Иноземцы католической веры окружили царя так, что никому из русских бояр, князей именитых родов не было к нему доступа. Однако князей Нагих Лжедмитрий не забыл. Ведь там, в Угличе, жила его «мать», царица Мария. Еще Лжедмитрий приблизил к себе князя Федора Мстиславского и князя Василия Шуйского, смирился с их присутствием в своей свите. И еще как-то князь Василий Рубец-Мосальский, фаворит Лжедмитрия с Путивля, выбрав удачную минуту, шепнул царю, чтобы он проявил милость к роду Романовых и их сродникам.

— Или ты запамятовал, царь-батюшка, что Романовы тебе родня по кике? — сказал он.

— Запамятовал, князь Василий. Да видишь сам, какая прорва дел привалила, — бойко оправдался Лжедмитрий. Сам же подумал, что они-то как раз в Москве и не нужны ему.

Однако за род Романовых в эти дни волновался не только князь Рубец-Мосальский, а и москвитяне. И Лжедмитрий подумал об этом, спросил князя Василия:

— Не знаешь ли, куда упрятал их Бориска?

— Допрежь ведаю, где старший Никитич заточен.

— Тогда моей волей шли за ним посольство. А мы тут подумаем, где ему впредь пребывать. — Сердце у Лжедмитрия забилося в тревоге, потому как Никитичи не станут взирать на него так преданно, как взирал князь Рубец-Мосальский.

В тот день, как Рубец-Мосальский собирал «послов» и наставлял их, к Лжедмитрию пожаловал князь Василий Шуйский. И обуреваемый тайной корыстью, укрепил опасение царя.

— Ты, батюшка царь, вызволи Никитичей и иных Сицких, Черкасских из ссылки, но в стольный град не торопись пускать. Смуты вокруг и без них пропасть. И то пойми, — Шуйский многозначительно поднял палец, — не приведи Господь, ежели у Никитичей возникнут сомнения.

У Лжедмитрия были основания прислушаться к совету князя Василия Шуйского, и он решил все исполнить так, как подсказал хитрый князь.

Князю Катыреву-Ростовскому было поручено доставить старшего Романова во дворец Ивана Грозного в селе Тайнинском, а прочих пока расселить в Ярославле и Твери. А пока князь Катырев-Ростовский ходил в Антониево-Сий-

ский монастырь, жизнь в Москве становилась все более бурной и неуправляемой.

Царь Лжедмитрий уже открыто пренебрегал русским обществом и жил в окружении поляков, литовцев и римских иезуитов. Он вел переписку с польским королем Сигизмундом Вазой, каждую неделю слал письма своей невесте Марине Мнишек, посылал гонцов с благодарственными грамотами папскому нунцию в Польше Рангони. И даже писал самому папе римскому, только что вставшему на престол Павлу V. Он добивался у папы разрешения жениться на католичке Марине Мнишек и, выполняя волю россиян, окрестить ее в русскую православную веру. Вмешательство папы потребовалось Лжедмитрию для того, чтобы укротить неуступчивого митрополита Гермогена, который был против брака Лжедмитрия на католичке. Царь вытащил на свет божий опального митрополита Рязанского Игнатия Грека, нарек его патриархом, при попустительстве которого надумал обмануть русских архиереев при крещении Марины и во время его венчания с полячкой. Игнатий Грек заверил Лжедмитрия, что все сделает, как царь пожелает. Лжедмитрий вновь обрел благодущие, но не надолго.

Как-то после затянувшегося до глубокой ночи пира, царь уже под утро ушел в опочивальню и забылся в тяжелом сне. И явился к нему во плоти польский богослов и философ Петр Скарга. Встал он возле ложа, руку протянул. И Лжедмитрий проснулся, сел в испуге, спросил:

— Кто ты? Что тебе нужно

— Не пугайся, царь. Я твой духовный отец, — сказал Петр Скарга. — Ведаю, что против тебя умышлен заговор, — начал богослов. — Ноне же арестуй князя льстивого с хитрыми глазами. И братьев его возьми в железа. А как с ними поступать, думай сам. — И Петр Скарга удалился из опочивальни неведомым путем.

Лжедмитрий так больше и не уснул. Он стал перебирать в памяти все лица вельмож, искать среди них того, кто льстил ему без меры и у кого хитрые глаза. Но то лицо, которое грозило ему смертью, не проявлялось... А страх нарастал. Лжедмитрий уже видел, как ворвались во дворец заговорщики, как рвались в его опочивальню, размахивали оружием. Лжедмитрий встал, оделся, саблю в руки взял и затаился у дверей, готовый защищать свою жизнь. Наступил рассвет, царь подошел к окну, дабы посмотреть, нет ли заговорщиков близ дворца. Но двор был пуст. Лжедмитрий прислонился к оконному откосу, закрыл глаза и куда-то поплыл. И в сей миг пред окном возник человек. Смотрел

он на Лжедмитрия льстиво и плутовски. И услышал Лжедмитрий голос: «Ты, батюшка, вызволи из ссылки Романовых, но в стольный град их не пускай». Царь открыл глаза и возблагодарил неведомо кого за то, что помог высветить лик заговорщика. И был им князь Василий Шуйский.

Терзаемый страхом, Лжедмитрий поднял стражу, призвал к себе польских воевод, велел им послать в палаты Шуйских солдат и арестовать всех братьев-князей.

Поляки исполняли такие повеления быстро, но попросили, чтобы с ними к Шуйским шел кто-то из русских вельмож и предъявил им обвинение. Лжедмитрий оказался в затруднительном положении: не мог же он обвинить князей Шуйских только на основании того, что пришлось ему во сне. И он призвал на помощь князя Рубец-Мосальского. Василий уже давно привык к тому, чтобы выдавать сны за явь, ложь за правду. Он и глазом не моргнув, заявил:

— Ты, государь-батюшка не сомневайся. Есть злой умысел у князя Василия против тебя. Доподлинно сие ведаю. Он уже давно дорогу торит к трону.

— Вот ты и пойдешь с обвинением, — повелел царь.

Князь Рубец-Мосальский колебался недолго. Рисковый мшеломец, он давно позабыл о понятии чести и благородства. Потому сказал:

— Исполню твою волю государь. — И, помедлив, добавил: — Милость, однако, прояви, Пошехонье мне отпиши за верную службу.

Лжедмитрию эта сделка ничего не стоила и он с легким сердцем проявил сию милость.

— Иди же за бунтовщиками, а придешь, получишь жалованную грамоту.

В тот же день князей Шуйских взяли под стражу, заключили в пытошные башни. Младших братьев Василия, Дмитрия и Ивана, пороли кнутами, добиваясь признания в заговоре. А князя Василия допрашивал сам Лжедмитрий.

— Ты зачем мне льстил и омывал лицо мое елеем? Говори, что замышлял против меня и кто еще с тобой в заговоре. Да не мешкай, а то братцев засекут в застенке.

Князь Василий молчал, скорбел о братьях и думал, кто предал его. Да, он замышлял заговор, но еще ничего не сделал, чтобы осуществить его. Он вел разговор всякими полунамеками лишь с Федором Мстиславским. Неужели он в поисках корысти себе выдал его? Шуйский так углубился в свои думы, что не слышал, о чем спрашивал Лжедмитрий. Тот, наконец, взорвался и схватил князя за грудь, стал его трясти:

— Что молчишь? На дыбу рвешься? Пошлю! — кричал царь.

Так и не добившись никакого признания, Лжедмитрий покинул пытошные казематы. Вернувшись во дворец, он повелел созвать земский собор. И мешкать не велел, дал всего два дня на сборы. Россияне посмеивались: месяц надо, дабы кликнуть выборных со всей державы и увидеть их в Москве. И говорили, что все это балаган для отводу глаз. Но обеспокоились за судьбу Шуйских. У именитого боярского рода было немало сторонников в Москве и они не думали так легко отдать Шуйских на расправу бессудную.

Однако подобие земского собора вскоре сошлось на первое заседание. Это были в основном московские вельможи, преданно служившие Лжедмитрию. Царские угодники смотрели ему в рот, когда он с пылом говорил про заговор и про то, как Господь помог ему уличить Шуйских.

— Вот и спрашиваю вас, земцы, какого наказания достойны тати, задумавши покушиться на жизнь законного царя?

Дабы угодить царю, «земцы» приговорили Шуйских к лишению живота на плахе. И скорая бессудная расправа над князьями Шуйскими свершилась бы. Но вмешались священнослужители. Большим клиром пришли они в Грановитую палату, где заседали земцы, и привел их за собой митрополит Гермоген. Он же пригрозил Лжедмитрию поднять москвитян в защиту оговоренных князей Шуйских.

— Нет у тебя воли, государь, российские корни рубить, — подойдя к трону и стукнув посохом, сурово сказал Гермоген. И продолжал: — Церкви судить Шуйских, а не угодникам. Милуй сей же час, не жди себе худа, пока народ во гнев не пришел. — Гермоген подошел к окну распахнул его. — Слышишь, как гудит Красная площадь?

В палату и правда хлынул шум, похожий на рокот моря. Да и под окнами палаты уже собрались толпы москвитян. И дрогнул Лжедмитрий, знал, каковы россияне, когда поднимаются на бунт: все сметают на своем пути. Сказал митрополиту Гермогену:

— Иди утихомирь народ, а мы тут подумаем.

— Нет, один не пойду. Идем вместе, государь, и ты сам скажешь россиянам, что отменяешь смертную казнь.

К Лжедмитрию подошел князь Рубец-Мосальский и еще кто-то из царедворцев. Они шепотом говорили что-то царю, убеждали его, а он на глазах у Гермогена побледнел, поднялся с трона и пошел к выходу, появился на Красном крыльце Грановитой и крикнул:

— Россияне, с чего бунтовать вздумали?! Вот, говорю вам и вашему Гермогену, что Шуйских милую, живота их не лишаю, но отправляю в ссылку, дабы Москву не мутили. Идите же на Красную площадь и там скажите люду, чтоб шел по избам. — И повернулся к Гермогену: — Видишь, я крови не ищу. Теперь ты им говори и в ответе за покой в Москве. — С тем и покинул красное крыльцо.

Гермоген же следом поспешил.

— Ты, государь, будь милосерден во всем. Посему дай повеление служилым пустить в Москву Романовых и иных опальных от Годунова. Зачем свою опалу накладываешь?!

Лжедмитрий побаивался казанского митрополита, которого и Годунов боялся, и пошел на уступку.

— Я подумаю о них. Да не подталкивай меня. — Лжедмитрий сказал это искренне. Романовы, и особенно Федор, очень беспокоили его. Знал царь, что одного слова Федора, сказанного с Лобного места будет достаточно, чтобы москвитяне стащили его с трона. И после долгих раздумий, колебаний Лжедмитрий решился на встречу с Федором, дабы заручиться его поддержкой или хотя бы молчанием.

Через три дня Лжедмитрий в сопровождении малой свиты и отряда польских драбантов покинул Москву. Знал царь, что Филарет Романов уже пребывал в селе Тайнинском, как и было ему намечено. На беседу с Филаретом царь ушел один. И никто не знал, о чем Лжедмитрий и Филарет беседовали. Покидая Тайнинское, Лжедмитрий выглядел расстроенным. То, что Филарет не стал допытываться, как и почему он, Отрепьев Григорий, захватил трон не по праву, это Лжедмитрия порадовало. Выходило, что признавал его царем. Но словно в уплату за признание потребовал вернуть Шуйского с пути в ссылку, отдать имущество и восстановить в чинах и званиях. Лжедмитрий пообещал выполнить волю «сродника», но и Филарета вынудил на уступки.

— Ты, отец преподобный, в таком случае посиди пока в Ростове Великом. Выпрошу тебе у архиереев сан митрополита, епархия будет под тобой.

— На то твоя воля, государь.

— Вот и договорились. С тем и прощай.

Приезд Лжедмитрия в Тайнинское не был для Филарета неожиданным. За день перед тем приезжали в село Сильвестр с Катериной. Явились по наказу Гермогена с просьбой выручить Шуйского и его братьев. И Катерина дала

понять Филарету, что царь пойдет на уступки. И теперь, проводив царя, Филарет долго ходил по тайнинскому дворцу, думал о состоявшейся встрече с Григорием Отрепьевым. Но как-то подспудно все время пробивались воспоминания о молодости, многое в которой было связано с Тайнинским. В этот дворец, построенный для приема высоких гостей, молодой князь приезжал не раз. Тогда он служил в свите царя Ивана Грозного. Здесь он был свидетелем встреч Ивана Великого с королями Польши и Швеции, с крымским ханом и римским иезуитом Антониом Поссевиным.

Но избавившись от воспоминаний о далеком прошлом, Филарет вернулся в мир нынешний. О личности нового царя Филарета просветили Сильвестр и Катерина. Да и князь Иван Катырев-Ростовский многим удивил его. Поэтому, когда Филарету сказали, что царь едет в Тайнинское, он был удивлен дерзостью государя. Зачем понадобилось Лжедмитрию увидеть того, кто знал подлинное лицо самозванца? Уж не хотел ли царь добиться от него свидетельства о том, что он есть подлинный царевич Дмитрий? И уж конечно Лжедмитрий повезет Филарета в Москву, в Кремль и заставит его сказать о том, что царь истинный наследник престола при стечении множества вельмож, иноземных послов. Знал же Филарет, что в Москве уже мало кто считал царя истинным царевичем Дмитрием. Дошло до Филарета и то, что первым распустил слухи о самозванстве князь Василий Шуйский.

И при встрече с царем Филарет ни словом, ни намеком не вселил в него надежды на то, что, ежели, даст Бог, ему доведется быть в Москве, он, Филарет, возвестит о том, на что надеялся царь. Потому и душевной беседы у них не получилось — Филарет пошел на уступки лишь для того, чтобы избежать новой опалы, Лжедмитрий — дабы заставить Филарета молчать. На том они и расстались.

Совесьть Филарета, однако, не дремала. И она повелевала ему ехать в Москву и там свершить то, что надлежало исполнить честному россиянину... По этой причине Филарет не спешил уезжать в Ростов Великий. А чтобы знать хоть что-то о московской жизни, попросил князя Ивана Катырева-Ростовского съездить в столицу. Князь уехал неохотно, обещал вернуться через три дня, но не приехал. Филарет ожидал его с нетерпением, надеясь на то, что тот привезет вести о родных.

Чтобы как-то скоротать время, Филарет проводил его в обществе хранителя дворца, престарелого князя Михаила Катырева-Ростовского, дяди молодого князя Ивана. Они

много беседовали о прошлом, но их воспоминания были окрашены в черные тона. Почему-то всплывали все больше мрачные стороны жизни той поры. Наверное, накладывало отпечаток на беседы то, что оба они были свидетелями многих злодеяний Ивана Грозного.

— Господи, я и в могилу уйду с неотвязным явлением, — жаловался князь Михаил. — Никак не могу забыть, как царь-батюшка распял на дубовом кресте думного дьяка Ивана Висковитого. И за что, за одно неугодное слово... В тот день Москва была кровью залита. Триста лучших москвитян были невинно замучены, кого варом облил, кому на плахе голову... Я попытался убежать, чтобы не зреть то злодейство, но царь-батюшка ухватил меня за шиворот, сказал: «Зри себе в науку».

Князь Иван Катырев-Ростовский вернулся из Москвы лишь через неделю. Особыми новостями не порадовал, их не было, все больше печальные. Но когда вручал Филарету грамоту Патриаршего приказа о назначении на Ростовскую епархию, то проявил чуть ли не восторг.

— Отныне ты, чтимый нами Федор Никитич, возведен в сан митрополита! С чем и поздравляю, владыко! — И князь Иван низко поклонился.

Но эта новость не зажгла свечи радости в душе Филарета. Не хотел он получать святительский сан из рук лжецаря, а тем паче с участием самого себя в этой сделке. Филарет спросил:

— Чьей же волей мне пожалован сей высокий сан? Уж не Игнатий ли Грек сподобился милость проявить?

— Вот уж чего не ведаю, о том не скажу. Да, поди, архиереи за страсотерпие твое воздали, — ответил князь. — И ты прими сей дар судьбы не сумняшеся. Истинно говорю, пришло время быть тебе владыкою.

Так и не ощутив какого-либо душевного подъема от неожиданного возвышения, Филарет принял сей дар, сочтя, что без воли Всевышнего сего бы не случилось. Понял он и то, что в Тайнинском ему больше делать нечего.

На другой день Филарет собрался в путь, простился с князьями Катыревыми и покинул временное пристанище. Еще через день он был в Ростове Великом.

Филарет бывал в прежние годы в этом маленьком уездном городке, который когда-то в пору расцвета был стольным градом Ростовского и Ростово-Суздальского княжеств. Ему нравилось великолепие великого града. Его соборы, церкви соперничали не только с суздальскими, ярославскими, владимирскими, но и с московскими. Любил Филарет

ростовские колокольные звоны, которые своими высокими и сильными звуками окрыляли душу.

Второй список грамоты Патриаршего приказа был доставлен в Ростов Великий раньше, чем там появился Филарет. И потому ростовские священнослужители и уездный губной староста успели подготовиться к торжественной встрече митрополита, к проводам в Троице-Сергиеву лавру на отдых престарелого митрополита Феоктиста.

После торжеств жизнь в Великом Ростове потекла в церковном бдении, но тихо и мирно. Филарет объехал все приходы епархии и стал сам вести службу в кафедральном Успенском соборе Ростовского кремля. Его богослужения собирали множество прихожан, чего в прежние годы ростовчане не знали, проповедями Филарета заслушивались.

Митрополит Филарет был желанным гостем во всех именитых семьях города, как в боярских, дворянских, так и в купеческих. Он был образованным человеком, знал латынь, много читал, и беседовать с ним, слушать его доставляло удовольствие каждому. Дома в вечерние часы Филарет добирал то, что не успел познать в Антониево-Сийском монастыре — изучал историю христианской церкви.

К своему немалому удивленью, он нашел в старых княжеских палатах ростовских князей книги греческого письма, и были среди них знакомые ему церковные сочинения века Комнинов Михаила Пселла. Этот сочинитель написал прекрасное толкование книги «Песнь Песней», главы из которой о Великой Святой Троице и о Иисусе Христе Филарет выучил наизусть. Еще Филарет нашел книги времен императоров Палеологов и среди них опять-таки знакомое сочинение Григория Палма «Об исхождении Святого Духа от одного отца». Спустя несколько лет эта книга поможет Филарету выстоять в борении с богословом иезуитом Петром Скаргой, когда возникнет спор о ереси богомильской, кою Скарга проповедовал.

Но чтение книг, многие часы, проводимые на службе, не избавляли его от тоски по родным и близким. Он с нетерпением ждал тот день, когда бы в его палатах сошлась вся семья, когда смог бы увидеть жену Ксению и желанного сына Михаила. Так незаметно пролетел почти год, когда до Ростова Великого долетели вести о больших потрясениях в Москве. Князь Василий Шуйский вновь возглавил заговор против Лжедмитрия. И на сей раз ему удалось достичь задуманного. Царь Лжедмитрий был убит. Случилось сие семнадцатого мая. А в двадцатых числах мая в Ростов Великий примчались брат Филарета князь Иван и князь Трегубов и

Трубецкой, зятя Романовых. Встреча была шумной, радостной. Ведь все они не виделись без малого шесть лет. Да едва облобызавшись, едва отдышавшись, князя потребовали от Филарета, чтобы он собирался в Москву.

— Дорогой владыко, ты у нас за отца-батюшку, и в Москве нам без тебя быть нельзя, — начал князь Дмитрий Трубецкой. — Потому мы одни не уедем.

— Москва мне желанна, дети мои, да места своего в ней не вижу. А тут я при службе, — буднично ответил Филарет.

— Но брат мой родимый, — воскликнул нетерпеливый князь Иван, — нужда в тебе там, потому что новая опала нам грозит. Да и тебя здесь царь Василий достанет. Недоволен он, что ты получил сан митрополита по воле самозванца, а мне дано боярство.

Филарет задумался, к медовухе прикоснулся — сидели за трапезой — и пришел к мысли, что брат Иван и зятя правы. Нужно ему вернуться в Москву, дабы восстановить положение Романовых, добыть роду прежнее влияние при царском дворе, восстановить порушенное родовое гнездо. Придя к такому решению, Филарет успокоил гостей:

— Будет по-вашему, дети мои. Ежели нынче не постоим за себя, то и впредь нам не встать во весь рост, — заявил Филарет. — Да и Шуйского нужно в постромки взять-поставить, дабы не казнил без вины, как было при Годунове.

Филарет встал, вышел из-за стола и размышлял вслух о всем том, что волновало его. Глаза у Филарета горели огнем, помолодели, и все увидели прежнего, гордого и независимого, князя. Да, сила в нем была скрытная. Он не считал себя старцем, завершающим жизненный путь. В свои пятьдесят один год он жаждал жизни. И потому, не оглядываясь на прошлое, ринулся в бурное море смутной Москвы, России. Но Филарет не хотел порывать связи с Ростовской епархией. Он оставлял место митрополита за собой и, как сказал клирикам, покидал Ростов временно.

В Успенском соборе по поводу отъезда Филарета состоялся молебен. На нем собралась вся ростовская знать, была прочитана молитва о путешествующих и митрополиту пожелали скорого возвращения. Пожелание священнослужителей оказалось пророческим, потому как Филарет не задержался в Москве и меньше чем через год вернулся в Ростов Великий.

А пока Москва встретила Филарета большим многолюдьем, оживлением жизни, бойкой торговлей. Москвитяне приходили в себя после разгула в городе польских пособ-

ников Лжедмитрия. Романовское подворье на Варварке, где при Лжедмитрии, стояли три месяца и бесчинствовали иезуиты, действием князя Ивана было приведено в порядок. При Лжедмитрии спустя три месяца его царствования, подворье и палаты были возвращены Романовым. Филарет немало думал по этому поводу. Выходило по его здравому размышлению, что царь Василий и впрямь мог проявить к Романовым немилость, потому как Лжедмитрий оказал им многие почести, ну прямо-таки как отец родной. Как ни кинь, а у Шуйского, ненавидевшего Лжедмитрия, было основание проявить немилость и к его приближенным.

Одно утешало Филарета. Вступая на престол, Василий Шуйский подписал подкрестную запись, в которой дал клятвенное обязательство никого не карать без вины. А ежели судить виновных, то истинным праведным судом по закону, а не по усмотрению.

«Целую крест всей земле, — было написано в подкрестной записи, — на том, что мне ни над кем ничего не делать без собору, никакого дурна».

Филарет знал, что родом Романовых и во время правления Лжедмитрия не было совершено никаких черных дел против царя и России. И потому он вскоре забыл о своих первоначальных волнениях. Но жизнь в столице текла бурно и что ни день, приносила новые огорчения, новые тревожные вести. Спустя несколько дней после приезда Филарета пришел к нему брат Иван с новиной, кою добыл, как он сказал, от верных людей. Сказано было ему, что царь Василий собирал московских архиереев, и на том совете шел разговор о патриархе. Он же отстранил от патриаршества неугодного ему Игнатия Грека. «Мне не нужен духовник, который служил самозванцу, — заявил при этом царь. — Потому ищите достойного». И были названы на том совете лишь два имени: митрополита Казанского Гермогена и митрополита Ростовского Филарета.

— Да сказывали, что твое имя, братец, назвал сам царь, — частил Иван. — Дивно. Да ты-то что думаешь по сему поводу?

Филарету тоже показалось все произошедшее в Кремле дивным. Выходило, что Шуйский сделал попытку примирения с Романовыми. Удивился, да не поверил, что желание Шуйского видеть на престоле церкви его, Филарета, есть искреннее. Царь Василий был больше хитрый, чем умный. И как позже выяснилось, он лишь заигрывал с Филаретом, дабы усыпить свою совесть. Помнил пока царь Василий, что многим обязан своему восшествию на престол Филарету Ро-

манову. Быть бы ему в ссылке, ежели бы Филарет не вмешался в его судьбу. Но еще больше Шуйский был обязан митрополиту Казанскому Гермогену. Царю надо было благодарить Бога за то, что по его милости Гермоген отвел руку самозванца с топором, занесенным над Василием Шуйским.

Может, царь Василий все-таки хотел отблагодарить прежде его, Филарета, — рассуждал митрополит. И возражал себе: как мог Шуйский советовать архиереям возвести на престол церкви Филарета, ежели он не мог стать духовным отцом государя по своим внутренним убеждениям, о которых царь Василий знал. И потому Филарет счел окончательно движение царя Василия всего лишь игрой в примирение. А Филарет не хотел принимать участия в этой игре. Знал он, что Шуйский не исполнит обетов не карать без вины, и потому остерегался дать ему повод для опалы. Он пребывал в Москве без службы, без дел, не появлялся ни в Кремле, ни в городе и утешался воспитанием сына Михаила, проводил с любознательным десятилетним отроком полные дни, пытался избавиться от душевного расстройства, возникшего с возвращением из ссылки бывшей жены Ксении, а ныне инокини Марфы. Схима разлучила их. Марфа отнеслась к этому покорно и стойко, и не проявляла никакого желания возобновить супружескую жизнь. Филарет понимал ее, ни в чем не принуждал, но душевные страдания его порою становились нестерпимы. Он казнил себя за свой характер, за свои чувства, но ничего не мог с собой поделаться, потому как Ксения оставалась ему желанной. И потому стал жалеть, что так легко поддался уговорам и покинул Ростов Великий, с нетерпением ждал тот час, когда мог бы вернуться туда.

Ждать исхода задуманной хитрой игры царем Василием Филарету пришлось недолго. По державе поползли слухи, что царь Дмитрий не был убит, что по воле Всевышнего он был спасен, а убит был человек лишь похожий на него. Дабы пресечь эти слухи, царь Василий принял меры для их опровержения. Он призвал в Кремль мать Дмитрия, царицу Марию Нагих, а ныне инокиню, и повелел ей принародно признаться, что ее сын убит девятилетним отроком и что Лжедмитрия она признала за сына подневольно. Еще царь нашел монаха Варлаама, который в свое время общался с Григорием Отрепьевым и повелел ему:

— Все опиши в признании и будешь читать всюду с папертей церковей и соборов.

И Варлаам написал извет, в коем доказывал тождество Лжедмитрия с Гришкой Отрепьевым. Но о том, что сам

Варлаам шел почти до Киева с царевичем Дмитрием, он умолчал.

Признания Варлаама и свидетельства Марии Нагих о Лжедмитрии царю Василию оказалось мало. Тут-то и завершилась игра царя Василия с митрополитом Филаретом. Царь позвал митрополита во дворец. В разговоре с ним был ласков, обходителен. Много спрашивал о том, как жил в изгнании, да как устроился в Москве. И со слезой в голосе отметил:

— Да вижу, владыко, в унынии пребываешь.

— Печалуюсь от расстройства жизни, — неопределенно ответил Филарет.

Он вел себя сдержанно. Удивился тому, как за прошедшие несколько лет, что не видел Василия, тот неузнаваемо изменился. Он стал еще ниже ростом, совсем облысел и глазами вовсе плох был. Но в хитрости преуспевал. И походя пускал ее в оборот.

— Ты уж не обессудь, владыко Филарет, что не добился тебе патриаршества. Иереи заартачились. С чего бы? Да ты их знаешь. Им больше мил Казанский митрополит. Но я еще постою за тебя, — утешал царь.

Филарет ответил Василию учтиво:

— Я благодарен Всевышнему, что он не оставляет меня милостями.

— Ну коль так, то и мне легче, — вздохнул царь. — А позвал я тебя, дабы исполнил мою просьбу. Возьми кого тебе нужно и сходи в Углич. Там достань мощи царевича Дмитрия, привези их в Москву. А пока ходишь, я поборюсь с иереями: токмо тебя вижу патриархом и моим духовным отцом.

Филарету в эти минуты было стыдно за государя. Он страдал оттого, что в каждом слове Василия сквозила ложь, изворотливость. И потому поспешил откланяться:

— Я исполню твою волю государь, привезу мощи отрока, убитого в Угличе. А потому не мешкая уезжаю. — И, считая, что во дворце ему больше делать нечего, покинул еще резко пропитанные смоляным духом новые дворцовые палаты царя Шуйского.

Филарет умел действовать быстро и без суеты. Он взял себе в помощь князя Ивана Катырева-Ростовского, двух священнослужителей из Кремля, еще церковных служек троих, своих холопов с подворья несколько и на другой день карета и пять возков укатали из Москвы. Путь в Углич был хорошо проторен. И на третий день посланцы Москвы прибыли в вотчину князей Нагих.

Углич в эти годы являл жалкое зрелище. Жизнь здесь, казалось, вымерла. Редкие горожане ходили словно ночные тени, не поднимая к солнцу глаза. Торговли не было, никто не строился, не занимался ремеслами. Трагедия пятнадцатилетней давности все еще давала себя знать.

Унылая жизнь в Угличе не располагала к долгому пребыванию в нем. Филарет собрал в храм угличских священников, пригласил губного старосту и в их присутствии служители собора изыали гроб с мощами отрока, убитого на крыльце княжеского дворца. Филарет заведомо знал, что в домовине лежат мощи не царевича Дмитрия, а иного отрока. Он велел вскрыть гроб и утвердился в этом еще раз. В истлевшей руке убиенного сохранились лесные орешки, коих у царевича Дмитрия не могло быть по той причине, что в тот роковой день он вернулся с богослужения и в руке держал просвирку. Об этом Федору рассказывала кормилица Ирина перед тем, как ее взяли на пытки.

Отслужив просительный молебен в угличском соборе, Филарет ушел в обратный путь. А пока шел до Москвы, там начались загадочные беспорядки. На Тверской улице разбушевалась толпа горожан. В руках у многих были подметные листы. Как и откуда они попали к горожанам, никто не знал, все утверждали, что подобрали их на земле. Размахивая ими, горожане шли к Кремлю и кричали, что царь Дмитрий избежал смерти, жив и здоров.

— Он снова собрал войско! Снова идет на Москву! — кричал детина с Ямского поля.

— Слава царю Дмитрию! слава! — несло над толпой.

Приставы пытались разогнать толпу, но им это не удавалось. Со всех улиц в нее вливались новые потоки, и она лавиной выплеснулась на Красную площадь. Она заполнилась от края и до края, над нею стоял несмолкаемый гул. В толпе нашлись и защитники царя Василия. Они шумели больше других и всем поясняли:

— Да знаете ли вы, кто писал эти подметные письма? Сие дело опального Филарета Романова. Он хлопочет о сроднике.

И трудно было объяснить ход беспорядка. Да он потому и необъясним.

Ан кто-то во всем хорошо разобрался. И владельцем той сведой головы был сам царь Василий Шуйский. Потому как он, изошренный в хитрых делах, заварил сию кашу. дабы бросить тень на ни в чем неповинного митрополита Филарета. Москвитяне же все разжевали позже и назвали сие дело темным. Но суть его вскоре высветилась, род кня-

зей Романовых вновь попал в опалу, теперь уже от царя, который и году не прошло, как клялся на кресте без вины опалы своей не класти.

Клевреты царя Василия действовали споро. Навстречу Филарету, который был где-то на полпути от Углича, послали команду во главе с князем Дмитрием Шуйским. Он именем царя отстранил Филарета от порученного дела и велел не мешкая и не появляясь в Москве удалиться в Ростов Великий, пребывать там, доколь царь Василий не проявит милость.

Филарет не взбунтовался против новой несправедливой опалы и помолился Господу Богу за то, что защитил его от более жестокой царской «милости».

Путь до Ростова Великого Филарет совершил в полном одиночестве. Он сидел на облучке крытого возка и в руках держал вожжи, но коня не погонял и на дорогу, казалось, не смотрел. Его взгляд был устремлен под ноги коня, он прислушивался к цокоту копыт и слышал, как они вызвали размеренно и четко одно слово: са-та-на, са-та-на. И перед Филаретом возник образ властелина тьмы. Он был космат, клыкаст, в веретьяном кафтане и препоясан саблей. Вокруг него увивались слуги — все дьяволята, сатанята, а среди них резвились три брата Шуйских: сам царь Василий и князья, средний Дмитрий и младший Иван. «Оно так и есть, происками сатаны добыл себе престол Василий. Да век твой, князь тьмы, грядет недолгий. Примешь ты срамную смерть в назидание всему роду твоему на века», — подумал Филарет, и дума та оказалась пророческой. Он оторвал взор от дороги, от конских копыт, посмотрел на поля, на перелески, на чернеющую вдаль деревеньку, услышал над ржаным полем песню жаворонка, Божьей птахи, и на душе у него посветлело.

Глава шестая

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ростов Великий жил в царствие царя Василия так же тихо, как и многие прежние годы подобало жить малому уездному городку. Как всегда, горожане были неторопливы, лишь по утрам кое-кто из них спешил на торжище в торговые ряды, занимавшие квартал близ кремля. Да торжище в эту пору было скупым, к исходу зимы и вовсе пустовало, потому как из окрестных деревень никакого подвозу про-

дуктов не было. А из дальних селений, из той же суздальской, богатой дарами земли, крестьяне и купцы ничего не везли по той причине, что всюду по дорогам гуляли шайки разбойников.

Россия пылала в огне междоусобицы. И никто из россиян не мог представить себе конца смуты. Трижды Москва пребывала в опасности быть захваченной врагами. То мятежные отряды Ивана Болотникова почти достигли стен Кремля и были остановлены в нескольких верстах от нее, под селом Коломенским, загородной царской вотчиной. То второй Лжедмитрий обложил Москву, как медведя в берлоге, перерезал все дороги, кроме одной — на Рязань, кою удерживали царские войска. То поляки попытались вновь ворваться в Москву, а как не удалось, пошли гулять по России, грабить города и села русские.

Все это в Ростове Великом знали и переживали за судьбу державы, да что там скрывать, и за свою тоже. Но острее многих других ростовчан переживал за судьбу России митрополит Филарет. Он отчетливее иных россиян понимал, в какую пропасть катилась держава, какая разруха ожидала ее в будущем. Братоубийственная война никому и никогда не приносила блага. Прислушиваясь к событиям в Москве и близ нее, Филарет не понимал хода событий и многое не признавал за разумные действия. Да и как можно было понять разрушительное равнодушие к судьбе России самого государя. Филарету хотя и не довелось стоять воеводой во главе войска, но он понимал, что царь Шуйский, побив Ивана Болотникова, победы над ним не достиг. А мог бы, встав во главе войска. Нет же, в разгар битвы он наблюдал за нею из кремлевского дворца. К тому же пребывал в сонном состоянии. А нужно было гнать-добивать Ивашку до полного уничтожения мятежников. Сказывают, что царь Василий уповал на промысел Божий. Но Господь отвернулся от Шуйского, и Болотников вскоре оправился от ударов царского войска, зализал раны и овладел Тулой. Тут уж Филарет мог определенно сказать, что царскому войску не взять этой крепости ни штурмом, ни осадой, за мощными стенами стояла Тула.

Еще более печальное размышление посетило Филарета в тот день, когда он узнал, что второй Лжедмитрий овладел селом Тушино, кое находилось в десяти верстах от Москвы, и коршуном навис над стольным градом. Тут и малому дитя понятно, что Тушино следовало немедленно очистить от воровского войска или зажать его там в хомут. Но и к тушинскому вору царь Василий проявил равнодушие. Гер-

моген, которого избрали патриархом, требовал от царя Василия послать на Тушино сильное войско и воеводою над ним поставить умницу и очень смелого молодого князя Михаила Скопина-Шуйского. Истинно утопил бы сей воевода тушинских татей в Москва-реке. Но нет, не проявилось такое побуждение у царя Василия. Одно потворство сторонникам самозванца оказывалось. Каждое утро десятками, сотнями уходили из Москвы в Тушино многие москвитяне, а больше имущие, и никто на заставах их не задерживал. Их прозвали перелетами, потому как они, отслужив день второму Лжедмитрию, вечером возвращались в родные московские стены. И как показалось Филарету, царь Василий день за днем накликал себе новую беду. Да по иному и не обозначишь поведение государя.

Случалось так, что Филарет приходил в гнев и слал на голову царя Василия с амвона собора анафему. Было так, когда митрополит узнал, что царь отказал в помощи защитникам Троице-Сергиевой лавры. Она стояла от Москвы на пути к Ростову Великому. И ростовчане хорошо знали, как там трудно было защищаться трем тысячам монахов и мужиков из окрестных деревень против тридцатитысячного войска поляков, которым командовал умный и дерзкий гетман, усвятский староста Ян Сапега.

На каждом богослужении Филарет молил Всевышнего о защите Троице-Сергиевой лавры. И знал митрополит, что Господь Бог не оставлял ее без помощи. Да утверждали прихожане, коим приходилось бывать близ лавры, что на крепостных стенах среди ее защитников видели самого архистратега архангела Михаила. «А то как бы без него малыми силами стоять против орды», — добавляли убежденно ростовчане.

В те грозные для России дни к Филарету не раз приходила мысль о том, чтобы укрепить Ростов Великий, дабы выстоять, как подойдет к городу враг. Но Филарет не успел исполнить свой замысел. Поляки уже разбойничали северо-западнее Москвы. Они постучались в ворота Твери, да получили от тверчан добрую нахлобучку. И от Твери их отряды двинулись в сторону Ярославля, Переяславля, Ростова Великого.

Филарет со священниками вышли на улицы города, призывая горожан к тому, чтобы готовились защищать свои дома от поляков. Но из домов выходили больше женщины, дети, старики. Горожан, способных держать зброю в Ростове Великом не было, всех их забрали в войско, сперва царь Борис Годунов, потом Лжедмитрий, теперь вот царь

Василий. Близ кремля собрались старики, отроки, калеки, ремесленники, несколько торговых людей. Они просили Филарета позволить им укрепить хотя бы стены кремля.

— За ними и выстоим, как подойдут ляхи, — заявили ростовчане.

Оценив силы собравшихся, Филарет с горечью отметил, что непосильно им исправить разрушения веков, но благословил на подвиг.

— Делайте посильное, дети мои. Да помните, что у нас есть твердыня от врагов — наш с вами собор.

В эти же дни из Москвы пришли в Ростов Великий суровые вести, которые касались прежде всего Филарета. И они отгеснили заботы митрополита о защите города от разбойных отрядов поляков. Пришел в палаты Филарета бывший холоп Романовых, который в день кончины боярина Никиты Романовича отпросился на богомолье и ушел странствовать по монастырям России. Филарет помнил Якова еще крепким молодым мужиком. Теперь же стоял перед ним старец.

— Князь-батюшка владыко, прислали меня добрые люди поведать тебе о горе в вашем роду, — начал рассказывать Яков.

Филарет же остановил его, отвел в трапезную, накормил. Лишь после этого велел продолжать.

— Говори, сын мой, Яков, с чем пришел.

— Говорю, владыко. Беда пришла в ваш дом. Князь Юрий Трубецкой, а еще князя Иван Катырев да Иван Троекуров вели войско под Калугу, кое дал им царь Василий, и пустились в заговор против государя. Да заговорщиков предали. Им удалось бежать в стан самозванца. Сие случилось в майские дни, а ноне... — Яков замешкался.

— Говори, сын мой, не коснея.

— Ноне все твои сродники толпою ушли в Тушино и поклонились вору.

— Господи, что же их подвигнуло на это? Кто вынудил? — воскликнул Филарет. Да ответ ему был ясен: виною всему был сам царь Василий.

— И кто ушел? Ты видел их? — спросил Филарет.

— В стане самозванца я не был. Ан слышал, что ушли князя Сицкие и Черкасские. Еще князь Дмитрий Трубецкой, с ними же Засекины и князь Борятинский. О, Господи, горе нам! — Яков замолчал и заплакал, отвернулся.

— Что же они там делают? — еще не осознав случившегося, спросил Филарет.

— Служат, батюшка-владыко, служат самозванцу. Самозванец и есть. Ведь я же сам видел, как боярский сын

Валуев застрелил из мушкета того, кого за Митеньку приняли.

Филарет отправил Якова отдыхать, а сам до глубокой ночи не находил себе места, все ходил, думал. И думы его были крутые. Пришел бывший князь и первый боярин России к мысли о том, что его большая родня выступила не за самозванца, а прежде всего против царя Василия, запятнавшего себя на троне многими грехами. Понял Филарет, что началось противостояние всего окружения романовского рода окружению царя Шуйского. И было очевидно, что биться предстоит до последнего дыхания, пока кто кого под корень не подрубит. И ему, Филарету, старшему ноне в роду Романовых, не быть в стороне, не спрятаться за святительскими одеждами, а как былинному иноку Пересвету ждать своего часа, дабы сойтись с Шуйским впритин. Что ж, он готов к той смертельной рукопашной схватке. Ему и живот не жаль для торжества правды. А правда за Романовыми и кто с ними. И потому, как только упущениями царя Василия Россия была ввергнута в новое самозванство и междоусобие, противники Шуйского сочли своим долгом подняться против него. И никто из Романовых не может быть приверженником Лжедмитриев, потому как не по их воле возникло и первое, и второе самозванство. Романовы берегли и готовили на престол истинного Дмитрия. И ежели бы не злочинство «проныра лукавого» Бориса, ноне на троне восседал бы истинный царь Дмитрий, потомок рода Калитиных, и не было бы опалы Романовых, не было бы царя Бориса, царя Василия, а Россия бы не впала в великую смуту.

В полночь Филарет встал на молитву. И тут неожиданно его обожгла мысль о том, что теперь настало самое время достать трон новому законному государю, племяннику царевича Дмитрия, князю Михаилу Романову. Мысль эта показалась Филарету крамольной, греховной, и он просил Всевышнего проявить к нему милость, избавить от крамольного наваждения. Но тщетны были его мольбы, мысль, словно гвоздь, все глубже и глубже впивалась в его сознание. Она же привела Филарета к неотложному шагу. Он счел, что будущего престолонаследника нужно уберечь от всех злодейских происков, спрятать его там, где бы никто не нашел.

Филарет действовал решительно и быстро. Лишь только Яков отдохнул, он снарядил сего верного человека в Москву, дал ему коня, возок, денег, а в помощники в пути — церковного служку. Якову же дал строгий наказ:

— Ты, сын мой, исполни мое повеление. Как при-мчишь в Москву, иди на наше подворье и скажи старице Марфе, чтобы не мешкая уезжала в Костромскую землю, там скрылась бы вместе с сыном Михаилом понадежней. И тебя Христом Богом прошу идти с ними. Да при случае подай мне весточку, как все будет.

Яков уехал тотчас, как получил наставления от Филарета. А побуждения Романова оказались своевременными, мысль — провидческой. Позже юного Михаила Романова искали многие клеветы Василия Шуйского. Они и в Ростов Великий приходили, шастали в городе и в ростовских монастырях. Но судьбе было угодно уберечь юного князя от происков царя Василия. И Филарет часто повторял: «Благослови душе моя Господа из псалма — так и не забывай всех благодеяний Его».

Но своей судьбы Филарет пока не ведал. Она же приближалась к крутому перелому.

В конце октября, по восьмому году нового века большой отряд поляков из войска Яна Сапеги хитростью ворвался в Тверь, разорил ее, взял в плен архиепископа Тверского Феоктиста и двинулся на Ярославль. В пути к отряду поляков пристали повстанцы Переяславля-Залесского и побудили поляков взять Ростов Великий. Сами они издавна враждовали с ростовчанами, якобы из-за того, что в былые времена они перехватили у переяславцев княжескую власть в крае.

Переяславцы привели поляков к Ростову Великому и сказали им: «Живут тут просто, городу оберегания нет». Так оно и было. Враги ворвались в город без труда. Жители города к тому часу почти все убежали из домов, спрятались в лесах, ушли в Ярославль. А те, кто не смог уйти от врагов, скрылись в Успенском соборе, уповая на Господа Бога и на митрополита Филарета. Поляки погуляли по домам, по палатам, ограбили их и после обложили Успенский собор. Они притащили тараны и после многих попыток вышибли железные ворота, ворвались в храм. И началась резня беззащитных женщин, детей, стариков.

Митрополит Филарет, который готовился вместе с ростовчанами предать себя огню, не успел свершить сей подвиг. Но подняв в руке тяжелый медный шандал, смело пошел на врагов, призывая остановить разбой и кровопролитие. Но польские воины скопом навалились на митрополита, вырвали из его рук шандал и вытащили из собора. На паперти с него сорвали святительские одежды, лихой гусар стащил сапоги. Над Филаретом поставили конных

воинов и велели гнать его в Тушино, дабы публично казнить вместе с архиепископом Феоктистом.

Стоял ноябрь, шел густой и мокрый снег. Конвой двигался по дороге, разбитой повозками и конскими копытами, грязь, смешанная со снегом, доходила Филарету до щиколоток. Митрополит страдал от холода, от болей в замерзающих ногах, все тело его постепенно коченело. Но он шел мужественно и не просил милости у врагов. Его гнали весь день и вечер. Лишь к ночи поляки остановились в какой-то разоренной деревушке. Филарета затолкнули в пустой хлев, заперли. Ночь была ужасной. Остатки одежды на Филарете были мокрыми, а к ночи, когда ударил мороз, замерзли, и сам он постепенно замерзал. Кой-как прикрывшись старой соломой, Филарет вознес к Всевышнему молитву о спасении, постепенно согрелся и обрел спокойствие и веру в то, что ужасы не будут длиться вечно.

И ранним утром в судьбе Филарета произошли перемены. Переяславцы, возвращаясь из Ростова Великого домой с награбленным добром, тоже остановились в деревне. Они же и сказали полякам, что тот, кого гонят босым в Тушино, приходится царю Дмитрию тушинскому двоюродным братом и попросили оказать ему честь. Переяславцы дали для Филарета старый кожух, татарскую меховую шапку, казацкие сапоги и штаны. Филарета одели, посадили в сани и повезли дальше.

Все, что случилось с митрополитом Филаретом в следующие дни и недели, напоминало ему затянувшийся кошмарный сон. Его словно опутали колдовскими мерзостями. События, которые водоворотом захватили Филарета, трудно было пересказать. Одно хорошо врезалось в его память, это то, как он заболел. На другой день после того, как его прогнали десятки верст босым по снегу, он ощутил в теле опаляющий жар, его лихорадило так, что тряслось все тело, а голова раскалилась, словно ее держали на огне. Потом он впал в забытие, и к нему пришло явление. Пред ним появился некий дьяк именем Андрон, нарядил его в святительские одежды, посадил в карету, запряженную в четверку резвых коней, и лихо помчал в Тушино. Там же, у «царского дворца» будто бы его встречал сам Лжедмитрий II, и была при нем огромная свита, бояр, дворян, служилых дьяков и архиереев разного чина. Когда кони остановились у крыльца, царская свита закричала что-то величальное. А он, Филарет, вместо того, чтобы отвечать на приветствия, будто бы схватил конскую бадью и взялся поливать всех водой. Тут и сродникам досталось, князьям

Черкасским, Трубецким, Троекуровым. И дальним по родству и свойству перепало, коих Филарет никого в лицо не знал. И так Филарет разошелся, что дьяк Федька Андронов, первое лицо у Лжедмитрия, вынужден был самого Филарета поливать холодной водой.

Потом пришли другие видения. Будто бы он беседовал с самим самозванцем. А как он завел беседу о московском патриаршем престоле, проча его, митрополита, в первосвятители, Филарет вновь разбушевался и опрокинул на голову Лжедмитрия жбан с вином. После этого показались Филарету письма на лбу самозванца: «Аз есмь попovich Матюшка Веревкин из Стародуба». А пока Филарет читал письма, лжецарь подмигивал ему и говорил: «Ты молчи о том, что прочитал, молчи! Я же тебя на престол посажу, патриархом будешь над христианами». Тут Филарет плюнул в него, а лжецарь успел закрыться талмудом и закричал: «Ратуйте, убивают!»

И явился Федька Андронов, схватил Филарета на руки и прошел с ним сквозь стену в избу, где баба мылась в корыте, и бросил Федька свою ношу в другое корыто с водой, крикнул: «Мойся тут до бела». Сам под печкой спрятался. Филарет плескался в теплой воде, а в избу собрались его сродники и запели хором:

Филаретушка, родименький,
Надень митру патриаршую,
Встань-восстань на престол,
Нас лаской-милостью одари

Пели и охаживали. Из корыта достали, холстом окутали, а поверх холста святительские одежды натянули. И митру надели, и панагию на грудь повесили, посох святого Петра в руку вложили и повели в церковь Святой Троицы. Там на трон усадили, и священник, ликом на Федьку Андронова похожий, молитву зачал из триоди постной «В неделю мытаря и фарисея». «Твоими молитвами, Богородице, избави мя от всякие нечистоты». Филарет извернулся и пнул Федьку ногой. «Не богохульствуй!» — крикнул он, сам с трона во тьму полетел.

В кошмарах и во тьме беспамятства Филарет провалялся на топчане в деревенской избе несколько дней. Его зять, князь Юрий Трубецкой, и князь Иван Катырев-Ростовский все эти дни провели близ постели больного, лечили как могли, в баню носили, через хомут пропускали, бесов березовыми вениками изгоняли. Они пытались увезти его из Тушина в костромскую вотчину, но им не удалось убежать. Все тот же вездесущий Федька Андронов оказался недре-

манным оком и в самый последний момент пресек побег и поставил возле избы, где лежал Филарет, стражу.

Время и могучий организм Филарета сделали свое дело, он пошел на поправку. Ему больше не досаждали кошмары, но то, что случилось с ним наяву во время кошмаров, оказалось страшнее их. Пребывая в бессознательном состоянии, он дал уговорить себя стать патриархом. И волею Лжедмитрия был наречен первосвятителем всея Руси. И теперь он для кого-то — глава Русской Православной Церкви. На самом же деле лишь лжепатриарх.

Осмыслив все, что с ним случилось, Филарет упал духом и готов был на отчаянный греховный шаг. И чтобы смыть позор лжепатриаршества, решил предать себя смерти, ежели не удастся убежать из Тушина. Но то и другое было исполнить трудно. Грустно и смешно было Филарету оттого, что он, патриарх, находился под надзором дьяка Федьки Андропова и его недреманных стражей. И тогда Филарет положился на волю Божию и с усердием читал молитвы. И спасительная сила молитв вернула ему жажду борьбы.

— Господи, приношу себя в жертву Тебе! Нет у меня желаний, кроме желания исполнить волю Твою, Создателю и Спасителю, сокруша разженные стрелы лукавого, отторгающие нас от Тебя!

Когда же наступило душевное облегчение, он подумал: «Видимо, так Господу Богу угодно. Он что ни делает, все к лучшему». И Филарет приступил к первосвященническим делам. Он написал грамоты в епархии, которые волею Лжедмитрия II отошли от московского патриаршего престола, и призывал к укреплению Христовой веры, просил иереев вселить в верующих надежду на скорое замирение в державе. В своих грамотах Филарет ни в чем не способствовал самозванцу, не шел против патриарха Гермогена. Филарет был уверен, что его грамоты дойдут до первосвященника и он поймет их, как должно понять.

А дела в тушинском лагере обострились. И все по той причине, что поляки всюду начали терпеть неудачи и урон в войске. Насмерть стояла Троице-Сергиева лавра. Архимандрит Дионисий сам не сходил с монастырских стен, стрелял во врагов, а случалось, брал в руки саблю, но больше творил крестом и словом, вдохновляя защитников.

Жители северных городов перестали платить полякам дань. И первыми воспротивились иноземцам горожане Устюжины Железнопольской. За ними встали белоозерцы. Сопротивлялись полякам даже деревенские общины, коль-

ями прогоняли заготовителей скота и хлеба. Жители села Загорье, ведомые атаманом Лапшой, построили за селом крепостицу и вступили в бой с отрядом гетмана Лисовского. Один за другим уходили из-под власти самозванца города Вологда, Галич, Кашин, Старицы. Все эти вести Филарет получал из первых рук, от тех, кто приходил в Тушино и по заведенному Филаретом порядку приходил к нему на исповедь. Филарет старательно собирал вести о всем, что происходило в ближних от Москвы областях. Он строго наказывал своим сродникам делать то же самое. Филарет считал, что в будущей открытой борьбе с самозванцем хорошее знание событий в державе сыграет свою роль.

Вскоре Филарет узнал об осаде Сигизмундом III Смоленска и послал смолянам грамоту, в коей воодушевлял их на борьбу и стойкость, кою проявляли иноки Троице-Сергиевой лавры. Чуть позже судьбе было угодно поставить Филарета во главе великого посольства, с которым он ушел под Смоленск, на переговоры с Сигизмундом.

В польском лагере были недовольны действиями Филарета. Гетманы Ян Сапега и Лисовский требовали заточить его в тюрьму. В меньшей степени гетманы были недовольны и действиями своего короля. И неспроста. Ян Сапега сам готовился к захвату Смоленска. Усвятский староста рассчитывал вернуть Смоленщину себе, которая одно время принадлежала ему. В тушинском лагере страсти бушевали все сильнее. В эту пору главнокомандующим у лжецаря был гетман Рожинский. Он обращался с самозванцем как с холопом.

— Ты сидишь на троне нашей волей. И не перечь нам, пока терпим тебя, — твердил Рожинский каждый раз, когда Лжедмитрий пытался упрекнуть поляков за разбой в державе.

Среди польских гетманов согласия тоже не было. Ян Сапега, заметив, что Рожинский пытается перехватить у него власть, не мешкая уславил его в лагерь к Сигизмунду.

— Пойдешь и скажешь королю, чтобы дал тебе войско. И ты пойдешь в Ярославль, освободишь из плена Юрия и Марину Мнишек. Еще потребуешь от короля жалования за все годы пребывания нас в России.

— Помилуй, ясновельможный гетман, откуда королю взять почти восемь миллионов золотых рублей. Самим нужно добывать золото, оно рядом. Потому говорю: пора идти воевать Москву, — возразил гетман Рожинский. Он был бледен, остронос и в маленьких серых глазах светился лихорадочный огонь.

— Вот даст король войско, и возьмешь столицу, — ответил Гетман Ян Сапега. — Еще к доктору сходи, болен ты, — посоветовал староста.

Гетман Рожинский вынужден был уехать под Смоленск, да и не вернулся оттуда, потому как король Сигизмунд приласкал гетмана, дал ему большое жалование и поручил вести осаду Смоленска.

Филарет молил Господа Бога о том, чтобы Он невозвратно углублял распри в польском стане. Да все больше недоумевал и гневался на то, что царь Василий Шуйский поддерживал с королем Сигизмундом добрые отношения, заискивал перед ним. Странно, но Шуйский прислушался к советам Сигизмунда не вступать в сговор со шведами. А ведь помощь шведов нужна была России как раз для борьбы с поляками. За это польский король обещал русскому царю добиться замирения тушинцев с москвитянами и чтить истинную православную веру.

Коварные замыслы и происки короля Сигизмунда раскрыл патриарх Гермоген. Он действовал решительно и добился полного развала тушинского лагеря. В своих грамотах, которые приносили в Тушино священнослужители, он призывал истинных христиан к борьбе против засилия католиков. Грамоты возымели действие на многих московских вельмож. Они покидали самозванца. Филарет тайно благословлял их. А всех своих сродников изгонял из Тушина гневным словом.

И пришло время, когда из русских близ Лжедмитрия II остались только несколько сотен казаков во главе с атаманом Иваном Заруцким да проныры, нравом близкие к дяку Федьке Андронову, которому выпала судьба испить до дна горькую чашу разочарований в своем кумире.

Но поляки пока еще плотно окружали самозванца и в Тушине их стояла тьма. Лжедмитрий II пытался разобраться в том, что происходило вокруг него, призывал к себе Филарета и вначале жаловался на свои неудачи, на жестокий рок, а потом обвинил его в развале лагеря.

— Это ты потворствуешь вельможам и наставляешь их на бегство. Я тебя накажу. Я отдам тебя в руки дяков Федьки Андронова и Пашки Молчанова. Бойся! — кричал самозванец.

— Твоей угрозы не боюсь! Ты дышишь на ладан! Уходи в Стародуб, пока жив. И талмуд не забудь прихватить.

Дерзкие слова Филарета потрясли самозванца. Он пришел в ярость, позвал стражей и велел посадить патриарха в подвал.

Филарета увели, бросили в каменный подклет. Но грозное слово священнослужителя оказалось вещим. Оно породило в лжецаре панический страх. И сей страх побудил его бежать из Тушина. Он позвал к себе атамана Ивана Заруцкого и повелел:

— Поднимай войско! Ноне же уходим в Калугу. Там будет моя столица.

Заруцкий лишь улыбнулся лихо. Ему надоело сидеть без дела да быть в зависимости от поляков: хотелось воли.

— Подниму казаков, государь. Собирайся и ты, государь. В ночь и уйдем, — заверил лжецаря красавец-атаман. Калуга и его манила.

Морозной ночью, когда в Тушине все спали, самозванец в сопровождении казаков покинул свою «столицу».

Но поляки еще днем узнали от Федьки Андропова о том, что задумал Лжедмитрий II. Они не одобрили его действий. Им самозванец был еще нужен, с ним они думали вступить в Москву. И Ян Сапега еще с вечера выставил на пути самозванца засаду, большой отряд гусар во главе с полковником Волюцким. И когда в полночь на дороге появились беглецы, полковник Волюцкий с гусарами встали на их пути. Поляк не хотел проливать кровь и мирно сказал Заруцкому:

— Ты, атаман, гуляй вольно со своими казаками, а царю Дмитрию не гоже бегать от трона. Ему возвращаться с нами...

Лжедмитрий схватился за саблю, коня на полковника двинул и, призывая на бой Заруцкого, замахал саблей. Но гусары, что стояли близ Волюцкого, в миг лишили неумелого бойца оружия, вышибли из рук саблю, схватили его, стащили с коня и бросили в сани.

Заруцкий наблюдал за действием поляков равнодушно. Самозванец давно надоел ему. Не отвечая на призывы того о помощи, Заруцкий подал казакам знак рукой и тронул коня. Поляки расступились перед ним и перед казаками. Заруцкий продолжал путь на Калугу.

Три дня Лжедмитрия держали под стражей во «дворце», но позже ослабили надзор. Он же в ночь на шестое января десятого года переоделся в крестьянскую одежду, спрятался в снях под соломой, кои приготовил ему шут Кошелев, и благополучно скрылся из Тушина, убежал-таки с Кошелевым в Калугу.

Филарет, которого поляки еще раньше освободили из-под стражи, был очевидцем бегства самозванца, но и пальцем не пошевелил, дабы задержать его.

Вскоре же в стане поляков началось замешательство, суетня. Лишь только Яну Сапеге доложили, что самозванец убежал, он пришел в ярость и несмотря на то, что стояла морозная глухая полночь, отправил полковника Януша Тышкевича с отрядом гусар в погоню, чтобы схватить Лжедмитрия и вернуть в Тушино.

— Без него не появляйся, — предупредил Тышкевича Сапега.

Однако стародубский проныра как в воду канул, и Тышкевич вернулся ни с чем, покорно отдал себя на милость усвятского старосты.

События в январе десятого года накатывались волнами. И самые крутые валы, казалось Филарету, вздымались над Тушино. Сразу после бегства самозванца из «столицы» вора стали уходить все, кто служил ему. Одни возвращались в Москву, им на заставах дорога была открыта, другие убегали подальше от царя Василия, дабы в своих вотчинах пересидеть смутное время. Филарет благословлял их в путь. Но в Тушине еще немало осталось россиян, которые перешли на службу к полякам. Михаил Салтыков, получивший от лжецаря боярство и исправно служивший ему, теперь состоял советником при Яне Сапеге. Остался при поляках с отрядом воинов и Касимовский хан Ураз-Махмет. Немало оставалось в Тушине и духовенства — безместных попов, которые притулились к патриарху и ждали от него милостей и мест в приходах.

Филарет же не хотел видеть их у себя на службе, знал их погрязшие в греховности души. Он собрал всех священнослужителей и сказал им:

— Я не могу одарить вас милостью, хлеба дам, а службы дать не в силах. И на самозванца не лелейте надежд. Отныне нет его власти на Руси. Молитесь Господу Богу о прощении грехов и возвращайтесь в родимые гнезда, пока Господь не прогневался на вас. Такова воля Божия, да исполним ее не сумняшеся.

Филарету возразил Михаил Салтыков, который пришел на совет незванным. Князю уж никогда не отмыть грехов пред москвитянами, считал Филарет, и не выпросить милости у Господа Бога за свои измены.

— Ты, владыко, не толкай нас в хомут. Знаю, что скоро царем на Руси будет польский король Сигизмунд. Ему и послужим верой и правдой. Знай к тому же: все, чему учишь россиян, ноне будет ведомо гетману Яну Сапеге. Берегись!

Воспротивился Филарету и князь Василий Рубец-Мошальский. Его измены тоже были ведомы москвитянам.

— Иди сам на поклон к царю-шубнику, — сказал Василий Филарету. — А нам пора готовить послов к королю Сигизмунду и просить его на царство. Вот и весь сказ.

Федька Андронов хотя и не был на совете, но все узнал в тот же день от Салтыкова и Рубец-Мосальского. И злостью налился:

— Вновь вздыбился Филаретка! Ну, да обуздаю, не впервой!

В тот же день три нечестивца явились к Яну Сапеге. Верховодил Андронов. Он и выложил усвятскому старосте:

— Ты, ясновельможный пан-гетман, прими меры и сделай укорот владыке Филарету. С его благословления россияне покидают Тушино. А они нам нужны.

Скорый в своих действиях Ян Сапега во всем разобрался одним махом, приказал Андронову:

— Иди к полковнику Волюцкому, пусть поднимет гусар и арестует всех недостойных нашей милости.

Андронов исполнил приказ Яна Сапеги с усердием. Он побегал к полковнику Волюцкому, встревожил его, словно на пожар. И через несколько минут Филарет и все, кто находился близ него, были арестованы. Их объявили пленниками войска польского.

Глава седьмая

СВЕТ В КОЛОДЦЕ

Второго февраля, в день Сретения Господня, поздним вечером стражники-поляки пустили в каменный подклет человека. Он принес пленникам пищу. Раздав ржаные лепешки всем по очереди, подошел к Филарету и прошептал на ухо:

— Я Игнат-москвитянин. Пришел спасти тебя, владыко. Надень мой кафтан и треух, иди, и тебя выпустят стражники. За твоими палатами — лошадь и сани. Уезжай не мешкая, путь открыт.

Филарет же ответил ему:

— Вот ты принес хлеба и раздал их, и я получил свою лепеху. Зачем же мне, сытому, уходить и оставить братьев во Христе врагу на поругание? Уведи их, и я уйду последним.

— Тогда тебя лишат живота.

— На все воля Божия.

— Иного случая не будет, — рассердился Игнат. — Завтра вас погонят в Литву. Не мешкая и уходи!

— Тебе пора уходить, — вставая с соломенного ложа, сурово сказал Филарет. — Я тебя узнал, ты пособник Федыки Андропова. Уходи, не желай себе худа!

— Но-но, потише. А не то заткну зевало!

— Свое успей закрыть. — И Филарет с силой толкнул Игната к двери, крикнул: — Эй, стражи, зачем татя пустили?

В подклет заглянул польский воин, схватил Игната за руку и вытянул вон.

В сей час Федыка Андронов с пособниками готовился к тому, чтобы убить Филарета при попытке к бегству. И ждал лишь Игната. Он прибежал дрожащий от страха, упал Андронову в ноги.

— Побей меня, думный дьяк, волю твою не исполнил!

— Пес поганый, убирайся с глаз долой! — И Андронов пнул Игната ногой, крупно зашагал к просторному рубленому дому.

А наутро пришел за Филаретом полковник Волюцкий, вывел его на свет Божий и привел к Яну Сапеге. Близ гетмана стояли князь Михаил Салтыков и Федыка Андронов. Он смотрел на Филарета наглыми глазами, будто не было за ним никакой подлости.

— Вот патриарх Филарет. Я же говорил, что он жив и здоров, — сказал Федыка, обращаясь к Сапеге.

— Вчера ты говорил, что он болен и немощен, — заметил полковник Волюцкий.

— И было сие. Недуги часто посещают его.

— Федыка, изгони беса из нутра, — сказал Филарет.

— Вот он уже и ругается. — И Андронов засмеялся, бороду вскинул.

— Хватит, — оборвал его Ян Сапега. — Теперь мы сами услышим его. — Гетман подошел к Филарету, спросил: — Ты пойдешь вольно послом к нашему королю Сигизмунду?

— У меня нет нужды к нему, — ответил Филарет.

— Но мы велим тебе, — продолжал Ян Сапега. — Ты попросишь его от имени русской церкви, ее архиереев, ее прихожан, чтобы он отпустил на царство российское своего сына, ежели сам не желает.

Филарет удивился и подумал: кому могла прийти в голову сия кощунственная мысль, позвать вьюношу-католика на престол великой державы, глянул на Салтыкова и уличил его в измене России.

— Проклят будешь во веки веков, князь извратник, — бросил он Салтыкову гневно.

— Слушай меня, россиянин, — потребовал Сапега. — Ты скажешь королю, что его просят всей землей, от имени Думы и от имени всех христиан. Народу вашему нужен новый царь, мудрый и великодушный.

— Никому не дано присваивать чужое. Разве ты знаешь, чего желают россияне? Ты же отрицаешь у них желание, — заявил непокорный россиянин.

— Много раз я слышал сие. Спрашиваю тебя, пойдешь ли вольно послом? Ежели не пойдешь, тебя и всех твоих попов погонят, как стадо, — выходя из себя, изрек Сапега.

— Все в руках Божьих, но вольно я не пойду, — и Филарет повернулся к двери и тихо вышел.

— Мы желали тебе блага, но ты, онагрь, ищешь себе беды, — крикнул вслед Филарету гетман. И приказал страже: — В подвал его!

В тот же день под Смоленск из Тушина ускакала небольшая группа всадников, сопровождающая две кареты. В каретах важно сидели «послы» — князя Михаил Салтыков и Василий Рубец-Мосальский и бывший кожевенник, а ныне думный дьяк Федька Андронов в сопровождении верзилы Молчанова. Послы везли королю Сигизмунду договор, который составил тушинский боярин Михаил Салтыков. Следом за послами Ян Сапега счел нужным отправить пленного Филарета. Через два дня, как уехать послам, из Тушина выехали крытые сани, запряженные парой бахмутов. В санях сидел Филарет в потертом овчинном охабне. Сопровождал митрополита конвой из семи гусар. Старший конвойный вез королю Сигизмунду грамоту, в которой святский староста Ян Сапега советовал королю открыть ворота в Смоленск именем патриарха Филарета.

А каким-то часом раньше Тушино покинул верный роду Романовых дворовый человек, младший брат Якова. Родион не жалел ног и весь путь до Москвы пробежал, скоро явился на подворье князя Ивана Романова, рассказал ему о мытарствах старшего брата.

— Батюшку Филарета поляки в полон погнали. Обоз на Смоленск пошел, слышал я, через Звенигород. А стражей при нем седмица.

— Спасибо, верный друг, спасибо, — поблагодарил князь Иван Родиона. — Теперь уж моя забота брата-батюшку выручить. Да и ты с нами иди, если хочешь.

— Хочу.

— Тогда беги к князю Дмитрию Трубецкому, пусть собирает седмицу боевых холопов и сам в путь приготовится. А я заскочу к нему.

Родион поблескивал голодными глазами. Князь Иван догадался об этом и сам сбегал на кухню, принес говядины, хлеба, сказал:

— Не обессудь уж, по дороге и поешь.

Князь Иван действовал споро. Он поспешил в избы, где жили холопы, собрал молодых да ловких человек двадцать и велел им готовиться в путь:

— Соберите харчей дня на три, возьмите сабли, пистоли, все спрячьте. Коней оседлайте, а как будет смеркаться, покинем Москву.

Февральские сумерки наступили рано. И вот со двора Романовых группами по три, по пять всадников выехал отряд боевых холопов. Князь Иван велел им, минуя стороной Смоленскую заставу, собраться близ Донского монастыря. Сам в сопровождении двух холопов поспешил к князю Дмитрию Трубецкому. Вскоре два отряда объединились и взяли путь на Можайск, дабы от него идти на перехват польского отряда.

Князь Иван вел своих воинов без передышки всю ночь и на следующий день был вблизи Можайска. В город он не вошел, но затаился с холопами в зимнем лесу у дороги из Звенигорода. И не мешкая отправил Родиона в Можайск, узнать, есть ли там поляки и не прошел ли конвой из Тушина. Родион вернулся как за вечерело. Был доволен и порадовал князя Ивана.

— Ляхов в городе нет. Батюшку Филарета еще не провозили.

Князь Иван и Дмитрий погадали, где могли быть поляки с пленником, и ни к чему путному не пришли. Оставалось одно — ждать. Оседлали две дороги — от Москвы и от Звенигорода. И провели в засаде сутки, но напрасно. Князь Иван упрекнул Родиона:

— Может, ты обмишулился? Что как поляки погнали его не в Смоленск, а в Калугу?

— Все слышал верно. Гетман Сапега так и сказал: гоните их в стан под Смоленск, — ответил Родион без сомнения.

— Вот оказия, — расстроился князь Иван.

И москвитяне простояли три дня и три ночи. Согревались в шалашах из хвои, близ кострищ, спали в полглаза, но не голодали, лишь маята душевная одолевала. Князь Иван трижды посылал людей в сторону Волоколамска и Шаховского в надежде там обнаружить следы Филарета. Однако и конвой и пленник будто в воду канули. И пришлось возвращаться несолоно хлебавши.

Какова же была радость Ивана Романова и его свояка князя Дмитрия Трубецкого и всех боевых холопов, когда на Смоленской заставе им сказали, что два дня назад в Москву, в сопровождении звенигородских мужиков, вернулся Филарет Романов.

Случилось то, чего больше всего боялись поляки. На лесной дороге за Звенигородом на поляков напали партизаны-ополченцы. Ляхи и оглянуться не успели, как дюжие мужики с кольями расправились с ними. И не было убитых, но были побитые и пленные поляки. Их быстро угнали в лес, и на дороге вновь наступила тишина. В лесу староста партизан накинул на Филарета овчинный тулуп и сказал ему:

— Мы тебя знаем, владыка, лиха тебе не желаем. Ты служил нам, но не самозванцу. Ноне же отвезем тебя в Москву, живи в мире.

— Да вознагради тебя Всевышний, староста. Скажи, за кого мне Бога молить?

— Молись за Миколу с братией.

— Славный воин, бей ворогов во имя Господа Бога и матушки России. Аминь.

Вскоре же несколько вооруженных мужиков и Филарет на трех санях уехали в Москву. Поляков же угнали в леса, неведомо куда.

На пути к столице Филарет пребывал в угнетенном состоянии духа. Поймут ли его архиереи, не обвинят ли в иудином грехе? Не упреknут ли как клеветы самозванца? Как убедить их, что он был озабочен одним: судьбой Русской Православной Церкви. Да здраво поразмыслив, пришел к убеждению, что ему надо идти к архиереям с искренним покаянием. А покаянную голову меч не сечет.

Филарет Романов и ополченцы Миколы приехали в Москву на рассвете тусклого февральского утра. Стражи строго расспросили их, кто откуда, и лишь после этого открыли решетки-ворота. Как миновали заставу, Филарет решил ехать в Кремль, к патриарху на покаяние. Но ополченцы не согласились.

— Не с руки нам, — заявил рыжебородый мужик. — Да и ты, боярин, устал-измаялся. В бане бы тебе не мешало попариться. Там и духом воспрянешь.

Филарет внял совету, и вскоре его доставили на свое подворье.

Дворовые встретили владыку с воплями-причитаниями, засуетились суматошно. Кто-то побежал топить баню, кто-то на кухне скрылся, трапезу готовить да будить близких.

Старый дворецкий Романовых повел ополченцев кормить-пить, конюхи лошадей распрягали.

Вымывшись в бане, Филарет попросил найти князя Ивана, сам же прошел в опочивальню, нашел чистый лист бумаги в ларце под аналоем и написал патриарху Гермогену несколько слов о том, чтобы смилостивился принять с покаянием. А пока дворовый человек бежал в патриаршие палаты, Филарет сел в трапезной к столу и впервые за многие дни поел по-человечески. Он посетовал, что князя Ивана нет в палатах, и никто не знал, где он. Как трапезу закончили, вернулся дворовый человек и принес ответное слово.

— Он же сказал: пусть владыко придет к обедне в храм Покрова на рву. Там, говорит, ноне буду вести службу.

В сей день в церквах и соборах шло торжественное богослужение в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Филарет пришел в храм до начала богослужения. От его подворья до храма было каких-то сто с лишним сажень. Он не хотел быть узванным в пути и надел черный охабень с капюшоном, под которым, словно в шалаше, спрятал свое лицо. В храме ждал патриарха с волнением. Но Гермоген появился из алтаря неожиданно и сразу же нашел глазами Филарета, увидел обращенное к нему лицо и мольбу во взоре. Несмотря на то, что Гермогену шел восьмидесятый год, он был еще прям и крепок, и сила в глазах светилась мощная. И Филарет порадовался за первосвященника, с терпением стал ждать, когда патриарх позовет его.

Филарет усердно молился и просил у неба одного, чтобы честный и суровый Гермоген понял его. И когда Филарет еще дома писал, что, дескать, боится царя-батюшки, сие было не совсем правдой. За себя он не боялся, страдал из-за того, что мог накликасть новые опалы на близких. А вот Гермоген всегда вызывал в нем душевный холодок страха. Неистовый правдолюбец лишь взглядом своим приводил малодушных в трепет.

Служба заканчивалась. Гермоген подозвал услужителя, что-то тихо сказал ему и кивнул головой в сторону Романова. Услужитель скрылся за боковой дверью алтаря и вскоре появился близ Филарета.

— Владыко, идите за мной, — сказал он тихо и повел Филарета в помещение за алтарем, там оставил его, сам ушел в алтарь. Гермоген завершал читать Нагорную проповедь:

— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны

крепкие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся...

Услужитель вернулся к Филарету и позвал его в алтарь. Гермоген закончил чтение и встретил появившегося в дверях Филарета:

— Подойди ко мне, брат во Христе.

Как давно не виделись эти два истинные христианина, два россиянина. Тогда избирали на царствие Бориса Годунова. И первым, кого постигла опала нового царя, был митрополит Казанский Гермоген. Он дерзнул отказать Годунову в своей доверии и не подписал избирательную грамоту. В те дни Федор удивился дерзости бывшего казака. Сам он не посмел дерзнуть и подписал грамоту, хотя и сделал это вопреки своей совести. И теперь Филарет понял, что тогда, двенадцать лет назад, он выкопал между собой и Гермогеном ров, через который так и не перебрался. Потому в ожидании решения своей судьбы не питал надежд на благополучный исход, покорился ожидающей его участи.

Гермоген не спешил сказать свое слово. Его жгучие темно-карие глаза, казалось, высвечивали все нутро Филарета. Под этим взглядом человеку невозможно скрыть свои черные замыслы. И Гермоген увидел то, что не рассмотрел бы простой смертный. Он узрел, что в Филарете нет лжи, нет чуждых ему помыслов. И патриарх сказал словами Нагорной проповеди:

— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. — И повторил: — Подойди ко мне, брат во Христе.

Филарет не заставил повторять приглашение трижды, но подойдя, опустил на колени.

— Милости прошу твоей, святейший, принять мое покаяние. Грешен многожды, но бесам не служил.

— Ведаю твоё рвение за святую Русь. Ан ведаю и то, что бесы тебя путали, толкали в пропасть.

— Путали, святейший, одолевали происками. Да Всевышний указал мне путь истинный. И было покаяние. И к тебе пришел не сумняшеся.

Патриарх не спешил поднять Филарета с коленей. В душе у него благобно вызванивали колокола, потому как узрел он пред собой россиянина, способного на многие подвиги во имя отечества. В сей час Гермоген видел то, что ожидало Россию в будущем. Тернистый путь державы, страдания народа, кровь, слезы, мор, глад — все неумолимо надвигалось. Еще он видел то, что казалось ему страшнее всего: нашествие иезуитов, католиков, иноземных солдат, кои скопом попытаются поработить россиян, отторгнуть их

от православной христианской веры, навязать еретическую. Сия вера уже насаждалась слугами папы римского и его пособниками — ляхами. Искони российская Смоленская земля уже попала под иго католиков. Кто же встанет против засилия католиков-еретиков на Руси, ежели отторгать от служения православной вере таких мужей, как Филарет? «Нет, брат мой во Христе, тебе опалы от меня не будет», — подумал Гермоген и взял Филарета за руку, помог встать.

— Верю, что шел не сумняшеся и каждый твой шаг правдив, — согласился патриарх. — Потому призываю тебя помолиться во здравие Катерины-ясновидицы, твоей заступницы. Она открыла мне движение твоей души. И я принимаю твое покаяние во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

— Аминь, — повторил Филарет.

Гермоген прошел к скамье, сел и показал место рядом. И когда Филарет тоже сел, заговорил:

— Теперь внимай каждому слову с усердием. Конца нашим страданиям не вижу. Но ведаю о больших переменах. Ежели они скоро нахлынут и Россия устоит в них, то наступит время благоденствия. Пока же наш удел — борьба за святую Русь. Потому откроюсь: жду твоего подвига во имя державы.

— Повелевай, святейший, готов служить не щадя живота. Укажи мое действие.

— Ноне пока молись Господу Богу и с терпением жди. Грянет час и позову. А повелеваю ноне одно: береги сына Михаила. Иншего не скажу.

Филарет склонил голову, стиснул зубы. А так хотелось спросить о «иншем», но не посмел. Встал, так как понял, что пора уходить. Сказал, прощаясь:

— Да хранит тебя Всевышний, святейший. А я иду за тебя молиться. — Гермоген осенил Филарета крестом и они расстались.

Расставшись с патриархом, митрополит поспешил на свое подворье, закрылся в опочивальне и долгое время не выходил. Он думал о том, что произошло в его судьбе после встречи с патриархом Гермогеном. Казалось, на первый взгляд ничего не случилось. Но подспудное течение событий дано видеть не каждому. Филарет их видел. Он знал, что совсем недолго оставалось царствовать Василию Шуйскому. Бездеятельный царь, который не желает видеть, что держава катится в пропасть, народу не нужен. Что за этим последует, Филарету тоже было ясно. Россияне захотят найти достойного царя-батюшку, который сможет

вывести Россию из смуты, сможет защитить ее от нашествия чужеземцев.

Затворничество Филарета прервалось возвращением из похода под Можайск князя Ивана. Он был возбужден, радовался, смеялся, рассказывал, как четверо суток провели в лесу.

— Да кто ведал, что лесные мужички шустрее оказались, — посетовал князь Иван. — Слава Богу за милость, ты, брат-батюшка, вижу, здоров и духом не сник, но светел, — в какой раз обнимая старшего брата, шумел молодой князь.

— Светел, братец, угадал. Да все милостью первосвященника Гермогена. За него молю Бога.

В этот же день поздним вечером в палатах Филарета появились братья Дмитрий и Юрий Трубецкие, которые все еще скрывались от царя. Они принесли весть, коя подтвердила опасения Филарета.

— Царь Василий вовсе свихнулся умом, — начал Юрий, — затеял переговоры с королем Жигмондом. Тайные послы под Смоленск пошли. Надумал Шуйский в угоду полякам отдать трон Жигмондам, кому, не ведомо.

Филарет только головой покачал, вспомнив, как Ян Сапега принуждал его идти на поклон к Сигизмунду.

— Совсем плох Василий, коль в сговор с поляками пошел, — согласился Филарет.

— Еще самозванец в движение пришел, — продолжил рассказ брата князь Дмитрий. — Калугу покинул с большим войском, вновь Москву обкладывает.

Позже все так и было. Лжедмитрий II, не встречая большого сопротивления царских войск, взял Серпухов, Коломну, Каширу и от Каширы повернул к Москве. Но царь Шуйский как и прежде бездействовал. После того, как его брат князь Дмитрий потерял в битве с поляками под деревней Клушино почти сорок тысяч воинов, Шуйский боялся выпустить из Москвы последние тридцать тысяч войска. Царь уже никому из своих воевод не доверял. Он был угнетен духом и особенно впал в уныние после внезапной смерти племянника, князя Михаила Скопина-Шуйского. Прошел слух, что князя Михаила отравил князь Дмитрий Шуйский. И Филарет в этот слух поверил.

Одного пока не знал Филарет, того, что против царя Шуйского замышлялся заговор. Да вскоре и об этом ему стало известно.

Принесла сию весть в палаты Романовых ясновидица Катерина. Когда слуги доложили о гостье, Филарет почув-

ствовал слабость в ногах. Он опустился в кресло и не сразу велел слуге звать гостью. В сей миг его осенила мысль о том, что ежели Катерина переступит порог его дома, тотчас возникнет вихрь, в котором оживет-закружится все прошлое и, чего доброго, в сердце вновь вспыхнут прежние чувства. Помнил же он, как подобное случилось четыре года назад в селе Тайнинском, куда Катерина явилась также неожиданно, дабы предупредить его о приезде Лжедмитрия. Тогда их встреча продолжалась не больше десяти минут. И поодаль сидел в возке ее муж Сильвестр. Но ведь случился же взрыв в груди Филарета, когда он увидел свою несравненную возлюбленную. Верил Филарет, что годы не изменили облика Катерины. И ее ярко-зеленые глаза, поди, все так же горели ведовски-притягательно. Потому нужны ли ему были новые сердечные тревоги? Однако Филарет вовремя опомнился и велел слуге привести к нему Катерину.

— Пусть войдет раба Божия, — сказал он, как бы отгораживаясь этими словами от всего мирского, от того, что когда-то двадцать пять лет назад было между ними.

И Катерина вошла в малую палату, где Романовы принимали гостей по-домашнему. Филарет не узнал ее, потому как гостья не сняла шубы и платка, скрывающего ее лицо. К тому же день был тусклый, а свечи не зажигали.

— Владыко Филарет, не обессудь, что явилась незваная. — И Катерина подошла к митрополиту, склонила голову.

— Во имя Отца и Сына... — и словно споткнувшись, сказал то, чего от себя не ожидал: — Катюша, скинь шубу и платок, видеть тебя хочу, свет мой.

— Господи, чего боялась, все тем и обернулось! — воскликнула Катерина.

Филарет же словно окунулся в молодые годы, а вынырнув из них, всем существом жадно потянулся к женщине, которую нежно любил. Он помог Катерине снять шубу, и за платок взялся, и тронул рукой пук волос, гребень вытянул, волосы распустил, разгладил. И в палате стало светло от золотистой косы, будто в нее заглянуло солнце.

— Ну вот, ну вот, так и есть, ты прежняя. — И взмолился: — Господи милостивый, прости старого греховодника!

— То-то и оно, что старый греховод. Седина в голову, а бес в ребро. — И Катерина звонко, как в молодости, засмеялась. И лицо ее, по-прежнему прекрасное, осветилось чувством, которое Филарет знал. И он понял: время оказалось бессильным. И теперь лишь сан священнослужителя встал непреодолимой стеной между ними. Да и на сан Филарет

махнул бы рукой, ежели бы Катерина не оказалась сильнее его. Она погасила вспыхнувший в душе огонь.

— Владыко, охладись, — сказала тихо.

— Господи, я увидел свет, но помоги мне, Господи, не зреть его! Помоги не желать жены ближнего своего! — взмолился Филарет.

— Вот и славно, вот и хорошо, владыко. Теперь же послушай, о чем поведаю.

— Внимаю, дочь моя, — последние два слова Филарет выговорил с трудом, словно наступив себе на горло. Этими словами он возводил стену между собой и Катериной, как ему показалось, очень прочную, на самом же деле зыбкую, коя вскоре же рухнет.

— Я пришла к тебе, владыко, чтобы сказать, что близок день, когда царя Василия отторгнут от трона и над ним свершат постриг. Все это увидела моя Ксюша. Тебя же прошу не встречать в заговор. Спросишь, почему? Так вспомни, что было сказано тебе двадцать четыре года назад.

— Внял твоему совету, ангел хранитель, — и Филарет поклонился.

— Вот и все, о чем должна была поведать. До свидания, владыко, — и Катерина взялась за шубу.

Но Филарет остановил ее:

— Не обессудь, прошу, останься, вкуси со мною пищи. Дай отогреться душою, дочь моя, близ твоего очага.

Катерина усмехнулась, посмотрела на Филарета жалостливо, по-женски и согласилась побыть за столом. Они просидели долго и выпили вина. Катерина рассказала, как ей живется-служится у патриарха в домоправителях и как они жили в Казани.

— Он для нас больше чем отец родимый. Мы за ним как у Христа за пазухой. Но страшно мне, владыко, вижу его мучительный конец, а сказать не могу. Да ежели бы и сказала, проку мало. Он не свернет со своего пути. — На глазах у Катерины навернулись слезы, она смахнула их и с грустной улыбкой продолжала: — Устала я, владыко, от постоянных видений того, что ждет завтра-послезавтра близких мне... — И в этот миг она сочувствовала Филарету, ибо уже видела, как он идет к Сигизмунду во главе великого посольства, как претерпевает лихие мучения и невзгоды в польском плену. Катерина погасила это горькое видение, с улыбкой сказала: — У тебя, владыко, все будет хорошо.

Катерина ушла поздним вечером. Дворовые проводили ее до кремлевских ворот.

А Филарет в этот вечер долго не ложился спать, потому как вспомнил все, что было связано с Катериной. Воспоминания были отрадные и отвлекли его от мыслей о заговоре против Шуйского, о его судьбе. И все же избавиться полностью от этого он не мог. Филарет не проникся жалостью к Василию Шуйскому. Он считал, что тот заслуживает уготованной ему участи. Россияне его не любили. Он не оправдал их надежд, не избавил державу от смуты, но умножил бедствия. Он только заигрывал с народом и обманывал его. Россия устала от царя Василия. И потому, как сие казалось Филарету, когда низложат его, то россияне печаловаться не будут.

Глава восьмая

ИЗБРАНИЕ ВЛАДИСЛАВА

У Филарета было много поводов размышлять и беспокоиться о том, что ждало Россию завтра. Никто того дня еще не определил, когда грянут перемены. Но все говорило о их приближении. Силы, способные низложить Шуйского, в Москве были. Однако Филарет удивился тому, что во главе заговора встали рязанские братья бояре Ляпуновы, знаменитый воевода, старший, Прокопий, и отчаянно дерзкий и смелый в делах Захар. «Что ж, эти своего добьются, — сделал вывод Филарет. И продолжал размышления: — Шуйского низложат, а дальше что? Кого народ крикнет-позовет на царский трон? Ведь нужен государь сильной руки, державного ума, твердого характера, имеющий родовое право на трон». Тут ныне выходил в первый ряд князь Иван Романов. Он, как и Филарет, был в родстве с царем Федором. И ближе родства ни у кого из других россиян не было. Но Филарет не льстил себя надеждами на то, что россияне позовут Ивана Романова. Да, он мужественный, добрый, но не государственного ума муж. А по горячности нрава наломает дров, и не соберешь. Куда уж ему на державный трон!

На каких-то перекрестках прошлого сходились-пересекались пути великокняжеских и царских родов с родами князей Мстиславских и Голицыных. И о том, чтобы отдать корону и трон князю и боярину Федору Мстиславскому, шел разговор еще после смерти царя Федора. И дворец князя стоял в Кремле, из опочивальни до трона можно было добежать в исподнем белье. Да, у Федора Мстислав-

ского тоже, как и у Ивана Романова, полет был невысок, не окинуть ему своим оком державы, не увлечь ее за собой к благополучию.

И оставался один князь Василий Голицын. Что там говорить, был он на голову выше многих государственных мужей. Его знали и уважали в иноземных державах и считали умнейшим послом. Он и военным стратегом был. Князь, боярин, воевода — куда уж там более. Да знал Филарет, что боярский клан не выдвинет Василия Голицына в число искателей престола. А причин две: зависть и родовое равенство многих бояр. Тут и Салтыковы, и Черкасские, и Сицкие, и Бутурлины могли претендовать на трон. Да мало ли на Руси именитых княжеских и боярских родов. Те же бояре рязанцы Ляпуновы, чьими руками уготована жестокая участь царю Василию.

И оставался последний, достойный российского престола, князь-отрок Михаил Романов. И теперь становилось ясно Филарету, почему так настойчиво требовал Гермоген беречь сего отрока от злоумышленников. А среди них больше всего были заинтересованы отторгнуть от престола Михаила Романова поляки. И родилась у них эта потребность совсем недавно, в феврале-марте, когда, сначала тушинское правительство помчалось под Смоленск просить королевича Владислава на российское царство, а потом начались тайные переговоры царя Шуйского с королем Сигизмундом. И все о том же: бесхребетный Василий просил на трон России юного Владислава.

И все же Филарет надеялся на то, что россияне крикнут Михаила Романова, потому как сей юный князь, внук почитаемого в России боярина и князя, народного заступника, дворецкого Ивана Грозного, был чтим россиянами именно за это. Да Филарет не обижался да россиян. Все у них шло от истинной душевной привязанности. И в трудные дни, когда россияне встанут перед выбором, он не будет стучать себя в груди и взывать к сердцам и душам москвитян, чтобы они подняли на трон его сына. Нет, он останется в тени. И уж когда свершится воля Господа Бога, может быть, он, отец царя, встанет рядом с ним, дабы помочь в управлении державой, а сие ему ноне посильно.

Пока Филарет пребывал в затворничестве и в думах, судьба царя Василия Шуйского была решена. По свидетельству историков прошлого все было так: «Пока Иван Никитич Салтыков тушинский коновод, вел переговоры с Жолкевским по поводу избрания Владислава, Василий Голицын, хлопоча о своих интересах, пытался войти в отношения с Ляпуновыми,

а другие бояре, вступив в сношения с самозванцем, но не добившись от него достаточно существенных обещаний, пришли к следующему заключению: ни Василия, ни Дмитрия».

Но кому же тогда быть царем? Из лагеря в Коломенском, где стоял в эту пору Лжедмитрий II, несколько голосов ответили: Ивану Петровичу. Это было имя Яна Сапеги на русский лад. Усвятский староста не раз порывался посягнуть на русский престол. Но братья Ляпуновы его ни во что не ставили и все круто повернули к развязке. Встретились в своих палатах, поговорили.

— Давай-ка, братец Захар, вершить неизбежное, — сказал старший брат Прокопий, богатырь телом и духом.

— Да уж приспело времечко, — согласился горячий Захар. — С чего начнем, родимый, поди, уведомим Ивана да Михаила Салтыковых, дабы вкупе...

— Вот и скачи в Москву с малым отрядом. Я же следом выступаю.

Братья действовали решительно и споро. В Москве сплотили единомышленников и, как задумали, 17 июля на заре подняли набатом москвитян, сами же двумя отрядами в несколько сот воинов явились на Красную площадь. С нее вломились в Кремль, увлекая за собой горожан, разметали царскую стражу и возникли пред царем Василием во дворце. Захар Ляпунов подбежал к царю с обнаженной саблей.

— Сходи с трона, шубник, снимай венец! — крикнул Захар.

Шуйский, выдавший такие зрелища и зря перед собой лишь двух бояр да людей низкого происхождения, показал большую твердость.

— Эй вы, тати, покиньте дворец, не желайте себе худа! — крикнул он и взялся за кинжал.

Но вытащить его не успел, потому как Захар коршуном подлетел к нему и схватил за руку, словно клещами. Крикнул царю:

— Не тронь меня, не то своими руками разорву на куски!

Василий отпустил кинжал и Захар забрал его. Подошел Прокопий.

— Чего время тянуть, сходи-ка с трона, Васька, — потребовал боярин

— Не ты меня ставил, не тебе отторгать, — заявил Шуйский. И все смотрел на двери, все ждал своих защитников. Они не являлись.

А мятеж набирал силу. Но навстречу мятежникам вышел патриарх Гермоген в сопровождении священнослужи-

телей и бояр. Выйдя из Кремля, он остановился и, пытаясь перекричать гудевшую толпу, призвал москвитян к благоумию:

— Вы же не тати, не ляхи-вороги! Зачем подняли руку на законного государя?!

Но против патриарха выступил Федор Мстиславский, приказал своим холопам:

— Уведите его в Кириллов монастырь, нечего его слушать. Дело решенное, и Шуйскому больше не быть царем.

События в Кремле развивались своим чередом. Царю Василию не дано было больше держаться за трон.

— Раз ты не в силах сойти сам, то я тебе помогу, — заявил Захар и взял Василия на руки, понес из дворца.

Царь закричал благим голосом:

— Пусти, тать, сам пойду!

Захар поставил Василия на ноги и взял под руку, повел из дворца, из Кремля, в Белый город, в родовые палаты князей Шуйских. Там же люди Ляпуновых взяли под стражу братьев царя, Дмитрия и Ивана. И сами братья долго еще не покидали подворья Шуйских.

Еще два дня шла борьба с Гермогеном, который требовал, чтобы Шуйскому позволили отречься от престола по закону. Но спустя два дня Ляпуновы завершили начатое дело окончательно. Они позвали с собой князей Волконского, Мерина, Засекина, Тюфякина, нескольких священнослужителей, монахов и толпой явились на подворье Шуйских, вломилась в палаты, схватили Василия Ивановича за руки, и пока Захар Ляпунов крепко держал его, князь Иван Салтыков стал читать за Шуйского монашеские обеты, а князь Тюфякин свершил постриг.

На дворе тем временем появился крытый возок, Василия Ивановича вывели из палат, посадили в него, укрыли пологом от посторонних глаз и под стражей отвезли в Чудов монастырь, там сдали под надзор архимандрита.

В тот же день к Филарету пожаловало множество вельмож. Явились не только родственники, князья Трубецкие, Черкасские, Троекуровы, Лыков и Шереметев, но и те, кто в годы опалы отвернулись от Романовых. Пришел князь Дмитрий Мезецкий, еще думные дьяки Василий Телепнев и Томила Луговской — все прилежно служившие царю Борису Годунову. Гости были возбуждены, много говорили, спорили, у каждого имелось свое мнение по поводу будущего державы. Все хотели замирения междоусобицы, прекращения смуты, изгнания поляков с русской земли. Однако никто не знал, как все это сделать.

Филарет не понимал, зачем вдруг нагрянули к нему гости. Но после того, как было выпито не по одному кубку вина и медовухи, князь Дмитрий Мезецкий направил разговор в то русло, ради чего и пришли вельможи. Он же сказал красно, как умел сие:

— Мы ноне вольные люди, нет над нами государя, который изжил сам себя. Но обрета свободу от клятвы, нам нужно подумать о детях своих, россиянах. Они не могут быть в сиротстве, им должно иметь царя-батюшку. И настало время о нем порадеть. Потому говорю: утвердите себе уполномоченного всей земли. Ежели жребий падет на меня, скажу, чему быть далее, о чем мыслю.

Бояре, князья, думные дьяки выпили еще вина и выразили доверие князю Мезецкому.

— Благословляем тебя, князь Дмитрий, сказать то, что замыслил, — сказал князь Юрий Черкасский.

— Говорю, — начал князь Мезецкий. — Мысль моя сводится к тому, что в сей смутный час нам не нужно искать царя у себя, потому как нет среди нас мужа, способного навести в державе мир и покой. Потому надо звать на царство российское мужа из другой державы.

Услышав сие предложение, Филарет потемнел лицом. Знал он о движении в пользу Владислава, и хотя князь Мезецкий не назвал его имени, было очевидно, что на него и упадет выбор собравшихся. Еще Филарет удивился тому, что чуждый кругу Романовых человек дерзнул в присутствии собравшихся сделать такое предложение. И митрополит возразил:

— Думал ты о Владиславе, князь Дмитрий. Так ведь и Шуйский его звал. Ему было наплевать на то, что с Владиславом хлынут на Русь католики и иезуиты. А ты-то к чему нас толкаешь? Потому отклоняю твой совет, говорю: ищите царя меж собой.

— Искали и не нашли, — ответил Филарету Федор Шереметев. Потому как народ абы кого не примет. Крикнет Мстиславского, а россияне ему откажут, будут звать Голицына, и снова буза возникнет. А Владислава мы обратим в свою веру.

— Вот как примет крещение, тогда и зовите. Ему же ведомы ваши потуги.

— Владыко Филарет, мы устали от самодержцев. Тирания Грозного, проказы Годунова довлеют над нами, хитрость и разврат Шуйского отвратили россиян от своих царей, — с жаром заговорил князь Мезецкий, — а мы хотим, чтобы русский народ очистился от злобы и нена-

висти, кою питал к домашним. Мы хотим позвать царя из державы, где народ живет вольнее, где есть науки, просвещение, где выше дух благочестия, культуры. Вот почему мы зовем Владислава.

— Однако опомнись, князь Дмитрий, — возразил князь Черкасский, — о каком благочестии ты говоришь?! Или забыл, что поляки при Лжедмитрии лошадей в московских храмах держали? Как можно такое простить?

— И верно, — подтвердил князь Лыков. — Поганили нашу веру ляхи.

— Многие мне непонятно в вашем поведении, вельможи, — продолжал Филарет. — Не пойму, зачем вы у меня сей разговор повели? Говорю вам как перед Богом, слышать ваши речи мне тошно. Скажу и другое: испокон на Руси государя выбирали архиереи с первосвятейными, а бояре и прочие слушали их суд. Зачем же не позвали к себе Гермогена, Дионисия, Ефрема, прочих достоправных отцов церкви? — Филарет говорил сурово, попрекаяще, и у многих проросла тревога в душе: а ну как сам пойдет к народу и спросит, кого он хочет назвать царем. И случится то, чего здесь многие боялись. Народ единым духом назовет отрока князя Михаила Романова — душу чистую и непорочную. Такого царя народ ждал давно. А россияне, и это знали собравшиеся, способны на то, чтобы помочь юному царю укрепить державу.

Собираясь на подворье Романовых, вельможи рассчитывали получить поддержку от Филарета. Ведь все эти «перелеты» в Тушино чтили его как патриарха. И теперь, пока Гермоген еще радел за Шуйского, Филарету, по их мнению, сам Господь велел подать свой сильный голос и встать на патриарший престол. Ан выходило, что обмишулились: Филарет пел с Гермогеном в одну дуду. И ждали, что Филарет вот-вот крикнет гневно и выгонит всех с позором из палат.

Но Филарет усмирил в душе гостей бушующие страсти и, будучи дипломатом в большей степени, чем собравшиеся, нашел мирный исход дела и всех привел к любовному решению.

— Вот что, дети мои, пока вовсе не впали в заблуждение, исправьте свой неблагодатный порыв. Идите к Гермогену и архиереям и заручитесь их словом, просите, чтобы повели народ на Девичье поле, дабы там россияне выразили свою волю, быть или не быть иноземному королевичу царем на Руси. Идите с миром, а я помолюсь за вас. — Сказав это, Филарет покинул трапезную.

Вельможи еще кое время судили-рядили о предложении Филарета, а потом сошлись во мнении, что без благословения патриарха их затее грош цена. И выбрав достойных мужей во главе с князем Мезецким, обязали их идти на поклон к Гермогену.

Потом к Филарету приходила Катерина и рассказала, как они уломали Гермогена дать согласие звать на престол Владислава и как патриарх отторг от верховодства князя Дмитрия Мезецкого и отдал предпочтение князю Василию Голицыну. Катерине бы попечаловаться вместе с Филаретом, потому как сия весть его не радовала, но привела в уныние. Ан нет, она была весела и беззаботна. Филарет рассердился:

— Не доводи меня до греха, дочь моя, зачем нечистую силу тешишь, а меня в тоску вгоняешь?!

— Слушай, владыко, — с улыбкой заговорила Катерина, — и прости меня грешную, что дерзить тебе вздумала. Да любо мне тебя сердить. Потому без сутаны тебя хочу видеть, Федором назову, Федяшей, на утехи способным.

— Окстись, дочь моя, — осеняя крестом Катерину и пятясь от нее, воскликнул Филарет.

— Да уж не проси, не отступлюсь. Люб ты мне, как в молодости. Да и старости в тебе нет, есть сила богатырская, есть желание и тоска по близости. — И вовсе вплотную подошла Катерина к Филарету, в глаза ему заглянула, заиграла своими, обжигающими, разум затуманила Филарету, огонь в груди зажгла.

И Филарет поддался ее чарам, в блаженном тумане взял ее за руку, приник к ней губами да и повел свою возлюбленную в глубину своих палат.

— Голубушка, разрушу, разрушаю стену, кою воздвиг меж нами. Возьму на душу грех, ежели сие грех, приглублюсь к тебе. Да Бог простит прегрешение.

— И не сомневайся, любый, нет в том греха. Мы идем с тобой на прощальный пир, мы прольем с тобой слезы расставания, потому как долгие годы не свидимся. Так угодно судьбе. Сказано святейшим, ты уйдешь главою великого посольства.

Все это и многое другое Катерина говорила уже в опочивальне, на ложе, греша и молясь о прощении греха.

А Филарет в эту ночь благодарил Всевышнего за то, что послал к нему несравненную и самую прекрасную женщину, за то, что не погасил в его сердце любовь к ней, за то, что испытал блаженство, кое будет питать его дух долгие годы грядущих страданий.

Катерина ушла из палат Романовых только ранним утром. Дворецкий проводил ее глухим путем через сад к Москва-реке. На прощание Катерина подарила ему перстень и попросила:

— Ты уж, батюшка, сохрани нашу тайну. Да больше нам с Федором Никитичем не суждено свидеться.

По пути в патриаршие палаты Катерина вымаливала прощение у законного супруга, который был в сей час в дороге к Смоленску. Шел туда, чтобы проникнуть в осажденный город, передать архиепископу Смоленскому грамоту Гермогена, чтобы подняться на стены в ряды защитников и простоять на них до исходного часа.

Филарет в это время стоял на коленях перед иконостасом и молился, прося прощения у Всевышнего, у Сильвестра и ругал самого себя за греховодство. Разум его пробудился от наваждения, и он счел, что по священному писанию должен строго наказать себя. Но знал он и другое: сей грех был искуплен за многие годы отлучения от жены, от любимой женщины. Он был пострижен в монахи вопреки его вольнолюбивой натуре. И все же Филарет изгонял из себя беса. Он велел жарко натопить баню и ушел бороться с соблазнителем. И пока парился, нещадно избивал себя голиком, а не веником, обливал ледяной водой. И как показалось Филарету, бес был изгнан. Но душевное умиротворение осталось, и ночь накануне Успения Пресвятой Богородицы запомнится ему на всю оставшуюся жизнь.

Семнадцатого августа, после долгого затворничества, Филарет вышел из палат и пешком отправился на Девичье поле, куда стекались москвитяне и где, знал Филарет, назовут ноне имя нового царя. Всмотриваясь в лица москвитян, Филарет не видел в них ни радости по столь важному событию, ни неприязни, отторгающей иноземца. Похоже, что россияне устали от всякой борьбы, от выражения каких-либо чувств и были ко всему равнодушны. Так оно и было.

Когда на возвышении в центре Девичьего поля появились бояре, князья, дворяне, священнослужители и князь Василий Голицын при общей тишине прочитал договор с польской державой о том, что россияне зовут на престол королевича Владислава, народ встретил это полным молчанием. Но вот князь Голицын прочитал особые условия:

— Мы заявляем, что прежде чем вступить в царствование, королевич Владислав должен исполнить нашу волю и принять русскую православную веру, креститься по нашему обычаю. Без того ему не быть царем.

И над полем впервые прокатился гул одобрения.

— Мы требуем, чтобы все польские войска покинули русские земли, — нес слово россиянам князь Голицын.

И только теперь россияне вышли из состояния равнодушия, над полем стоял неумолчный гул, прорывались выкрики: «Долой ляхов!»

Но в этот день никто в России еще не ведал о коварных замыслах польского короля Сигизмунда. А Жигмонду, как его нарекли россияне, уже самому захотелось немедленно овладеть тронном и побыть в роли государя великой державы. Все это россияне узнают потом, а пока смирились с волею вельмож и присягнули на верность будущему царю Владиславу.

Странно, однако, Филарет не испытывал от всего, что увидел и услышал, никакого волнения. Он больше взирал на чистое небо и молился Всевышнему, просил его не допустить на престол России чуждого духу россиян царя.

Через несколько дней в Москву съехались выборные от многих областей державы. Всех их пригласили в Успенский собор. Туда же позвали Филарета. Сошлись, чтобы утвердить волю народа. Митрополит был свободен от какого-либо угнетения духа. И причиной его спокойствия было предсказание ясновидицы Катерины. Он верил ей без сомнений. А она сказала, что вся суета вокруг Владислава — напрасная маята. Видела она на престоле России лик юного россиянина.

И потому, стоя в огромной толпе, заполонившей Успенский собор, Филарет думал и беспокоился не о том, что вершилось в соборе, а о своем сыне Михаиле, как он там пребывает в тайных местах Костромской земли.

Но вот в Успенском соборе началось то главное событие, ради которого собрались выборные от всей земли. На амвоне, в торжественном одеянии появился патриарх Гермоген, и наступила тишина. На клиросах тихо запели певчие. И сам патриарх прочитал благодарственную молитву. Выглядел Гермоген усталым, словно долгое время пребывал в тяжелом борении, да так оно и было. Голос его, обычно мощный, звучал вяло и тонко. После молитвословия Гермоген вдохнул в себя новые силы и начал говорить четко, громко, выделяя каждое слово.

— Братья во Христе, православные россияне, церковь наша готова надеть венец на избираемого вами королевича Владислава, ежели он отречется от католичества и примет православную веру. Посему благословляю вас на посольский поход в польскую землю. Да скажете королю Жигмонду, чтобы отпустил своего сына в Москву и наказал

принять нашу веру. Идите люди от всей земли русской, но не посягайте ее!

Этот наказ россиянам прозвучал строго и убедительно. И голос Гермогена был полон властной силы. Высказав будущим послам все, что должно им совершить, благословил:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!

И снова на клиросе послышалось пение. В него включились певчие в самом храме и оно звучало мощно, торжественно, словно гимн.

Глава девятая

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО

Пока россияне ждали нового царя, патриарх Гермоген волею Господа Бога собрал всех именитых бояр, князей, дьяков, кои заседали в Боярской думе, и приговорил им избрать из своего круга правительство из семи мужей. И такое правительство родилось, и россияне назвали его Семибоярщиной. Рьяно взялось правительство за дело. И первым деянием Семибоярщины были сборы посольства к королю Сигизмунду. Правители торопились. Особо настаивали на скорой отправке послов князь Федор Мстиславский и Иван Воротынский. Но проявляли они не свою волю, а действовали по команде гетмана Жолкевского, который тайно прислал в Москву своих людей. Однако полного согласия у Семибоярщины не было. Член правительства князь Иван Романов доказывал на заседании в Грановитой палате:

— Нет нужды в послах. Жигмонд не отдаст нам своего сына. Да нам он и ни к чему. Москву нужно уберечь от поляков, кои подбираются к ней. Вон гетман Жолкевский уже в селе Хорошеве сидит. В семи верстах. Эко!

Федор Мстиславский никогда не питал добрых чувств к Ивану Романову: молод, настырен. И потому Мстиславский урезонивал его круто. И глухой трубный голос его наполнял Грановитую палату:

— Ты, князь, молод чинить нам помехи. Мы выполняем волю патриарха. Потому говорю: посольству быть и оно пойдет. Твоя же супротивность нам ведома, и не желай себе худа!

Той порой дьяки Посольского приказа, под присмотром князей Андрея Голицына и Бориса Лыкова, составили списки тех, кому идти под Смоленск. И первыми в этом списке значились митрополит Филарет, князь Василий Голицын и

боярин Захар Ляпунов. А далее за этими именами значились в списках еще 1242 мужа разных сословий, представляющие почти все области России.

Когда Авраамий Палицын зачитал сей список правителям, князь Романов вновь взбунтовался:

— Одумайтесь, державные головы! Не бросайте Русь в разорение! В иные годы и трети того не отправляли в иноземные державы!

— Да пойми ты, голова садовая, король Жигмонд должен знать, что мы всей землей просим! — возразил князю Ивану князь Трубецкой.

Иван Романов не успокоился, помчался домой, уведомил Филарета:

— Брат-братюшка, эго надумали: тыщу триста послов шлют к ляхам! Сие не посольство, но шествие рабов в стан победителя!

— Истинно говоришь, брат мой. Рабы и есть, как к ханам в орду ходили. Я такого посольства не поведу.

— К патриарху нужно идти, он образумит тупые головы.

— Твоими устами да мед бы пить, — согласился Филарет.

На другой день с утра он отправился в Кремль. В пути встретил князя Василия Голицына и спросил его:

— Не ты ли надоумил собрать такую ораву послов, кою нам с тобой вести?

— Плохо подумал обо мне, владыко. Правители закусили удила, и теперь их понесло невесть куда, и не оставишь. Худо еще и потому что с нами идет князь Иван Куракин, слуга поляков, — посетовал князь Василий.

— Вот я иду к патриарху, и ты иди со мной. Что он скажет, тому и быть.

Гермоген еще не ведал того, что замышляли правители. А когда выслушал Филарета и Голицына, задумался. Да пришел к мысли о том, что затея Семибоярщины не лишена злого умысла. В самом деле, размышлял он, великое посольство не удивит короля Сигизмунда, он только порадуется затее московитов. Сам же и десятой доли послов не пожелает увидеть, а примет в лучшем случае пять—десять человек в своем полевом шатре. Тогда, спрашивается, зачем сие представительство от «всей земли российской?»

— Вижу, дети мои, замысел правителей в том, чтобы очистить Москву от неугодных им мужей. Токмо так сие открывается. Да нужно посмотреть списки, дабы мысль окрепла.

— Святейший, мудрость твоя нам ведома. И мы в согласии с тобой, — ответил князь Голицын. — Потому веди нас в Грановитую, там и откроем истину.

Гермоген понимал, что вольность и безрассудство семи бояр дорого обойдутся державе. Гетман Жолкевский, который стоял в двух часах ходу от Москвы, как только узнает, что из стольного града ушли почти пять тысяч россиян, способных защищать стольный град, тотчас двинет свое войско, дабы захватить город.

И подумал Гермоген, что глава вредной затеи — князь Федор Мстиславский. Это он с первого же дня, как встал у власти, подмял под себя другие головы правителей, верховодил над ними и вел двойную игру с ним, патриархом. И нет, поди, силы, способной заставить Мстиславского творить дела во благо державы. Гермоген знал, что повлиять на князя Федора он не может, разве что в его воле предать отступника анафеме. Патриарх и князь-боярин всегда были недругами. Мстиславский не скрывал этого и при всяком удобном случае пытался ущемить главу церкви. Но святейший всегда ставил интересы отечества выше личных амбиций и потому сказал:

— Идем же в Грановитую. Да пусть сумасброды не ждут милости. Наложу клятву!

И они отправились в главный Кремлевский зал, где полными днями пребывали правители. Гермоген нашел всех, кроме князя Федора Шереметева, который тоже не был в согласии с Мстиславским и его единомышленниками.

— Заблудшие овцы, — начал патриарх, поднявшись на возвышение, — я пришел сказать, чтобы образумились и не творили безрассудное. Токмо врагам нашим на руку ваша затея, отправить под Смоленск столь неразумно сбитое посольство. Проводите в путь седмицу умнейших, и дело с концом.

Федор Мстиславский сдержал отчаянно, но без страха перед отцом церкви:

— Ты, святейший, стар, и тебе пора токмо молиться Господу Богу, но отойти от державных дел.

— Не дерзи, раб Божий. Это тебе пора уйти в вотчину и там пасти гусей. А ты творишь неразумное и вводишь русскую землю в конфуз. Виданное ли дело, чтобы посольством шла тьма!

— Так мы приговорили, так и будет, — твердо заявил князь Мстиславский. — Тебе же, князь Василий, и тебе, митрополит Филарет, скажу: вам великая честь оказана. И потому собирайтесь с Богом в путь, а святейший за вас помолится.

Гермоген погрозил наложить-таки на правителей клятву. Но они не сдались. И вскоре по Китай-городу, по Белому городу, по подворьям многих земель, кои имелись в Москве, начались сборы в дорогу. Собиралась армия. Только одной прислуги, возничих, писцов, стражников, боевых холопов набралось больше четырех тысяч. Готовились тысячи лошадей, колымаг, рыдванов, телег, крытых возков. На телеги было положено тысячи пудов хлеба, круп, мяса, рыбы, сена, овса. Знали же послы, что никто их в польском стане не накормит и нигде ничего в округе не купишь. Все селения ляхи давно ограбили. И дабы не голодать, надо было везти весь припас с собой. К тому же никто не знал, на какое время послы покидали Москву. Явно же не на неделю, но на месяцы. Да так оно и вышло.

В Москве во время сборов было беспокойно. Москвитяне, привыкшие к многому необычному, такого чудачества не видавали. На улицах собирались толпы горожан, судили-рядили, выпытывали у посольской челяди, куда они «навострили сани», уже не бегут ли из Москвы, кою поляки обкладывали. В городе появились шайки разбойников, случилось много грабежей, особенно в ночь накануне отъезда. И немало послов остались без съестных припасов и тягла.

Посольство покидало Москву в день Рождества Пресвятой Богородицы. Уходили под звон множества московских колоколов. Провожал послов и главный колокол державы «Лебедь» на Ивановой колокольне. Перед выездом в Архангельском соборе состоялся молебен. Но патриарха в храме не было. Послов благословили в путь другие архиереи. Посольский поезд растянулся на несколько верст. И когда Филарет и князь Голицын въезжали в Кунцево, то последняя повозка была еще на Поклонной горе.

Великое посольство выехало из Москвы в благодатную пору бабьего лета. Под колесами экипажей и повозок стелилась накатанная и еще пыльная дорога. Над поездом стоял гомон, крики, слышались песни. Для многих, кто отправился в путь, это было необычайное событие, особенно для молодых парней из челяди да боевых холопов.

Митрополит Филарет и князь Василий Голицын ехали в одной карете. Поначалу они долго молчали, пребывая в своих думах. Да было над чем подумать каждому из них. Правители наказали им добиться согласия Сигизмунда отдать в Россию своего сына. Казалось, задача совсем простая. Так Мстиславский и сказал: «Поклонитесь всем посольством королю Жигмонду, и он благословит Владислава идти царем великой державы». Однако эта кажущаяся

простота таила много загадок. Но и нелепости явные про-
сматривались. Чего-чего, а сие Семибоярщине было непросто-
чительно. Как мог князь Василий Голицын просить усердно короля Сигизмунда о милости благословить сына,
ежели сам вынашивал мечту добиться Мономахова трона?
И только бы сказали москвитянам тогда на Девичьем поле,
дескать, зовите в цари князя Василия Голицына, и был бы
он уже царем. Право же, размышлял Филарет, Всевышний
лишил правителей разума, коль послали человека, который
ну никак не поусердствует в пользу Семибоярщины и Вла-
дислава. Зачем же тогда вся затея с посольством?

А разве глава Семибоярщины князь Федор Мстислав-
ский не знал интересы Филарета и всех Романовых, всех
их сродников? Хорошо, его, Филарета, Мстиславский иск-
лючал. А есть ли у него причины отрицать князя и боярина
Ивана или княжича Михаила? «Ой, княже Мстиславский,
не наградил тебя Господь прозорливостью», — пришел к
выводу Филарет.

И все-таки загадка оставалась неразгаданной. Патриарх
Гермоген не назвал бы всуе после низложения царя Шуй-
ского имени нового государя, сына Филарета — Михаила
Романова.

Трудно все это было объяснить, считал Филарет. И ко-
нечно же правители были в тумане и разум их был под-
чинен мощной силе иного мужа. Им без сомнений был
Гермоген. Он благословил в поход Филарета, князя Голи-
цына, боярина Ляпунова, твердо веря в то, что они и слова
не скажут в пользу королевича Владислава. Вот она и раз-
гадка. Филарету полегчало.

В этой сложной игре Филарет искал свое место. И он
готов был к открытой борьбе с Семибоярщиной, ведущей
Россию к новым страданиям. Избавить россиян от страда-
ний — вот суть борьбы. А для этого нужно найти достой-
ного великой державы государя, нужно изгнать с русской
земли иноземцев. Ясно же, что Владислав и пальцем не
шевелинет во благо россиян. Кто-то из русских вельмож
уповал на Сигизмунда, дескать, он наведет порядок в Рос-
сии. Но вот уже более десяти лет Сигизмунд не может
вразумить своих ясновельможных панов и прекратить меж-
доусобицы, терзающие польский народ. Сказывали, что Си-
гизмунд к тому же первый мот в Европе. А то, что бездарен
в военной справе, так это показала осада Смоленска.

Все эти горькие размышления навевали на Филарета
печаль и досаду. Солнце с запада для России не светило.
А если бы и светило, то не согрело бы души россиян

отеческой заботой. Все равно они пребывали бы в сиротстве.

За Гжатском спокойное движение посольства вдруг нарушилось. В голову поезда прискакали три мужика-возницы и с криками: «Ляхи напали! Ляхи грабят!» — осадили коней возле кареты митрополита. Один из всадников соскочил с коня и выдохнул Филарету, который открыл дверцу кареты:

— Батюшка-владыко, ляхи хвост нам отрубили, а сколько возов с харчами в лес угнали, и не ведаем! Что нам делать, владыко?

Покачал головой Филарет, заступника Бога вспомнил, а сказал по-воеводски:

— Вооружитесь дрекольем, вилам и топорами, бердыши у кого есть возьмите да погоняйте ляхов по лесу, как волков. Далеко они не ушли. Помните: ляхи наши враги!

Россиянин все понял, поклонился Филарету, на коня лихо вскочил, крикнул своим: «Айда!» — и умчал обратно.

Князь Василий словно проснулся, из кареты выскочил резво.

— Коня мне, — крикнул он своим холопам. А увидев Захара Ляпунова, и его позвал: — Боярин, поедем на до-смотр. — И Филарету сказал важное: — Вот оно, началось наше противостояние с Сигизмундом. И надо сбивать челядь и холопов в отряды, оборону держать.

Подошел Захар Ляпунов. Он был гневен, ругался:

— Чертово отродье, мало им шестого года! Ну да напомним!

Василию и Захару подали коней и они в сопровождении небольшого отряда воинов ускакали в конец поезда. Филарет же велел передать всем возницам по цепочке, дабы погоняли коней с расчетом засветло добраться до Вязьмы.

На пути до Смоленска польские «фуражиры» еще дважды пытались напасть на посольство, но каждый раз их встречали кольями, вилами, огненным боем, они оставляли на дороге раненых, убитых и скрывались в леса.

Русские разбили становище на левом берегу Днепра. А чтобы поляки знали, кто встал близ них, Филарет послал князя Андрея Черкасского, летописца-келаря Авраамия Палицына, еще трех дьяков Посольского приказа уведомить поляков о прибытии русских послов и узнать, когда король Сигизмунд их примет.

Но польский король Сигизмунд, однако, не поспешил принимать россиян. Для этого у него оказалось несколько причин. И перво-наперво он выразил претензию о том, что

не там, где следует, разбили лагерь. С посланниками встретился гетман Рожинский.

— Пока не встанете лагерем на правом берегу Днепра, близ нашего войска, нам нет до вас дела, — заявил он спесиво.

— С какой стати нам быть на правом берегу? Нам и перебираться не на чем, три лодчонки всего, — возразил гетману князь Черкасский.

— Ставьте мост или паром сплотите, — ответил Рожинский, с тем и проводил посланников.

Услышав такое предложение Сигизмунда, главы русского посольства задумались. Там, куда прочил поставить русский лагерь король, стояло польское войско. Выслушав князя Черкасского, Филарет сказал:

— Зачем нам такое соседство? Россиянам сподручнее стоять на своем берегу.

Поразмышляли скопом, прикинули так и эдак: не увидели резону переправляться на правый берег. И воевода Захар Ляпунов выразил желание сам сходить в польский лагерь.

— Я найду что сказать Жигмонду, — заявил Захар.

— Горяч больно, дров наломаешь, — заметил князь Голицын.

— Мы не за милостыней пришли. Мы Жигмондову сыну Россию отдаем. По такому делу ему бы к нам на поклон идти, — ответил Захар.

— Ишь как ты повернул! Ан нет, пока мы в просителях и надо уважить короля, — сказал свое слово князь Иван Куракин.

Однако Ляпунова поддержал Филарет:

— Иди, боярин, токмо и впрямь не наломай дров. С собой же возьми опять же князя Андрея и Авраамия.

Ляпунов с сотоварищами ушел в польский лагерь, и не появлялись они в русском стане два дня и вестей от них не было. Чего только не передумали Филарет и князь Василий.

— Поди, не удержался горячая голова, надерзил-таки королю наш посланник, — размышлял князь Василий.

Однако Захару не довелось дерзить польскому королю. Узнав от Рожинского, что за птица боярин Ляпунов, Сигизмунд сказал:

— Не хочу видеть сего разбойника. Коль Щуйского стащил с трона, так и к Владиславу руки потянет. Где он сейчас? — спросил король гетмана.

— В деревне избу облюбовал, — ответил Рожинский.

— Поставь стражу возле, а через два дня выпроводи, — повелел король гетману.

Когда Захар Ляпунов вернулся, Филарет собрал многих послов на совет и спросил их:

— Скажите, почему Жигмонд навязывает нам свою волю? Мы же пришли со своей.

Князь Василий Голицын, зная посольские тонкости, возразил:

— Истина за Сигизмундом. Пока мы не послы, но непрошенные соседи. Потому придется смириться с требованием Сигизмунда.

— Нет истины за Жигмондом: — воскликнул боярин Захар. — Нам с князем Черкасским было худо два дня. Вас же посадят в подклеты на недели и месяцы. Я в польский лагерь не пойду.

Послы долго спорили и все-таки согласились с Филаретом и Захаром Ляпуновым стоять на левом берегу Днепра.

И прошло еще несколько дней в переговорах о том, где стоять русскому лагерю. Король упорно звал россиян на правый берег. Но Филарет и его сотоварищи твердо отстаивали свою свободу. Они укрепили стан, выставили посты и наладили быт по законам войны. А как укрепились, день за днем посылали в польский лагерь группу за группой, и каждый раз новых посланников. Однако все они возвращались ни с чем. Тогда вновь напросился в польский лагерь Захар Ляпунов. Князь Голицын отказывал воеводе. Но Филарет, исполняя только ему ведомые расчеты, позволил Ляпунову и Черкасскому идти к польскому королю. Верил он, что Сигизмунд пожелает принять упрямого боярина. Так и вышло.

Лишь только Ляпунов появился в польском стане, короля об этом тотчас уведомили.

— Ну, приведите его ко мне, посмотрю, чего стоит сей упрямый онагр, — сказал Сигизмунд.

Захара и князя Черкасского допустили к королю. Увидев русского богатыря, Сигизмунд подошел к нему, ткнул пальцем в грудь.

— Ты что, утратить меня рвешься, рыцарь? — спросил король.

У Захара на устах было дерзкое слово, но он удержал его под замком, да сказал не менее остро:

— Другое меня заботит, государь. У нас кормов мало, потому как твои люди ополовинили обоз и зимовать нам на Днепре не с руки. Так ты уж не косней, приглашай послов, да вкупе и поговорим тебе же во благо.

Сигизмунд понимал по-русски и сам сносно говорил. Отметил, что сей богатырь не напрасно выпущен на поединок: силен, умен и остер. Но в расчеты короля пока не входил прием послов на переговоры. Тем более что веской причиной затяжек посидеть за столом было как раз то, что Сигизмунд хорошо знал о сути переговоров, чего потребуют послы-россияне. А у него не было для них благоприятного ответа. Имелась и еще одна причина затяжки переговоров. О ней он и сказал Захару Ляпунову.

— Я позову вас, как только из Москвы примчит гетман Жолкевский. — Король выделил слова «как только из Москвы».

Захар переглянулся с князем Черкасским. У него на лице застыло удивление: как это — из Москвы? Ляпунов же не удивился, зная, что поляки стояли под Москвой и в ясную погоду видели колокольню Ивана Великого. Спросил, однако:

— Какими же путями твои люди в Москве появились?

— Такова моя воля. Ею и вошли в ваш стольный град, — гордо ответил Сигизмунд. — К тому же не могу я принять тысячу двести послов в своем шатре. Вот как возьму Смоленск, так и приглашу вас всех во дворец воеводы.

— Зачем тебе воинов губить безрассудно? — заявил Ляпунов. — Вот как станет твой сын царем на Руси, смоляне сами распахнут врата.

— Знаю смолян. Непокорство им влаеть. Да ждет их суровая кара. — Сигизмунд смотрел на Ляпунова все с большим интересом и позвал его: — Иди ко мне в войско. Гетманом сделаю, армию дам. — И пожаловался на своих вельможных панов-гетманов. — Ленью мои гетманы обросли и воевать не хотят.

Ляпунов не проявил сочувствия королю и служить у него отказался.

— У тебя, государь, и солдаты ленивые. Не желаю над ними стоять.

Смоленск, однако, сдаваться на милость Сигизмунда не думал. Стены его для польских воинов оставались неприступными. К этому времени из Москвы появился гетман Жолкевский, которого с таким нетерпением ждал Сигизмунд. Потому причины тянуть прием послов были исчерпаны и Сигизмунд оказался вынужден начать переговоры. Но он обставил их многими хитроумными рогатками. И на первую встречу даже не пригласил митрополита Филарета — главу посольства. Он боялся Филарета, был наслышан о его несговорчивости, какую тот проявлял еще в Тушине. Знал

и о крутом нраве этого родовитого вельможи. В ответ на этот шаг короля князь Василий Голицын заявил: «Никаких переговоров не будет без главы посольства».

Посредником на сей раз между королем и русскими послами был находчивый гетман Жолкевский, державный муж, но больше храбрый воин. Он явился в стан москвитян и вел себя так, словно распоряжался своими солдатами.

— Знаю, воля ваша источилась. Потому говорю: король готов вас принять, но ему лучше знать, кого он желает видеть. Он не желает видеть Филарета Романова.

— Тогда и нас Сигизмунд не увидит, — заявил князь Голицын.

Не добившись своего, гетман Жолкевский пригрозил:

— В таком случае сидите тут до весны. — С тем и уехал.

Прошла еще неделя пустого сиденья русского посольства на берегу замерзающей реки. Но снова появился в русском стане гетман Жолкевский. Сигизмунд разрешил пригласить на переговоры Филарета.

— Да пусть с малой свитой приходит. Больше десяти человек не приму, — наказал король гетману.

Филарет не принял условий Сигизмунда. Он предполагал взять с собой не меньше как двести человек, считая, что всем послам, наконец, нужно заняться делом, а не зеленеть от безделья в шатрах. И заявил гетману Жолкевскому:

— Мы пришли просить короля Жигмонда всей землей. А то к чему бы нам идти из Москвы великим посольством.

Станислав Жолкевский откровенно признался:

— Нам такую ораву и накормить-то нечем.

И снова начались хождения из лагеря в лагерь, пустые переговоры, а за всем этим — явное нежелание короля Сигизмунда принять русских послов. Король стоял на своем твердо: примет только десять человек. Филарет не сдавался.

Наступила зима. Днепр заковало льдом. В русском стане на исходе были съестные припасы. Филарет посылал в Москву гонцов, требовал слова о возвращении посольства. Но Семибоярщина отказала. Наконец, Сигизмунд пошел на уступки, дал согласие принять семьдесят человек. Филарет принял это условие. Вместе с князем Голицыным он отобрал вельмож, писцов и прочих нужных людей, и в конце ноября послы двинулись за реку в польский лагерь.

Послов приняли в большом отапливаемом шатре. Были накрыты столы, на них стояло довольно скудное угощение, вино. Когда все подошли к столам, гетман Жолкевский предложил выпить за дружбу и замирение. А пока Ста-

нислав говорил, в Смоленске раздались пушечные выстрелы и в польский лагерь полетели ядра. Смолянам ответили польские канониры. Завязалась перестрелка. Ядра разрывались где-то совсем близко, в шатре началось волнение. Но пришел король, он был спокоен и начал свою речь:

— Вот вы пришли ордою в мой лагерь и вместе со смолянами устрашаете меня, требуете отдать вам моего сына. Зачем же мне покоряться вашей воле? Велите смолянам открыть ворота и прекратить стрельбу. Тогда и поговорим.

— Мы горожанам не указ. Покиньте нашу землю, и наступит замирение, — начал в ответ Филарет. — А сына твоего Владислава россияне готовы признать царем и зовут занять российский престол.

— Но Владиславу еще рано вставать царем на великое царство. Потому российский трон принадлежит мне, ибо меня тоже звали на царство.

— Ведаем, звали, но не россияне, а тушинские сидельцы. Сие же не есть народ нашей державы, — ответил Филарет. — И грамоты избирательной на тебя нет, государь польский.

— Ничего, скоро сия грамота будет. Вот гетман Жолкевский отбывает в Москву и привезет ее.

Филарет понял, почему Сигизмунд устраивал проволочки с переговорами и какую интригу задумал осуществить. И стало ясно теперь, что сию игру затеяли московские правители, отправив в стан поляков многих российских вельмож, кои не желали видеть на российском престоле ни королевича Владислава, ни короля Сигизмунда. Теперь там, в Москве, найдется немало доброхотов-тушинских перелетов, кои служили Сапеге и Рожинскому. Они подпишут любую избирательную грамоту, а все усилия великого посольства — тщетная маята. В груди у Филарета все закипело от гнева, но он сдержался и не сказал того, что не положено говорить послу. Однако озадачил Сигизмунда:

— Запомните, ваше величество, непременно одно: на той грамоте должно быть имя первосвятителя Гермогена, а без его подписи та бумага для россиян не указ.

— Но ты, митрополит, еще не все посольство. — И король обратился к другим послам: — Что скажешь ты, князь Голицын, и ты, князь Куракин? Вот все вы послы, что скажете? Ну говорите же! Вот ты, князь Тюфякин...

Послы молчали. Даже князь Василий Голицын замешкался с ответом. Тюфякин же смотрел на Филарета. Митрополит видел этот просящий взгляд и знал, чего добивался от него Тюфякин, но не помог тому, считая, что здесь

каждый должен опираться на свою совесть. Так бы послы и отделались молчанием, но нарушил тишину неукротимый воевода Ляпунов:

— Мы здесь не по своей воле. И то, что говорили, шло от имени России. И владыко Филарет молвил то, что велели сказать россияне. У нас патриарха чтят как царя и как духовного отца.

— Но вам нужен муж, который бы достойно управлял государством. Вот я и буду таким государем. Говорите же свое.

— От имени всех и говорю, — начал князь Василий Голицын. — Шли к нам в Москву королевича Владислава. А для сего изъяви свою волю в грамоте, и мы будем удовлетворены, уйдем домой.

Гетман Жолкевский, более сдержанный, чем король, и розмыслом побогаче, что-то тихо сказал Сигизмунду. Тот закивал головой и даже улыбнулся. И сказал послам:

— Хорошо, я не сержусь на вас, что вы исполнительны и тверды. Я дам согласие Владиславу выехать в Москву и быть царем. Но при условии, ежели он сам этого пожелает.

— Мы рады твоему согласию, ваше королевское величество, — ответил князь Голицын. — Но спросите сына, согласен ли он принять новую веру?

Сигизмунд глянул на Жолкевского. Тот кивнул головой.

— И об этом спросим — ответил король.

Пока говорили другие, Филарет думал. Он вспомнил еще одно напутствие патриарха Гермогена.

— К тому же предупреди сына, государь, что крещение принимать ему в Смоленске от архиепископа Сергия, — твердо сказал Филарет.

— Эко размахнулись послы! — воскликнул король. — Да кто же откроет ворота в крепость, кто распахнет врата кафедрального собора для Владислава?!

— Смоляне и откроют, когда ты уйдешь с войском с русской земли.

— Ты, митрополит, дерзишь мне. Я стою под Смоленском потому, что это мой город. И пока не возьму его, пока примерно не накажу смолян за бунт, мое войско будет стоять здесь.

— Добре, государь, стой. Но тогда твоему сыну придется креститься в Москве, как испокон крестились великие князья и цари. Обряды у нас полные, чистые, купели серебряные, крестные матери и отцы — достойные, — зачистил Филарет.

— Скажу, скажу о ваших претензиях, — отмахнулся от Филарета король. — Пусть крестится в Москве, ежели пожелает.

— Еще предупреди, — продолжал Филарет, — что ежели он надумает жениться, то пусть не ищет себе невесту католической веры. Мы сами найдем ему будущую царицу православного христианского обычая.

Сигизмунд промолчал. Он подумал, что великое посольство, во главе которого стоит такой твердый блюститель державных интересов и церковных канонов, как митрополит Филарет, будет несговорчиво во всем, что затрагивает интересы России. И потому надлежало подумать о том, как избавиться от этой помехи. Сигизмунд тихо поговорил с гетманом Жолкевским и, наконец, ответил россиянам:

— Я обещаю вам, послы: все, о чем вы просите, будет мною передано королевичу Владиславу. Еще обещаю послать в Краков гонцов не мешкая. Уйдут ноне же. Как вернуться, продолжим беседы.

Митрополит Филарет прикинул, что русскому посольству предстоит пребывать в напрасном ожидании еще недели две. И потому решил немедленно сократить на две трети посольство, дабы оставшиеся не голодали. Когда же Филарет сказал на пути из польского лагеря послам, что намерен делать, все поддержали его. Никому из россиян не хотелось терпеть лишения и голод в стане близ польского войска, всем хотелось поскорее вернуться в Москву, в свои палаты.

Глава десятая

КОРОЛЬ СИГИЗМУНД

Польский король Сигизмунд III никак не мог сложить в гармонию свои замыслы и возможности их исполнения. Он давно мечтал покорить Московию, присоединить ее к великой Польше. На то у него не было достаточно войска, потому как в стране шла междоусобица и вельможные паны, князья, гетманы были озабочены защитой своих владений или захватом чужих, то пустовала королевская казна, потому как все деньги от доходов уходили на бесконечные балы, торжества и прочее. Сигизмунд уже и не помнил, когда у него было достаточно денег. Он даже обращался с поклоном к папе римскому Павлу V и просил у него на войну с «азиатами» сорок тысяч талеров. Но папа Павел V послал ему вместо денег под Смоленск шпа-

гу, освященную в Ватикане в день Рождества Христова. И потому обширные замыслы Сигизмунда к концу 1610 года мало-помалу угасли. Еще год назад он надеялся легко покорить Смоленск, считая, что эта крепость и недели не выстоит перед его героическим войском. Но войско оказалось отнюдь не героическим и не умело, а скорее, не хотело штурмовать крепостные стены. В течение года королевским канонирам не удалось даже проделать брешей в каменной преграде. Польские пушки только гремели страшно, но против русских стен оказались бессильны.

Год спустя все еще самоуверенный король пустился завоевывать Московию с помощью дипломатии. Его послы в Тушине обольщали бояр, и это не пропало даром. Наступило самое время идти к столице России, потому как войско гетмана Жолкевского со дня на день могло войти в этот город. Тут-то как раз и возникли помехи. Россияне «всей землей» попросили Владислава на московский трон. Да и избрали его с крестным целованием. И дело оставалось за небольшим: въехать тому в Москву и сесть на трон. Тут-то Сигизмунд и восстал против решения россиян, испугался, что сын с высоты московского трона и над ним встанет. И во время последней встречи с гетманом Жолкевским король так и сказал:

— Пока я жив, Владиславу нечего посматривать в сторону Москвы. Я пойду туда, я буду царствовать. Тебе же, гетман, повелеваю ехать к войску, поднять его и войти в столицу, ждать меня там.

И тогда Жолкевский ускакал к Москве, дабы выполнить волю короля. Примчав в стан войска, все еще располагавшийся в селе Хорошево, он собрал полковников и приказал им поднимать полки, двигаться к стенам Кремля. Однако скорая весть о том, что войско Жолкевского без особых помех, но с помощью предательства, захватило Москву, привела короля Сигизмунда в некоторое замешательство: одно дело рассуждать о захвате российского трона, и совсем другое осмелиться сесть на него. И Сигизмунд подумал о том, что ему прежде всего нужно как-то избавиться от великого посольства русских. Мысль об этом не давала королю покоя ни днем, ни ночью. Он забыл о том, что обещал своему народу покорить Смоленск до наступления зимы. Сигизмунд потерял покой. И уже сразу после первой встречи с русскими послами понял, что хотя их и прислала Семибоярщина, они проводят не линию правителей, выполняют не их поручение. За послами стояла другая сила, более мощная, чем Семибоярщина. Сигизмунд понял наконец, что

главы посольства не желают видеть на русском троне ни его, Сигизмунда, ни тем более королевича Владислава. И хотя это были тайные помыслы россиян, Сигизмунд легко о них догадывался. Но вот кто воодушевлял Филарета и других послов на противодействие Польше, об этом Сигизмунд пока не знал, сие для него оставалось загадкой. Он даже сделал предположение, что за спиной Филарета и нет тех сил, в угоду которым он действовал, но сам он главное лицо в борьбе как против него, короля Польши, так и против Владислава. Не случайно же Филарет не проявлял к будущим властителям России никакой почитительности.

Измучившись в догадках о тайне мощи Филарета, Сигизмунд позвал на совет богослова и философа Петра Скарга, который пребывал в его лагере после московских злоключений.

Избежав милостью Гермогена русского плена во время восстания россиян против первого Лжедмитрия, Петр Скарга поспешил убраться из России, но на пути у него оказался Смоленск, и Скарга пришел в общину католиков и жил среди них, сочинял свой новый богословский труд. Но когда город был окружен поляками и смоляне стали голодать, он ушел из общины и упрямил стражей выпустить его из города. Россияне во второй раз оказали ему милость. Он же, ненавистник православия, забыл о том, что хотел удалиться от мира и провести остаток дней в пустующем замке под Мариненбургом, пришел к королю Сигизмунду, дабы служить ему, войти в Смоленск с победителем и там обратить всех православных христиан в католиков.

Вскоре Петр Скарга вошел в круг приближенных короля. Сигизмунд не раз слушал проповеди богослова, беседовал с ним на философские темы. Королю нравилось неистовое служение богослова католической вере. Именно от Петра Скарги Сигизмунд узнал впервые историю католичества в Польше и был приятно удивлен тому, что католичество стало государственной религией благодаря усилиям польского короля.

— О, сей король Мешко не пожалел казны, чтобы всюду в государстве поставить костелы. И он сам строил первый храм в Познани, был каменщиком. И уже при Мешко папа римский Бенедикт VII распротер свою милостивую руку над Польшей, благословил ее всюду за пределами державы добиваться торжества католической веры. И Мешко, выполняя волю папы, отправился с войском в Киевскую Русь, дабы там добиться торжества благой веры. Но увы, — продолжал рассказывать Петр Скарга, — великий князь

Владимир успел в эти же годы ввести на Руси православное христианство, что есть еретическое зло. Приди Мешко на год раньше, быть бы Руси католической державой.

Король Сигизмунд сожалел об этом не меньше философа-богослова.

В те дни, когда начались переговоры с прибывшим из Москвы посольством, Сигизмунд на какое-то время забыл о Петре Скарге. Но на первую встречу с Филаретом позвал его. А после неудавшихся, по мнению короля, переговоров, после бесплодных размышлений он пригласил Петра Скаргу на ужин и спросил:

— Вот ты слышал, о чем у нас шла речь с Филаретом Романовым?

— Слышал, ваше величество.

— И что тебе показалось?

Петр Скарга припомнил разговор на приеме послов и сказал:

— Послы вели себя странно. Они делали не то, что им велено. Они не хотят, чтобы на престоле России был иноземец.

— Но они же просили Владислава!

— Они только назвали имя твоего сына, как претендента на трон. Но и его не ждут в Москве.

— Открой же сию загадку, — попросил Сигизмунд.

Богослов и король сидели в шатре, у стола, на котором были яства, вино. Петр хотя и был тощим, ел и пил много и жадно, все это без церемоний. Отпив из кубка в очередной раз вина, стал рассказывать:

— Мне довелось встретиться в Москве с русским первосвятителем Гермогеном. Другой такой личности сегодня в России нет. Он истинный пастырь-вождь россиян. Его слово для них как от Бога. И он питает к католикам лютую ненависть. Потому не жалеет сил, чтобы ты, ваше величество, и твой сын никогда не встали на русский престол. И пока он жив, вам не достичь успеха.

— А что есть митрополит Филарет? Он же, сказывали, в опале от Гермогена с того часа, как в Тушине сан патриарха принял. Они же недруги.

— Да, недруги. Но это не мешает им стоять за Россию рядом. Еще в ту пору, когда избирали царем Бориса Годунова, Гермоген выступил против него. А Филарет, в ту пору князь Федор Романов, спустя два года встал на сторону Гермогена.

— Станный этот Романов. Он же принял сан патриарха от самозванца и вопреки воле Гермогена.

— Это Дмитрий второй хотел приласкать Филарета, ведь родня. Увы, безуспешно. Филарет был покорен Гермогеном и стал его единомышленником с того часу, как Гермоген назвал имя Михаила Романова, сына Филарета, будущим престолонаследником.

— О, теперь мне все ясно, святой отец. Благодарю, благодарю! — воскликнул облегченно Сигизмунд.

— И только смерть отрока Михаила может нарушить планы Гермогена. Только смерть, — повторил Скарга.

— О! — удивился Сигизмунд без меры. И тихо согласился: — Да, да!

Будучи человеком настроения, Сигизмунд сию же минуту был готов на самые крутые меры против Филарета, отпрыска которого кто-то прочил на русский престол. Он теперь знал своего врага и готов был бросить тому вызов. Оставаясь по духу воином, Сигизмунд не был благородным рыцарем и не испытывал угрызений совести. Потому он направил все свои силы для того, чтобы добыть победу любыми путями. Его возбужденный ум уже искал повод для того, чтобы арестовать Филарета. И вскоре после беседы с богословом Сигизмунд нашел-таки повод.

Король послал свое войско на новый, неведомо какой по счету штурм Смоленска. К этому времени уже были сделаны подкопы под стены крепости, в них заложили порох, и когда десятки польских орудий ударили по крепости, саперы отправились к пороховым зарядам. Польские воины подтащили к стенам сотни штурмовых лестниц. Но штурм вновь не удался. Смоляне разгадали замысел врага, сделали свои подкопы под стены и унесли порох. А когда польские воины после канонады ворвались в отдельных местах на крепостные стены, их сметало оттуда словно вихрем. Воинов охватывал ужас, в панике они падали в ров, сшибали тех, кто поднимался по лестницам. Многие поляки кричали: «Там сатана, там дьявол!»

Командиры, которые гнали воинов на штурм, видели на стенах среди защитников города огромных огненно-рыжих воинов. В руках у них были палицы, и этими палицами богатыри сметали врагов со стен. Огненно-рыжие воины возникали всюду, где только поляки поднимались на стены. Никто из полковников, из командиров отрядов сам не поднимался по лестницам, и воины после первых попыток овладеть крепостью даже под страхом смертной казни не шли на штурм. Войско Сигизмунда захлебнулось в страхе. Как солдат не погоняли, они, добежав до крепости и глянув вверх, панически убегали.

Сам король Сигизмунд поскакал на коне на выстрел мушкета и промчал вдоль стен крепости с полверсты, дабы увидеть тех, кто посеял в его войске ужас. И он увидел лишь одного огненно-рыжего богатыря, который появлялся то тут, то там. Тот неведомый русский воин вызвал страх и в душе короля. Какой же силой обладал сей воин, подумал король, ежели никто не мог устоять перед ним, ежели его одного сочли за целую рать. И Сигизмунд поспешил удалиться от стен подальше. А чтобы узнать суть явления, тотчас послал в стан русских послов гонца и велел явиться князьям Ивану Куракину и Василию Тюфякину, коих знал, как своих поклонников.

Еще и день не угас, а в польский лагерь примчал на коне князь Тюфякин. Король послал его к крепостным стенам:

— Иди, князь, и посмотри, кто там нагоняет на моих воинов страх, какую нечистую силу взяли смоляне в помощь.

Князь Тюфякин выполнил волю короля и вернувшись сказал:

— Ваше величество, видел на стене колдуна Сильвестра. Он многолик и страшен.

Сигизмунд, не произнеся и слова в ответ, повернул коня и со всей свитой ускакал в лагерь. Возле своего шатра дождался, когда подъедет Тюфякин, спросил его:

— Кто над тем колдуном властен?

Князь Василий Тюфякин задумался, бороду потерев, соображая, что к нему пришел миг удачи и он может теперь хоть в малом досадить главному послу, Филарету, которого недолго любил за праведное слово и дело. Это же он, Филарет, уличил его однажды в приверженности к католикам. Теперь сам будет уличен в сговоре с нечистой силой. Знал Тюфякин, что митрополит многими нитями связан с ведуном Сильвестром, а пуще — с его женой. Тут и другое подворачивалось князю: Жигмонд даст ему возможность уйти из посольства домой. Нет у него силы калеть зиму в шатре или в грязной крестьянской избе, пора в теплый терем. И прищурив без того узкие монгольские глаза, князь негромко сказал:

— Есть над тем колдуном господин. Он в русском стане среди послов, а как его имя, запомнил.

Король не настаивал, чтобы князь постарался вспомнить имя властелина над колдуном, слез с коня и позвал князя в шатер. О чем Сигизмунд и Тюфякин разговаривали, осталось тайной. Но в тот же вечер князь велел своим холопам не мешкая собираться в путь. В глухую полночь, когда русский стан спал, князь Тюфякин и его челядь покинули свои

шатры и ушли из лагеря прямой дорогой на Москву. Это были первые беглецы из великого посольства. Позже, с наступлением сильных морозов, их оказалось сотни.

А на другой день утром, когда в русском стане еще не знали о бегстве князя Тюфякина, король Сигизмунд пригласил к себе Филарета. Его попытались сопроводить Авраамий Палицын и Захар Ляпунов, но посланец короля строго заявил, что Филарет должен явиться один. Лишь только посол был допущен в королевский шатер, как Сигизмунд встретил его крепким словом:

— Ты, владыко митрополит, дерзок, и прибыл в мой лагерь с одной целью: требовать от меня уступок. Я готов тебе уступить во многом и даже сыну повелю не покидать Польши. Но и от тебя требую уступок. Повели своей властью смолянам открыть ворота города. Войду в Смоленск, и волос не упадет с голов горожан.

— Моей власти над смолянами нет, — твердо ответил Филарет. — Над ними властен Всевышний. Вот его и проси о милости.

— Пока я прошу тебя, владыко. Но бойся, как стану требовать.

— Я слуга Божий, и пугать меня нет смысла, ваше величество.

— В том и суть, что ты не Божий слуга. Вчера ты видел, как мои воины бежали от стен крепости, видел, сколько осталось их во рву бездыханными. Ответь же, почему сие случилось? Пока тебя под городом не было, смоляне трепетали предо мной. И город я не взял силой только потому, что жалею своих солдат.

— Отвечу, почему вчера не удался штурм твоему войску: у тебя нет достойных воевод, кои научили бы солдат брать крепости. Или запямятовал урок стояния под Троице-Сергиевой лаврой?

— Я сам воевода над войском и знаю, чего стоят мои гетманы и солдаты. Вчера крепость пала бы, не прояви ты своего коварства.

— Помилуй Бог! Чем я пред тобой грешен, государь польский?

— Тем, что ты в сговоре с нечистой силой, и она злодействует твоей волей.

— Истинно говорю, государь, и Господь тому свидетель: никогда не якшался с нечистой силой. Вот те крест! — И Филарет осенил себя крестом.

— Ты лжец! — Сигизмунд встал с кресла, подошел к Филарету, медленно и с яростью произнес: — Ты в одной

упряжке с колдуном Сильвестром и ведьмой Катериной. Двадцать пять лет назад ты продал им душу, и оттого они тебе служат. Они спасли тебя от казни при Годунове, они ведут твоего сына на трон!

Филарет дрогнул. Да, он связан с этими ведунами-ясновидцами четверть века. Но мало кому известно, что они блаженные и над ними властелином не сатана, но Всевышний. Однако сие невозможно доказать тем, кто не пожелает слушать правду. Так было уже, когда он, Федор Романов, доказывал царю Борису свою непричастность ко всему, что было связано с найденным на его подворье отравным. И теперь Сигизмунду легко взять его в комут, увести на погибель. Но этого нельзя допустить, он еще нужен россиянам. И Филарет смиренно спросил:

— Что тебе надобно, государь?

Сигизмунд видел душевное борение митрополита.

— Требую одного, — тихим, но торжествующим голосом начал Сигизмунд, — чтобы ты собрал своих послов, шел с ними к стенам крепости и повелел смолянам открыть ворота и выдать колдуна Сильвестра. Ты заверишь смолян, что когда мои воины войдут в город, то получают от меня только милость.

Под ногами у Филарета медленно заколыхалась земля. Он опустил голову, дабы убедиться, так ли это. Твердь земная оставалась непоколебимой. И Филарет понял, что это он теряет над собой власть и впадает в глум, что его толкают на предательство смолян, мужественно защищающих город, на заклятие достойного похвалы россиянина. Да, смоляне поверят ему и послам, кои будут рядом с ним, и распахнут городские ворота. Но он был твердо убежден, что горожане не выдадут Сильвестра и что поляки не помилуют их за это, разорят дома, надругаются над верой, над женами, учинят разбой и казни. И дух истинного россиянина взбунтовался в Филарете, и он хотел было крикнуть Сигизмунду о том, что никакая сила не толкнет его на иудин грех. Но в последний миг другая, благоразумная сила остановила его от неверного шага, бросавшего его на копье, на что угодно, от чего россиянам блага не будет. И он все с тем же смирением сказал:

— Государь польский, я подумаю над твоим повелением. Оно бы и не гоже исполнять россиянину твою волю, да крови боюсь. Дай мне два дня.

— Даю, думай. И побуди послов к исполнению моей воли. Но помни, что все вы отныне мои заложники, и ежели будете супротивничать, всех вас ждет горькая

участь. А пока ты волен, иди. — И Сигизмунд отвернулся от Филарета.

Прошло два дня. Сигизмунд провел их беспокойно. Что-то подсказывало ему, что Филарет играл с ним, хитрил, скрывая свои замыслы. Так и случилось, что через два дня от русских не было ни ответа, ни самих послов. Сигизмунд пришел в негодование, крикнул гетмана Рожинского и велел ему идти в русский стан и силой привести Филарета. Но в этот час из Москвы прискакали гонцы от гетмана Жолкевского и принесли весть о том, что воля короля исполнена что его войско вошло в Москву и заняло Китай-город и Кремль.

Радости Сигизмунда не было предела. Он собрал всех вельможных панов, кои находились в лагере, полковников, хорунжих и объявил им о победе над русскими, о том, что польское войско в Москве, и повелел в честь знаменательного события устроить пир.

Вельможные паны и сам король всегда любили попить, и торжество затянулось на несколько дней. Сигизмунд в эти дни забыл о Филарете и об осажденном Смоленске. Он действовал как истинный царь всей России, писал указы и отправлял их в Москву. Он разослал приглашения многим русским вельможам и пригласил их под Смоленск. В эти же дни многие послы из великого посольства переметнулись в стан Сигизмунда, увел их за собой князь Иван Куракин. Король щедро наградил всех перебежчиков землями и званиями. Досталось и тушинским его радетелям. Князь Михаил Салтыков получил во владение давно желанную вотчину, область Вегу. Был награжден землями и князь Василий Рубец-Мосальский.

Вести из Москвы прибывали в королевский лагерь каждый день. Не все они были приятными. Королю не понравилось, что вместе с гетманом Жолкевским командовал московским гарнизоном и гетман Гонсевский, бывший посол Польши в России. Он не вернулся на родину, когда сложил посольские полномочия. Но чувствуя свою вину перед Сигизмундом, Гонсевский в каждом послании радовал короля новыми деяниями во славу Польши. Король одобрил рвение и то, что Гонсевский открыл во дворце Годунова костел для воинов и паломников католиков. Королю пришлось по душе и то, что гетман очистил Китай-город от купцов, мелких торговцев, многих незнатных вельмож, отдал их дома и палаты польским панам. Гонсевский хорошо знал нрав москвитян и запретил им носить оружие, сбиваться в ватаги, бродить по городу с наступлением темноты. Одоблив все эти меры Гонсевского, Си-

гизмунд выразил в своем послании ему благодарность и милостиво простил все прошлые грехи.

От множества благих вестей Сигизмунд пребывал в благодушии. Он уже не гнал своих воинов на штурм Смоленска, не докучал Филарету и сам не отзывался на его призыв о продолжении переговоров. Он был доволен тем, что великое русское посольство тает, как снежный ком под лучами солнца. Хотя знал, что солнце тут ни при чем, а вот темные ночи помогали беглецам. Каждую ночь сторожевые польские посты, расставленные вокруг лагеря русских, вольно пропускали всех, кто уходил на восток. И к концу декабря из посольского стана сбежало более двух тысяч человек. Ни Филарет, ни Голицын, ни Ляпунов, сколько ни пытались, не сумели остановить бегство. Да они и сами понимали тщетность их сидения под Смоленском. Стан русских голодал, страдал от морозов и болезней. Филарет и Голицын пытались разместить свой народ в ближних селениях, но там мало что досталось русским — все избы занимали поляки. И приходилось спасаться в землянках.

Король Сигизмунд грубо нарушал все законы о послах, не проявлял о них никакой заботы, не помогал пропитанием. Он всячески притеснял их и угрожал пленением. И случилось так, что эту угрозу он вскоре выполнил.

Из Москвы к послам доставили грамоту от правителей России — Семибоярщины. И было сказано в ней, что послы во главе с Филаретом и князем Голицыным обязаны служить верой и правдой королю Сигизмунду. И все повеления короля для них неукоснительны, как закон. Список этой грамоты, сказывали, был сделан князьями Михаилом Салтыковым и Василием Рубец-Мосальским. Получив его, Сигизмунд позвал к себе многих послов и предъявил им московскую грамоту. Филарет же, внимательно прочитав грамоту вслух, сказал:

— В ней нет силы, государь польский. Она без подписи патриарха Гермогена. Не приложил к ней руку первосвященитель.

— Зачем нам подпись служителя, коего нет в патриархах. Отныне на престоле русской церкви святейший Игнатий, ведомый вам.

— Сие ложь, государь польский. Ведомо нам, что Игнатий в Вильно.

Сигизмунд не смутился, оттого что его ложь раскрыли. Да, Гермоген еще стоит во главе церкви. И все-таки Сигизмунд решил заставить этих упрямых россиян служить

Польше. Сорвав досаду крепким польским словом, Сигизмунд пригрозил послам:

— Отныне никто из вас не покинет лагерь без моего позволения!

Прошло несколько морозных дней. Между лагерем поляков и станом русских началось противостояние. Рожинский докладывал королю, что русские ставят от реки частокол, что окружили себя постами и все холопы вооружены. Сигизмунд принял это известие как вызов ему и пришел к мысли о том, что пора все русское посольство подвергнуть пленению. Но некоторое время еще выжидал, искал повод. Допустил оплошность Захар Ляпунов. Глухой ночью он выдвинул на московскую дорогу своих верных холопов и велел им перехватывать всех гонцов, кои скакали из Москвы к Сигизмунду. И в ту же ночь на рассвете люди Ляпунова заарканили двух конников, а третьему удалось скрыться. Пленили русского и поляка, привели к Ляпунову. Воевода допросил их с пристрастием, вытряхнул из одежды, а с нею и то, что искал — грамоту. И было написано в ней о том, как Гермоген хлестал словами Михаила Салтыкова, когда тот пришел просить патриарха, чтобы он подписал послание королю Сигизмунду. Салтыков писал: «Гермоген, сказал, чтобы король дал своего сына на Московское государство, и королевских людей всех вывел из Москвы, и чтобы Владислав оставил латинскую ересь и принял греческую веру, — к такой грамоте я руку приложу, и прочим властям велю приложить, и вас на то благословляют. А писать так, что мы все полагаемся на волю короля, того я и прочие власти не сделаем, и вам не повелеваю, и если не послушаете, то наложу клятву: явное дело, что по такой грамоте нам пришлось бы целовать крест королю».

Прочитав сие послание, Захар Ляпунов поспешил к Филарету, но лишь только вышел из избы, как на него навалилась орава польских воинов. И несмотря на то, что Захар отчаянно сопротивлялся, ему скрутили руки и повели в польский лагерь. Впереди шел польский гонец, которому удалось ускользнуть от холопов Ляпунова. Сигизмунд понял, что это и есть тот повод для пленения русских, коего он ждал. И на Рождество Христово 1610 года русское посольство окружили плотной стеной польских воинов, и сам король Сигизмунд, появившись в русском стане, повелел считать всех россиян пленниками. Но королю этих мер оказалось мало. И он велен арестовать Филарета и князя Василия Голицына и содержать под стражей в польском лагере. И в ночь на третий день Рождества

Христова в избу, где обитали митрополит и князь, ворвались уланы, и старший из них сказал:

— Именем короля, вы арестованы.

Филарет не удивился. Он ждал этого часа. Собрав кой-какие личные вещи, он прочитал свою молитву: «Господи! Не знаю, что просить мне у Тебя! Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Милосердный Господи, прими в руце Твои души наши и помяни нас, егда придеши во Царствие Твоем».

В сей же час королевские уланы принялись за обыск в избе, все перекопали, перевернули, но не найдя, что искали, увели пленников.

В польском лагере Филарета и Голицына замкнули в старом овине, и они присидели там больше месяца. Стражи охраняли их круглые сутки и менялись по часам. У россиян не было никакой связи с внешним миром. Но король Сигизмунд получал на них ложные доносы, и по одному из них будто бы Филарет и князь Голицын написали письмо воеводе Шеину в Смоленск и просили его так же твердо стоять против поляков, как стояли до сих пор. И еще будто бы в том письме было обращение Филарета к колдуну Сильвестру: «Рази польских еретиков как можешь. Сему тебя не учить».

После этого навета король Сигизмунд велел привести к нему Филарета и Голицына и человек десять вельмож из посольского стана. Всех их долго держали на морозе и пронизывающем ветре. Послы пытались подойти к митрополиту и князю, но стражи их не подпускали. День уже клонился к вечеру, когда пришел гетман Рожинский и повел россиян в дом к королю, вновь оставил ждать на ветру. Послы топтались, хлопали себя по спине, дабы согреться, и вспоминали о блинах. Была Вселенская родительская суббота, и до Седмицы, сырной масленицы, оставалось два дня. Наконец, гетман ввел россиян в дом. К ним вышел король. Он был хмурый, смотрел зло.

— Я позвал вас для того, чтобы вы шли на вечерней заре к городским стенам и потребовали от воеводы Шена впустить моих послов на переговоры, — сказал Сигизмунд.

— Все уже переговорено, зачем толочь воду в ступе, — заявил князь Юрий Черкасский. — Ты бы, ваше величество, отпустил митрополита и князя.

Король словно не слышал князя Черкасского, продолжал:

— Мои послы скажут смолянам, что отныне я их царь.

Филарет не сдержался, полез на рожон:

— Ты, государь польский, никогда не будешь царем над смолянами. Ежели ты пленил послов, какой милости

ждать от тебя горожанам. Мы скажем им, чтобы они по-прежнему стояли крепко.

— Вольно же тебе расстаться с Россией, митрополит, — жестко сказал Сигизмунд. — Источилось мое терпение. Нонче же отдам повеление угнать тебя в гиблые места.

— Ваше величество, не клади опалу на главу посольства, не попирай за правду, — вступился за Филарета князь Василий Голицын.

Король еще пуще вошел в гнев:

— И тебя, князь, погонят в те же места! И все вы мои пленники, все заложники до той поры, пока не взойду на московский престол.

Поняв, что послы не выполняют его повеления, Сигизмунд приказал арестовать всех послов. Они были заперты в маленькой гнилой избушке и просидели в ней под стражей всю масленицу, великий пост и Светлое Христово Воскресение. Перед Пасхой их вовсе не кормили три дня. В эти дни королевские войска снова пошли на штурм Смоленска. И были взорваны пороховые мины. Да был еще страшный взрыв. Поднялась в небо и рухнула привратная башня. Ее взорвали сами смоляне, и под ее руинами погибли не меньше сотни поляков, кои разрушали ворота. Смоляне и на этот раз отстояли город, но дорогой ценой.

Странно, но после неудачного штурма король Сигизмунд почему-то смягчился к пленным послам-россиянам. На Пасху он прислал им кусок говядины, четырех гусей, семь кур, тетерева, старого барана и двух ягнят. Хотя послы и были голодны, но на еду не набросились, а поделили ее на несколько дней. Среди польских вельмож нашлись добрые души и тайно прислали пленникам жбан вина. Вскоре же после Светлого Христова Воскресения Филарета, Голицына и десять вельмож из посольства посадили в крытые телеги и под большим конвоем погнали в Польшу. По разговору конвойных послы догадались, что их везут в Вильно. Но вскоре конвой разделился и одних повезли в сторону того древнего города, а митрополита Филарета и князя Голицына — в неизвестном направлении.

Глава одиннадцатая

КАТЕРИНА

В ночь накануне Пасхи Катерина не смежила глаз. И всегда так бывало в прежние годы. Да в полночь ровно, как дню Христова Воскресения народиться, пришло к Ка-

терине видение наяву. Она еще служила у патриарха Гермогена домоправительницей, но ведала, что скоро этому служению придет конец. Потому как поляки, вновь заполнившие Кремль, как было пять лет назад, искали повод, дабы расправиться с Гермогеном. А князь Михаил Салтыков и дьяк Федька Андронов давно уже притесняли святейшего. Он терял свою власть, потому как кремлевский клир священнослужителей поляки разогнали, Патриарший приказ — тоже, в здании устроили казарму, и всему православию в Кремле близился конец.

И вот в полночь вошла Катерина в трапезную, дабы зажечь свечи перед киотом, и увидела, что из-за киота рука к ней протягивается с горящей свечой. Знакомая до боли левая рука Сильвестра без мизинца. И голос его возник: «Не пугайся, Катенька, это я, Сильвестр. Токмо ты прости, что не показываюсь. Ноне я ушел от тебя».

— Господи, как же ты ушел, Сильвеструшка, коль здрав, — воскликнула Катерина и за руку взяла его. Да с рукой-то из-за киота только два оранжевых крыла показались. Катерина так и обомлела, руку выпустила, а крылья взмахнули и полетели, унося руку. Ан вот уже и не рука это, а лик Сильвестра.

«Прощай, Катенька! Сказал Всевышний, что мне возноситься пора!» — донеслось до Катерины, и лик Сильвестра скрылся за стенами трапезной. И трепетно забилась душа Катерины и сердце сжалось болезненно. Опустилась она на табурет и заголосила по-бабьи, и слезы обильно текли, падали на свечу, которую она взяла у Сильвестра. Воск стекал ей на руку, обжигал, но она не чувствовала боли. Наконец, не помня как, она встала, поставила свечу в подсвечник, снова опустилась на табурет, прислонилась к стене, и в тот же миг сознание покинуло ее, она опустилась во мрак. Но недолго пребывала в нем. Лишь только упала с табурета, как сознание вернулось к ней. Она поднялась на ноги, подошла к киоту, опустилась на колени и принялась молиться. А за молитвой увидела то, что хотела видеть.

Пред ее ясновидящим взором открылся полуразрушенный город, дым пожарищ застилал его улицы, дома. Шло сражение. Враги лезли на стены, ломались в ворота, грохотали взрывы, разрушая крепостные стены. Близ ворот она увидела Сильвестра. Лицо и грудь его были в крови, в руках он держал факел. Вот он вбежал в привратную башню, и через мгновение в небо взметнулось пламя, сторожевая башня вздыбилась и рухнула на ворота, накрыв

каменными глыбами врагов. Там же, под грудями камня, остался и ее Сильвестр.

Сколько времени Катерина стояла на коленях перед киотом, неведомо. Она молилась, и плакала, и снова молилась. Но вот за ее спиной послышались шаги, стук посоха об пол, и видение города исчезло.

В трапезную вошел Гермоген, спросил Катерину:

— Что случилось, дочь моя?

— Христос Воскресе, святейший, — тихо молвила Катерина, вставая.

— Воистину Воскресе, — ответил Гермоген. Он подошел к Катерине и трижды поцеловал ее. Она ответила ему тем же. — Ты плакала. Какое горе надвинулось?

— Святейший отец мой, вчера в Смоленске погиб Сильвестр. Токмо что явился ангел с его душой и улетел с нею в Царство Небесное. — И Катерина вновь заплакала.

Гермоген прижал ее к себе, положил руку на голову, произнес:

— Господи милостивы, упокой душу раба Твоего Сильвестра. А ты, дочь моя, попечалуйся. Я же помолюсь за вас.

— Святейший, но ты забыл, о чем я просила, — напомнила Катерина.

— Держу в памяти, славная.

— Уйдем же, отец мой! Есть еще время. Я уведу тебя из Кремля. — Катерина взяла Гермогена за руку. — Уйдем! Не сироти россиян. Потому как ляхи тебя погубят.

— Я еще поборюсь с ними здесь, на холме. А тебе уходить нужно сей же час. Помни о дочери, береги ее. Еще исполни мою просьбу: сходи в костромскую землю, предупреди Ксению Романову и князя Михаила, чтобы укрылись за стенами Ипатьевского монастыря. И сама приходи с ними в монастырь, скажешь архимандриту Донату моим именем, дабы уберег юного князя как зеницу ока от всех напастей. Донат крепкий стоятель за веру и помнит подвиг Троице-Сергиевой лавры. И коль сподобится, пусть тоже постоит за Русь. И сие скажешь моим именем. Иди, дочь моя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. — И Гермоген осенил Катерину крестом.

Катерина не уходила, смотрела на патриарха глазами полными слез.

— Отец, ежели останешься, я больше тебя не увижу.

— Сие и мне ведомо. Ты возьми мой капитал, он велик, но поможет тебе. — И, поцеловав Катерину в лоб, он ушел из трапезной.

Катерина еще постояла немного и словно тень ушла на свою половину. Она нашла в себе силы собраться в путь. Как велел Гермоген, высыпала из ларца в холстинку золотые деньги, завернула узел в чистый сарафан, все уложила в дорожную суму вместе с другой одеждой. Не забыла упрятать драгоценные украшения, оделась попроще и покинула патриаршие палаты, в которых провела без малого шесть лет. Выйдя из палат через «черную» дверь, она вошла в придел Сенной церкви, а из нее по тайному ходу вышла в ров за Троицкой башней, пробралась вдоль кремлевской стены до плавней через ров и скрылась на Пречистенке.

Она вернулась в свой дом в тот час, когда князь Михаил Салтыков, дьяк Федька Андронов, еще дьяк Молчанов и дюжина польских солдат пришли к патриаршим палатам, взломали парадную дверь и по-разбойничьи ринулись искать патриарха. Уже находясь во дворе своего дома, Катерина вновь заплакала, теперь по Гермогену, потому как ведала о его жестокой участи.

Все прошедшие шесть лет, пока Катерина и Сильвестр не жили в своем доме, за ним присматривал безместный поп, потерявший и семью, и дом во время первого польского нашествия. Батюшка Иван был еще крепок, но к службе уже остыл, к тому же, горя об утраченном, заливал свое горе вином. За домом и лавкой батюшка Иван досматривал прилежно, ухаживал за садом, Катерина ему платила за это и он не бедствовал, не голодал.

Ноне, в честь Воскресения Христова, батюшка Иван усердно помолился, истопил печь, сварил полбы, наварил репы, говядины истушил и теперь сидел за столом, вкушал яства и попивал бражку. Катерину он встретил ласково, говорил с распевом, окая по-ярославски. Щуплый, с козлиной бородкой, всегда услужливый, батюшка Иван не знал, куда посадить хозяйку, суетился, ахал, охал. Да тут же улыбка его погасла и голос осекся, как рассмотрел в свете свечи Катерину.

— Господи Боже, лицом-то ты вовсе потерялась, матушка. Аль беда какая прихлынула?

Катерина опустила на скамью возле печи и тихо выдохнула:

— Прихлынула, батюшка Иван.

— Никак Сильвестра твоего захлестнула?

— Его, окаянная...

Батюшка Иван забормотал молитву об убиенном, исто-во перекрестился, налил в глиняную баклажку браги, вложил ее в руку Катерины.

— Остудись, матушка, поможет. — Сам повернулся к образу Николая Чудотворца и стал снова молиться.

Наступило утро Светлого Христова Воскресения. Над Москвой с рассветом вознеслись колокольные звоны. Сколько радости, веселья, благодати приносили на Русь эти звоны в сей большой всенародный праздник. Ноне же колокола звонили то тускло, то взрывались набатом, то гудели плачевно, как по усопшим. И не было благовеста, не звонили колокола «во всея». И эти звоны раздирали души россиян на части, приневоленных допущением Семибоярщины вновь жить под пятою ненавистных ляхов.

Пасха в этот год выдалась ранняя. Мартовский день был холодный, ветреный. Над куполами церквей и соборов металась туча черного воронья, его крики порою заглушали звон колоколов. Катерина никогда еще не видывала такой мрачной Москвы. Временами Катерина срывалась с места, дабы сбежать в Кремль и узнать, что там с патриархом. Но она гасила это делание, зная, что палаты уже пусты или заняты поляками, что Гермоген уже упрятан в подвале Чудова или Кириллова монастыря. Так и было: правители России и польские захватчики приговорили его к заточению за отказ подписать грамоту — обращение к россиянам, дабы не замышляли всенародного восстания против поляков.

В полдень Катерина сходила на богослужение в церковь Покрова Богородицы. Вернувшись домой, поела по принуждению батюшки Ивана. И все маялась и маялась душой, печалуюсь за погибшего Сильвестра, за подвергнутого заточению Гермогена, за дочь Ксюшу, коя пребывала в руках чужих людей в селе Тайнинском. Сердце ее разрывалось. Она готова была мчать в Смоленск, дабы предать земле прах Сильвестра, но понимала, что не найдет этот прах под развалинами крепостной башни. Материнское сердце влекло ее в Тайнинское, чтобы укрыть своим крылом дочь. И в то же время над всем довлел долг перед Гермогеном, который повелел ей уберечь от ворогов юного князя Михаила Романова. Но и туда, в костромскую землю, ей нелегко было двинуться, потому как не смела она посмотреть в глаза Ксении, супруги Федора Романова. Грешна была перед нею Катерина до малого мизинца на ноге. Но долг выполнить последнюю волю Гермогена оказался сильнее угрызений совести. И пасхальным вечером Воскресения Христова Катерина дала батюшке Ивану денег, чтобы купил коня и крытый возок. Да зная, что нелегко будет сделать такую покупку, велела ему выразить просьбу именем патриарха.

— Ему окажут милость, — провозая Ивана на поиски коня, напутствовала батюшку Ивана Катерина.

Уйдя сразу же в ночь, он вернулся лишь к вечеру другого дня. Аж в Кунцево удалось ему сделать торг, купить молодую и резвую кобылу и крытые сани.

Катерина к этому времени уже собралась в путь, стала прощаться с домохранителем. Деньги отсчитала по уговору. Он же деньги не принял и сказал:

— Ты, матушка Катерина, не обессудь, не могу я оставаться доле в твоей избе.

— Аль обидела чем? — удивилась Катерина.

— Иная причина, матушка. Да ты, поди, ведаешь ее. — Катерина пожала плечами. — Ведаешь, истинно, — упорствовал батюшка.

Ясновидица опустила вниз глаза, устыдившись того, что сразу не призналась. Видела она Москву в дыму и пламени. И многих уже предупреждала, чтобы уберегались от беды.

— Куда же ты пойдешь, батюшка? — спросила Катерина.

— А с тобою, матушка, с тобою. Я те пригожусь. Да и конем в пути кому-то править нужно.

— Господи, а ты, батюшка, тоже не прост. Увидел, что теплится во мне желание взять тебя. Да подумала: стар для дороги.

— Э-э, матушка, да я по этим дорогам колесиком катаюсь, колесиком, — пропел батюшка Иван.

А как наступила ночь, Катерина и поп Иван темными улицами и переулками Земляного города покинули Москву и взяли путь на Кострому. Дорога — привычное дело для Катерины. Пол-России исколесила она в прежние-то годы. Да одно дело по мирной земле ехать, и совсем другое — в лихолетье. Не всякий торговый человек отважится отправиться в путь в одиночку или вдвоем. Собирались обозами, стражей нанимали, двигались только днем, от селения к селению. Но Катерина осмеливалась странствовать даже одна, потому как знала свою силу. И передвигалась она по дорогам чаще всего по ночам. Знала она, что тати в лихолетье и сами-то не очень любят шастать ночью. У них и днем нет помех на глухих дорогах, и простору хватает... Еще знала она, что в пути рядом с нею всегда есть Святые Духи. То Михаил-архангел, архистратег и защитник христиан, сопровождал ее, то Илья-пророк, покровитель простых людей, укрывал ее своим могучим крылом. Да была в Катерине своя, особая сила, о которой сама она не ведала. Но та сила открывалась, татам и они боялись ее больше всего. Так было и на сей раз.

Село Мирославль, раскинувшееся по берегу реки Ухтомы, Катерина и батюшка Иван покинули в густых сумерках, рассчитывая к утру добраться до деревни Коблуково. А в том Мирославле, в избу, где остановились отдохнуть на день Катерина с Иваном, два раза в течение дня заходил молодой матерый мужичище. Хозяйка назвала его Прохором, еще лешием и татем, да все шепотом, озираясь на углы. И приглянулись Прохору дорожные сумы Катерины. Догадывался он, что в них есть чем поживиться.

И лишь только сани Катерины скрылись в вечерней дымке, заткнул Прохор топор за пояс под шубу, вышел на лесную тропу, коя шла в укорот дороги, и близко к полуночи встал на пути Катерины с топором в руке. Вывернув шубу наизнанку и закрыв лицо треухом (только лохматая борода торчала — и есть леший) топором заиграл, словно ложкой. Вот и лошадь и сани ночных путников показались на лесном повороте. Прохор, за кустом укрылся, зверем затаился, дабы прыгнуть в последний миг. Но когда до путников оставалось несколько сажен, будто струя лесного пожара обожгла Прохора и он выронил из рук топор. Волосы под треухом у него зашевелились, душа леденеть стала. А путники уже рядом, вот и мимо проехали. Прохор же глаза треухом закрыл, в снег головой ткнулся, потому как обожгло его пламя-сияние, кое исходило от Катерины. И понял Прохор, что будь он истинно лешием, не одолеть бы ему святой силы. Так он и просидел на корточках, пока конь и сани не скрылись за новым лесным поворотом.

Катерина раскрыла истинное нутро Прохора еще в Мирославле, когда он во второй раз зашел в избу. Загадала наказать его, как встретит его на большой дороге, а в пути забыла о нем. И быть бы ей под топором злодея, но небесные силы защитили ее. Так и добрались Катерина и батюшка Иван без приключений до Костромы. Да как потом выяснилось, ко времени.

Той же дорогой, но сутками позже двигался в костромскую землю отряд поляков в тридцать сабель и нескольких русских воинов, посланных с поляками князем Михаилом Салтыковым. Было им приказано гетманом Гонсевским разыскать в костромской земле княжича Михаила Романова и его мать инокиню Марфу и похитить их или предать смерти.

Гетману Гонсевскому было хорошо известно, что на пути к российскому престолу королевича Владислава есть лишь одна преграда — племянник царя Федора, и в силу

обстоятельств, наследник престола. И чтобы заслужить милость короля Сигизмунда и королевича Владислава, Гонсевский решился еще на одно злодеяние.

На костромской земле сходились две силы.

В Костроме Катерина первым делом наведалься к воеводе боярину Михаилу Бутурлину. Сказала ему:

— Батюшка воевода Михаил, я принесла слово патриарха Гермогена князю Михаилу Романову. Открой его место мне.

Дворянское гнездо Шестовых было известно многим костромичам. И воевода-таки подумал, почему эта посланница Гермогена не спросила у кого-либо из горожан, а явилась к нему. И понял он, что тут кроется не просто интерес, а государственное дело. И спросил боярин Михаил Катерину:

— Есть ли нужда у тебя скрывать причину поиска вотчины Шестовых?

— Не выпытывай, батюшка воевода. Велено мне сохранить слово патриаршее в тайне, — открылась Катерина.

Бутурлин чтит и высоко ценил Гермогена. И не впал в амбицию. Хотя и почувствовал ущемление воеводской чести: не захотел патриарх доверить ему тайну. Однако задумался, пытаясь разгадать причину интереса к княжичу Михаилу Романову.

Катерина по-своему поняла состояние воеводы.

— Прогони сомнения, батюшка. Движение патриарха во благо России. Да помни: близок час, когда тайное станет явным.

Вязаный полушалок скрывал лицо Катерины. Да и сумеречный мартовский день мало освещал палаты воеводы. И Бутурлин никак не мог рассмотреть лицо стоящей перед ним женщины. Спросил:

— Как тебя звать, гостя?

— Катерина. Я домоправительница патриарха.

Бутурлин подошел к ней поближе, присмотрелся, головой покачал.

— Не узнаю. Ты бы показала, платок скинула, — попросил воевода.

— Отчего же не открыться, — согласилась Катерина и скинула с головы полушалок, огненно-рыжую косу на грудь переложила, зелеными глазами блеснула.

— Вот и узнал тебя. Довелось мне зреть твой лик во время венчания царя Василия. Тогда ты обожгла меня своими глазами.

— Да и как не ожечь, батюшка воевода, коль греховные мысли тебя одолевали, — улыбнулась Катерина.

— Каюсь, думал тогда, какая ты есть в чистоте телесной. Теперь вот по иному смотрю — старею, матушка ясновидица.

— Оно так. Время нам не подвластно.

Воевода позвал дворецкого. Вошел пожилой худощавый человек в синем кафтане. Михаил велел ему накрыть стол, а как ушел, попросил:

— Расскажи, любезная, как там в Москве. Когда же пища вкусим да человека твоего накормим, да конь отдохнет, так и отправлю в путь.

За трапезой Катерина многое поведала о событиях в Москве, рассказала о порядках, заведенных ляхами, о том, что поляки готовятся к встрече короля Сигизмунда.

— Сам он уже нарек себя царем всея Руси.

— Ан россиян-то не спросил. Да мы ему скажем русское слово, — усмехнулся воевода.

Поведала Катерина и о том, что Москва голодает, что на патриарха, стоятеля за православную веру, гонения идут.

— Князь Михаил Салтыков, извратник и предатель, а еще дьяк Федька Андронов издеваются над ним, как хотят, и с ножом уже подступали к святейшему. Требуют, чтобы Владислава звал без крещения.

Об одном умолчала Катерина, о том, что Гермоген уже заточен в Чудов монастырь. Потому как в сие время воеводе не нужно было знать того. Да и сама она пыталась убедить себя в том, что патриарх вольно пребывает в палатах. Но себя ей не удавалось обмануть.

Как трапеза подошла к концу, Михаил открыл место пребывания князя Михаила Романова:

— Поезжай в село Домнино, что в семи верстах за селом Рябиново. Там, в родовом именье Шестовых, и найдешь княжича. И провожатых тебе дам, стрельцов.

— Спасибо, батюшка воевода, не откажусь от военных людей, потому как ведаю, что по дорогам шастают тати-разбойники. — А согласилась на провожатых потому, что не хотела обидеть воеводу.

Он же попросил Катерину остаться в его палатах на ночь и отдохнуть. Но знала, что ей надо спешить, и отказалась.

— Ты, батюшка воевода, не печалься, мы еще свидимся.

Кострому Катерина покинула в сумерках. Ее возок сопровождали десять стрельцов. И Катерина расслабилась, укрывшись меховым пологом и уснула. В Домнино она приехала в полночь. Село встретило ее тишиной. Но потом появились собаки и с лаем провожали конников до барской усадьбы.

Палаты дворян Шестовых — большой деревянный дом с мезонином — стояли в старом парке в стороне от села. Усадьба охранялась сторожем с собакой. Большая лохматая овчарка бросалась чуть ли не на шею коней стрельцов. Сторож подошел к саням, нацелил на попа Ивана бердыш.

— Кто такие, что нужно? — спросил он.

Катерина выбралась из саней, сказала сторожу:

— Иди передай барыне, что приехали из Москвы от патриарха.

В это время в окнах дома затеплился свет, и вскоре двери открылись и на крыльце появился дворовый человек с фонарем и инокиня Марфа. Чутко спала старица, потому как жила в предчувствии беды.

В прежние годы Катерина никогда не встречалась с женой Федора Романова Ксенией. Теперь сходились, и у Катерины на душе скребли кошки, стыд мутил душу.

— С чем приехали, кто такие? — спросила Марфа.

— С миром, матушка, с миром. Да в дом пусти, там и поговорим, — ответила Катерина.

Видя поодаль стрельцов и рядом — женщину, Марфа сказала:

— Входи, коль с миром.

Катерина вошла в освещенную свечами прихожую и остановилась у порога, испытывая неловкость. Марфа взяла у дворового фонарь, осветила им лицо Катерины. Рассматривала ее пристально. И Катерина присмотрелась к ней, увидела и то, что было снаружи, и что внутри. Стояла перед нею женщина в годах, с поблекшим лицом, много выстрадавшая. Ведунья затруднялась сказать, почему красавец князь, умный и образованный женился на этой дворяночке. Но чуть позже Катерина поняла, что в молодости Ксения была как привлекательна, да прежде всего душевной красотой. Да и с лица, когда ведунья смыла с него морщины, разгладила кожу, оживила большие карие глаза, с волос паутину седины сняла, стан обкатала до девического, то увидела другую Ксению, милую, сердечную, да не каждому доступную. Однако Катерина прервала свое занятие, потому как инокиня догадалась, почему гостя рассматривала ее так пристально.

— Матушка Марфа, — сказала ведунья смущенно, — я с посланием от патриарха Гермогена. Прими меня и выслушай.

Марфа провела Катерину в горницу, усадила возле теплой печи, сама вышла, распорядилась разместить и накормить стрельцов и попа Ивана, после пришла, села рядом и спросила:

- Зачем тебя прислал святейший?
- О твоём сыне печется первосвятитель.
- Он и раньше не оставлял нас своими заботами, и здесь мы по его воле.
- Верно. Да нынче и тут отроку грозит лихо.
- Куда же нам? Может, в скит какой, за Волгу?
- Просит вас патриарх укрыться за монастырскими стенами в Ипатьевской обители. И слово его я несу архимандриту Донату. Там будет надёжно. И город поляки не враз одолеют и в стены монастырские лбы разобьют.
- Оно бы и хорошо под защитой Всевышнего и под недреманным оком воеводы, — согласилась Ксения, — токмо из-за нас иные страдают.
- Ноне пол-России страдает. А нам мешкать не следует. Вот разве княжича не спросили...
- Тут место моей воле, — твердо ответила Марфа. — Как повелю, так и будет. — Она сидела, низко опустив голову, глаза были почти закрыты темным кашемировым платком, смотрела на Катерину лишь изредка, бросая острые взгляды. И Катерина поняла их смысл. Захолодела у нее душа, стыд ожег лицо, за то что она, полюбовная девушка, отважилась явиться пред ликом Богом данной Федору супруги. Но оставаясь отчаянной и дерзкой, Катерина побудила сказать то, о чем не каждая на ее месте отважилась бы выслушать.
- Ты, матушка княгиня, держишь слово, да опасаясь выпустить его. Грешна я пред тобой многожды. Потому говорю: ударь меня, а я стерплю.
- Ксения руки на коленях сцепила, словно удерживая их от вольности. Но расцепила-таки и медленно подняла правую руку, да сбросила с головы темный платок, лицо подняла, тихо сказала:
- Чего уж там. — Лицо ее было мягкое, всепрощающее. — Как бы не схима, может, и попрекнула бы. Теперь же я Христова невеста. И нет у меня обиды на тебя. Да и стоишь ты того, чтобы Федор тебя любил. Когда он приходил от тебя, то и со мною был ласков. Мы оба будто возвращались в молодость. Знаю почему: твоя сила возвращала нас к весне. А однажды, как под опалу нам попасть, я попросила Федю открыть тебя, какая ты есть... Откровенен он был во всем. И я простила ему вольности. Что уж там, по первости плакала в подушку. А он журил меня: полно, матушка-Ксюша, меня на дюжину хватит, а ты жалкуешь. Я ему про Бога и грех, он же мне свое: дескать, ты тоже от Бога...

К горлу Катерины подступил острый комок, и она не справилась с ним, заплакала, оттого что увидела в глазах Ксении что-то материнское. И не было у нее на языке бранного слова мужу-гулене. Слезы текли вольно, очищающе.

— Ну полно, полно, — тихо уговаривала Ксения Катерину. — Нет на тебе греха предо мной. Знаю, не только усладу давала Федору, но и спасала его не раз.

— Господи! Услышь меня, грешную, прошу Тебя, милосердного, послать матушке Ксении благодати на все долгие дни жизни, — воскликнула Катерина и уткнулась инокине в плечо.

Она же гладила ее по спине и тихо шептала:

— И тебе пусть Господь пошлет все блага бытия.

А на лестнице, ведущей в мезонин, уже давно стоял юный князь Михаил. Он долго слушал женщин не шелохнувшись. Лицо, обрамленное мягкими, слегка вьющимися русыми волосами, было по-детски милое и сонное. И сам он, весь тонкий, стройный, был похож на юную девушку.

Ему-то довелось видеть Катерину, и он знал, кто она, кем приходилась его отцу. Знал, и не осуждал. Все это походило на чудо. А чуда не было. Из глубины веков пробивалось в россиянах языческое начало, когда мужчине-воину было дано жить не с одной женой, но со многими, примером тому был великий князь святой Владимир. Постояв так, не шелохнувшись, юный князь поднялся вверх и скрылся в мезонине.

Все выведав у Катерины и посетовав на то, что святейший Гермоген прочит ее сына в цари, Марфа-инокиня распорядилась, чтобы дворовые люди не мешкая собирались в путь. Все в доме Шестовых закружилось, засуетилось. И спустя два часа после полуночи небольшой обоз покинул село Домнино, взял путь на Кострому. Несколько стрельцов дозором мчали впереди обоза.

Сутки спустя, также ночной порой, в Домнино въехал отряд поляков и русских, преданных им. Отряд окружил дом Шестовых и воины ворвались в него. Дом был пуст. Пошастав по покоям, распахнув все каморы, кладовые, подполья, амбары, враги никого не нашли, но догадались, что усадьба покинута недавно. Кто-то из шустрых россиян заглянул в русскую печь и нашел в ней теплые горшки.

— Не ушли они далеко, айда шукать! — воскликнул шустрый.

Хорунжий, что привел отряд, созвал своих воинов и велел им искать след. Но когда враги вышли на двор, то поняли, что никаких следов не найдут: шел густой, по-

следний мартовский снег. Бросив грязное слово, хорунжий приказал воинам поднять всю деревню и заставить крестьян показать путь, каким ушли обитатели усадьбы. Через несколько минут деревня огласилась криками ругани, боли, отчаяния. На улице появились крестьяне, которых выгнали из изб и погнали к барскому дому. Когда всех согнали, хорунжий подтолкнул шустрою.

— Скажи им, чтобы показали путь беглецов. Не покажут — деревню сожжем!

Шустрый был скор в исполнении польской воли, крикнул крестьянам:

— Вот я и говорю: будете молчать и не укажете, куда ваши баре скрылись, красный петух пойдет гулять по вашим избам!

На площади в ответ — ни звука. Лишь у кого-то на руках заплакал ребенок. Шустрый закричал:

— Эй, донцы, идите палить избы. Что там воду толочь в ступе!

Казаки засуетились: кто-то побежал в конюшню за соломой, кто-то добывал огонь. И быть бы Домнину сожженным, да вышел из толпы крестьян старый человек с белой окладистой бородой.

— Нездешний я, из соседней деревни, вчера к свату пришел. А как из своей избы выходил, то видел Марфу-инокиню с дворней, как они через нашу деревню проезжали.

— Куда путь из твоей деревни, на Кострому? — спросил шустрый.

— Ан нет, в скиты, в лесную глухомань, — ответил старик.

Шустрый передал весь разговор хорунжему и спросил его:

— Какая твоя воля, панове?

— Посади его на коня и пусть ведет нас, — распорядился хорунжий.

Шустрый велел найти коня, сам подошел к старику, присмотрелся. Он был еще крепок, смотрел на шустрою без страха, с вызовом.

— Смирись, — сказал ему резко шустрый, — да скажи, как звать!

— Скажу, а ты запомни: я есть Иван Сусанин.

Вскоре отряд покинул Домнино, взял путь на деревню Колобово. Миновав ее, отряд скрылся в лесной чаще по дороге, которую проторили лесорубы, вывозя зимой лес на постройки. Колобовские мужики видели, как отряд во главе с Иваном Сусаниным пропали в лесной глухомани. Мужики

удивлялись, куда мог повести Сусанин поляков и казаков, но ответа на свой вопрос не получили, не от кого было, потому как и враги, и Иван Сусанин будто в воду канули.

Той порой инокиня Марфа, ее сын и вся дворовая челядь были в это время уже в Ипатьевском монастыре, под защитой мощных крепостных стен и двух сотен монахов, умеющих держать оружие.

А Катерина, выполнив волю патриарха, вдруг почувствовала такую усталость, какой отродясь не испытывала. Она попросила батюшку Ивана найти ей пристанище. И когда расторопный поп снял ей в городе светелку, Катерина еле добралась до нее и, не раздеваясь, упала на ложе и проспала почти сутки. Проснувшись, она долго лежала в раздумье и надумала остаться в Костроме, потому как нигде и никто не ждал ее, кроме доченьки. Да и к ней Катерина пока не могла поехать. А потому она решила купить в Костроме дом и послать батюшку Ивана за Ксюшей, надеясь пережить в городе смутное время.

Батюшка Иван обрадовался решению Катерины и обещал ей:

— Я, матушка, ноне же найду тебе хоромину. Господь тебя надоумил во благо, и потому побежал.

— Смотри, не разори меня с хороминой-то, — попросила Катерина.

Три дня поп Иван бегал по городу, искал-присматривал что-то такое, дабы угодить ведунье. И нашел на Съезжей улице близ Волги небольшой рубленый дом с садом и сторговал его.

Дом Катерине понравился. Она поселилась в нем и отправила батюшку Ивана под Москву в село Тайнинское за Ксюшей. И все пошло бы хорошо, да как-то заявился к ней незваный гость — сам воевода Михаил Бутурлин. Пришел он не тайком, дабы ухватить добычу, но открыто. Не было у него причин прятаться, потому как ходил вдовый. Посмотрела на него Катерина и отметила, что он изменился за эти несколько дней, минувших после их первой встречи: бороду укоротил до края, глаза ожили, искрились. На нем был охабень на бобровом меху, кармазинный кафтан, шапка кунья воеводская. Вошел он в горницу, на передний угол перекрестился, где пока было пусто, и Катерине ласково сказал:

— Истинно говорю тебе, что ты ясновидица, в чем сомнение имел. Доложили мне, что через сутки в Домнино тати польские пришли, усадьбу перевернули, мужиков побили, Ивана Сусанина взяли, дабы путь князя указал. Да сказывал посыльный, что молодые охотники пошли к утру

за ними следом, два дня догоняли и нашли только прорву болотную открытую на долгой тропе через топи. Там и следы татей кончились. Похоже, что сам батюшка Сусанин сгинул и врагов погубил.

— Царство Небесное мученику за православную веру, — перекрестилась Катерина.

Михаил Бутурлин горницу оглядел, в боковушку заглянул, в кухню зашел, там печь осмотрел холодную, вернулся, сказал:

— Ты, ясновидица, будто на постое: ни стола, ни стула, ни образа. Да и голову склонить негде.

— Обживусь.

— Знамо. Токмо и день жить без приклада, без утвари маятно. — Боярин Михаил подошел к Катерине, руку на плечо положил, глаза ее поймал и тихо продолжал: — Ты вот что, свет-Катерина, в свои палаты я тебя не зову, а вот дом, что от сестры девы остался и в наследстве у меня, дарю тебе за службу матушке России и будущему царскому дому. Ведаю теперь, почему ты князя Михаила спасала. В Москве его царем нарекли в минувшее воскресенье.

Катерина легко, боярин даже не заметил этого, освободилась от его руки, у стены встала.

— Спасибо, воевода-батюшка, за добрую весть. Еще спасибо за награду. Токмо у тебя и задняя мысль есть. Заноза в твое сердце попала, и ты ждешь, когда я вытащу ее, — не спуская с него своих зеленых глаз, смело говорила Катерина, — а у меня рука отсохнет, ежели я ее трону. Завтра девять ден будет, как супруг мой Сильвестр живота лишился. Мне молиться за него положено за упокой души, панихиду отслужить. Вот и весь сказ, батюшка-воевода.

Боярин опустил голову, сказал покаянно:

— Прости меня, грешного, святая душа. Бес попутал и на беспутные мысли толкнул. Токмо вот уже три года вдовствую-мытарюсь, а ты и впрямь как заноза с той поры, как во храме увидел тебя.

И Катерина пожалела этого честного человека, дала ему надежду:

— Наберись терпения, батюшка-воевода. Излечу я тебя от недуга, как угодное Господу Богу время придет.

Воевода шагнул к Катерине, опустил на одно колено и припал к ее руке.

— Да хранит тебя Всевышний, за то что развеяла тоску моей жизни. Верю тебе и уповаю... — Бутурлин встал, перекрестился на передний угол и ушел. Шаги были твердые: шел человек, окрыленный надеждой.

Катерина подошла к окну и долго смотрела вслед Бутурлину, пока он уходил от ее дома. Ей пришлось по душе то, что воевода зашел к ней запросто, а не приехал в карете со слугами. И в буйной головушке Катерины завихрились те же грешные мысли, кои бередили Бутурлина. Ей, сорокалетней женщине в соку зрелости, тоже хотелось погреться близ любого ей человека.

Пришел май. И из Москвы явился к Катерине гость, побратим Гермогена Петр Окулов. Был у него наказ: узнать, как берегут князя Михаила. Еще принес Петр слово очевидца о гибели Сильвестра. Видел тот, как во время штурма поляками крепости, Сильвестр вбежал в привратную башню, как взорвался в ней порох и башня рухнула на врагов.

— Он, твой голубчик, был герой. Вороги боялись его пуще огня. Да ведь смоляне что там удумали: еще десять мужиков сделали похожими на твоего, страху для. Ой, как ляхи от них удирали со стен, — рассказывал Петр, восседая за столом и наслаждаясь вином и обильной трапезой.

Слушая Петра, Катерина плакала. Но это были легкие слезы. Она знала что душа Сильвестра вольно живет в Царстве Небесном.

Петр Окулов погостил два дня и ушел в Москву, чтобы соединиться с Гермогеном и разделить с ним горькую мученическую участь.

Когда миновало сорок дней и Катерина отслужила по убиенному рабу Божьему Сильвестру молебен, ей показалось, что она может теперь позволить себе хотя бы малую вольность. В полночь, когда на Кострому опустился сон, она послала воеводе Михаилу видение: явилась к нему в опочивальню в легком одеянии и сама будто воздушная. Сказала:

— Ноне после обедни поезжай в свой рыбацкий домик, там и найдешь меня. — С тем и скрылась.

Воевода Михаил прошедшим днем в бане парился. После бани по обычаю к хмельному приложился и спал так крепко, что видение проплыло перед ним словно в тумане. Проснувшись по утру, он ничего не помнил. Но после усердной утренней молитвы пришло просветление мозгов и он вспомнил, как все было во сне. Будто потолок над его ложем распахнулся и в покой влетела голубка, приняла образ Катерины и сказала, зачем явилась. И запомнил воевода Михаил ее слова так: «Ноне до обедни будь в рыбацьем домике и жди меня с терпением». Бутурлин всполошился и умчал сразу после утренней трапезы вверх по реке Костромке, где верстах в десяти была его любимая рыбная ловля.

А Катерина отстояла в соборе литургию в честь преподобного Пахомия Великого, спустилась к волжскому извозу, наняла мужичка с лошадкой и велела отвезти ее в указанное место.

То-то потом Катерина и Михаил смеялись, когда разобрались, почему воевода опередил ее. И три дня они любовались тем, как над прозрачными водами Костромки плыли легкие майские облака, как игривый ветерок рябил речную гладь и чайки плавно пролетали над ними. А с сумерками уходили в рыбачий домик и блаженствовали вволю, влюбленные, сведенные волею судьбы. И было в Михаиле Бутурлине что-то близкое к тому, чем богат был князь Федор Романов: и ласков, и неистов, и неистоцим. Катерина в эти дни закрыла память о прошлом кисеей и ни разу ее не откинула, не хотела нарушать праздник души.

Уезжали они из уединения ночью. Ночью же добрались до Костромы и расстались с надеждой скорой встречи. Так и было. После трех дней упоения Катерина и Михаил встречались часто. А как миновал год со дня гибели Сильвестра, воевода Михаил повел Катерину в храм и они обвенчались. Да вскоре же и расстались. Воевода Бутурлин повел к Москве ополчение костромичан, дабы помочь москвитянам изгнать из стольного града ляхов и всех других врагов. А пока ходил и вместе с князем Дмитрием Пожарским освобождал от врагов Москву, Катерина родила Михаилу сына. И назвала его Андреем в честь своего родимого батюшки.

Глава двенадцатая

БОРЕНИЕ

Пленив митрополита Филарета, король Сигизмунд не только не утолил жажду отмщения за поруганную честь, а почувствовал еще большую страсть наказать гордого и стрептвого россиянина. Потому Сигизмунд решил избавиться от Филарета, а его имя опорочить в России. В те же дни, как пал Смоленск, Сигизмунд написал московским правителям хулу на служителя русской православной церкви, а вкупе с ним и на князя Василия Голицына. Расположившись в смоленских палатах, он продиктовал послание Семибоярщине.

— Ваши послы Филарет и Голицын повинны в измене. Это они подбивали смолян к сопротивлению мне, они же побуждали россиян к мятежу. Верю, что несмотря на злоумышления, Господь сохранил московский трон для того,

кому предназначил. Зову вас повиноваться воле Господней и хранить верность королю и королевичу.

Тогда, после падения Смоленска, в России многие ждали, что Сигизмунд двинется в Москву и займет пустующий трон. Но того не случилось. Иным был обуреваем король. Честолюбивый и падкий к лести, он оставил в Смоленске небольшой гарнизон, распустил наемную армию и вернулся в Варшаву. Он спешил туда, чтобы устроить торжества в честь своих громких побед. Он въехал в Варшаву в колеснице, запряженной шестеркой белых ногайских коней. Следом за ним полковники несли склоненные к земле русские знамена. Но это были не главные знаки его триумфа. Следом за знаменами, привязанные к простым крестьянским телегам, которыми управляли русские бабы, шли в рубищах бывший царь всея Руси Василий Шуйский и его братья, князья Иван и Дмитрий. Этот подарок королю сделал гетман Жолкевский, и сам он примчал в Варшаву раньше Сигизмунда, дабы устроить на центральной площади города торжественную встречу для короля-победителя. При стечении тысяч варшавян гетман Жолкевский приветствовал Сигизмунда такими словами:

— Поздравляю тебя, государь Польши и всей России, с завершением победоносного похода и пленением самого русского царя.

«В этот момент, — писали в хрониках, — Василий Иванович покорно склонился, коснулся правой рукой земли и поднес ее затем к лицу. Брат его Дмитрий ударил челом в землю, а второй его брат, Иван, с плачем три раза повергнулся ниц».

Король Сигизмунд взирал на сей карнавал с гордо поднятой головой. Он жаждал почестей, триумфа и получил их. Он торжествовал, справляя мнимую победу, потому как Россия, кроме Москвы и Смоленска, оставалась непокоренной. Но Сигизмунд и слышать не хотел, чтобы слать в Россию новое войско, покорять другие города необъятной державы. Он говорил гетману Жолкевскому, который настаивал на немедленном покорении всей России, побуждал не мешкая выехать в Москву, дабы из нее державной рукой властно усмирять россиян.

Но каждый раз Сигизмунд на эти призывы отвечал однозначно:

— Отныне Москва не стольный град. Он здесь, в Польше. Зачем же мне сидеть в провинции?

На самом деле Сигизмунд боялся идти в Москву. Он знал, что, хотя столица россиян в руках польского войска,

положение поляков там зыбкое. Ему было известно, что в России тысячи, десятки тысяч таких патриотов отечества, как митрополит Филарет, патриарх Гермоген, князь Василий Голицын, колдун Сильвестр. Они вселили в душу короля священный страх.

И по этой причине, чтобы заглушить трепет души, король Сигизмунд жестоко обращался с пленными россиянами. Допустив царя Василия Шуйского к унижительному для того целованию своей руки, триумфатор спустя час повелел отправить всех Шуйских в полуразрушенный Гостынский замок, который доживал свой век в глухом повете Польши, и там уморить их голодом.

В дни триумфальных торжеств Сигизмунд вспомнил и о митрополите Филарете, и о князе Василии Голицыне. Но не для того, чтобы проявить к ним милосердие, а чтобы подвергнуть новым жестоким испытаниям.

— Друг мой, вельможный гетман, как отбывают наказание Филарет и князь Голицын? — спросил король Жолкевского.

Гетман замешкался с ответом, потому как правда прогневала бы короля. В эту пору митрополит и князь находились в небольшом горном имении Жолкевского южнее Варшавы. Ему казалось, что Филарет и Голицын упрятаны надежно, хотя и не пребывали в заточении, а жили среди крестьян и лесорубов, коим поручено их оберегать и сторожить. Однако и солгать в силу своего характера гетман не мог. К тому же королю ничего не стоило узнать правду у других вельмож. И тогда уже не миновать немилости Сигизмунда. И гетман сказал полуправду:

— Ваше величество, я увез их в горную Силезию, там держу их в оскудении строгом.

Король посмотрел на гетмана с недоверием. Считал Сигизмунд, что у него есть непозволительная для воина слабость — мягкосердие.

— Ты, вельможный гетман, исполни мою просьбу, отправь их в Мариенбург, там замкни в западный каземат Мальборга.

— Но, ваше величество, тот замок в запущении, и там никто не обитает.

— Сие не так. Там живет хранитель замка с семьей. У него два сына. Они и будут охранять митрополита и князя.

— Но казематы губительны для пожилых людей.

— Значит, Господу Богу так угодно. Не в Варшаве же их держать. И кстати. Со мной пришел из Смоленска бо-

гослов-философ Петр Скарга. Пошли его моим именем туда же, и пусть обратит их в нашу веру.

Станислав Жолкевский не понял, в чем нужда такого шага. Разве не достаточно того, что они пленники? Зачем же и души их пленить?

— Но они не могут быть усердными католиками, вы же знаете, ваше величество, — возразил Жолкевский.

— Знаю. Но это моя воля. Исполни ее, вельможный гетман, — сухо сказал король.

Гетман лишь молча поклонился королю, помня, что возражать Сигизмунду опасно.

В глухом горном селении гетмана Жолкевского митрополиту Филарету и князю Голицыну жилось достаточно сносно. Поселили их в простой крестьянской избе, питались они за одним столом с семьей хозяина, вольно ходили по Камионке и лишь не смели покидать селения. Они же и сами того не замышляли, зная, что на горной дороге из селения стояли стражи.

Митрополит Филарет в любую погоду проводил большую часть дня на воздухе, помогал хозяину и не чурался никакой тяжелой работы, сам искал ее. Он рубил дрова, чистил хлев, заготавливал камень для построек, косил травы на сено, молот хлеб. Работу исполнял прилежно, за что заслужил уважение хозяина. Чего князь Василий был лишен, потому как проводил время в созерцательности и в чтении Евангелия. Иногда Филарет побуждал князя к труду, но напрасно, и ответ его был один:

— Не гоже нам с тобой, владыко, заниматься холопским трудом.

— Полно, князь-батюшка. Мы с тобой ноне не вельможи, но пленники, — возражал Филарет, но обиды на князя не держал.

Вечерами Филарет и Василий душевно беседовали, вспоминали Россию, прошлое и все, что за гранью пребывания в плену было им дорого. А таких воспоминаний было много, и это помогало им коротать время.

Но поздней осенью, уже в предзимье, в Камионке появился отряд конных гусар. Они переночевали в селении, а утром, ничего не объяснив Филарету и Голицыну, посадили их в крытую колымагу и повезли в неведомом направлении. Почти две недели они провели в пути и ехали от Камионки все больше на север, наконец достигли литовской земли. И однажды к вечеру короткого зимнего дня

под копытами лошадей застучал настил подвешенного моста, потом подковы процокали по каменной мостовой под аркой крепостных ворот, и пленники оказались во дворе Мальборгского замка — на месте своего нового и долгого заточения. Гусары помогли пленникам выбраться из колымаги и дали осмотреться. Взорам Филарета и Василия представилась крепость рыцарских времен. Замок, окруженный высокой крепостной стеной, возвышался на холме. Он был грозен и неприступен. Стены и башни замка были выложены из потемневшего от времени камня. В былые времена замок выглядел величественно и был достоин пребывания в нем королей. Но неумолимое время властвовало над брошенной королевской резиденцией, и она разрушилась, пришла в запустение. Окна замка зияли черными провалами, разрушались стены, карниз. Лишь западное крыло замка еще сохранилось, потому как за ним присматривали. Там, близ замка, стоял большой флигель, и в нем жил хранитель замка старый пан Гонта с сыновьями Юлианом и Юзеком, с невестками Гретой и Гуней.

Отряд гусар и пленники были встречены лаем двух овчарок. Тотчас из флигеля вышли трое мужчин, младшие позвали собак, а пан Гонта пошел навстречу гусарам. Они о чем-то поговорили, потом пан Гонта велел одному из сыновей принести фонарь. Вскоре старший гусар, пан Гонта и его сын с фонарем в руках, ушли в замок. Через несколько минут гусар вернулся и повел Филарета и Голицына за собой. На лестнице в полуподвал их встретил с фонарем Юлиан. Освещая путь, он повел пленников в каземат — просторное помещение с двумя тусклыми оконцами под самым сводом, с дубовыми, окованными железом дверями.

Пока пленники осматривались, сыновья Гонты принесли два деревянных топчана, грубо сбитый стол из досок, две скамьи. Потом Грета и Гуня принесли кой-какую утварь, еще соломенные тюфяки, две конские попоны. Все молча, без суеты расставили по местам, словно исполняли подобное каждый день. Пока женщины налаживали быт, их мужья принесли две охапки дров и разожгли очаг — некое подобие камина. И лишь только запыхал в очаге огонь, старший гусар велел всем покинуть каземат. Закрылись двери, загремели засовы, и митрополит Филарет с князем Голицыным остались вдвоем. Несколько мгновений они прислушивались к шагам за дверью каземата, а когда там повисла тишина, оба они, словно по команде, сели на топчаны и замерли — два усталых пожилых человека. И никто из них потом не мог сказать, сколько они просидели

молча, в горести. Но в очаге прогорели дрова, и Филарет подкинул на угли несколько поленьев, тихо заговорил:

— Брат мой Василий, мы впали в уныние. Зачем? Возблагодарим Бога за то, что живы, что есть очаг, что нам никто не мешает молиться.

В сей миг загремел засов, и старшая из невесток, Грета, в сопровождении мужа, принесла в корзине пленникам ужин. Она выложила на стол хлеб, лук, кусок холодной говядины, вареные яйца, горшок овсяной каши и крынку квасу. Поклонившись митрополиту, она молча направилась к двери. Филарет благословил ее:

— Да хранит тебя Господь Бог, дочь моя.

Загремел вновь засов двери. Филарет позвал к столу князя Василия:

— Иди, брат, возблагодарим Всевышнего за то, что пробудил милосердие в душах тех, кто прислал нам пищу.

Прошло несколько дней тягостного заточения. Узников содержали строго и ни разу за прошедшие дни не вывели на свет Божий. С наступлением зимы в сыром каменном полуподвале с каждым днем становилось все холоднее. И хотя по утрам в каземат приносили по две охапки дров, тепло в нем держалось недолго. Князь Голицын переносил холод и сырость очень тяжело, страдал от них и как не берегся, простудился и страдал грудью, постоянно кашлял. По ночам он часто молился и просил Бога, чтобы тот прервал его дни страдания и жизни. Иногда Филарет слышал, как князь шептал: «Господи Боже милостивый, избавь меня от непосильных тягот бытия».

Митрополит как мог пытался помочь одолеть князю муки заточения. Он отдал князю Василию свой кафтан из веретья, сам остался в легкой свитке. Ночью они ложились рядом, и Филарет согревал слабеющего Василия теплом своего тела. Когда в каземате появлялись стражи, он просил их проявить христианское милосердие и перевести князя Василия в сухое и теплое помещение. Но поляки не внимали просьбе русского пленника.

Филарет и Василий потеряли счет дням. Митрополит все еще прилагал силы, чтобы облегчить страдания князя. Но князь смирился со своей участью и день за днем угасал. Филарету же говорил:

— Друг мой любезный, владыко, пекись о себе. Тебя хватит вынести муки. Придешь в мир и поведаешь, кто есть наши коварные враги, ляхи. — Каждое слово давалось князю с трудом, кашель душил его, но ему хотелось выплеснуть все, что накопилось в душе за дни мальборгского

заточения. — Скажи россиянам, что ляхи есть нелюди, отродья сатаны и дьявола. Мы держим их пленников в Ярославле в довольстве и здравии, они же терзают нас хуже зверей. Господи, покарай их громом небесным! — восклицал князь и надолго, на дни, на недели умолкал.

— Ты сам все расскажешь россиянам, а я помолюсь за тебя, — отвечал Филарет и вставал на молитву. К несчастью, пленников все больше донимали холода. Едва им приносили воду в деревянном жбане, как она замерзала. Дров с каждым днем стражи выдавали все меньше. А морозы справляли рождественское и крещенское торжества все веселее.

Но вот однажды, лишь только зима повернула на лето и холода пошли на убыль, в замке появился богослов-философ Петр Скарга. Он приехал в теплой карете, его сопровождали слуги и воины. В замке началась суеда, лаяли собаки, ржали лошади, доносился в полуподвал глухой говор.

Петра Скаргу, худого, желчного, с хищным носом иезуита, встречал хранитель замка пан Гонта. Он с поклоном распахнул перед богословом двери своего флигеля, усадил к камину в гостиной.

— Святой отец, какая нужда заставила вас приехать в такую стужу? — спросил пан Гонта.

— Именем короля Сигизмунда велено мне наезжать сюда часто, — ответил с достоинством королевский посланец. — Потому приготовь мне в замке теплые комнаты. Да поближе к узникам.

— Будет исполнено, святой отец, — ответил Гонта почтительно.

И вскоре над казематом, где сидели русские пленники, сыновья и невестки пана Гонты приводили в порядок покои для богослова.

Все это движение в замке митрополит Филарет слышал, но не понимал его значения. Несколько дней в каземате появлялась только молчаливая, словно немая, Грета. Она приносила пищу, дрова и уходила, не проронив ни слова, не отвечая на вопросы. Филарет несколько раз пытался с ней заговорить, но женщина каждый раз обжигала его мрачным взглядом черных глаз, что-то буркала недоброе и уходила.

Петр Скарга не торопился встретиться с Филаретом. Он никогда и ни в чем не проявлял поспешности и даже королевское повеление не спешил исполнять. К тому же не был уверен, что выполнит королевскую волю и добьется успеха. Только через неделю богослов решил навестить узников, дабы приступить к тому, ради чего был прислан в Мальбор-

гский замок. Он спустился в подвал в сопровождении пана Гонты и стражника. Благословив узников по-польски и осенив их крестом, Петр Скарга бегло осмотрел каземат, бросил взгляд на лежащего на топчане князя Голицына и вонзил свой взгляд в Филарета, словно надумал приковать его этим к стене. Богослов явно не хотел вступать в разговор, но долго не спускал с лица россиянина своих острых глаз-маслин. Он пытался разгадать этого священнослужителя, но наткнулся на суровый взгляд Филарета и не выдержал поединка. В эти несколько мгновений митрополит понял, что богослов приехал в замок с чем-то важным, касающимся только его, Филарета. Он помнил его присутствие в свите короля под Смоленском. Однако, не пытаясь выяснить, зачем прибыл богослов, Филарет сказал по-польски:

— Ежели ты, святой отец, явился повелением короля Сигизмунда, то прежде всего прояви милость к больному князю.

— Что ему нужно? — спросил Петр Скарга по-русски.

— Сухой и теплый покой, — ответил Филарет на родном языке.

— Он в состоянии встать, ходить?

— Да.

— Хорошо, ежели князь сидит здесь не по воле короля, я исполню вашу просьбу, — пообещал богослов.

Петр был старше Филарета лет на пять. На сухом, с глубокими складками у рта аскетическом лице — ни бороды, ни усов, одного роста с митрополитом, прям и крепок. Прямые серебристо-черные волосы ниспадали на плечи, в руках — четки, которые он непрерывно перебирал. За тот год, что пребывал в свите первого Лжедмитрия, он научился говорить по-русски, еще близко познакомился с многими русскими архиереями, которые служили самозванцу, и невзлюбил их. Упорный проповедник католичества и униатства, он увидел в русских священнослужителях яростных отрицателей римской церкви и ее учения.

И вот теперь ему предстояло обратить стоящего перед ним россиянина в католическую веру, а в худшем случае, добиться того, чтобы он стал приверженцем унии. Но рассматривая Филарета, выворачивая его нутро, он понял, что добиться первого будет невозможно. Этот православный христианин не продаст своей веры даже за свободу. И был лишь один путь привести его в католическую веру. Однако сей крайний случай Петр Скарга пока таил и берег на то время, когда исчерпает мирные пути. Да и сторонником унии, считал Петр, россиянин может стать только при од-

ном обстоятельстве, когда большинство иерархов русской церкви примут как должное учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Если бы в этом удалось убедить русских святителей, тогда вживление унии в России двинулось бы благодатно. Ан нет, православная восточная христианская церковь упорно отрицала сей догмат католической церкви, и это отрицание длится несколько веков. Именно на этом основании Византийская церковь отрицала верховенство Римского Святейшего престола над Константинопольским Патриаршим престолом, а папу римского не признают главою Восточной церкви. Так сможет ли он, простой богослов католической церкви, сломить богатырский дух русского митрополита, в прошлом известного не только в России, но и за ее пределами боярина и князя Федора Романова, потомка древнейшего княжеского рода? К тому же широко образованного.

И Петру Скарге пока ничего не оставалось иного, как только проявить силу своего духа и красноречия, попытаться убеждениями выполнить волю короля Сигизмунда и пожелание папского нунция в Польше прелата Рангони. О, нунций Рангони только выразил пожелание, но оно давило на богослова куда больше, нежели воля короля. Повторив еще раз: «Я попытаюсь выполнить просьбу князя Голицына», Петр Скарга покинул каземат. Он бы и хотел тотчас сразиться с Филаретом в философском поединке по догматам веры, посмотреть, чем живет и дышит Филарет, крепок ли в православии, в его догмах, но у Петра не было никакого желания сидеть в холодном и сыром помещении каземата, вести долгую беседу.

Прошло три дня с того часа, когда Петр Скарга заходил в каземат, и к вечеру за Филаретом пришел слуга богослова.

— Идите за мной, — сказал он митрополиту.

Филарет сидел возле князя Василия и не шелохнулся. У него и в мыслях не мелькнуло оставить Василия одного. Но князь побудил:

— Иди, владыко. Знаешь же, уведут силой.

— Хорошо, брат, но я скоро вернусь за тобой, — ответил Филарет и покинул каземат.

Слуга вышел следом, закрыл дверь на засов, запер ее на замок, как делалось всегда, и повел Филарета вверх. Они пришли в просторный и ярко освещенный покой. В нем было тепло, в камине пылал большой огонь. Богослов Петр сидел возле камина и поправлял дубовые поленья. Он показал Филарету на кресло, стоящее рядом и пригласил:

— Садись, сын Божий.

Филарет опустил ся в кресло и в сию же минуту ощутил тепло очага. Оно были иным, чем то, которым согревались они с князем Василием в подвале. Там полугнилые дрова пахли болотом, здесь — терпким дубовым настоем. Но Филарет не расслабился. Он пребывал в тревожном предчувствии. Еще при первой встрече с богословом Филарет понял, что тот явился неспроста, не для мирных бесед на богословские темы. Филарет заключил, что иезуит играет с ним, что он жесток и в нем нет человеколюбия, милосердия к страждущим. Потому Петр Скарга и «забыл» о просьбе Филарета, перевести князя Василия в сухое и теплое помещение. Размышляя об этом, Филарет смотрел только на огонь и не видел изучающего взгляда богослова. Наконец, тот заговорил:

— Вижу, ты, митрополит, негодуешь, потому как я не внял твоему слову и князь все еще в каземате.

— Да, святой отец, сие не по-божески.

— Я же говорю: судьба твоего брата, пребывающего в беде, в твоих руках. И достаточно одного твоего слова «согласен», я велю пану Гонте перевести вас вот в такой же покой.

— Какого согласия ты добиваешься?

— Я не зову и не толкаю тебя на злые деяния, недостойные твоего звания, но призываю к службе во благо всех верующих христиан и католиков. Господь Бог у нас един, все мы верим в Святую Троицу. Потому поклонись вместе со мной наместнику Божьему на земле папе римскому Сиксту V и признай божественную роль католической церкви римского закона. — Петр Скарга потянулся рукой к руке Филарета, тронул ее, призывая к доверию, к совместному служению Святой Троице.

Филарет по-прежнему смотрел только на огонь и освободил руку от холодной руки иезуита. Он думал о том, что предчувствие не обмануло его. И они с князем попали в лапы огромного клеща, который или высосет из них последние соки, или сгноит в сыром каземате, если не дадут согласия принять католичество. В сей миг в Филарете вспыхнуло лишь одно чувство: гнев на коварного иезуита. И со всей страстью своего неуемного характера Филарет хотел обрушить свой гнев на голову богослова. Но в последний миг сдержался, потому как знал, что никакая ярость не спасет ни его, ни князя от посягательств на духовную свободу. Даже насилие над Петром Скаргой не приведет его и князя к какой-либо свободе, к тому, чтобы вырваться из заточения, не говоря уже о том, чтобы вернуться в отчизну.

Молчание Филарета затянулось, и богослов напомнил о себе:

— Брат мой во Христе, я призываю тебя к благоразумию и хочу услышать твое слово.

Филарет, наконец, повернул голову к иезуиту.

— Мое слово одно, — начал он, — прояви милосердие к брату моему князю Василию. Никакой враг так жестоко не относился к русским пленникам. Мы ведь не воины, мы послы. Зачем обрекаешь князя на смерть? — Слова Филарета звучали сурово.

— Просьба твоя за князя Голицына говорит о твоём благородстве. Сей Божий дар, сказывают, есть и у меня. Однако же суровое содержание вас — воля короля Сигизмунда. Он указал место, где вам пребывать. Как же мне дерзнуть и нарушить волю государя? Только твое согласие принять нашу веру изменит судьбу князя. Оба вы будете вольными. К тому же ты первым встанешь на путь сближения двух вер. Я не вижу никакого отступничества от православной веры, если ты станешь католиком. Мир становится иным. Мы же благословили королевича Владислава принять православную веру, и он на пути к Москве.

Петр Скарга обманывал Филарета. Король Сигизмунд давно и строго запретил сыну не только дать согласие креститься в православие, но даже запретил ему ехать в Москву. Ложь не смущала иезуита. И он продолжал убеждать Филарета.

— Коль скоро царь всея Руси Владислав примет православие, откроется путь к сближению польской и русской церквей, слиянию двух вер, и они встанут под знамена Римской церкви.

Митрополит слушал богослова внимательно, чтобы понять, насколько иезуит крепок в своих убеждениях. Но болезненные думы о князе Василии, который пропадал внизу, как в преддверии ада, не позволяли Филарету сосредоточиться на разговоре. Одно митрополит понял хорошо: если он предаст свою веру, то спасет князя. И тут ему было над чем задуматься, тут нельзя было отмахнуться от богослова. И все-таки Филарет не думал сдаваться, сам попытался пробиться к сердцу Петра Скарги.

— Ежели ты уверен, что церкви, ваша и наша, встанут рядом, ежели успех близок, зачем же не проявишь милосердие к будущему собрату? И тогда князь поклонится папе римскому и будет денно и ночью молиться Всевышнему за твое милосердное дерзание и дабы он защитил тебя от гнева короля Жигмонда за сей подвиг человеколюбия.

Страдая за князя Голицына, Филарет был готов на любые муки. Но он видел, что Петр Скарга и пальцем не шевельнет в пользу князя, пока не добьется своего. Филарет понимал, что не тем человеком был иезуит, чтобы проникнуться жалостью к страдальцу. Скарга даже не ответил на горячие слова Филарета. Он считал, что облегчение участи больного россиянина ни на шаг не приблизит его к достижению цели. И с упорством фанатика заявил:

— Брат мой, напрасно призываешь меня к милосердию, не проявляя своего. Тебе я открыл путь к спасению князя. Ты благороден, ты готов пожертвовать жизнью ради ближнего. Вот и исполни благое дело. Два слова: «да» или «нет» решат вашу участь. — И богослов встал.

Филарет продолжал сидеть. Оказалось, что ему трудно оторваться от очага, излучающего благодное тепло, и покинуть покой, где воздух чист и свеж, где много свету. И как мало от него требовалось, чтобы не уходить из райского покоя в преддверие ада. Одно слово «да», и вот она, свобода. Ан нет! Ярко вспыхнуло в памяти все, что случилось с ним в Тушине. Там все происходило так, как и здесь, и там судьба его покатила во тьму предательства после одного слова «да». И только Богу ведомо, на какие душевные муки тогда обрек себя Филарет, как трудно далось покаяние и прощение греха. Ноне же он не дожидется прощения греха и ему не поможет никакое покаяние. И Филарет прошептал: «Славный и достойный князь Василий, люблю тебя всем сердцем и живота за тебя не пожалею, но веру не продам! Прости! Прости! Прости!» — И митрополит встал, резко сказал:

— Всуе наша беседа была! Зови стражей и отправляй в каземат! — и, не дожидаясь, что скажет Скарга, направился к двери.

Богослов, однако, остановил Филарета.

— Хорошо, я пошлю гонца к королю и буду просить его за князя. Тебя же попытаюсь вывести из тьмы заблуждения. — Скарга позвонил в колокольчик, вошел слуга и по знаку богослова повел Филарета в заточение.

А утром через два дня в каземат пришел пан Гонта, следом явилась младшая невестка Гуня. Они принесли большую вязанку дров и полную корзину съестного, несколько бутылок и банок с лечебными настоями и мазями, с малиновым вареньем. Пан Гонта пояснил, какие настойки как пить, как растираться мазями. И наказал:

— Еще молитесь Деве Марии. Она милостива и защитит вас.

Он же показал Филарету, как сделать близ очага полук для князя, и принес несколько досок. Филарет не мешкая взялся за дело и к вечеру соорудил полати, перенес на них князя, напоил его чаем с малиновым вареньем, растер грудь и ноги барсучьим салом, хорошо укрыл, и князь впервые за долгие недели спокойно спал и не кашлял.

Зима была на исходе, наступил март и с каждым днем становилось теплее, сырости в каземате стало меньше. И князь Василий пошел на поправку. Филарет радовался выздоровлению Василия и благодарил Бога, что помог выстоять в испытаниях. Незаметно миновал месяц с памятной беседы с богословом. Он о себе не давал знать, и Филарет питал надежду, что богослов не будет больше посягать на его душу.

Но минувший месяц все-таки оказался тяжелым. Тогда, вернувшись в каземат после беседы с иезуитом, Филарет неделю не обмолвился о чем шла речь во время встречи. Это до боли в сердце угнетало Филарета. Он готов был изойти криком, лишь бы избавиться от когтей, терзающих грудь. Получалось, что он все-таки дал повод Петру Скарге для забот о князе: лекарства и хорошая пища, дрова в достатке — все это богослов велел прислать не из милости. Но сам Филарет все-таки считал, что сделки с богословом не было. Там, наверху, он лишил князя Василия всякой милости со стороны богослова. Лишил в муках, в молчаливом покаянии, в презрении к себе, в молитвах, длившихся всю неделю. Но ничто не снимало камень с души, пока не исповедался перед лежащим пластом князем Василием. Исповедь была горячей и безжалостной. Гневно судил себя Филарет за то, что не мог спасти от мук заточения.

— Ты, княже прости меня, прости ради Христа! Да нет прощения мне, окаянному! — кричал Филарет. — Виноват я пред тобой выше меры. По моей вине ты, голубчик, со Смоленска пребываешь в истязании зломном, в изживании живота своего! Тать ночной я, укравший у тебя свет и волюшку!

Князь Голицын многожды пытался остановить Филарета, наконец крикнул, не щадя последних сил:

— Федор, опомнись! Зачем глумишься над собой! Никакой твоей вины предо мной не вижу!

— Да была, была явная! — И Филарет раз за разом бил себя кулаком в грудь. — Зимогор я и мазурик! — Наконец, он уронил голову на полати и зарыдал.

Князь Василий положил свою легкую руку на голову Филарета и держал ее молча. И неведомо, сколько прошло

времени, как Филарет успокоился, вскинул голову, поднялся на полати и сел рядом с князем.

— Все как на духу выложу, а там суди, бей наотмашь, все стерплю!

И Филарет пересказал Василию слово в слово всю беседу с богословом. А когда закончил и опустил голову в ожидании осуждения, то услышал от князя, но совершенно не то, чего ожидал:

— Господи, какой же ты дурень, Федор, — князь Василий имел право так отчитывать Филарета, ведь они были ровесниками и занимали в обществе равное место, — потому как в мыслях меня обидел. Да пусть лучше волки на волюшке гуляют, нежели бы я согласился на такую волю. Но честь и хвала тебе от российского христианина, что не дрогнул пред дьявольским соблазном. Слава тебе Господи, что есть на Руси истинные православные. Вот и весь мой сказ.

И Филарет припал к груди князя Василия, прошептал:

— Славный брат мой, спасибо, что тяжкий крест снял!

— Теперь же запомни, — продолжал князь Василий, — мы с тобой в осаде. Наша крепость — душа, ее обложили вороги. Будем же оборонять свою крепость, как оборонялись смоляне, до последнего...

— Верю в тебя, мой брат, выстоим. Да вооружимся супротив врага молитвою и преданием, — ответил Филарет. — А теперь послушай уставы, кои выставлю перед богословом-еретиком.

И Филарет уселся близ князя поудобнее и начал долгий рассказ о том, какую порочной, по его представлениям, была римская католическая церковь.

Его рассказ был прерван паном Гонтой и пани Гуней. Они принесли корзину всякой всячины и загадали узникам трудную загадку: как повернется их судьба после такой милости Петра Скарги, от которого они думали обороняться и строили-укрепляли свою крепость. Но миновал март, а богослов не давал о себе знать.

Глава тринадцатая

РОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ

Русь еще бедовала. Изгнав из Москвы поляков, литовцев а с ними и римских иезуитов, она не очистила своей земли от ворогов. На запад от Москвы и на юге еще гуляли отряды поляков, шайки разбойников, мятежных казаков.

Россияне упорно очищали свою землю от этой нечисти. Да пришла другая державная забота, коя оттеснила все другие и даже борьбу с разрухой на дальний порядок.

Пришла пора россиянам избавиться от сиротства, которое, по их мнению, затянулось на долгие пятнадцать лет. Потому как ни Бориса Годунова, ни Федора Годунова, не тем более Лжедмитриев и Василия Шуйского россияне не считали Божьими избранниками на царский престол. По всей России еще гадали, судили-рядили, кого поднять на Мономахов трон, и ждали, кого позовут на царство думные, державные головы. Многие уповали на митрополита Крутицкого Ефрема, который стоял местоблюстителем патриаршего престола. Но те, кто общался с митрополитом Ефремом, сказывали, что он еще не окреп на месте первосвятителя и от него многого не ждали. Однако решительный человек нашелся: князь Федор Иванович Шереметев. Готовясь назвать будущего царя в Боярской думе, Федор Иванович послал со скорыми гонцами в город Мариенбург грамоту князю Василию Голицыну, в которой писал: «Мы выбираем Мишу Романова; он молод и еще незрел умом, и нам с ним будет повадно».

Вскоре и россияне узнали, кого позовут на престол. И встретили новину душевно. Род Романовых испокон был в почете у россиян. Дед Михаила, боярин Никита, был около полстолетия близок к царям и всегда защищал народ от жестоких порывов Ивана Грозного. Помнили и Федора-Филарета, страдателя от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского.

Сказали свое слово и вожди народного ополчения, освободившие Москву от поляков, староста нижегородский Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. С ними и духовенство согласилось. Епископы и архимандриты имели видение, указывающее на Михаила как избранника Божия. Но думные бояре и архиереи церкви считали, что последнее слово в пользу Михаила Романова должна сказать Россия. Без воли народа не быть царю истинным избранником. И из всех государственных приказов, из Патриаршего приказа, тайно и спешно помчали гонцы-сенучи по городам и весям на все четыре стороны от Москвы выведать мнение народа. И сказывали посланцы потом, что во многих городах людям так же было видение отрока Михаила. И повсюду россияне от мала до велика говорили одно: «Быть нашим государем Михаилу Романову, а опричь его никак никого на государство не будем звать».

Как вернулись посыльные, думные бояре увидели, что нет у них иного россиянина, кроме Михаила Романова, кому бы Русь присягнула единым духом. И был назначен день созыва избирательного собора. Во все концы державы вновь помчали гонцы, дабы от пятидесяти городов, от Мезени на севере до Оскола и Рыльска на юге, от Смоленска на западе до Казани и Вятки на востоке, позвать достойных выборных от всех сословий.

По просторам России еще завывали февральские метели, еще стояли жгучие морозы, но, преодолевая непогоду, к Москве съезжались двести семьдесят семь достойных россиян: вельмож, купцов, священнослужителей, ремесленников, стрельцов, служилых людей всех рангов. Нашлись и радители избирательного собора, кои устраивали выборных в Москве. Ими были князья Дмитрий Пожарский, Федор Шереметев, Иван Одоевский и Борис Салтыков.

Однако не все гладко шло на избирательном соборе в Грановитой палате Кремля, куда сошлись не только выборные. Сторонники князя Федора Мстиславского и князя Ивана Куракина да думного дьяка Грамотина заявили, что у России есть царь Владислав, коему москвитяне целовали крест. Были и такие, кто кричал, что выборные слепо идут за Филаретом Романовым, который управлял ими из своего пленения. И тогда князь Федор Шереметев принес в Грановитую письмо Филарета, к котором тот советовал выбрать царем кого-нибудь из бояр, не запятнавшего чести. Но совету Филарета не вняли. Ведь такой царь мог быть свидетелем их прегрешений во время смуты. Помнили они, что государи с чистой совестью и двор подбирают из себе подобных. По этой причине московским вельможам было сподручнее поднять на трон личность незначительную, дабы управлять ею. И потому избрание юного Михаила Романова их вполне устраивало. Но шли дни, а избирательный собор никак не мог прийти к единому согласию. Противники рода Романовых и каверзы строили, и спорничали, и дотошность во всем проявляли. В один из дней они потребовали грамоту, подтверждающую, что в роду Романовых есть представители, кои были в родстве с царями. И тогда митрополит Крутицкий Ефрем, местоблюститель патриаршего престола, сказал:

— Сие утверждение есть. Мы дадим на обозрение выборных грамоту о родовом дереве Романовых.

Накануне этого дня к викарию Ефрему приходил ученый муж, галицкий дворянин, и показал лист с генеалогическими выписками.

— Владыко святейший, — начал ученый муж, — сей лист показывает родство юного князя Михаила Романова с царем Федором.

Но когда митрополит Ефрем огласил документ, в Грановитой палате возник невообразимый гвалт. Сторонники князя Мстиславского драли глотки, отрицая родство Михаила и Федора.

— Кто тебе сочинил сию грамоту? — подойдя к Ефрему крикнул-спросил князь Иван Куракин.

— Сия грамота — плод трудов ученого галичанина, — ответил Ефрем.

— Долой лжесвидетеля! Долой! — закричали в палате.

— Говорю всем, — продолжал князь Куракин, — родство князя Федора Мстиславского с царями ведомо всем, и оно выше романовского.

— Ты поезжай в вотчину к князю Федору да соборуй его. На ладан дышит твой князь, куда ему в цари! — возгласил князь Черкасский.

И трудно было угадать ход событий, потому как вельможи кулаки в ход пустили. «Да я тебе покажу “ладан”, сам на него дышать почнешь», — кричал князь Куракин. Но в сей миг в палату влетел припоздавший выборный от донских казаков атаман Черемнов. Он высоко поднимал лист и размахивал им. Встав рядом с митрополитом Ефремом, возгласил:

— Я буду свидетелем родства сына Федора Романова Михаила с царями! Вот грамота!

— Атаман Черемнов, откуда ты ко времени возник?! — обрадовался князь Дмитрий Пожарский, который помнил его со дней изгнания ляхов.

— Княже, я есть выборный от Дона! А в руке у меня грамота, коя говорит о кровном родстве Романовых с царями. Тут от князя Андрея Кобылы все расписано, — потрясая грамотой, кричал Черемнов.

Федор Шереметев взял обе грамоты и сличил их.

— Все истинно в них. Нет подделок, — заявил он. — Смотрите, сведые в грамоте!

Однако противники Михаила Романова не сдавались. Князь Иван Куракин потребовал:

— Хочу видеть княжича Михаила! Потому как, может, он не способен на троне сидеть! Пусть он явится пред нами и мы оценим его.

Последнее слово, однако, оказалось за князем Шереметевым.

— Князя Михаила вы все видели, потому говорю: вольно мы поговорили, и не вижу иных причин тянуть с

избраением Михаила Романова на царствие. Сам же он не может предстать пред высочайшим собором, потому как исполняет наш совет, пребывает в тайных местах и в бегении от татей, покушающихся на его жизнь. Скажете свое слово об избрании, и явится сей юный муж. Решайте же: быть или не быть царем Михаилу Романову!

В Грановитой палате на сей раз не возникло гвалта, выборные теребили бороды, чесали затылки, понимая, что нет у них причин волокитить, потому как природный царь налицо. И в этой тишине засновали среди выборных приказные дьяки, раздавая по спискам каждому выборному четвертушки бумаги. Им же оставалось одно: написать свое особое мнение, быть или не быть царем Михаилу Романову.

К вечеру, когда разложили на столах четвертушки, на всех двести семидесяти семи значилось одно слово — «быть». Так, за неделю до масленицы 1613 года Михаил Романов был избран царем Российской державы. А на масленицу, 21 февраля, в прощенное воскресенье, чуть свет, заблаговестили по всей Москве колокола, собирая москвитян на большой совет. Земский совет приговорил объявить в этот день россиянам о том, что кончилось плачевное сиротство России и им дано право сказать свое слово, желают ли они себе в цари юного князя Михаила Романова.

Москвитяне отозвались на колокольный призыв не мешкая, потому как ждали его с того дня, как в Кремле собрались выборные всей земли. И по всем улицам, по Тверской, по Пречистенке, по Мясницкой, Ордынке, Якиманке потекли к Красной площади нескончаемые потоки. Такого многолюдия главная площадь державы не знала, ни один царь в прежние времена не удостаивался такой чести при избрании. И не надо было представителям Земского собора подниматься на Лобное место и спрашивать, желают ли россияне, чтобы их отцом-батюшкой стал князь Михаил Романов, стоило лишь послушать одобрительный гул народа, посмотреть на посветлевшие лица москвитян и можно было венчать Михаила на царство. Но слово все-таки вознеслось. Как испокон повелось, с ним обратился к народу духовный отец будущего царя, митрополит Ефрем.

— Дети мои, россияне, выборные от всей земли поставили на земском соборе быть царем России природному наследнику престола, избраннику Божьему, князю Михаилу Романову. Почтите ли его своей добротой, любезен ли он вам? Слушаю вас!

— Любезен! Хотим сего россиянина на престол!

— Слава царю Михаилу! — покатилося по Красной площади.

И владыко Ефрем увидел, что у многотысячной толпы россиян один лик: на нем радость и вера в будущее благоденствие России.

Красная площадь ликовала, как никогда. Народ не пугало то, что держава пребывала в великом разорении, что сотни тысяч десятин пахотной земли пустовали, потому как хлебопашцы были сметены с сельской нивы ураганом смуты, что многие города лежали в пепелищах и развалинах. Все россиянами было одолимо, ежели во главе державы встанет любезный царь. И прощенное воскресенье превратилось в большой всенародный праздник.

В тот же день князь Федор Шереметев позвал знакомого дьяка и опытного гонца Аладьева и велел ему ехать пробираться в Литовскую землю, найти под Мариенбургом Мальборгский замок и уведомить митрополита Филарета о том, что его сын избран царем России.

— Ты уж постарайся, братец, донеси сию благую весть до узника, — попросил князь. — А грамоту я тебе приготовил.

Дьяк Аладьев хаживал за рубежи державы многожды, всегда удачно. И тут заверил князя:

— Исполню, князь-батюшка, как велено.

Аладьев покинул Москву ранним утром на другой день. И тем же ранним утром князь Федор Шереметев проснулся с чувством гнетущего беспокойства. Казалось бы, никаких видимых причин для того не было: избирательный собор завершился удачно, народ проявил себя разумно, а не нет, беспокойство нарастало. И князь отправился к митрополиту Ефрему, с которым князь, вольно или невольно, оказался во главе избирательной страды. Князь думал о том, что утверждение избирательной грамоты, слово россиян на Красной площади еще не давали полной уверенности в том, что царем будет именно Михаил Романов. Никто в Москве не знал, есть ли у него желание стать царем. И никто не мог сказать, как поведет себя матушка царя инокиня Марфа. Она-то отлично знала цену царскому венцу. И ежели она не даст согласия венчать на царство своего сына, то вся великая суета пойдет прахом. А то, что она могла закусить удила, Федор Шереметев нисколько не сомневался. Придя в палаты митрополита, Федор застал Ефрема за утренней трапезой. Князя пригласили к столу, налили чару медовухи. Однако князь не взялся за чару, пока не поделился своим беспокойством:

— Отче владыко, избрав Михаила, мы выполнили только одну половину дела. Справимся ли с другой?

— Ведаю, сын мой, о чем речь, — ответил Ефрем. — Матушка Марфа вельми тверда в убеждениях.

— Вот я и мыслю, что нужно отправить в Кострому послами достойных людей, и нам с тобой нужно поехать, дабы мы получили согласие матушки Михаила. А без ее благословения нам пребывать в сиротстве.

— Истинно глаголешь, сын мой. Потому не будем коснети и ноне же обьявим послов.

Но думные бояре привыкли всякое благое дело обставлять проволочками. И больше недели судили-рядили, кому быть послами. И даже Федора Шереметева и митрополита Ефрема пытались оттеснить от посольства, что наполовину им удалось.

В сердцах князь сказал боярам:

— Эх, радетели за Русь, ни креста у вас, ни совести! Да нет на вас Гермогена святейшего. Он бы скоро вразумил Божьим словом!

Бояре лукаво ухмылялись в сивые бороды, но дорогу посольству все-таки открыли. Оно оказалось внушительным, более пятидесяти послов отправилось в путь. Во главе посольства был поставлен архиепископ Рязанский Феодорит. До Костромы послы добирались почти две недели и прибыли туда лишь 13 марта, в день святого Никифора. В Костроме послы первым делом посетили воеводу Михаила Бутурлина. В честь московских гостей воевода дал обед. За трапезой князь Шереметев расспросил воеводу, как живут-поживают Михаил и его матушка.

— Живут в благодати, — скупно ответил Бутурлин. Он был выборным на Земском соборе от Костромы и знал, с чем прибыли послы, но не порадовал их. — Одно добавлю: затворничество им по душе и, поди, не согласятся его прервать.

— Но знает ли Михаил, что его избрали царем? Ведь мы посылали гонца, — продолжал спрашивать Шереметев.

— Запретила инокия Марфа допускать к ней гонцов.

— Удивляюсь я тебе, воевода, — загорячился князь Федор. — Как ты осмелился задержать земского гонца?

— Каюсь, князь. А и пустил бы к ним гонца, того хуже случилось бы. Марфа ноне способна на дерзкие дела, увела бы князя в северные скиты, а там ищи ветра в поле...

— Вон как, — удивился князь Федор. — Ишь, какое студное дело у нас. Выходит, и послов она может не принять?!

— Сие токмо Богу ведомо, а мне — нет.

— И что же ты присоветуешь?

— Идите к старице Марфе с поклоном. Другое вам и не дано.

После обильной трапезы с хмельным, Бутурлин распорядился разместить послов на отдых. А на другой день, помолившись и не вкусив пищи, послы скопом отправились в Ипатьевский монастырь, где пребывали Марфа и ее сын. Архиепископ Феодорит собрал костромских архиереев, велел взять хоругви, иконы и чудотворный образ Владимирской Божьей Матери. Монастырь стоял вне города, за рекой Костромкой. Шли через реку по льду, который еще был недвижим. Когда процессия появилась вблизи монастыря и о ней доложили настоятелю, он велел распахнуть ворота и встретил послов как подобает. На звонницах ударили колокола, монахи вышли так же с иконами и с горящими свечами. Однако встреча с инокиней Марфой была тягостной и не внушила послам никакой надежды на то, что бывшая княгиня отпустит своего сына в Москву на трон. Настоятель монастыря отправился к ней в келью и попросил выйти к послам.

— Матушка Марфа, тебя хотят видеть сановники, — сказал он.

— Что им нужно? — спросила Марфа недовольно.

— Тебе и скажут, — ответил настоятель и ушел.

Марфа собиралась долго. Два раза присаживалась на скамью, думая вовсе не выходить. Знала она причину появления послов и не радовалась. Все в ней бунтовало против россиян, отметивших ее сына особой печатью. И она появилась на крыльце кельи суровая, непреклонная. Спросила сухо:

— Зачем пришли? Я вас не звала! Уходите прочь!

Огорошенные послы молчали. Но подняв крест, выступил вперед архиепископ Рязанский Феодорит:

— Матушка-государыня, низко кланяюсь тебе и просим выслушать нас, — начал Феодорит. — Мы пришли за твоим сыном, избранником Божьим на Российское царство.

— Не тщитесь! Я не отдам своего сына на поруганье! Не ищу ему судьбы Федора Годунова! — бросила Марфа в толпу тяжелые слова.

— Но вся Русь, что за нами, зовет князя Михаила быть царем-батюшкой! Милости твоей просим, государыня, — взывал к сердцу непреклонной инокини архиепископ.

— Не отдам! Он еще малолетен! Ищите другого царя! — перешла на крик Марфа и заплакала. — Большие

люди обезумели, избрав отрока царем. Голицыных мужей зовите, Мстиславского нареките! А Мишеньку не отдам. Не отдам! Не отдам! — и Марфа заголосила пуще.

— Искренняя твоя любовь к сыну, — снова заговорил Феодорит. — И мы помним, что он у тебя один, но собор не нашел достойнее природного царя. Потому умоляем тебя именем Господа Бога, не супротивничай воле сирот россиян.

— Не просите. У меня уже все отняли! Но сына я не отдам!

И тогда Феодорита сменил князь Федор Шереметев.

— Матушка Марфа, ежели ты нам отказываешь, то мы, челобитчики, просим тебя идти в храм Святой Троицы и там пред Богом и алтарем сказать свое последнее слово.

Одарив друга дома Романовых негодующим взглядом, Марфа молча сошла с крыльца и направилась к храму. Но тут перед нею возник воевода Бутурлин.

— Остановись, матушка, не делай невозвратных шагов! — И тут же Бутурлин обратился к послам: — Не угнетайте инокиню Марфу. Дайте ей подумать, поговорить с сыном. — И снова воевода заговорил с Марфой: — И ты, матушка, уразумей наше слово к завтраму. Да помни о том, что на твоего сына указал перст Божий. — Еще послам сказал: — Оставим, добрые люди, сие недостаточное дело до завтра, уповая на Всевышнего. — И воевода направился к монастырским воротам. Марфа тоже тотчас ушла со двора. Послы взирали на происходящее молча, с недоумением, не предполагая, что так скоро и впустую завершится их визит к будущему царю. Но вняли совету воеводы и покинули монастырь. Лишь костромские архиереи остались в обители и ушли в храм Святой Троицы, дабы отслужить молебен во благо торжества благоразумия.

Вернувшись в город, воевода Бутурлин позаботился о том, чтобы послы ни в чем не нуждались, пригласил на торжественную литургию в собор, назначенную в честь избрания Михаила, сам помолился. А позже, пребывая в глубокой задумчивости, отправился в свои палаты. Там, не мешкая, прошел в детскую опочивальню, где его жена Катерина забавлялась с годовалым сыном Андреем. Тут же, в детской, была и дочь Катерины Ксюша. Отроковица уже вошла в тот возраст, когда проявляется девичья стать. И можно было уже сказать, что она повторит в красе свою матушку, а в чем-то и превзойдет. Всем Ксюша взяла, а прежде всего нравом и разумом. Еще силою ясновидческой.

Бутурлин любил ее как родную дочь, всегда был ласков с нею и с добрым пристрастием относился ко всему, что делала Ксюша чем жила. Бутурлин был счастлив со своей новой семьей. Лишь временами две ясновидицы внушали ему почтительный страх. Шутка ли, им дано было Всевышним видеть то, чего простые смертные, все той же волею Предвечного, были лишены. Приласкав Ксюшу и Андрея, Михаил позвал Катерину в трапезную.

— Идем, любушка, посоветуемся. Нужна твоя помощь.

В трапезной они присели рядышком на скамью, обитую золотистым бархатом, Михаил обнял Катерину за талью и попечалился:

— Токмо что с послами ходил в Ипатьевский монастырь, встречались с матушкой Марфой, поговорили вельми остро и вернулись несолоно хлебавши. Как нам быть, присоветуй?

— Ведом мне покладистый нрав Ксении. Марфу же меньше знаю, но судьбе ее не завидую. Потому она и закремневела от тягот житейских, и ждать от нее иного нельзя.

— Но дело не статочное. Князь Михаил избран народом. И нужно вразумить Марфу и в князе пробудить честолюбие. Ведаешь ли ты движение его души?

— Она в дреме, и пробудить ее трудно, а паче разжечь в ней горение. Отрок недоверчив и осторожен.

— Я уповаю на тебя, голубушка, — произнес Бутурлин. — Не должно послам с позором явиться в Москву. Пробуди Мишу, подвинь Марфу к милости, к подвигу за Русь многострадальную.

Катерина мельком глянула на мужа, голову опустила, сказала:

— Знаешь же, как нелегко мне видеться с Ксенией.

— Не вижу за тобой греха, а коль сама чувствуешь, переступи. Ведомо тебе во имя чего.

Снова Катерина посмотрела на мужа. Ее ярко-зеленые глаза были ласковы и безгрешны. Спросила:

— Когда мне идти?

— Ноне и отвезут.

— Токмо не в карете. Пусть крытые сани приготовят.

— Тебе виднее, голубушка... — И воевода прижал к себе Катерину. — Каждый день трижды благодарю Всевышнего за то, что ты есть рядом. А без тебя, как и все россияне, пребывал бы в сиротстве.

— Ну полно. Токмо вышел бы на красное крыльцо, крикнул бы любушку — вся Кострома возникла бы пред ликом, — пошутила Катерина.

— Вот уж будет тебе за насмешки, — погрозил Михаил, сам загораясь желанием позабавиться со своей милой женошкой. Да знал, что всему свой черед и побудил: — Иди же, голубушка, к Марфе.

Весь путь до монастыря Катерину одолевали думы. Она понимала Марфу-Ксению и не хотела бы оказаться на ее месте. Знала, как нелегко ей отпустить сына на престол после того, что случилось с последними царями после Федора Иоанновича. Сама Катерина искренне страдала, как узнала об убийстве невинного царя Федора Годунова. О царской судьбе не позавидуешь, сочла ясновидица. И возразила себе: но ведь кто-то должен сидеть на троне и нести крест, каким бы он не был тяжелым. И коль Богу угодно, чтобы отцом народа был юный князь Михаил, значит, так тому и быть, потому как судьбу ни пешком не обойдешь, ни на коне не объедешь.

Старика Марфа встретила Катерину приветливо. Теперь она знала, что только благодаря ведунье да еще крестьянину из вотчины Шестовых Ивану Сусанину она обязана тому, что ее сын Михаил не лишился живота. Поляки рьяно охотились за ним. Но когда Марфа узнала, с чем явилась Катерина, гневно крикнула:

— И ты с ними заодно! Уходи, и слушать тебя не хочу!

Однако Катерина нашла путь к материнскому сердцу.

— Печалуюсь с тобой, матушка, за то, что люди отнимают у тебя сына. Но послушай меня с вниманием. Да позови сюда Мишу, и я открою вам то, что внесет мир и покой в ваши души.

Марфа и этому воспротивилась. Но Катерина поймала ее глаза, своим взглядом заворожила, и та, не ведая откуда что пришло, ощутила в душе покой, доверие к ведунье и сказала:

— Хорошо, позову, вижу, худа ему не желаешь. — И ушла из кельи.

Вернулась она быстро, позвав сына из соседней кельи.

Катерина не видела Михаила около года. Перед нею стоял прелестный юноша, стройный, почти высокий. Русые, чуть выющиеся волосы ниспадали на плечи. Глаза были темно-карие, большие, в густых ресницах. И все это вместе с нежным юным лицом делало князя похожим на девушку. Ведунья сличила лица Михаила и его матушки и подумала, что юный князь есть Ксения в девичестве.

Катерина подошла к князю, взяла его за руку, спросила:

— Ты помнишь меня?

— Помню.

— Я хочу, чтобы ты поверил тому, что услышишь. — И Катерина посадила Михаила к столу, сама зажгла свечу от лампы, поставила ее в подсвечнике на стол, села напротив князя и попросила Марфу: — Матушка, встань за спиной Миши.

Марфа молча повиновалась. А Катерина закрыла руками лицо, стала тереть виски, лоб, потом распахнула ладони, как ставни, и Марфа с Михаилом увидели, как она неузнаваемо изменилась. Ее лицо было озарено внутренним розовато-золотистым светом и от лица невозможно было оторвать глаз. От Катерины исходила неведомая Марфе и Михаилу сила, и потому они смотрели в ее зеленые глаза словно замороженные, затаив дыхание. Но страха у них не было.

После минутного молчания Катерина заговорила:

— Слушайте и внимайте. Я не открываю людям их судьбы. Сие в согласии с Господом Богом. Но ваши судьбы я открываю по воле Божьей с легким сердцем. Они безоблачны. Вижу твой путь, Михаил. Он без терний. И ты пройдешь его безмятежно и благостно во имя России до предела, коего за оком не зрю. Ты будешь государем, несущим своему народу отдохновение от бед и горя, кои он претерпел за долгие годы смутной поры. Вступай на свой путь не сумняшесь, хранимый Отцом Предвечным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! — Взор Катерины погас и она вновь закрыла лицо руками.

В келье долго стояла тишина. Катерина встала, открыла лицо, на нем лежал румянец, глаза светились лаской. Она подошла к Михаилу, поцеловала его в лоб, после прикоснулась щекой к лицу Марфы и не, проронив больше ни слова, покинула келью.

Лишь только дверь за Катериной хлопнулась, Марфа взяла сына за руку, потянула его к скамье, стоящей у стены, села на нее, усадила сына и прижала его к себе, заплакала. Слезы текли ручьем, но они не были горькими: Марфа прощалась с затворнической жизнью. Она поверила ясновидице без сомнений. Да важной причиной сего было то, что видела она перед собой не просто ясновидящую женщину, но и освещенную Божьей печатью заступницу. Когда Марфа смотрела на Катерину из-за спины сына, видела над ее головой голубой нимб, и светился он до той поры, пока она не раскрыла судьбу Михаила. И поняла инокиня, что устами ясновидицы говорила покровительница ее сына Пресвятая Матерь Богородица. Как тут сомневаться? В душе Марфы поселился покой и она без трепета и страха решила отдать сына на волю Всевышнего и сама покорилась ему.

У Михаила тоже в душе вершились перемены. У него кружилась голова. Чтобы унять головокружение, он сильнее прижался к матери и вспомнил об отце: «Даст Бог, встану на трон, войско соберу, батюшку вызволю из плена». И запоздало ощутил беспокойство: как же это он не спросил о судьбе родимого, подумал: «Сбегать бы, спросить». О себе избранник на престол забыл. Он вступал на неведомый путь государя великой державы, как и все в роду Романовых шли по пути испытаний, мужественно и смело.

Пятнадцатого марта, в день поминаения усопших, московские послы вновь скопом явились в Ипатьевский монастырь. Воеводы Бутурлина с ними не было, и он не уведомил их о том, что с Марфой встречалась Катерина, лишь подал надежду Феодориту и Шереметеву:

— Идите с молитвой и обретете.

Феодорит внял совету Бутурлина и повел послов в храм святой Троицы помолиться. А пока они молились, Феодорит, побуждаемый волей Всевышнего, покинул храм и направился в келью инокини Марфы. Она же давно стояла у оконца и наблюдала за монастырским двором, видела на нем все движение. Ей по душе пришлось то, что послы не двинулись на осаду ее маленькой крепости, но ушли молиться. И архиепископа она встретила на пороге кельи приветливо, поклонилась:

— Милости прошу, владыко. И ты помолись со мной во благо.

— Вознаградит тебя Всевышний, старица, за доброе слово.

Марфа подошла к образу Богородицы и опустила на колени. И Феодорит не мешкая встал рядом. В душе у него родилось тепло, словно от Матери Божьей разливалось, он посветлел лицом. Казалось бы, ничего еще не случилось, но Феодорит уверовал, что нынешний день будет отмечен колокольным благовестом по всей Костроме, а там и далее, по всей России.

Помолившись, Марфа и Феодорит покинули келью. Марфа зашла к сыну, он уже ждал матушку. Она взяла его за руку и все трое вышли на двор... Его заполнили монахи, послушники, многие другие обитатели монастыря. Никто им не сказал о том, что ноне случится знаменательное событие, но они знали, что сему быть.

Марфа, Феодорит и князь Михаил, который шел между ними, молча проследовали в храм Святой Троицы. При их

появлении послы встали и распахнули дорогу к алтарю. Они поднялись на амвон, и Марфа сказала:

— Говорю вам, послы московские, я, Богом данная мать Михаила, благословляю своего сына на царство Российское на благо и утешение россиян... Да хранит его Всевышний во дни и ночи, в поле и в лесу, за трапезой и на ложе. Аминь!

А потому, как среди послов было немало священнослужителей, они вначале разногласно, а потом стройно запели величальный канон. Пока звучало пение, архиепископу Феодориту подали скипетр, который был привезен из Москвы, и он торжественно вручил сей знак державной власти юному царю.

Вскоре же в церковь собрались клирики, певчие. Пришел архимандрит монастыря и началось торжественное богослужение в честь благословения матерью своего сына на царство. События в монастыре в считанные минуты стали ведомы костромичам. И вскоре через реку Костромку потянулись в монастырь сотни горожан, и вот уже в храме яблоку негде было упасть и монастырский двор заполонила толпа. Началось богослужение во второй монастырской церкви. Шустрые звонари зачали благовест. И он поплыл через реку, и все церкви древней Костромы подхватили его, донесли до окрестных сел. Оттуда же звоны полетели дальше, на все четыре стороны державы. Да, сказывали, что доплыли до первопрестольной, потому как и там нынешним мартовским днем поминовения усопших стало ведомо, что юный Михаил принял избрание его царем как Божие повеление.

На другой день ранним утром, когда Михаил уже знал, что они с матушкой вот-вот покинут Кострому, он встал с постели, наскоро оделся, позвал с собой двух отроков-холопов, что стояли при нем, позвал их:

— Глебка, Степка, проводите меня до воеводских палат.

Монастырские ворота открывались после ночи поздно, а случалось, и весь день были закрыты. При них стояли монахи-привратники и никого без позволения архимандрита не выпускали. Но Глеб и Степка были смекалисты и повели Михаила на хозяйственный двор. Там тоже были ворота, а еще за конюшнями тайный лаз под стеной на берег Костромки. Им и воспользовались отчаянные головы. Да бегом через реку до самой набережной. Там уж и воеводин дом близко. Ранние горожане видели бегущих по льду реки, но оставили их без внимания. Ан зоркие приставы Бутурлина встретили бегущих на въезде в город.

— Кто такие, от кого бежите? — спросил старший пристав отроков.

— К воеводе мы, проводите нас, — смело ответил Михаил.

В сей миг младший пристав шепнул старшему:

— Се князь Романов, коего вчера в цари звали.

Побледнел старший пристав, в груди заекало, но справился с собой.

— Прости, князь-батюшка, застило зенки, — препровожу вас с чином. — И повел Михаила в палаты воеводы.

Там еще только слуги и дворня проснулись. Потому пристав привел Михаила на черное крыльцо, позвал дворецкого и наказал:

— Веди к воеводе царя-батюшку, — поправился пристав. — Да не мешкай.

Дворецкий поклонился Михаилу и молча повел его в палаты. А в пути Михаил потребовал:

— Мне нужна матушка Катерина. К ней и отведи.

Дворецкий знал, что перед ним молодой царь, и исполнил бы его волю беспрекословно, но воевода и его супруга спали в одной опочивальне. К счастью, Катерина уже проснулась и в сей миг шла в детский покой. Михаил увидел ее и подбежал к ней, опустился на колени, взял за руку и горячо прошептал:

— Матушка Катерина, видишь ли ты судьбу моего батюшки, жив ли он, не страдает ли? Открой мне его, глянуть хочу! — Искренне веря в то, что Катерина всесильна, просил Михаил.

Катерина и сама опустилась на колени, взяла лицо Михаила в свои руки и тихо заговорила:

— Родимый, не могу я показать тебе батюшку. Чревато сие допрежь для него. Ан успокою душу твою любящую: жив он и здоров, в трудах и в борении пребывает.

— Я вырву его из плена! — воскликнул Михаил. — Я заставлю ляхов отпустить его!

— Так и будет, родимый. Придет час и ты свидишься с ним, пойдешь рядом по жизни долгие годы. А большего сказать не могу. — И Катерина встала, подняла юного царя.

Он же снова ее попросил:

— Ты не покидай меня! В Москву со мною поезжай! Ты моя хранительница, как Матерь Божья. И мне с тобой покойно.

Эта жаркая просьба, и распахнутые глаза с мольбой, и вера в то, что под крылом ясновидицы он в безопасности, покорили Катерину.

— Я буду рядом с тобой, царь-батюшка. Токмо позови супруга моего в Москву. Вот и все. Да хранит тебя Господь, чистая душа.

— Спасибо, матушка-ясновидица. Все исполню, как говоришь.

Катерина повела Михаила из трапезной и увидела, что к ним спешит сам воевода Бутурлин.

— Господи, государь! А я и не поверил, как сказали! — воскликнул воевода. — Голубчик мой, поди, матушка там в расстройстве.

— Так, пожалуй, — согласился Михаил.

— Позволь же, государь, отвезти тебя в обитель. — И приказал дворецкому: — Эй, Аким, быстро коня в сани!

А в монастыре и впрямь случился переполох. Марфа встала следом за сыном, хотела позвать его к молитве и увидела его келью-опочивальню пустой, с причитаниями и криком пустилась искать сына и взбудоражила всю монастырскую братию. Да вскоре все утихомирились. Распахнулись монастырские ворота, и чалый конь рысью влетел на двор, из саней сей же миг выскочили возбужденный Михаил и перепуганные отроки-холопы. Увидев мать, идущую по двору, крикнул:

— Матушка, не гневайся! Винюсь перед тобой!

Марфа милостиво махнула рукой:

— Что уж там, повинную голову меч не сечет.

... Кострому юный царь Михаил и инокиня Марфа покинули 19 марта. Их сопровождали все послы и воевода Бутурлин с семьей. Уезжали под колокольный звон, под охраной двух сотен стрельцов, с большим обозом провианта. Путь пролегал на Ярославль, потому как у юного царя были причины не спешить в Москву. Однако сразу по прибытии в Ярославль царь отправил в Москву гонцов с повелением Боярской думе и Земскому собору о наведении в державе порядка и о земледельческих работах ввиду наступления весны, о многом другом, о чем должно заботиться государю великой державы.

Глава четырнадцатая

ПОЕДИНОК

Шли годы, но в жизни обитателей Мальборгского замка мало что изменилось. Он по-прежнему пустовал и медленно разрушался. Обветшала крыша, во многих местах сва-

лилась черепица, сгнили стропила, залы заливала вода, сыпал снег, потому как рамы и двери не устояли, разрушились очаги. Пан Гонта лишь кое-как поддерживал в жилом состоянии ту часть замка, куда наезжал богослов Петр Скарга. У пана Гонты появились два внука, но он лишился сыновей. Их забрали в войско королевича Владислава, который отправился в Россию, добывать «свой» престол. И какой год о Юлиане и Юзеке не было ни слуху ни духу.

Правда, в жизни митрополита Филарета и князя Василия кой-какие перемены произошли. Из узников они превратились в дворовых холопов. Потеряв сыновей, пан Гонта остался без работников. И однажды он упросил богослова Скаргу отдать ему узников для работы по хозяйству.

— Ты, панове святой отец, не беспокойся, они от меня не убегут, — заверил пан Гонта богослова.

— Но теперь при них и стражей не будет. Смотри, пан, ежели упустишь, не сдобровать: и Господь накажет, и тем паче король, — предупредил Петр Скарга.

— Уберегу, святой отец, — стоял на своем пан Гонта. И богослов уступил.

Еще король Сигизмунд проявил к ним милость и их перевели из подземного каземата в сторожевую башню, которая возвышалась близ ворот. Каменная башня оказалась тоже холодной и в ней не было очага. Филарету пришлось сложить некое подобие камина, вывести трубу в амбразуру. Еще он наслал на камень полы и сделал раму в оконный проем, выходящий во двор замка.

За дела по хозяйству пана Гонты Филарет взялся с удовольствием. Еще в Антониевом монастыре он научился всему тому, что выпадало делать крестьянским рукам. И его не тяготил сельский труд. Он рьяно брался пахать землю и молотить хлеб, копать гряды под овощи, выпалывать на них сорняки. Вставал Филарет на заре, совершал молитву и ждал пана Гонту, который закрывал на ночь узников под замок. Он не заставлял себя ждать. Иной раз являлся во время молитвы и пытался прервать ее. Но Филарет не позволил пану нарушать утреннее моление, даже если пан Гонта грозился оставить его голодным. Но и без угроз пан Гонта скупно кормил узников, особенно урезал порции князю Василию, потому как князь так и не приобщился к крестьянскому труду. И первое время вовсе отказывался выходить на работу, не находя в себе сил, которые подорвала долгая болезнь. Однако Филарет сумел-таки убедить князя, что в труде их спасение.

— Соберись с духом, брат, возьми в руки цеп или вилы, заступ или грабли, научу тебя, как управляться ими.

И спустя год они покидали башню вместе и пребывали в трудах до позднего вечера. Постепенно князь одолел немудреную науку сельских дел. Когда молотили хлеб, то у него появилась даже сноровка, он ударял по снопам с расчетом, дабы меньше тратить сил. Филарет же был рьян в работе, он испытывал от нее наслаждение. Забыв обо всем, что его окружало, вспоминал свою молодость, первые годы супружества, когда часто ездил в костромскую вотчину, в село Домнино, где многожды брался за цеп и молотил хлеб вместе с холопами.

Кроме обмолота хлеба, Филарета и Василия заставляли молоть зерно на ручных жерновах. Эта монотонная работа была еще более тяжелая, чем молотьба. И князь Василий изнамогал от нее. А чередка тяжелых дел не убывала. Узникам приходилось чистить лошадей, коров, убирать навоз в конюшне и хлеву. Чаше Филарет посылал князя к лошадям, сам же занимался с коровами и свиньями. Пан Гонты вменил им в обязанность колоть дрова, топить печи, носить воду, подметать и мыть полы. У них была прорва дел, и к ночи они оба падали от усталости.

Женщины в доме пана Гонты были милосерднее к узникам. И они, как могли, облегчали их тяжелую участь, тайно от Гонты подкармливали, пускали помыться в баню. Случалось это чаще в дни полевых работ, когда Филарет и Василий к вечеру были черными от пыли.

Но была у россиян, влачивших рабское существование за крепостными стенами замка, и другая сторона бытия. Каждый раз, когда Петр Скарга возвращался из долгой отлучки в замок, он вновь и вновь пытался обратить Филарета и Василия в католическую веру. В такие дни Скарга запрещал пану Гонте выводить узников на работу. Богослов приходил в башню, и начиналось долгое и нудное принуждение православных христиан забыть о своей вере, возлюбить веру западной церкви. Иногда Скарга шел на уступки и звал россиян всего лишь признать унию и стать ее сторонниками.

— Ты же помнишь, Филарет, и ты, князь Василий, что ваш российский архиерей Игнатий стал служителем унии, и никто, ни Бог, ни люди, не упрекнули его за сие, — доказывал богослов.

— Игнатий-грек отступник, русская церковь предала его анафеме. Разве этого осуждения мало? — возражал Филарет.

Петру Скарге приносили в каземат стул. Телохранители уходили из башни, а он садился и начинал проповедь. Встречая упорное сопротивление россиян, он с каждым днем становился злее, жестче вдалбливал каноны своей веры в головы непокорных, принуждал их повторять за собой католические молитвы. Случалось, что Петр Скарга пускался на уловки и благостно рассказывал узникам о том, как в давние исторические времена униатская церковь царствовала на многих землях, где ныне исповедуют православие. Он принуждал узников вставать на колени, сам расхаживал по башне и со страстью в голосе излагал то, что случилось во времена царствования императора Палеолога в конце тринадцатого века.

— Был год, когда латинская империя пала и никейский император Михаил Палеолог VIII захватил Константинополь. Православные христиане торжествовали, — начал свою проповедь богослов, — но их торжество было недолгим. Папа римский Урбан VI не примирился с захватом греками Константинополя. Призвав на помощь Господа Бога и все католические силы, против захватчиков и их вождя Михаила Палеолога выступила вся империя. Церковь обвинила его в хитрости и коварстве, потому как престол после смерти императора Феодора Ласкариса должен был занять его сын Иоанн. Но Палеолог оттеснил Иоанна от трона и изгнал из Nikeи...

Филарет в эти минуты не внимал богослову, понимая никчемность его проповеди. Он и без Скарги знал, что Палеолог был коварен и хитер. И когда приблизилось время расплаты, он пошел на переговоры с папой Урбаном VI. Палеолог явился в Рим с богатыми подарками и дал согласие о слиянии западной и восточной церквей. Знал Филарет и то, что папа не принял даров и не допустил его к себе, считая предателем веры. И лишь позже, когда на папский престол вступил Григорий X и понял, что ему Константинополь не вернуть для империи, пошел навстречу желанию Палеолога.

Как помнил Филарет, в 1274 году состоялся Лионский собор. И на этом Соборе решили объединить церкви при условии, ежели греческая церковь примет латинский закон об исхождении Святого Духа и от Сына. И к тому же признает главенство папы.

Но насильственное слияние церквей не удалось. Против Михаила Палеолога восстало все духовенство греческой веры. Раньше покорный императору патриарх Иосиф тоже восстал против унии. Палеолог продолжал притеснять ар-

хиереев, действовал хитростью и коварством, силой, угрозами, все для того, чтобы признать папу братом по вере. Но ничто не помогло сломить греческих священнослужителей. И греческая церковь сохранила свою свободу и самостоятельность. Вспомнив борение двух церквей, Филарет встал с коленей и твердо сказал:

— Твои богословские увещания напрасны, святой отец. Мне ведома история нашей веры и нашей церкви. Они не были под пятой римской церкви.

Петр Скарга попытался вновь поставить Филарета на колени и позвал стража. Но Филарет проявил непокорство и заявил богослову:

— Теперь послушай мое. В 1437 году в Фераре прошел еще один Собор, где снова говорили об унии. И папа Евгений IV пригласил на этот Собор восточных иерархов с патриархом Иосафом. И был на Соборе в Фераре русский митрополит Исидор. Одному Господу Богу ведомо, как прошел бы Собор для греческой церкви, но Всевышний был гневен на папу Евгения и лишил его разума. Тот неслыханно оскорбил православных архиереев, заставил патриарха Иосафа целовать его туфли. Случалось ли подобное ранее, когда бы так оскорбили главу великой церкви! — горячился Филарет. — И тогда восточные архиереи покинули Собор. И верно поступили. Теперь защищай свое!

— Встань на колени, нечистый! — загремел Петр Скарга. — И велел стражу: — На колени его!

Сильный воин ударил Филарета по ногам, и тот осел на колени. Воин надавил Филарета на плечи и так держал его. Он же посмотрел на князя Василия и усмехнулся, дескать, знай наших, и зачал свою молитву, сочиненную еще в Антониево-Сийском монастыре.

Богослов нервничал, ходил по башне, выкрикивал расхожие истины. Потом повел речь о ереси богомильской. Сие древнее учение богомилов так же было ведомо Филарету, но он прислушивался к словам Скарги, хотел знать, как понимал богомильскую ересь королевский богослов. Богомилы, по Скарге, утверждали в своем учении, что Господь Бог имел первородного сына Сатаниила, который занимал после Отца первое место и властвовал над всеми ангелами. Но честолюбец Сатаниил захотел полной власти и возмутился против Отца. За это Господь низверг Сатаниила и его ангелов с неба в преисподню. И тогда, утверждали богомилы, Сатаниил создал весь видимый Мир. Всевышний, страдая за земных детей своих и видя чинимое Сатаниилом зло, произвел второго сына, которого назвал

Словом или Иисусом. И послал его на землю для вразумления людей. Сатаниил же довел Иисуса до смерти. Когда же Иисус воскрес, то явился к Сатаниилу, заковал его в цепи, отнял божественное достоинство. И с той поры того прозвали Сатаной — носителем зла и тьмы.

Богомильская ересь несла много вздорного. Православная церковь не заразилась ею. Но суть не в том, считал Филарет. Богослов Скарга, не сумняшеса и не ведая угрызений совести, заявил, что римская церковь покончила с ересью богомилов. Сия ложь возмутила Филарета, он вошел в раж, поднялся на ноги, шагнул к Петру, схватил его за грудь и, потрясая тщедушного богослова, крикнул:

— Не богохульствуй! Не искажай истину! Токмо наша церковь боролась с богомильской ересью!

Петр Скарга испугался и пытался вырваться из крепких рук Филарета, но ему это не удавалось и он крикнул:

— Эй, страж, умири буяна!

Воин подскочил к Филарету, ударом кулака сбил его с ног и начал пинать тяжелыми сапогами. Филарет лишь успел закрыть лицо да после каждого удара стонал.

Князь Василий взмолился, прося богослова о милосердии:

— Останови варвара, святой отец! Останови! — И сам попытался защитить Филарета, но тоже был сбит с ног.

Иезуит медлил остановить избиение Филарета. Он испытывал удовольствие от того, что видел, как страдает его враг. Да, Филарет был не только пленником короля Сигизмунда, но и врагом его, королевского богослова, потому как сопротивлялся «благой воле». Наконец, Петр Скарга придержал остервеневшего воина:

— Сын мой, иди отдыхай. Ты наказал хулителя достойно.

Страж ушел из башни, богослов остановился над лежащим на полу Филаретом и тихо, но твердо сказал:

— Ты будешь казним ежедневно, пока не признаешь нисхождение Святого Духа от Отца и Сына. — С этими словами Скарга покинул башню.

Однако ни на другой, ни на третий день богослов не появился. Филарет в утешение себе подумал, что Скарга боится его, неистового россиянина. «Да и во благо», — счел Филарет. Несколько дней богослов вовсе не досаждал узникам, не исполнял своей угрозы. А случилось сие благодаря заступничеству пана Гонты, который не управлялся с работой по хозяйству. И Филарета с Василием снова вывели из башни. Пан Гонта велел им отремонтировать ко-

нюшню и хлев, почистить накопившийся в них навоз. Потом заставил набивать стершиеся жернова.

Однажды, ранней осенью, Филарет нашел себе работы сам. У пана Гонты пришла в ветхость баня, а на дворе замка нашелся штабель сосновых бревен. Укрытые осиновым корьем, бревна хорошо сохранились. Филарет несколько раз подходил к штабелю, примерялся так и эдак, пока не заметил сие пан Гонта и не спросил:

— Панове Федор, что ищешь?

— Дело ищу, пан Гонта. Лазня твоя трухлява. Срубить бы новую, — поделился своими размышлениями Филарет.

— А ты сможешь поставить новую лазню? — удивился пан Гонта.

— Справа не сложная, да и охота есть, — ответил Филарет.

Пан Гонта благословил его:

— Пусть апостол Матвей будет твоим помощником.

Филарет не мешкая взялся за работу. Он представил себе баню до последней мелочи и даже видел ольховый полок из плах, на котором хорошо полежать и попариться. Начал же с того, что отыскал в штабеле дубовое бревно-кряж, распилил его на четыре части и вкопал в землю. Поставы вышли на славу. Там и пошло дело. А как топор в руки взял да приладился обтесывать первое бревно, то вспомнил Антониево-Сийскую обитель и то, как рубил там на острове часовню. «Стоит, поди, матушка», — порадовался Филарет. И подошел час укладывать первый венец. Филарет позвал хозяина.

— Вельможный пан, не пожалей один злотый, дабы положить его в правый угол под первый венец. Святое начало благословим.

Гонта не поскупился, дал серебряный злотый. Филарет положил его в угол при хозяине, накрыл сухим дубовым листом, бревно на него положил и прочитал молитву в защиту от беса и огня. Гонта тоже помолился, потом молча ушел и вернулся вместе с князем Василием, который работал на крупорушке. В руках хозяин держал кувшин с домашним вином, а князь Василий — три кружки и блюдо, на котором лежали ломти хлеба и сала.

— Для полноты освящения святого дела у нас еще и чарку принимают, — разливая вино, пояснил пан Гонта.

— Само собой, — согласился Филарет.

И все выпили, сели на бревна, закусили. Пан Гонта расслабился, жаловался на жизнь, на богослова.

— Вчера вновь запретил брать вас на работу. Да вымолил позволение. Теперь пока баню не поставите... Дай Бог вам здоровья.

Филарет усмехнулся. «Оно и понятно, наше здоровье тебе важнее всего». Но он помнил и о том, что дни, проведенные в трудах праведных, прежде всего во благо им. Ни Филарет, ни князь Василий не надеялись на скорое освобождение из плена и потому с покорностью принимали ту жизнь, какая выпала на их долю. А в труде обретали покой и здоровье. Но у князя Василия и то и другое были лишь видимостью. Нес он в непомерном каторжном бытии еще одну непосильную тяжесть — тоску по отчизне. Страдал тем же и Филарет, да глубже прятал сию боль. У более слабых духом людей тоска отняла бы последнюю волю к сопротивлению, толкнула бы на предательство веры отцов, предков. И это было так легко сделать. Стоило только поклониться королевскому богослову и иезуиту Скарге и произнести: «Во имя Отца и Святого Духа от Сына», как перед ними распахнулись бы окованные толстым железом крепостные ворота замка и они были бы вольными людьми. О, как было просто избавиться себя от мук, холода и голода, от душевных пыток! «Святой Дух от Отца и Сына» — ключ к свободе. Но Филарет и князь Василий давно уже решили, что даже на костре от них не услышат признания иезуитского извращения символа православной веры. А тоска по милой России продолжала поедать узников.

Вот уже и баня задымила. Да не по-черному, а по-чистому — дым вился из трубы, как в бане на подворье князей Романовых. И помылись, попарились узники не раз, похлестали себя дубовыми вениками, вспоминая при этом дух березовых веников и русского кваса, который поддавали на раскаленные камни.

Зима вновь миновала, весна была на исходе и как-то ранним майским утром к ним пришло спасительное слово из Москвы. Филарет и Василий чистили стойла от навоза на конюшне и коровнике. И тут пришел пан Гонта, поманил к себе Филарета и, оглядываясь на открытую дверь, подал ему плотно свернутую грамотку. И затряслась у россиянина рука, в ноги слабость прихлынула. Но одолел оторопь, взял грамотку, благодарно поклонился пану Гонте и вернулся к князю Василию.

— Слава Всевышнему, брат мой, мы не забыты.

В грамотке, которая шла к ним больше двух лет, было всего несколько строк. В ней говорилось, что 21 февраля 1613 года сын Филарета Михаил избран Земским собором

и всем российским народом на царство. Он дал свое согласие вступить на трон и отбыл из Костромы в Москву. «Господи, — выдохнул про себя Филарет, — почему так скупо написано?! И что там теперь, спустя два года? Почему так долго шла грамотка?» И ни одного ответа на все вопросы. Одно было ведомо Филарету: грамотка проделала долгий путь из России, погуляла по Польше и Литве, прежде чем попала в руки доброго поляка. Но суть грамотки была для Филарета и князя Василия отрадна. Узники многожды ее перечитывали, раскрывая глубинный смысл, а потом надежно спрятали. Да и причин для этого было много, потому как в Польше какой год и слышать не хотели об избрании на московский престол русского царя. Здесь считали законным царем России Владислава, его именем слали в Москву грамоты, указы, в которых «царь» требовал от россиян изъявления подданнических чувств. Однако Филарет сделал вывод, который не подвергал сомнению: простой народ Польши устал от претензий короля Сигизмунда и его сына Владислава на русскую землю, на русский престол и хотел жить с россиянами в мире. И ни у кого из земледельцев не было охоты отдавать своих сыновей в королевское войско, дабы они сгнули в бескрайних просторах России. Примером тому был даже пан Гонта. Он часто изливал свое горе пленникам о том, что потерял сыновей, и отзывался о своем короле не совсем лестно:

— Пусть покарает меня Мать Мария, но король совсем не заботится о своем народе. И ничему его не научила кровавая резня, случившаяся в Москве в двенадцатом году. Сколько там погибло наших детей по королевской воле!

— Твои слова от Бога, пан Гонта. Но ты надейся: Юлиан и Юзек, поди, живы, может, в плену, как мы, — утешал Филарет поляка, — и придет час, вернутся.

Что ж, слова Филарета оказались пророческими, и спустя несколько лет он увидит Юзека и Юлиана на мосточке через речку Поляновку. Они шли в группе других польских пленных, которых россияне отдавали в обмен на Филарета и князя Василия. Но до того июльского дня утечет еще немало воды, и мать Юзека и Юлиана от горя сойдет раньше времени в могилу. А младшая невестка убежит с уланом из охраны Петра Скарги в Варшаву. И в замке останутся лишь старый пан Гонта с двумя внуками и старшая невестка.

А пока угнетающие дни мальборгского заточения тянулись бесконечно и разнообразие в них вносило только появление богослова Петра Скарги.

Но однажды перед самым его появлением в замке Филарету пришел сон. Он был загадочен и, как показалось Филарету, вещий. Будто бы шел он по степной дороге летним погожим днем, и вдруг его догнал сын Михаил. Да был он в царском облачении. В руках держал скипетр, сверкающий диамантами, на голове — царская корона. И сказал сын отцу: «Батюшка, идем вместе. Наш путь долог, до конца дней, потому вдвоем нам сподручнее». И Филарет ответил Михаилу: «За благо сочту, сынок, идти по жизни рядом с тобой, а то все в разлуках». И отец с сыном пошли вперед, и двигалось им на удивление легко. Иногда они поднимались на холмы, отталкивались от их вершин и летели над просторами России, видели, как под ними проплывали города, сверкающие золотыми куполами церквей, как расстилались благодатные нивы, луга с обильными стадами, селения. Полет был долгим, менялись времена года: за летом пришла осень, потом зима, весна и снова лето. И всюду они видели покой и величие российской жизни. Так проплыли под ними годы и пространства, и казалось, их полету не будет конца. Но вот они прилетели в Москву, в Кремль, сели рядом на два престола в Грановитой палате. И им пришли отдать почести бояре, князья, дворяне, служилые люди, архиереи, простые россияне. И не было шествию конца...

Сон прервался неожиданно: застонал от боли в груди князь Василий. Филарет дал ему напиток, снова лег на жесткое ложе, но уснуть уже не смог. Он лежал и думал о том, что ему приснилось, посчитал дни недели и открыл, что загадочное сновидение пришло ему в ночь на чистый четверг. «Господи Боже и ты, Пресвятая Богородица, уж не вещий ли сон мне навевали?» — спросил он в душе. И утвердился в мысли: вещий.

На сей раз Петр Скарга появился в замке накануне католического праздника Рождества Христова. В тот же день к вечеру он навестил узников. С ним были три духовных лица — три патера, и один из них, с большим, картофельного вида носом, но безбородый, показался Филарету похожим по облику на русского. И что-то всколыхнулось в памяти, Филарет подумал, что видел этого человека. Да вскоре память подсказала, что служил он священником в Волоколамске и был в числе тех тысячи двухсот сорока шести послов, коих Филарет привел под Смоленск. Но как Филарет ни старался, имени его не мог вспомнить.

Петр Скарга представил узников своим спутникам, как будто те были вольные господа, и сказал им:

— Зову вас на ужин. — С тем и ушел.

А вскоре в башне появились два стража, без церемоний подняли с ложа князя Василия и, подталкивая в бока, погнали вместе с Филаретом в знакомые им покои богослова. На дворе был крепкий мороз, и пока узники, одетые в дырявые армяки, дошли до покоев богослова, холод пробрал их до костей.

В зале, где располагался богослов, ярко пылал камин. Петр и его спутники сидели вое огня, а слуга накрывал стол. При появлении узников волоколамский священник встал и подошел к Филарету. Он слегка поклонился и тихо сказал:

— Брат мой во Христе, владыко Филарет, я рад видеть тебя во здравии.

— Назвал бы и я тебя братом, да не ведаю, кто ты ноне, какой вере предан. Зачем к ляхам переметнулся? — гневно спросил Филарет. — Сколько сребреников получил?

— Я увидел свет новой веры, она ближе мне, потому и здесь.

— Иуда, — прошептал Филарет и сделал движение, дабы схватить отступника за грудь. Но разум поборол горячность. «Ладно, еще будет час наказать тебя за предательство веры», — подумал Филарет и отвернулся от бывшего священника Феофана.

Тут к Филарету и Василию подошел Петр Скарга и пригласил их к столу. Он слышал короткую стычку между Филаретом и Феофаном, но не придавал значения, сказал миролюбиво:

— Прошу вас, братья во Христе, разделим трапезу.

Митрополит посмотрел на князя Василия и тот едва заметно покачал головой. Филарет понял сей знак, спросил богослова:

— Зачем привел? Говори да отпусти на молитву!

— Полно гневаться, владыко. Я позвал тебя изложить волю царя Владислава, — начал Петр Скарга.

Но Филарет перебил его:

— Нет на Руси царя именем Владислав и никогда не будет. Там на престоле русский царь.

— Он всего лишь новый самозванец. И его ждет та же участь, какая постигла всех русских лжецарей, — спокойно продолжал богослов. — Тебе же велено собираться в поход. Пойдешь вместе с царем Владиславом, ежели страдаешь душой за сына, отвернешь от самозванного гнев народный. И потому садись к столу для мирной беседы.

— Мой сын по родству наследник российского престола и возведен на него волею народа. Потому не прельщай и

не угрожай. Не пойду я с Владиславом в поход. Вижу судьбу свою до предела, и в ней нет места сему походу, нет знака иудиным проискам. Вот пусть идет он, с печатью анафемы на груди. — И Филарет ткнул рукой в сторону Феофана. — Сам же приходи в каземат, ежели есть что сказать доброе. — В этот миг в горящих глазах Филарета проявилась неведомая всем, кто на него смотрел, сила, она лишила их воли, какого-либо противодействия, и Филарет, сознавая это, взял князя Василия за руку и повел его к двери. И никто не посмел остановить россиянина, лишь стражи покорно последовали за ним.

В зале долго стояла тишина, будто все были поражены немотой. Петр Скарга, наконец, одолел душевную оторопь и подошел у окну. Он увидел идущего по двору Филарета и подумал, что тщетно бьется в попытках расколоть эту каменную глыбу; у него не хватит жизни добиться победы над россиянином. Минуту назад он почувствовал истинную силу Филарета. Мощь такой силы он уже ощущал на себе однажды, когда сошелся в богословском споре с митрополитом Гермогеном. Тогда он тоже пытался убедить русского архиерея в том, что православная вера ущербнее католической. И как он был жалок, когда Гермоген меткими ударами разбил богослова и показал ему истинную ущербность его, католической, веры. Тогда Гермоген бросал в лицо Скарги гневные, справедливые и горькие слова: «В бытии вашей римской церкви вижу одни мрачные стороны. Иерархи вашей церкви заражены страшными пороками. Властолюбие, деспотизм, корыстолюбие, грабительство, растление нравов, грубое буйство и насилие — все это обыденные явления в жизни ваших священнослужителей, не ведаю, то ли слуг Всевышнего, то ли — сатаны».

Увы, увы, признался Петр Скарга, Гермоген был прав. И сам богослов мог бы добавить к этому еще многое, что несовместимо с истинным божественным началом. В отличие от русской православной церкви, римская церковь несравненно более жестокая, признавался богослов, в отношении к своим верующим и уж тем более — к инаковерующим. Ведь тогда Гермоген мог отправить его на казнь за поругание православной веры, но он, милосердный, не сделал этого. Он дал ему чистые одежды, его отвели в баню, дали вымыться, накормили, напоили и с честью отправили на родину. Чем же он, польский богослов, платит россиянам за доброту? Только злом, только тем, что какой год пытается сломить дух достойных сыновей своей отчизны, своей веры. Нет и нет! Он не делает

больше никакого, даже самого малого злоумышленного поступка в угоду амбициям короля Сигизмунда и королевича Владислава. Пусть лучше его подвергнут опале, чему угодно, но он не желает участвовать в грязной игре иезуитов, стоящих за спиной короля и королевича.

Петр Скарга подошел к столу, налил себе вина и выпил. В зале все еще царило тягостное молчание. Патеры не смотрели друг другу в глаза. Торопливо перекусив, они разошлись по своим покоям. Утром на другой день Петр Скарга и его спутники покинули Мальборгский замок. Увы, ненадолго: иезуитский корень сидел в богослове слишком глубоко, и он лишь изменил форму достижения своей цели.

Глава пятнадцатая

ВОСШЕСТВИЕ НА ТРОН

Москва ждала юного государя долго. Казалось бы, что там, от Костромы до стольного града птица за день долетит, хорошие кони за три дня путь одолеют. Ан нет, шли дни, недели, а царь все еще был в пути... Да было много у него причин, медлить с приездом в Москву. Она все еще пребывала в великом разорении, и о покое в ней можно было лишь мечтать. А после избрания царя в стольном граде закипели страсти между теми, кто позвал на престол Михаила, и теми, кто целовал крест Владиславу польскому. Тут и весенняя распутица сделала свое дело: разлились реки, ручьи, по дорогам — не пройти, не проехать. Наконец-то до Москвы дошли вести о том, что царь выехал из Костромы, что он уже в Ярославле. Но никто не знал, когда он покинет сей город. А на торжищах бродили слухи, будто Михаил надумал основать в Ярославле новую столицу. Эти слухи одних пугали, других же радовали. «Изжила себя Москва, выболела, выгорела, помолиться негде», — говорили те, кого потянуло в Ярославль, который был выше Москвы преданием старины.

Бояре, окольниковы, князья и другие вельможи в это время не дремали. Гонцы и посланники летели на перекладных из Москвы на все четыре стороны. Одни мчали к королю Сигизмунду просить о том, чтобы он прекратил военные действия против России и отдал всех пленных россиян в обмен на пленных поляков. Хотелось вельможам, близким к дому Романовых, вырвать из рук Сигизмунда митрополита Филарета, сделать подарок царю. Ан дьяк По-

сольского приказа Денис Аладьев вернулся из Польши лишь спустя год, как ушел туда, и не солоно хлебавши. Другие спешили в Ярославль с заверениями, что «московского государства всяких чинов люди ему, государю, учнут служить и прямить во всем, что ни наказалися все и пришли в соединение во всех городах и готовы на крайние усилия и жертвы за государство и христианскую веру». Сотоварищи обойденного россиянами князя Федора Мстиславского слали гонцов с криками о другом, о том, что недруги наслали на князя злых духов, и те мучают его болезнями, домогаются одного: отказаться от всяких претензий на престол, и потому, вопреки дьявольским силам, Мстиславского следует венчать на царство. Были и такие, кто, не сумняшеся, мчал из стольного града невесть куда и кричал об ответственности пред Господом Богом за будущую судьбу России старицы Марфы и ее сына, ежели их медлительность в действиях вновь ввергнет державу в гибельную смуту. В Ярославль послы и гонцы уходили каждый день. Инокиня Марфа и царь Михаил принимали московских людей, от кого бы они ни шли, и внимательно выслушивали. И все они получали ответы на запросы москвитян. Но царь и его матушка выдвигали и свои непростые требования, которые озадачивали послов. И почувствовали московские вельможи, что государственные заботы оказались в твердых руках властной и строгой, а то и жестокой в своих требованиях старицы-государыни. И первому послу, князю Ивану Сицкому, она заявила:

— Люди московские душами измельчились, исправно государям не служили. Вижу ноне Москву и державу в оскудении. Исправляйте, все не коснея, вами допущенное. И тогда государь взойдет на престол.

Князь Сицкий не нашел на то возражения, все покорно принял к сведению. Он даже не вымолвил слова государю, видел, что юный царь во всем согласен с матушкой. И потому князь не задержался в Ярославле, уехал побуждать Земский собор к действию. А в Земском соборе, что и в Боярской думе, заседали все те же столпы, кои служили уже четверем государям, два из коих были Лжедмитриями. И многие из них служили неисправно, но больше желая худа державе и царю. Они были озабочены своими печальями. Собираясь каждый день в Грановитой палате, судили-рядили, лили воду на мельничные колеса, но в жернова сыпали не зерно, а песок. В конце апреля, на праздник жен-мироносиц, князь Иван Куракин заявил думным боярам:

— Мы как избирали царя, сказали многое. Теперь, как явится в Кремль, откроем ему до возложения венца все наши сомнения.

— Много ли их у тебя? — спросил князь Иван Воротынский, сильно постаревший за последнее время.

— У меня — мало, а у всех вместе — много. Да первое наше желание таково, чтобы царь дал письмом клятвенное заверение блюсти и сохранять православную веру. И народ пусть новый царь чтит, не издает по своей воле законов и не изменяет старых.

Слушали князя Куракина со вниманием и сродники Романовых, князя Салтыковы, Черкасские, Лыковы, Шереметевы. Они пока соглашались с Куракиным, но и свою волю выразили, дабы не обвинили их в родстве-кумовстве.

— Мыслью я, — начал князь Федор Шереметев, — что государь не должен без ведома Думы и Собора договоров о мире заключать, не объявлять войн...

— И все важные судные дела вершить по закону, — поспешил добавить князь Андрей Черкасский.

— Да пусть отдаст свои родовые земли сродникам или припишет к коронным вотчинам, — заявил князь Иван Воротынский.

И еще немало в тот день жен-мироносиц было высказано условий новому царю. Да показалось всем, что их нужно вложить в Утвердительную грамоту. И получалось по этой грамоте, что царю вовсе не оставалось никакой власти, а только, как Петрушке в балагане, качать головой для согласия да размахивать руками, когда что не по нутру.

«Ой, хитрованы, — возмущался в душе дядя царя князь Иван Романов. — Да как бы сами себя не перехитрили». И князь усмехнулся в бороду, зная крутой нрав будущей «великой старицы», инокини Марфы, а для него, Ивана, по-прежнему Ксении-костромички. Рассматривая лица думных бояр и дьяков, князь Иван думал о том, что все они стакались в правящий круг и будут помыкать и царем, и Земским собором как вздумается.

Царь Михаил наконец-то покинул Ярославль. Но опять двигался столь медленно, что за это время можно было пешком трижды обернуться от Ярославля к стольному граду. В пути он побывал в Дмитрове, в Александровской слободе, где почтил память Ивана Великого, помолился в Троице-Сергиевой лавре чудотворным иконам. И лишь от-

туда прислал в Москву весть о том, что на 2 мая назначает свой торжественный въезд в первопрестольную.

Близкие отговаривали царя Михаила въезжать в сей день в Москву, потому как он приходился на праздник в честь первых русских святых, мучеников-страстотерпцев, благоверных князей Глеба и Бориса, убитых коварными вельможами. Но Михаил проявил твердость. Да и не без молчаливого на то одобрения ясновидицы Катерины. Она лишь взглядом и улыбкой благословила царя на сей шаг.

Москвитяне к этому дню навели в городе порядок, на всех улицах, площадях, в домах, в палатах убрали грязь, мусор. На колокольнях и звонницах всех московских церквей и монастырей готовились к благовесту, торговые люди заготовили впрок пироги, пиво, брагу, дабы выставить все на улицы в день приезда царя. На площадях по вечерам гуляющий народ, коего в Москве всегда пребывало много, пел и плясал себе в утешение. Из ближних и дальних городов и селений съезжались в Москву люди всех чинов и сословий, сходились нищие, калеки, юродивые, коих породила «смута». В конце апреля особое оживление царило на московских стройках. А Москва в сей год была вся в строительных лесах, восстанавливала все, что порушили-сожгли поляки за время своего жестокого господства.

День 2 мая наступил благодатный, солнечный, на небе — ни облачка. В садах доцветали яблони, вишни, в палисадах распускалась сирень, черемухи осыпали землю теплым снегом. Горожане толпами, в праздничных одеждах двинулись на Дмитровский тракт. Священнослужители шли навстречу царю с хоругвями и чудотворными иконами. И уже благовестили, не смолкая, все московские колокола. И никто из старожилов не помнил на своем веку такого мироволия, излияния чувств к новому природному царю. Народ надеялся-уповал на то, что с его восшествием на престол по всей державе прекратятся раздоры, смуты, разбои, наступит великое замирение. И спадала с людских плеч в этот день усталость-маята, гнетущая россиян без малого двенадцать лет, с того самого первого года нового века, когда на Россию пришел моровой голод.

В нынешний день, с появлением в Москве молодого царя, к москвитянам пришли надежда и уверенность на обновление жизни, и они стали опорой в их помыслах и деяниях на долгие годы. Да знали по России многие от ведунов и ясновидиц о том, что царь Михаил будет царствовать тридцать два года и тридцать три дня. И верили,

потому как помнили, что предсказания блаженных ведунов и вещуний о судьбах царей всегда сбывались.

Тысячные толпы россиян встречали царя бурными возгласами, ликованием под неумолчный благовест колоколов. А через гул толпы, через звон колоколов пробивались три слова: «Слава царю Михаилу!»

Он ехал в открытой расписной карете, был одет в парчовый кафтан, украшенный лалами, диамантами. Улыбка не сходила со светлого лица. Иногда он вставал и кланялся налево и направо, и москвитяне отвечали на это новым громогласием. Вначале Михаил чувствовал себя скованно, потому как ему было в диковинку видеть такое внимание к своей особе. «За что, за какие заслуги сии почести? — спрашивал он себя. — Ведь я же еще ничего не сделал для вас». Но вскоре смущение и скованность прошли, ибо в нескончаемых возгласах москвитян он слышал слова, которые утверждали обратное: даже своим согласием встать на царство он дал россиянам многие блага, да прежде всего освободил-избавил от необходимости поклоняться чужеземному царю Владиславу.

Царь Михаил, наконец, въехал в Кремль. За ним туда же потянулись десятки карет, колымаг, возков всех тех, кто сопровождал царя из Костромы. Москвитяне повалили следом, но ради царского спокойствия их на сей раз не пустили за кремлевские ворота. «Побойтесь Бога, — кричали стражи, — царь уморился с дороги, ему покой нужен!» Они же с пониманием отнеслись к запрету и гомонили-веселились на Красной площади до полуночи, благо угодение было.

Теперь россиянам оставалось ждать венчания царя. А когда ему быть, никто не ведал. Досужие люди сказали так: «Царю осмотреться надо, порядок навести в округе. А там и к венцу пойдет».

Так оно и было. Царь Михаил и его матушка обустроивались в Кремле с большим трудом. Марфа не дала согласия боярам, которые хотели поселить царя в палатах Бориса Годунова. Отказалась и от малого дворца Василия Шуйского. И тогда для царя привели в мало-мальский порядок пришедший в запущение терем царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного, пратетушки царя Михаила. Матушка Марфа нашла себе временный приют в кремлевском Вознесенском женском монастыре.

Два месяца и десять дней, которые миновали мигом с торжественного въезда царя в Москву, ушли на то, чтобы восстановить устав царской жизни, порушенный за годы смуты. Труд сей оказался нелегким и его бы не осилить юному царю, если бы не твердая рука его матушки-госуда-

рыни, как стали величать ее царедворцы. Но старицы Марфы хватило лишь на то, чтобы навести видимость лоска в Кремле. Однако все попытки ее вершить за сына государственные дела не увенчались успехом. И тогда она пошла по иной дорожке, стала искать среди своих многочисленных сродников чинов, способных к державным делам. Потом, как покажет жизнь, она и в этом не преуспела, но обмишулилась и нанесла державе большой урон. Не сказать, чтобы все, но многие романовские сродники меньше всего занимались государственными делами, а больше склоками, происками и пронырством, дабы погреть руки державным добром, ухватить себе кусок пожирнее, прирезать к своим вотчинам новые земли из государственных угодий.

В эти же дни, еще до венчания Михаила, вернулись из Польши посланники, которые ездили туда с грамотой о заключении перемирия и об обмене пленными. Польский король Сигизмунд не принял ни посланников, ни грамот и заявил, что пока Михаил Романов не покинет Москвы и не откажется от мнимого царского титула, никаким переговорами не быть. А всех пленных россиян, заявил он, ждут суровые испытания. Князь Федор Шереметев, который отправлял посланцев, сам и встретил их, а все, что узнал от них, не понес до царя, не хотел опечалить юную душу царя черной вестью о судьбе отца.

Благодатное лето 1613 года поднималось в зенит. И 11 июля, в празднования равноапостольной великой княгини Киевской Руси Ольги, распахнулись врата кремлевского Успенского собора, чтобы при стечении всей Москвы и гостей из многих российских городов совершить обряд венчания первого русского царя династии Романовых, стоявшей во главе России более трехсот лет и прерванной смутой 1917 года.

После изгнания из Москвы поляков клирикам и мастеровым прихожанам немало пришлось потрудиться, дабы привести собор в боголепный вид. Поляки жестоко надругались над собором, как и над другими кремлевскими храмами. Они содрали с икон все драгоценные оклады, разворовали церковную утварь, многие иконы сожгли, почти полностью разрушили иконостас, взломали и загадили полы. Прилежание россиян, их любовь к своим храмам, к святыням Кремля сделали свое дело. В Успенском соборе ко дню венчания государя все сверкало первозданной красотой. Посреди храма было устроено возвышение от алтаря в двенадцать ступеней, обитых алым сукном. По обеим сторонам царского места — чертога — поставили скамьи,

покрытые персидскими коврами, разукрашенные атласом, бархатом и предназначенные для высшего духовенства. На чертоге был возведен престол для царя, а возле поставлен стул для митрополита.

Коронаванию царя предшествовало внесение в Успенский собор регалий: царской диадемы-брахмы, царского венда, скипетра, державы и цепи аравийского золота. За этими регалиями архиереи внесли в собор, как величайшую святыню, крест с частью животворящего древа. Митрополит Ефрем и сонм архиереев и священников приняли регалии, и были посланы к царю боярин Морозов и протопоп Кирилл с вестью о том, что все готово к венчанию.

И вскоре на Соборной площади появилось торжественное шествие. Перед царем шел протопоп Кирилл и окроплял царский путь святой водой. По правую и левую сторону от царя шли окольные, стрельческие головы, разные чиновники. Замыкали шествие бояре, княжата, стольники, стряпчие, думные люди, дворяне, дети боярские и всяких чинов люди из разных городов державы.

В соборе царь приложился к мощам и святым иконам и подошел к чертогу. Митрополит Ефрем осенил царя крестом и окропил святой водой. И начался молебен Живоначальной Троице и Владычице Богородице. Царь Михаил слушал молебствие, стоя на царском месте, а по окончании его митрополит Ефрем ввел царя на чертог и усадил на престол. Посидели должное время молча, встали и царь с митрополитом обменялись речами. Смущаясь и порою не находя слов, юный царь поведал, как состоялось его избрание, «всем народным множеством людей всего великого русского государства».

Речь митрополита была более пространной. Он описал смутные годы, межцарствие, освобождение Москвы от поляков, само избрание Михаила на царство по праву сродства с царем Федором Иоанновичем.

После речи митрополита, ему подали на золотом блюде крест с частью животворящего древа. Трижды поклонившись кресту и облобызав его, Ефрем возложил святыню на голову царя Михаила и после зачтения малой ектинии вновь возложил руки на голову царя и произнес молитву ко Господу, прося благословения Царя царствующих на Михаила, а затем возложил на плечи царя бармы. Той минутой под чтение молитвы митрополит взял с золотого блюда царский венец и со словами «во имя Отца и Сына и Святого Духа» возложил венец на голову Михаила. И поклонился царю. После этого царю подали в правую руку

скипетр, а в левую державу, и митрополит вновь сказал малую речь: «О, благовенчанный царь и великий князь Михаил Федорович, всея Руси самодержец! Прими сей, от Бога данный тебе, скипетр, править хоругви великого царства российского, и блюди, и храни его, елико твоя сила».

И были еще многие речи, и поздравления, и пожелания. И началась божественная литургия. А после нее постельничий Константин Михалков разостлал перед царскими вратами ковер, покрыл его золотистым красным бархатом. По этому пути царь во всех своих регалиях спустился с чертога на амвон. Здесь, встав у самых царских врат, царь снял с себя венец и передал его дяде, князю Ивану Романову, скипетр вручил князю Дмитрию Грубецкому, а державу — князю Дмитрию Пожарскому. И митрополит Ефрем совершил миропомазание царя, произнося: «Печать даря Святого Духа. Аминь».

По причащении святых Тайн, государь вновь принял знаки царского сана, поднялся на чертог и пригласил всех присутствующих к царской трапезе в Грановитую палату.

Обряд завершился, и царь направился в Архангельский собор, дабы поклониться гробницам прежних великих князей и царей. Когда же Михаил выходил из южных врат Успенского собора, боярин Федор Мстиславский трижды осыпал его серебреными и золотыми монетами.

В тот же день царь Михаил внес в ритуал торжеств по поводу своего венчания важную поправку. Во время пира, на котором собралась вся высшая знать державы, по желанию царя, всем присутствующим было повелено быть «без мест» и запрещено в спорах ссылаться на должности и места, которые каждый занимал в эти дни. Многим вельможам это пришлось не по душе. Однако царское повеление было записано в правила Посольского приказа.

Пир в Кремле продолжался три дня. Двенадцатого июля было днем именин царя. В этот день ангела, Козьму Минина пожаловали в думные дворяне. А на третий день, на торжественном обеде в Грановитой палате вельможи появились с женами, и впервые на Руси каждая из них сидела не рядом с мужем, а напротив, как равная.

И по Москве веселье продолжалось три дня, и было выпито море пива, браги, вина и другого зелья, покрепче. Все во славу молодого царя. И песни пели москвитяне в честь государя — былинные, о великом князе Владимире Красное Солнышко, о богатыре Добрыне Никитиче, в коих возносилось мужество и храбрость героев.

Царь Михаил слушал эти песни, печалуясь. Какой уж он герой, какой богатырь и храбрец, муху не обидит. Да перст Божий указал на него, и он отныне государь великой державы, имя которой ведомо во всем мире. Вот и о нем скоро послы разнесут весть по всей Европе и в Азию дадут знать. А что проку? Чем он может удивить иноземных государей? Разве что слабостью своей. Так сие только на смех. «Ох, горькая жизнь наступила», — вздыхал юный государь и звал к себе матушку из Воскресенского монастыря, дабы утешила.

Такие скорбные размышления посетили царя Михаила тотчас, как завершилось торжество в честь его восшествия на престол. Оно и немудрено: держава на полсвета, и вся в разорении великом. Подними-ка ее на ноги, дабы народ во благе жил. Дальше — больше, на поверку оказалось, что и посоветоваться царю было не с кем. Потому как среди сродников — князей Лыковых, Салтыковых, Сицких и Черкасских — не видел он сколько-нибудь умной державной головы. Не было среди них Бориса Годунова, при котором царь Федор чувствовал себя как у Христа за пазухой. Опять одна надежда — на матушку. И когда она появлялась в палатах царицы Анастасии, заходила в трапезную или в опочивальню, Михаил чуть ли не с криком спрашивал ее:

— Матушка, что мне делать? Какие шаги нужны, дабы держава услышала меня?!

Государыня Марфа за прошедшее время московской жизни в келье не засиживалась, молитвам с утра до вечера не предавалась, но по-своему готовилась достойно занять место правительницы. Начала она с того, что побудила царские приказы к действию, поставила над ними хоть и не семи пядей во лбу, но исполнительных дьяков, вельмож, воевод. Царь Михаил только успевал указы и повеления подписывать. В те же дни Марфа пробудила от спячки Боярскую думу. Как раз князь Федор Мстиславский из вотчины вернулся, куда уезжал после венчания Михаила. Старица Марфа и его взяла в оборот.

— Ты, князь Федор, исправней заседай в Думе, побуждай бояр и дьяков державу обновлять.

Князь Мстиславский не хотел радеть за царя Михаила, но властной старице дал обещание:

— Будет работать Дума, как должно ей.

Все творя по своему разумению, правительница Марфа только сына не побуждала к твердым действиям. Однако же и от него Марфе кое-что требовалось. И по ее настоянию Михаил сделал первый державный шаг, написал свое повеление россиянам. «Учинились мы царем по вашему

прошению, а не своим хотеньем выбрали нас государем, всем государством, крест нам целовали вы своею волею, обещались служить и прямить нам и быть в соединении, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают; так вы эти докуки от нас отводите и все приводите в порядок».

Мягок был нравом государь. Ан как выходило на поверку, добротою делал многое. Еще в Ярославле князь Федор Шереметев осветил Михаилу положение по южным областям России.

— Там, государь-батюшка, смуте еще нет конца. Разбойничает атаман Заруцкий с казаками. А при нем Марина Мнишек с сыном промышляют, коему Марина трон московский прочит. Сейчас они в Епифани сидят. Так тебе следует послать туда рать малую.

Тогда Михаил проявил мудрость. Он понимал, что пока есть кто-то из претендентов на престол, мира и покою в державе не будет.

— Внял твоему совету, князь-батюшка. Посему мчи в Москву и побуди послать стрелецкие полки под Епифань. Воеводу достойного подбери моим именем. Пусть в комут возьмет Заруцкого с Мариной.

Князь Шереметев скоро исполнил волю царя. В конце марта по чуть подсохшим по югу дорогам на повозках ушла малая рать стрельцов — всего-то тысяча пятьсот человек. Но повел ее бывалый и хитрый воевода, князь Иван Одоевский. Двигались стрельцы быстро. Да атаман прослышал о них и ушел из Епифани под Воронеж. Однако князь Одоевский сел-таки атаману на «хвост», догнал его под Воронежем, налетел сходу на атаманскую ватагу, разбил, разметал по степи. Судьба еще проявила милость к атаману Заруцкому, и он с небольшим отрядом казаков сумел убежать к Астрахани. Князь Одоевский не помчал вдогон. Шел медленно, осмотрительно, посылая вперед гонцов с грамотами, предупреждая воевод по областям, дабы слали ратников. Грамоты Одоевского неведомыми обходными путями летели впереди Заруцкого. И терский воевода Петр Головин не пустил в город атамана, но отправил по следу казаков отряд стрельцов в семьсот ружей под началом тысяцкого Василия Хохлова. Вскоре стрельцы Хохлова соединились со стрельцами Одоевского и вместе они добились отряд Заруцкого. А год спустя, в июне атаман Заруцкий и Марина Мнишек с сыном, с ними их неизменный спутник, иезуит Николай де-Мелло, были доставлены князем Одоевским в Москву. Атамана Заруцкого посадили на кол.

Лишили живота и Марину с маленьким Иваном. Таким печальным, а вернее, трагическим, но заслуженным, по мнению россиян, путем завершилась самозванщина.

Теперь предстояло должно завершить борьбу с поляками, которые еще разоряли западные области России. Увы, эта борьба затянулась еще на несколько лет. Сам царь Михаил мало занимался военными делами, потому как не тяготел к ним. У царя нашлось более благородное занятие, которое также требовало державного внимания.

Как-то к нему в палаты пришел князь Юрий Черкасский, племянник князя Бориса Черкасского, с которым Михаил, будучи ребенком, отбывал ссылку. Князь Юрий был увлечен градостроительством. И к царю он пришел с просьбой.

— Царь-батюшка, маята душевная сна лишила. Многажды обошел я кремлевские палаты и дворцы, и сердце зашло от горести. Все пребывает в плачевном запущении и разрухе... Надо спасти Кремль.

— Видел и я сие запущение, князь Юрий. А с чего начать обновление, не ведаю.

— С малого и начнем, царь-батюшка. Выберем час, обойдем Кремль и посмотрим, где, что и кому в первую очередь руки прикладывать.

— Не будем мешкать, князь Юрий, идем же, — загорелся нетерпением царь. — Благо, еще светло.

— Сподручнее завтра, государь, после заутрени. А ноне я зодчих оповещу, первых мастеров кликну. Вот и сделаем почин с Божьей помощью. Там приказы побудим рабочих людей собрать.

Новое дело увлекло царя Михаила. На другой день он с нетерпением дождался конца богослужения и тотчас отправился с князем Черкасским, с зодчими и мастерами осматривать дворцы и храмы Кремля, побывал в монастырях, на Хлебном дворе, в казначействе, в палатах князей Мстиславских. Ходили до полудня и пришли к печальному выводу: поляки нанесли кремлевскому гнезду России огромный урон. Все здания, все храмы, монастыри нужно было ремонтировать, восстанавливать штукатурку, фрески, украшения, полы, окна, двери, все красить заново, укладывать мостовые, потому как камень с них поляки подняли на кремлевские стены для обороны, — всего и не перечсть. Но царь повелел сделать полное описание работ, посчитать расходы, также необходимое количество строительных материалов.

А завершая обход Кремля, царь Михаил надумал зайти в патриаршие палаты. В них жил митрополит Крутицкий

Ефрем, а недавно к нему въехала Катерина с семьей. Ефрема она знала еще по Казани, когда пряталась у Гермогена от гнева и немилости Бориса Годунова. Ефрем сам позвал Катерину быть у него домоправительницей. Она согласилась, потому как, вернувшись из Костромы, она нашла на месте своего дома на Пречистенке только пепелище. Сгорели и родовые палаты Бутурлиных на Тверской. И пока воевода Михаил закладывал стройку нового подворья, надо было где-то жить. Так и оказалась вся семья Бутурлиных в патриарших палатах.

Царя Михаила встретили Ефрем и Катерина. Михаил чувствовал себя смущенно, не знал, о чем говорить, но митрополит благословил царя и повел его по покоям, кои тоже были в большом запущении и опустошении, и в них шел ремонт. Все выскабливалось, очищалось после осквернения палат поляками, которые устроили в них таверну.

Катерина всюду ходила следом за царем и митрополитом. И чем ближе они подходили к покоям, где пребывала ее семья, тем тревожнее у нее было на сердце. И она понимала эту тревогу. Испугалась ясновидица за юного царя, потому как стоило ему увидеть ее дочь, Ксюшу, как та опалит его сердце единственным взглядом. Катерина уже хотела остановить царя, крикнуть, чтобы не входил в девичий покой. Но в сей миг дверь покоя распахнулась и на пороге появилась Ксюша. Она созревала рано, и к четырнадцати годам в ней уже прорезалась, хотя еще и не вся, но такая притягательная стать и краса, что могла смутить и заставить заволноваться любое мужское сердце. Так и случилось. Юному царю показалось, что он увидел ангела. Освещенная лучами солнца, падающего из высокого окна, тонкая, в легком сарафане, облегающем всю стройную фигуру отроковицы, белолицая, с копною огненно-рыжих волос, с оживленно сверкающими зелеными глазами, с улыбкой на милом лице, казалось, готовая взлететь, она застыла на пороге и смотрела на царя Михаила не спуская глаз.

И он, семнадцатилетний юноша, смотрел на нее неотрывно, боясь шевельнуться, дабы не спугнуть волшебное видение.

В сей миг к Ксюше подошла Катерина и строго сказала:

— Иди к братику, а мы тут по делу! — И хотела закрыть дверь.

— Подождите, тетушка Катерина! — крикнул Михаил. — Я догадался, что сие ваша дочь. Как ее зовут, почему я не видел ее в Костроме?

— Государь-батюшка, это моя дочь Ксюша. Но тебе незачем ее знать и видеть. — И Катерина легко оттеснила Ксюшу за дверь и закрыла ее.

— Но почему бы, тетушка Катерина, нам не поговорить, Господи?! — огорчился Михаил. Он растерялся, не зная, что ему делать, опустил голову и молча прошел мимо Ефрема, направляясь к выходу из палат.

Молчали и Катерина с Ефремом. Им тоже было неловко оттого, что все так нелепо случилось. Проводив царя до крыльца, где его ждали князь Черкасский и рынды, Катерина вернулась в свои покои и с болью в голосе крикнула дочери:

— Господи, непутевая, зачем вышла? Почему не сидела возле брата?

— Но матушка, я бежала за тобой: Андрюшка изревелся и звал тебя!

— О, Боже мой! Что мы наделали! — продолжала стелать Катерина.

А Ксюша стояла рядом и, ничего не понимая, пыталась утешить мать, ласкалась к ней, ладошками вытирала слезы, которые невольно катились по лицу Катерины. Ксюша только удивлялась тревоге матери, у нее же было легко на сердце, она еще не ведала того, что было ведомо Катерине.

Так и случилось, что отроковица опалила сердце юного царя, и оно не заживало до той поры, пока все та же Ксюша не открыла царю Михаилу глаза на более достойную его любви душу.

Глава шестнадцатая

КОВАРСТВО

В летние дни тринадцатого года сердце царя Михаила болело еще и оттого, что он не мог вызволить из плена отца. И не было из Польши никаких вестей. А посланный туда дьяк Аладьев пропал, словно в воду канул. Юный царь убивался за судьбу отца, спрашивал у всех совета, как ему поступить. И тогда князь Федор Шереметев посоветовал царю:

— Ты, государь-батюшка, пошли, как было в прежние времена, досужих лазутчиков в Польское королевство. Все и выведают и доложат.

— Да есть ли способные к тому?

— Найдем. И это уж моя забота.

Ан не враз нашлись опытные и смелые лазутчики. Однако в Патриаршем приказе вспомнили о Луке Паули и о бывалом монахе Арсении, которые служили еще патриархам Иову и Гермогену. Их разыскал князь Черкасский. А князь Шереметев дал им наказ найти, где сидит в заточении отец царя, Филарет, узнать о его судьбе, а ежели удастся, то вызволить из плена.

Лука Паули уже сильно постарел, пеплом покрылись некогда воронова крыла волосы, лицо прорезали глубокие морщины. Но он был еще по-прежнему крепок телом и духом и легок на ногу.

— Сделаем, что в наших силах, живота не щадя, — ответил он князю коротко и попросил: — Однако дайте в помощники молодого, подъячего Антона Матвеева. Он в Патриаршем приказе служит, дюже смел и находчив.

Еще несколько лет назад, когда Антон пришел в Москву с обозом келарей из-под Антониево-Сийского монастыря, Лука, по просьбе Катерины и от имени Филарета, пристроил его в Патриарший приказ и многому там его научил, да больше тому, что нужно знать и уметь лазутчику в чужом стане.

Лишь только три россиянина собрались в путь, их привели в царские палаты, и царь Михаил сам сделал им напутствие:

— Порадейте за моего родимого батюшку, храбрые люди. А я вам век благодарен буду.

В середине августа, на третий день после Успения Пресвятой Богородицы, еще до восхода солнца из Кремля выехал крытый возок, запряженный молодым бахмутом, и взял путь к Смоленской заставе. В возке, в монашеском одеянии, сидели три сотоварища, которые уезжали в неведомое, во враждебную польскую державу. Там же события в эту пору развивались совсем не в пользу лазутчиков россиян.

В Варшаве летом тринадцатого года всюю шли военные приготовления. Король Сигизмунд и его сын Владислав, все еще считающий себя царем России, пришли в ярость, как только до них дошла весть о том, что на московский престол избран князь Михаил Романов. Весть эта пришла как раз в ту пору, когда до королевского дворца добрался дьяк Аладьев. Он потребовал, чтобы его представили королю. А уходя добиваться встречи с Сигизмундом, он отдал своему сотоварищу-паломнику, обретенному в пути, письмо, кое нес из Москвы Филарету. У него будто сердце вешало, что поляки

его не только не пустят к королю, но и бросят в заточение. Так и случилось. Близ дворца его схватили, затащили в подвал, обыскали, изъяли послание к Сигизмунду и заключили под стражу. Вскоре же обо всем было доложено Сигизмунду и Владиславу. Прочитав послание москвитян, оба пришли в гнев, сын потребовал от отца:

— Отец, дай мне войско! Я пойду в Москву и покончу с разбоем!

Сигизмунд и дал бы Владиславу войско, но такового под рукой у короля не было.

— Сын мой, ты же знаешь, что у меня нет и двух полков. И денег в казне нет, чтобы нанять войско.

— Но надо же что-то делать! — воскликнул нетерпеливый Владислав.

Он-то знал, что войско в Польше есть, но уже много времени король не платил ни солдатам, ни их командирам денег. И потому лихие гетманы увели войско к восточным и южным рубежам страны и там нападали на соседние государства, грабили чужие народы. Да больше все россиян.

— Ты должен пойти в сенат и там требовать денег, — твердил сын.

— И сенат не поможет. Налоги и подати давно собраны. Новыми облагать нельзя, они уже и так непомерны. Крестьяне и работные люди живут в нищете.

— Мы заставим Россию пополнить казну!

— Не тешь себя пустыми надеждами. Нам не поставить Россию на колени, — отвечал король. Он знал, что обнищание страны не было случайным. Долгие междоусобные брани, война с Россией, роскошные балы и кутежи во время коротких передышек между войнами — все это разорило страну. — И войско нам не собрать для похода на Московию, — горестно заключил Сигизмунд.

Владислав упорно продолжал настаивать:

— Но отец, у тебя же есть личные деньги! Отдай их на благо Польши, а я верну, как только войду в Москву, сяду на престол.

Сигизмунд понимал, что так или иначе, но сыну нужно помочь, поддержать в нем надежду овладеть Москвой и престолом. Он знал, что Россия тоже пребывает в великом разорении и не сможет оказать сопротивления достаточно крепкому войску.

— Хорошо, сын, я попытаюсь убедить сенат пойти на риск и заставлю собрать деньги, нужные для похода на Москву.

Сенаторы, однако, отказали в помощи королю и его сыну.

— Мы не ждем блага от войны с Московией, — заявили они единодушно. — Помним былое.

Сигизмунд пытался убедить сенаторов:

— Но Владислав ее царь. И он просит лишь об одном, о том, чтобы вы помогли ему занять законный престол.

Но ни увещевания, ни угрозы не помогли. Сенат не нашел возможным и необходимым помочь Владиславу. Лишь в утешение королю было сказано:

— Ваше величество, проси гетмана Лисовского пройтись по Московии. У него есть войско, и он сделает то, что нужно.

Король и его сын вняли совету сената. И полетели гонцы к Лисовскому. А он словно ждал, что его попросят погулять со своими уланами по России. И не мешкая повел летучие конные батальоны в пределы земли русской. Делая по сто пятьдесят верст в сутки, он проскользнул мимо Вязьмы и Можайска, обошел Москву с юга и появился между Тулой, Муромом и Владимиром. Его конницу попытался преследовать князь Дмитрий Пожарский, но безуспешно. Лисовский налетал на малые гарнизоны уездных городов, сокрушал их, грабил добро и ускользал от наседавших на него русских ратников. Наконец, он замыслил захватить крепость Серпухов и засесть в ней.

Успехи Лисовского побудили короля Сигизмунда раскошелиться и он дал сыну денег, чтобы тот нанял небольшое войско. Владислав действовал споро. Спустя две недели у него под рукой было больше трех тысяч наемников. Он разделил их на два отряда и сам повел свой отряд к Калуге, а гетмана Гонсевского послал захватить Можайск.

В Москве запаниковали. Боярская дума заседала каждый день, но не могла найти, как ей казалось, достойных воевод, которым можно было бы доверить стрелецкие полки. Наконец, выбор пал на князя Андрея Хованского, коего послали к Можайску и на старшего князя Ивана Хворостинина. Ему поручили дать бой полякам под Калугой.

Русские воины успели встать на пути войска Владислава, и тот не смог одолеть их сопротивление... Началось позиционное противостояние, коего поляки боялись. Да и было отчего, потому как россияне стали их обкладывать, как медведя в берлоге. Но полностью окружить поляков ни Хворостинину, ни Хованскому не удалось. Первым выбрался из «мешка» Владислав и поспешил на помощь к Александру Гонсевскому. Вместе они прорвали редуты рос-

сиян и попятнулись к своим границам. Россияне преследовали поляков до Днепра, но там отстали. К тому же такой исход боевых действий устраивал русских воевод.

А пока в пределах России шли военные стычки, Лука Паули с товарищами добрались до границ Польши, близ нее продали коня и возок и ушли в пределы чужой страны. Шли под видом Божьих странников, коих в ту пору много бродило по Европе. Лука и Антон довольно сносно говорили по-польски, и все бы шло у россиян хорошо, если бы они знали, в каком краю Польши искать митрополита Филарета и князя Голицына. В какой тюрьме или в каком монастыре томились два узника, можно было только гадать. Им оставалось одно: уповать на Божие провидение и на случай... Они выходили на большие шляхи, шли от таверны к таверне, от одного постоялого двора к другому и прислушивались к разговорам проезжих путников. К их досаде, такие действия за месяц хождения не принесли им успеха. Когда они были уже вблизи Варшавы, что-то побудило их идти не в столицу, а от нее на север, в Литовскую землю. И прошло немало дней, пока они миновали Гродно, Лиду, вышли на шлях, ведущий к Вильно. И уже далеко за Вильно, в небольшом местечке Игналина им повезло. Весь день они пробыли на постоялом дворе и уже к вечеру собрались в путь, чтобы ночной порой идти на Даугаву. И в самый последний миг на постоялый двор въехал дорожный рыдван, а за ним — два верховых воина. Вскоре из рыдвана вышли четыре священнослужителя и молча прошли в низкое просторное здание. Было видно, что они проделали большой путь, устали и чем-то недовольны, о чем говорили их мрачные лица, особенно лицо худощавого, похоже, старшего среди них патера. Хозяин постоялого двора, грузный литовец, встретил патера радушно, как старого знакомого. Низко кланяясь, он сказал: — Добро пожаловать, святой отец. — И повел его в отведенный ему покой.

Вернувшись, хозяин повел других гостей в глубину таверны, распахнул перед ними дверь и пригласил их войти. И тут Паули услышал русские слова: «Господи, сие есть свиной хлев, а не покой. Дайте мне другую опочивальню!»

Хозяин с поклоном что-то ответил и открыл новую дверь, сказал, что покой на одного. Россиянин скрылся за дверью. Лишь только хозяин ушел из коридора, Паули поспешил к россиянину.

— Да продлит Господь дни вашей жизни, сын Божий, — войдя в номер сказал Паули и подошел вплотную к россиянину.

— Кто ты? И что тебе нужно? — спросил дьякон Феофан.

— Я ищу человека, дабы уберечь его от грозящей ему смерти, — тихо сказал Паули.

— Какого такого человека? — И Феофан попятился.

— Того, что встречался с митрополитом Филаретом, — играл Паули. Он шел от предположения, что перед ним русский поп-отступник, и может знать, где поляки упрятали митрополита и князя. — Скажи мне, где Филарет, и я отведу от тебя беду.

— Я ничего не знаю, уходи прочь! — потребовал Феофан.

— Но я не желаю тебе худа, а ты ищешь его сам. Говори, что знаешь, и не мешкая. Ты же отступник, ты изменил русской церкви и отчизне, — ломился напролом Паули. — Говори, что знаешь, да будешь прощен. А не то... — и Паули достал из-под плаща кинжал.

— Изыдь, сатана, изыдь! — с дрожью в голосе воскликнул Феофан. — Я не ведаю, где Филарет.

— Вижу, что ведаешь! — И Паули коснулся Феофана кинжалом.

— О, Господи, от татей нет спасения!

— Говори же! — И Паули уколел Феофана.

— О, Владычица, Матерь Божия, спаси! — Да понял, что нет ему спасения, потому как увидел в глазах Паули свою судьбу. И, не спрашивая, зачем этому человеку с кинжалом Филарет, Феофан простонал: — Иди в Мальборгский замок, что под Мариенбургом. Он там.

— Целуй крест, — потребовал Паули.

— Истинно говорю, — и Феофан поцеловал свой крест.

— Дарую тебе жизнь. — И Паули убрал кинжал. — Но помни: возмездие ждет тебя, ежели выдашь меня и не вернешься в лоно православной церкви. — И Паули покинул покой, вернулся к товарищам.

Тотчас они покинули постоялый двор и бегом-бегом скрылись из местечка. Они уходили на север. А когда Ингалина осталась верстах в трех позади, Паули увел своих друзей с дороги в лес, который возник на их пути. Пройдя лесом с версту, Паули остановился.

— Я ведаю, где митрополит и князь. Они в Мальборгском замке близ Мариенбурга. Запомните сие, други. Но отступник, коего я прижал, поди, выдаст нас, и будет по-

гоня. И нам не уйти от преследователей, ежели не выйдем на них. Отважился ли?

Бывалый Арсений ответил просто:

— Дело привычное. Лишь бы рогатины успеть вырубить. — И Арсений деловито поспешил искать деревца, годные для рогатин. Паули понял замысел монаха: россиянину и медведь не страшен, а не только верховой воин, даже ежели он вооружен саблей или мечом. Вскоре же березовые рогатины были изготовлены и все трое вышли к дороге.

... Лишь только Паули покинул постоянный двор, бывший волоколамский дьякон разыскал Петра Скаргу, дрожа от страха ввалился в покой богослова и, движимый рабскими чувствами, сказал:

— Святой отец, россиянин ищет Филарета.

— Где он? Кто такой?

— Я не ведаю, кто он, но спрашивал с пристрастием.

— И ты сказал?

— Бес попутал, святой отец. Тать грозился живота лишить.

— Ты порочен без меры, — зло крикнул Петр Скарга. — Но должен искупить вину. Сей же миг возьми коня и воинов, скачите за татем, ищите и приведите сюда.

Феофан не мешкая покинул покой богослова, нашел воинов, и спустя несколько минут три всадника рысью выехали из ворот постоянного двора и устремились на север.

А спустя полчаса, в лесном урочище разыгралась короткая драма. Лишь только Паули услышал на дороге конский топот, как вышел на нее и спокойно пошел вперед. Арсений и Антон, таясь за придорожными деревьями, продвигались следом. И вот всадники появились. Феофан увидел на дороге идущего человека и крикнул:

— Это он! Хватайте его!

Воины подскакали к Паули, один вырвался вперед, развернул коня и стал теснить россиянина. Он же крикнул:

— Стойте! Нога болит, не могу идти. — Всадники оказались в замешательстве. А Паули протянул руку к Феофану и попросил:

— Посади на круп.

Тот подал Паули руку. Лука схватил ее, словно клещами, и сдернул Феофана с коня. В тот же миг из леса выскочили Арсений и Антон, ринулись на всадников, достали их рогатинами, и те в мгновения ока оказались на земле. Завязалась борьба. Лука первым покончил с Феофаном-предателем, проколол-таки ему живот и поспешил на помощь Антону, которого польский воин подмял под

себя и душил за горло. Лука ударил врага в шею. Тот лишь охнул и Антон сбросил его с себя.

Арсений же проявил к врагу милость, который был слабее монаха. Он сорвал с себя сыромятную опояску, связал ему руки и ноги и потянул в лес, словно куль. Лука и Антон тоже стянули с дороги убитых. Потом Лука велел Антону поймать коней, которые неподалеку мирно щипали траву, сам же поспешил допросить оставшегося в живых поляка.

— Ты останешься жив, ежели скажешь правду обо всем, что знаешь о русском митрополите, — сказал воину Лука.

Перепуганный насмерть, улан и не думал ничего скрывать, охотно рассказал все, что знал.

— Идите до озера Лудан, там вдоль реки Небезде до Мариенбурга. Справа от города возле озера Алу есть замок, в нем и ищите ваших, ежели удастся проникнуть за стены. Замок охраняется, а сколько стражей, не знаю.

— Хорошо, верим. Ты побудешь в лесу, а мы поехали. — И Лука велел привязать воина к дереву.

Арсений и Антон сделали то, что просил Паули, все трое сели на коней и на рысях пошли на север. Знали они, что за ними может быть новая погоня, уходили, не щадя лошадей.

Судьба не один день оберегала русских лазутчиков. За ними была погоня, но, благодаря опытному Луке, им удалось от нее скрыться. Однако опасность настигла их, когда они вовсе не ожидали ее.

Лука, Арсений и Антон были уже вблизи Мариенбурга, до замка оставалась всего одна ночь пути. Утром они спрятались в лесу, в полуверсте от дороги, там отдыхали до вечера. В сумерках отправились в путь и в чистом поле наткнулись на отряд литовских наемников. Это были воины королевича Владислава, который нанял их для нового похода в Россию. Все случилось так неожиданно, что бывалые разведчики не успели даже подумать о бегстве. Литовские воины возникли из придорожных кустов перед путниками словно тени, окружили их, отрезав путь к бегству. Их стащили с коней, обыскали, отобрали оружие и погнали в сторону Варшавы. Полковник Сабовский, который командовал отрядом, сказал россиянам:

— Кто бы вы ни были, я клянусь Матерью Божьей, что заставлю вас воевать против русских. Вы поможете моему государю Владиславу сесть на московский трон!

Но после трех дней пути на юг, Луке Паули удалось бежать. Все трое они были привязаны к повозке. Вечером, еще на марше через лесное урочище, Паули упросил страж-

ников отвести его в лес по большой нужде. Сопровождал его самый свирепый страж, от которого россияне много натерпелись. Лука и стражник удалились от дороги всего сажен на пять-шесть, но лишь только кусты скрыли их от воинов, как Лука неувловимым движением извернулся, оказался сбоку от стражника, и тот рухнул на землю, получив страшный удар по шее. Взяв у стражника саблю и пистолет, Лука побежал вглубь леса, но, чтобы запутать преследователей, он бежал не назад, а вперед, по ходу отряда, и пробежав достаточное расстояние, вышел к дороге, перебежал на другую сторону, уходя уже в обратном направлении.

К Мальборгскому замку Лука добрался только через неделю. Шел по ночам, а днем прятался в лесной чаще. Он умирал от голода, питаясь лишь лесными ягодами и орехами, одежда на нем изорвалась, сапоги развалились. Но когда в глухую полночь он увидел крепостные стены, то у него хватило сил улыбнуться: достиг-таки цели. За оставшуюся часть ночи Паули дважды обошел вокруг замка, пытаясь проникнуть за его стены. Но все попытки оказались напрасными. Уже ранним рассветом в овраге, который выходил к озеру, среди каменных нагромождений Паули нашел тайный заброшенный ход и решил испытать счастье, пробраться к замку по нему. И пробрался по ходу достаточно далеко, предполагая, что над его головой уже двор замка. Но путь ему преградила тяжелая чугунная дверь, закрытая изнутри... Как ни старался Лука открыть ее, она даже не шелохнулась. И показалось Паули, что она замурована. Обессиленный, Паули откинулся к стене и неожиданно для себя уснул. Он проснулся от холода, сырости и мрака, долго соображал, где он есть. Наконец, вспомнив, содрогнулся и поспешил к выходу. Увидев в конце входа яркий свет, Лука обрадовался, но тут же радость сменилась тревогой: не поджидает ли его на воле божьей опасность, нужно ли ему показываться при солнечном свете на открытом месте? И все-таки, осторожно подобравшись к выходу, Паули выбрался из него. Яркий свет ослепил его, притерпевшись, Паули осмотрелся: окрест было пустынно. Лишь чайки кружили над озером, издавая крики. К оврагу подступали кустарники, в которых легко было затаиться. И Паули нырнул в них, дабы добраться к тому месту, откуда можно увидеть ворота. Он нашел такое место и в густых зарослях чувствовал себя в безопасности, одновременно имея возможность наблюдать за частью дороги, ведущей к замку.

Когда солнце поднялось достаточно высоко, Паули услышал далекий колокольный звон и понял, что это звонят

в костелах Мариенбурга. Звон был праздничный. Паули долго соображал, какой у католиков мог быть праздник. И вспомнил, что в нынешний день как православные христиане, так и католики отмечали Воздвижение Животворящего Креста Господня. Просидев весь день в зарослях и не увидев никакого движения ни у ворот замка, ни на дороге, ведущей к ним, к вечеру Паули, подгоняемый голодом, подался к Мариенбургу, надеясь там добыть себе пищи.

В городе и на окраинах в этот вечер было оживленно, и Паули не рискнул появиться на улицах. Он искал какой-нибудь уединенный дом, чтобы постучаться туда и купить еды, а деньги у него были. Но и здесь его ожидала неудача: дважды подойдя к отдельным домам, он был встречен собачьим лаем. Отчаявшись, он совершенно случайно оказался на городском кладбище и на первой же могиле увидел ритуальные приношения. Нынче горожане чествовали своих усопших близких, и Паули увидел на многих могильных плитах их дары. В глиняных плошках тут стояла пшеничная кутья, лежали яйца, ломти хлеба, булочки, пирожки, в глиняных чарках виднелась горилка. У Паули спазмы голода перехватили горло. Но он понимал, что взять с могилы усопшего что-то просто кощунственно. Однако, помолившись Всевышнему, испросив у него прощенья, Паули потянулся к дарам и, не жадничая, поел кутьи, выпил из кружки самогонки, съел пирожок с яйцом и луком. Он прошел все кладбище в сторону замка, взял кое-что из еды с собой и покинул священное место, продолжая молить Бога о прощении греха.

Паули провел в зарослях близ дороги, ведущей к замку, ровно неделю и не увидел ни одной живой души, кто бы вышел из ворот замка или вошел в них. Временами Паули казалось, что за стенами замка нет никакой жизни. Лишь на восьмой день, когда уже иссякло всякое терпение, на дороге, ведущей в замок, появилась телега, запряженная старым меринком. За возницу в телеге сидела молодая женщина. В повозке стояло несколько корзин с товарами. И Лука рискнул выйти навстречу женщине. Увидев его, она испугалась, закричала и попыталась гнать мерина. Он лишь едва затрусил, и Паули легко остановил его, схватив под уздцы. Крикнул женщине по-польски:

— Не пугайся, я не желаю тебе худа!

Путница смотрела на Паули с ужасом, потому как увидела заросшего сивой бородой, в изодранном плаще человека.

— Эй, люди, эй, стражники, помогите! — кричала она и дергала вожжи.

— Не надо кричать, пани, и не бойся меня, я не разбойник, но странствующий монах.

— Что тебе нужно?

— Я ищу митрополита Филарета, знаю, что он в замке. Помоги мне встретиться с ним.

— Нет, нет, не могу! — все еще со страхом кричала пани Гонта... — Он под стражей, в каземате.

Держась за вожжи, Паули метнулся к телеге.

— Я умоляю тебя, пани!

— Пусти! — И женщина замахнулась кнутом.

И тогда Паули полез за пазуху, достал оттуда грамоту и золотую монету.

— Вот, передай митрополиту, а деньги тебе за милость.

Глаза Паули, смотрящие на женщину с мольбой, усмирили ее гнев. Схлынул страх. Она взяла грамоту.

— Хорошо, я передам твою цидулю. А денег от божьего человека не возьму.

Паули увидел в корзинах караваи хлеба, его глаза загорелись голодным блеском.

— Пани, именем Матери Божьей прошу, продай хлеба. — И Паули сунул монету ей в руки.

Она подала Паули каравай хлеба.

— Продать не грешно, — заметила она и дернула вожжи.

— Я буду ждать тебя с ответом, — сказал Паули.

— Завтра в полдень, если будет ответ, — крикнула молодая пани Гонта, уже отъезжая от Паули.

В письме, которое Паули передал одной из невесток пана Гонты, сообщалось, что сын Филарета Михаил венчан на царство. Невестка отдала грамотку пану Гонте. Он же спрятал ее и забыл о ней. Что побудило пана Гонту проявить коварство, неведомо, но она пролежала у него в тайнике много времени и была передана Филарету спустя два года.

А Лука Паули провел близ замка еще три долгих и мучительных дня, но его ожидания оказались напрасны. Невестка пана Гонты так и не появилась, а замок по-прежнему казался вымершим. И Паули ушел в Россию, впервые за многие годы не выполнив своего задания.

Глава семнадцатая

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Шел третий год царствования Михаила Романова. Но в жизни юного царя и державы еще не было ни одного мирного дня. Россия продолжала воевать с Польшей. Военные

действия навязали россиянам и шведы. Впечатлительный Михаил, болезненно переживающий разорение державы в народную нищету, часто спрашивал близких бояр, скоро ли в державе и на ее рубежах наступит замирение.

— Долго ли нас будут терзать поляки? Какие долги у нас перед шведами? — чаще всего спрашивал царь близкого человека, князя Федора Шереметева.

И всякий раз князь отвечал по-разному. Да все в ответах сводилось к одному:

— Ни поляки, ни шведы к нам не полезут, как только россияне сытыми будут. Сытого мужика не тронь, иноземец, живота не пожалеет, а защитит свои рубежи. Другое дело — голодный. Вот и давай, царь-батюшка, добиваться одного, чтобы дети твои не помирали от голода, чтобы земли пахотные не зарастали по всей державе бурьяном. А начинать надо конечно же добившись мира.

— Но как заставить шведов и поляков сегодня с нами замириться?

— Ты, государь, побуди думного дьяка Ивана Грамотина осветить все в Думе. Он же, умная голова, ведает, что делать. Еще тебе нужно послушать думных дьяков Дворцового и Разбойного приказов. Они же скажут, как возвратить на землю и в старые места поселения земледельцев, сбитых с мест в смутную пору, — пояснял князь.

Михаил слушал усердно и пытался дать сказанному свою цену. Он и сам проявлял уже остроту ума.

— Днями мне принесли челобитную из Троице-Сергиевой лавры. Просят монастырские люди, дабы дал им волю в розыске беглых крестьян. Я внял мольбе богомольцев и дал им волю искать беглых. Они же в бегах разбоем занимаются-промышляют.

— Не оставляй без милости монастырские обители, твою опору, — посоветовал Федор. — Как проявится твоя милость к лавре, так и другие обители легче будет подвигнуть к поиску своих людей. Да помни, царь-батюшка, одно: повели все делать мягко, дабы землепашцы вновь не поднялись на бунт. Многие волюшки хлебнули, и на них не так-то просто вновь надеть хомут. Оно конечно, понятен ропот дворян и боярских детей. Они не напрасно добиваются крестьянской крепости и просят продления срока урочных лет. Тут тебе нужно посоветоваться с земцами.

Эти беседы царя и князя часто слушала матушка Марфа и внимала советам князя с неменьшим усердием, чем ее сын. Она же всякому полезному совету давала движение. И хотя сама она в Боярской думе не заседала, но многое вер-

шилось там по ее указам. Матушка-государыня лучше других знала мягкосердие своего сына и здраво оценивала державность его ума. Потому день за днем забирала власть в государстве в свои руки. По ее воле при царском дворце сложился родственник державный совет. Марфа продолжала собирать в Кремль родственников рода Романовых, но не обошла вниманием и всех, кто был близок к роду Шестовых. Она размышляла просто: на своего человека можно положиться, связанный родством, он реже идет в измену. И где-то к третьему году царствования Михаила во всех государевых приказах и службах стояли сродники царя. Не всюду они управляли гладко. Одни по недостатку умения, другие — из корысти. И как-то князь Федор Мстиславский, встретив на паперти Успенского собора Марфу, упрекнул ее:

— Ты, матушка-государыня, свойство и родство чтить больше ума и деловитости. Потому всех своих, даже кто не выше валенка, тянешь управлять державой. Зачем сие непотребство творишь?

Старица Марфа, еще будучи княгиней и боярыней Ксений Романовой, никогда не уважала и не чтит князя Мстиславского. Да и было за что. В ту пору, как Борис Годунов терзал род Романовых, Мстиславский смотрел на сие злодеяние с ухмылкой и довольством на лице. Окинув суровым взглядом по-прежнему тучную, уже оплывшую вниз фигуру князя, Марфа жестко и не щадя княжеского самолюбия сказала:

— Не тебе, князь, упрекать Романовых за радение державы. Ты ее давно продал полякам и латинянам. И по моему разумению, не Филарету-батюшке нужно томиться в заточении, а тебе пора бы принять схиму и уйти от людей замаливать грехи.

У князя Мстиславского дыхание перехватило, будто костью подавился, слова в защиту себе не мог вымолвить. И он угнул свою седую голову, в душе солоно выругался и ушел с паперти, так и не помолившись.

Марфа продолжала управлять державой все круче. И совсем немного времени прошло, как думные бояре, дьяки, вельможи всех рангов увидели, что все государственные дела старица держит в своих руках. Нет, она не отторгала сына от царской власти, и он вершил то, что ему положено: подписывал указы, повеления. Но все это делалось под ее зорким глазом, с ее ведома. При ее верховодстве постепенно и с немалым трудом, но в державе что-то налаживалось, жизнь преображалась к лучшему. Но усилий этой упорной женщины явно не хватало, пробыв во главе пра-

вительства шесть лет, Марфа не сумела вывести Россию из разорения, хотя за эти же годы добилась, чтобы Земский собор усерднее заботился о государственной казне, чтобы служилые люди жестче собирали налоги и недоимки за прежние годы, наконец, чтобы пополнились хлебные запасы для войска на случай неурожая. Во многих державных делах Марфа не чинила самоуправства, не бросалась в омут головой, но осмыслив какой-то новый шаг, шла к царю. Так было и в те дни, когда кое-кто из неугодных Марфе думных бояр и дьяков попытались разделить населенные дворцовые земли.

На масленой неделе — в прощенное воскресенье — Марфа пришла из Воскресенского монастыря в палаты царицы Анастасии раньше обычного. Царь Михаил только что закончил утренние молитвы, и Марфа зашла к нему в малую тронную палату.

— Сын мой, царь-батюшка, — начала Марфа, — сядем рядышком и поговорим о делах важных.

— Слушаю тебя, матушка. — Михаил усадил мать на турецкий диванчик и сам сел рядом. — Вот и побеседуем ладком.

Марфа любила сына нежно и страстно, но проявляла свои чувства редко. И на сей раз спросила об одном:

— Как тебе спалось, родненький?

— Спасибо, матушка, я всегда крепко сплю.

— Вот и славно. А теперь внемли тому, о чем попрошу. Есть среди именитых такие, кто тянет руки к дворцовым землям. То бы пресечь надо, сынок.

— Мыслью я вровень с тобой, матушка.

— Земель за Царским приказом числится много, да не все они ухоженные, иншие и вовсе в запущении, хотя и населены. Вот и хочу просить твоего позволения распорядиться ими здраво, а не в ущерб державе. Есть у меня на заметке многие рьяные радетели земли, да оной не имеют. Потому надобно не мешкая наделить их землей. Радетелей Колычевых и Жеребцовых в первую голову, кои исправно тебе служат. Белозерцевы и Ладыгины вровень с первыми стоят, дадим не в ущерб казне, но токмо впрок.

Царь Михаил согласился с Марфой, но и свое высказал:

— Ты, родимая, лучше меня знаешь, как вести хозяйство. Токмо и Шереметевых с Сицкими не обойди — опору нашу. Да еще узнай, в достатке ли землицы у князей Черкасских. Их ведь Годунов разорил...

— Так и поступлю, сынок, — ответила Марфа.

И вскоре с легкой руки все достойные вельможи были наделены поместьями. Досталась она истинно радетельным хозяевам.

И в других делах Марфа попевала ко времени. Когда зашел разговор о замирении со шведами, она же первая встретилась с думным дьяком Иваном Грамотиным. В душе Марфа восхищалась этим умнейшим посольских дел человеком. Попросила его, как встретились в Грановитой палате:

— Ты бы открыл царю путь, дьяк-батюшка, каким идти к замирению со свеями.

Думный дьяк Грамотин знал, что уж ежели каким делом заинтересовалась государыня, покою никому не будет. Ответил искренно:

— Дело сие не статочное, матушка-государыня. Ноне твоего сына, царя-батюшку, многие державы уважать начинают. И есть уже радетели, кои готовы помочь уладить мир со Швецией и Польшей.

— Кто же сии радетели?

— Англия и Голландия волю проявляют. И французам выгодно наше замирение с поляками и шведами.

— Зачем же мы отвергаем их помощь?

— Пока речи меж нас о том не было. Но мне больше по душе иной путь, который указывает Божье провидение. Шведский король Густав Адольф, обобравший нас по Столбовскому договору и захвативший Гдов, сам ноне ищет с нами замирения. И он готов идти рука об руку с нами против ляхов. Нам такой сосед подходит, токмо чрево у него ненасытное.

— А посильно ублажить его?

— Ведомо мне, что за мир с нами он намерен получить Ингрию и Ливонию. Сии земли можно было бы и отдать свеям. Ан Густав потребует и других лакомых кусков. Давно он лелеет глазом Иван-город, Ямбург и крепость Орешек.

— Ишь, как алчен!

— Вельми алчен. Ведь он таким путем думает закрыть нам выход к Балтийскому морю.

— И что же ты посоветуешь, дьяк-батюшка? — спросила Марфа.

— Из двух зол выбрать меньшее, матушка-государыня. Без уступок нам не обойтись, ежели думаем решить спор с ляхами.

— Слово твое поняла. Да мыслю, что скоро тебе придется идти к свеям, а по иному — куда же?

На том и расстались инокиня Марфа и думный дьяк Иван Грамотин. А дело замирения со шведами сдвинулось

с мертвой точки. И дьяк Грамотин не раз встречался со шведами, торговался из-за каждого клочка земли. Россия, однако, немало уступила. И 27 февраля 1617 года со Швецией был подписан договор о вечном мире.

Но до того дня, как наступил мир со Швецией, Россия пережила немало горестных дней. Временами казалось, что Москва вновь окажется в руках польских насильников. Случилось так, что в ноябре шестнадцатого года, когда с нетерпением ждали, что Смоленск вот-вот войдет в лоно русской земли, царю Михаилу доложили, что воеводы Михаил Бутурлин и Исаак Погожев сняли осаду Смоленска и бежали с войском до Вязьмы.

Так оно и было. Гетману Александру Гонсевскому удалось вырваться из осажденного города и дать бой русской рати. И все произошло по преступной вине князя Георгия Трубецкого. Он привел на помощь Гонсевскому отряды казаков, и те ударили в спину воинам Бутурлина и Погожева.

Дерзкий гетман Гонсевский не успокоился на том, что вырвался из осады, он преследовал русских до самой Вязьмы. Когда же в ноябре наступили сильные снегопады и морозы, Гонсевский расположился лагерем близ Вязьмы, перезимовал, а по весне, дождавшись войска королевича Владислава, двинулся с ним к Москве. Дорогу им прокладывал-мостил предавший родину Георгий Трубецкой. С его помощью поляки овладели Вязьмой. И он же побудил воеводу Ивана Адаурова сдать без боя Дорогобуж, открыть полякам ворота крепости.

Королевич Владислав торжествовал. И послал из Вязьмы в Москву манифест, в котором требовал от москвитян приготовить ему торжественную встречу, потому как намерен встать на престол, законно ему принадлежащий. В том же манифесте излагалось повеление архиереям церкви назначить божественную литургию в честь возвращения на патриаршество Игнатия-грека. Сие требование Владислава оказалось той каплей, которая переполнила чашу терпения русского духовенства. Митрополит Крутицкий Ефрем, как некогда патриарх Гермоген, призвал россиян с амвона Архангельского собора вновь подняться всей землей против нашествия еретиков ляхов.

Той порой из Можайска и Борисова в Москву стали прибывать беженцы. Сотни их пришли на Красную площадь. Царь Михаил со многими боярами вышел к ним и вел беседу. Они же наговорили много лишнего, утверждали, будто Владислав идет к Москве с несметным войском. Юный царь испугался, бояре и вся знать поддались панике,

многие поспешили покинуть стольный град, обратиться в свои вотчины.

В этой тяжелой обстановке лишь государыня Марфа сохранила присутствие духа. По ее повелению послали в стан врага лазутчиков. Старшим над ними поставили Луку Паули, который уже успел отдохнуть после хождения в Польшу. Паули и его сотоварищи пробыли в польском стане больше недели, все что нужно выведали и успешно вернулись в Москву. И тогда Марфа собрала в Грановитой палате многих вельмож и попросила Паули рассказать им все, что он увидел и узнал о войске Владислава.

— Войско у королевича нетвердое, ищет легкой победы и добычи, — начал рассказывать Паули. — Владислав задолжал уланам жалованье, и они готовы его покинуть. А держит их лишь то, что ждут казаков, якобы числом двадцать тысяч, коих обещал привести малороссийский гетман Конашевич. Но ведомо мне, что надежды на казаков тщетны. В их стане раздор, и большая часть их не желает идти войной против законного русского государя Михаила. Теперь, ежели двинуть рать на ляхов, — продолжал Паули, — они не устоят. Помогите Бутурлину и Погожеву ополчением, и они прогонят врага.

В это самое время воеводы Михаил Бутурлин и Исаак Погожев, желая исправить свое позорное отступление из-под Смоленска, навязали полякам военные действия, лишили Владислава и Гонсевского маневра, и те были вынуждены обороняться. Весть о действии русских воевод долетела до Кремля, и там скоро отозвались на нее. Царь Михаил повелел собирать стрелецкие полки и, опять-таки по совету матери, поручил вести войско воеводам, близким к роду Романовых.

Воинов провожали в новый поход с колокольными звонами, с напутствием архиереев церкви. И ратники верили, что их поход будет успешным и они скоро вернуться к родным очагам. Да многие были убеждены, что наступающая зима поможет им гнать поляков из державы.

И надежды россиян оправдались. Русское войско еще только миновало Голицыно, как поляки сдвинулись с насиженного места и покинули Можайск, потянулись к Вязьме, к Смоленску. Но и на марше им пришлось несладко. За Вязьмой воевода Михаил Бутурлин напал на колонну врагов глубокой ночью. Застав поляков врасплох, он разрезал колонну пополам и одну часть погнал обратно к Москве, и многих пленил, другую же гнал к Смоленску, пока хватило сил. Когда же подошли свежие полки русских,

преследование поляков продолжалось днем и ночью. Был освобожден Дорогобуж, и вскоре русские полки вышли на Днепр близ Смоленска. Но дальше воеводы не повели войско. В Москву полетели гонцы, дабы получить повеление царя шагнуть за Днепр. Однако ни царь Михаил, ни Боярская дума не решились вязаться в затяжные бои на западной Смоленской земле. Потому как и русские воины не были готовы воевать в зимнюю стужу.

... В Москве в эту пору у Боярской думы и царя Михаила появились другие заботы, иные особые хлопоты. Сошли думные бояре, что царю пора думать о наследнике и нужно искать достойную невесту. И начались долгие, суетные и корыстные споры, какому роду-племени отдать предпочтение, от кого взять царскую невесту. И выявилось такое множество невест, что лихой бы молодец растерялся, не то что застенчивый и совестливый царь Михаил. Каждый боярский род хвалил свой «товар». Устраивались царские смотрины. Да главную роль в них играл не жених, царь-батюшка, а его матушка, проявлявшая большую привередливость. Она же отторгла многих, достойных царского венца девиц боярского и княжеского звания.

И каждый раз после очередного смотрения невесты матушка Марфа замечала, что ее сын становился все более равнодушен к невестам. Ему было с чем сравнивать, и ни одна из них не могла затмить зеленоглазую Ксюшу. И он уходил со смотрин с каждым разом все мрачнее, потому как никогда и никто не выведет на смотрины ту девушку, которая покорила его сердце.

И мало кто ведал, как, наконец, пал выбор на боярскую дочь Хлоповых Марию Ивановну. Знали, что сия девица сама по себе была достойна царского внимания, взяла и статью, и красотой, и нраву была покладистого, чего не скажешь об отце семейства Иване Хлопове. И когда государыня Марфа назвала Марию Хлопову царской невестой, то многие думные бояре удивились и задумались. Да и было над чем: пугало думцев возвышение Ивана Хлопова. Встанет он рядом с государыней Марфой, не жди от него снисхождения никто.

О царе Михаиле в эту пору мало кто думал. И только близким к царю людям показалось, что Мария Хлопова приглянулась царю. Было же не совсем так. Михаил смирился с неизбежностью женитьбы. И Мария не смогла выветрить из сердца Михаила образ Ксюши — та короткая встреча с дочерью Катерины, как и предполагала она, оказалась роковой, — образ Ксюши, которая из отроковицы

превратилась в прекрасную девушку. И не было дня, на время которого царь Михаил забыл бы свою несравненную. Но он хорошо понимал, что Ксюша для него — запретный плод, и ему не дано им владеть, как бы он того не желал.

В Кремле начались хлопоты о предстоящей царской свадьбе. И еще никто не знал из приближенных царя, что свадьбе не суждено состояться. Черная зависть князей Салтыковых, не сумевших навязать царю свою юную княжну Анну, проросла их преступным деянием. И вместо венца и супружества бедную Марию Хлопову поджидало несчастье, сломавшее жизнь не только ей, но и всему роду Хлоповых.

Однако это несчастье неожиданным образом ушло в тень от царского двора, оттесненное иными крупными событиями. Из Варшавы вернулся думный дьяк Иван Грамотин. Он ходил с полномочиями, дабы договориться о переговорах с королем Сигизмундом о мире. И хождение в Польшу Ивана Грамотина оказалось успешным. Сигизмунд дал согласие готовить мирный договор и обещал послать в Москву своих дипломатов. Они появились в России неожиданно и вскоре же следом за возвращением Грамотина. Остановились они, однако, не в Москве, а в деревне Деулино, близ Троице-Сергиевой лавры. Там же предложили вести переговоры о мире. В Кремле такому желанию поляков удивились. А государыня Марфа назвала поведение послов порождением строптивости и гордыни и велела звать в Москву. Они же отказались, но выпросили позволения митрополита Ефрема посетить Троице-Сергиеву лавру.

Позже выяснилось, что среди польских послов был полковник пан Хмельницкий, который все шестнадцать месяцев осады лавры мечтал подняться на крепостную стену и поднять над нею польское знамя. Теперь же пан Хмельницкий был обуреваем желанием посмотреть на крепость изнутри, узнать, почему она оказалась неприступной.

Переговоры в Деулино тянулись долго. Польские послы имели повеление короля Сигизмунда ни в чем не уступать от тех требований, какие он предъявлял России. Думный дьяк Иван Грамотин и князь Иван Романов, как ни бились, не могли добиться даже самых малых уступок с польской стороны. А они требовали от России отказаться от претензий на города Смоленск, Дорогобуж, Белый, на множество селений вдоль всей границы с Польшей. Они предъявляли России требования отказаться от всех оборонительных сооружений по западной границе. Но и это было не все. Они настаивали вернуть Польше всех пленных, не давая никаких обязательств на возвращение пленных россиян.

Иван Грамотин прервал переговоры и вместе с князем Романовым умчал в Москву, дабы доложить о претензиях поляков Боярской думе. Но прежде он встретился с государыней Марфой. Ей он сказал:

— Несговорчивые ляхи и слышать не желают о том, чтобы побудить королевича Владислава отказаться наконец от посягательств на русский престол. Они же твердят, что на Руси есть один законный государь — Владислав.

— Анафему на их голову шлю! — воскликнула Марфа. И распалилась, посылая на головы поляков все напасти.

Думный дьяк с трудом остановил государыню, пытаясь доказать, что в нынешнем положении России придется идти Польше на уступки.

— А соберемся с силами, матушка-государыня, мы свое возьмем, не мытьем, так катаньем.

— Ну, коль угодно Всевышнему — уступим. В одном стой насмерть, дьяк Иванушка Тимофеич, вызволи какой угодно ценой нашего батюшку Филарета и князя Василия, отдай им дюжину пленных ляхов. Истомились они там, свету белого не видя.

Выслушав государыню Марфу, Иван Грамотин предстал пред думными боярами. Доложил обо всем по порядку и слушал их противоречивые советы в пол-уха. О митрополите Филарете и князе Василии они вовсе не попеклись, но требовали от Грамотина, чтобы он не уступал полякам ни пяди лишней российской земли.

— Мы уже дорого заплатили ляхам за мир, чего стоит один Смоленск, — заявил Федор Мстиславский.

Покидая Грановитую палату, дьяк Грамотин оставался при одном твердом убеждении: государыня Марфа болела за державу больше, чем многие думные головы. И вернувшись в Деулино, посол проводил ее линию.

Переговоры с польскими послами затянулись почти на три месяца, до февраля 1619 года. И только 15 февраля вместо договора о прочном мире было заключено соглашение о перемирии на четырнадцать с половиной лет. Так настояла польская сторона, не добившись от России всех уступок, на какие рассчитывала. И никто толком не мог сказать, почему полякам требовалось четырнадцать с половиной лет. Они, однако, нарушат перемирие значительно раньше. В этом же соглашении был оговорен обмен военнопленных поляков на томившихся в заточении митрополита Филарета и князя Голицына. Еще неизвестно где пребывавших в неволе лазутчиков Арсения и Антона.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В Мальборгском замке в эту зимнюю пору медленно угасал славный русский князь Василий Голицын. Он умирал на руках у Филарета. Ум его и память и речь оставались ясными, как в пору зрелости, и держался он мужественно, не сгусая на судьбу. Лишь неизбежно страдал об отчизне.

— Ничего так не желаю, любезный друг, как прижаться к родной земле. Там и лечь в нее. И чтобы березы шумели над могилой, чтобы багряный клен шелестел лиственной рядом и речка Лама журчала на перекатах. Еще чтобы кто-то посадил и вырастил близ могилы рябину. И тогда по осени, когда нальются рдяным соком ее гроздьи, ко мне прилетали бы дрозды, и я слышал бы, как они склеивают ягоды и поют на досуге.

Князь говорил тихо, Филарету приходилось напрягать слух, и он был терпелив, он знал, что таким голосом князь мог предаваться воспоминаниям часами. Филарет не перебивал его, не останавливал, чувствуя сердцем, что пока князь говорит, он живет, и эта жизнь наполнена содержанием. Князь Василий прожил достойную жизнь, многожды водил рать в битву с врагами: бился против Ивана Болотникова, от шведов защищал Новгород и Псков, дрался против ляхов. Он не блистал даром большого воеводы, но ни разу не покрыл себя позором бегства, малодушием, предательством. Он был честным и мужественным воином, добрым христианином.

— Не ведаю я одного, возьмет ли меня Всевышний в эдемovo царство. Или я великий грешник и мне уготовано пройти все двенадцать кругов ада и чистилища. Но на душе у меня покой, и меня не угнетают угрызения совести, потому как жил по заповедям Господа Бога....

Филарету не нужно было утешать Василия. Он знал, что князю уготовано — не преисподняя, а вечное блаженство в сонме чистых душ. Даже хотя бы за те муки, какие он претерпел за долгие девять лет заточения в польском плену. Он искупил все свои грехи, ежели были таковые, терпением и стойкостью, смирением пред волею судьбы.

А судьба к ним в эти годы была жестока. Она довлела над ними в образе изощренного и коварного иезуита-богослова Петра Скарги, воплотившего в себе множество пороков немилосердного к инаковерующим католика, проводника иезуитских планов в борьбе с православной верой.

Петр Скарга наведывался последнее время к узникам дважды в год и все пытался сломить их дух. Чтобы вдохновить себя, Скарга ездил в Рим, там добился приема папой римским Павлом V — Камилло Боргезе. Папа узрел в богослове Петре фанатичность и поощрил ее. Он благословил его деяния и побуждения короля Сигизмунда обратить в католичество русских митрополита и князя. И хотя Петр Скарга повинился папе в том, что пока ему не удалось достичь какого-либо успеха, папа выразил уверенность, что Петр близок к этому. Разрешив Петру поцеловать туфли, папа напутствовал богослова изречением из Евангелия сомнительной чистоты:

— Сын мой, не сворачивай с избранного пути. Опирайся на заповеди Иисуса Христа. Он же сказал своим ученикам: достигайте цели любыми средствами.

Петр Скарга провел в Риме ползими. Он встречался с братьями по ордену «Общество Иисуса», учился у них искусству обращения инаковерующих и язычников в католическую веру. Весной он вернулся в Варшаву и после короткой встречи с королем Сигизмундом уехал в Мальборгский замок. Сразу же появился в каземате узников и, как показалось россиянам, приступил к допросу. Лицо его было похоже на маску беспристрастного судьи.

— Ты, москвит, виновен в смерти нашего воина, а также в смерти бывшего дьякона Феофана, члена ордена иезуитов. Скажи, кто исполнял твою волю, как ты был с ним связан?

— Помилуй Бог, что ты несешь?! — без какой-либо почтительности воскликнул Филарет. — Ежели кто-то лишил живота отступника веры, то поделом, и мне остается только порадоваться. Но я в его смерти не виновен.

— У суда есть доказательства твоей виновности. Один свидетель жив, он видел, как твой человек убил Феофана. Есть твое письмо которое ты писал, дабы передать через того человека в Москву. Наши воины схватили двух соучастников и они уже получили свое. Говори же, кто твой соучастник, сними с души своей грех.

— Что ты от меня хочешь? — вспылил Филарет. Он был невежлив и заведомо добивался, чтобы иезуит понял: его не боятся. — Веру я твою отвергаю, страсти уже все претерпел. Потому уходи и не мешай нам нести свой тяжкий крест.

Но изощренного иезуита нелегко было сбить с избранного пути. Он разгадал заведомую дерзость Филарета и жестко сказал ему:

— Тебя ждет казнь. Но ты будешь вначале подвергнут обряду, тебя обратят в нашу веру. И все это случится через два дня, а третьего ты не увидишь.

И тогда подал свой голос князь Василий, который лежал на скамье у стены:

— Богослов, зачем несешь хулу на честного священнослужителя? Это моя вина в том, что убиты отступник веры Феофан и твой стражник. Ко мне шли россияне. Где твой суд? Я, князь Василий Голицын, предстану перед судьями.

Петр Скарга подошел к лежащему князю.

— Ты дышишь на ладан и потому выгораживаешь злодея. Дыши, но не ищи себе новых страстей. И сам я не желаю вам худа, но только предупредил, что ждет вас от королевской немилости. Но я протягиваю вам руку помощи. Идите в лоно моей церкви, вступайте в орден «Общество Иисуса», и вас минует кара. Мы милосердны и своих братьев в обиду не даем. А чтобы вы увидели корни нашего милосердия к преступившим законы, я пролью свет на наши нравственные правила. Наш путь доказательств «за» и «против» признает пороки и преступления нравственно-невменяемым состоянием грешника. И потому, по нашему уставу, всякое деяние может быть совершено и признано как нравственно-невменяемое, за что, как полагается, совершивший преступление не несет ответственности пред судом человеческим. Когда при вожделении страсть толкает человека на грех, то сей грех ему не вменяется, — растолковывал иезуитские истины Петр Скарга, вышагивая по каземату, — потому как он совершил его помимо своей воли. — Петр остановился перед Филаретом, поднял руку и осенил его крестом: — Исповедуйся, сын божий, и рука Иисуса освободит тебя от чувства вины.

Филарет смотрел на проповедника богомерзских уставов с усмешкой. Он понял, к чему клонил иезуит: с каким бы грехом ты к нему не пришел, он избавит тебя от мук совести, и ты даже не будешь наказан ни гражданским судом, ни судом чести. Но духу россиянина было противно пускаться в спор с богословом и доказывать безнравственность устава ордена иезуитов. Он хотел одного, чтобы Скарга поскорее оставил их в покое.

— Ты, богослов, не распинаясь, но веди меня на суд праведный. Иного же не добьешься, — сказал Филарет и отвернулся от Скарги.

Но Петр не сказал Филарету больше ни единого слова, а повернулся к двери башни, открыл ее и позвал стражников. В каземат вошли четыре воина. Скарга распорядился.

— Отведите их в костел Мариенбурга.

Два воина схватили Филарета за руки, заломили их и повели. Он попытался сопротивляться, но его усилия ни к чему не привели. Других два воина стали поднимать с ложа князя Василия. И Филарет взмолился:

— Святой отец, прояви милость к немощному, возьми с меня за двоих!

Скарга внял крику Филарета, понял, что сочувствие к больному сделает его уступчивее. Он отослал стражников и сказал:

— Хорошо, я принимаю твое условие. И завтра возьму с тебя за двоих. — И Петр Скарга покинул каземат.

Присев на ложе к князю, Филарет долгое время сидел молча и думал о том, что ждет его завтра. Он понял, что им уготовано насильственное обращение в католичество. Не понимал Филарет только одного: зачем это кому-то нужно, ежели их ждала казнь. По спине Филарета пробежал озноб. Знал он, что и на Руси было такое, когда иноверцев и язычников приводили в христианскую веру силой, особенно по глухим местам державы. Не все поддавались насилию, были и такие, кто сжигал себя. Рассказов об этом Филарет слышался, пребывая в Антониево-Сийском монастыре.

От беспокойства и беспомощности Филарет не мог сидеть, он ходил по каземату, скрывался в небольшом соседнем помещении, там ходил в одиночестве. И вдруг его внимание привлекла ниша. Он и раньше многожды видел ее, но не придавал значения. Но тут решил осмотреть, и когда заглянул в нее, то увидел уходящий вверх, проложенный в стене лаз. Опустившись на колени, Филарет заглянул в него и увидел, что лаз слабо освещен падающим откуда-то сверху светом. Еще он увидел скобы, заделанные в стену. Лаз был узкий, и человек потучнее не протиснулся бы в него. Филарету оказалось тесновато только в плечах. Но развернув плечи в углы, Филарет взобрался по скобам сажени на две и оказался в небольшом каменном помещении второго этажа башни. Он увидел рядом с лазом заделанные в каменный пол скобы, тяжелую чугунную плиту и дубовую пластину, пораскинул умом и понял, что если лаз закрыть плитой и зажать ее брусом через скобы, то никакой силы не хватит проникнуть кому-то в этот каземат. Филарет обследовал помещение и нашел у бойницы каменную чашу, в нее был опущен желоб и она была наполнена дождевой водой. В стене, которая выходила во двор замка, он увидел еще две ниши, в них стояли деревянные кади с крышками, наполненные чечевицей. Возле

кадей стоял светильник с жиром, тут же лежали кремень, кресало и трут. Даже отхожее место нашлось. Его отверстие было заложено плоским камнем.

— Господи милостивый, да тут же можно долгую осаду выдержать, — воскликнул возбужденный Филарет. Он взял несколько плоских, круглых и бархатистых зерен чечевицы и попробовал их пожевать: съедобны. Еще зачерпнул из чаши воды ладонью, отпил и остался доволен. И тогда поспешил вниз, дабы рассказать о находке князю Василию.

Голицын не проявил особого интереса, когда выслушал Филарета. Но согласился с ним подняться вверх и там найти спасение от происков богослова-иезуита.

— Ты прав, брат мой, там мы можем умереть христианами православной веры, не осквернив и не предав ее, себе без позора.

В оставшееся до темноты время они перебрались наверх. Филарет поднялся первым, перед тем обвязав князя веревкой по груди, помог ему взобраться. Потом он перенес в новое убежище соломенные тюфяки, скудный свой скарб, глиняную посуду, образ Богоматери и лампаду с гарным маслом.

Закончив переселение, Филарет закрыл лаз плитой, задвинул в скобы дубовый брус, осмотрел все внимательно и понял, что к ним в укрытие можно проникнуть только с помощью взрыва. Уже стемнелось, когда возбужденные узники утихомирились и прочитали на сон грядущий молитву.

— Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем; не прогневайся на нас зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави нас от врагов наших, — громко произносил тропарь Филарет.

А князь тихо вторил ему:

— Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, все дела руце Твоею, да избавимся Тобою от бед...

В ту ночь Филарет и Василий спали крепко и без сновидений. Верили, что они под надежной десницей Всевышнего. Утром они услышали, как пришли в башню стражи, как искали их, как убежали за богословом. Сие Филарет увидел через бойницу, выходящую во двор. И прибежал Петр Скарга. Лицо его искажали гнев и страх. Он кружил по каземату, сыпал на головы узников проклятья и матерные слова, ругал стражников, потом все скопом ушли к хранителю замка пану Гонте. Филарет, наблюдая за богословом, посмеивался.

— Ишь, засуетился как хорек, богомерзостью озадаченный.

— Достанут они нас, возьмут не мытьем, так катаньем, — устало отозвался князь Василий.

Вскоре богослов вернулся. За ним, едва поспевая, шел пан Гонта. В башне он показал Скарге нишу с лазом наверх.

— Там они, — сказал Гонта и объяснил, как Филарет и Василий скрылись наверху.

Голоса внизу звучали глухо и до слуха Филарета доходили лишь отдельные понятные слова. Но вот кто-то поднялся по лазу, застучал железом о люк. Раздался грубый и сильный голос:

— Эй, открывайте!

Филарет и Василий молчали. Они условились не отвечать ни на какие призывы. И потом в течение всего дня, пока Петр Скарга призывал их к благоразумию, они ни словом не отозвались.

Их «сиденье» длилось больше двух недель. И каждый день Петр Скарга и его люди пытались проникнуть наверх башни, но оказались бессильны. А на увещевания богослова узники не отвечали. И тогда Петр Скарга отказался от королевской затеи обратить узников в римскую веру, дал им возможность умереть от голода.

— Я желал им добра, — сказал богослов пану Гонте, уезжая.

Пан Гонта не открыл Петру Скарге тайну каземата, не сказал, что узники не могут умереть от голода по крайней мере с месяц.

Через сутки после отъезда богослова Филарет спустился вниз, попытался выйти из башни, но двери оказались запертыми. И прошли еще сутки, когда в башню пришел пан Гонта.

— Матерь Божия даровала вам спасение, москвиты, — приветствовал их хранитель замка. — Идите ко мне и вкусите пищи.

С тех пор прошло больше года. Первое время узники прятались на ночь в своей маленькой крепости. Но Петр Скарга больше не появлялся в Мальборгском замке. Король Сигизмунд давно забыл о русских пленниках. Польша рассталась с надеждой овладеть российским престолом, и потому все русское предавалось забвению. Так же поступил и Петр Скарга в отношении русских узников. Лишь пан Гонта по-прежнему не стеснялся заставлять Филарета работать у себя по хозяйству. Он же не гнушался никакой работы и находил в ней забвение от горьких дум о судьбе князя Василия, о своей. В работе он забывался от тоски по родным и близким, по отчизне.

Хуже было князю Василию. Он уже не мог выходить из башни, силы его истощились и он продолжал медленно угасать. В его жизни наступило временное оживление лишь в тот день, когда узникам принесли весть о скором их освобождении. В Мальборгский замок приехал чиновник из Варшавы и объявил Филарету и Василию о том, что их вот-вот повезут в Россию и там обменяют на польских пленных.

Услышав о близости столь долгожданного освобождения, узники, не стыдясь слез, заплакали. Но если Филарет радовался скорому свиданию с родными и близкими, то князь Василий лишь рвался душою к родной земле, дабы увидеть ее, приласкать да и лечь на вечный покой.

Но путь узников в Россию оказался неблизким и долгим. В середине мая в Мальборгский замок вновь прибыл чиновник в сопровождении жандармов. Они посадили Филарета и Василия в крестьянскую телегу и повезли не к Псковщине, коя была совсем близко от Мариенбурга, а на юг, к Вильно и дальше, в сторону Варшавы. Ехали медленно, делали в день не больше тридцати верст. Труден и скорбен был этот путь для узников Мальборга. Князь Василий доживал последние дни. Митрополит ничем не мог его утешить, лишь по просьбе князя читал на память псалмы. Он помнил многие хвалебные песни Давида и его псалмы на дни недели.

— Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя, — начинал Филарет тихо, не выпуская из своей руки холодную руку князя. — Воздай, Судия земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие, речи величаются все, делающие беззакония. Пожирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют. И говорят: не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди!

Князь Василий в такие минуты закрывал глаза. И голос Филарета, казалось ему, доносился из небесной выси, славный, всегда успокаивающий, всегда милосердный к ближнему. Князь благодарил Бога за то, что послал ему на годы заточения такого душевного и стойкого духовного отца. Как часто в минуты отчаяния князь предавался греховным помыслам об избавлении от земной юдоли. Но Филарет каждый раз развеивал его черные побуждения и вселял в него жажду жизни. Голос Филарета продолжал завораживающе звучать:

— Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляеши Ты, Господь, иставляешь законам Твоим, чтобы дать ему покой в бедст-

венные дни, доколе нечестивому роется яма! Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего!

Так, под чтение псалмов и молитв, узники достигли Вильно. Весь путь Филарет просидел рядом с Василием, ничего не видя окрест, а только бледное лицо друга, уже похожее на маску. Митрополит не выпускал руку Василия и потому удерживал его на белом свете. Но как прибыли в Вильно и расположились на постоялом дворе, князь Василий, которого перенесли в помещение и положили на топчан, открыл глаза и тихо сказал:

— Исповедуй меня, брат мой и отец мой и незабвенный сотоварищ-друг на всем моем тернистом пути. Печалуюсь об одном, о том, что не достиг порога отчего дома. Но я умоляю тебе, довези меня до свободной русской земли и похорони там...

— Обещаю, брат мой! Целую крест пред ликом Господа Бога, что все исполню, как твоей душе угодно.

Князь Василий пошевелил рукой, Филарет понял это движение, взял его за руку.

— Настал час, исповедуй же, прими мое покаяние, причасти... — последнее слово князь произнес уже так тихо, что Филарет лишь по губам понял его значение.

И Филарет исполнил таинство исповеди, покаяния и причастил князя Василия. Он же после этого закрыл глаза и будто уснул. Но Филарет знал, что князь уже никогда больше не откроет своих глаз. В вечернем сумраке в покой влетели Святые Духи, взяли душу усопшего и вознеслись с нею в Царство Небесное. Филарет опустил на колени близ тела покойного и всю ночь читал молитвы, читая их, он плакал, не замечая слез. В эти часы он ничего не помнил о себе, о том, что нужно делать какие-то дела. Вся сила его души была отдана усопшему, будто он надеялся воскресить ставшего ему родным князя.

Под утро затмение Филарета прошло, горе утраты побудило его к действию. Он потребовал от сопровождавших его служилых чинов, чтобы из Вильно открыли прямой путь на Сморгонь, на Молодечно и Минск, чтобы как можно скорее доставить тело князя в Россию. Однако ни просьбы, ни мольбы, ни требования не пробудили сочувствия в сердцах польских чиновников. Ему было велено похоронить князя в Вильно. Филарет не сдавался. И, кажется, нашел верный путь к черствым душам чиновников.

— Князь Голицын был очень богат и вы получите хорошую награду, если проявите милосердие и доставите князя в Россию.

— Как можно верить тебе, москвит, ежели ты сам нищий, — отвечали чиновники.

— Вы должны мне верить! Я отец русского царя и у меня есть достояние, дабы заплатить за хлопоты и труды.

И Филарету удалось побудить поляков совершить доброе деяние. Все пришло в движение. Кто-то отправился покупать гроб у виленских мастеров, кто-то добыл большой ларь и наполнил его льдом в леднике у пивовара. Тело усопшего переодели в новые одежды, гроб поставили в ларь со льдом, все засыпали опилками. И спустя день из Вильно выехал траурный поезд. Мчали на перекладных, не останавливаясь на ночлег, на отдых, позади оставили Минск, Смоленск, Дорогобуж. И впервые в жизни Филарет молил Бога о том, чтобы послал сопровождавшим его полякам все земные и небесные блага. На девятый день пути тело покойного было доставлено в его родовое имение и там, после отпевания в церкви, предано земле.

Когда обряд погребения был завершен, полякам щедро заплатили и они вновь взяли Филарета под надзор и теперь уже, по ритуалу посольской договоренности, повезли на речку Поляновку, где все было приготовлено к обмену пленными. Ехали теперь медленно и, кажется, долго. Сам Филарет потерял счет времени. Он был в каком-то полужабыти. Сказались долгие годы лишений, страданий, духовные и телесные муки — бесконечно долгий путь по терниям. И было неведомо что давало силы Филарету преодолевать выпавшие на его долю жестокие испытания. Да все сводилось к одному: помогли ему выстоять в борьбе с невзгодами его крепкая вера в Господа Бога, в предначертания судьбы и провидения, которые вели его по жизненному пути. Но Филарет не только уповал на Всевышнего. Он и сам каждый день своей жизни утверждал праведным трудом и жаждой творить добро. Он отдавал себя людям, служил им, не требуя ничего взамен, и от этого становился не беднее и слабее, а день ото дня укреплялся в духовной и нравственной силе. Не скудела и плоть его, потому как он давал ей ту пищу, от которой прирастают не тела, но мощь и крепость.

По мере движения по родной земле, которую не видел долгих девять лет, Филарет обрел равновесие, ясность ума и жажду все вокруг видеть, примечать и запоминать. Правда, на пути к свободе по родной земле он мало увидел чего-либо отрадного. Вся Русь западнее Москвы лежала в разорении, от многих деревень остались лишь заросшие бурьяном пепелища, пашни заросли кустовьем и кочкар-

ником. Крестьяне, что встречались на пути, выглядели полудикими жалкими нищими. Многие пошатнулись в вере и разучились осенять себя крестом. В деревнях и селениях почти не было видно детей, будто русские бабы вовсе перестали рожать. К неутешительному выводу пришел Филарет, пока добрался до речки Поляновки: последствия смуты еще царствуют в России и их надо преодолеть. И сделать сие можно только тогда, когда в державе будет сильная государственная власть.

Но вот, наконец-то, Филарета привезли на долгожданную речку Поляновку. На восточном берегу Филарет увидел полевой стан. Там многие россияне чем-то занимались. Несколько плотников заканчивали сооружение второго деревянного мостика через речку. С появлением Филарета за рекой раздались возгласы, крики, в небо взлетели шапки.

Процедура обмена была медленной. Вначале меж собой поговорили посольские люди, поляки известили россиян о смерти князя Голицына. Потом те и другие ушли совещаться, а как сошлись второй раз, то уже ненадолго. И тотчас с русской стороны привели группу пленных поляков. Тут же польские уланы взяли Филарета за руки и повели к левому мостику. Но тут чиновникам взбрело в голову пререкаться, кому первыми отпускать пленников. Поляки требовали свое, а князь Катырев, которого Филарет узнал — свое. Споры затягивались, потому как каждая сторона защищала свой интерес, боясь подвоха. Терпение у Филарета лопнуло и он крикнул через речку:

— Эй, россияне! Эй, князь Катырев, отпустите с Богом поляков, пусть идут домой, а там и мой черед придет.

Россияне, однако, медлили. Ведь они хотели видеть не только Филарета, но и князя Голицына. Филарет понял суть спора и отозвался:

— Не будет князя Василия, он умер в пути и предан земле.

И над речкой повисла тишина. Путь по правому мостику был открыт, и пленные поляки поспешили к своим, радуясь обретенной свободе. И среди них, если бы у Филарета было острее зрение, он увидел бы братьев Юзека и Юлиана, сыновей пана Гонты. Они же увидели его и закричали. Филарет понял, о чем его спрашивали и кто, ответил:

— С Божьей помощью все ваши живы и здоровы! — Увы, всей правды он не сказал, скрыл, что жена одного из братьев сбежала из замка.

Но вот, наконец, поляки приняли своих воинов и уланы отпустили руки Филарета. Он вступил на шаткий мостик,

отделяющий его от отчизны. Он шел степенно. А близ мостика уже толпились царедворцы, и в центре их Филарет увидел своего сына, царя Михаила. Тот растолкал придворных и ринулся к отцу. Филарет прижал сына к груди, многожды поцеловал его в мокрое от слез лицо, да так они и пошли в обнимку к ожидающей их карете. Случилось это в начале июня 1619 года.

В Москве царь Михаил и Филарет появились спустя несколько дней. По просьбе Филарета, они возвращались кружным путем. У тверской заставы, на виду у тысяч москвитян царь и митрополит вышли из кареты и вошли в Москву пешком, держась за руки. Видя это единение, москвитяне радовались, потому как узрели доброе предзнаменование. К великому счастью москвитян и всех россиян, они не ошиблись в своем предчувствии. Все деяния царя Михаила и его отца долгие четырнадцать лет говорили о том, что во главе России встали два достойных радетеля земли русской.

Глава девятнадцатая

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ — ДЕЛА ГОСУДАРЕВЫ

Однако не все россияне радовались возвращению Филарета. Были среди них такие, которые знали о нем не только как о милосердном христианине, но и как о человеке крутого нрава, отменно суровом в минуты гнева. Среди царедворцев возникло смятение. Им было привольно жить при мягкотелом царе, который еще не вызрел умом и характером. Но как бы кто-то не желал видеть в Москве Филарета, судьбе было угодно, чтобы он вернулся в нее, в родительский дом, на милую Варварку. Как часто он ее вспоминал в мальборгском заточении. Ведь здесь, на Варварке, прошли его лучшие годы жизни: детство, молодость, полная дерзаний, да и зрелые годы было чем вспомнить. Теперь все это было в прошлом и жизнь нужно было начинать заново.

И не было случайностью то, что от речки Поляновки Филарет добирался полторы недели. За эти дни Филарет и его сын царь Михаил побывали в калужской и тульской землях, во многих городах и селениях московской земли. В этой поездке Филарет не проявлял воли к действию, нигде и никого не побуждал к делам, не осуждал за нерадивость. Он хотел лишь увидеть жизнь россиян во всей обнаженности и взирал на неприглядную российскую действительность

жадно и с состраданием. Он и сына побуждал к тому, чтобы тот смотрел на все пристально и все запоминал.

Сам Филарет от всего увиденного был повергнут в уныние и ощутил глубокую душевную боль. Еще в пути от Смоленска до московской земли он увидел лишь малые ростки восстановления порушенного. Теперь же, во время поездки с царем, он убедился в том, что за шесть лет царствования Михаила в державе ни на шаг не придвинулись к благополучию, не вырвались даже из объятий разрухи и нищеты. Филарет пока не знал, чем это вызвано, но душою почувствовал, что кому-то такая держава, где все развалилось и продолжает ползти к полному упадку, выгодна. Ведь у тех «доброхотов» есть право и основания обвинять государя в беспомощности, в неумении управлять державой и навести в ней порядок.

Вернувшись в Москву после десятилетней разлуки с нею, Филарет еще долго пребывал в стороне от державных и церковных дел. У него было право отдохнуть и набраться сил. Но это было лишь видимое безделье Филарета. Иногда он покидал палаты, ходил по Москве, появлялся на торжищах и пристально наблюдал за жизнью россиян. Он побывал в слободах ремесленников, в московских монастырях. Позже, пользуясь правом царева отца, он обошел все державные приказы и там вел беседы со служилыми дьяками и подьячими. Он узнал состояние государственной казны, изучил роспись доходов и расходов. Порою он возвращался в тот или иной приказ и приводил с собой царя Михаила, собирал приказных дьяков и вел с ними беседу. Из этих бесед вытекало, что приказы работают не так, как нужно, указы исполняются вяло или вовсе не исполняются, на земские приговоры в приказах смотрят сквозь пальцы и считают необязательным приводить их в действие.

После того, как Филарет понял, что просветил сына о положении дел в приказах, он попросил Михаила собрать Боярскую думу в неурочный день.

— Мы с тобой, сынок, должны знать доподлинно, как бояре радеют над устройством государства, — сказал Филарет Михаилу.

Царь Михаил внимал каждому слову отца с благоговением и безусловно боготворил его. Все, о чем говорил ему отец, он не подвергал сомнению. И если отец сказал, что надо послушать думных бояр и дьяков, значит, так сие и должно быть.

Неурочный созыв Боярской думы вызвал среди царедворцев кривотолки. Старица-государыня Марфа попыта-

лась даже запретить царю Михаилу собирать Думу. Но Михаил поступил так, как просил отец. Во время заседания Думы Филарет ничем себя не проявил. Он сидел рядом с боярином Федором Шереметевым, изредка переговаривался с ним, но больше молчал и слушал, да с особым вниманием тех, кто был близок к Романовым по родству и свойству. Перед заседанием Филарет подсказал сыну, о чем вести разговор в Думе. Хотел Филарет знать, что делают думцы и земцы, дабы возвращать крестьян на заброшенные земли, как думные головы относятся к воеводам по областям и к воеводству в целом. И выяснилось, что крестьянством никто толком не занимается, а областных воевод бояре лишь всячески чернили. Ни у кого из них не нашлось доброго слова.

Сам Филарет считал воеводу главной движущей силой на пути державы к выходу из разорения и нищеты. Он и к земцам в областях относился так же. Не случайно же во время смуты Россия выстояла благодаря земскому движению и усилиям воевод из областей. Их полномочия в ту пору были чрезвычайными. Они держали в своих руках военную и финансовую власть, поместное управление, ремесла и торговлю. Конечно, считал Филарет, воеводы должны быть исправными исполнителями царских указов, различных предписаний державных приказов. Но как часто эти указы и предписания были ошибочны. И только умный, бескорыстный и честный воевода мог с пользой для державы применить в своей области все веления стольного града.

Просидев весь день на заседании Думы и наслушавшись споров и ругани, Филарет опечалился. Он увидел, что думские головы вовсе не сведы в том, как живет Россия за московскими заставами, и не понимают воеводских забот, а все дело управления воеводами находится в полном расстройстве. Филарет был возмущен. Но еще больше он возмутился оттого, что бояре старых именитых родов ни во что не ставили молодого царя, не слушали его, когда он говорил, вели праздные разговоры. Князь Юрий Черкасский пытался усювестить их, но напрасно. Бояре лишь усмехались в бороды да горлатные шапки натягивали пониже на глаза. Они хорошо знали свои права, которые отвоевали у молодого царя, когда сажали его на престол. Оно так, размышлял Филарет, его сын никогда не преступит крестного целования и никого из вельмож не будет казнить ни за какие тяжкие преступления, поди, и ссылать не будет, как ссылал сотнями Борис Годунов. Но царь, однако, их отец, и его должно уважать.

Филарет вник в ту подкрестную запись, на которой целовал крест царь Михаил. Она, эта запись, лишала государя всякой власти. Все он должен был делать только с ведома Боярской думы, и она же управляла державой. И правительница Марфа порою была бессильна против думцев. Размышляя по сути, Филарет мог бы согласиться с этим, если бы не знал тех дремучих голов, кои заседали в Боярской думе. Все они хорошо усвоили одно: грести под себя зерна, отменяя плевела. Выяснил Филарет и другие сделки думных бояр с совестью. В ту пору, пока он пребывал в польском плену, бояре потребовали от Земского собора оградить их законом от какого бы то ни было царского произвола. О каком произволе шла речь, Филарет не знал. По характеру своему милосердный Михаил и мухи не мог обидеть. Из всего этого напрашивались печальные выводы, и потому Филарет пришел к мысли о том, чтобы попросить царя собрать Земский собор. Он надеялся, что ежели побудить выборных всей земли к действию, то они сделают для державы больше, чем Боярская дума и государевы приказы в том виде, в каком они пребывали. Филарет был уверен, что земцам удастся всколыхнуть народ, поднять его на «государево дело», на исполнение гражданского долга во имя России. Земцы смогут избавить народ от шатания, порожденного в годы смуты.

В эту пору царь Михаил еще занимал палаты царицы Анастасии. И Филарет поселился в них, потому как с Варварки не все было видно, что происходило в Кремле. И как-то вечером, за трапезой, он спросил Михаила:

— Сын мой, ты будешь в согласии, ежели я попрошу тебя провести Земский собор? Чем там выборные живут, хотелось бы мне знать.

— Как скажешь, батюшка, так и будет.

— Вот и славно. Ты его после нового года в пору бабьего лета и собери. Добавлю к тому то, что тебе важно помнить: ноне Земский собор может быть сильнее Боярской думы, ежели призвать его к усердию.

Филарет наставлял сына исподволь и не навязывал ему своего мнения о государственных делах, разве что вот о земцах дал понять. Но беспокойство у Филарета по поводу сына имелось. Хотя Михаилу шел уже двадцать третий год, он еще не созрел для важных государственных решений. А причина, как догадывался Филарет, была в том, что государыней в державе являлась мать Михаила, бывшая супруга Филарета, инокиня Марфа. Цепкий ум Филарета без труда определил роль Марфы в управлении

делами. Она властвовала открыто, но узость ее мышления сводила на нет ее же усилия. Жажда оградить царский трон людьми по родству и свойству, поставить их во главе всех возможных государственных служб в конце концов сослужили ей плохую службу.

Честный и прямодушный Филарет понял, что ему и Марфе не дано быть вместе близ царя. Либо он не должен был вмешиваться в державные дела, либо она. Когда же здравый смысл подсказал, что ее стояние рядом с сыном губительно отражалось на всей жизни России, то вывод напрашивался один. И было над чем подумать Филарету, прежде чем встать в открытую возле царского трона и отторгнуть от дел Марфу. Между тем в нем уже созрело убеждение, что его месте только возле сына. Он верил, что в этом случае царствование Михаила будет благодатным для России. И оставалось одно: заявить о себе как о человеке, имеющем право на участие в государственных делах. Решение было принято и, Филарет вступил на тропу борьбы за свое место в державе.

Но, входя в круг государственных забот, вникая в них, Филарет не мог обойти стороной и семейные дела, потому как считал их неотъемной частью державных. Еще в первый день своей встречи с сыном Филарет узнал о тяжелых переживаниях Михаила из-за того, как неудачно сложилось его желание жениться на Марии Хлоповой. Оказалось, что кому-то из царедворцев род Хлоповых не нравился, а кое-кто и боялся боярина Ивана Хлопова.

Когда ехали лесными дорогами калужской земли, Филарет попросил:

— Миша, расскажи, как все было. Кто она, твоя избранница?

— Она боярская дочь, Мария Ивановна Хлопова. И смотрины были, и обручение — тоже. И батюшка Маши благословил нас...

— Знаю боярина Ивана. Помню его добрую семью. Хлоповы всегда тянулись к нам с открытой душой. Какая же напасть расстроила вашу свадьбу?

— Ведома мне та напасть, да не верю я в нее. Вскоре же после обручения и застолья Мария Ивановна, назвавшая себя в честь твоей тетушки Анастасией, заболела якобы какой-то черной хворью, а какой — не ведаю. Дальше — хуже. Сказано было мне, что Мария Ивановна не способна быть царицею, потому как роду-племени от нее не прибудет.

— Вон как повернули, проныры, — вздохнул Филарет.

— И еще сказали мне лекари, что она не способна служить радостям государя. Холодна, говорили, аки вода в проруби.

— Ну, а матушка что сказала, защищала ли тебя и Хлопову?

— Ей Марьюшка приглянулась. И матушка была с нею ласкова. Бояр она увещевала, говорила, что лекари обмишулились, но бояре удила закусили.

— И что дальше было? — торопил сына Филарет.

— Совсем худо приключилось. Хворь Марьюшки сочли Божиим наказанием. И Боярская дума по настоянию боярина Михаила Салтыкова нашла в ней виновность. Ее и всю семью Хлоповых приговорили к ссылке в Пелым или Верхотурье.

— Защитил бы невестушку. Ты ведь царь, — попрекнул Филарет.

Михаил молча и виновато посмотрел на отца. И Филарет без слов понял сыновью боль и то, что он был бессилен что-либо сделать. Отец прижал сына к себе.

— Держись, сынок, держись! Мы эти напасти одолеем и еще выпьем кубок на твоей свадьбе.

Филарету было жалко сына, как бывает жалко сильному слабому. Он больше не затевал разговора о неудачном сватовстве, но сам запомнил все, о чем рассказал Михаил, и дал себе слово во всем беспристрастно разобраться. Однако окунувшись в московскую жизнь, Филарет не скоро смог взяться за расследование причин опалы Марии Хлоповой и ее родителей. Лишь спустя четыре месяца после возвращения из плена он нашел возможность возбудить дело о Хлоповой вкупе с другими неблагоприятными делами боярина Михаила Салтыкова, сына боярина Михаила Борисовича Салтыкова, первого рьяного царедворца у обоих Лжедмитриев.

Отстраненная московская жизнь Филарета завершилась. И как только он взялся расследовать дело Хлоповых, о нем заговорили царедворцы и все московские вельможи. Но и архиереи церкви не оставили Филарета без внимания. И первым его посетил местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий Ефрем. Сильно постаревший и страдающий ногами, он с трудом сошел с амвона Благовещенского собора и в сопровождении услужителя пришел в царские палаты, с укором сказал Филарету:

— Брат мой, ты уже многие дни в Москве, почему же не пришел на совет архиереев, о коем тебя уведомяли? — Ефрем всегда был строг и прямодушен в общении.

Филарет выдержал суровый взгляд Ефрема и честно признался:

— Я был не готов, сомнения одолевали. Ты уж прости, владыко.

— Бог простит, — ответил Ефрем. — Приходи ноне вечером в патриаршие палаты на беседу.

— Приду, владыко, — ответил Филарет.

После вечерни, на которую Филарет пришел вместе с царем Михаилом, митрополит Ефрем снова сошел с амвона.

— Сын мой, государь-батюшка, — обратился он к царю, — я позвал твоего родимого на беседу. Не обойди и ты меня добротой, приходи испить сыты.

— Давно у тебя не был, отче владыко. Сей же час и придем, — с радостью отозвался Михаил.

Филарет посмотрел на сына с удивлением. Показалось ему, что голос у Михаила прозвучал звонче, чем обычно. И сердце в сей миг у Филарета дрогнуло. Отчего бы? И понял он, что вещает старое о какой-то напасти. И вспомнил: сказывали ему, что ясновидица Катерина, как и в прежние годы при Гермогене, служила домоправительницей в патриарших палатах. Давно Филарет о ней не вспоминал, утонули в памяти и ее ясновидческие предсказания о том, как она нарекла ему быть патриархом всея Руси. И любовь к ней угасла. Оно и посмотрел бы на нее, да без нужды. Что тревожить минувшее? Тут же Филарет вспомнил, что у Катерины есть дочь. Видел же он ее лет десять назад. Тогда она была еще малой отроковицей, но обжигала взглядом маминых глаз. Какова она теперь, девицей став? Да не было ли у сына Михаила мимолетной встречи с ней? И не оттого ли голос как колоколец прозвенел. «Ой, лихо Мишеньку ждет, коль ожегся!» — воскликнул Филарет в душе. И чего в том душевном всплеске проявилось больше, печали или удивления, Филарет не успел разобраться. Митрополит Ефрем о чем-то спрашивал, а он глухарем на того смотрел.

— Что ты сказал, владыко? — очнулся Филарет.

— Говорю, домоправительница Катерина по случаю праздничную трапезу приготовила.

Филарет только покивал головой и осмотрел храм, словно искал повод, дабы отказаться от гостевания. Богомольцы уже покидали собор, лишь вельможи царской свиты ждали государя, чтобы проводить его во дворец. Вот и царь Михаил пошел к выходу и свита потянулась за ним. Филарет взял сына под руку, пытаясь вести его домой, а Михаил за вратами собора повернул не к своему дворцу, а к пат-

риаршим палатам. Он и свиту отпустил, и похуже, что спешил, шел впереди Ефрема.

Ноги у Филарета потяжелели, стали будто деревянные, и он едва передвигал их. И теперь он уже откровенно боялся за сына, потому как утвердился в мысли о том, что Михаила влечет в патриаршие палаты страсть, какою страдал и он, Филарет, с первого мгновения, как увидел Катерину-девицу. Это были сладкие страдания, они принесли Филарету истинное счастье любви. Но ведь он-то был всего лишь удалой князь, а сын-то — государь! И вспыхнуло в груди Филарета побуждение остановить сына, сказать ему, чтобы не шел в патриаршие палаты, дабы не попасть безвозвратно в сети греховной страсти. Знал Филарет, что и Ксюша, как матушка, сильна ведовством. Может, и от Бога оно, да суть не в том, все равно налицо урон царской чести. И перед самым крыльцом у Филарета вырвалось незнакомое самому хриплое предупреждение:

— Сынок, родимый, остановись! Послушай, что скажу!

Ефрем же дверь открыл перед царем и Филарету сказал:

— За трапезой и скажешь, брат.

А Михаил смотрел на отца не то чтобы с вызовом, но спокойно и с достоинством. Да было в его лице еще что-то загадочное, чего Филарет не смог разгадать. Он лишь беспомощно вздохнул и вошел следом за сыном в патриаршие палаты.

В передней гостей встретили постаревший архиерей Николай, много послуживший патриархам Иову и Гермогену, еще воевода Михаил Бутурлин, которого Филарет увидел впервые, и Катерина. Рядом с нею стоял восьмилетний сын Андрей.

— Вот и домочадцы ждут нас, — ласково пропел Ефрем и всех осенил крестом.

Они же низко поклонились царю. Да возникло некое замешательство, потому как Ефрем не знал, представлять ли ему «домочадцев». Но неловкую паузу оборвала Катерина:

— Милости просим, царь-батюшка, милости просим, владыко Филарет, — кланялась Катерина. И, улыбаясь, добавила: — Гости желанные, сколько радости доставили нам. Вот и супруг мой, воевода Михаил Бутурлин, вернувшийся ноне с порубежья, кланяется вам и многое поведаст о делах на западном рубеже, — частила Катерина.

Смущение прошло. Отрок Андрей подошел к царю, смело сказал:

— Царь-батюшка, я хочу воеводой быть, как мой родимый, на коне скакать на войну.

— Не избудешь судьбы, отрок Бутурлин, — ответил Михаил.

— Да лучше бы нам вовсе не воевать, — вмешалась Катерина. И тут же еще раз поклонилась Филарету. — Слава Отцу Всевышнему, что избавил тебя от мук пленения. Ноне же сбудется то, о чем ты запамятовал и что было тебе навеяно в давние годы.

— О чем ты говоришь, дочь моя? Все прошлое в памяти выветрилось, — признался Филарет.

— Оно и во благо, и напоминать не буду, — ответила Катерина. — А у нас ноне прощальный ужин, мы себе новые палаты на Пречистенке поставили.

На пороге трапезной Филарет остановил Катерину, взял за руку.

— Ксюша твоя где? — спросил он не своим голосом.

Катерина внимательно посмотрела в горестно встревоженные глаза Филарета и все поняла. И было ей легко понять, потому как сама болела за дочь и за царя.

— В опочивальне она и к столу не звана, — успокоила она Филарета.

— Вот и слава Богу, — вздохнул с облегчением Филарет.

Стол в трапезной был накрыт, и митрополит Ефрем уже усадил царя на почетное место. Рядом же попросил сесть Филарета. Сам сел напротив них и Бутурлину показал место близ себя. Катерина же незаметно покинула трапезную, видно, такая необходимость возникла. Ефрем даже во след ей посмотрел: ушла ли? И кубок взял.

— Дорогие гости, царь-батюшка и владыко Филарет, — начал Ефрем, — был у нас, архиереев, совет о сиротстве Русской Православной Церкви и доколь мне местоблюстителем патриаршего престола быть. И сошлись мы на том совете единодушно в одном: бить челом тебе, государь-батюшка, и тебе владыко Филарет, чтобы изошло от вас согласие.

— В чем же суть его? — спросил Филарет.

— А в том, чтобы ты, владыко, был венчан на патриаршество. Слово сие от всех архиереев церкви. Мы не видим достойнее тебя, владыко. За сие и пригубим по православному обычаю. — И Ефрем потянулся с кубком к царю и Филарету.

Но ни царь, ни его отец не поспешили отозваться на неожиданную речь местоблюстителя. Михаил слышал о побуждениях архиереев, но отнесся к ним осторожно. И теперь смотрел на отца, пытаясь разгадать его отношение к новости.

А Филарет почувствовал, как в груди у него все жалось, и показалось ему, что даже сердце остановилось. И вспыхнуло видение: вековой дуб в лесу под Звенигородом, и он с Катериной под этим дубом, и ее слова, как огненные письма: «Быть тебе, князь Федор, патриархом всея Руси. А когда, за окоемом не вижу!»

Вот он, окоем, придвинулся. Минуло с той далекой поры более тридцати лет, и жизнь уже прожита, а пророчество сбылось. «Да прожита ли?!» — удивился Филарет и, ощутив в груди только жар горения, но не холод забвения, ответил Ефрему:

— Коль царь-батюшка не против взять в духовные отцы своего родимого, я дам согласие архиереям и всем православным христианам послужить им и Господу Богу.

И тогда сказал свое слово царь Михаил:

— Мне ли не согласиться! Батюшка мой многие мучения принял за веру, за Русь! Ему и быть патриархом на отраду мне и державе!

— Хвала Всевышнему, что побудил вас услышать молитву россиян. Да закрепим сию торжественную минуту Божиим питием! — И Ефрем побудил Михаила и Филарета взять кубки. И прозвенело серебро и все охотно выпили медовухи, потому как знали, что пьют во благо.

И потекла беседа об устройстве церкви и державы, о неотложных делах. И все послушали воеводу Бутурлина о том, чем живет Польша, о новых потугах королевича Владислава возродить мощь своего государства.

— Речь Посполитая нынче ослабела, король Сигизмунд Ваза умирает. Владислав, рьяный поборник войны, не добившись наследия Рюрика и Мономаха, в растерянности, потому как польская знать не желает воевать с Россией. Владислав угнетает своих вельмож. Они, по его мнению, одряхтели и не способны к победам... А на западных рубежах Польши появились сильные молодые государи — все враги Владислава. И потому нам нужно подумать, как ноне вернуть Смоленск и все исконные русские земли по Днепру...

Филарет соглашался с бывалым и умным воеводой. Он тоже считал, что Россия слишком дорого заплатила за перемирие. К тому же Филарету было что сказать о Польше. За долгие годы заточения в Мальборгском замке он по крупицам составил мнение об этом государстве. И сводилось сие мнение к тому, что в Польше одряхлела не только высшая знать, но и все шляхтичи, все чиновники государственной службы, и казалось Филарету порою, вся нация

задыхается от старческой немощи. И ежели не произойдет ее омоложения, во что верилось с трудом, то Польша будет легкой добычей западных соседей, да прежде всего Австрии и Германии. И Филарет поделился своими размышлениями. Беседа была долгой, и он как-то не придал значения тому, что сын вышел из-за стола и скрылся из трапезной.

Михаил ушел от беседующих не умышленно, но движимый непонятной ему силой. Покинув трапезную, он направился в ту половину дворца, где были покои домоправительницы. Он шел к опочивальне Ксюши решительно, хотя душа его трепетала. Но он одолел робость, движимый одним желанием — увидеть несравненную Ксюшу. Он жаждал услышать ее голос, прикоснуться к ней рукой, чтобы хоть немного усмирить ту боль, коя одолевала его вот уже шесть лет. За прошедшие годы он видел ее всего несколько раз да и то мельком, но ни единожды лицом к лицу. Однако ее образ жил в Михаиле ярко и неугасимо. Даже невеста Мария не могла вытеснить его, хотя сама она пришлась Михаилу по вкусу.

Влюбленный в Ксюшу царь знал, что девушку от него скрывают. Однажды он остановил Катерину и спросил ее: за что такая немилость, почему он лишен даже возможности видеть ее.

— Ведь я Ксюше никакого урону не принесу, ни чести ее, ни совести, — убеждал царь Михаил Катерину.

Она же, опустив устало руки, но пристально смотря царю в глаза, сказала:

— Нет на то воли Всевышнего, чтобы видеться вам, царь-батюшка, — с тем и ушла.

В размышлениях о Ксюше, царь летел сеньями и вздрогнул, когда на его пути возникла Катерина. Что там греха таить, она стерегла дочь.

— Царь-батюшка, ты заблудился, — сказала Катерина ласково.

— Да нет. Я хочу увидеть Ксюшу, услышать ее голос, сам сказать доброе слово.

— И скажи, а она услышит.

— Пусти меня к ней, а так что же?

— Да спит уже отроковица, — пустилась на хитрость Катерина.

— И хорошо. Дозволь на спящую глянуть. Ведь я же царь. Мне можно.

— Не желай себе худа, царь-батюшка. Ксюша для тебя токмо горе неизбывное. — Твердо стояла на своем Катерина: не пускать царя в девичью.

Царь и Катерина стояли так близко друг к другу, что казалось, касаются грудью. Михаил даже пытался оттеснить Катерину.

— Не будет мне от Ксюши никакого лиха. — И тут Михаил сказал такое, от чего у Катерины зашлось сердце: — Ведь ты же токмо радость приносила батюшке. Божьей благодатью ты ему была!

— Господи, да откуда тебе ведомо, кем я для него была?!

— Слышал я твой разговор с матушкой. Ан батюшку я не осуждаю.

— Но твой батюшка был токмо князь и боярин. Ты же — царь.

— Что с того, ежели я покой потерял. У меня и душа и сердце есть, — пожаловался печально Михаил.

Катерина поняла царя. Да и как не понять, ежели знала, какой силы ожег его огонь. И попыталась заглянуть в будущее дочери, узнать, что там, за окоемом. Но странно, ничего не смогла увидеть. И поняла, что дочь сильнее ее и крепко оберегает от постороннего ока свой мир. Еще поняла, что уж если у Ксении загорится в душе свеча и Михаил будет ей люб, ничто не остановит девицу на пути к нему. И в сей миг, поди, царь шел к ней по ее воле. И Катерина уступила потерявшему покой царю, во всем положила на волю Божью. Она склонила перед царем голову и отошла в сторону. И он, словно на крыльях, полетел к девицке. Сама Катерина прошла в трапезную, незаметно села близ мужа и просила небесные силы, чтобы они не побудили в сей час Филарета искать сына.

Филарет и впрямь забыл в этот вечер о Михаиле. Он с вниманием и с болью в глазах слушал рассказ митрополита Ефрема о напрасных гонениях архимандрита Дионисия, сильного воителя и защитника отечества, и прежде всего Троице-Сергиевой лавры.

— Суд над Дионисием, ты уж прости, владыко, за истину, — продолжал Ефрем, — учинила старица Марфа-государыня по навету на него злых людей. И был сей суд возмутительный, издевательский и несправедливый. Вина же Дионисия малая: избавил молитву о водоосвещении от ненужной добавки «и огнем».

— Да и не вина сие, а доброе побуждение! — невольно воскликнула Катерина, хорошо зная благочестивого Дионисия.

Филарет выслушал Ефрема внимательно, на Катерину глянул. Он верил, что и Ефрем и Катерина не вознесут напраслины. И ответное слово его было суровым:

— Дионисий истинный боголюбец и великий радетель за православную веру. Я сниму с него опалу, кто бы ее не наложил.

В сей миг за спиной Филарета возник царь Михаил. Катерина заметила, что лицо его было освещено светлым сиянием. И Катерина поняла, что встреча царя и Ксюши была им во благо. Она и сама посветлела лицом, а чтобы Филарет сего не заметил, потянулась за кубком и выпила медовухи.

Однако Филарет заметил-таки отсутствие сына за столом, но не предал сему значения, мало ли что увело его. И беседа за столом не прервалась. Она давала будущему патриарху большую пищу для размышлений и пробудила в нем жажду деяний... Он еще раз подумал о том, что для него кончилось время созерцательной московской жизни, что пришла пора страдных дел.

Глава двадцатая

ФИЛАРЕТ — ПАТРИАРХ ВСЕЯ РУСИ

Ни у одного из священнослужителей, князей веры, кто возглавлял Рускую Православную Церковь, не было таких терний на долгом пути к патриаршеству, какие выпали на долю Филарета. Истинно мученический путь прошел сей пастырь с той поры, как в 1601 году подвергся со стороны Бориса Годунова опале, был пострижен в монахи и сослан в Антониево-Сийский монастырь, в северные земли под жестокий надзор приставов. Ан Русская Православная Церковь не сочла возможным причислить Филарета к лику святых. Поди, и справедливо. По нраву своему, по духу, он никогда не думал посвящать себя служению Господу Богу. В молодости — щеголь, любвеобильный князь, лихой гулена и тут же человек, жаждущий познать все светские науки, в зрелые годы — думный боярин, государственный муж, политик, рьяно пекущийся о державном благополучии, нетерпимый к мшеломству, исправный христианин и не очень верный семьянин. Он никогда не задумывался над догмами веры, никогда не видел себя в роли подвижника православия, жил заботами, далекими от церкви. Но судьбе было угодно изменить течение реки его жизни. Постриженный в монашество на срок пятом году жизни, он не сразу смирился с отлучением от светской жизни. В монашестве нередко проявлял веселый нрав, непочтительность к послушанию, забывал о молитве.

Но годы пребывания в монастыре прошли не даром. Он понял, что служение Господу Богу есть великая благодать, открывающая путь к совершенствованию духа и плоти. Ему, образованному человеку, было легче, чем другим, смириться с догмами церкви и веры, открыть в них тайну влияния на сознание, открыть беспредельность мироощущения, почувствовать прибывающую силу душевной стойкости и способность без надрыва освободиться от пороков светской жизни. Судьба была милостива к нему на пути восхождения по лестнице иерархов, дала возможность обогатить себя знаниями богословия. А служа митрополитом в Ростове Великом, Филарет постиг церковное искусство. Он умел направлять помыслы верующих на стремление к горнему миру и предостерегать людей от искушений. Его проповеди о вероучении были всегда доходчивы и глубоки. Позже, уже в плену, долгие споры с богословом-иезуитом Петром Скаргой укрепили в нем веру в то, что Русская Православная Церковь есть самая милосердная и человеколюбивая, она не угнетает духа верующих, но возносит его.

С годами Филарет обрел духовную мудрость и талант пастыря. И судьбе было угодно указать на него как на первосвященника Русской Православной Церкви. Но духовность истинного священнослужителя, каким стал Филарет, не вытеснила других его ярких положительных начал. В нем уживались и дух пастыря и дух государственного мужа, боль и радение за церковь и за державу в целом.

И потому вечер, проведенный Филаретом в палатах патриарха в обществе митрополита Ефрема, воеводы Бутурлина и ясновидицы Катерины, не только побудил его надеть святительские одежды патриарха, но и взять в руки бразды государственного правления. Вернувшись в царские покои, Филарет удалился в свою опочивальню, прочитал молитву на сон грядущий, но в постель не лег, а сел в кресло и взялся кропотливо перебирать в памяти все то, что увидел, узнал за прошедшее время в Москве после возвращения из плена. Он вспоминал посещение государевых приказов, свое присутствие в Боярской думе, свои встречи со многими вельможами и служилыми людьми. И постепенно перед его взором высветились все изъяны государственного правления. И как не было печально сие знать, но родимой матушкой многих извращений была его бывшая супруга инокиня, Марфа-правительница или же — государыня, как величали ее царедворцы. Она была полновластной хозяйкой державы. По ее повелению издавались царские указы, она меняла неугодных ей служилых

людей всех рангов, ее волей снимались и назначались воеводы. Да многое же из того, в чем нуждалась разоренная Россия, опять же по ее воле, вовсе не делалось.

Установив одну очевидную истину, Филарет двинулся к постижению другой. Могла ли властная женщина управлять государством только по наитию, не сведая в искусстве управления, подбирая на высокие должности людей лишь по родству и свойству, не способная охватить державу взором и не ведающая ее скрытой мощи? Явно не могла, пришел к выводу Филарет, но все делала вкупе с корыстолюбцами и мшеломцами, кои окружили ее и увлекли державу не к процветанию, а к окончательной разрухе.

«Во всем ли была виновна государыня Марфа?» — спрашивал себя Филарет. Ответ он нашел, казалось бы, убедительный. Привлекая к управлению державой людей по родству и свойству, она несла в себе два начала, и прежде всего личную вину. Не следовало бы ей так близко подпускать к власти многих из тех, кого допустила Марфа. Того же князя Михаила Салтыкова давно уже нужно было лишить всякой силы и отправить в вотчину, дабы там наводил порядок, ежели сможет. А сколько таких салтыковых в Кремле? Была Марфа виновна и в том, что государевы приказы работали спустя рукава. И суд неправый вершила над россиянами только своей властью. Несчастье Марфы крылось в том, что Господь не наградил ее державным умом. И в этом она была достойна снисхождения.

Но видел Филарет и другое — добрые деяния Марфы. Она, как могла, укрепляла дух царствующего сына. Ой как трудно было бы ему, если бы не было рядом матери с ее твердой и скорой на расправу рукой. Противники Романовых многожды пытались поднять головы, да скоренько их опускали. Она не давала им простору. Даже князь Иван Хворостинин, первый бунтовщик и смутьян той поры, был ею приведен в чувство. К ее чести, она сумела подобрать для борьбы с поляками таких воевод, которые не посрамили российского войска, но разбили поляков и добились перемирия. Четырнадцать с половиной лет передышки — это немало. За эти годы Россия может так прирасти мощью, что никакой супостат не будет страшен.

Нет, не следует сурово судить Марфу-государыню, матушку его сына, пришел к заключению Филарет. Однако же отстранить ее от государственных дел нужно было не мешкая. И тут Филарет осекся: ноне у него нет ни силы, ни власти удалить Марфу от дел. Даже супружеского права он лишен монашеством. И к сыну жаловаться на мать не-

гоже идти. Придя к такому неутешительному выводу, Филарет пришел к мысли о том, что ему надо ждать своего часа. Только тогда он сможет влиять на государственные дела, ежели встанет на патриаршество. Тогда по закону церкви он займет рядом с царем достойное место духовного отца, без совета которого, как испокон веку велось на Руси, государи не принимали ни одного серьезного решения. Разве что Иван Грозный попирает сей Божий закон. Да ведь ему за то и было воздано полной мерой, ушел из жизни без покаяния и причастия. И оставалось Филарету ждать милости Господней и избрания на патриарший престол.

Сие время не заставило себя долго ждать. С легкой руки митрополита Ефрема на другой же день после гостевания Михаила и Филарета у Ефрема по Москве и во все епархии помчались сеунчи, дабы созвать иерархов и архиереев в стольный град для избрания патриарха всея Руси. По московским церквам и соборам шли молебны во славу нового патриарха. Каждый новый день начинался колокольным благовестом. И все складывалось удачно для жаждущих поскорее увидеть Филарета на патриаршем престоле.

Как и всякое другое крупное событие в России, избрание патриарха не прошло гладко. Нашлись такие, кто обвинял Филарета в измене законному государю Василию Шуйскому, в служении «тушинскому вору». На папертях соборов и церквей, на торжищах в эти июньские дни разгорались споры, случалось, что они переходили в потасовки. Рьяные сторонники Филарета стояли твердо на том, что там во всем был виновен сам царь Василий. Удалой коробейник — шапка набекрень, кричал близ церкви Казанской Божьей Матери:

— Сей мшеломец надул нас, усрал Филарета из Москвы, сам же Ермогена поставил.

Мастеровые с Кузнецкого моста сбили с коробейника и шапку и спесь:

— Ты Ермогена-воителя не тронь! А то и голова за шапкой улетит!

— Да я рази против Ермогена-патриарха, — защищался коробейник, с опаской отступая от пудовых кулаков. — Токмо и Филарет сила, выстоял в полоне у ляхов.

И так по всей Москве с утра и до вечера шли то жаркие споры, то мирные беседы о новом первосвятителе церкви. И все сходились на одном: сиротство православных христиан закончилось.

В эти же дни в Москву приехал патриарх иерусалимский Феофан. Его приезд оказался очень кстати. Но знали

москвитяне, что появился он в Москве не по случаю избрания патриарха, а по другому поводу. В прежние времена восточные патриархи были частыми гостями в России, а причина одна — милостыню просили у русских царей по скудости своего бытия. И Феофан с той же целью прибыл, считали москвитяне. Да их отношение к бедствующим великодушно: рука дающего не оскудеет.

А пока шел торжественный прием патриарха Феофана и в его честь в кремлевских соборах шли божественные литургии, гонцы домчали до многих дальних епархий России и к Москве потянулись священнослужители всех рангов. А на северных дорогах было отмечено шествие большого количества монахов. Многая монастырская братия от Архангельска, Каргополя, Великого Устюга и Белозера двинулась к стольному граду, дабы принять участие в избрании Филарета. И первыми среди северян шли-ехали монахи Антониево-Сийского монастыря, многие из которых знали Филарета лично. Шло в Москву духовенство из Суздаля, Ярославля, из Костромы, еще из Ростова Великого. Всем им Филарет был памятен и близок. Не остались в стороне от великого события и монахи Троице-Сергиевой лавры. Они несли будущему патриарху прошение: снять опалу с их архимандрита Дионисия, вернуть его в обитель.

Москвитяне дивились такому наплыву гостей и ворчали на них, потому как по скупой-то поре всех надо было напоить, накормить, всем дать приют. Ан ворчание длилось недолго. Потеснились монахи московских обителей, распахнулись двери покоев по всем подворьям епархий, которых в Москве было множество, загудели от паломников постоялые дворы. А тем, кому не нашлось места под крышей, встали табором за московскими заставами.

И наступил долгожданный день избрания патриарха. Ведь этого дня ждали более семи лет, со дня насильственной смерти Гермогена, заточенного поляками в подвале кремлевского монастыря и там уморенного голодом.

Торжество избрания патриарха совпало со знаменательным праздником — Рождеством Иоанна Предтечи. Филарет в этот день встал чуть свет и, чтобы погасить подступившее волнение, ушел в малую Сенную церковь, где к заутрене собрались многие прихожане. Но не долго пришлось Филарету пребывать в молитве. Гости из Ростова Великого попросили его прочитать проповедь, чему он был большой мастер.

Как и должно по чину, Филарет начал богослужение с посвящения Иисусу Христу о его земной жизни. Филарет

напомнил верующим, как привели Христа на суд к Пилату, рассказал о самом неправом суде, о распятии Сына Божьего, о его страданиях и смерти, о божественном воскрешении. Но помня о Иоанне Предтече, Филарет вознес слово и о нем.

— Праведные родители святого Иоанна Крестителя, — продолжал проповедь Филарет, — священник Захария и Елисавета, жившие в городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, потому как Елисавета была неплодна. Но однажды во время богослужения в храм явился посланник Божий, Архангел Гавриил, и предсказал Захарии, что у него родится сын — провозвестник Спасителя, Иисуса Христа, Мессии. Захарий усомнился, что жена в старости принесет сына, и за это был поражен немотой до времени исполнения слов Гавриила.

Эту короткую проповедь верующие, как замечал Филарет, всегда слушали с большим вниманием и даже волнением.

— Пришел час, и Елисавета зачала, да пять месяцев скрывала ношу. Но пришла к ней дальняя родственница, дева Мария, и поделилась своей радостью, что она, девственница, понесла дитя. И тогда Елисавета приветствовала Пресвятую Марию как Матерь Божию. Настало время, и святая Елисавета родила сына, назвала его Иоанном. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа, исцелился и пророчествовал, говоря: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа — приготовишь путь ему».

На какие-то минуты Филарет умолкал, и тогда звучала песнь хора, прихожане молились и ждали от Филарета главное.

— Иоанн Креститель, великий пророк Нового Завета, — продолжал Филарет, — предтеча нашего Иисуса Христа, по смерти родителей ушел в пустыни до дня явления своего Израилю. В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, был глагол Божий к Иоанну в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Он говорил: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремни обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн свидетельствует о Нем и восклицает: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

На этих высоких нотах Филарет всегда завершал проповедь, и каждый раз ко времени. В сей миг во воротах храма появился архидиакон Николай, за ним шли многие иерархи и архиереи из епархий. Николай подошел к амвону и сказал:

— Владыко, пришел твой час. В Успенском соборе все в ожидании.

— А царь-батюшка там? — спросил Филарет.

— Усердно молится на уготованном месте, — ответил Николай.

От Сенной церкви до Успенского собора немногим больше ста сажен. Ан пройти их было довольно трудно, потому как все пространство заполнили жаждущие увидеть Филарета. А первыми его остановили монахи Антониево-Сийской обители.

— Да помнишь ли ты нас, Филарет-батюшка? — воскликнул хорошо ведомый митрополиту келарь монастыря отец Тихон, который не раз приносил ему вести из Москвы.

— Тихон, здравия тебе долгие лета! — отозвался Филарет, и увидев скромно держащегося за спинами своих братьев игумена Арефа, поспешил к нему. — Слава Богу, что сподобил свидеться! — И Филарет обнял Арефа. — Благодетель мой! Многие лета тебе здравия!

— Сын мой, я всегда верил в тебя. Да помнишь ли, что сказывал тебе в часы уныния? — спросил старый и уже немощный игумен Ареф.

— Помню, отец мой! Как не помнить благое! — И Филарет, не выпуская руки игумена, повел его в Успенский собор.

Монахи же Антониево-Сийской обители шли плотным рядом следом и многие несли в руках дары Филарету. Келарь Тихон вместе с пожилым монахом несли стихарь — длинную прямую одежду с широкими рукавами, расшитую серебром и золотом, унизанную жемчугом. Следом за Тихоном два молодых монаха несли фелонь, также богато расшитую и украшенную диамантами. Еще монахи несли епитрахиль и орарь — широкую и узкую ленты, расшитые золотой нитью. Осмелились антониево-сийские умельцы и митру патриаршую изготовить, и высокую бархатную камлавку. Рисковали. Да риск-то был благородный.

Вот и паперть Успенского собора. На ней плотной стеной стояли митрополиты, архиепископы, архимандриты, епископы, вельможи. И царь тут же стоял, рядом с митрополитом Ефремом. Филарет всем поклонился. И ему многоликая паперть поклонилась — яркая, сверкающая цветами радуги под июньским солнцем.

Кремлевские колокола в сей миг бурно заблаговестили, им взялись вторить по всей Москве. Филарет ступил на паперть, повернулся к Соборной площади и диву дался: не было на его памяти такого зрелища. Людское море без конца и края колыхалось до самых Троицких, Боровицких и Спасских ворот. А над людским морем высоко вознеслись хоругви и даже боевые знамена русских полков. И порадовало Филарета во всем этом зрелище то, что каждый третий здесь был духовным лицом. Но в многотысячной толпе ему в сей миг захотелось увидеть одно, особо желанное лицо, — ясновидицы Катерины. Ведь это она вдохнула в него силы, которые позволили пройти тернистый путь и не дали погаснуть вере в благое предсказание. И он увидел Катерину. Она стояла слева от паперти, а рядом с нею возвышался воевода Бутурлин, держа за руку сына. К плечу Катерины прижималась Ксюша. Она стояла опустив голову. И глянув в сей миг на царя Михаила, Филарет догадался, почему девица не поднимала лица: его сын видел только ее, и было похоже, что иной мир для него не существовал. «Господи, сохрани их в чистоте», — мелькнуло у Филарета. Он поискал глазами Марфу-государыню и нигде не увидел ее. Да счел, что так и должно быть. Она же в сей миг распорядилась в храме.

Вельможи, иерархи и архиереи расступились и открыли путь к вратам собора. До самого алтаря Филарет шел по коврам, и сердце у него замирало. Он видел весь торжественный обряд возведения, какой над ним будет совершен. Видел, потому что такое уже было на его памяти тридцать лет назад, когда венчали на патриаршество боголюбца Иова.

В храме все было в движении: колыхался воздух, напоенный ладаном, играло пламя свечей и лампад, возносилось под купола песнопение двух хоров на клиросе, россияне теплой волной вливались в храм, заполняли его со словами о Господе Боге на устах. Но постепенно все замерло и наступила полная тишина, начинался чин поставления патриарха. Главные святители поставления, патриарх Феофан и митрополит Ефрем, сели на уготованное им место, между ними сел царь Михаил. Митрополит Филарет скрылся в алтаре. Там его облачили в торжественные святительские одежды, и он вышел на амвон. Ему подали его же рукой написанное исповедание православной веры. И Филарет зачитал его. Голос митрополита был чист и ясен и легко лился по храму, достигая самых дальних мест.

После чтения исповедания, под звуки пения акафиста Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, к Филарету по-

дошли царь Михаил, патриарх Феофан и митрополит Ефрем, услужители, держащие символы власти. Они подали патриарху Феофану панагию, украшенную драгоценными камнями. Тот полюбовался рукотворным чудом — не имел он подобной — и передал ее царю Михаилу. Сын подошел к отцу почтительно, с поклоном, надевая панагию, сказал:

— Прими, родимый, с милостью.

Потом Михаил надел на Филарета белый клобук. Следом митрополит Ефрем вручил Филарету посох с мощами святителя Петра Чудотворца. В алтаре в эти мгновения летописец Патриаршего приказа записал в книге торжественных писаний: «Поставлен патриарх Филарет Романов в лето 7127 июня в 24 день».

Божественная литургия вошла в самую силу. Пение хоров, казалось, подхватили все, кто пребывал в соборе и за его стенами на Соборной площади, пел царь Михаил, пели царедворцы, служилые люди, монахи, священники — вся Москва.

После литургии по чину был обед в Грановитой палате. На этот обед пришли все, кого звали и не звали. Но был он недолгим, потому как в положенное время Филарет покинул Грановитую, вновь появился на Соборной площади, к нему подвели коня в белой попоне, изображающем осляти. Услужители помогли патриарху сесть на коня, и началось торжественное шествие по Кремлю, по Красной площади, по Москве. Это шествие сопровождали многие тысячи москвитян и россиян. Москва гудела от колокольного звона, с площадей, с улиц отроки выпускали в небо голубей, певчих птиц. Всюду развевались хоругви, сверкали под лучами солнца чудотворные иконы. К Филарету тянулись сотни рук, жаждущих получить его благословение. И он от души благословлял россиян во благо жизни. Православные христиане воздавали хвалу патриарху, своему духовному отцу. Москва не видывала подобного торжества, разве что венчание на царство Михаила не уступало в ярких красках нынешнему дню. И после, когда торжественное шествие поднялось от собора Покрова на Рву в Кремль, на Красной площади и по всей первопрестольной началось народное гулянье, которое длилось три дня. Государь не поскупился на хмельное, на угощение, на гостинцы детям, открыл все свои подвалы, побудил к тому же бояр, дворян, торговых людей.

Москва и вся держава славили обретенного духовного отца, патриарха всея Руси Филарета.

ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ

Отшумели, отгремели в Москве и по Руси торжества и гуляния в честь патриарха, остывали колокола от долгих звонов. Москвитяне взялись за свои привычные дела, ладили жизнь по своему разумению. В Кремле после торжеств тоже началась работа, правда, пока неторопливая, полусонная. Митрополит Ефрем перебрался жить в палаты Крутицкого подворья, что возвышалось за Чудовым монастырем тут же, в Кремле. А первосвяtitель Филарет поселился в патриаршем дворце по чину. Да в первые же часы и загрузил. В просторных залах и покоях было пусто, ни живой души, кроме услужителей. Катерина и Михаил Бутурлин покинули дворец еще раньше Ефрема, уехали в свои палаты на Пречистенку. Не было и архидиакона Николая, который остался при Ефреме. Однако, не выдержав одиночества, Филарет послал служку за Николаем. И тот пришел не мешкая, и повинулся, потому как знал, что уходить ему не следовало.

— Стар Ефрем, да и свыклись мы с ним. Так уж прости, святейший.

— Понимаю тебя. Да и сам я одинок оказался, как перст. Потому тоже винюсь пред тобой, за то что оторвал от любезного человека.

Николай пришелся Филарету по душе. Он был умен, расторопен, знал всю подноготную церковной жизни и вечер за вечером посвящал Филарета во все тонкости патриарших забот, кои святейшему еще не были ведомы. Главное же, Николай скрасил одиночество Филарета.

Жизнь, однако, вскоре же избавила патриарха от праздного состояния. По совету Николая, как делалось при Иове и Гермогене, Филарет не отпустил тотчас из Москвы российских иерархов и архиереев, а не единожды собирал их в Благовещенском соборе, беседовал с ними о том, как вести церковные дела в епархиях, как помогать воеводам в налаживании жизни, в их рдении о державе. Еще он добился того, что иерархи и архиереи приняли соборное решение об отлучении ложного патриарха Игнатия-грека от церкви. Оно родилось не сразу. Иерархи и архиереи спорили, не соглашались с Филаретом. Он же сказал им:

— Мнимый патриарх Игнатий, угождая еретикам латинской веры, в церковь соборную Пресвятой Богородицы вводил еретической веры Маринку. Святым же крещением

совершенным христианского закона не крестил ее, но токмо святым миром помазал и потом венчал ее с тем самозванцем, и обоим сиим врагам Божиим, расстриге и Маринке, подал пречистое тело Христова ести и святую кровь Христова пити. Его же, Игнатия, за таковую вину церковь российская, яко презревшего правила святых апостолов и Святого Отца, от престола и от сиятельства по правилам святым отринула. Вы же и от церкви его отлучить подумайте.

Иерархи и архиереи подумали и сказали должное слово: «Нет места Игнатию-отступнику в нашей вере».

Филарет порадовался, что его правдивое слово дошло до каждого духовного лица. Историки российского христианства сказали о Филарете убедительно и точно определили его значение и роль в становлении как церкви, так и государства. Они утверждают, что как правитель русской церкви, патриарх, чуждый церковно-богословской книжности, являлся, прежде всего, властным и искусным администратором. Церковь была для него учреждением, требующим устройства на началах строгой дисциплины и иерархического господства, и он целиком перенес в свое патриаршеское управление формы приказного заведования делами. Суд в патриаршем судном приказе был в «духовных делах и в смертях и в иных во всяких делах против того же, что и в царском суде...» Казенный приказ ведал доходы патриаршей области: дань со дворов духовенства и сборы с церковных доходов за требы, за пользование пахотой и угодьями и другим.

Получив патриаршество не по каноническому избранию, а по естественному праву, какое признавали за государевым отцом, Филарет и для духовенства был прежде всего «великим государем». Но таким же «великим государем» выступал он и в делах управления государственным. Человек властной и крутой воли, он всякими царскими и ратными делами владел не только путем личного влияния на сына-царя. Его участие в государственной власти было установлено формально, как титулом «великого государя», так и порядком делопроизводства: дела докладывались обоим государям и грамоты писались от имени обоих. Царь Михаил пояснял, что «каков он государь, таков и отец его, государев, великий государь. Святейший патриарх и их государское величество нераздельно».

Шаги Филарета к верховной власти в державе не являлись случайным стечением обстоятельств, а были выстраданы и выношены им всей жизнью и просчитаны от первого до последнего шага. Но, получив власть, Филарет не упивался честолюбивыми желаниями. Он считал себя рабом

Божиим, поставленным к державному кормилу для избавления детей своих от разорения и нищеты, чтобы поднять Россию на тот высокий холм, на котором стояла она в лучшие годы царствования Федора Иоанновича. И он не скидывал со счета того, что благоденствие при царе Федоре было достигнуто благодаря правителю Борису Годунову. За этим лютым врагом рода Романовых Филарет признавал многие заслуги. И сам не сумняшеся многое взял себе на пользу от годуновского умения управлять великой державой.

Большинство московских вельмож — бояре, князья, окольниковы, думные дьяки, воеводы, без оглядки признали за Филаретом право называться действительным правителем России, «великим государем». А те, у кого оставались какие-то счеты с родом Романовых, добавляли к сказанному поклонниками Филарета, что он нравом опальчив и мнителен, а властителен таков, яко и самому царю его бояться. Что ж, Филарет слышал подобную черноту, да не придавал ей цены, потому как знал твердо, что многих лиходеес и проникших в царский синклит недобросовестных вельмож только тем и можно изжить, когда их «зело томище заключениями и иными наказаниями». Его, правдолюбца и милосердца, сама жизнь толкала на суровые деяния.

Через несколько дней после вступления на патриарший престол Филарет потребовал из Патриаршего приказа челобитную от монахов Троице-Сергиевой лавры, не дал ей там залежаться под сукном. Взяв челобитную, Филарет сходил с нею к царю.

— Сын мой, царь-батюшка, пора нам с тобой по закону править державой. Посему вернем доброе имя и нашу любовь архимандриту Дионисию, коего судили вольно.

— Я, батюшка-государь, токмо порадуюсь сему исправлению, ответил Михаил. И, тяжело вздохнув, добавил: — И матушку есть нужда послушать.

— Сию охоту надо предать забвению. Без матушки найдутся ответчики, — возразил Филарет.

— Коль так мыслишь, батюшка, то и мне спокойнее.

В те же дни Дионисию вернули сан и должность. И было сие сделано при стечении всех московских иерархов и архиереев в Благовещенском соборе.

Исправив одно беззаконие, патриарх Филарет приступил не мешкая к тому, чтобы возратить доброе имя и вызволить из безвинной опалы, вернуть в родные края Марию Хлопову и ее родителей, сосланных в Сибирь три года назад. Опала Хлоповым произошла допущением инокини Марфы, а исполнена теми, кумовьями-сватьями, кои окру-

жали государыню. Искренне милосердный, Филарет вынужден был творить суровый суд над близкими сродниками.

Патриарх не спешил, дабы самому не свершить неправый суд. Он изучил все обстоятельства, кои стали причиной наказания Хлоповых. Он опросил всех, кто был очевидцем суда над Марией. И первым дедом попросил архидиакона Николая:

— Брат мой, найди того священника, который состоял духовным отцом при Марии Ивановне Хлоповой.

— Он мне ведом. Ноне же найду его, святейший. Куда токмо привести его?

— Сюда и приведи, в трапезную, — ответил Филарет.

В тот же вечер в патриарших палатах появился сухонький и немощный священник, отец Анатолий. Филарет позвал отца Анатолия к столу. Сам он по возвращении из плена, где вдоволь наголодался, не отказывал себе в пище ни в чем. И хотя к чревоугодничеству не был склонен, любил-таки вкусно поесть и пригубить хорошего вина. Ан и отец Анатолий был не промах хорошо поесть и даже выпить. И принял приглашение к столу с удовольствием и без робости перед святейшим. И беседу хозяин и гость начали после того, как выпили вина и попробовали всех яств, что поставили на стол патриаршие услужители. После чего Филарет спросил:

— Любезный отче, вспомни с усердием, как выглядела Мария Ивановна перед обручением.

— Господи милосердный, помоги не впасть в велереchie, — перекрестился отец Анатолий. И продолжал: — Помню ее, святейший владыко, как нынешний ясный день. Была Машенька певунья и говорунья, речами усладить умела. А уж как легка на ногу, ну есть козочка. И статью была хороша. Еще без меры не вкушала пищи, молилась исправно, родителей почитала и к рукоделью была склонна. Парсуны вышивала.

— А ликом какова? — спросил Филарет.

Отец Анатолий поднял на патриарха сверкающие глаза.

— Пригожа. Ну есть царевна шамаханская.

— Здорова ли была?

— Господи, да она и не ведала, что такое хворь. Ну так, когда женские дела начинались, крови ихние, тут, случалось, приляжет.

— Любил ты ее?

— Да како же ее не делять, ежели на ангелочка нравом похожа.

— А после обручения она все-таки занемогла...

— Занеможила, — горестно согласился отец Анатолий.

— И говорила тебе, отчего?

— Поделилась. Сказывала, грибков ей один князек придвинул, как застолье шло. Она и поклевала. Будто бы вишенки. А ить кто знает... Гриб, он всякий бывает. Неделю животом маялась. А от государыни-матушки что ни день, то послы. Велят во дворец явиться, чтобы показывалась. Она же пластом в те дни лежала. Ее подняли и повезли, ликом сине-белую. — И отец Анатолий заплакал. — Так и порешили, сердешную...

Филарет не утешал плачущего священника, и тот сам скоро успокоился.

— Любезный отче, вот ты обмолвился о каком-то князьке. Как имя его?

— Машенька не называла, святейший, истинный крест. Как бредила во сне, так ее матушка слышала. Так то во сне... Можно и оговориться.

— Все-таки ведаешь?

— Матушка боярыня поделилась. Да я цены не придал и... забыл.

Патриарх понял, что священник боится назвать имя злочинца. И сам назвал:

— Поди, о Михаиле Салтыкове рекла?

И опять священник не произнес этого имени, будто отмененного проклятием. Лишь молча, с виноватыми глазами покивал головой, дескать, о нем, о Салтыкове рекла Мария.

— Спасибо, отче. Да хранит тебя Господь Бог, а я помогу ему в том, — тихо произнес Филарет. Он еще разлил по кубкам вина, и два священнослужителя выпили, поговорили о церковных делах, на том и расстались.

Проводив отца Анатолия, Филарет долго пребывал в размышлениях. И пришел к выводу, что Мария Хлопова была испорчена умышленно. И порчу ей нанес Михаил Салтыков. Да было пока неизвестно патриарху, с какой целью вершилось злодеяние. Позже и это удалось узнать. Князь Михаил Салтыков прочил в царские невесты племянницу Анну, дочь своей сестры, в замужестве Челядниной.

Стояла середина августа. Россияне только что отпраздновали Успение Пресвятой Богородицы да с ее помощью убрали с полей обильный урожай. Лето порадовало земледельцев. И там, где они хорошо потрудились, было что свезти в овины, положить в закрома, в каморы и погреба. Филарет все это знал доподлинно, потому как вести с церковных и монастырских земель поступали к нему ежедневно. Но отложив заботы и помыслы о хлебе насущном,

патриарх отправился в царский дворец, дабы просветить сына о многих упущениях в державных делах и подумать вместе о том, как исправить их.

Царь Михаил встретил родимого батюшку с радостью. Да увидев, что Филарет чем-то озабочен, с обеспокоенностью спросил:

— Чем опечален, родимый батюшка?

— С тем и пришел, сын мой, чтобы поведать. И разговор у нас с тобой будет долгий.

— Готов тебя слушать с усердием. Идем в трапезную, поставим сыты и мальвазии, ты все и расскажешь...

Как сели к столу, Филарет ни к чему не притронулся и начал трудный для себя разговор.

— Мыслю я, сын мой, государь, не в ущерб твоей воле и самодержавной власти, встать в делах государевых рядом с тобой, — начал Филарет. — Вижу я, что державные мужи погрязли в мшелостве и меньше всего пекутся о пользе державы. Потому России не воспрянуть.

— Истинно говоришь, батюшка. Ведаю, что матушка бьется как рыба об лед, а проку мало: душат ее корыстолюбцы.

— Хорошо, что ты, сын мой, понимаешь о тщетности матушкиного радения. И потому дадим ей волю уйти от державных забот. Дадим ей отдых от трудов многих. — Филарет искал такие слова, так выражал свои мысли, чтобы у Михаила не возникло подозрения в том, что он надумал подвергнуть гонению его мать. Да и сам Филарет не желал ее ни в чем обидеть. Их разлучили недобрые люди, и для него Марфа оставалась супругой Ксенией, которую он когда-то любил. — Ежели пожелает, пусть женские обители возьмет под попечительство, — продолжал Филарет.

— Сия мысль благая, батюшка, — согласился Михаил. — А ежели пожелает, то пусть при мне живет бесхлопотно.

— Да и я готов взять ее в палаты, то-то будет домохозяйкой пригожей. Да уж как-нибудь мы с нею поладим. Суть в другом, сын мой, матушка нас поймет. Ан иншее меня тревожит. Ежели мы не мешкая не удалим от державных дел многих мужей, проку ни в чем не достигнем. Думаю я, сын мой, что в государственном устройстве нет места людям близким по родству и свойству и одержимым корыстью. Ноне близ трона одни корыстолюбцы. Все эти Лыковы, Морозовы, Сицкие, а больше всего Салтыковы, словно ночные тати вольничают в державных управах, над

коиими стоят. И тобою вертят, как хотят. Вот ты мыслил выбрать себе семеюшку-царицу. И выбрал, и как сам сказывал, она достойна была царского венца. А кто лишил тебя радости, кто лишил матушки будущих твоих сыновей?

— Не ведаю сего. Да говорили мне, что она больна и не могла служить радостям государя.

— В обман ты введен, сын мой. Злые происки погубили Марию Ивановну. Михайло Салтыков тому зачинщик. Он был головою заговора против Хлоповых, а потому и против тебя. И сие государственное дело оставлять без осуждения нельзя.

— Что же делать теперь? Я же подкрестную запись сделал: не казнить вельмож.

— Ты и не будешь ни судить, ни казнить. Тут дело не статочное, сын мой, и потому от тебя пока жду повеления учинить розыск. И если розыск откроет их вину, судить их праведным судом.

— А как же быть с Марией Ивановной? Ведь она в сибирский Тобольск сослана, в оскудение суровое.

— Участь Марии нужно исправить. Пусть она вольно едет с отцом и матушкой в Нижний Новгород к родичам. Там и пребывает.

— А в Москву, мыслишь, нельзя ей? — питая добрые чувства к бывшей невесте, спросил Михаил.

— Не знаю, сын мой, как и сказать. Время покажет, — уклончиво ответил Филарет. — Нам пока нужно порядок в державе наводить.

— И то верно, — согласился царь. И попросил отца: — Теперь же, батюшка, успокой меня, как матушка приняла волю синклита духовного об исправлении судьбы Дионисия?

— Она согласилась с иерархами и архиереями.

— Но в дни суда они были согласны с нею, — удивился Михаил.

— Охо-хо, — вздохнул Филарет. — Верно заметил, царь-батюшка. Токмо кто же тогда мог возразить государыне, окруженной пронырами? Теперь же богословы восстановили истину. Исправляя молитву о водосвятии, Дионисий не допустил греха, но убрал нелепицу, кою внес сочинитель. Я вот тоже написал молитву, будучи в заточении, а вины не наложу ни на кого, ежели исправят что в ней разумно.

— Ты верно мыслишь, батюшка.

— Мы с тобой по первости славно поговорили. Разум наш в согласии. И тебе на том спасибо, сын мой. Теперь же давай пригубим сыты, да пойду навещу матушку.

Отец и сын еще немного посидели, выпили сыты и вина, поговорили о разном и расстались. Провожая отца, Михаил сказал просительно:

— Не осуждай матушку строго, родимый. Я люблю ее, и мне будет больно. Вина не ее в том, что державного ума лишена.

У Филарета запершило в горле, но он ничего не ответил сыну, лишь обнял его и погладил по спине, словно утверждая, что будет справедливым и милосердным. Так потом и было.

И сама Марфа согласилась со всем, что высказал ей Филарет. И отрешаясь от государственных дел, она лишь сказала:

— Ведала я, что злочинцы меня окружили, да не находила среди иных вельмож верных нам людей. И потому не суди меня строго, святейший, будь милостив.

— Спасибо тебе, Ксеньюшка, за береженее сына, — назвал Филарет Марфу девичьим именем, — опора ты была ему адамантовая. И мне теперь легче стоять близ сына нашего. Да не уроним чести рода, поверь нам. Теперь же подумай, как в мои палаты из кельи уйти.

Поговорив мирно и тихо о державных делах с Марфой в келье Воскресенского монастыря, Филарет уходил в свои палаты умиротворенный, потому как не думал, что и с сыном и с его матушкой так легко, без надрыва и сердечных болей утвердит свою волю. А оно, это утверждение, на первых порах долгого служения державе и православной церкви ой как необходимо было Филарету. Теперь же ему посильно справиться и с самыми серьезными государственными делами. Он не сумняшеся решил взять их все в свои руки, оставив за сыном представительство во всех областях жизни державы.

Розыск злочинства Салтыковых был скор. У дьяков Разбойного приказа скопилось немало улик против злоумышленников. Нашелся и холоп, который собирал грибки и готовил их к столу. Дядя Марии, Петр Хлопов, еще в дни суда над племянницей донес в приказ, как Михаил Салтыков принародно грозился порушить царскую свадьбу. И были опрошены те, кто слышал эту угрозу. И лекари, кои досматривали Марию, были допрошены. Священник Анатолий тоже сказал свое слово. В ходе розыска всплыли и другие злые умысления бояр Салтыковых. Их проискамы был опорочен и архимандрит Дионисий. Они же вкупе с боярином Татишевым, ввергли в опалу князя Дмитрия Пожарского. Патриарх Филарет сам с усердием занимался де-

лом опального князя. Не мог он позволить, чтобы самый видный в России освободитель отечества от поляков страдал невинно от происков своих недругов. Филарет позвал к себе в палаты князя Юрия Черкасского, и князь обстоятельно рассказал о подноготной вражды Салтыковых и Татищева против Пожарского.

— Тут, святейший владыко, всему виною якобы ущемление князей Салтыковых и Татищевых в месте родовитости. Сочли Салтыковы, что Пожарский оттеснил их на низшую ступень. Было так, что три совместника затеяли спор еще на Земском соборе и в Думе. Когда же Дума поставила Пожарского выше Михаила и Бориса Салтыковых, они взбунтовались. За что тесните наш древний боярский род, кричали они, ежели Пожарский князь-новичок меньше нас. И Дума отменила свое прежнее решение, все рассудила в пользу Салтыковых. И рассчитала так: Пожарский — родич и ровня князю Ромодановскому, оба они из рода князей Стародубских, а род Стародубских ниже рода Салтыковых. Стало быть, и князя Пожарский, и Ромодановский меньше Михаила и Бориса Салтыковых.

— И на том кончилось все? — спросил Филарет.

— Ан нет. Пожарский не захотел смириться с потерей родовой чести, — продолжал князь Черкасский, — и умалением заслуг перед Отечеством. Оно и понять можно. Даром что он Московское государство очистил от воров-казаков, но и спас от врагов-поляков. Да, он из худародных стольников был пожалован в бояре, получил вотчины великие, и все это по заслугам. И твердить о том, что Пожарские — люди разрядные, больших должностей не занимали, кроме губных старост и городничих, сие не по правде божеской. Когда же Пожарского учили-стыдили в Думе перед Борисом Салтыковым, он не признал правой сию расправу.

Патриарх слушал князя Черкасского внимательно и во всем поверил испытанному радетелю за правду.

— И как все обернулось? — побудил патриарх рассказ князя.

— Все завершилось худо, святейший. Салтыковы вчинили против Пожарского иск о бесчестье. И Дума отдала спасителя Отечества с головою на бесправный суд к ничтожным, но родовитым соперникам. Князя подвергли унижительному обряду. Он был проведен под барабанный бой с позором под руки катями от царского дворца до крыльца палат Салтыковых в Белый город. Москвитяне, что заполонили улицы, возмущались, пытались отнять князя Дмитрия у катов, но того вели под усиленной стражей многих

стрельцов. Царь, с которым я в тот час стоял рядом, плакал. Но нашлись утешители его, приговаривая: «Не печалься, батюшка-государь, сия наука поделом ему: не будет боле возвышаться»... — Князь Черкасский не стал расстраивать Филарета о том, что сказанное царю изошло из уст его матушки. И продолжал: — Но было Пожарскому и малое утешение. Князя Татищева высекли кнутом за ложное честолюбие и отвели на подворье Пожарского на его суд. Да Дмитрий не дал воли злым побуждениям, отпустил Татищева с миром.

Два верных друга посидели молча. Потом князь Черкасский подвел черту под беседой:

— Теперь князю Пожарскому нужно выставить иск против Салтыковых, и будет сие справедливо.

— Истинно глаголешь, брат мой, — согласился Филарет.

На суде Салтыковы вели себя надменно. Они еще надеялись, что их возьмет под «материнское крыло» государыня Марфа, которой они, как им казалось, служили верно. Но Марфа не захотела присутствовать на суде. Увидев, что защиты и помощи ждать не от кого, Салтыковы сами ринулись себя защищать. И Борис Салтыков дерзнул обвинить во многих бедах смутного времени самого патриарха и весь род Романовых.

— Они же, князья Романовы, в бытность царя Бориса Годунова вытащили на свет Гришку Отрепьева, воспитали у себя в палатах и открыли ему путь к царскому трону.

В том была доля правды, счел Филарет. Но сие творилось не для того, чтобы нанести ущерб державе, но чтобы отнять у Бориса Годунова незаконно захваченный престол. Позже, уже в Антониево-Сийском монастыре Филарет понял, что все-таки он оказался причастным к неблагому делу. Да мог ли он предположить, что истинно русский православный человек предаст Россию и стакается с поляками, с иезуитами, которые окажутся причиной всех бед в пору смутного времени. Но патриарх не счел нужным оправдываться. Он знал, что правда жизни за ним, что смуту породил все-таки Борис Годунов, и родилась она после убиения царевича Дмитрия.

Но суд ждал патриаршего слова. По закону церкви и Господа Бога, патриарху было дано право быть верховным обвинителем. И Филарет сказал то, на что считал нужным открыть глаза россиянам.

— Поднимая на свет события прошлых лет, скажу мало, — начал Филарет. — О том все и всем ведомо. Нам же надо думать о будущем державы. И потому скажу, что

в бедствиях державы повинна прежде всего распущенность нравов, родившаяся в смутное время, и она в нутре Салтыковых в первую голову. Салтыковы, поднявшись к власти, вооружились стяжательством, происками, опорочиванием честных россиян. За ними пошли многие другие вельможные головы. Потому в приказах дела мало вершатся, с ходатаев дерут взятки, потворствуют тем, за кого заступы великие. В народе осуждают не токмо Салтыковых, но и иных, кто пошел на службу дьяволу, кто утесняет народ, ворует, грабит, расхищает земли и иное народное добро. Вижу, что ежели все останется прежним, то мирная жизнь в державе продлится недолго. Ноне судимые Салтыковы прежде других сеют в народе недовольство. По их проискам и побуждениям государыня Марфа назначала на воеводство и в приказы угодных им людей. Чего же мы еще ждем? Посему прошу у суда одного: соблюдения нравственного евангельского закона. Нет судьи выше Господа Бога, а мы его слуги.

Князья Салтыковы были осуждены на ссылку и до конца дней патриарха Филарета они не появлялись на московском окоеме. Имущество Салтыковых отобрали в пользу государственной казны. Но с осуждением князей Салтыковых, с очищением царских приказов от всех и всяких нечистоплотных людишек, борьба в синклите продолжалась. Недруги Филарета из рода Романовых продолжали теперь скрытную борьбу. Однако многим было очевидно, что сия борьба тщетна. За молодым царем, за мудрым патриархом стоял народ. Силы Романовых прирастали благоразумием россиян.

Глава двадцать вторая

КНЯЗЬ ИВАН ХВОРОСТИНИН

Русская Православная Церковь крепла при патриархе Филарете быстрее, чем держава. Он нашел путь к благополучию церкви. И путь сей был прост. Всюду, где храмы, приходы, монастыри, епархии страдали от обнищания и где ослабла вера, Филарет посылал туда достойных священнослужителей, знающих суть дела, крепких в вере. Он позвал Дионисия, лишь только сняли с него опалу, и поручил от имени патриарха делать в епархиях все, что шло во благо православия. Он дал под начало Дионисия многих духовных и служилых людей, из числа которых Дионисий

мог бы подбирать достойных пастырей и церковнослужителей на местах.

А когда наступил малый просвет в державных и церковных делах, Филарет открыл путь давно наболевшему и взялся искать сыну достойную невесту в иноземных странах, как это водилось в давние времена, при Владимире Святом, при Ярославе Мудром, да и не так давно при великих князьях. И в 1621 году он отправил своих послов в Данию и Швецию, чтобы там, в Копенгагене или Стокгольме, поискали царю невесту среди принцесс. Провожая послов в путь, Филарет наказывал им:

— Вы люди бывалые, и знаете, почему нужно нам породниться со шведами, датчанами или голландцами. Помните, что сие движение идет от первых великих князей.

Посольство ушло, а Филарет и его сын окунулись в долгое ожидание, увы, напрасное. Два года странствий русских послов по европейским странам и столицам оказались тщетными. Боялись западные монархи отдавать своих дочерей в жены царю «дикого» народа. Однако не только это помешало Луке Паули и его спутникам выполнить патриаршее поручение. Возвратившись домой, Лука обо всем обстоятельно доложил патриарху.

— Ходили мы исправно, святейший, и нигде чести России и ее государя не уронили. А неудачи наши начались с того, что один хорошо тебе ведомый россиянин молву худую по европейским столицам пускал о церкви и о царском дворе. И принимали его многие короли.

— Кто же этот богомерзкий россиянин?

— Не скрою его имени, святейший, потому как и ноне вижу его дьявольское нутро. Зовут его князь Иван Хворостинин-младший.

Опечалился патриарх. И самолюбие было задето. Не мог он стерпеть, чтобы россиянин древнего княжеского рода чернил свою отчизну в иноземных державах.

— Клятву наложу и анафеме предам с амвона Благовещенского собора сего грязного отступника, — в сердцах произнес патриарх.

— И поделом, — согласился Паули.

— Где он ноне пребывает?

— Слышал я, будучи в Женеве, что в Москву отбыл. Вернулся ли?

Князь Иван Хворостинин к этому времени был уже в Москве. И поручил патриарх все тому же верному Луке присмотреться к прыткому князю, выведать его подноготную жизнь.

Лука согласился с оговоркой:

— Отдохнуть бы мне надо, святейший, а еще друга любезного Арсения и сотоварища Антона поискать. Не верится мне, что они сгинули.

— Сгинули, сын мой. Сие доподлинно так. Там, в Мальборгском замке, богослов Петр Скарга открыл мне правду. Как захватили их легионеры, ты это помнишь, так вскоре и передали в руки иезуитов. И те за убийство отступника Феофана, который был уже членом их ордена; предали Арсения и Антона лютой смерти. Ты-то не знаешь, года два назад был у меня отец Антона, бывший десятский стрелец Матвей, а ноне инок Донского монастыря, молил Христом Богом узнать о судьбе сына. А тут послы в Польшу собирались. Я и поручил Ивану Грамотину узнать; правду ли говорил мне Скарга. Все так и было, утверждал Грамотин.

Лука был печален. И видно, что устал от странствий, сопряженных с постоянной опасностью для жизни. Патриарх проникся к нему милостью и сказал:

— Ты поезжай ко мне в костромскую вотчину, отдохни в покое. А как вернешься, там и порешим, что тебе делать.

— Спасибо, святейший, благодея принимаю твой дар. — Лука посветлел лицом. — А России я еще послужу.

— Верю. Теперь же собирайся в путь. Я тебе лошадок дам, грамотку сподоблю старосте. Поживешь там от души, да еще и семеюшку найдешь. Мало ли. А то все холостой да холостой...

Лука; не мешкая, в тот же день укатил в костромскую землю. А Филарет на другой день пришел в Патриарший приказ, поговорил с архимандритом Дионисием; и они нашли толкового человека, способного присмотреть за князем Хворостининым.

Сей князь был сыном смуты.

В ту пору, когда по России гуляли слухи о том, что в Путивле объявился царевич Дмитрий, молодой красавец князь Иван Хворостинин щеголял в модных кафтанах, в сафьяновых сапогах по Тверской, смущал девиц и вел праздный образ жизни. Но по мере того, как слухи о царевиче Дмитрии нарастали и всюду стали говорить о вторжении в Россию поляков, князь Хворостинин изменил образ жизни и надумал податься на юг, где, по его мнению, вершилась новая история России. И он отправился в путь, но будучи ленивым по природе, князь не мог вынести те лишения в пути, кои выпали на его долю. Он вернулся в Москву и выждал тот день, когда Лжедмитрий появился в Серпухове. Туда и подался. Там он вместе с московскими боярами,

изменившими законному государю, стал царедворцем при самозванце. А вскоре князь Рубец-Мосальский, рязанский воевода Прокопий Ляпунов да некоторые другие из переметнувшихся к Лжедмитрию, в их числе и князь Хворостинин, ушли в Москву дабы выполнить волю Лжедмитрия и освободить престол от царя Федора Годунова. Хворостинин не был причастен к убийству юного Федора Годунова и его матери. Он в это время сошелся с иезуитами и увлекся латынью, надумал принять католичество. Он начал читать латинские книги и прочел «Сентенции» архиепископа Петра Лабрадорского, который излагал основы католического богословия. Князь принял как должное символ филиокле и был согласен с тем, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Хворостинин стал поклонником святого Августина, который утверждал, что главное значение в католической вере должно отводиться чувствам и вожделениям. В человеке душа — это желание, которая лишь пользуется телом, как своим орудием, утверждал Августин. И князь Хворостинин принял сие как должное. Он заразился католическими догмами и латинские иконы ставил выше православных. Судьба была к нему долгое время милостива. И потому он не обагрил своих рук кровью царя Федора Годунова. Когда же самозванец встал в Москве и царствовал, то Хворостинин предавался буйным увеселениям и много бражничал со своим новым другом; патером Пастаролли. Подворье князей Хворостининых в год Лжедмитрия стало вертепом иезуитов.

Станным было одно. После убийства Лжедмитрия и изгнания из Москвы поляков и римских иезуитов, князь Иван не убежал из первопрестольной, не подверг себя скитальческой жизни. Но за свои деяния ему пришлось поплатиться. Царь Василий Шуйский все-таки перебрал некоторых поборников католической ереси. Не обошел строгостью и князя Ивана Хворостинина. На суде царь Василий сказал ему:

— Ты хотя и не чинил разбоя при поляках, но служил им исправно. Потому отмаливать тебе грехи в оскудении суровом. Ссылаю тебя в Иосифов монастырь под надзор строгой братии.

И князя одели в рубище, сковали цепью, посадили в телегу, на которой с княжеского двора вывозили навоз; и под стражей отвезли в Иосифо-Волоколамский монастырь, в котором жизнь даже для прилежных монахов была тяжелой. В этом монастыре жили по суровому уставу, под суровым оком игумена Досифея. Князю Хворостинину она показалась хуже той, какую жили рабы. Он с первого дня

противился всем насилиям над ним, кои чинили ретивые монахи, впал в озлобление и призывал на головы братии все дьявольские силы. Позже, сломленный, он немного одумался, притворился кающимся грешником, был исправлен в послушании и добился малой свободы — вольно ходил в стенах монастыря. И однажды, когда по России вновь разгулялись поляки, Хворостинин сбежал из обители. Пока поляки осаждали монастырь, князь тайно добрался до своей вотчины, собрал кой-какие деньги, драгоценности и укатил на запад. В Вильно он не задержался, ушел в Пруссию, но и там не осел, уплыл в Швецию, оттуда в Голландию. В эти смутные для России годы, русского князя, бежавшего «от разбоя и бесчинства», как он любил говорить, принимали в европейских столицах приветливо, помогали ему жить безбедно, покупали его сочинения, в которых он поливал грязью Отечество.

Князь Хворостинин был человеком незаурядного ума, хорошо знал церковно-славянскую литературу, которую усвоил еще в юности, знал историю России и русской церкви, обнаруживал неукротимый задор в богословских спорах, с похвалой отзывался о католицизме и показывал большую осведомленность в его учении, канонах, догмах. В Копенгагене, где князь прожил больше года, он увлекся виршами, писал их силлабическим размером по-латыни и успешно продавал.

Спустя четыре с лишним года после бегства из России, князь решил вернуться домой. В пути он пристал к смоленскому ополчению, дошел с ним до Москвы, но в изгнании поляков из Кремля участия не принимал. К счастью для князя; родовые палаты Хворостининых уцелели, и он поселился в них. А как только изгнали поляков из Москвы, князь стал появляться на улицах; и никому не было дела до того, где князь провел больше четырех лет жизни. Даже свидетели его осуждения и ссылки в Иосифо-Волоколамский монастырь поверили в то, что он провел эти годы именно там. Да и не удивительно, потому что вся жизнь России сошла с колеи.

Но тихое прозябание в Москве не привлекало князя. Он уже подумывал продать свои московские палаты и родовые вотчины, уехать в Вильно и принять католичество. Но тут к князю пришел сочинительский порыв и он сел писать книгу о всем том, что произошло за последние годы в России, чему был и не был свидетелем. Как раз в это время начались разговоры об избрании царя. Князь Иван и это событие хотел описать. Наконец, князь надумал же-

ниться, присмотрел себе невесту из рода князей Катыревых и, не питая к ней никаких нежных чувств, обвенчался в церкви на Воробьевых горах. Однако и года не прошло, как супружество наскучило князю, он обвинил жену в бесплодии и вынудил ее уйти в монастырь.

Избрание царя Михаила князь Иван встретил иронически, потому как не видел проку для России в «недоумке». Себе же ровни по разуму князь и в версту не ставил никого.

Завершив сочинение о смутном времени в России, гонимый высокомерием к русской жизни, князь вновь уехал в европейские страны. Там он пытался продать свою повесть. Но покупателя не нашлось, потому как издатели не увидели в ней истинной России, но нашли лишь досужие рассуждения сочинителя о себе. Проскитавшись по европам несколько лет и всячески оскверняя отечество и царский двор, князь, наконец, заметил, что всюду, где бы он не появлялся, от него отворачивались. Его не стали принимать в богатых домах, не приглашали на балы и торжества... Он не понимал, откуда такая немилость. И однажды в Женеве ему открыли глаза на то, что он превратился в опустившегося, потерявшего облик пропойцу. И все-таки он не пропал в европейских столицах, нашел в себе силы вернуться в Россию. Сил хватило только на это. Он заперся в своих палатах, неделями не покидал их и продолжал тонуть в зелье. Он озлобился на весь мир, но прежде всего на россиян, впал в вольнодумство, отверг молитву и воскресение мертвых.

В эту самую пору и начался досмотр княжеского бытия. И чуть позже дьяки Разбойного приказа писали о нем, что он «в вере пошатнулся и православную церковь хулил, про святых угодников божиих говорил хульные слова». Князь не обращал внимания на странников, кои каждый день появлялись в его палатах. Он велел их поить, кормить и не уставал повторять: «В Москве нет людей, все люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут ложью». На тех «странниках»; то из Стародуба, то из Вильно, князь и споткнулся, потому как были это досужие лазутчики из Патриаршего приказа, коих умело подсылал в княжеские палаты архимандрит Дионисий. Они же умыкнули у князя многие листы сочинений, кои князь вольно разбрасывал по покоям. Один из таких листов Дионисий вручил патриарху Филарету.

На том листе от слова до слова вылилась хула на русский народ. Князь бесчестил всех московских людей и даже своих родителей. Юного царя он называл деспотом русским и не писал ни его титула, ни имени. Филарет попросил и

другие листы, долго вчитывался в них и даже полюбовался тем, как Хворостинин красиво писал. Но из листов вытекало «государево дело», князя Ивана нужно было судить за крамолу. И вспомнил Филарет время Ивана Грозного и то, как сей царь только за одно супротивное слово посылал людей на пытки или на смертную казнь. И доведись Ивану Васильевичу держать в руках подобные листы, весь род бы князей Хворостининых до седьмого колена, всех сродников сначала отправили бы в пытошные башни на дыбы, испытывали бы варом и каленым железом, ремней бы со спин нарезали, а уж потом, еще живых, но обреченных привезли бы на Болотную площадь и там казнили на плахе. Так было в последний год жизни Грозного, когда он за один день казнил триста вельмож только за то, что якобы они заговорщики.

Нет, он, Филарет, не жаждал ни крови, ни другого сурового наказания князю Хворостинину. «Всевышний воздаст ему по делам его», — пришел патриарх к мысли. Однако был еще царь. Была еще Боярская дума и работал Разбойный приказ, коим надлежало оберегать не только жизнь государя, но и его честь, достоинство. Как они повернут розыск, к какому решению придут, пока было ведомо лишь одному Богу. Он, Господь, держал судьбу князя в своих руках.

И отбросив личную обиду за неудачное сватовство в иноземных державах, несостоявшееся вроде бы по вине князя, не принимая во внимание нелестные слова о сыне, Филарет подумал, что надо привести князя в чувство домашними средствами, побудить в нем тягу к покаянию, к осознанию своих поступков и самоосуждению. Филарет увидел в судьбе князя Хворостинина нечто близкое себе, ту же тягу вырваться из невежества и осмыслить мир. Тут Филарет с горечью улыбнулся. «Да, он его осмыслил, но не так, как я. Потому нужно ли сечь за это голову? И не много ли мы говорим о милосердии, о любви к ближнему, а сами при первой возможности топчем его. Господь, однако, говорил: “Возлюби ближнего, как самого себя”. Кто истинно любит Бога, тот любит и ближнего, а кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Наконец, вернувшись в мир повседневный, патриарх сказал Дионисию:

— Пошли человека за князем Иваном, пусть приведет на исповедь.

— Пошлю, владыко святейший, а лучше сам схожу. Тут рукой подать...

— Сходи сам. Вместе и придете.

Дионисий ушел. Филарет опустился в кресло и задумался о судьбе сына-царя. Было очевидно одно: ежели не оженить скоро, то царский род Романовых может прерваться на Михаиле. И уж если не удалось залучить невесту королевского имени из другой державы, то следует поискать доморощенную. Тут же мелькнуло: «Вот бы Ксюша была родовитого племени. — И тяжело вздохнул: — Ох уж эти законы старины!» Перебирая в памяти все княжеские и боярские рода, в коих имелись невесты на выданье, Филарет остановился на князьях Долгоруких. Видел он их дочь в соборе на богослужении. Ничего не скажешь, хороша княжна Мария, ликом и статью взяла. Да похоже, что и разумом Всевышний наделил, светился же он на лице. Токмо ведь и Машу надо спросить...» И не помнил Филарет, сколько времени провел в размышлениях, как вернулся архимандрит Дионисий.

— Ни с чем я, святейший.

— Что так?

— Да в непотребном виде князь, лыка не вяжет. Ругался, кричал, как услышал, куда зову. Подворье грозился поджечь, а сам и шагу не способен сделать. Непотребен...

— Охо-хо, — вздохнул Филарет. — Ну так пусть пеняет на себя. На него тоже управа есть. Пошли к нему завтра ранним утром кустодиев дюжих, пусть лишат его зелья на два дня, а как придет в себя, там и поговорим.

— Исполню, святейший, — ответил Дионисий.

Филарет встал, прошелся по покою и остановился близ Дионисия.

— Ты пока ходил, я все думал о царе-батюшке. Край пришел; и женить его нужно. Ты княжну Марию Долгорукую видел?

— Зрел многожды в Благовещенском соборе.

— И что ты о ней скажешь?

— Оно ведь как посмотреть. Был бы молод да не в монашеском сане, не обошел бы ее стороной, — признался Дионисий.

— Давай-ка, брат мой, потрапезничаем да поговорим о наболевшем, — повеселев, сказал Филарет и позвал архидиакона Николая, попросил, чтобы накрыли стол.

А через два дня к вечеру возле патриарших палат установилась крытая колымага, из нее вышли архимандрит Дионисий и князь Иван Хворостинин. Они поднялись на крыльцо и скрылись в патриарших палатах. Два кустодия, что сидели на облучке, переглянулись.

— Ну и князь! То-то будет ему от святейшего!

Князь Иван был трезв, в одежде опрятен, но ликом черен, с диковатыми огнями в глазах. Дионисий привел князя в трапезную. И вскоре же из моленной появился Филарет. Не благословив, как принято, спросил князя:

— Как ты живешь, сын Андреев?

— Худо, святейший.

— Не потому ли, что пребываешь без Бога в душе?

— Так оно и есть.

— Я звал тебя на исповедь. Да был ты в непотребном виде. Теперь пойдешь в храм исповедаться.

— Не пойду, святейший. Душа источилась и нет порыва к исповеди.

— Печалуюсь. — Патриарх подошел к князю, за плечо взял, к окну подвел. — Дай-ка посмотрю на тебя с прилежанием. Авось, скажу о твоей хвори.

— Полно, святейший, не тщись! Ни тебе меня не разгадать, ни мне тебя.

— Считаешь, что вровень стоим?

— Отчего бы...

Князь явно не был расположен к откровенному разговору. И Филарет сказал об этом:

— Я тебе руку помощи протягиваю, ты же отталкиваешь меня.

— Устал я, святейший, жизнь в тягость, потому равнодушен...

— Но зачем россиян хулишь? И царя-батюшку... Усталые в смирении пребывают, но не буйствуют.

— Народ хулю, потому как от глума не избавится. А царя-батюшку... Сие от досады рвется. Вот был бы ты царем! Ты — сильный, за все цепко берешься. Мне такие по душе.

— Не нужно мне твоей похвалы. Придешь с нею, когда грехи замолишь. И место тебе в монастыре уготовано. Пойдешь ли вольно?

— Вольно не пойду. Но твоя власть надо мной. Верши ее. А ноне домой отпусти.

Филарет понял, что князь Иван ни к покаянию не готов, ни от наказания не бежит. Потому счел беседу исчерпанной, сказал Дионисию:

— Отправь его в палаты да стражей поставь, чтобы не сбежал. Суд Божий вершить будем. — И князю сказал: — Не обессудь, за хулу на царя держать тебе ответ.

— Все мы под Богом ходим. Потому отдаюсь Ему не сомняшеся. — И князь Иван вышел из трапезной.

Вскоре же князя Ивана судили. Боярская дума жаждала пыток, крови.

— Царь-батюшка, все государи до тебя за хулу на плаху отправляли. И ты, государь, прояви твердость, — вызвал князь Мстиславский.

Царь Михаил, однако, не поддался на призывы Федора и у думных бояр на поводу не пошел. Посмотрев на отца, тихо сказал:

— Мы целовали крест не казнить за измены и хулу. Зачем же руки багрить? Вот патриарх-государь и скажет свое милосердное слово.

— Оно и будет таким, — начал Филарет. — Церковь видит в князе заблудшую овцу. Потому ему путь один: на моление в монастырь. И место князю уготовано: Кириллова Белозерская обитель. Сие мы вершим в согласии с царем-батюшкой.

Никто из бояр не посмел перечить милосердному приговору. И князя Хворостинина отправили на Белоозеро по первому санному пути.

Той порой приблизилось важное событие. Царь Михаил дал согласие жениться на Марии Долгорукой. И были смотрины, было обручение. Княжна Мария, роду праведного, пришлась Михаилу по душе.

— Батюшка родимый, низкий поклон тебе. Машенька согреет мое сердце, и мы подарим тебе внуков, даст Бог.

Жених оказался нетерпелив. Сразу же после нового года в середине сентября он повел невесту под венец. Обряд венчания свершил сам патриарх Филарет в Благовещенском соборе. И было трехдневное ликование. Москвитяне радовались за царя и валом валили на Красную площадь и в Кремль, где от щедрот царских угощения, бочки с вином, с пивом и каждый мог вволю выпить хмельного во здравие царицы и царя. И в Грановитой палате был большой пир, все веселились без меры, царю и царице подносили дорогие подарки, золотом и серебром осыпали, желали многих лет супружеской жизни, много детей и все прочее во благо семейного счастья.

Ан счастье молодоженов было коротким. Чей-то злой колдовской глаз ожег невесту. Потом патриарх Филарет, горюя над печальной участью царицы Марии, долго будет искать-перебирать в памяти лица всех тех, кто мог совершить злодеяние. И когда спустя семь месяцев после венчания, будучи беременной, царица Мария скоропостижно скончалась, Филарет убивался от горя не меньше царя и разум его мутился от тягостных дум. Но однажды его как будто озарило. И он, как ему показалось, нашел виновницу смерти царицы. Вспомнил он, что на свадьбе был воевода

Бутурлин, а с ним — Катерина и Ксения. И видел он, как от Ксении исходили какие-то неземные лучи. Но странным во всем этом было одно: почему он, Филарет, в сей же миг запомнил сие яркое явление, словно и вовсе его не было. Теперь же память прорезалась, словно молодой зуб, и он увидел лицо Ксении в каком-то мучительном оцепенении, в страдании, готовом прорваться криком. И понял Филарет, что это Ксения наслала на Марию колдовство.

И вскоре же, как миновало девять ден после смерти Марии, мартовским вечером Филарет поехал в палаты воеводы Бутурлина на Пречистенку. Встретил патриарха сам воевода.

— Слава Всевышнему, что послал тебя к нам, святейший. А у меня Катерина два дня назад разрешилась от бремени, доченькой одарила. То-то порадовала...

— Благословляю мать Катерину. Да иное дело привело меня к тебе — государево, — строго сказал Филарет.

— Вон как! — удивился Бутурлин. — Ан за нами грехов нет.

— Ежели бы так. Дома падчерица Ксения? — спросил патриарх, с трудом произнеся нехорошее слово.

Воевода Бутурлин никогда и ни перед кем не испытывал робости. И на сей раз не изведаль ее, ответил с вызовом:

— Ошибся, святейший, у нас есть дочь Ксюша, она же дома, да хворая, лежит пластом.

— Что с ней?

— Ежели бы ведали! Я уж и священника приводил...

— Ишь ты, какая поруха. Ну веди к ней, однако же, — повелел патриарх.

Он вспомнил, что к Ксюше был ласков всегда. Была она частью той, кого он так долго и чисто любил. И пока шел до опочивальни Ксюши, гнев его источился, лишь беспокойство росло. Жар у девицы, который опалял ее девять дней, к этому дню схлынул, и она лежала бледная и отрешенная от земного мира. Но увидев патриарха, лицо ее оживилось, появилась слабая улыбка и она тихо зашептала:

— Господи, как Ты ко мне милостив. Хвала Тебе, что услышал мою молитву.

— Что с тобой, дитя? — осеняя крестом Ксению, спросил Филарет.

— Святейший батюшка, сними со своей души камень. Явилось мне откровение Господне, будто ты положил на меня грех за смерть рабы Божией царицы Марии.

Удивился Филарет прозрению ясновидицы, сел на ложе, спросил:

— Истинно глаголешь, что было Господне откровение?
— Истинно, святейший. Ты долго искал злочинца, но тебе не открывалось. На третий день после кончины тебя озарило, ты увидел меня и мое лицо в день свадьбы, и как я смотрела на царицу, тебе и замстилось.

— Разве сие не так? Отвечай же!

— Не так, святейший. Потому прими мое покаяние, а там суди, как Бог велит. — Ксения смотрела на патриарха глазами родниковой чистоты, и не было в ней ничего земного.

Взгляд ясновидицы растопил лед в душе Филарета, и он взял Ксюшу за руку, мягко сказал:

— Внимаю тебе, дочь моя.

— Видел ли ты, святейший, кто сидел близ царицы и княжны Черкасской?

— Видел и помню. Второй от Марии сидела боярышня Ирина Щербачева.

— А помнишь ли ты ее бабушку?

— Как не помнить! Да она всей Москве была ведома и... — Тут патриарх осекся, потому как вспомнил, что не было во всей первопрестольной и за ее пределами такой колдуньи от дьявола. Сказывали, что ее происками царь Федор Иоаннович водяной заболел. А позже она паукатарантула на него напустила, который и убил царя. — Лютая была колдунья, — отозвался Филарет.

— А сватьи-бабы приходили во дворец от Щербачевых?

— Были и навязывали Ирину Михаилу. И он смущался ею, даже просил матушку, дабы она повлияла на меня, — ответил Филарет. Но про себя подумал: «Да ведомы ли ей колдовские чары, смогла ли она лишить живота свою жертву?»

И при полном молчании Ксюши Филарет «услышал» ее ответ: «Ведомы ей колдовские чары и живота она может лишить свою жертву. И сила ее сильнее моей, потому мне не удалось сломить ее колдовства. Да вот и слегла, и маюсь...»

Бутурлин стоял рядом с патриархом и ничего не понял, когда Филарет вдруг прослезился и припал лицом к лицу Ксюши и целовал ее в лоб, в щеки и все шептал:

— Прости меня, грешного, святая душа! Прости недостойного! Господи, как мне искупить вину свою? — С этими словами Филарет встал, трижды осенил Ксюшу крестом и громко произнес: — Отец Всевышний, и Ты, Матерь Богородица, заступница сирых, поднимите ее, праведницу, дайте ей жизнь щедрую во имя Отца и Сына и Святого

Духа! — И, продолжая осенять крестом Ксюшу, опочивальню и Бутурлина, патриарх покинул его палаты.

Не зная, о чем подумать, воевода подошел к Ксюше, хотел спросить, что произошло, но увидел ее закрытые глаза, на лице светился легкий румянец, она спала, и воевода на цыпочках ушел из покоя.

Вернувшись в Кремль, Филарет пришел в царский дворец и обо всем рассказал сыну, что случилось в палатах Бутурлина, потом спросил:

— Сын мой, царь-батюшка, будешь ли ты судить колдунью Щербачеву или церкви позволишь и розыск и суд?

— Ни сам не буду, батюшка, ни тебе не велю. Всевышний осудит ее и накажет праведно. Тебя же прошу о милости. Приходили ко мне ноне ходоки из Кириллова монастыря, просили за князя Хворостинина. Сказывали иноки, что очистился он от грехов и скверны покаянием и послушанием великим. Теперь же просит вернуть его в отчий дом, дабы прахом лечь рядом с родимым батюшкой и матушкой. А ходоки те еще здесь. Скажи им свою волю. Я так думаю, что мало мы творим добра своим детям, оттого Всевышний нас и наказывает.

— Истинно глаголешь, сын мой. Будем милосерднее, — ответил Филарет.

На другой день утром ходоков из Белоозерья привели к патриарху. Он принял их, согрел теплым словом и вручил грамоту, в коей написал, что бывшему князю, рабу Божьему Ивану Хворостинину, дана воля, ему возвращены княжеское имя, палаты, подворье и вотчины.

Спустя месяц князь Иван вернулся в Москву, прожил около года тихо-мирно затворником в своих палатах и незаметно умер. Его похоронили на кладбище Донского монастыря рядом с родителями.

Глава двадцать третья

ЕДЕТ ГОСУДАРЬ

Царь Михаил все еще пребывал в унынии. Безвременная смерть царицы Марии еще довлекла над ним. Он много молился, искал утешения в Боге. Но тоска не убывала. И как-то он позвал во дворец боярышню Ирину Щербачеву. От нее веяло чем-то лесным, диким. Черные жгучие глаза выдавали в ней неведомую силу и власть над человеком.

Михаил по простоте душевной спросил Ирину без обиняков:

— Ты что же, не любила царицу? Вы же подруги.

— Любила. Токмо она мне дорогу перешла.

— И у тебя возник умысел? — Царь смотрел на Ирину добрыми карими глазами и с удивлением. Вот прожигает юная колдунья его смоляными глазами, чего хочет — царь не может угадать, но по спине холодок пробегает.

— Сам прорвался, не ведаю как! — ответила она.

— По-кошачьи цапнула, как мышку. Ишь, какая пряткая! — Царь нахмурился, потому как подумал, что напрасно не наказал ее.

А взгляд Ирины стал его одолевать: слабость по телу поплыла от нутра и вниз к ногам, в глазах затуманилось, Михаил ущипнул себя больно и очнулся, неожиданно жестко сказал:

— Неприятна ты мне, а колдовство твое поруху наносит. Завтра же уезжай в Каргополь молиться.

Щербачева не проявила покорности, головы не склонила, лишь улыбнулась. Царедворцы, кои были допущены послушать беседу с молодой колдуньей, ждали большей царской опалы. Но тут же поблагодарили Господа Бога за то, что их царь добр и не злопамятен. Царь Михаил велел стольнику Василию Бутурлину и своему прежнему сотоварищу князю Ивану Черкасскому проводить Щербачеву до Дмитрова, а там отдать под надзор и сопровождением приставам. Сам же еще глубже ушел в уныние.

В эти дни к царю каждый вечер приходил отец. Побеседовав с думным дьяком Иваном Грамотиным и узнав все последние новости из зарубежных держав, Филарет пересказывал все царю. И был вечер, когда Филарет поведал сыну, что в Москву едет посол Персидского шаха Аббаса и везет необыкновенные подарки. Еще патриарх сказал сыну, что посол шаха Руссан-Бек просит русского царя приготовить ему встречу по христианскому обычаю: с духовенством, хоругвями и чудотворными иконами. Удивился царь Михаил причудам персидского посла, совета спросил у патриарха.

— Сия просьба загадочна, — ответил Филарет. — Так мы встречаем токмо единоверцев. Надо все обдумать и с иереями посоветоваться. Зачем урон нашей церкви?

— Посоветуйся, государь-батюшка. Да и вызнай, с чем едет к нам Руссан-Бек. Не думаю, чтобы насмешку замыслил над нашей верой, — заключил царь.

И он не ошибся: ехали ж персы в Россию с чистой душой. Вскоре загадочная просьба Руссан-Бека раскрылась.

Послов из Персии встречали далеко за московскими заставами и в чистом поле тысячной толпой во главе многих иерархов и архиереев. Патриарх Филарет вызнал-таки, с чем едет персидский посол. И был рад, что Россия обретет такой подарок.

Руссан-Бек увидел удивительное зрелище. Его встречали сотни священников, над ними развевались хоругви, сверкали на солнце золотые оклады чудотворных икон. Сотни певчих пели псалмы, над шествием курился ладан.

Руссан-Бек подкатил в карете к встречающим, ему подали окованный серебром ларец. В полнейшей тишине он открыл его и достал истинный Хитон Господень. Этот Хитон был найден в северной Персии на границе с Грузией. Руссан-Бек раскинул Хитон на открытой карете, да так его и повезли в Москву, доставили в Кремль, где посланца шаха ждали царь, патриарх, вельможи, духовенство.

Хитон Господень под благовест кремлевских колоколов был поднесен царю Михаилу, и посланник шаха сказал при этом:

— Сия священная реликвия принесет вам победу над всеми врагами кои есть у России.

После чего Хитон Господень отнесли в Успенский собор и отслужили молебен. Все долго и упорно молились, ожидая проявления чудес, дабы убедиться в подлинности реликвии. И чудеса свершились. Молодая дворянка Сетпанова застала своего слепого сына поцеловать Хитон. Он лишь прикоснулся к нему и прозрел, крикнул от радости:

— Матушка, я вижу Боженьку!

И тогда к Хитону Господню подошел патриарх. Преклонив колена, он трижды поцеловал реликвию. И, закрыв глаза, долго был неподвижен. В храме все замерло в ожидании нового чуда. И оно произошло. Патриарх увидел знамение: раскрылись многие города и веси России и через них шествовал царский поезд, провожаемый толпами россиян.

Филарет открылся не тотчас, но после торжественного обеда, устроенного в честь послов. После долгих размышлений Филарет пришел к убеждению, что знак Господень проявился неспроста. Воля Всевышнего побуждала его и царя к действиям, важным для будущего державы. И после того, как Руссан-Бека проводили в обратный путь, наделив его мехами соболей, куниц и белок, рыбьим зубом и воском, патриарх призвал царя Михаила к долгому деловому посещению многих городов центральной России.

Майским вечером, когда в зарослях сирени в подгорье Кремля возносились соловьиные трели, Филарет поведал сыну о видении близ Господнего Хитона и рассказал, что увидел за этим.

— Ты, сын мой, еще в печали. Но держава просит наших забот о ней, радения отеческого, и потому настал час трудов великих. И для начала уйдем мы в поход по многим городам российским, всюду оком своим посмотрим, всюду дадим наказ воеводам и духовенству, как налаживать благодатную жизнь.

— Государь-батюшка, я в согласии с твоим желанием. Токмо как мы будем ладить жизнь, сие мне неведомо.

— Мы с тобой токмо в Москве лишили власти всех мшеломцев, в коих корысть обуревала в управлении державой. Теперь же следует высветить всех извратников жизни на местах. По совести ли управляют воеводы, не мздоимствуют ли губные старосты, приказные дьяки, приставы, не дружат ли с зельем попы? Всё и всех надо высветить, всех недостойных лишить власти, наказать в назидание. И поедем мы с тобой не тайно, не безвестно, но отправим во все города сеунчей с грамотами, уведомим о своей воле, побудив всех наводить порядок. Там же, где того порядка не прибудет от нерадения воевод, тиунов и старост, будем строго с них взыскивать и изгонять по случаю. Да на каждое властное место, дабы оно не пустовало, найдем разумных вельмож и служилых людей больше из молодых, из дворянского рода, коими Москва и Россия богаты.

— Спасибо, родимый. Ежели так будем править державой, быть ей в достатке и процветании. Да не будем мешкать, шли гонцов, собирай служилых людей, готовь поезд.

И помчались во все города, до Белгорода на юге и до Вологды на севере, гонцы с повелением государей готовиться к их встрече, во всем порядок наводить, крамолу, злочинство и казнокрадство изживать. В Москве той порой начались сборы в дальний путь. Филарет сам подбирали вельмож, воевод, священников, дьяков и прочих, способных при надобности управлять на местах. Долгими вечерами, обсуждая с царем каждого подорожника, Филарет не назвал никого из старинного московского боярства. Были забыты князья Курбские, Микулинские, Пеньковы, Холмские, бояре Годуновы, Сабуровы, Тучковы, Челяднины... Не обошел вниманием Филарет лишь титулованных князей Прозоровских, Долгоруких и Урусовых. В этих родах, по его мнению, были достойные отпрыски. Шли в поход с

царем и патриархом не титулованные Милославские, Боборыкины, Лопухины, Нарышкины, Чаадаевы — все люди скорые на подъем, деловитые и прозорливые.

У Филарета был опыт собирать воедино большое множество людей. Правда, тот опыт великого московского посольства к королю Сигизмунду был горьким. Но и подобное шло в прок, потому как без горького не познаешь сладкого. Ежели тогда из Москвы поднялось невесть зачем более пяти тысяч человек, теперь же царский поезд составляло чуть больше пятисот с прислугой, с приказными дьяками для дотошной проверки писцовых книг и земельных описей. Правда, совсем неожиданно Филарету пришлось взять в поход воеводу Михаила Бутурлина. Костромичи били челом государю о том, чтобы он вместо безрассудного боярина Якова Челяднина вернул им воеводу Бутурлина. В эти годы воеводы в областях менялись не по срокам, а как заставляла нужда. И Филарет позвал Бутурлина с собой. Он же наказал Катерине ехать с детьми прямым путем в костромское имение. Катерина была этому рада, потому как увидела в том поворот судьбы, указанный перстом Божиим.

Выезжали из Москвы сразу после церковных торжеств в честь дня Вознесения Христова. Еще звучали в душах христиан слова проповедей, евангельских чтений: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой... Сказа сие, Он поднялся в глазах их, облако взяло Его из вида их...» — а поезд потянулся к заставе и взял путь на Калугу.

Сей город, претерпевший многие беды в лихие годы смуты, дважды бывший столицей Лжедмитрия II, менял свой облик с трудом, потому как население его уменьшилось вдвое, да больше за счет мужского пола и некому было застраивать пустыри, возводить новые улицы, посады. Но именно здесь, в Калуге, москвитяне убедились в прозорливости Филарета. Будь приезд царя и патриарха неожиданным, они нашли бы в Калуге самое неприглядное запущение во всем. Гонцы пробудили калужан от зимней спячки. И что не делалось здесь годами, исполнилось за месяц. Весь город, словно палаты радивой хозяйки, очистился от грязи и мусора, была замощена булыжником главная улица города, исчезли пепелища. Многие же калужане обновили дома, привели в божеский вид храмы. Люди работали от зари до зари, а то и ночи прихватывали.

Царя и патриарха встречали всем городом. От мала до велика горожане вышли за заставу, на две версты выстроились вдоль московской дороги. Калужане не помнили подобного, когда бы почтили их таким вниманием, и радовались,

как дети, дивились множеству знатных вельмож и воевод. Многие в Калуге еще помнили, как дважды появлялся в городе тушинский вор-самозванец. Каждый раз его приезд был жалким, но вселял в калужан страх, ожидание смерти, грабежа, насилия. Ныне калужане жили вольно, без страха и не голодали. Им хотелось, чтобы и царский двор ни в чем не нуждался. И потому калужане оказали царю и патриарху, всем москвитянам теплую, достойную встречу. Город выглядел празднично, чисто, благовестили колокола, горожане были нарядны, показывали, что довольны жизнью, избавленные от смуты и междоусобной брани.

Однако царь и патриарх приехала в Калугу не для того, чтобы полюбоваться внешней стороной жизни калужан. Они были намерены проникнуть в ее внутреннее состояние. И тут у хозяев высветилось множество изъянов, и им еще немало нужно было поработать в поте лица, дабы сказать, что жизнь налажена. Еще по пути к Калуге Филарет отметил запущение на нивах, скудость жизни калужских земледельцев. Он увидел многие пепелища там, где раньше стояли селения. В городской управе Филарет узнал по писцовым книгам, по земельным описям то, чего боялся: о бедственном положении служилого земледельческого населения области. Дотошные дьяки Дворцового приказа открыли неприглядную картину. За прошедшие годы царствования Михаила сельского люду в весах нисколько не прибавилось. К тому же по своему составу он стал другим, распался на два сословия. И ежели состоятельных крестьян, дававших основной доход государству, была одна треть, то две трети составляли бобыли-маломочные. Эти маломочные крестьяне еще назывались беспашенными и владели только усадьбами, дающими зерно и овощи лишь на прокорм семьи.

Досужий дьяк Иван Лопатин подвел счет пашне и пустотам по трем уездам Калужской земли — Ельнинском, Медынском и Малоярославском, и открыл царю и патриарху народное бедствие.

— Вот, зрите, царь-батюшка и государь-патриарх, ноне в этих трех уездах на землях служилых людей всего двенадцать сотен крестьян, а бобылей двадцать шесть сотен. На нынешний год в поместьях числится брошенной земли-пустоты в двадцать два раза больше, нежели пашни.

Горестно покачал головой царь Михаил. А патриарх спросил:

— Говори дьяк Иван, что еще нашел? И есть ли движение вперед?

— Нету, государь-батюшка святейший. Земля всюду пустоет. Из ста десятин доброй земли только десять засеивается хлебом. Да вот наглядность. Выборный дворянин Шекстин из Калужского уезда имеет девятьсот десятин доброй вотчиной и поместной земли, а под пашней держит всего девяносто пять десятин.

— И продает хлеб? — спросил царь Михаил.

— Ан нет, царь-батюшка. Не с чего ему продавать. Для себя и для прокорма дворовых он пашет и засеивает всего двадцать десятин. А остальные семьдесят пять пахут на прокорм двадцать восемь крестьян и бобылей, обитающих в девятнадцати дворах. И выходит, что на каждый двор падает кругом по четыре с половиной десятины. Где уж тут пирогам быть...

Царь Михаил даже заохал.

— Что за жизнь здесь у крестьян? Чем кормятся? Уж не разбоем ли? И кто всему виной, не воевода ли с тиунами? — так и слетали с уст царя вопросы, на которые дьяку Лопатину не хотелось отвечать. Он лишь виновато хлопал глазами и теребил клинышек бородки.

Царю Михаилу ответил патриарх:

— В Калуге нет сему бедствию виновных. И воевода Скоков пока на месте. Виною всему, сын мой, смута. Не вырвались здесь из ее полону. Но сие ноне не главный враг. Мы замирили державу. Ноне недуг у нас иной появился: наша нерасторопность, бесхозяйственность и лень. Дума закостенела. Сколько раз убеждал сивые бороды писать строгие указы да царской властью их в жизнь нести, дабы повсеместно крестьян к земле из бегов вернуть. Оно так, в казаках и разбойниках вольно жить, еще торгом заниматься. Эвона сколько купцов-коробейников в Москве развелось. Скупают все у крестьян за бесценок, торгуют беспошлинно, дерут втридорога, — распалился патриарх. — Сие не промысел, а воровство. Потому нужно установить, дабы крестьянин сам распоряжался своим достоянием. И дворянин пусть везет свой хлеб на торжище. Все из рук в руки, — рассуждал Филарет. — Еще посадский люд нужно приструнить, лишить его вольностей несуразных. Дано посадскому ремеслами заниматься, овощ, яйцо и мясо к столу горожан доставлять на рынки, вот и пусть творит Богом определенное дело. Потому и в разряд горожан их следует по достоинству переводить.

Вникнув во все дела Калужской земли, патриарх собрал в палаты воеводы все городские власти и долго увещевал, как им жить.

— Дети мои, слушайте. Высвечу вашу нынешнюю жизнь, как вижу. Нет у вас пока истинного прилежания о благе государства и о своем. В Калужском уезде ноне восемьсот двадцать дворян и детей боярских, кои сидят на земле. Но что сие за хозяева? Сто тридцать есть безземельные, имеют токмо усадьбы, еще триста девяносто — однодворцы и пустопоместные, лишь триста землевладельцев ведут хозяйство исправно. Ведомы мне имена дворян, кои бросили вотчины и поместья, поступили в казаки или ушли в боярские дворы холопами кабальными. Еще в монастыри служками. Или того хуже, ушли в стольный град и там валяются по кабакам и харчевням. Теперь смотрите, какой урон от такой жизни хлебопашцев державе. Она не получает от них хлеба. И чем ниже падает служилое землевладение, тем больше нужно выплачивать служилым людям денежного содержания, тем выше налоги на исправного крестьянина. А потому как налоги разверстываются по величине пашни, то крестьянин не в силах вынести налоговое бремя и уменьшает свою запашку, дабы платить меньше. Теперь скажите, что же делать государству?

В трапезной палате воеводы зашущукались, но никто не возвысил голоса: нечем было возразить патриарху и ответить на его вопрос. Да он и не ждал, но продолжал:

— Вижу выход в одном. Именем царя-батюшки и своим государевым именем повелеваю вам отныне искать всех, кто пребывает в бегах, возвращать их на землю и помочь им миром обустроиться. Еще не плодите нерадивых, радуйте за исправного крестьянина, за умелого работного простолюдина. И мы вас не оставим своими заботами.

Накануне отъезда из Калуги патриарх встретился с духовенством и дал священникам наказ:

— Вы, отцы церкви, радуйте за веру стойко и вразумляйте Божиим словом свою паству. И помните, кто из православных христиан потеряет Бога, за того в ответе вы, пастыри, и с вас спрошу строго.

И вскоре рать Филарета и царя Михаила взяла путь на Брянск. Разогнав дрему и в этом городе, москвитяне двинулись на Тулу, на Рязань, на Владимир — все по кругу, по кругу.

Впереди дотошной рати по-прежнему летела молва легкокрылая, и все, что случалось в тех городах, кои почтили своим вниманием царь и патриарх, становилось ведомо в тех, куда они держали свой путь. Молва эта обрастала домыслами, страстями, и одни внимали страстям с удовольствием, других же они приводили в трепет. И раньше, чем в

том или ином городе появлялись царские дворецкие, стряпчие, постельничие, стольники — все государевы устроители, коим по долгу дворцовой службы надлежало мчать впереди царя, там все приходило в суетливое движение и кто-то замаливал грехи, кто-то готовился к покаянию, а были и такие, кто убегал в леса от неминуемого наказания.

Не в диковинку было иное. Россияне любили своего царя и даже жалели его — вот, вдовый ходит, — но не боялись. А государя-патриарха побаивались. Он хотя и мало кого подвергал опале, и о его милосердии к князю Ивану Хворостинину молва прокатилась по всей Руси, но злочинцы всех мастей трепетали при его появлении. Знали, что Филарет может быть и суров. И было ведомо горожанам в Туле еще до приезда царя и патриарха, что в Брянске Филарет отлучил от церкви воеводу Онучина и сослал его властью государя в поместье для безвыездного проживания. И сказывали, наказал-де справедливо. Онучин месяцами увлекался псовой охотой, бражничал, совращал девиц, а управление областью отдал на откуп дьяку-мздоимцу. И поставил Филарет воеводою в Брянске молодого дворянина Илью Боборыкина, человека деловитого, решительного и справедливого.

А рязанцы знали, что в Туле Филарет освятил новый храм, еще собрал всех безместных попов, кои не желали служить, но бражничали, и отправил их в боровский Пафнутьев монастырь под строгое послушание.

И вот уже впереди Кострома сверкнула главами соборов и церквей — желанный для царя и патриарха остров, почитаемый многими воспоминаниями. Государева рать сильно поредела. Многие остались позади воеводами, тиунами и старостами по городам и селениям, приказными дьяками в городских управах. Москвитяне сменили закостеневших на своих местах воевод во Владимире, Рязани, Пензе. И для Костромы уже был готов воевода: возвращался к прежней службе Михаил Бутурлин.

В Костроме царь и патриарх думали пробить недолго, время уже поджимало. Нужно было еще в Ярославле порядок установить, Тверь теплым словом приласкать. Ан получилось не так, как мыслили, и пришлось задержаться в Костроме почти на две недели. Лишь только царский поезд появился в городе и москвитяне разместились по палатам и подворьям, как к патриарху-государю потянулись ходоки и челобитчики из уездов. Все они Христом Богом просили избавить их от уездных властителей, коих по своему разумению насадил воевода Челяднин, который «взял власть выше царя». Купечество жаловалось на незаконные

поборы-взятки, дворяне на то, что Челяднин и свора ввели во блуд многих их жен. Были жалобы и у духовенства. Слышали священники от Челяднина богохульство и были свидетелями осквернения памяти народного героя, костромского крестьянина Ивана Сусанина, коему довелось спасти от поляков и казаков-разбойников жизнь будущего царя. С челобитной приехал священник Мефодий из села Домнино и зять Ивана Сусанина Богдан Сабинин. Их принял сам царь Михаил, спросил Сабинина:

— Скажи, сын мой Богдан, как ты тут жил? Помню, еще в марте девятнадцатого года я прислал тебе жалованную грамоту с печатями на земельный надел.

— Получил твою грамоту твой раб Богдашка, царь-батюшка, да землицей пришлось владеть недолго. Отобрал ту грамоту воевода Челяднин и жаловаться запретил.

Воеводу судили строго. И не было у него оправданий. И милости Яков Челяднин не просил у Романовых, потому как всегда относился к ним с враждой, которой порою не скрывал. Царь и патриарх посоветовались меж собой и отдали Челяднина на суд костромичей. Судили его духовенство, почитаемые граждане, исправные крестьяне, и все они одним духом приговорили извратника жизни к казни. Однако царь и патриарх не согласились с приговором костромичей, потому как были связаны подкрестной грамотой не казнить за измены. Филарет объяснил горожанам суть царского воздержания, и они проявили понимание, согласились с приговором царя и патриарха. Якова постригли в монашество и под стражей отправили в Соловецкий монастырь под суровый надзор игумена и пристава.

Покончив с важными делами в Костроме и утвердив воеводу Бутурлина, царь Михаил решил съездить на побывку в имение Домнино, где жил с матушкой в отроческие годы и спасался от происков князей Мстиславского и Шуйских.

У патриарха Филарета тоже проявилось желание навестить Ипатьевский монастырь, близкий Романовым по многим воспоминаниям. Но патриарху ехать никуда не нужно было далеко, лишь перебраться на другой берег речки Костромки — там и монастырь. А сыну его предстояла неблизкая дорога по лесным урочищам, и Филарет, благословляя его, попросил:

— Ты, сын мой, остерегись в тех диких местах. Особо близ Рябинина. Нечистая сила там шалит...

— Ведаю, родимый, те места, остерегусь и о молитве не забуду, — ответил Михаил отцу.

Но упоминание о селе Рябиново как-то не осело в памяти Михаила. А в том селе, которое принадлежало воеводе Бутурлину, в эту пору пребывали Катерина с малыми детьми и Ксюшей. Село и имение Бутурлина располагалось ближе Домнина верст на семь. И все же царь Михаил уезжал в Домнино в состоянии какого-то смутного волнения, и приятного и тревожного одновременно, в предчувствии некоего события. Поездка и влекла его и пугала. Он не пытался ни о чем гадать и меньше всего думал о нечистой силе. И свое волнение отнес на счет того, что предстояла желанная встреча с отрядным прошлым. Сопровождали царя в поездке молодой князь Иван Черкасский, несколько человек прислуги и небольшой отряд стрельцов.

Глава двадцать четвертая

ЯСНОВИДИЦА И ЦАРЬ

Стояла благодатная пора ранней осени. Природа уже одарила россиян плодами земли, и повсюду они убрали их с полей, с огородов. Теперь же ходили на грибную охоту и по клюкву. Мужики по ночам бродили вдоль рек, ловили по омутам сазанов, налимов, сомов — беспокойную рыбу осенней поры. Все это царь Михаил помнил и знал, сам со сверстниками хаживал-бегал в лес и на реку. В Домнино он ехал в легкой карете. Рядом с ним сидел князь Иван Черкасский. Он был на два года моложе царя, обходительный, мягкий, нраву веселого, песенник и постоянно бредящий разными чудесами, приключениями, бесстрашный, готовый в любую пору идти хоть на шабаш ведьм или в дикий лес, где водятся волки, медведи, лешие и прочая тварь. Ничего он не страшился, лишь бы сабля была в руках. Михаил полюбил Ивана с детства, с той поры, когда его пятилетнего, а Ивана трехлетнего отправили в ссылку на Белоозеро с родителями Ивана, князем Борисом и княгиней Анной. В семье Черкасских отрок Михаил был окружен лаской и любовью. Был он для Черкасских вторым сыном.

Когда шестнадцатилетнего Михаила венчали на царство, князь Иван встал при нем оружничьим. И хотя был он в ту пору отроком и вроде бы ему еще рано было носить звание оружничьего, ан нет, царь Михаил проявил твердость и отклонил всех, кому хотела отдать это место Боярская дума.

В поездке по городам России царь не отпускал от себя князя Ивана. С ним Михаилу всегда было покойно, на-

дежно и даже порою весело. В те часы, когда они были в пути и карета мерно покачивалась, князь Иван забавлял царя разными историями из прошлого Руси и сказками, коих знал множество.

В тот сентябрьский день по пути в Домнино, когда на землю спустились сумерки, князь Иван рассказывал царю сказку о том, как Илья-пророк надумал наказать строптвого мужика, который в Ильин день ушел в поле работать, косить и возить рожь в овин. Но пока Илья думал, какое наказание определить непочтительному мужику, появился его заступник, Николай Чудотворец. Рассказывал Иван эту сказку, как веселую и забавную историю. Царь смеялся, на душе у него посветлело, ушли беспокойство, волнения.

Дорога бежала через поля и луга, через перелески, ровная, мало наезженная, убаюкивающая. Впереди кареты легкой рысью ехали три стрельца, позади — четыре, между ними — карета с кучером на облучке, запряженная белыми ногайскими конями. Прочие же кареты давно умчались в Домнино, и там царедворцы готовились к встрече царя. Но это не занимало Михаила, он вслушивался в голос князя Ивана, ровный мягкий, и сладко потягивался, глаза уже окутывало облачком сна.

А до Домнино оставалось еще верст десять, и день угас. На дороге, что прибежала в лесное урочище, сразу стало как-то темно и неуютно. Лес, однако, скоро кончился, вновь выехали на луг, где виднелись лишь купины кустарников. Но тут и они скрылись, потому как из лошинки на дорогу накатили такие густые волны тумана, что в двух шагах не стало видно ни человека, ни коня. Кучер погнал лошадей, дабы вырваться из пелены, но ему это не удавалось, туман становился все плотное и окутывал путников, словно ватой. А тут дорога пошла по болотине, петляла, ветвилась. И сперва потерялись стрельцы, что ехали впереди. А на одной из развилок дороги и те, что ехали позади. Они перекликались, но кто и откуда кричал, понять было трудно, потому как голоса катились по кругу и в какую бы сторону не прислушивался, казалось, что кричат оттуда. К тому же голоса множились, было похоже, что кричит добрая сотня людей. Наконец, царские кони сбились с пути, потеряли дорогу, и карета катила, неведомо куда, а голоса перекликающихся стрельцов вдруг растворились, словно утонули в прорве. И наступила мертвая тишина. Лишь под конскими копытами чавкала мягкая земля да всхрапывали кони. Но тут карета остановилась, и царский возница дворянского звания Тихон открыл в передней стенке кареты оконце и виновато сказал:

— Царь-батюшка, дорога пропала, и не ведаю, куда ехать. Знать, нечистая сила закружила нас. Господи, спаси и сохрани нас, милостивый! — воскликнул Тихон.

За царя ответил князь Иван:

— Ты о нечистой силе забудь. Да езжай, не здесь же ночевать.

Тихон задергал вожжами, кони тронулись, карета покатилась, но не прошло и минуты, как вновь остановилась.

— Князь Иван, что же теперь делать? — спросил царь Михаил.

— Дорогу нужно искать, вот и пойду, — ответил князь.

— Нет, не оставляй меня, Ванюша, пусть Тихон ищет. Жутко мне что-то, — признался царь.

— Ну полно, государь, мы ведь не в лесу, а в поле. Тут лешие не вольничают.

Князь Иван не попрекнул царя за обуявший страх, сам он испытывал в душе холодок, потому как нес ответственность за государя. Он вышел из кареты и послал Тихона искать дорогу. Да в тот же миг подумал, что напрасно это сделал, потому как Тихон тоже потеряется. Но иного выхода он не видел и сказал:

— Ты почаще зови-отзывайся, Тихон.

— Так и сделаю, князь-батюшка, — отозвался тот, слез с облучка и, сделав несколько шагов, растворился в белых волнах тумана.

Какое-то время князь слышал голос Тихона, сам отзывался. Еще он услышал далекие крики стрельцов, но не мог бы сказать, в какой стороне они кричали. Показалось Ивану, что голоса доносились откуда-то сверху, словно с какой-то вершины горы. Но вот они будто вознеслись в небо и замерли. И голос Тихона уже не доносился до слуха Ивана. И тогда князь сам закричал, как ему показалось, чужим голосом:

— Тихон! Да отзовись же, Господи! — И прислушался: в ответ — ни звука. — Вот наваждение, — вымолвил князь тихо, перекрестился и поднялся в карету.

— Ну как там? — спросил царь Михаил.

— Худо. Словно в молоке утонули.

— Знать, и впрямь нас бесы запутали, — вздохнул царь.

— Они любят попроказить. Да не печалься, царь-батюшка, пошутят и отстанут, — попытался успокоить Михаила князь. — Вот я сейчас укрою тебя, ты и вздремни.

Князь Иван вынул из рундучка легкую полость из заячьих шкур, укрыл ею царя и положил руку на колено. Царь Михаил и впрямь вскоре уснул под теплой заячьей полостью.

А князь Иван посидел этак молча, в оконце поглядывая, и показалось ему, что туман стал рассеиваться. Вышел из кареты и впрямь увидел в нескольких шагах очертания кустов, ствол дерева. Потоптался возле кареты, присматриваясь окрест. Показалось ему, что туман совсем поредел, и пошел сам искать дорогу, толкаемый неведомой силой и моля Всевышнего о том, чтобы хранил царя-батюшку.

Государь той порой сладко спал, и сколько времени прошло, никто не ведал, когда застоявшиеся кони вдруг тронули карету и тихо пошли вперед. Шли долго, туман рассеялся вовсе. Тут словно кто-то потормошил царя, и он проснулся, глянул в оконце и увидел освещенное окно. Карета подкатила к нему близко и остановилась. Царь Михаил отбросил полость, вышел из кареты, глянул вперед и увидел, что коней кто-то держал под уздцы.

— Это ты, князь Иван? — спросил Михаил.

Ответа не последовало. Царь подошел к человеку поближе и рассмотрел, что возле коней стоит женщина.

— Эй, тетка, кто ты? — спросил он дрогнувшим голосом. Михаил не считал себя храбрецом, да и оружия при нем не было. Он осмотрелся, увидел дом с мезонином, внизу иверху по освещенному окну, лес, подступающий к самому дому, услышал, как филин где-то проухал, вздрогнул, на небо глянул, тонкий серебристый серпик народившегося месяца слева от себя увидел, перекрестился и молитву, берегущую от нечистой силы, зашептал.

В сей миг «тетка» подошла к нему и сказала ласковым голосом:

— Месяц народился, царь-батюшка, и ты увидел его за левым плечом. Помни, Всевышний послал тебе знак благополучия.

— Спасибо Создателю. Токмо я несчастный человек. Вот, заблудился и потерял любезного друга Ивана и всех прочих с ним. Какое уж тут благополучие, — горестно отозвался Михаил.

— Не страдай, царь-батюшка. Твои люди нашлись. Их Еремей-пасечник ведет, куда им следует. Да все с шутки-забавы началось.

— Как это так он посмел? Он же и надо мной забавлялся! А я-то думал, что сие происки нечистой силы.

— Над тобой он не проказничал, токмо сон навесил. — «Тетка» стояла перед Михаилом в мужском охабне, на голову был накинута шлык, который скрывал ее лицо. Но голос показался ему знакомым, и слышал он его где-то в Москве, в чьих-то палатах. И все случившееся с ним по-

казалось царю сказочным, будто навеянным князем Иваном. И он, унимая оторопь, ласково попросил:

— Откройся, тетка, а то мне неуютно в неведении.

— Откроюсь. Дай твою руку. Ты и впрямь в неведении о том, что попал в царство духов. Да пугаться не надо, к тебе тут все добры.

Царь Михаил подал свою руку, «тетка» взяла ее легкой, теплой, но твердой рукой и повела царя к крыльцу дома. Кони шли следом, но потом свернули к конюшне, и Михаил заметил, что к ним кто-то подошел и стал распрягать. Он хотел возразить, но голос не послушался его. «Тетка» ввела его на крыльцо и в темные сени, распахнула дверь, и они оказались в просторной и чистой горнице.

Хозяйка горницы оставила Михаила у порога, сама задернула фиранку на окне, зажгла еще две свечи, скинула шлык и охабень, и в ярком свете трех свечей обернулась пред царем Ксенией-ясновидицей. Она была в простом сарафане, рыжие локоны спадали на плечи, зеленые глаза смеялись, и сама она ласково улыбалась.

Царь Михаил как стоял, так и обомлел. Да пришел в себя.

— Господи Боже, вот уж истинное чудо! — воскликнул он. — То-то голос твой меня смутил на дворе. Нет, это я во сне, сего не может быть наяву. — И царь подошел к ясновидице ближе, тронул за руку. — Однако же сие явь, и это ты, Ксюша. Но какой силой я занесен к тебе?

— Может, царь-батюшка, так угодно Всевышнему.

— Но здесь, в диком лесу!

— Да все просто, государь. Тут мой батюшка держит пасеку в липовой роще. И я люблю на пасеке жить. Как приехала с матушкой в Рябиново, так и умчала сюда.

— Но я-то как попал на пасеку? Мне в Домново надо. И где мои люди, где князь Иван Черкасский, Тихон, стрельцы?

— Тебя привела на пасеку Судьба, — серьезно ответила Ксения. — Люди твои одни уже в Домново, другие в Рябиново, и Тихон там, лишь князь Иван пока в лесу. Да поблуждает и к утру явится.

— Мне князя Ивана жалко. Пропадет он от зверя какого, — произнес Михаил. — Послала бы кого за ним.

— Не печалуйся, царь-батюшка. Он еще порадуется этой ночи, проведенной у огнища с лесными духами. То-то поведаст тебе сказок. — И Ксения весело засмеялась. Да подошла к двери и накинула на железное ушко большой крюк. — Ан и у тебя будет что рассказать, ежели пожелаешь, — загадочно произнесла Ксения. И принялась на-

крывать стол. — Голоден, поди, царь-батюшка, сейчас по-
потчую тебя.

Царь Михаил опустился на лавку у стены и не спускал с девицы глаз. И прихлынуло к нему прошлое, да зримое, будто было сиюминутной явью. Вот он стоит в костромском доме Бутурлина перед Катериной на коленях и умоляет ее ехать в Москву, а из-за ее спины смотрит на него зеленоглазая отроковица и чему-то загадочно улыбается. И ту же загадочную улыбку он увидел спустя три года в патриарших палатах. И тогда она обожгла его сердце. С той поры не было в его жизни дня, чтобы он не вспомнил ее с нежностью и тоской. И на Марии Хлоповой он хотел жениться лишь для того, чтобы избавиться от наваждения. Когда же невесту испортили и сослали, подумал он, что судьба открыла ему дорогу к любимой. И в тот раз, когда он с батюшкой пришел в патриаршие палаты, когда зашел к Ксюше в опочивальню и целую вечность простоял возле спящей девушки, он тешил себя надеждой, что Ксюша будет-таки его женой. Увы, не дано ему было переступить закон старины. Да может теперь попать сей закон, подумал Михаил. И услышал голос Ксюши, словно слетевший откуда-то сверху: «Государь-батюшка, не тешь себя надеждой, я не разделю с тобой супружеского ложа». Михаил не мешкая возразил: «Нет, нет, я добыюсь своего, и ты будешь моей семеюшкой». И услышал ответ: «Я буду твоей, буду, но не семеюшкой». Как явственно тогда прозвучали эти слова. И с ними, загадочными, освещающими путь, Михаил жил все последние годы. Уже туманом заволокло короткое супружество с Марией Долгорукой, а слова Ксении, услышанные им в тиши девичьей опочивальни, все светились в памяти, как лампада перед чудотворным образом.

Правда, после смерти царицы Марии, Михаил на какое-то время забыл о своих чувствах к ясновидице. Его тоже опалило подозрение, к нему приходили черные мысли, и он обвинял Ксению, считал, что она сжила Марию со света. И даже думал начать розыск колдовского дела. Но Всевышний не допустил сего зла, защитил от наветов невинную, помог его батюшке высветить злоумышленницу, боярышню Ирину Щербачеву. Какая блаженная радость прихлынула тогда в сердце Михаила, когда он узнал от отца, что нет на Ксюше вины за смерть царицы Марии. И снова в его груди затеплилась лампада, и он стал надеяться, что судьба соединит его с Ксюшей. Как он искал с нею встречи, дабы открыть ей свою любовь. И теперь он понял, что его молитва услышана Матерью Богородицей,

кой он молился в бессонные ночи. И Ксюша вот она — перед ним.

А девица в эти минуты закончила хлопотать у стола; она принесла немудреные деревенские яства, достала из русской печи горячую тушеную говядину с пшенной кашей, поставила ковш душистой медовухи, нарезала подового хлеба, поставила блюдо с наливными яблоками, сливами и золотистый мед в глиняной чаше принесла. А как завершилась череда воспоминаний Михаила, подошла к нему.

— Теперь ты волен, прошлое окинул глазом, можно и к столу, потому как голоден.

— И правда голоден, славная, — подойдя к столу, ответил Михаил. — И хмельного хочу выпить. Авось пробужусь от одного волшебного сна и в другой с Божьей помощью окунусь.

Они сидели за столом напротив друг друга, ели молча. Лишь перед тем, как пригубить медовухи, Ксюша сказала:

— Будь счастлив, царь-батюшка. Отныне оно тебя не покинет до последней вечерней зари.

Михаил только кивнул в ответ, потому как в сей миг был счастлив и не думал о будущем.

А Ксюша думала, потому как пришла пора. Ясновидица пребывала в полной силе, кою унаследовала от батюшки и матушки. Сидя за столом при свете свечей, она видела все будущее сидящего перед ней государя России. Ее взгляд достигал самого окоема, который был довольно далеко. Она видела его пред алтарем Благовещенского собора, и патриарх венчал и благословлял сына на благодатную супружескую жизнь, благословлял будущую царицу, юную красавицу дворянского рода Дуняшу Стрешневу, кою Ксюша знала. Вот царь Михаил надел ей обручальный перстень, и невеста надела царю перстень. Потом они троекратно поцеловались, их повели вокруг алтаря, а хор запел хвалу новобрачным.

Видела Ксения, как год спустя Дуняша разрешилась от бремени. Все было зримо, словно Ксюша стояла близ роженицы, и крики ее слышала, и помогла разрешиться благополучно. И Дуняша родила царю сына, наследника престола. И утвердилась царская династия Романовых, как тому и должно быть, как мечтал ее родоначальник, Филарет Романов. Картины жизни царя Михаила проплывали перед мысленным взором ясновидицы четко, выпукло. Царствование Михаила ничем не замутнялось. Его дети, народ российский, выбрались из тенет смуты, все окрепли достатком, жили без военных тревог и потерь близких, славили царя, да больше его батюшку, потому как ведали, что он

не только патриарх всея Руси, но еще и великий государь, несущий на своих плечах державу.

Пришлось Ксении и попечаловаться, потому как она увидела кончину святейшего патриарха всея Руси. Увидела она и себя, стоящей рядом с матушкой близ гроба Филарета. Тогда обе они горько плакали, не скрывая своего горя. И царь Михаил неутешно плакал, пребывая в неизбывном горе. Да удивлялась Ксюша тому, с каким удивлением смотрел на усопшего деда пятилетний внук, царевич Алексей. Он еще не осознавал, что дедушка ушел из жизни навсегда.

Михаил и Ксения не засиделись за столом. За то короткое время, какое они вкушали пищу, царь истомился душою от жажды прикоснуться к Ксюше рукой, истомился больше, чем за все годы, кои знал и любила ее. И Ксюша это видела и понимала состояние Михаила. Она и сама пребывала в том блаженном состоянии, когда уплывают в неведомое все условности жизни. Она тоже жаждала блаженства близости. И когда покончили с трапезой и выпили во благо крепкой медовухи, Ксюша сказала смело и неожиданно:

— Мой любый, идем, я покажу тебе мой терем. — И встала из-за стола, взяла царя за руку и повела его на кухню, где за челом печи поднималась лестница, ведущая в светелку. Михаил только ступил на порог, но войти в девичью опочивальню у него не хватило духу. Здесь все говорило о таинстве девичьей жизни. Тут пахло травами, благовонными маслами. Перед иконой Божьей Матери светилась лампада, и свет ее падал на ложе, на котором было раскинуто ночное платно. Изразцовая печь излучала тепло.

— Входи же, мой любый, посмотри на келью затворницы. По душе ли она тебе?

У Михаила не нашлось слов в ответ Ксюше. Он молча шагнул к образу Божьей Матери, опустил на колени и воскликнул:

— Владычица Небесная, хвала Тебе, покровительница моей незабвенной лебедушки. — И положив широкий крест на лик, на плечи и на грудь, он встал, протянул руки к Ксюше и обнял ее, приник лицом к плечу и замер.

Ксюша почувствовала, как из глаз Михаила потекли слезы. Она дала ему успокоиться, гладила по спине, а потом подняла его лицо и стала целовать мокрые щеки. Он же нашел ее губы и, изголодавшийся по женской ласке, жадно, но мягко целовал их и смеялся.

— Ксюшенька, да как же так все свершилось? За что мне Всевышний послал сие чудо?

— За доброту твою сердешную, за ласковую душу твою пришло к нам сие благо. — А говоря теплые слова царю, Ксюша не осталась без дела. Она принялась разоблачать царя от одежды. Да сняв с него почти все, сама из сарафана, из сподницы выскользнула, словно рыбка. Тут же откинула белое покрывало, одеяло, уложила Михаила, приговаривая: — Потомись, мой батюшка любый, прежде чем принять меня. — Сама ушла в дальний угол светелки, взяла глиняный кувшин с водой, обмылась, да тут же масла благовонного в ладонь налила, растерлась им, как задумала.

Михаил все это видел и подумал, что Ксения творит священное омовение. И сам поднялся с ложа, захотел очиститься от дорожной пыли. Он не смутился своей наготы, и Ксюша его не смутила. Оба они творили извечное, отчего стыд не приходит. Ксюша помогла царю, умыла с руки его лицо, грудь, спину, все иное, как и должно быть. И благовоний не пожалела. Да радовалась, что ее любый не пылал страстью без меры, а шел к близости сдержанно, веря в то, что Ксюша отдаст ему все свое девичье достоинство.

И они вернулись на ложе, Михаил уложил Ксюшу и сам лег рядом. И они еще долго лежали, созерцая друг друга и касаясь руками, и блаженствовали в предвкушении тех мгновений, когда сольются в единое существо. Михаил знал, что для невинной девушки самое важное именно в этом умиротворенном созерцании ее тела, в ласке, в нежном касании к розовым соскам груди, в прикосновении к животу, к собольей опушке.

И пришел миг, когда в Ксюше возгорелось пламя страсти с такой неодолимой силой, что она сама побудила Михаила окунуться в ее существо. И в нем пробудилась родовая, романовская, отцовская неистовость, и он дал волю страсти, копившейся не один год. И свершилось должное. Из груди Ксюши вырвался, приглушенный губами Михаила, крик боли. И пролилась руда невинности. Они же этого не заметили, потому как над ними властвовали другие силы, заглушающие даже громы небесные.

И уж потом, оба немного смущенные, убрали простынь, украшенную лепестками мака, постелили белоснежную, деля все вместе и смеясь, и снова окунулись в блаженство волшебной близости. Лампада освещала их лица, отрешенные от мирской суеты. Непорочные дети матери природы, они не ощущали в своих душах греховности изливаемых чувств. Да ее и не было, той греховности. Они были свободны в проявлении своей любви и страсти. И никто из

них ничего не сулил друг другу, и они не строили сказочных теремов, потому и разрушать им было нечего.

Уснули они лишь под утро, исчерпав до дна свои силы, утолив до предела свою жажду, сказав друг другу все нежные слова. Не было лишь одного: Ксюша запретила Михаилу давать какие-либо клятвы, заверения. Ведала она, что после этой ночи судьба разведет их до конца земного пути. И хотя пройдут эти дни, годы в частом общении, потому как все та же милосердная к ним судьба распорядится быть Ксюше всегда вблизи царского двора, но никогда уже более им не дано будет прикоснуться друг к другу, как в минувшую ночь, накануне праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Ксюша проснулась с первыми лучами солнца, заглянувшего в светелку. Солнечный луч коснулся ее лица, и она открыла глаза. Тихонько встав, она оделась, собрала и уложила царскую одежду, прикоснулась рукою к лицу Михаила, потом не удержалась и поцеловала его. Царь продолжал безмятежно спать.

На дворе, близ омшаника, Ксюша увидела пасечника Еремея и его жену Авдотью. Они смотрели на Ксюшу, как отец и мать смотрят на любимое дитя. Сыновья пасечников давно выросли, покинули Рябино, ушли по Волге в Тверь, занялись торговыми делами и домой наведывались лишь изредка. Еремей и Авдотья скучали по детям и потому Ксюша для них была отрадой. В ту пору, как Катерина вышла замуж за воеводу Бутурлина, пасечники взяли к себе Ксюшу на все лето, а потом так и повелось, когда ей выдавалось быть на костромской земле. Еремей многое добавил к Ксюшину ясновидению, иногда забавлял ее лесными чудесами. Так было и прошедшим вечером. Это Еремей сказал Ксюше, что по дороге из Костромы в Домнино едет царь. Он же по ее просьбе напустил на путников туман и всех запутал-заплутал. И Еремей первым делом спросил Ксюшу:

— Ну как, доченька, довольна ли нашими проказами?

— Господи, батюшка, да вы и лишнего натворили с матушкой. Не случилась ли беда с князем Иваном?

Еремей посмеялся в широкую русую бороду, покачал головой.

— Живехонек. Еще спит в избушке близ смолокурни. А ночь-то с нами у огнища провел.

— Так мне и показалось. Да за кого же он вас принял?

— Он и скажет, за кого, — усмехнулся Еремей.

— Батюшка, вызволь его из смолокурни! — взмолилась Ксюша.

— Сама и сходи за ним. Нужда в том есть, — как-то загадочно сказал пасечник.

Ксюша не возразила, доверилась Еремею, потому как знала, что и он ведает судьбы людей. Сама-то она не заглядывала в свой завтрашний день, пребывая в созерцании минувшего.

— Сейчас и пойду, батюшка, — ответила Ксюша.

— Иди, а мы тут Тихона покормим, царя попотчуем да в путь их проводим до стрельцов, кои в Рябинине зябнут.

— Спасибо, родимые, — Ксюша поклонилась и побежала в лес.

До смолокурни было версты две. Стояла она в прозрачной березовой роще. Ксюша любила туда ходить и дышать там запахом терпкого березового дегтя. Она летела к знакомым березкам как на крыльях, еще очарованная тем, что случилось с нею в прошедшую ночь, что подарила царю минуты блаженства и что их тайна останется ведомой только им да преданным ей Еремею и Авдотье.

В пути к смолокурне Ксюша находила много грибов. Тут и там ей попадались стайки красноголовиков, белых боровиков. Подумала, что на обратном пути наберет их в короб, который найдет в избушке. И за весь путь она не вспомнила о князе. А следовало бы, потому как спешила навстречу своей судьбе.

Глава двадцать пятая

КНЯЗЬ ИВАН И КСЕНИЯ

После возвращения царя Михаила из Домнина Филарет поднял свою порядевшую рать на Ярославль. Патриарх был доволен посещением Костромы. По душе пришлось и то, как костромичи высоко чтили его сына. Они считали его своим земляком, гордились им и пообещали, что с воеводой Бутурлиным наладят жизнь. Им сие было посильно, считал Филарет, потому что Костромская земля мало пострадала в Смутное время. Тут меньше крестьян побывало в бегах, а дворяне служили исправнее и были поухватистее иных, не бегали из поместий в монастырские службы, не уходили в зимогоры. И все бы хорошо, Филарет так и уехал бы из Костромы с легким сердцем, да накануне отъезда случилась большая неприятность. Патриарх попросил к себе князя Ивана Черкасского. Однако посыльные нигде его не могли найти. И даже никто не видел его в городе по возвращении

царя. Он же сопровождал его в Домнино. Уже смеркалось, и Филарет отправился в покой царя, дабы узнать, где остался князь Иван. Но царский покой был пуст. Постельничий царя Константин Михалков на колени упал перед патриархом, моля о прощении греха:

— Святейший владыко, — закричал он в голос, — не смог я удержать царя-батюшку! Умчал он вольно снова в Домнино.

Патриарх пришел в смятение, голос повысил на Михалкова, на стольника Ивана Троекурова:

— Греховодники! Как смели отпустить царя, меня не уведолив!

А пока в Костроме гремела гроза, царь Михаил с князем Иваном и с немногими стрельцами верхами скакали на пасеку воеводы Бутурлина. Замстилось царю вновь увидеть Ксению и попрощаться с нею, потому как в то утро он проснулся в светелке и не нашел ее, сколько ни искал, ни спрашивал пасечников. На сей раз путь до пасеки царь и князь одолели без помех, примчали в ранних сумерках. Спрыгнув у крыльца с коня, царь сказал князю:

— Ты, Иван, не ходи со мной, а я сей миг...

Не заглядывая в горницу, царь поднялся в светелку. Ксения сидела у свечи с рукодельем в руках, вышивала парсуну. Увидев царя, она улыбнулась, но навстречу не встала, а сказала:

— Добрый вечер, царь-батюшка. Ведала, что ты прилетишь, дабы спросить, почему в то утро ушла не протившись.

— Верно говоришь, любушка, — Михаил склонился к Ксении и поцеловал ее в щеку. — За что ты меня наказала?

— Мы с тобой, любый, обо всем поговорили в ту ночь. Об одном тогда не сказала тебе. Теперь скажу и прошу милостиво: запомни то, что услышишь. Тому, что было, больше не повториться. Я всегда буду с тобой рядом, но как в сказочном круге, и тебе, царь-батюшка, не дано Всевышним переступить черту. Умоляю тебя, помни об этом. Сие веление судьбы.

— Но как же так, любая, ведь ты мне ближе, чем семейшка. Да и будет ли она у меня, — упавшим голосом говорил царь.

— И ты мне дорог, государь, да судьбу и на коне не объедешь.

— Господи, что же мне делать?

— Думай чаще о той ночи и обретешь утешение. — Ксения ласково улыбнулась, встала, обняла царя, поцело-

вала и тихо сказала: — Теперь прощай. — И повела его из светелки к лестнице.

Михаил порывался что-то сказать, потребовать даже. Но язык был непослушен ему, а ноги сами уносили из девичьей. Он только смотрел на Ксению, как смотрят на улетающую в неведомое загадочную птицу. Ксения так и осталась для него загадкой. Сила увлекла его вниз, он покинул дом, сел на коня и не проронив ни слова, отрешенный от всего окружающего, дернул поводья и покинул усадьбу. Потом он погнал коня рысью, летел, словно в атаку на врага, дабы сбросить оцепенение. Уже в версте от пасеки он вдруг услышал позади себя крики, обернулся и понял, что это десятский стрелец просит его остановиться. Царь Михаил развернул коня, проехал немного и увидел в синих сумерках лежащего на земле князя Ивана.

— Что с тобой, друг любезный? — обеспокоено спросил царь.

— Ах, поруха какая вышла! — воскликнул князь. — Конь споткнулся о корневище и вот...

— Ты-то как, не убится?

— Бог миловал. Кубарем летел к земле, да мягко припал. — И князь попытался встать. Да тут же охнул, схватился за поясницу и снова опустился на землю.

— Экая незадача! — вздохнул Михаил. Он знал, что в Костроме его ищут, ждут, что батюшка беспокоится, может, гневается, и надо домчать за ночь до города, вернуться к утру в воеводские палаты. Но и князя одного оставить на лесной дороге он не мог, и рынд от себя отпустить, чтобы отнесли князя на пасеку, счел проволочкой времени. Случится что с ним, царем, с них же голову в первую очередь снимут. Царь еще вздыхал, не зная, что делать, а той порой, неведомо откуда из кустов вышел пасечник Еремей.

— Слышу, царь-батюшка, у вас беда приключилась, — сказал он. — Да не горюйте, пособлю вам. А ты, царь-батюшка, в город поспеши, а то воеводы стрельцов подняли, ищут тебя скопом.

— Ну спасибо, дядька Еремей, ко времени возник. А ты, любезный Иван, прости, что покидаю. Право же, Еремей сказал: гроза в Костроме разразилась. Жду тебя в Ярославле! — И царь развернул коня, с места послал его рысью. Стрельцы ускакали за ним.

Князь же крикнул во след:

— В Москве встретимся, на свадьбе!

Но царь Михаил не слышал этих слов, и во благо.

Еремей помог князю на ноги встать. Иван поднялся с трудом: поясицу огнем прожигало.

— Ох, не дойду я до пасеки, — выдохнул он.

— Дойдешь, князюшка. Твоя болеть с каждым шагом убывать будет. Пасечник взял княжеского коня за уздечку и князя под руку. — Ну, с Богом в путь. — И повел Ивана.

А у него с каждым шагом огонь в поясице затухал, боль спадала и через сотню шагов князь уже не чувствовал никакой щемоты.

— Ишь ты, — удивился князь, — отпустило! Право же, ушла щемота! — воскликнул он радостно. — Впору царя догонять.

— Полно, князюшка, тебя на пасеке ждут.

— С чего бы? И кто меня ждет? — Он знал, что царь Михаил четыре дня назад провел ночь на пасеке, знал, что там обитает какая-то девица. Да вроде бы она ублажала царя. Но о том князь мог только гадать да играть воображением...

В ту ночь, когда он оставил царя в карете, ушел искать дорогу, нечистая сила увела его в лес, к огнищу, возле которого сидели старик со старухой, над костром висел котел, в нем вода кипела и старуха туда грибы кидала.

— Кто вы, добрые люди? Куда я пришел? Как мне в Домнино попасть? — засыпал он их вопросами, о царе не упоминая.

— А ты не спеши в Домнино, — ответил старик. — Садись к огню, поснедай. Вон хлеб лежит, сазан жареный тебя ждет. А люди мы лесные, и пришел ты на смолокурню.

Иван покачал головой, отказался от сазана, открылся:

— Нельзя мне сидеть с вами, лесные люди, я царя-батюшку в карете неведомо где оставил.

— Не переживай: царь-батюшка в целости и нашел свое место, — ответил старик.

Князь невольно сел к огню, за хлебом потянулся, ломти которого лежали на белой холстинке, рыбы кусок взял с чугунной сковороды. Еремей баклагу подал ему, сказал: «Пригуби для сугрева». Князь послушно приложился к баклаге, да и опорожнил ее, сам не ведая как. Да вскоре захмелел крепко и показалось ему будто сидит он не с лесными бабой и дедом, а в окружении нечистой силы, коя тешит его небылицами. И не помнил князь, как Еремей и Авдотья взяли его под руки и отвели в избушку, уложили на топчан и укрыли овчинной полостью. Но хорошо он запомнил, как во сне или наяву, он того не знал, женский голос сказал ему: «Ты, князь, как встанешь, иди за мной».

И неведомо князю спустя какое время после сказанного, он открыл глаза и услышал, как, закрываясь, скрипнула дверь избышки. Он вскочил с топчана, выглянул за дверь и увидел, как от избышки убежала девица. Князь помчал следом, попытался догнать ее, да где там, потому как девица бежала словно лесная лань. Так, на почтительном расстоянии друг от друга, они пробежали версты две, а когда уже был виден дом пасечника, девица исчезла, и сколько князь ни крутил головой по сторонам, не увидел ее. На пасеке князя Ивана встретила Авдотья. Он не признал ее. Она же сказала как старому знакомому:

— Князь-батюшка явился. А я тебя давно поджидаю. Голоден, поди. Иди в дом, там поснедаешь.

— А кто приходил на смолокурню и разбудил меня? — спросил князь.

— Судьба приходила. Она и разбудила, — ответила Авдотья. Узкие черные глаза ее светились лукавством.

— Какая судьба, где она? — недоумевал князь.

— А ты не будь суетным, всему свой черед. — Авдотья повела князя в дом, усадила за стол, накормила, напоила, ушла в конюшню. Там она запрягла в легкий возок резвую кобылку, вернулась в дом. — Пора в путь, князь-батюшка, царь в Домнино изболелся по тебе.

Князь покинул дом пасечника, сел в возок, и Авдотья погнала лошадь со двора. В пути она рассказывала Ивану небывлицы про местные туманы, кои по осени многих путников заводят в глухие урочища на гульбища лесных обитателей.

...И вот князь Иван шел рядом с Еремеем на пасеку и пытался отгадать, какую шутку приготовила ему судьба на сей раз. Но оставаясь лихим человеком, князь шел на пасеку, не пугаясь никаких проказ. Когда же князь вошел следом за Еремеем в дом, пасечник сказал:

— Иди, князюшка, в светелку, там ждут тебя.

И тут князь дрогнул: идти в светелку, где сидит девица, ой как сие чревато. Да ноги сами понесли его вверх по лестнице. Ан где-то на середине свинцом вдруг налились. И он переставлял ноги, как пудовые тумбы. Наконец, князь добрался до двери, стал открывать ее, а она заскрипела пронзительно и резко. Князь вошел в светелку и увидел у окна старую-престарую женщину, сидящую к нему спиной. Седые космы волос скрывали ее лицо, руки она прятала в рукавицах, которыми держала чучело вороны.

По спине у князя побежали мурашки: уж не попал ли он в какую из своих сказок. Да так и было. Бабка заговорила скрипучим голосом.

— Ты, князь, молод и красив, счастья ищешь. Вот оно — рядом. Хочу быть твоей семеюшкой. Уважь, голу-бок, старую.

И не помнил Иван, как все случилось далее. Сорвал он с головы кунью шапку, ударил об пол и как сказочный удалец-молодец, стоящий на распутье трех дорог пред ве-щим камнем, сулящим страсти, шагнул на ту, коя несла смерть. Он распахнул на груди кафтан.

— Вставай, бабушка, припади к моей груди, обниму тебя и под венец поведу! А большего не взыщи! — выдохнул князь.

— Ой, лихой, лихой князь Иван. Да возвратного пути тебе нет. Веди на свадебный шабаш в Змеиное урочище, — проскрипела бабка.

— Вставай! Руку подай! — крикнул князь отчаянно.

И свершилось чудо, как будет потом рассказывать стар-ый князь Иван Черкасский своим внукам: на голове стар-ой бабки взметнулись космы, встали дыбом, сама по себе сползла со спины драная шубенка, бабка встала. Князь закрыл глаза, руки распахнул, готовый обнять и назвать своей невестой лесную ведьму. Она же скинула с головы ложные волосы, от лесных орехов рот освободила, со спины старую подушку вытащила и обернулась Ксенией. Но не упала на грудь князя, а только протянула руку и провела ею по лицу Ивана. И нежная, мягкая рука заставила князя открыть глаза. То, что он увидел, как потом скажет князь, было сказочнее самой волшебной сказки. Перед ним стояла та девица, на которую он молился и которой тайно любобался в те дни, когда встречал ее идущей в Благовещенский собор на моление из патриарших палат. Особенно же много молился князь на царской свадьбе и просил Бога, чтобы та девица, коя сидела напротив, посмотрела бы на него.

— Господи, теперь я верю сказкам, они не ложь, но правда! — воскликнул князь.

— И я в согласии с тобой, князь Иван, — отозвалась Ксюша. И пока князь еще созерцал ясновидицу, она подумала о том, что в светелке им делать больше нечего, и повела князя в горницу. — Идем, сказочник, сыты выпьем да погутарим, ежели хочешь.

Ксения усадила князя на то же место, где сидел царь. И так же на лицо князя падал свет свечей. И Ксения все читала на нем, как в открытой книге. Она видела, что князь влюблен в нее и готов на все, хоть в омут головой, лишь бы она ответила ему взаимностью. Сама Ксения пи-тала к нему нечто иное и не ведала, какое имя этому

чувству. Он нравился ей своей удалью, веселым нравом, открытостью, крепостью духа и дружбы: уж если подружит с кем — на всю жизнь. Князь был статен и по мнению Ксюши больше мил, чем красив. Да сказочники красивыми и не бывают, но всегда манят к себе огнем души, считала ясновидица...

Молча созерцая друг друга, они просидели долго. Потом князь выпил вместо сыты крепкой медовухи и повел речь прямую и дерзкую:

— Я тебя давно знаю, ясновидица, и скажу ноне, все, что в тот вечер, как нам заплутать с царем-батюшкой, и что потом с нами случилось — все твоим норовом допущено. И царь в твои сети попал, и я в лесу, где лешие обитают, твоей милостью очутился. А для чего, понять не могу. И все потому, что ноне царь от тебя потемнев ликом уехал. Ты и ноне каверзы ему и нам чинила. Я упал с коня, словно дитя неумелое в седло попавшее. И конь на ровном месте споткнулся. Это мой-то Буян! Все загадочно, да не как в сказке. Опять же мститися мне, что царь-батюшка ночь в этом доме провел. Вот токмо в каком покое, не наверху ли, и нет ли у тебя, девица, нужды в покаянии?

Ксения засмеялась, да звонко, залиvisto.

— Уж не тебе ли исповедаться, не ты ли бабушка-протопоп?

— Истинно глаголешь, дитя мое, кайся! — и князь тоже засмеялся.

А Ксюша неожиданно посерьезнела, нож в руки взяла, поиграла им и с силой в столешницу воткнула, свечу рядом поставила, чтобы огонь прямо в глаза князю падал, спросила строго:

— Отвечай князь Иван: ты раб Божий?

Князь с удивлением покачал головой, дескать, круто взяла девица. Но отозвался:

— Отвечаю: я есть раб Божий.

— И ты есть раб царя, Богом данного тебе?

— И я есть раб помазанника Божьего.

— Вот и я тоже, князюшка. Рабы мы с тобой. Теперь же слушай, что Господь Христос сказал.

— Слушаю, — лицо князя в эти минуты тоже стало серьезным, почти суровым.

Ксения сняла нагар со свечи, она запылала ярче, и продолжала, не спуская зеленых, обжигающих глаз с князя.

— Никто, зажигая свечу, не накрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а держит на подсвечнике, дабы входящие видели свет.

— Разумею, — отозвался князь.

— Ты просишь моей исповеди, сие не блажь, ведаю. Знай же. Ибо нет ничего тайного, говорил Христос, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Ты и сие уразумел?

— Да. — И князь вздохнул.

— Внимай дальше. Матушка моя ведунья, и ясновидица Катерина, в молодости любила князя Федора Романова. И все было между любящими. И мнилось им, что сие есть тайна. Ан о той тайне знала вся Москва. Будешь ли ты меня судить-казнить за то, что ту ночь царь-батюшка провел у меня, своей рабыни, в светелке? И по какому праву ты будешь судить? — Ксения сказала все, что надумала высветить, и теперь сидела перед князем гордо вскинув голову и не отводя своих требовательных глаз от лица Ивана, читала все, что творилось в его душе.

А там разгулялись стихии. Все вспыхнуло вдруг, потому как князь ощутил ревность. А к ревности примешалось уязвленное самолюбие. Но и милосердие к рабыне проснулось, и стыд за личную ложь на уязвление самолюбия. Никто его не уязвлял. Совсем запутавшись в борении душевных сил, князь погасил свечу, выдернул нож из столешницы, встал и засмеялся искренне:

— А я ведь и говорил, что у нас все, как в сказке. — Он потянулся, лениво зевнул, прикрывая рот рукой, и с деланным равнодушием сказал: — Да все славно, токмо темь на дворе, и где-то ночь скоротать нужно. То-то бы в светелке.

И не понял князь, чего больше было в голосе Ксюши, гнева или презрения.

— Нет, голубок, царскому рабу не место в моем тереме, в коем государь почивал. Ему на конюшне быть. — Ксения встала и направилась в светелку. На душе у нее было горько оттого, что князь Иван не понял ее и не догадался, что она спала не с царем, а с человеком, которого любила.

Но Ксения на сей раз ошибалась. Она не одолела и трех ступеней, как князь метнулся к ней и взял за руку.

— Ясновидица, прости негодного! Я не хотел тебя обидеть!

— Бог простит. А спать ты можешь в боковушке за горницей. Там у нас гости почивают.

— Какой сон, голубушка?! Как уснуть, ежели ты сто лет любя мне! И я, раб Божий, прошу тебя об одном: стань

моей семеюшкой! Блудная жизнь не по мне. И положи меня рядом на ложе, не коснись тебя!

«А ведь правду речет, — мелькнуло у Ксюши. — Но что он будет делать, ежели сон не сморит?»

— Испытай, любушка, молю Богом! А как сон не сморит меня и тебя, буду сказки рассказывать!

«Испытаю. То-то будет диво да похвала Иванушке, ежели тверд, останется», — снова подумала Ксюша.

— Истинно диво явится, потому как кровь во мне буйная, — ответил князь на то, о чем она только подумала.

«Ишь, как я его разбередила, как зрит мои думы. Ну зри, зри, да берегись, коль обмишулишься. Выдворю в исподнем на двор».

— Не быть тому, любушка. Любовь моя к тебе почтительна и сильнее брэнной плоти.

«Господи, мне ли головой не лететь в омут отныне, как царя приняла. А омут-то глубок и светел. Да и раб Божий рабыне тоже мил. От добра добра не ищут». Этой мысли князь не прочитал, потому как промелькнула она в глубине души потаенно. И Ксения потеснилась на лестнице, пропуская князя вперед, сказала:

— Иди, князюшка, в мой терем, а я пойду двери зачиню.

— Это я мигом обернусь. — И князь опять же стрелою метнулся, накинул на дверь крюк и вернулся. — А в светелку тебе первой входить.

Ксения медленно поднялась по лестнице. Князь шел следом.

— Скажи, Иванушка, откуда к тебе сила пришла, что мысли мои читаешь с листа?

— Сам не ведаю, — признался князь. — Сидели мы за столом, я на тебя смотрел и чувствовал, что под твоим взглядом становлюсь маленьким, ну как есть детей. Все взбунтовалось во мне и вот... я всю тебя увидел. А как, почему? Знать, одному Богу ведомо.

— Да не было ли в твоём роду ясновидящих?

— Сказывали, кто-то был, прадед или прапрадед.

— Порадуйся, что открылась в тебе их сила. Нам же с тобой во благо, понимать друг друга без слов.

Ксения прикоснулась к плечу Ивана рукой и тут же постель взялась разбирать, запретив себе думать о блаженной ночи накануне праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Как закончила дело, сказала князю:

— Ну, Иванушка, скидай одежды, ложись на муки долгие, да к стенке, дабы не сбежал. — И засмеялась.

— Нет, любя, мне должно с краю, — ответил князь.

Ксения не стала спорить, перекрестилась на образ Божьей Матери, скинула чесуйку, сарафан, разулась, волосы подобрала, перевязала лентой и нырнула под одеяло, как подумала чуть раньше, словно в омут.

Князь Иван раздевался степенно, положил кафтан и штаны аккуратно, а прежде чем лечь, помолился и положил на середину постели ременную опояску — рубеж неприкосновенный. Ксения улыбнулась, но ничего не сказала о княжеской выдумке. Он же был серьезен и строг, лег степенно и тихо, как-то по-хозяйски сказал:

— Да хранит тебя Всевышний в ночи. Спи и ни о чем не думай. И мне думать не о чем, все передумано да и утомился я вельми, почивать тоже буду. — И князь закрыл глаза.

А Ксения, вопреки наказу князя, долго лежала без сна и вольно думала о князе, о человеке, который вел себя так мужественно и благородно. «Ну и россиянин, велик же духом. А ведь я, грешница, побуждала тебя в мыслях покуситься на меня. Уж так хотелось в сенник выдворить. Да все по иному складывается, и во благо», — подумала Ксюша и тоже спокойно заснула.

Проснувшись чуть свет, но еще не открыв глаза, Ксения надумала вознаградить князя за великое терпение и поцеловать его. Но, открыв глаза, увидела, что князя рядом нет. Она оделась и спустилась на кухню, спросила Авдотью, которая топила печь:

— Матушка, ты князя не видела?

— Видела. И покормила.

— Где же он?

— А умчал. Как поснедал, так и в седло поднялся.

Ксения прошла по горнице, глаза ее блуждали, она словно что-то потеряла. Да так и было. Потому как, увидев не сдвинутую с места опояску на постели, она хотела сказать князю, что согласна быть его семеюшкой. Поблуждав по горнице, Ксения решила уехать в Кострому, пока еще сама не ведая зачем. Она вышла на двор, увидела у омшанника Еремея и попросила:

— Батюшка, запряги чалую в возок, в город мне пришло...

Еремей и сам собирался на воеводский двор, отвезти туда три жбана меду да три пуда вошины. И вскоре Ксюша и Еремей укатили в Кострому. Приехали в полдень. В городе текла обычная размеренная жизнь. Царь со свитой уже уехали на Ярославль. На подворье воеводы

было пустынно. У конской привязи стоял вороной конь под седлом.

— Князь Иван тут. Да скоро умчит. Вон и Буян готов в путь, — сказал Еремей.

У Ксюши тревожно забилося сердце. И, озираясь, словно ей что-то угрожало, она вошла в палаты и заглянула в покой, где воевода принимал посетителей. Он сидел за столом. Напротив его стоял князь Черкасский. Матушка Катерина стояла у окна. Увидев Ксению, поспешила к ней, обняла.

— А у нас тут гость неожиданный.

Бутурлин тоже подошел к Ксении. Она поклонилась ему. Он же взял ее за плечи и повел к столу.

— Вижу, Господь внял твоим молитвам, князь. Явилась виновница твоих волнений. Вот и спроси ее. Мы же приневоливать не будем.

Князь поклонился Ксении, сказал торжественно, но ломая при этом сложившиеся каноны сватовства:

— Здравствуй, девица-краса. Добрый молодец ищет семеюшку. Да и нашел. Согласна ли ты быть моей женошкой? А матушка с батюшкой не супротивничают.

Ксения улыбнулась и подумала: «Как не согласиться верному молодцу служить. Мил он мне...»

И князь воскликнул:

— Матушка с батюшкой, она согласна, я ей мил!

Воевода глянул на Катерину.

— Как сие понимать? — спросил он.

— Так и понимай, воевода-батюшка. Князь верно сказал, — ответила Катерина.

— Но я не слышал, что сказала Ксения, — удивился Бутурлин.

— Батюшка, я согласна. Отдайте меня в семеюшки князю Ивану, — и Ксения поклонилась родителям.

— Ну троица! Да мне с вами вовек не скучать! — воскликнул воевода весело. — Что ж, идем в трапезную, там и завершим сговор.

А через полторы недели в кафедральном соборе Костромы, при стечении множества горожан и с благословения родителей жениха и невесты, в их присутствии состоялось венчание Ксении и князя Ивана. Жених и невеста были полны достоинства и спокойствия, и покорили своим величием горожан. Они предвещали молодоженам счастливую жизнь. И Катерина ведала их безоблачную судьбу и удивлялась в душе, потому как подобное встречается раз в столетие. Свадьбу было решено справить в Москве, после возвращения из поездки царя Михаила.

ДВЕ СВАДЬБЫ

После смерти царицы Марии патриарх Филарет вновь подумывал о том, чтобы женить сына на принцессе из достойного королевского рода. Эта мысль не оставляла его и в поездке по городам России. И как прибыли в Тверь, да вникли в дела на Тверской земле, сменили воеводу, отправили его по старости на покой, перебрали служилый люд в управах, так государь Филарет повелел думному дьяку Ивану Грамотину во второй раз отправить посланников в Европу. Ан не удалась государева затея. Впервые, может быть, в жизни царь Михаил воспротивился воле отца. Узнав о сути дела от Грамотина, царь пришел в палаты архиепископа Тверского, где остановился патриарх и сказал:

— Ты, государь-батюшка, чтимый мною преданно, не пекись больше о моей женитьбе. И послов не гоняй в иноземные державы.

Филарет удивился без меры сказанному сыном и прикрикнуть уже собрался на него, ан прежде чем бросить бранное слово, посмотрел в глаза царю и осекся. Сильным взглядом, романовским, смотрел на отца Михаил, исполненным твердости и достоинства и в то же время почтительно-сти к родителю. Филарет еще думал, как убедить сына в необходимости послов на запад, но Михаил опередил его:

— Слышал, ты к шведам хотел послать человека. Так нет нужды нам родниться с Густавом Адольфом. Шведский король и ныне-то мздоимствует и пользуется нашей добротой. А что будет, как породнимся? Ишь, что удумал: нашими ратниками себе победу над Польшей добывать. Нет, не нужна мне невеста иноземная.

— Но как же быть, сынок? У нас нет наследника престола. Кому трон оставишь? — с горестью спросил Филарет. Длительное путешествие по державе все-таки далось ему трудно, сказывались хвори, нажитые в плену. Он недомогал и потому был мнителен.

И снова царь ответил, не спуская глаз с лица патриарха:

— Как пребывал в Домнино, было мне ночное видение. Пришла в опочивальню Мария Магдалина и говорит: «Зачем вдовый ходишь?» Отвечаю ей: «Хочу невесту иноземного рода, а не найду». «И не ищи», — отвечает она. «Но почему?» — спрашиваю я. «Аль мало достойных россиянок?». И показала мне девицу московского дома.

— Кто она? — спросил Филарет.

— Остерегла меня святая: «Смотри, о невесте до поры никому не сказывай, даже родимому батюшке». Вот тебе истинный крест, государь. — И Михаил перекрестился.

Филарет ощутил к сыну уважение, порадовался, что в нем проявилась твердость духа. Помнил патриарх, что сам он не вечен, что силы уже покидают его, а здоровье выбаливает. Вот уже и горбиться стал. Да и то сказать, восьмой десяток распочал. И ответил он сыну миролюбиво и просто:

— Смотри, сынок, тебе жить. Я же об одном радею, о том, чтобы ты, как придет время, державу в надежные руки отдал.

— Спасибо, батюшка, за понимание. А я исполню твою волю, будет у нас наследник.

Филарет ласково обнял Михаила и погладил его по спине.

— Верю тебе, сын мой.

И, не мешкая, он послал дворецкого к Ивану Грамотину сказать, что отменяет свое повеление. Заметил он, что после Костромы и особенно после поездки в Домнино, произошли в сыне большие перемены. И та самовольная отлучка накануне отъезда тоже была не случайной. И Филарет мучился, ломал голову над разгадкой причины тех перемен. Много, но не все, не до донышка высветилось на обеде у воеводы Бутурлина, когда тот принимал управление Костромской землей. Еще до того, как сесть к столу, патриарх спросил Катерину:

— Что-то я доченьки твоей Ксюши не вижу.

Катерина усмехнулась и спросила вместо ответа:

— Увидеть ее пожелал, святейший? Так мы ее услали в Рябино, на пасеку, дабы кого-то здесь не опалила...

— Вот поруха, — воскликнул патриарх.

— Да в чем?

— Экая недогада! Так ведь Рябино на пути в Домнино, а туда сынок умчал.

— Не печалуйся. Пасека в двух верстах от пути, коим царь ехал.

— Господи, успокоила, — с иронией произнес Филарет. — Да твоей доченьке с пасечником Еремеем ничего не стоит каверзу учинить и залучить царя на пасеку.

Катерина засмеялась. Да сдержав смех, тихо и серьезно ответила:

— Знать, Всевышнему так будет угодно. Мы ведь с тобой тоже по воле Господа Бога в ночь на Ивана Купалу встретились.

Филарет лишь с ухмылкой покачал головой. А позже, по здравому размышлению пришел к выводу, что сынок попал-таки в плевницы, кои были желанны ему. «Да все во благо, во благо, — утешил себя Филарет. — И мне ведь от Катюши не было урону, а Ксюша-то, поди, все от нее взяла...»

Размышления о сыне, о Ксении и их тайной любви подняли дух патриарха. Он поверил, что у Ксюши не проявится никаких побуждений взять в хомут Михаила, играть им.

Так оно и было, как позже узнает Филарет. И он покидал Тверь, обретя душевное равновесие и почувствовав прилив сил. Дух его укреплялся и от мысли о том, что поездка по городам центральной России удалась в полной мере. Воеводы и дьяки, иные служилые люди, коих он рассылал в пути по малым ближним и дальним городам тех областей, которые посетили и куда не довелось заехать, сделали полезное дело. Они взбудоражили застойную жизнь провинций, данной им властью наказали нерадивых тиунов, губных старост, смещали их, заменяли прилежными и добросовестными, всюду побуждая россиян к усердию. Мало того, что царские люди спрашивали в уездах строго, еще и духовенство вело ту же линию среди верующих. Всюду проходили торжественные литургии, молебны в честь государей, священники принимали грешников с покаянием, христиане очищались от скверны, укрощали свой нрав, гасили пагубные побуждения и усерднее брались за дела во благо державы.

Ничего подобного в прежние годы в России не бывало, когда бы в десятке областей, в сотнях уездов, а там и по всей державе россияне всколыхнулись разом на благие дела и взялись ладить достойную жизнь. Сему подтверждением были высказывания тех, кто шел следом за Филаретом. «Верховная власть, под твердым управлением патриарха Филарета, окрепла и достигла полной неограниченной силы не в принципе только, а и на деле. Он продолжал работать при частом обращении к земским соборам. Однако в новых условиях значение этого явления не было тем же, что в первые годы царя Михаила. Филарету собор нужен не для того, чтобы поддержать перед обществом слабый правительственный авторитет. В его руках это орудие для изучения действительного положения дел. Средство узнать его недостатки, вскрыть существующие непорядки и злоупотребления».

Москва заждалась возвращения царя и патриарха. И то сказать, уехали в мае, а на дворе — октябрь. Но царский поезд только Тверь покинул, а на пути Троице-Сергиева лавра, как ее минуешь. Однако дождались москвитяне сво-

их отцов и встретили их благовестом тысяч колоколов. Толпы горожан вышли на Тверскую улицу и криками приветствовали царя и патриарха, которые по случаю встречи со своими детьми сидели в открытых каретах. Но пышных торжеств в связи с возвращением государей не случилось. В Кремле с первых же дней началась будничная кропотливая работа.

К возвращению царя из Твери подоспели в Москву шведские посланники короля Густава Адольфа. У царя Михаила сердце уже вещало, с чем они приехали. Просили они государей о позволении набирать им полки казаков, якобы для борьбы с разбойными бандами гетмана Лисовского, угрожающими Швеции.

Думный дьяк Иван Грамотин толково просветил царя и патриарха и дал понять им, что шведам следует отказать.

— Ноне всю Европу раздирает бойня. Потому российские казаки нужны шведам для войны с Польшей на ее северных рубежах, а Лисовский тут лишь к слову. Еще шведы думают послать казаков на войну с Данией. А у нас с нею мир более ста лет.

И царь Михаил вкупе с государем Филаретом отказали шведским вербовщикам. И был в Грановитой палате совет с воеводами, как укрепить русскую армию и рубежи державы на западе.

— Коль вспыхнул пожар в Европе, может и нас опалить, — заявил царь воеводам.

В эти годы российских воевод интересовал опыт построения армий в некоторых европейских странах. И бывалый воевода Михаил Шеин, не раз бивший поляков, и сам ими битый, сказал на совете:

— Ты, царь-батюшка, и ты, государь Филарет, отправьте рьяных до военного дела и молодых воевод в Германию и Венгрию. У них есть, что перенять в военной справе.

К чести отца и сына Романовых, они прислушались к совету Шеина. Ему же поручили отобрать молодых и способных к наукам воевод и послать их к венграм и немцам, дабы взяли все лучшее, чем они поделятся. А к зиме, когда государева казна пополнилась деньгами от сборов налогов, царь Михаил в согласии с отцом взялся создавать новую, постоянной службы армию. Для начала он задумал набрать пять тысяч пеших стрельцов. Для их обучения пригласили учителей из Германии и Венгрии. Там же закупили мушкеты и часть пушек. Свои на Кузнецком мосту начали отливать.

Всякому делу время, а потехе час, говорили москвитяне. Но ближе к Покрову дню тот час, по допущению Господню,

растянулся на недели. И то сказать, было отчего россиянам заниматься потехами, а больше на свадьбах гулять, кои на Руси в благодатные годы случаются в осеннее время во множестве. А минувшее лето одарило россиян небывалым урожаем. Все уродилось против прежних лет вдвое, втрое.

Черета дел по осени была напряженной. Как миновали дни ожинок, надо было засеять озимые хлеба. Пришли и миновали Спасы яблочный и медовый и третий, Спас последнего снопа. А молодые россияне уже в ожидании Покрова дня. «Придет Покров, девице голову покроет», — говорили старики. И сами девицы пели-просили: «Батюшка Покров, покрой землю снегом и мою бедную головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». И вот Покров миновал, начались свадебные недели. В день Покрова в соборах и церквях прошли торжественные литургии. Сам патриарх Филарет вел службу в Благовещенском и Архангельском соборах. Он вознес прихожанам свое слово о том, что есть Покров. И по его повелению во всех церквях и соборах по Москве и по России раскрывалось сие явление.

— В древние времена, — начинал патриарх, — во Влахернской церкви Константинополя, где хранилась риза Богоматери, Ее головной убор и часть пояса, произошло чудное явление. В нынешний день в храме во время все-нощного бденья святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу в сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова и сонма ангелов и святых. Преклонив колена, Божья Мать начала молиться, а потом, подойдя к Престолу, сняла со своей головы покрывало и простерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал паче лучей солнечных.

Верующие внимали ровному и чистому голосу патриарха с душевным трепетом и в полной тишине, лишь потрескивали свечи. Он продолжал:

— Царь Небесный, говорила в молитве Всенепорочная Царица, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лица моего тощ и не услышан.

На этой литургии в Покров день в Благовещенском соборе и свершилось маленькое чудо. В свите царя Михаила пришли на литургию князь Иван и княгиня Ксения Черкасские. И когда шла служба, Ксения только глазами да легким поворотом головы и мягким движением руки побу-

дила князя Ивана посмотреть на девицу, коя стояла позади в глубине храма.

Увидев ее, князь спросил шепотом:

— Кто она?

— Судьба царя-батюшки, Дуня Стрешнева. Побуди государя посмотреть на нее, а иного и не нужно.

Князь был скор в деле, пробрался к Михаилу, который сидел на царском месте, приник к его уху и сказал:

— Как подойду к девице, да встану рядом, так дай мне знак, и ежели подвести ее к тебе, руку малость подними, нет — в сторону отведи.

— Что так?

— А то, судьба к тебе явилась. Да помнишь ли ты сон вещей?

— Помню.

— Ему исполниться дано. — И князь Иван стал пробираться к Евдокии Стрешневой.

Он встал близ нее, потеснив москвитян, повинулся Стрешневой за беспокойство. Евдокия голову подняла, на князя глянула, сама открыла мягкий, прекрасный лик, большие карие глаза распахнула, и взлетели вверх два ласточкиных крыла — брови, улыбнулась, молвила:

— Бог простит.

Царь увидел, ее и хотя стояла она далековато, но судьбе угодно было в сей миг ярко осветить ее лицо свечами, которые поднял протопоп близ Стрешневой. И удивился царь: «Господи, почему же ране не являлась мне сия чистая душа?!» И царь даже как-то торопливо сделал жест рукой, поднял ее вверх.

Когда в службе наступил малый перерыв и прихожане покупали новые свечи, ставили их, князь Иван позвал Стрешневу за собой,

— Ты, красна-девица, царю-батюшке приснилась. Глянуть на тебя он желает, убедиться, ты ли была в том вещем сне.

— Полно, князь удалой, не смущай меня. Не могла я прийти царю во сне.

— Значит, пришла. Идем, голубушка, да худа тебе не будет. — И князь повел Евдокию за руку к царскому месту.

Царь Михаил забыл о службе в храме и смотрел на девицу Стрешневу все с большим удивлением. «Ой мила, ой пригожа, — кричала его душа. И тут же его потянуло сравнить Стрешневу с Ксенией, ан спохватился и осудил себя: — Ой, негоже поступаешь, государь, забудь о той ласковой зорьке».

Ксения осудила царя, глянула на него строго. И он повинулся перед Ксенией и смотрел только на Евдокию, кою подвел к нему князь Иван. И посветлело на душе у царя и опять он подумал о Ксении, теперь с благодарностью. Она же нарекла ему в супруги сию девицу, и имя ее тогда назвала, как явилась ночью в видении. Это ведь он только отцу неправду сказал, что являлась к нему Мария Магдалина, нет, то была Ксюша. «Лучше Дуняши тебе не найти», — сказала тогда ясновидица. «Да и впрямь не найти. Ишь тут сколько в соборе девиц, а она самая милая».

Князь Иван «разбудил» Михаила:

— Царь-батюшка, вижу, и впрямь она тебе в видении пришла.

— Истинно глаголешь, княже, она. — И молвил девице: — Здравствуй Евдокия Лукьяновна.

— Здравствуй, царь-батюшка.

— В гости к тебе прошусь. Примешь ли?

— У родимых батюшки и матушки спросить нужно.

— А они строгие у тебя?

— Вельми.

— Коль так, вот пошлю князя Ивана увещевать их.

— Мы открыто живем, всем рады.

— Славно говоришь и добротой светишься. — Тут царь Михаил заметил, что к нему подходит отец, сказал князю: — Проводи Евдокию Лукьяновну, а ко мне батюшка идет.

Филарет не мог увидеть Евдокию за высоким царским местом, но по оживленному лицу сына понял: случилось что-то важное. И не ошибся.

— Государь-батюшка, здесь та девица, коя в видениях пришла. Она моя судьба и иной не хочу. Шли сватов к ее родимым, — горячо и торопливо выдохнул царь, словно боялся, что отец возразит ему.

Но святейший патриарх был мудр, принял сказанное сыном как должное.

— Благодарю Бога за милость к тебе, сын мой. Ноне же и пошлю, благо, самое время пришло. — А заметив Ксению, добавил: — Вот и ее свадьбу с князем Иваном заодно справим.

Царское желание исполнилось скоро. Патриарх позвал к себе князя Ивана, его дядю князя Юрия Черкасского, еще старого князя Федора Шереметева, постельничьего Константина Михалкова и стольника Василия Бутурлина, дал им наказ, и малая рать покатила в Белый город на

дворянское подворье Стрешневых. Явились вскоре же, как родители невесты вернулись из церкви.

Лукьян Стрешнев, высокий и крепкий бородач, встретил незваных гостей с опаской. Супружница его Пелагея, не по годам моложавая и статная, и вовсе во страх впала и торопливо скрылась из гостиной. Ан гости оказались веселого нрава и в добром расположении. Князь Юрий Черкасский сразу все и выложил:

— У вас товар пригожий, дочь на выданье, богочтимые родители, а у нас купец тароватый. Не поладить ли нам, дорогие семеюшки, да ладком за свадебку, — не особо придерживаясь канонов, сказал князь.

Сватов родители невесты всегда встречают с поклонами да провожают иной раз с собаками. Ан тут другой случай возник. Дуняша нашла своих родителей в церкви Покрова на Рву и, пока шли домой, рассказала им о том, что случилось с нею в соборе. Пригорюнились они тому, что их дочь самому царю приглянулась, помнили они царские неудачи. Да вслух сего не выразишь. Делать нечего, таких сватов не враз и вытуришь. Позвал Лукьян дочь.

— Евдокия, выйди к гостям!

Дуняша, однако, с лестницы из девичьей кубарем не летела, сошла степенно. И удивились князья, знатоки женской стати: девица-то царственна и ликом мила-красива. Вот только норовом какова, не заткнет ли за пояс мягкосердого царя? Ан нет, угадал князь Федор Шереметев, Дуняша и нравом покладиста, ласкова — все на лице написано. И вздохнулось полегче.

— Евдокия, вот купцы явились, сватают тебя...

— Воля ваша, родимые, отдадите, пойду в семеюшки.

— Так ведь царь-батюшка сватается, голова садовая! — воскликнул Лукьян да по простоте душевной высказал все, что было на уме: — Тут и от напасти недалеко. Вон как Хлоповы-то поплатились! А Долгорукие?! Ой, да что там говорить! — убивался Лукьян. Но глянул на сватов и с покаянием к ним ринулся: — Вы уж меня помилуйте, да царю о сем не говорите. Ведь одна Дуняша у нас. А мы что, как она скажет, так и будет.

Умные сваты только посочувствовали отцу невесты. Судьбы Марии Хлоповой и Марии Долгорукой им были ведомы. И не приведи Господь такой судьбы этой прекрасной россиянке, подумал князь Юрий Черкасский и спросил невесту:

— Теперь твое слово, Евдокия Лукьяновна. Говори.

Дуняша на колени встала перед родителями.

— Судьба мне, батюшка с матушкой. Я ведь скрыла от вас встречу с ясновидицей, а она показала мне мою земную дорогу, я не хочу искать иной. Потому не дано мне отказать царю-батюшке...

Лукьян засуетился, почувствовал себя словно сазан, выброшенный из воды на берег. «Господи, завтра моя Дуняша царицей возникнет, и как же мы-то тогда. Нет, нет, не позволю!» Но здравый смысл и почтительное отношение к государю России, ко всему многострадальному роду Романовых взяли верх над безрассудной вспышкой, Лукьян услышал, наконец, слова дочери: «Благословите, родимые» и, глянув на жену, перекрестил Евдокию, положил руку на ее голову, сказал:

— Благословляю с Богом. — И тут же захлопотал, велел Пелагее стол накрывать, мальвазию доставать.

Однако сваты пошептались меж собой и отказались гостевать.

— Ты нас прости, Лукьян, сын Стрешнев. Нам велено возвращаться не мешкая. Потому наливай по кубку, дабы обычай не ломать, тут и пригубим, — сказал князь Юрий Черкасский.

Вино в московских домах всегда водилось. И скоренько Пелагея поставила на столешницу шесть серебряных кубков.

— Ну, дай-то Бог, чтобы наш сговор крепким и удачливым был, — сказал по праву старшинства князь Федор Шереметев.

И все выпили. Лишь невеста в сторонке стояла. А как уходили, князь Иван остановился в сенях и сказал Лукьяну:

— Ты уж, родитель главный, береги Дуняшу. Да пуще от всякого глазу. Пусть кои дни в светелке посидит.

С тем сваты и уехали.

Но забота о безопасности царской невесты теперь беспокоила не только сватов. Как доложили они царю и патриарху, так Филарет и сказал Михаилу:

— Ты, сын мой, царь-батюшка, пошли тайных стражей к палатам Стрешневых. И не мешкая. Да и я похлопочу о невестушке. Досталь нам двух потерь.

— Верно говоришь, батюшка. Да кому поручить справу?

— Вот и отдай князю Ивану. Вернее головы не найдешь. Да накажи, чтобы молчаливых людей подобрал.

— Что уж тут наказывать, святейший, слышу же и все исполню не обмишулясь, — отозвался князь Иван.

Царь Михаил торопился со свадьбой. Хотя его стражи и иноки Чудова монастыря хорошо охраняли палаты Стрешневых, беспокойство царя нарастало с каждым днем. И спустя неделю после сватовства он попросил отца:

— Батюшка, живу в тревоге. Милостью прошу, назначь венчание на ближние благодатные дни.

Филарет понимал беспокойство сына. Ему уже было донесение о том, что боярин Щербачев кружил близ дома Стрешневых. И чтобы не огорчать сына, сказал ему:

— Благодатный день близко. В октябре, на Неониллу и Параскеву, и обвенчаем вас. Новобрачные сего дня под защитой Божьей Матери. Успеешь ли подготовиться?

— Успею, батюшка, успею, родимый.

Царскую невесту уберегли от всех напастей. Князь Иван Черкасский ни на один час не покидал дом Стрешневых. Он и жену свою упросил пожить у Дуняши до свадьбы. В Кремль ее привезли, когда в Благовещенском соборе все было готово к обряду. О свадьбе царя теперь уже знала вся Москва. И в день венчания тысячи москвитян стекались в Кремль, чтобы увидеть царскую невесту. И те, кому довелось увидеть ее, были в восторге. Сколько помнили старожилы Москвы, не было у прежних царей такой прекрасной жены.

Царь Михаил встречал невесту близ паперти собора. Он увидел ее лишь во второй раз. Но как и в первый раз, все говорило ему, что он не ошибся в выборе. В первые мгновения она стояла перед царем опустив глаза. Длинные ресницы ее вздрагивали. Но вот она собралась с духом, подняла голову, распахнула глаза и улыбнулась. И царь Михаил улыбнулся в ответ.

Обряд венчания исполнял по чину митрополит Крутицкий и Коломенский Макарий, сменивший усопшего года три назад митрополита Казанского Ефрема. Патриарх также был на амвоне и в алтаре, но службы не вел, а был просто богомольцем. Венчание царя и царицы, царская свадьба всегда на Руси были большим событием, праздником, случалось, и на неделю пиры растягивались. Но на сей раз москвитяне вели себя сдержаннее. И свадебный пир в Кремле был скромн, и на площадях Москвы народ выпил лишь за здравие царя и царицы, пожелал им долгих лет жизни и семейного благополучия. Что-то сдерживало россиян проявить удаль молодецкую по поводу обретения новой царицы-матушки. Да и то сказать, не только у вельмож, но и у простых москвитян не выветрилась память, они помнили о судьбе двух Марий. Где уж там завидовать

участи Евдокии. И спрашивали тайком досужие кумушки друг друга: «Что там с Дуняшей будет? И Господу Богу, поди, неведомо». И с глубокими вздохами пригубляли чашу вина во здравие сердешной Дуняши и уходили с Красной площади от винных бочек, выставленных царем.

Но на сей раз народ обмишулился в своих тревожных предчувствиях. Царское супружество потекло мирно и тихо. Через девять месяцев, как тому и положено, царица разрешилась от бремени и родила сына. Царевича назвали Алексеем. Его появление на свет больше всех радовало патриарха Филарета, дедушку будущего русского царя Алексея Михайловича, прозванного в народе за кроткий нрав «Тишайшим».

А вторая свадьба, что случилась в те же дни на подворье князей Черкасских, была веселой, разгульной, широкой и даже с чудесами, потому как князь Иван был горазд на выдумки. Почтили эту свадьбу своим вниманием и царь с царицей. И у каждого из них была своя любовь, свое доброе чувство к виновнице и радетьельнице их судьбы, к княгине Ксении Черкасской.

Глава двадцать седьмая

ИСХОД

Май 1632 года принес в Москву и в Кремль прежде всего большую тревогу. Вновь запахло войной, о которой россияне и думать забыли. С западных рубежей державы в стольный град примчали гонцы с вестью о том, что в Варшаве скончался престарелый польский король Сигизмунд III Ваза. И докладывали гонцы, что новый король, Владислав Ваза, едва успел закрыть глаза усопшего отца, как созвал вельможных панов, гетманов, полковников и повелел немедленно поднимать войско, готовить его в поход на Россию. Поляки уже забыли о том, что в двенадцатом году россияне хорошо проучили их и отбили охоту завоевать Россию, что у русских с поляками заключено перемирие и нарушать его есть великий грех. Нет, Владиславу ничто не пошло впрок, никакие нарушения чести не угнетали его совести. Гроза над Россией собиралась быстро.

А царский двор в эту пору благоденствовал. Никто в державе не помышлял о войне. И весть о том, что мир может быть нарушен, внесла в размеренную жизнь москвитян большую сумятицу. Царь Михаил, увлеченный вос-

питанием сына, проводил время с царицей Евдокией в тихом уединении в Коломенском дворце. И когда этот покой был нарушен, он с неохотой подумал, что нужно заниматься военными делами, отправился в Москву за советом к отцу.

Патриарх ждал сына и уже принимал меры к тому, чтобы воеводы позаботились о стрелецких полках, готовили их в поход. Но Филарета одолевала немощь. Он постепенно отходил от государственных дел, перекладывал заботы на царские приказы. Лишь угроза войны с Польшей заставила его одолеть телесную слабость и помочь сыну собраться с духом, пустить в ход военную машину. Как встретились они в патриарших палатах, Филарет сказал сану:

— Ты, царь-батюшка, бери ратное дело в свои руки. Да пошли гонцов в Тверь к князю Лыкову и в Ярославль к князю Черкасскому, пусть Борис и Дмитрий ополчения не мешкая по областям собирают.

— Как сказываешь, так и сделаю. Вот токмо не знаю, кого во главе московской рати поставить.

— Черкасского с Лыковым и поставь. Бутурлина им в помощь дай, молодого князя Ивана Черкасского пусти в дело.

— Но думные бояре не захотят, чтобы московская рать из рук Шеина и Измайлова ушла.

— Думные головы свое гнут. Что ж, Михаил и Артемий были хорошими воеводами, поляков не раз достойно били, да огонь в них поугас и проку от них мало вижу. Не пугайся молодых воевод выдвигать.

— Совет твой исполню, батюшка.

— А Думу собери не мешкая. Нужно всех бояр побудить к рьяности по случаю войны, за приказами следует надзирать, там тоже коснеют.

Боярская дума собиралась неохотно. По случаю наступающего лета многие думные головы уже укатили в вотчины, посмотреть-распорядиться полевыми работами. Раньше государь Филарет всех землевладельцев поощрял к такому роду действия, наказывал не только им и землепашцам заботиться о хлебе насущном, но и всем горожанам.

Скорые гонцы собрали, наконец, всех думцев. И были утверждены все указы царя о подготовке к войне. И только в одном Дума не уступила царю, да как покажет дело, себе на поруху, отдала-таки под начало Михаила Шеина и Артемия Измайлова тридцать тысяч ратников. При них было сто шестьдесят пушек. А стрелецкий полк московской

пехоты, как того потребовал Филарет, был отдан под начало князей Дмитрия Черкасского и Бориса Лыкова. Воины этого полка составляли регулярное начало будущего войска и были обучены ведению боя по германскому образцу. Готовились к выступлению против поляков и наемные солдаты: германцы, шотландцы, шведы — три полка по тысяче двести человек в каждом. В эти же дни повелением царя Михаила все малые города вокруг Москвы собирали свои ополчения и слали их к стольному граду.

Но пока в воздухе витало лишь поветрие войны, государь-патриарх Филарет отдал повеление собрать Освященный собор с привлечением всех иерархов и архиереев, с участием светских вельмож и посоветоваться с ними, как побудить Россию приготовиться к защите Москвы, дабы не повторилось недавнее прошлое. Нельзя было допустить, чтобы поляки вновь вошли в стольный град и предали его огню и разорению. Патриарх знал лучше других московских вельмож бесноватый и воинственный нрав короля Владислава. В прежние-то годы его ярую ненависть к россиянам и жажду покорить Россию сдерживал только отец, король Сигизмунд. Ноне же у Владислава руки были развязаны и он не применит воспользоваться волей, считал Филарет. И была у патриарха надежда на то, что Освященный собор и вся православная церковь вдохновят россияна на защиту отечества, как было сие при страстотерпце патриархе Гермогене.

Однако еще до того, как обратиться Освященному собору, патриарх Филарет пригласил в Архангельский собор многих крупных торговых людей, ремесленников и служилых, других сословий горожан и обратился к ним со словом от имени церкви:

— На вас, дети мои, полагаюсь в трудный час для отчизны. В ваших силах не допустить вражеского торжества над Россией. Вы можете помочь царю-батюшке снарядить сильное войско с пушками и ядрами, с мушкетами. Вы можете помочь войску провиантом, дабы не бедствовали в схватках с врагом, вы можете снабдить войско тягловой силой и строевыми конями. Не пожалейте своего имущества и сил ради мира в России. Да пошлет вам Всевышний удачи в ваших делах.

Речь Филарета была короткой, но она нашла отклик в сердцах москвитян, и как когда-то в Нижнем Новгороде Козьма Минин собирал вклады-дары для ополчения, так и по Москве начался сбор пожертвований в пользу войска. Как мудрый государь, Филарет понимал, что никакой вой-

ны не выиграешь, ежели пуста государственная казна. И в лето тридцать второго года патриарх пекся о казне больше, чем когда-либо прежде. На Освященном соборе он призвал всех иерархов, все белое и черное духовенство не пожалеть денег для казны.

— Вам есть нужда раскошелиться, — призывал он священнослужителей, — дабы усилить царское войско. Ибо без прибыльных налогов царю-батюшке не обойтись, а они не всегда во благо народу.

Слово и дело патриарха и государя Филарета возымели действие не только в Москве. Сбор средств для войска шел по всей России. А в кузнях день и ночь ковалось оружие, литейщики отливали новые пушки, ядра, мастеровые готовили порох. Никогда еще Россия так рьяно не готовилась к отражению вражеского нашествия. Да знали россияне, что благодатную жизнь, коей добились при царе Михаиле и государе Филарете, нужно защищать, не щадя живота и имущества, знали, что их усердие обернется во благо потомков.

И настал день, когда москвитяне провожали войско к западным рубежам. И грустили-плакали бабы, молодайки, расставаясь с мужьями, с сужеными, любимыми. И гордились войском. Шли ратники исправно одетые, обутые, вооруженные. На Красной площади ратников встречали и провожали царь Михаил, патриарх Филарет, многие именитые бояре, князья, иерархи. Благовестили во славу русского воинства кремлевские колокола. Торжественное шествие войска, множество пушек, сытые кони, которые тянули орудия, — все это вселяло уверенность в россиян об успешном походе русской рати.

Так оно и было вначале.

Летом и осенью тридцать второго года войско Шеина и Измайлова без особых потерь захватило Дорогобуж, продвинулось к Серпейску и его покорило. Там открылся путь на Стародуб. И он сдался русской рати. Гонцы в это время прибывали с места действий в Москву каждую неделю. Вести поступали в первую очередь к царю и патриарху, от них — в Боярскую думу, разносились по Москве, и москвитяне надеялись, что к зиме русская рать вернется к родным очагам. Радовались. Усердно молились во благо скорого окончания войны.

Ан не все получилось так, как жаждали россияне. Военные действия затягивались. Их не остановила и зима. Только в декабре Шеин и Измайлов сумели подойти к Смоленску и осадить его. Да уперлись в крепостные стены,

столь знакомые своей мощью воеводе Михаилу Шеину в годы обороны Смоленска.

Польский комендант крепости, полковник Маховецкий, тоже помнил, как войско Сигизмунда осаждало Смоленск. И сам он ходил на штурм. Теперь же Маховецкий перенял опыт смолян и успешно отражал штурмы русской рати. А крепкие крепостные стены выдерживали разрывы русских ядер, которыми россияне по первости стреляли не скупясь.

События под Смоленском развивались медленно. Русская рать простояла под городом всю зиму, весну и прихватила лета. За это время польский сейм утвердил Владислава на троне. И король собрал армию в двадцать три тысячи воинов и сам повел их под Смоленск. На военном совете перед выступлением король уверенно заявил:

— Я возьму россиян в хомут и покончу с ними.

Ни Михаил Шеин, ни Артемий Измайлов не были готовы отражать атаки подошедшей польской армии. Король Владислав и впрямь обложил русское войско, как медведя в берлоге. Он занял все высоты вокруг осаждающих, поставил на них пушки и повелел день за днем расстреливать россиян.

Пушкари Шеина и Измайлова не долго отвечали польским канонирам, у них иссякал пороховой запас, ядра были на исходе. И не случайно. Владислав не только окружил русскую рать, но двинул часть армии дальше на восток и захватил Дорогобуж, где русские воеводы держали обозы, провиант и военные припасы.

Апрельской порой, как подсохли дороги, князь Дмитрий Черкасский и князь Борис Лыков, вошедшие в состав русской рати под Смоленском со своим полком, упорно побуждали Измайлова и Шеина разорвать «хомут» и вывести войско из окружения. Но старые воеводы не вняли разумному совету молодых воевод и продолжали губить рать под Смоленском.

И тогда князья Лыков и Черкасский решили прорваться со своим полком вопреки воле Шеина. Они выдвинули вперед пушки и ударили в глухую полночь по полякам. И так все было неожиданно, что поляки в панике побежали. Почти без потерь стрелецкий полк вырвался на простор, перебрался через Днепр и поспешил к Дорогобужу, чтобы отбить его у врага. Дерзость в том была большая и она удалась бы. Но замысел князей разбился о сопротивление большого отряда казаков, обороняющих подступы к городу и завербованных в свое время королем Владиславом.

Той порой против бездействия Измайлова и Шеина взбунтовались наемные офицеры. На военном совете шотландец Лесли выхватил пистолет и выстрелил в Михаила Шеина, но промахнулся и к несчастью убил стоящего рядом английского полковника Сандерсона.

Гонец князя Черкасского принес в Москву весть о событиях под Смоленском и о преступной воле воеводы Шеина. Сия весть повергла царя в большое уныние. Страдание его усиливалось оттого, что он не владел военным искусством и не мог стать во главе войска и померяться силами с королем Владиславом. В мыслях он готов был выйти с Владиславом на единоборство. Однако старые рыцарские времена миновали, и теперь короли и монархи не сходились в поединках для решения вопросов чести и верховодства. Теперь цари и короли не владели искусно шпагой, мечом, саблей, копьем, но доставали противника хитростью, коварством, другими мерзкими путями. Все эти размышления изводили Михаила. Он рвался к отцу, но не смел, потому как недуги уложили Филарета в постель. И тогда он звал к себе старого князя Федора Шереметева, дабы посоветоваться о поведении Шеина и Измайлова. Князь Федор пытался убедить царя в том, что опытные воеводы наконец вырвутся из окружения, с честью выведут войско. Царь сомневался в этом.

— Твоими устами, светлый князь, мед бы пить. У меня побывал не только гонец, коего князь Дмитрий присылал, но и другие. — И царь рассказал князю о свежих вестях из-под Смоленска. — Ноне мне стало ведомо, что Владислав потребовал от Шеина сдаться в плен всей ратью. И Шеин, сказывают, попросил у польского короля время подумать.

— Господи, неужели все так плохо?! А где же князь Митя, где соратник его Борис? И что с полком?

— Они в лесах где-то. То ли за казаками охотятся, то ли от них бегают, не ведаю.

— А где полки, кои ты послал Шеину в помощь? — спросил князь.

— В пути, и они действуют. Да остановили их поляки на Днепре и за реку не пускают.

— Ну и оказия! — Старый князь выдохся. Он уже не мог ни голос возвысить, ни дать полезный совет. Он охал, растирал грудь слабеющими руками. Наконец, попросил Михаила:

— Ты уж, царь-батюшка, ради Христа, не открывай всех напастей родимому. Он уже болями Мальборга источен досталь. А сии вести убьют его.

— Давно уже тешу батюшку только добрыми вестями, — признался царь. — Иной раз и напраслиной грешу. Да и как без нее обойтись, ежели правда иной раз хуже отравного зелья.

Однако сыновье радение не смогло защитить Филарета от злого умысла. Дал о себе знать его давний враг и злодей. Немощный, почти умирающий думный дьяк Бартенева второй счел, что ему нужно исповедаться у патриарха. Грех предательства, взятый Бартеневым на душу еще при царе Борисе Годунове, не давал ему покоя многие годы, влек к покаянию. А кому покаяться, как не самому патриарху? И старый дьяк велел холопам отнести себя в патриаршие палаты.

Святейший лежал в постели. Рядом с ним сидела инокиня Марфа. Она тоже сильно постарела, но держалась еще крепко. В руках она держала псалтырь и читала Филарету псалмы. Когда услужитель доложил, что пришел думный дьяк Бартенева, она поднялась и покинула опочивальню, дабы выпроводить дьяка из палат. Старая женщина чувствовала, что тот пришел со злым умыслом. Между ними и никогда-то не было добрых отношений. Сын Марфы, царь Михаил, отстранил Бартенева от дел, из Думы изгнал, но иной опалы не наложил. Дьяк затаился, жил отшельником, копил в себе ненависть к Романовым. А в ту пору, когда Филарета избрали на патриаршество и когда многие вельможи приходили к нему на причастие и покаяние, в Бартенева проявилась гордыня, она оказалась сильнее здравого смысла, и он счел унижительным идти к бывшему князю с покаянием. Он считал, что Филарету самому нужно идти к попом на покаяние или уйти в монастырь за грехи, кои свершил, служа самозванцу и полякам. И хотя Филарет все-таки молил Всевышнего о прощении злого деяния, причиненного всему роду Романовых и всем его сродникам, Бартенева, зная об этом, так и не проникся раскаянием.

И теперь Филарет пытался понять, что привело Бартенева в патриаршие палаты, но утешительного ничего не открыл, потому как знал зачерствевшую в злодеяниях душу дьяка.

Той порой Марфа билась с Бартеневым и вместе с услужителем не пускала его в покои патриарха. Он же приказал своим холопам оттеснить Марфу и услужителя от дверей. Они исполнили волю дьяка, и тот вскоре появился в дверях опочивальни Филарета. Жизнь пригнула его к земле, выжала соки из прежних телес. Он сопротивлялся

земным законам. До ломоты в спине, до хруста усохших костей пытался держаться прямо. Однако ему это не удалось и он стоял в дверях согбленный. И потому, как показалось Филарету, смотрел на него по-волчьи.

— С чем ты пришел, раб Божий? — спросил патриарх. — Ежели ищешь покаяния, иди в храм к митрополиту Макарию.

— Я ищу забвения. И коль скажу тебе все, с чем явился, так оно и придет. — Он бросил злобный взгляд на Марфу, которая появилась за его спиной и отрывисто сказал: — А ты уходи, зреть тебя не могу!

— Не вольничай, — оборвал его Филарет, — ты не у себя в палатах. Помнишь, поди, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Нет у меня ноне тайн ни от кого, тем паче от бывлой супружницы, — и с каждым словом голос Филарета звучал тверже, звонче.

— Коль так, слушай, чего не убоюсь сказать и принародно. И пусть тебя постигнет разочарование и прахом рассыплются твои почины и надежды поднять Россию над Европой. Говорил же я многим, и ты слышал сие, мнимый патриарх, о том, что король Владислав будет царем нашей державы. Теперь это скоро придет. Он взял в плен рать Измайлова и Шеина, он разбил-разогнал по лесам и топям полки Черкасского, Лыкова и Бутурлина, смял ополчение и ноне победным шагом идет к Москве. Слава царю Владиславу! Ты от имени моего будь проклят! Будь! Будь!

Марфа попыталась зажать дьяку рот, но он из последних сил оттолкнул ее и, оползая по дверному косяку, упал на пол, захрипел, хватая воздух раскрытым ртом. Но сквозь хрипы еще прорывались его бранные слова, еще слышалось надсадное: «Слава Владиславу, царю России».

Филарет приподнялся на ложе и слабой рукой осенил своего врага крестом. Он же велел Марфе позвать услужителей. Но они сами прибежали на крики, и патриарх велел им увести Бартенева. Однако идти дьяк уже не мог, и его снесли из патриарших палат. За порогом с рук на руки передали холопам, и те бегом отнесли его к карете, умчали в Китай-город.

Думный дьяк Бартенева второй не умер в этот осенний день, потому как Всевышний не принимал его душу без покаяния. Да и слуги дьявола, казалось, забыли о нем. Его разбил паралич, лишил дара речи, перекошил лик, отнял правую ногу и руку. И теперь дьяк лежал на ложе словно зверь в образе человека, только рычал и хватал все вокруг себя здоровой левой рукой.

Скончался в этот день другой, более достойный россиянин.

Услышав наглуую и дикую ложь из уст дьяка Бартенева, но в чистоте душевной приняв ее за правду, патриарх Филарет, несмотря на немощь, нашел в себе силы встать и велел Марфе позвать услужителей. Иноки Чудова монастыря и архидиакон Николай явились тотчас.

— Оденьте меня, дети, торжественно! — повелел Филарет.

— Святейший, да как же! Тебе лежать надо, избаливаешь ведь, — попытался уговорить Филарета Николай.

— Не перечь, сын мой, и не мешкай! — твердо ответил патриарх.

И тут услужители засуетились. Его одежды висели в опочивальне, и они надели на патриарха стихарь, фелонь, высокий бархатный головной убор, на грудь повесили крест и панагию, а через плечо — омофор. Еще вручили посох. И патриарх повелел Николаю:

— Пошли человека к звонарям на Ивана Великого, пусть ударят в «Горлатного», а там и во все иные колокола набатом. Меня же ведите на Красную площадь!

Николай испугался за патриарха. Впервые он видел его такого возбужденного и в состоянии непомерного гнева.

— Святейший владыко, — взмолился Николай, — не убивай себя! Умоляю Христом Богом, скинь гнев, вспомни о милосердии, помолись заступнице нашей Пресвятой Богородице, — частил архидиакон.

— Не тщишь, сын мой. Ты всегда служил верно, послужи и ноне.

— Готов служить тебе, святейший! И выйду на Красную площадь, поднимусь на Лобное место и крикну россиянам все, что повелишь! И в колокола велю твоим именем ударить. Но пощади себя!

Марфа тем временем покинула патриаршие палаты и, как могла, поспешила в царский дворец за сыном.

Николай продолжал уговаривать патриарха, но он оставался непреклонен и двинулся из опочивальни без посторонней помощи. Но два инока, кои стояли рядом, поддержали его и повели. Видя, что Филарет тверд в своем решении, Николай послал инока на колокольню, сам взял патриарха под руку и повел его из палат.

Шли медленно. Еще шагая через трапезную, Филарет почувствовал в левой груди нестерпимую боль, но виду не показал. Он молил Всевышнего, чтобы избавил от этой боли и дал дойти до Лобного места и крикнуть россиянам,

чтобы шли всей землей к Смоленску и там вызволили из плена тысячи своих сыновей, отцов, братьев, там встали на пути польского нашествия. И Филарет шел, спешил, но с каким трудом давался ему на сей раз каждый шаг. И все то короткое расстояние, которое в прежние годы одолевал на одном дыхании, отняли у него последние силы. Вот, наконец, он вышел на Соборную площадь, увидел много богомольцев — ведь ноне же был большой церковный праздник, вспомнил Филарет, день Покрова Пресвятой Богородицы. Патриарх подумал, что и здесь бы надо сказать свое слово, да решил поберечь силы, чтобы во весь голос возвестить свое на главной площади России.

В сию минуту ударил в набат сперва «Горлатный» колокол. Настойчиво, упорно он возвещал народу о надвигающейся беде. «Горлатного» поддержали другие колокола. Вот и в «Лебедь» ударили, обычно хранимый для благовеста. И с первыми звуками набата, как повелось извечно, москвитяне побежали на Красную площадь. Их живые потоки лились по всем улицам Москвы, ведущим к Кремлю. И в Кремле во всех палатах распахнулись двери, из соборов, из церквей, где шло богослужение, повалил народ на Красную площадь. И в толпе богомольцев спешил со свитой царь Михаил.

Филарет уже прошел кремлевские ворота, до Лобного места оставалось не больше ста шагов. Но их патриарху не суждено было одолеть. С первым шагом за воротами Кремля он почувствовал, что к одной боли под сердцем прибавилась новая, будто в спину под левую лопатку воткнули шило и что-то в груди со звоном оборвалось, словно лопнула тетива натянутого лука. И ноги Филарета подкосились, голова вскинулась к небу и вырвалось последнее дыхание, а с ним ввысь поднялась душа патриарха.

Инок и Николай еще поддерживали Филарета, не давая упасть ему на землю. Но они уже чувствовали, что жизнь из него изошла. Тут подбежали многие люди и подхватили тело Филарета на руки, понесли на Лобное место. Они все еще надеялись услышать от него сильные слова, кои побудили бы их к действию.

На Красной площади возникло смятение. Многие москвитяне еще не понимали, не знали, что случилось. Колокола еще били в набат. В небе возник многотысячный вороний грай.

А в живом еще сознании Филарета мелькнули последние слова россиянам: «Православные дети, берегите Россию!» Божественным промыслом эти слова дошли до

горожан. Их воспринял князь Иван Черкасский, оказавшийся в последние мгновения близ патриарха. Сказочник, читающий с листа людские думы, побежал на Лобное место, взлетел на него, вскинул в небо руки, и потрясая ими, громко крикнул:

— Эй, люди земли русской! Слушайте, слушайте все! Умирая, он сказал: «Православные дети, берегите Россию!» Истинно вам глаголю!

Той минутой к патриарху подбежал царь Михаил и упал на грудь отцу, спину его сотрясали рыдания.

Красная площадь в этот великий день Покрова Пресвятой Богородицы не утихомирилась до полуночи. Тысячи россиян плакали, стонали, страдали, как не страдали ни за одного патриарха. И хотя Иов и Гермоген были истинными духовными отцами народа, но боль и горе о них являлись меньше, потому как россияне долго не ведали о смерти Иова, скончавшегося в глубине России, в Старицах. А смерть Гермогена вовсе случилась тайно, в подвалах Кириллова монастыря, в котором в ту пору были казармы поляков. Здесь же великий страдалец, великий государь умер на глазах у всей Москвы. Как тут не скорбеть и не проливать слез!

Скупно прослезилась лишь монахи, заполонившие Красную площадь. Они читали молитвы. И была прочитана молитва Филарета, написанная им в Антониево-Сийском монастыре. И многожды прозвучали слова патриарха из проповеди на нынешний день Покрова Пресвятой Богородицы: «Царь Небесный, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лица Моего тощ и неуслышан».

На панихиду, на погребение патриарха всея Руси и великого государя России Филарета — князя и боярина Федора Никитича Романова в миру — съехалось, сошлось, казалось, пол-России. Воеводы, бояре, дворяне, князья, служилые люди всех чинов и званий, купцы, ремесленники, крестьяне, духовенство со всех епархий, монахи, монахини — все пришли на Красную площадь отдать последний долг своему духовному пастырю, своему государю. Царь Михаил не уходил от тела покойного отца ни на минуту. Из тысяч москвитян он яснее всех понимал, какую утрату понес. Рухнул столп, на который он опирался все годы своего царствования. За три дня он постарел на многие годы, и никто в эти дни не дал бы ему тридцати шести лет — старик-стариком. Горе наложило свою печать и на прекрасное лицо царицы Евдокии, на лица Катерины

и Ксении, так близко прикоснувшихся к судьбе Федора-Филарета. Катерина не смахивала слез с непросыхающего лица, потому как ее, может быть, больше, чем других, кроме царя, ударила смерть дорогого человека. Почти полвека назад полюбили они друг друга и все эти годы в мыслях и в устремлениях были рядом. Близ Катерины стояла инокиня Марфа. Она опиралась на руку ясновидицы. Все зная о прошлом своего мужа, она не казнила ни его, ни Катерину.

Бояре и иерархи часто сменяли друг друга у гроба. И у каждого из них было что вспомнить о патриархе. Не появлялся у гроба лишь князь Федор Мстиславский. Да ему и не дано было встать с ложа. Всевышний наказал его за кощунство и зло, чинимое ближнему. Он лежал пластом, и теперь у него не двигались ни ноги, ни руки, не было речи и слуху. У жестокосердых было что сказать в его адрес: «Бог покарал справедливо!»

Мраморную раку патриарха Филарета поставили в царскую усыпальницу, возле стояла рака с мощами царя Федора Иоанновича.

После похорон царь Михаил еще долго не мог прийти в себя. И как миновало сорок ден, подумал, что пришло время наказать виновных в смерти патриарха и государя. Царь считал, что главный виновник в смерти его отца есть князь Федор Мстиславский. Но он уже был наказан и так сурово, что царь Михаил не помнил, кого бы Господь еще так жестоко покарал. Другие же виновники, воеводы Шеин и Измайлов, все еще пребывали с войском в окружении под Смоленском. Это их позорное бездействие, считал царь, и надломило силы и здоровье Филарета. Они открыли дорогу полякам в глубины России. А патриарх лучше других знал, что такое есть польское господство. Но если бы Измайлов и Шеин дрались с честью, считал царь, и ныне патриарх бы здравствовал, вдохновляясь их победами. Знал же Михаил, что его отец не мог побороть в себе ненависть к католикам, к иезуитам, пытающимся поработить православию в России.

Год спустя, когда русская рать была вызволена из окружения под Смоленском на унижительных для России условиях, царь Михаил повелел судить воевод Шеина и Измайлова. И суд приговорил их к смертной казни. Царь Михаил утвердил первый в своей жизни смертный приговор, а утвердив, ушел в Благовещенский собор и долго молился, прося у Господа Бога прощения за жестокосердие. Потом же пришел в царскую усыпальницу и помолился

близ раки Филарета, словно докладывал ему о том, что Россия вновь вступила в пору благоденствия и залечивания военных ран.

Позже историки и ученые России напишут о времени царствования первого царя династии Романовых и о времени правления государством Филарета: «Исторические успехи новой династии, ее укрепление во главе государства в значительной мере связаны с личностью святейшего патриарха всея Руси, великого государя Федора Никитича. Сама властная фигура патриарха и его сан содействовали поднятию авторитета власти. Умирая 1 октября 1633 года, Филарет покинул Московское государство окрепшим настолько, что ни внешние опасности, вызывающие тяжелую борьбу с соседями, ни внутренние язвы народного хозяйства и государственного быта, готовящие ряд грядущих потрясений, не могли расшатать воздвигнутого из развалин политического здания. С кончиной патриарха ничто по существу не изменилось, несмотря на несомненное ослабление правительственного центра», — читаем мы в историческом сборнике «Три века», издания 1912 года.

1992—1994 гг.

Москва — Финеево, Владимирской земли.

М. Н. Загоскин

**ЮРИЙ
МИЛОСЛАВСКИЙ**

или Русские в 1612 году

Исторический роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале семнадцатого столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие — все угрожало неизбежной гибелью земле русской. Верный сын отечества, боярин Михайло Борисович Шеин, несмотря на беспримерную свою неустрашимость, не мог спасти Смоленска. Этот, по тогдашнему времени, важный своими укреплениями город был уже во власти польского короля Сигизмунда, войска которого под команду гетмана Жолкевского, впущенные изменою в Москву, утесняли несчастных жителей сей древней столицы. Наглость, своеволие и жестокости этого буйного войска превосходили всякое описание. Им не уступали в зверстве многолюдные толпы разбойников, известных под названием запорожских казаков, которые занимали, или, лучше сказать, опустошали, Чернигов, Брянск, Козельск, Вязьму, Дорогобуж и многие другие города. В недалеком расстоянии от Москвы стояли войска второго самозванца, прозванного Тушинским вором; на севере — шведский генерал Понтиус де ла Гарди свирепствовал в Новгороде и Пскове; одним словом, исключая некоторые низовые города, почти вся земля русская была во власти неприятелей, и одна Сергиевская лавра, осажденная войсками второго самозванца под начальством гетмана Сапеги и знаменитого налета¹ пана Лисовского, упорно защищалась; малое число воинов, слуги монастырские и престарелые иноки отстояли святую обитель. Этот спасительный пример и увещательные грамоты, которые благочестивый архимандрит Дионисий и незабвенный старец Авраамий рассылали повсюду, пробудили наконец усыпленный дух народа русского; затлились в сердцах искры пламенной любви к отечеству, все готовы были восстать на супостата, но священные сло-

¹ Так назывались в то время партизаны. (Примеч. авт.)

ва: «Умрем за веру православную и святую Русь!» — не раздавались еще на площадях городских; все сердца кипели мщением, но Пожарский, покрытый ранами, страдал на одре болезни, а бессмертный Минин еще не выступил из толпы обыкновенных граждан.

В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охабень¹, ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее; другой, в нагольном тулупе, сверх которого надет был нараспашку кафтан из толстого белого сукна, беспрестанно останавливал свою усталую лошадь, прислушивался со вниманием, но, не различая ничего, кроме однообразного свиста бури, с приметным беспокойством озирался на все стороны.

— Полегче, боярин, — сказал он наконец с некоторым нетерпением, — твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит.

Передний всадник приостановил свою лошадь; а тот, который начал говорить, поравнявшись с ним, продолжал:

— Прогневали мы Господа Бога, Юрий Дмитрич! Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали! Я говорил тебе, что будет погода. Вчера мы проехали верст шестьдесят, так могли б сегодня отдохнуть. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем — Бог весть!

— Не кручинься, Алексей, — отвечал другой путешественник, — завтра мы отдохнем вдоволь.

— Так завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский?

— Я думаю.

— Дай-то Бог!.. Ну, ну, Серко, ступай... А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет?

— Да, и очень скоро.

— Не прогневайся, государь, а позволь слово молвить: не лучше ли нам переждать, как там все уgomонится? Теперь в Москве житье худое: поляки буянят, православные ропшут, того и гляди пойдет резня... Постой-ка, боярин, постой! Серко мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли...

Оба путешественника остановились; Алексей прыгнул с лошади, ступил несколько шагов вперед и вдруг остановился как вкопанный.

¹ Верхнее платье с длинными рукавами и капюшоном. (Примеч. авт.)

— Ну, что? — спросил другой путешественник.

— Ох, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг... Ах, батюшки-светы, какая круть! Как Бог помиловал!

— Так мы заплутались?

— Вот то-то и беда! Ну, Юрий Дмитрич, что нам теперь делать?

— Искать дороги.

— Да как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель: свету божьего не видно!

В самом деле, вьюга усилилась до такой степени, что в двух шагах невозможно было различать предметов. Снежная равнина, взрываема порывистым ветром, походила на бурное море; холод ежеминутно увеличивался, а ветер превратился в совершенный вихрь. Целые облака пушистого снега крутились в воздухе и не только ослепляли путешественников, но даже мешали им дышать свободно. Ведя за собою лошадей, которые на каждом шагу оступались и вязнули в глубоких сугробах, они прошли версты две, не отыскав дороги.

— Я не могу идти далее, — сказал наконец тот из путешественников, который, по-видимому, был господином. Он бросил повод своей лошади и в совершенном изнеможении упал на землю.

— Уж не прозяб ли ты, боярин? — спросил другой испуганным голосом.

— Да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах. Послушай... если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю Божию и думай только о себе.

— Что ты, что ты, боярин! Бог с тобою!

— Да, мой добрый Алексей, если мне суждено умереть без исповеди, то да будет его святая воля! Ты устал менее моего и можешь спасти себя. Когда я совсем выбьюсь из сил, оставь меня одного, и если Господь поможет тебе найти приют, то ступай завтра в отчину боярина Кручины Шалонского — она недалеко отсюда, — отдай ему...

— Как, Юрий Дмитрич! Чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью? Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места!

— Алексей! Ты должен исполнить последнюю мою волю.

— Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать, так умирать обоим. Но что это?.. Не слышалось ли мне?

Алексей снял шапку, наклонил голову и стал прислушиваться с большим вниманием.

— Хотя б на часок затих этот окаянный ветер! — вскричал он с нетерпением. — Мне показалось, что налево от нас... Чу, слышишь, Юрий Дмитрич?

— В самом деле, — сказал Юрий, приподнимаясь на ноги, — кажется, там лает собака...

— И мне тоже сдается. Дай-то Господи! Завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею... поставлю фунтовую свечу... пойду пешком поклониться Печерским чудотворцам... Чу, опять! Слышишь?

— Точно, ты не ошибаешься.

— А где лает собака, там и жилье. Ободришь, боярин; Господь не совсем нас покинул.

Кого среди ночного мрака заставала метель в открытом поле, кто испытал на самом себе весь ужас бурной зимней ночи, тот поймет восторг наших путешественников, когда они удостоверились, что точно слышат лай собаки. Надежда верного избавления оживила сердца их; забыв всю усталость, они пустились немедленно вперед. С каждым шагом прибавлялась их надежда, лай становился час от часу внятнее, и хотя буря не уменьшалась, но они не боялись уже сбиться с своего пути.

— Кажется, недалеко отсюда, — сказал Юрий, — я слышу очень ясно...

— И я слышу, боярин, — отвечал Алексей, приостановясь на минуту, — да только этот лай мне вовсе не по сердцу.

— А что такое?

— Ничего, ничего; дай-то Бог, чтоб было тут жилье!

Они прошли еще несколько шагов; вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею, начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать и потом с воем побежала назад. Алексей пошел за нею, но едва он ступил несколько шагов, как вдруг вскричал с ужасом:

— С нами крестная сила! Ну, так... сердце мое чуяло... посмотри-ка, боярин!

Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу; длинная винтовка в суконном чехле висела у него за спиной, а с правой стороны к поясу привязана была толстая казацкая плеть; татарская шапка, с густым околышем, лежала подле его головы. Собака остановилась подле него и, глядя присталь-

но на наших путешественников, начала выть жалобным голосом.

— Ах, Боже мой! — сказал Юрий. — Несчастный, он замерз! — Забыв собственную опасность, Юрий наклонился заботливо над прохожим и старался привести его в чувство.

Этот плачевный вид, предвестник собственной их участи, усталость, а более всего обманутая надежда — все это вместе так сильно подействовало на бедного Алексея, что вся бодрость его исчезла. Предавшись совершенному отчаянию, он начал называть по именам всех родных и знакомых своих.

— Простите, добрые люди! — вопил он. — Прости, моя Маринушка! Не в добрый час мы выехали из дому: пропали наши головы!

— Полно реветь, Алексей, — сказал Юрий, — поди сюда... Этот бедняк еще жив, он спит, и если нам удастся разбудить его...

— Эх, родной! И мы скоро заснем, чтоб век не проспать.

— Не грехи, Алексей, Бог милостив! Посмотри хорошенько: разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут: ведь это дорога.

— Дорога? Пстой, боярин... в самом деле... Слава Богу! Ну, Юрий Дмитрич, сядем на коней, мешкать нечего.

— А этот бедный прохожий?

— Дай Бог ему царство небесное! Уж, видно, ему так на роду написано. Поедем, боярин.

— Нет, я попытаюсь спасти его, — сказал Юрий, стараясь привести в чувство полузамерзшего незнакомца. Минуты две прошло в бесплодных стараниях; наконец прохожий очнулся, приподнял голову и сказал несколько невнятных слов. Юрий при помощи Алексея поставил его на ноги, но он не мог на них держаться.

— Ну, видишь, Юрий Дмитрич, — сказал Алексей, — нам с ним делать нечего! Поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани.

— А пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть.

— Что ж делать, боярин: своя рубашка к телу ближе!

— Алексей, побойся Бога! Разве ты не крещеный?

— Да послушай, Юрий Дмитрич: за тебя я готов в огонь и воду — ты мой боярин, а умирать за всякого прохожего не хочу; дело другое отслужить по нем панихиду, пожалуй!..

— Молчи... и пособи мне посадить его на твою лошадь.

Алексей замолчал и принялся помогать своему господину. Они не без труда подвели прохожего к лошади; он переступал машинально и, казалось, не слышал и не видел ничего; но когда надобно было садиться на коня, то вдруг оживился и, как будто бы по какому-то инстинкту, вскочил без их помощи на седло, взял в руки поводя, и неподвижные глаза его вспыхнули жизнью, а на бесчувственном лице изобразилась живая радость. Черная собака с громким лаем побежала вперед.

— Посмотри, боярин, — сказал Алексей, — он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне: видно, что ездок!.. Ого, да он начал пошевеливаться! Тише, брат, тише! Мой Серко и так устал. Однакож, Юрий Дмитрич, или мы поразогрелись, или погода становится теплее.

— И мне то же кажется.

— Как бы снег не так валил, то нам бы и думать нечего. Эй ты, мерзлый! Полно, брат, гарцевать, сиди смирнее! Ну, теперь отлегло от сердца; а давеча пришлось было так жутко, хоть тут же ложись да умирай... Ахти, постой-ка: никак дорога пошла направо. Мы опять едем целиком.

Тут налево от них послышался лай собаки; незнакомый поворотил в ту сторону.

— Куда ты, земляк? Постой! — вскричал Алексей, схватив за повод лошадь. — Или хочешь опять замерзнуть?

Но незнакомый махнул плетью и, протавив несколько шагов за собою Алексея, выехал на большую дорогу.

— Видишь ли, — прошептал он едва внятным голосом, — что моя собака лучше твоего знает дорогу?

— Эге, да ты стал поговаривать! Ну что, брат, ожил?

Незнакомый не отвечал ничего и, продолжая ехать молча, старался беспрестанным движением разогреть свои оледеневшие члены; он приподнимался на стремянах, гнулся на ту и другую сторону, махал плетью и спустя несколько минут запел потихоньку, но довольно твердым голосом:

Гой ты мое, море синее!
Ты разгулье молодецкое!
Ты прости, моя любимая,
Красна девица-душа!
Не трепать рукою ласковой
Щеки алые твои;
А трепать ли молодцу
Мне широким веслом
Волгу-матушку...

— Ого, товарищ! — сказал Алексей. — Да ты никак совсем оттаял — песенки попеваешь!

— Да, добрые люди, спасибо вам! Долго бы мне спать, если бы вы меня не разбудили.

— Откуда ты, — спросил Юрий, — и куда пробираешься?

— Из-под Москвы; а куда иду, и сам еще путем не знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой товарищ, добрый конь, выбился из сил и пал; я хотел кой-как добрести до первой деревни...

— А кто ты таков?

— Кто я? Как бы вам сказать... Зовут меня Киршею; родом я из Царицына; служил казаком в Батурине, а теперь запорожец.

— Запорожец! — вскричал Алексей, отскочив в сторону.

— Да, — продолжал спокойно прохожий, — я приписан в Запорожской Сечи к Незамановскому куреню и без хвастовства скажу, не из последних казаков. Мой родной брат — куренной атаман, а дядя был кошевым.

— Помилуй, Господи! — сказал Алексей. — Запорожский казак и, верно, разбойник!

— Нет, товарищ, напрасно. В удальстве я от других не отставал, а гайдамаком никогда не был.

— Как же ты попал в здешнюю сторону? — спросил с любопытством Юрий.

— А вот как: я года два шатаюсь по белу свету, и там и сям; да что-то в руку нейдет. До меня дошел слух, что в Нижнем Новгороде набирают втихомолку войско; так я хотел попытать счастья и пристать к здешним.

— Против кого?

— А мне что за дело? Про то панство знает, была бы только пожива; ведь стыдно будет вернуться в мой курень с пустыми руками. Другие выставят на улицу чаны с вином и станут потчевать всех прохожих, а мне и кошевому нечего будет поднести.

— Зачем же ты не пристал к войску гетмана Жолкевского?

— Спроси лучше, зачем отстал?

— Так ты беглый?

— Кто? Я беглый? — сказал прохожий, приостановя свою лошадь. Этот вопрос был сделан таким голосом, что Алексей невольно схватился за рукоятку своего охотничьего ножа. — Добро, добро, так и быть, — продолжал он, — мне грешно на тебя сердиться. Беглый! Нет, господин честной, запорожцы — люди вольные и служат тому, кому хотят.

— Но разве вы не должны служить королю Сигизмунду?

— Должны! Так говорят и старшие, только вряд ли когда запорожский казак будет братом поляку. Нечего сказать, и мы кутили порядком в Чернигове: все Божье, да наше! Но жгли ли мы храмы Господни? Ругались ли верою православною? А эти окаянные ляхи для забавы стреляют в святые иконы! Как Бог еще терпит!

— Но все эти беспорядки скоро прекратятся: московские жители добровольно избрали на царство сына короля польского.

— Добровольно! Хороша воля, когда над тобой стоят с дубиною... Нехотя закричишь: давай нам королевича Владислава! Нет, господин честной, не пановать над Москвою этому иноверцу. Дай только русским опериться!

— Но, кажется, дело кончено, и когда вся Москва присягнула польскому королевичу...

— Мало ли что кажется! Вот и мне несколько раз казалось, что там направо светит огонек, а теперь ничего не вижу.

— Огонь! Где ты видишь? — вскричал Алексей.

— А вон; посмотри: опять показался; видишь — там, как свечка теплится?

Путешественники остановились. Направо, с полверсты от дороги, мелькал огонек; они поворотили в ту сторону, и через несколько минут Алексей, который шел впереди с собакою, закричал радостным голосом:

— Сюда, Юрий Дмитрич, сюда! Вот и плетень! Тише, боярин, тише! Околица должна быть левее — здесь. Ну, слава тебе, Господи! — продолжал он, отворяя ворота. — Доехали!.. И вовремя: слышишь ли, как опять завыл ветер? Да пусть теперь бушует как хочет; нам и горюшка мало: в избе не озябнем.

— А разве мы одни теперь в дороге? — сказал Юрий, глядя с беспокойством на ужасный вихрь, который снова свирепствовал в поле.

— Кому быть убиту, тот не замерзнет, — прошептал Кирша, въезжая в околицу.

II

Деревушка, в которую въехали наши путешественники, находилась в близком расстоянии от зимней дороги, на небольшом возвышении, которое во время разлива не под-

нималось водою. Несколько дымных лачужек, разбросанных по скату холма, окружали избу, менее других походящую на хижину. Красное окно, в котором вместо стекла вставлена была напитанная маслом полупрозрачная холстина, обширный крытый двор, а более всего звуки различных голосов и громкий гул довольно шумной беседы, в то время как во всех других хижинах царствовала глубокая тишина, — все доказывало, что это постоялый двор и что не одни наши путешественники искали в нем приюта от непогоды.

Домашний простонародный быт тогдашнего времени почти ничем не отличался от нынешнего; внутреннее устройство крестьянской избы было то же самое: та же огромная печь, те же полаты, большой стол, лавки и передний угол, украшенный иконами святых угодников. В течение двух столетий изменились только некоторые мелкие подробности: в наше время в хорошей белой избе обыкновенно кладется печь с трубою, а стены украшаются иногда картинками, представляющими «Шемякин суд» или «Мамаево побоище»; в семнадцатом веке эта роскошь была известна одним боярам и богатым купцам гостинной сотни. Следовательно, читателям нетрудно будет представить себе внутренность постоялого двора, в котором за большим дубовым столом сидело несколько проезжих. Пук горячей лучины, воткнутый в светец, изливал довольно яркий свет на все общество; по остаткам хлеба и пустым деревянным чашам можно было догадаться, что они только что отужинали и вместо десерта запивали гречневую кашу брагою, которая в большой медной ендове стояла посреди стола. Вдоль стены на лавке сидели трое проезжих; один из них, одетый в лисью шубу, говорил с большим жаром, не забывая, однакоже, подливать беспрестанно из ендовы в свою дорожную серебряную кружку. Оба его соседа, казалось, слушали его с большим вниманием и с почтением отодвигались каждый раз, когда оратор, приходя в восторг, начинал размахивать руками. С первого взгляда можно было отгадать, что человек в лисьей шубе — зажиточный купец, а оба внимательные слушатели — его работники. Насупротив их сидел в красном кафтане, с привешенною к кушаку саблею, стрелец; шапка с остроконечною тульею лежала подле него на столе; он также с большим вниманием, но вместе и с приметным неудовольствием слушал купца, рассказ которого, казалось, производил совершенно противное действие на соседа его — человека среднего роста, с рыжей бородою и отвратительным лицом. В косых

глазах его, устремленных на рассказчика, блистала злобная радость; он беспрестанно вертелся на скамье, потирал руки и казался отменно довольным. Трудно было бы отгадать, к какому классу людей принадлежал этот последний, если б от беспрестанного движения не распахнулся его смурый однорядок и не открылись вышитые красной шерстью на груди его кафтана две буквы: **З** и **Я**, означавшие, что он принадлежит к числу полицейских служителей, которые в то время назывались... я боюсь оскорбить нежный слух моих читателей, но, соблюдая сколь возможно историческую истину, должен сказать, что их в семнадцатом столетии называли земскими ярыжками. В переднем углу, под образами, сидел человек лет за сорок, одетый весьма просто; черная окладистая борода, высокий лоб, покрытый морщинами, а более всего орлиный, быстрый взгляд отличали его от других. Смуглое, исполненное жизни лицо его выражало глубокую задумчивость и какое-то грозное спокойствие человека, уверенного в необычайной своей силе; широкие плечи, жилистые руки, высокая богатырская грудь — все оправдывало эту последнюю догадку. Облокотясь небрежно на стол, он, казалось, не обращал никакого внимания на своих соседей и только изредка поглядывал на полицейского служителя: ничем неизъяснимое презрение изображалось тогда в глазах его, и этот взгляд, быстрый, как молния, которая, блеснув, в минуту потухает, становился снова неподвижным, выражая опять одну задумчивость и совершенное равнодушие к общему разговору.

— Помилуй, Господи!.. — вскричал стрелец, когда человек в лисьей шубе кончил свой рассказ. — Неужто в самом деле вся Москва целовала крест этому иноверцу?

— Разве ты не слышишь? — сказал земский. — И чему дивиться? Плетью обуха не перешибешь; да и что нам, мелким людям, до этого за дело?

— Как что за дело! — возразил купец, который между тем осушил одним глотком кружку браги. — Да разве мы не православные? Мало ли у нас князей и знаменитых бояр? Есть из кого выбрать. Да вот недалеко идти: хоть, например, князь Димитрий Михайлович Пожарский...

— Нашел человека! — подхватил земский. — Князь Пожарский!.. — повторил он с злобной улыбкою, от которой безобразное лицо его сделалось еще отвратительнее. — Нет, хозяин, у него поляки отбили охоту соваться туда, куда не спрашивают. Небось хватился за ум, убрался в свою Пурецкую волость да вот уже почти целый год тише воды ниже травы, чай, и теперь еще бока побаливают.

— Да и поляки-то, брат, не скоро его забудут, — сказал стрелец, ударив рукой по своей сабле. — Я сам был в Москве и поработал этой дураю, когда в прошлом марте месяце, помнится, в день святого угодника Хрисанфа, князь Пожарский принялся колотить этих незваных гостей. То-то была свалка!.. Мы сделали на Лубянке, кругом церкви Введения Божией Матери, засеку и ровно двое суток отгрызались от супостатов...

— А на третьи насилиу ноги уплели!

— Что ж делать, товарищ: сила солому ломит. Сам гетман нагрязнул на нас со всем войском...

— И, чай, Пожарский первый дал тягу? Говорят, он куда легок на ногу.

Тут молчаливый проезжий бросил на земского один из тех взглядов, о которых мы говорили; правая рука его, со сжатым кулаком, невольно отделилась от стола, он сам приподнялся до половины... но прежде, чем кто-нибудь из присутствовавших заметил это движение, проезжий сидел уже, облокотясь на стол, и лицо его выражало по-прежнему совершенное равнодушие.

— Послушай, товарищ, — сказал стрелец, посмотрев молча несколько времени на земского, — кажется, ты не о двух головах!

— Так что ж?

— А то, любезный, что другой у тебя не останется, как эту сломят. Ну пристало ли земскому ярыжке говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек смиренный, а у другого бы ты первым словом подавился! Я сам видел, как князя Пожарского замертво вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый, хотя бы повстречался с самим сатанюю, на которого, сказать мимоходом, ты с рожи-то очень похож.

Осанистый купец улыбнулся, его работники громко захохотали, а земский, не смея отвечать стрельцу, ворчал про себя:

— Бранись, брат, бранись, брань на ворота не виснет. Вы все стрельцы — буяны. Да не долго вам храбровать... скоро язычок прикусите!

— Господин земский, — сказал с важностью купец, — его милость дело говорит: не личит нашему брату злословить такого знаменитого боярина, каков светлый князь Димитрий Михайлович Пожарский.

— Да я не свои речи говорю, — возразил земский оправаясь от первого испуга. — Боярин Кручина-Шалонский не хуже вашего Пожарского — послушайте-ка, что о нем рассказывают.

— Боярин Кручина-Шалонский? — повторил купец. — Слыхали мы об его уме и дородстве!.. У нас в Балахне, рассказывали, что этот боярин Шалонский...

— Ведет хлеб-соль с поляками, — подхватил стрелец. — Ну да, тот самый! Какой он русский боярин! Хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои отчины, забыл Бога, и даже — прости, Господи, мое согрешение! — прибавил он, перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом, — и даже говорят, будто бы он... вымолвить страшно... ест по постам скоромное?

— Ах он безбожник! — вскричал купец, всплеснув руками. — И Господь Бог терпит такое беззаконие!

— Потише, хозяин, потише! — сказал земский. — Боярин Шалонский помолвил дочь свою за пана Гонсевского, который теперь гетманом и главным воеводою в Москве: так не худо бы иным прочим держать язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна не за тридевять земель от Москвы, да и сам боярин шутить не любит: неравно прилучится тебе ехать мимо его поместьев с товарами, так смотри, чтоб не продать с накладом!..

— Оборони, Господи! — вскричал купец, побледнев от страха. — Да я, государь милостивый, ничего не говорю, видит Бог, ничего! Мы люди малые, что нам толковать о боярах...

— А куда ваша милость едет? — продолжал земский. — Не назад ли в Балахну?

— На что тебе, добрый человек?

— Да так!.. Большая дорога идет через боярское село, а проселочных теперь нет; так волей или неволей, а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны всякие товары.

— Да со мной ничего нет; видит Бог, ничего! Все продал в Костроме.

— И, верно, на чистые денежки?

— Какие чистые! Все в долг! Разоренье, да и только!

— А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой целый мешок денег: посмотри, как левая сторона отдулась!

Холодный пот выступил на лбу у бедного купца; он невольно опустил руку за пазуху и сказал вполголоса, стараясь казаться спокойным:

— Смотри, пожалуй... в самом деле! Кажись, будто много, а всего-то на все две-три новгородки¹ да алтын пять медных денег: не знаю, с чем до дому доехать!

¹ Мелкая серебряная монета. (Примеч. авт.)

— Жаль, хозяин, — продолжал земский, — что у тебя в повозках, хоть, кажется, в них и много клади, — прибавил он, взглянув в окно, — не осталось никаких товаров: ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонский и богат и тароват. Уж подлинно живет по-барски: хоромы как царские палаты, холопей полон двор, мяса хоть не ешь, меду хоть не пей; нечего сказать — разлитое море! Чай, и вы о нем слышали? — прибавил он, оборотясь к хозяину постоялого двора.

— Как-ста не слышать, господин честной, — отвечал хозяин, почесывая голову. — И слышали и видали: знатный боярин!..

— А уж какой благой, Бог с ним! — примолвила хозяйка, поправляя нагоревшую лучину.

— Молчи, баба, не твое дело.

— Вестимо не мое, Пахомыч. А каково-то нашему соседу, Васьяну Степанычу? Поспрошай-ка у него.

— А что такое он сделал с вашим соседом? — спросил стрелец.

— А вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик, один сын у матери. Опомнясь боярин звал его к себе пображничать: что ж, батюшка?.. Для своей потехи зашил его в медвежью шкуру, да и ну травить собакою! И, слышь ты, они, и барин и собака, так остервенились, что насилиу водой разлили. Привезли его, сердечного, еле жива, а бедная-то барыня уж вопила, вопила!.. Легко ль! Неделю головы не приподымал!

— Ах ты простоволосая! — сказал земский. — Да кому ж и тешить боярина, как не этим мелкопоместным? Ведь он их поит и кормит да уму-разуму научает. Вот хотя и ваш Васьян Степанович, давно ли кричал: «На что нам польского королевича!», — а теперь небойся не то заговорил!..

— Да, кормилец, правда. Он говорит, что все будет по-старому. Дай-то Господь! Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом: люб помещик — остался, не люб — пошел куда хошь.

— А вам бы только шататься да ничего не платить, — сказал стрелец.

— Как-ста бы не платить, — отвечал хозяин, — да тяга больно велика: поборы поборами, а там, как поедешь в дорогу: головщина, мыт, мостовщина...

— Вот то-то же, глупые головы, — прервал земский, — что вам убыли, если у вас старшими будут поляки? Да и где нам с ними возиться! Недаром в писании сказано:

«Трудно прать против рожна». Что нам за дело, кто будет государствовать в Москве: русский ли царь, польский ли королевич? Было бы нам легко.

Тут деревянная чаша, которая стояла на скамье в переднем углу, с громом полетела на пол. Все взоры обратились на молчаливого проезжего: глаза его сверкали, ужасная бледность покрывала лицо, губы дрожали; казалось, он хотел одним взглядом превратить в прах рыжего земского.

— Что с тобою, добрый человек? — сказал стрелец после минутного общего молчания.

Незнакомый как будто бы очнулся от сна: провел рукою по глазам, взглянул вокруг себя и прошептал глухим отрывистым голосом:

— Тыфу, батюшки! Смотри, пожалуй! Никак я вздремнул!

— И, верно, тебе померещилось что ни есть страшное? — спросил купец.

— Да!.. Я видел и слышал сатану.

Купец перекрестился, работники его отодвинулись подалее от незнакомца, и все с каким-то ужасом и нетерпением ожидали продолжения разговора; но проезжий молчал, а купец, казалось, не смел продолжать своих вопросов. В эту минуту послышался на улице конский топот.

— Чу! — сказал хозяин. — Никак еще проезжие! Слышишь, жена, Жучка залаяла! Ступай посвети.

Ворота заскрипели, громкий незнакомый лай, на который Жучка отвечала робким ворчаньем, раздался на дворе, и через минуту Юрий вместе с Киршею вошли в избу.

III

— Хлеб да соль, добрые люди! — сказал Юрий, помолясь иконам.

— Милости просим! — отвечал хозяин.

— Ах, сердечный! — вскричала хозяйка. — Смотри, как тебя занесло снегом! То-то, чай, назаябся!

— А вот отогреемся, — сказал Кирша, помогая Юрию скинуть покрытый снегом охабень.

— Да это никак боярин, — шепнула хозяйка своему мужу.

Скинув верхнее платье, Юрий остался в малиновом, обшитом галунами полукафтани; к шелковому кушаку привешена была польская сабля; а через плечо на серебряной

цепочке висел длинный турецкий пистолет. Остриженные в кружок темно-русые волосы казались почти черными от противоположности с белизною лица, цветущего юностью и здоровьем; отвага и добродушие блистали в больших голубых глазах его; а улыбка, с которою он повторил свое приветствие, подойдя к столу, выражала такое радушие, что все проезжие, не исключая рыжего земского, привстав, сказали в один голос: «Милости просим, господин честной, милости просим!» — и даже молчаливый незнакомец отодвинулся к окну и предложил ему занять почетное место под образами.

— Спасибо, добрый человек! — сказал Юрий. — Я больно прозяб и лягу отогреться на печь.

— Откуда твоя милость? — спросил купец.

— Из Москвы, хозяин.

— Из Москвы! А что, господин честной, точно ли правда, что там целовали крест королевичу Владиславу?

— Правда.

— Вот тебе и царствующий град! — вскричал стрелец. — Хороши москвичи! По мне бы уже лучше покориться Димитрию.

— Покориться? Кому? — сказал земский. — Самозванцу?.. Тушинскому вору?..

— Добро, добро! Называй его как хочешь, а все-таки он держится веры православной и не поляк; а этот королевич Владислав, этот еретик...

— Слушай, товарищ! — сказал Юрий с приметным неудовольствием. — Я до ссор не охотник, так скажу наперед: думай что хочешь о польском королевиче, а вслух не говори.

— А почему бы так?

— А потому, что я сам целовал крест королевичу Владиславу и при себе не дам никому ругаться его именем.

Сожаление и досада изобразились на лице молчаливого проезжего. Он смотрел с каким-то грустным участием на Юрия, который, во всей красоте отвагой кипящего юноши, стоял, сложив спокойно руки, и гордым взглядом, казалось, вызывал смельчака, который решил бы ему противоречить. Стрелец, окинув взором все собрание и не замечая ни на одном лице охоты взять открыто его сторону, замолчал. Несколько минут никто не пытался возобновить разговора; наконец земский с видом величайшего унижения спросил у Юрия:

— Скоро ли пресветлый королевич польский прибудет в свой царствующий град Москву?

— Его ожидают, — отвечал Юрий отрывисто.

— А что, ваша милость, чай, уж давным-давно и послы в Польшу отправлены.

— Нет, не в Польшу, — сказал громким голосом молчаливый незнакомец, а под Смоленск, который разоряет и морит голодом король польский в то время, как в Москве целуют крест его сыну.

Юрий приметным образом смутился.

— Уж эти смоляне! — вскричал земский. — Поделом, ништо им! Буяны!.. Чем бы встретить батюшку, короля польского, с хлебом да с солью, они, разбойники, и в город его не пустили!

— Эх, господин земский! — возразил купец. — Да ведь он пришел с войском и хотел Смоленском владеть, как своей отчиной.

— Так что ж? — продолжал земский. — Уж если мы покорились сыну, так отец волен брать что хочет. Не правда ли, ваша милость?

Лицо Юрия вспыхнуло от негодования.

— Нет, — сказал он, — мы не для того целовали крест польскому королевичу, чтоб иноплеменные, как стая коршунов, делили по себе и рвали на части святую Русь! Да у кого бы из православных поднялась рука и язык повернулся присягнуть иноверцу, если б он не обещал сохранить землю Русскую в прежней ее славе и могуществе?

— И, государь милостивый! — подхватил земский. — Можно б, кажется, поклониться королю польскому Смоленском. Не важное дело один городишко! Для такой радости не только от Смоленска, но даже от пол-Москвы можно отступиться.

— Я повторяю еще, — сказал Юрий, не обращая никакого внимания на слова земского, — что вся Москва присягнула королевичу; он один может прекратить бедствие злосчастной нашей родины, и если сдержит свое обещание, то я первый готов положить за него мою голову. Но тот, — прибавил он, взглянув с презрением на земского, — тот, кто радуется, что мы для спасения отечества должны были избрать себе царя среди иноплеменных, тот не русский, не православный и даже хуже некрещеного татарина!

Молчаливый незнакомец с живостью протянул свою руку Юрию; глаза его, устремленные на юношу, блистали удовольствием. Он хотел что-то сказать; но Юрий, заметив этого движения, отошел от стола, взобрался на печь и, разостлав свой широкий охабень, лег отдохнуть.

— А что, — спросил Кирша у хозяина, — чай, проезжие гости не все у тебя приехали?

— Щей нет, родимый, — отвечал хозяин, — а есть только толокно да гречневая каша.

— И на том спасибо! Давай-ка сюда.

— А его милость что будет кушать? — спросила заботливо хозяйка, показывая на Юрия.

— Не хлопочи, тетка, — сказал Алексей, войдя в избу, — в этой кесе есть что перекусить. Вот тебе пирог да жареный гусь, поставь в печь... Послушайте-ка, добрые люди, — продолжал он, обращаясь к проезжим, — у кого из вас гнедой конь с длинной гривой?

— Это мой жеребец, — отвечал молчаливый незнакомец.

— Ой ли? Ну, брат, какой знатный конь! Жаль, если он себе на какой-нибудь рожон бок напорет! Ступай-ка скорей: он отвязался и бегаёт по двору.

Незнакомый вскочил и вышел поспешно из избы.

— Что это за пугало? Не знаешь ли, кто он? — спросил земский у хозяина.

— А Бог весть кто! — отвечал хозяин. — Кажись, не наш брат крестьянин: не то купец, не то посадский...

— Откуда он едет?

— Господь его знает! Вишь какой леший, слова не вымолвит!

— Да, у него лицо не миловидное, — заметил купец. — Под вечер я не хотел бы с ним в лесу повстречаться.

— А какой ражий детина! — примолвил стрелец. — Я таких богатырских плеч сродясь не видывал.

Между тем Алексей и Кирша сели за стол.

— Ну, брат, — сказал Алексей, — тесненько нам будет: на полатах лежат ребятишки, а по лавкам-то спать придется нам сидя.

— Молчи! Будет просторно, — шепнул Кирша, принимаясь есть толокно.

Купец, который не смел обременять вопросами Юрия, хотел воспользоваться случаем и поговорить вдоволь с его людьми. Дав время Алексею утолить первый голод, он спросил его: давно ли они из Москвы?

— Седьмой день, хозяин, — отвечал Алексей. — Слово волов гоним! День стоим, два едем. Вишь какую погоду Бог дает!

— А что, вы московские уроженцы?

— Как же! Мы оба с барином природные москвичи.

— Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве?

— Вестимо, хозяин! Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминуемую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился: не кверху, а книзу полетел, проклятый!

— Ему бы поучиться летать у жены своей, Маринки, — сказал стрелец. — Говорят, будто б эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно!.. Чему ж ты ухмыляешься? — продолжал он, обращаясь к купцу. — Чай, и до тебя этот слух дошел?

— Не всякому слуху верь, — сказал с важностью купец.

— Знаю, знаю! Вы люди грамотные, ничему не верите.

— Ученье свет, а неученье тьма, товарищ. Мало ли что глупый народ толкует! Так и надо всему верить? Ну, рассуди сам: как можно, чтоб Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева.

— Оно, кажись, и так, хозяин, — продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством, — однакож вся Москва говорит об этом.

— Да она и теперь еще около Москвы летает, — сказал Кириша, положи на стол деревянную ложку, которую ел толокно.

— Неужели в самом деле? — вскричал купец.

— Я сам ее видел, — продолжал спокойно запорожец.

— Как видел?

— А вот так же, хозяин, как вижу теперь, что у тебя в этой фляжке романея. Не правда ли?

— Ну да, так что ж?

— Ничего.

— Но где ж ты ее видел?

— Где? Как бы тебе сказать?.. Не припомню... у меня морозом всю память отшибло.

— Добро, добро, — сказал купец, — дай-ка сюда свой стакан.

— Спасибо! Да наливай полнее... Хорошо! Ну, слушай же, — продолжал запорожец, выпив одним духом весь стакан, — я видел Маринку в Тушине, только лгать не хочу: на сороку она вовсе не походит.

— В Тушине?

— Да, в Тушине, вместе с Димитрием, которого вы называете вторым самозванцем, а она величает своим мужем.

— Вот что!.. Так ты и Тушинского вора знаешь?

— Как не знать!

— Правда ли, что он молодчина собою? — спросил стрелец.

— Какой молодчина!.. Ни дать ни взять польский жид. Вот второй гетман его войска, пан Лисовский, так нечего сказать — удалая голова!

— Лисовский! — вскричал купец. — Этот злодей!.. Душегубец!..

— Да, хозяин, где он пройдет с своими сорванцами, там хоть шаром покати — все чисто: ни кола ни двора. Но зато на схватке всегда первый и готов за последнего из своих налетов сам лечь головою — лихой наездник!

— Так ты его знаешь? — спросил купец.

— Как не знать! Дай-ка, хозяин, еще стаканчик... За твое здоровье!..

— Говорят, у этого Лисовского, — сказал купец, спрятав за пазуху свою фляжку, — такое демонское лицо, что он и на человека не походит.

— Да, он некрасив собою, — продолжал Кирша. — Я знаю только одного удальца, у которого лицо смуглее и усы чернее, чем у пана Лисовского. Прежде этого молодца не меньше Лисовского боялись...

— А теперь? — спросил купец.

— Теперь он, чай, шатается по лесу и страшен только для вашей братьи купцов.

— Кто ж этот человек?

— Кто этот человек?.. Кой прах! У меня опять в горле пересохло... Дай-ка, хозяин, свою фляжку... Спасибо! — продолжал Кирша, осушив ее до дна. — Ну, что бишь я говорил?

— Ты говорил о каком-то человеке, — сказал купец, — который, по твоим словам, страшнее Лисовского.

— Да, да, вспомнил! Этот верзила был есаулом у разбойничьего атамана Хлопки...

— У которого, — сказал земский, — было в шайке тысяч двадцать разбойников и которого еще при царе Борисе...

— Разбил боярин Басманов, — прервал Кирша. — Ну да: самого Хлопку-то убили, а есаул его ускользнул. Да вы, чай, о нем слышали? Он прозывается Чертов Ус.

— Как не слышать, — сказал купец. — Оборони, Господи! Говорят, этот Чертов Ус злее своего бывшего атамана.

— А пуще-то всего он не жалуется губных старост да земских, — примолвил Кирша. — Кругом Калуги не ос-

талось деревца, на котором бы не висело хотя по одному земскому ярыжке.

— Разбойник! — закричал земский.

— А разве ты его знавал? — спросил купец запорожца.

— Знакомства с ним не водил, а видать видал.

— Где же ты видел?

— Я видел его два раза, — отвечал Кирша. — Первый раз в Калуге, где была у него разбойничья пристань; а во второй... — прибавил он вполголоса, но так, что все его слышали, — а во второй раз я видел его здесь.

— Как здесь?.. — вскричал купец, помертвев от ужаса.

— Давно ли? — спросил земский, заикаясь.

— Сегодня, — отвечал равнодушно Кирша.

— Сегодня?.. — повторил купец глухим, прерывающимся голосом. — С нами крестная сила! Да где ж он?..

— Сейчас сидел вон там — в переднем углу, под образами.

— Так это он! — вскричал купец, и все взоры обратились невольно на пустой угол. Несколько минут продолжалось мертвое молчание, потом все пришло в движение на постоялом дворе. Алексей хотел разбудить своего господина, но Кирша шепнул ему что-то на ухо, и он успокоился. Купец и его работники едва дышали от страха; земский дрожал; стрелец посматривал молча на свою саблю; но хозяин и хозяйка казались совершенно спокойными.

— Да чего мы так перепугались? — сказал стрелец, собравшись с духом. — Нас много, а он один.

— А Бог весть, один ли! — возразил земский. — Он что-то часто в окно поглядывал.

— Да, да, — подхватил дрожащим голосом купец, — он точно кого-то дожидался. А за поясом у него... видели, какой ножище? Аршина в два!

— Слушай, хозяин, — сказал торопливо земский, — беги скорей на улицу, вели ударить в набат!..

— Эк-ста, что выдумал! В набат! — отвечал хозяин. — Да разве здесь село? У нас и церкви нет.

— Все равно! Сделай тревогу, собери народ!.. Да скачи скорей к губному старосте¹; он верстах в пяти отсюда и мигом прикатит с объезжими.

— Что ты, Бог с тобою! — вскричала хозяйка. — Да разве нам белый свет опостылел! Станем мы ловить разбойника! Небойсь ваш губной староста не приедет гасить, как товарищи этого молодца зажгут с двух концов нашу

¹ Почти то же, что нынешний капитан-исправник. (Примеч. авт.)

деревню! Нет, кормилец, ступай себе, лови его на большой дороге; а у нас в дому не тронь.

— Дура! — сказал стрелец. — Да разве ты не боишься, что он вас ограбит?

— И, батюшка, около нас какая пожива! Проводим его завтра с хлебом да с солью, так он же нам спасибо скажет.

— Да нам и не впервой, — прибавил хозяин. — У нас ставали не раз — вот эти, что за польским-то войском таскаются... как бишь их зовут?.. Да! Лагерная челядь. Почище наших разбойников, да и тут Бог миловал!

— Ну, как хотите, — сказал купец, — ловите его или нет, а я минуты здесь не останусь, благо погода унялась. Ступайте, ребята, запрягайте лошадей! Да Бога ради проворнее.

— Так и я с тобою, — сказал стрелец. — Тебе будет поваднее со мною ехать; видишь, у меня есть чем оборониться.

— Возьмите уж и меня, — прибавил вполголоса земский, — я здесь ни за что один не останусь. Видите ли, — продолжал он, показывая на Киршу и Алексея, — мы все в тревоге, а они и с места не тронулись; а кто они? Бог весть!

— Правда, правда! — шепнул купец, поглядывая робко на Киршу. — Посмотрите-ка, у этого озорника, что вытянул всю мою флягу, нож, сабля... а рожа-то какая, рожа!.. Ух, батюшки! Унеси, Господь, скорее!..

Двери отворились, и незнакомый вошел в избу. Купец с земским прижались к стене, хозяин и хозяйка встретили его низкими поклонами; а стрелец, отступив два шага назад, взялся за саблю. Незнакомый, не замечая ничего, несколько раз перекрестился, молча подостлал под голову свою шубу и расположился на скамье, у передних окон. Все проезжие, кроме Кирши и Алексея, вышли один за другим из избы.

— Теперь растолкуй мне, Кирша, — сказал вполголоса Алексей, — что тебе вздумалось назвать разбойником этого проезжего?

— Как что? Посмотри, какой простор!.. На любой лавке ложись!

— Ну а как он об этом узнает?

— Так мне же скажет спасибо.

— Есть за что; а если его схватят?..

— Ах ты голова, голова! То ли теперь время, чтоб хватать разбойников? Теперь-то им и житье: все их боятся, а ловить их некому. Погляди, какая честь будет этому проезжему: хозяин с него и за постой не возьмет.

Через несколько минут купец, в провожании земского и стрельца, расплатясь с хозяином, съехал со двора. Кирша отворил дверь, свистнул, и его черная собака вбежала в избу.

— Теперь и тебе будет место, — сказал он, бросив ей большой ломоть хлеба. — Поужинай, Зарез, поужинай, голубчик! Ты, чай, больно проголодался.

Это напомнило Алексею, что барин его также еще не ужинал; но, видя, что Юрий спит крепким сном, он не решился будить его.

— Скажи-ка мне, — спросил запорожец, ложась на скамью подле Алексея, — верно, у твоего боярина есть на сердце кручина? Не по летам он что-то пасмурен.

— Да, брат, есть горе.

— Что, чай, сокрушила молодца красна девица?

— Вот то-то и беда! Изволишь видеть...

Тут Алексей, понизив голос, стал что-то рассказывать Кирше, который, выслушав спокойно, сказал:

— Эх, любезный, жаль, что твой боярин не запорожский казак! У нас в курнях от этого не сохнут; живем как братья, а сестер нам не надобно. От этих баб везде беда. Доброй ночи, товарищ!

Скоро все утихло на постоялом дворе, и только от времени до времени на полатах принимались реветь ребятишки; но заботливая мать попеременно то колотила их, то набивала им рот кашею, и все через минуту приходило в прежний порядок и тишину.

IV

Еще вторые петухи не пропели, как вдруг две тройки примчались к постоялому двору. Густой пар валил от лошадей, и в то время как из саней вылезало несколько человек, закутанных в шубы, усталые кони, чувствуя близость ночлега, взрывали копытами глубокий снег и храпели от нетерпения.

— Гей! отпирайте проворней!.. — раздался под окном грубый голос. — Да ну же, поворачивайтесь, не то ворота вон!

Пока хозяйка вздувала огонь, а хозяин слезал с полатей, нетерпение вновь приехавших дошло до высочайшей степени; они стучали в ворота, бранили хозяина, а особливо один, который испорченным русским языком, применяя ругательства на чистом польском, грозился сломить

хозяину шею. На постоялом дворе все, кроме Юрия, проснулись от шума. Наконец ворота отворились, и толстый поляк в сопровождении двух казаков вошел в избу. Казаки, войдя, перекрестились на иконы, а поляк, не снимая шапки, закричал сиповатым басом:

— Гей, хозяин! Что у тебя здесь за челядь? Вон все отсюда!.. Эй, вы! Оглохли, что ль? Вон, говорят вам!

Молчаливый проезжий приподнял голову и, взглянув хладнокровно на поляка, опустил ее опять на изголовье. Алексей и Кирша вскочили; последний, протирая глаза, глядел с приметным удивлением на пана, который, сбросив шубу, остался в одном кунтуше, опоясанном богатым кушаком.

Если б нужно было живописцу изобразить воплощенную — не гордость, которая, к несчастью, бывает иногда пороком людей великих, но глупую спесь — неотъемлемую принадлежность душ мелких и ничтожных, — то, списав самый верный портрет с этого проезжего, он достиг бы совершенно своей цели. Представьте себе четвероугольное туловище, которое едва могло держаться в равновесии на двух коротких и кривых ногах; величественно закинутую назад голову в превысокой косматой шапке, широкое, багровое лицо; огромные, оловянного цвета, круглые глаза; вздернутый нос, похожий на луковицу, и бесконечные усы, которые не опускались книзу и не подымались вверх, но в прямом, горизонтальном направлении, казалось, защищали надутые щеки, разрумяненные природою и частым употреблением горелки. Спесь, чванство и глупость, как в чистом зеркале, отражались в каждой черте лица его, в каждом движении и даже в самом голосе, который, переходя беспрестанно из охриплого баса в сиповатый дишкант, изображал попеременно то надменную волю знаменитого вельможи, уверенного в безусловном повиновении, то неукротимый гнев грозного повелителя, коего приказания не исполняются с должной покорностью.

Меж тем как этот проезжий отдавал казакам какие-то приказания на польском языке, Кирша не переставал на него смотреть. На лице запорожца изображались попеременно совершенно противоположные чувства: сначала, казалось, он удивился и, смотря на странную фигуру поляка, старался что-то припомнить; потом презрение изобразилось в глазах его. Через минуту они забыли стали веселостью и почти в то же время, при встрече с гордым взглядом поляка, изъявляли глубочайшую покорность, которую, однакож, трудно было согласить с насмешливой улыбкою, едва заметною, но не менее того выразительною.

— Ну что ж вы стали? — сказал пан грозным басом, оборотясь снова к Алексею и Кирше. — Иль не слышали?.. Вон отсюда!

Повелительный голос поляка представлял такую странную противоположность с наружностью, которая возбуждала чувство, совершенно противное страху, что Алексей, не думая повиноваться, стоял как вкопанный, глядел во все глаза на пана и кусал губы, чтоб не лопнуть со смеху.

— Цо то есть! — завизжал дишкантом поляк. — Ах вы москали! Да знаете ли, кто я?

— Не гневайся, ясновельможный пан! — сказал с низким поклоном Кирша. — Мы спросонья не рассмотрели твоей милости. Дозволь нам хоть в уголку остаться. Вот лишь рассвет, так мы и в дорогу.

— А это что за неуч растянулся на скамье? — продолжал пан, взглянув на молчаливого прохожего. — Гей ты, олух!

Незнакомый приподнялся, но, вместо того чтобы встать, сел на скамью и спросил хладнокровно у поляка: чего он требует?

— Пошел вон из избы!

— Мне и здесь хорошо.

— И ты еще смеешь рассуждать! Вон, говорят тебе!

— Слушай, поляк, — сказал незнакомый твердым голосом, — постоянный двор не для тебя одного выстроен; а если тебе тесно, так убирайся сам отсюда.

— Цо то есть? — заревел поляк. — Почекай, москаль, почекай¹. Гей, хлопцы! вытолкайте вон этого грубияна.

— Вытолкать? Меня?.. Попробуйте! — отвечал незнакомый, приподымаясь медленно со скамьи. — Ну что ж вы стали, молодцы? — продолжал он, обращаясь к казакам, которые, не смея тронуться с места, глядели с изумлением на колоссальные формы проезжего. — Что, ребята, видно, я не по вас?

— Рубите этого разбойника! — закричал поляк, пятась к дверям. — Рубите в мою голову!

— Нет, господа честные, прошу у меня не буяннить, — сказал хозяин. — А ты, добрый человек, никак забыл, что хотел чем свет ехать? Слышишь, вторые петухи поют?

— И впрямь пора запрягать, — сказал торопливо проезжий и, не обращая никакого внимания на поляка и казаков, вышел вон из избы.

¹ Подожди, москаль, подожди (польск.).

— Ага! Догадался! — сказал поляк, садясь в передний угол. — Счастлив ты, что унес ноги, а не то бы я с тобою переведался. Нех их вшищи дьябли везмо!¹. Какие здесь буяны! Видно, не были еще в переделе у пана Лисовского.

— Пана Лисовского? — повторил Кирша. — А ваша милость его знает?

— Как не знать! — отвечал поляк, погладив с важностью свои усы. — Мы с ним приятели: побратались на ратном поле, вместе били москалей...

— И, верно, под Троицким монастырем? — прервал запорожец.

Поляк поглядел пристально на Киршу и, поправя свою шапку, продолжал важным голосом:

— Да, да! Под Троицким монастырем, из которого москали не смели днем и носу показывать.

— Прошу не погневаться, — возразил Кирша, — я сам служил в войске гетмана Сапеги, который стоял под Троицею, и, помнится, русские колотили нас порядком; бывало, как случится: то днем, то ночью. Вот, например, помнишь, ясновельможный пан, как однажды поутру, на монастырском капустном огороде?.. Что это ваша милость изволит вертеться? Иль неловко сидеть?

— Ничего, ничего... — отвечал поляк, стараясь скрыть свое смущение.

— Как теперь гляжу, — продолжал Кирша, — на этом огороде лихая была схватка, и пан Лисовский один за десятерых работал.

— Да, да, — прервал поляк, — он дрался как черт! Я смело это могу говорить потому, что не отставал от него ни на минуту.

— Так поэтому, ясновельможный, ты был свидетелем, как он наткнулся на одного молодца, который во время драки, словно заяц, притаился между гряд, и как пан Лисовский отпотчевал этого труса нагайкою?

Оловянные глаза поляка завертелись во все стороны, а багровый нос засверкал, как уголь.

— Как нагайкой? — вскричал он. — Кого нагайкой?.. Это вздор!.. Этого никогда не было!

— Помилуй, как не было! — продолжал Кирша. — Да об этом все войско Сапеги знает. Этот трусишка служил в регименте Лисовского товарищем и, помнится, прозывался... да, точно так... паном Копычинским.

¹ Ну их к дьяволу! (польск.).

— Неправда, не верьте ему! — закричал поляк, обращаясь к казакам. — Это клевета!.. Копычинского не только Лисовский, но и сам черт не смел бы ударить нагайкою: он никого не боится!

— Да что ж за нелегкая угораздила его завалиться между гряд в то время, как другие дрались?

— Что? Как что?.. Да кто тебе сказал, что я лежал между гряд?

— Ага! Так это ты, ясновельможный? Прошу покорно, чего злые люди не выдумают! Ведь точно говорят, что Лисовский тебя поколотил и что если б на другой день ты не бежал в Москву, то он для острастки других непременно бы тебя повесил.

— Какой вздор, какой вздор! — прервал поляк, стараясь казаться равнодушным. — Да что с тобою говорить! Гей, хозяин, что у тебя есть? Я хочу поужинать.

— Ахти, кормилец! — отвечал хозяин. — Да у меня ничего, кроме хлеба, не осталось.

— Как ничего?

— Видит Бог, ничего!.. Была корчага каши, толокно и горшок щей, да все проезжие поели.

— Быть не может, чтоб у тебя ничего не осталось. Гей, Нехорошко! — продолжал он, взглянув на одного из казаков. — Пошарь-ка в печи: не найдешь ли чего-нибудь.

Казак отодвинул заслонку и вытащил жареного гуся.

— Цо то есть? — закричал поляк. — Ах ты лайдак! Как же ты говорил, что у тебя нет съестного?

— Да это чужое, родимый, — сказала хозяйка. — Этого гуся привез с собою вот тот барин, что спит на печи.

— А кто он? Поляк?

— Нет, кормилец, кажись, русский.

— Москаль?.. Так давай сюда!

Алексей хотел было вступить за право собственности своего господина, но один из казаков дал ему такого толчка, что он едва устоял на ногах.

— Разбуди своего барина, — шепнул Кирша, — он лучше нашего управится с этим буяном.

Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Юрий слез с печи, спрятал за пазуху пистолет и, отдав потихоньку приказание Алексею, который в ту же минуту вышел из избы, подошел к столу.

— Доброго здоровья! — сказал он, поклонясь вежливо пану.

Поляк, не переставая есть, кивнул головою и показал молча на скамью; Юрий сел на другом конце стола и, помолчав несколько времени, спросил: по вкусу ли ему жареный гусь?

— Как проголодаешься, так все будет вкусно, — отвечал поляк. — А что, этот гусь твой?

— Мой, пан.

— Нечего сказать, вы, москали, догадливее нас: всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно; для нас, поляков, нет ничего заветного.

— Конечно, пан, конечно. Да что ж ты перестал? Кушай на здоровье!

— Не хочу: я сыт.

— Не совестись, покушай!

— Нет, ешь сам, если хочешь.

— Спасибо! Я не привык кормиться ничьими объедками да не люблю, чтоб и другие не доедали. Кушай, пан!

— Я уж тебе сказал, что не хочу.

— Не прогневайся: ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного, то есть: у них в обычае брать чужое, не спросясь хозяина... Быть может; а мы, русские, — хлебо-солы, любим потчевать: у всякого свой обычай. Кушай, пан!

— Да что ж ты пристал в самом деле...

— И не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся.

— Как всего?

— Да, всего, — повторил Юрий, вынимая пистолет. — Прошу покорно: принялся есть, так ешь!

— Цо то есть? — завизжал поляк. — Гей, хлопцы!

Быстрым движением руки Юрий, подвинув вперед стол, притиснул к стене поляка и, обернувшись назад, закричал казакам:

— Стойте, ребята! Ни с места!

Эти слова были произнесены таким повелительным голосом, что казаки, которые хотели броситься на Юрия, остановились.

— Слушайте, товарищи! — продолжал Юрий. — Если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размозжу ему голову. А ты, ясновельможный, прикажи им выйти вон, я угощаю одного тебя. Ну, что ж ты молчишь?.. Слушай, поляк! Я никогда не божился понапрасну; а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ль мне дожидаться? — прибавил он, направляя дуло пистолета прямо в лоб поляку.

— Иезус, Мария! — закричал поляк, стараясь спрятать под стол свою обритую голову. — Ступайте вон!.. Ступайте вон!..

— Эй, ребята, убирайтесь! — сказал Кирша. — А не то этот боярин как раз влепит ему пулю в лоб: он шутить не любит.

— Ступайте вон, злодеи! ступайте вон! — продолжал кричать поляк, закрывая руками глаза, чтоб не видеть конца пистолета, который в эту минуту казался ему длиннее крепостной пищади.

Казаки, выходя вон, повстречались с незнакомым проезжим, который, посмотрев с удивлением на это странное угощение, стал потихоньку расспрашивать хозяина.

— Теперь, Кирша, — сказал Юрий, — между тем как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтоб эти молодцы не воротились. Ну, пан, прошу покорно! Да поторапливайся: мне некогда дожидаться.

Поляк, не отвечая ни слова, принялся есть, а Юрий, не переменяя положения, продолжал его потчевать. Бедный пан спешил глотать целыми кусками, давился. Несколько раз принимался он просить помилования; но Юрий оставался непреклонным, и умоляющий взор поляка встречал всякий раз роковое дуло пистолета, взведенный курок и грозный взгляд, в котором он ясно читал свой смертный приговор.

— Позволь хоть отдохнуть... — пропищал он наконец, задыхаясь.

— И, полно, пан! Мне некогда дожидаться, доедай!..

— Смелей, пан Копычинский, смелей! — сказал Кирша. — Ты видишь, немного осталось. Что робеть, то хуже... Ну, вот и дело с концом! — примолвил он, когда поляк проглотил последний кусок.

— И, кстати ли! — прервал Юрий. — Угощать так угощать! Там в печи должен быть пирог. Кирша, подай-ка его сюда.

— Взмилуйся! — завопил поляк отчаянным голосом. — Не могу, як пана бога кохам, не могу.

— Что, пан, будешь ли вперед непрощеный кушать за чужим столом? — сказал незнакомый проезжий. — Спасибо тебе, — продолжал он, обращаясь к Юрию, — спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него; брось этого негодяя! У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец! Авось ли Бог приведет нам еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что присяга, вы-

нужденная обманом и силою, ничтожна пред Господом и что умереть за веру православную и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой, — примолвил он, бросив на стол несколько медных денег.

— Не надо, кормилец! — сказал хозяин с низким поклоном. — Мы и так довольны.

Незнакомый посмотрел с удивлением на хозяина; но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо постоялого двора.

Меж тем поляк успел выбраться из-за стола и пробирался к дверям. Юрий остановил его.

— Не уходи, пан, — сказал он, — я сейчас еду, и ты можешь остаться и буяннить здесь на просторе сколько хочешь. Прощай, Кирша!

— Нет, боярин, прошу не прогневаться, — сказал запорожец, — я по милости твоей гляжу на свет божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь.

— По мне, пожалуй! Но пеший конному не товарищ.

— Да у меня есть на что купить лошадь.

— А я продам, — сказал хозяин. — Знатный конь! Немного храмлет, а шагист, и хоть ему за десять, а такой строгий, что только держись! Ну, веришь ли Богу! Если б он не окривел, так я бы с ним ни за что в свете не расстался.

— Добро, добро! — прервал Кирша. — Лишь бы только он дотащил меня до первого базара.

— Мы поедем шагом, — сказал Юрий, — так ты успеешь нас догнать. Прощай, пан, — продолжал он, обращаясь к поляку, который, не смея пошевелиться, сидел смиренхонько на лавке. — Вперед знай, что не все москали сносят спокойно обиды и что есть много русских, которые, уважая храброго иноземца, не попустят никакому забияке, хотя бы он был и поляк, ругаться над собою. А всего лучше вспоминай почаще о жареном гусе. До зобаченья, ясно-вельможный пан!

V

Утренняя заря румянила снежную равнину; вдали, сквозь редеющий мрак, забелелись верхи холмов, и звезды, одна после другой, потухали на чистом небосклоне. Дорога,

по которой ехал Юрий в сопровождении верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против них дремучий бор, как черная бесконечная полоса, обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты две, они очутились при въезде в темный бор; дорога шла опушкою леса; среди частого кустарника, подобно огромным седым привидениям, угрюмо возвышались вековые сосны и ветвистые ели; на их исполинских вершинах, покрытых инеем, играли первые лучи восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю дорогу, далеко ложились в чистом поле.

Алексей несколько раз начинал говорить с своим господином; но Юрий не отвечал ни слова. Погруженный в глубокую думу, он ехал медленно, опустя поводья своей лошади. Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его; тысячи различных мыслей и противоположных желаний волновали его грудь. «Русские — рабы иноплеменных!» Ах, эти слова, как похоронная песнь, как смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и отечеству. «Нет, — сказал он наконец, как будто б отвечая на слова знакомого, — нет, Господь не допустит нас быть рабами иноверцев! Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси; он покинет свой родной край: наша земля будет его землею; наша вера православная — его верою. Так! Он будет отцом нашим; он соединит все помышления и сердца детей своих; рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на святую Русь?»

— Кой черт! — вскричал Алексей, наехав на колоду, через которую лошадь его с трудом перескочила. — Пора бы солнышку проглянуть; что это оно заленилось сегодня?.. Выходит — не выходит.

— Мы едем в тени, — отвечал Юрий. — Вот там, кажется, поворот, и нам будет ехать светлее.

— И теплее, боярин; а здесь так ветром насквозь и прохватывает. Ну, Юрий Дмитрич, — продолжал Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разговаривать, — лихо же ты отделал этого похвальбишку поляка! Вот что называется — угостить по-русски! Чай, ему недели две есть не захочется. Однакож, боярин, как мы выезжали из деревни, так в уши мне наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся деревушка не набита конными поляками.

— Ты слышал конский топот?

— Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего доброго!.. Кострома недалеко отсюда, а там стоят поляки: не диво им завернуть и в здешнюю сторону.

— Да, это быть может.

— Ну, если этот трус Копычинский им нажалуется и они пустятся за нами в погоню? А за проводником у них дело не станет: Кирша недаром остался на постоялом дворе.

— И, Алексей, побойся Бога! Неужели ты думаешь, что тот, кто по милости нашей глядит на свет божий, не посовестьится...

— Эх, боярин! Захотел ты совести в этих чертях запорожцах; они навряд и Бога-то знают, окаянные! Станет запорожский казак помнить добро! Да он, прости, Господи, отца родного продаст за чарку горелки. Ну вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба — зги божьей не видно! То-то приволье, боярин: есть где поохотиться!.. Чай, здесь медведей и всякого зверя тьма-тьмушая!

Наши путешественники въехали по узкой просеке в средину леса. С каждым шагом темный бор становился непроходимее, и несмотря на то, что сильный ветер колебал вершины деревьев, внизу, царствовала совершенная тишина. От времени до времени, прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего солнца; но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы. Все было мертво вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от конского топота, перелетал с одной сосны на другую, осыпая пушистым инеем Юрия и Алексея, который при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался на все стороны. Не замечая охоты в своем господине продолжать разговор, он принялся насвистывать песню. Несколько минут ехали они молча, как вдруг Алексей, осадив свою лошадь, сказал робким голосом:

— Слышишь, боярин?

— Что такое? — спросил Юрий, как будто пробудясь от сна.

— Чу! Слышишь? Кто-то скачет за нами!

— Да, и очень быстро... Это, верно, Кирша.

— Нет, Юрий Дмитрич! Я видел клячу, которую продавал ему хозяин постоялого двора: на ней далеко не ускачешь. Глянь-ка сюда, боярин, видишь — чернеется вдаль? Какой это Кирша! Словно птица летит.

Всадник, который действительно с необычайной быстротою приближался к нашим путешественникам, выскакал на небольшую поляну, и солнечный луч отразился на лице

его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца, который, припав к седельной луке, вихрем мчался по дороге.

— Ну, не говорил ли я тебе, что это Кирша? — сказал он Алексею.

— Вижу, боярин, вижу! Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь... Эх его черти несут! Тише ты, тише, дьявол! Совсем было смял боярина.

— Не теряйте времени, — сказал торопливо Кирша, осадя с трудом свою лошадь, — за вами погоня.

— Ну, так... чуяло мое сердце! — вскричал Алексей. — В деревне поляки?..

— Да! Три хоругви¹ и человек двести лагерной челяди.

— С нами крестная сила! Что ж мы мешкаем, боярин? По лошадям, да унеси, Господь!

— Чего ж ты боишься? — сказал Юрий. — Когда поляки узнают, кто я...

— Оно так, Юрий Дмитрич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих: у поляков расправа короткая.

— А особливо, — прибавил Кирша, — когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег.

— Да еще вдобавок, — прервал Алексей, — чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем.

— За труса Копычинского, — продолжал Кирша, — они бы не вступились, да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Я вместе с другими втерся на постоялый двор и все это слышал своими ушами. Пока regimentарь² отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминуемой; вышел на двор, глядь... у крыльца один шеренговый держит за повод этого коня; посмотрел — парень тщедушный; я подошел поближе, изноровился да хватить его по лбу кулаком! Не пикнул, сердечный! А я прыг на коня, в задние ворота, проселком, выскакал на большую дорогу, да и был таков! Однакож, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! Да неужели они все пустились за вами в погоню?

В самом деле, казалось, весь лес оживился: глухой шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавшей плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили стаи птиц, кото-

¹ Конные роты. (Примеч. авт.)

² Полковой командир. (Примеч. авт.)

рые с громким криком пронесли над головами наших путешественников.

— Живей, боярин, живей! — закричал Кирша, понуждая свою лошадь. — Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ошестинился Зарез: недаром он бросается во все стороны. Назад, Зарез, назад! Ну так и есть!.. Берегись, боярин!

Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия повалилась мертвая на землю. Шагах в восьмидесяти перед толпою конных поляков летел удалый наездник.

— Стойте! — закричал он, прицеливаясь вторым пистолетом в Киршу. Быстрее молнии соскочил запорожец на землю.

— Садись на моего коня, боярин, — сказал он, — а я переведаюсь с этим налетом!

Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и почти в ту же самую минуту испуганная лошадь без седока пронеслась мимо наших путешественников.

— Ну, теперь с Богом! — сказал Кирша.

— А ты? — спросил Юрий.

— Пешему везде дорога.

— Но если тебя убьют?..

— Так что ж? Долг платежом красен. С Богом!

— Ради Христа, боярин, — закричал Алексей, — поспешим: вот они!

Толпа конных поляков с громким криком быстро приближалась к нашим путешественникам.

— Да что тут растабарывать! Не погневайся, боярин, — сказал Кирша, ударив нагайкою лошадь, на которой сидел Юрий. Лихой конь взвился на дыбы и, как из лука стрела, помчался вдоль дороги.

— Ловите пешего! Подстрелите его! — заревели из толпы дикие голоса, и пули посыпались градом; но Кирша был уже далеко; он пустился бегом по узенькой тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глубину леса.

Пробежав шагов двести, Кирша остановился; он прилег наземь и стал прислушивать: чуть-чуть отзывался вдали конский топот, отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников; вскоре все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ног его. Уверясь наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился; потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг Зарез поднял уши, заворчал,

опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину.

— Что ты, что ты, Зарезушка? — сказал Кирша, погладив его ласково рукою. — Что с тобою сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя? Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься?.. Неужели... Да нет! Я и пеший насилу сквозь эту дичь продирался... Однакож и мне кажется... Уж не медведь ли?.. Нет, черт возьми!.. Молчать, Зарез!

Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник, и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по лесу. Кирше нетрудно было догадаться, что несколько спешенных всадников послано за ним в погоню и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тропинке, которая час от часу становилась незаметнее и, наконец, при выходе на большую поляну совсем исчезла. Кирша остановился в недоумении; он чувствовал всю опасность выйти на открытое место; но на другой стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок, пробираясь сквозь густые ветви, обещал ему убежище, а может быть, и защиту. Меж тем шум приближался, рассуждать было некогда: он решился и вышел из леса.

— Вот он! Держите его! Схватите живого! — загремели позади грубые голоса.

Кирша оглянулся: человек десять вооруженных поляков выбежали на поляну; нельзя было и помышлять об обороне; двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его; еще несколько шагов — и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, он споткнулся и упал.

— Ага, лайдак! Попался! — закричал один из поляков, вырывая у него из рук винтовку.

— Скрути хорошенько этого поганого москаля! — заревел другой; но верный Зарез как тигр кинулся на грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь. Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег.

Он не мог видеть, что происходило на поле; но слышал ясно крик и ругательства поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего Зареза. Сердце его обливалось кровью; несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Между тем, сколько мог он расслу-

шать, поляки, собравшись в кружок, рассуждали меж собою: должны ли воротиться или продолжать его преследовать? К счастью Кирши, прошло несколько минут в спорах, и, когда они решились, по-видимому, продолжать свои поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился к тому месту, над которым носилось прозрачное дымное облако.

VI

Кирша, с трудом пробираясь сквозь чащу, дошел наконец до высокого плетня, обрытого глубокою канавою. Не теряя времени, он перелез чрез плетень, за которым дюжины две ульев, без всякого порядка расставленных, окружали небольшую избушку, до половины занесенную снегом. Дым, выходя из слухового окна, крутился над ее соломенною кровлею; а у самых дверей огромная цепная собака, пригретая солнышком, лежала подле своей конуры. Почуя незнакомого, она громко залаяла; Кирша остановился, ожидая, что кто-нибудь выйдет из избы, но никто не появлялся; он, вынув из своей дорожной сумы кусок хлеба, бросил его собаке, и умиловленный цербер, ворча, спрятался в свою конуру. «Бедный Зарез! — сказал Кирша, входя в избу. — Ты так же, бывало, сторожил мой дом, да не так легко было тебя задобрить!» С первого взгляда запорожец уверился, что в избе никого не было; но затопленная печь, покрытый ширинкою стол и початый каравай хлеба, подле которого стоял большой кувшин с брагою, — все доказывало, что хозяин отлучился на короткое время. От печи, вдоль избы, шла перегородка, за которою стояли пустые ульи, кадки и несколько бочонков. Кирша не успел еще порядком осмотреться, как вдруг слышались в близком расстоянии голоса. Не зная, кто подходит, друг или недруг, он спрятался за перегородку и прилег между двух ульев, за которыми нельзя было его никак приметить. Кто-то вошел в избу. Запорожец притаил дыхание и стал внимательно прислушивать.

— Входи смелей, Григорьевна, — сказал грубый голос. — Не бойся: кто приходит ко мне с хлебом да солью, тому порчи бояться нечего.

— Вестимо, батюшка Архип Кудимович, — отвечал женский голос, прерываемый частым кашлем, — вестимо! Ты человек добрый; да дело-то мое непривычное.

— Садись добро, тетка. Да что это у тебя за пазухой?

— Так, кой-что, родимый! Просим покорно принять. Вот в этом кулечке пирог, а это штофик вишневки с боярского погребца.

— Спасибо, Григорьевна, спасибо!

— Кушай на здоровье, кормилец! Это шлет тебе Аграфена Власьевна.

— Нянюшка нашей молодой барышни?

— Да, батюшка! Ей самой некогда перемолвить с тобой словечка, так просила меня... О, ох, родимый! Сокрушила ее дочка боярская, Анастасья Тимофеевна. Бог весть, что с ней поделалось: плачет да горюет — совсем зачахла. Боярину прислали из Москвы какого-то досужего поляка — рудомета, что ль?.. не знаю, — да и тот толку не добьется. И нашептывал, и заморского зелья давал, и мало ли чего другого — все проку нет. Уж не с дурного ли глазу ей такая немочь приключилась? Как ты думаешь, Архип Кудимович?

— Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хворает?

— Власьевна сказывала, что о зимнем Николе, когда боярин ездил с ней в Москву, она была здоровехонька; приехала назад в отчину — стала призадумываться; а как батюшка просватал ее за какого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная.

— Вот что! А не в приметку ли было, что в Москве кто ни есть пристально на ее барышню поглядывал?

— Как же, родимый! Она с Настасьей Тимофеевной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору, и всякий раз какой-то русский молодец глаз с нее не сводил.

— Вот что! А не знает ли она, кто этот детина?

— Нет, батюшка; однажды только Власьевна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем; а по платью и обычью, кажись, он не из простых.

Эти последние слова удвоили любопытство Кириши и принудили его остаться в чулане, из которого он хотел было уже выйти.

— Ну, как ты мекаешь, кормилец! — продолжала Григорьевна. — Болезнь, что ль, у нее какая, или она сохнет...

— С глазу, Григорьевна, с глазу!

— И нянюшка тоже тростит, чему и быть другому! Да ты, батюшка, сам на это дока, и если захочешь пособить...

— Нет, Григорьевна, плохо дело: кто испортил, тому ее и пользоваться надо. Однако я все-таки поговорю сам с Власьевной.

— Поговори, родимый, поговори: ум хорошо, а два лучше. Ну, батюшка, теперь и я тебе челом! Не оставь меня, горемычную! Ведь и у меня есть до тебя просьба.

— Что такое, Григорьевна?

— Вымолвить не смею.

— Говори, не бойсь!

— Я пришла к тебе уму-разуму поучиться, кормилец.

— Как так?

— Ты знаешь: дело мое вдове, ни за мной, ни передо мною — вовсе голая сирота... Подчас перекусить нечего.

— Знаю, знаю.

— Тебя умудрил Господь, Архип Кудимович; ты всю подноготную знаешь: лошадь ли сбежит, корова ли зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли парень жениться, начнет ли молодича выкликать — все к тебе да к тебе с поклоном. Да и сам боярин, нет-нет, а скажет тебе ласковое слово; где б ни пировали, Кудимович тут как тут: как, дескать, не позвать такого знахаря — беду наживешь!..

— Конечно, так, Григорьевна. Да о чем же ты хлопчешь?

— А вот о чем, кормилец: научи ты меня, глупую, твоему досужеству, так и меня чаркою никто не обнесет, и меня не хуже твоего чествовать станут.

— Эх с чем подъехала, старая хреновка! Смотри, пожалуй! Уж не хочешь ли со мной потягаться?

— И, что ты, кормилец! Выше лба уши не растут. Что велишь, то и буду делать.

— Ой ли?

— Видит Господь, Архип Кудимович! Что б со мной ни было, а из твоей воли не выступлю.

— Ну, ну, быть так! Рожая-то у тебя бредет: тебя и так все величают старою ведьмой... Да точно ли ты не выступишь из моей воли?

— В кабалу к тебе пойду, родимый!

— То-то же, смотри! Слушай, Григорьевна, уж так и быть, я бы подался, дело твое сиротское... Да у бабы волос длинен, а ум короток. Ну если ты сболтнешь?..

— Кто? Я, батюшка?.. Да иссуши меня Господь тоньше аржаной соломинки!.. Чтоб мне свету божьего не видеть!.. Издохнуть без исповеди!..

— Добро, добро, не божись!.. Дай подумать... Ну, слушай же, Григорьевна, — продолжал мужской голос после минутного молчания, — сегодня у нас на селе свадьба: дочь нашего волостного дьяка идет за приказчикова сына.

Вот как они поедут к венцу, ты заберись в женихову избу на полати, прижмись к уголку, потупься и нашептывай про себя....

— А что же, кормилец, шептать мне велишь?

— Да что на ум взбредет; и о чем бы тебя ни стали спрашивать — смотри, ни словечка! Бормочи себе под нос да покачивайся из стороны в сторону.

— Слушаю, батюшка!

— Вот как поезд воротится из церкви, я взойду в избу, и лишь только переступлю через порог, ты в тот же миг — уже не пожалей себя для первого раза — швырком с полатей, так и грянься о пол!

— О пол? Ах, мой родимый! Да я этак и косточек не беру!

— Вот еще боярыня какая! А тебе бы, чай, хотелось, лежа на боку, сделаться колдуньей? Ну, если успеешь, подкинь соломки, да смотри, чтоб никому не в примету.

— Слушаю, батюшка, слушаю!

— Что б я ни говорил, кричи только «виновата!», а там уж не твое дело. Третьего дня пропали боярские красна; если тебя будут о них спрашивать, возьми ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня, и как я мотну головою, то отвечай, что они на гумне Федьки Хомяка запрятаны в овине.

— Ах, батюшки-светы! Неужто в самом деле Федька Хомяк?..

— Ононясь он грозился поколотить меня, так пусть теперь разведается с приказчиком.

— Постой-ка! Да ты никак шел оттуда, как я с тобой повстречалась?

— Молчи, старая карга! Ни гу-гу об этом! Слышишь ли? Видом не видала, слыхом не слыхала!

— Слышу, батюшка, слышу!

— Завтра приходи опять сюда: мне кой-что надо с тобой перемолвить, а теперь убирайся проворней. Да смотри: обойди сторонкою, чтоб никто не подметил, что ты была у меня — понимаешь?

— Разумею, кормилец, разумею.

— Ну, то-то же, ступай!

— Прощенья просим, батюшка Архип Кудимович!

— Постой-ка, никак собака лает?.. Так и есть! Кого это нелегкая сюда несет?.. Слушай, Григорьевна, если тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Спрячься скорей в этот чулан, закинь крючок и притаись как мертвая.

Григорьевна вошла за перегородку и, захлопнув дверь, прижалась к улью, за которым лежал Кирша. Через минуту несколько человек, гремя саблями, с шумом вошли в избу.

— Гей, москаль! — закричал один голос. — Нет ли у тебя кого-нибудь здесь?

— Никого, батюшка.

— Ты врешь! У тебя спрятан мошенник, которого мы ищем.

— Видит Бог, нет!

— Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу из тебя душу. Гей, Будила! И ты, Сума, осмотрите чердак, а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой перегородкой?

— Пустые ульи да кой-какая старая посуда.

— Лжешь, москаль! Дверь приперта изнутри: там кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, в плети его, так он заговорит.

— Помилуйте, господа честные! Всю правду скажу: там сидит женщина.

— Женщина! Да на кой же черт ты ее туда запрятал?

— Не погневайся, кормилец; вы люди ратные: дальше от вас — дальше от греха.

— Давай ее сюда, — закричали грубые голоса.

— Да, кстати: вот, кажется, штоф наливки, — сказал тот, который допрашивал хозяина. — Мы его разопьем вместе с этой затворницей. Выходи, красавица, а не то двери вон!.. Эх она приперлась, проклятая!.. Ну-ка, товарищи, разом!

— Стойте, ребята, — сказал кто-то хриповатым голосом. — Штурмовать мое дело; только уговор лучше денег: кто первый ворвется, того и добыча. Посторонитесь!

От сильного натиска могучего плеча пробой вылетел и дверь растворилась настезь.

— Ай да молодец, Нагиба! — закричали поляки. — Ну, выводите, скорее пленных!

— Полно ж упираться, лебедка, выходи! — сказал широкоплечий Нагиба, вытащив на середину избы Григорьевну. — Кой черт! Да это старая колдунья! — закричал он, выпустив ее из рук.

— Твоим бы ртом да мед пить, родимый! — отвечала Григорьевна с низким поклоном.

— Поздравляем, пан Нагиба! — закричали с громким хохотом поляки. — Подцепил красотку!

— Ах ты беззубая! Ну с твоей ли харей прятаться от молодцев? — сказал Нагиба, ударив кулаком Григорьев-

ну. — Вон отсюда, старая чертовка! А ты, рыжая борода, ступай с нами да выпроводи нас на большую дорогу.

— Постой, брат, — сказал другой голос, — все ли мы осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегородкой?

— Видит Бог — нет, кормилец! — отвечал хозяин, по-смаатривая с беспокойством на темный угол чулана, в котором стояли две кадки с медом. — Кроме пустых ульев и старой посуды, там ничего нет.

— И впрямь, — сказал Нагиба, — кой черт велит ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом он может от нас спрятаться? Пойдемте, товарищи. Э! Да слушай ты, хозяин, чай, у тебя денежки водятся?

— Как Бог свят, ни одного пула¹ нет, родимый.

— Ну, ну, полно прижиматься! Отдавай волею, а не то...

— Помилосердуй, кормилец! Вот те Христос, вчера последние деньжонки отнес боярину моему, Тимофею Федоровичу Шалонскому.

— Слушай, москаль, подавай сейчас...

— Что ты, Нагиба, в уме ли! — сказал один из поляков. — Иль забыл, что наказывал пан региментарь? Если этот старик служит боярину Кручине-Шалонскому, так мы и волосом не должны от него поживиться.

— Пан региментарь! Пан региментарь!.. Э, нех его вшищи дьябли!..

— Тс, тише! Что ты орешь, дуралей! — прервал тот же поляк. — Иль ты думаешь, что от твоего лба пуля отскочит? Смотри, ясновельможный шутить не любит. Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай передом да выведи нас на большую дорогу.

Через несколько минут изба опустела, и Кириша мог вздохнуть свободно. Он вышел потихоньку из чулана; шелест шагов едва был слышен вдали; вскоре все утихло. Встревоженная собака снова улеглась спокойно на солнышке и, вертя приветливо хвостом, пропустила мимо себя Киришу, как старого знакомого. Запорожец не сомневался, что тропинка, идущая прямо от пчельника, выведет его в отчину боярина Шалонского, где, по словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему удалось спастись от преследования поляков. Он прошел версты четыре, не встретив никого; но лес редел приметным образом, и вдали целые облака дыма доказывали близость обширного селения. Наконец тропинка привела его к огородам. Пробираясь вдоль плетня, он подошел к небольшой часовне, против которой,

¹ Самая мелкая медная монета. (Примеч. авт.)

сквозь растворенные ворота гумна, виднелся ряд низких, покрытых соломой хижин. Желая скорей добраться до жилья, он решился пройти задами. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится... Она сбылась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идет; первое движение запорожца было спрятаться в овин. Прежде чем Кирша мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не преследует, он очутился на дне овинной ямы и, может быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок, если б не упал на что-то мягкое. Несмотря на темноту, он тот же час узнал ощупью, что под ним лежат несколько кусков тонкой холстины. Тут вспомнил он чудный разговор, который слышал на пчельнике. «Добро ты, поддельный колдун! — подумал Кирша. — Посмотрим, шепнет ли тебе черт на ухо, что боярские красна перешли из овина Федьки Хомяка в другое место?» Эта мысль его развеселила. Он вытащил из ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле часовни, пошел по проложенной между двух огородов узенькой тропинке.

Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась от окружающих ее изб одним крестом и низкой, похожею на голубятню колокольнею. Вся паперть и погост были усыпаны народом; священник в полном облачении стоял у церковных дверей; взоры его, так же, как и всех присутствующих, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Оружие и воинственный вид запорожца обратили на себя общее внимание, и, когда он подошел к церковному погосту, толпа с почтением расступилась, и все передние крестьяне, поглядывая с робостию на Киршу, приподняли торопливо свои шапки, кроме одного плечистого детины, который, взглянув довольно равнодушно на запорожца, оборотился снова в ту сторону, откуда приближалось несколько саней и человек двадцать конных и пеших. Открытый и смелый вид крестьянина понравился Кирше; он подошел к нему и спросил:

— Для чего православные толпятся вокруг церкви?

— Да так-ста, — отвечал крестьянин. — Народ глуп: вишь, везут к венцу дочь волостного дьяка, так и все пришли позевать на молодых. Словно диво какое!

— Она выходит за сына вашего приказчика?

— А почему ты знаешь?

— Слухом земля полнится, товарищ.

— Да ты, верно, здешний?

— Нет, я сейчас пришел в вашу деревню и никого здесь не знаю.

— Ой ли?

— Право, так! А скажи-ка мне: вон там, налево, чьи хоромы?

— Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалонского.

— Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня?

— Бог весть! Мы к боярскому двору близко и не подходим.

— Что так? Разве он человек лихой?

— Не роди мать на свет! Нам и от холопей-то его житья нет.

— Что ты, Федька Хомяк, горланишь! — прервал другой крестьянин с седой осанистой бородою. — Не слушай его, добрый человек: наш боярин — дай Бог ему долгие лета! — господин милостивый, и мы живем за ним припеваючи.

— Да, брат, запоешь, как последнюю овцу поташут на барский двор.

— Замолчишь ли ты, глупая башка! — продолжал седой старик. — Эй, брат, не сносить тебе головы! Не потачь, господин честной, не верь ему: он это так, сдуру говорит.

— Небойсь, дедушка, — сказал Кирша, улыбаясь, — я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть ли у него детки?

— Одна дочка, родимый, Анастасья Тимофеевна — ангел небесный!

— Да, неча сказать, — прибавил первый крестьянин, — вовсе не в батюшку: такая добрая, приветливая; а собой-то — красное солнышко! Ну, всем бы взяла, если б была подороднее, да здоровья-то Бог не дает.

— Глядь-ка, Хомяк! — закричал старик. — Вон едет дьяк с невестою, да еще и в боярских санях. Шашки долой, ребята!

Поезд приближался к церкви. Впереди в светло-голубых кафтанах с белыми ширинками через плечо ехали верхами двое дружек; позади их в небольших санках вез икону малолетний брат невесты, которая вместе с отцом своим ехала в выкрашенных малиновою краскою санях, обитых внутри кармазинною обьярью; под ногами у них подостлана была шкура белого медведя, а конская упряжь украшена множеством лисьих хвостов. Ряд саней со свахами и родственниками жениха и невесты оканчивался толпою пеших и всадников, посреди которых красовался жених на белом

коне, которого сбруя обвешана была разноцветными кистями, а поводья заменялись медными цепями — роскошь, перенятая простолюдинами от знатных бояр, у которых эти цепи бывали не только из серебра, но даже нередко из чистого золота.

Кирша вслед за женихом кое-как продрался в церковь, которая до того была набита народом, что едва оставалось довольно места для совершения брачного обряда. Все шло чин чин, и крестьяне, несмотря на тесноту, наблюдали почтительное молчание; но в ту самую минуту, как молодой, по тогдашнему обычаю, бросил наземь и начал топтать ногами склянку с вином, из которой во время венчания пил попеременно со своей невестой, народ зашумел, и глухой шепот раздался на церковной паперти. «Раздвиньтесь! Посторонитесь, дайте пройти Архипу Кудимовичу!» — повторяли многие голоса. Толпа отхлынула от дверей, и на пороге показался высокого роста крестьянин, с рыжей окладистой бородой. Наружность его не обещала ничего важного; но страх, с которым смотрели на него все окружающие, и имя, произносимое вполголоса почти всеми, тотчас надоумили Киршу, что он видит в сей почтенной особе хозяина пчельника, где жизнь его висела на волоске. Кудимыч остановился в дверях, беглым взглядом окинул внутренность церкви и, заметя в толпе Федьку Хомяка, улыбнулся с таким злобным удовольствием, что Кирша дал себе честное слово — спасти от напраслины невинного крестьянина и вывести на свежую воду подложного колдуна. Меж тем обряд венчания кончился, и молодые отправились тем же порядком в дом приказчика. Кудимыч, по приглашению жениха, присоединился к поезду, а Кирша вмешался в толпу пеших гостей и отправился также пировать у молодых.

На половине дороги крестьянская девушка с испуганным лицом подбежала к саням приказчика и сказала ему что-то потихоньку; он побледнел как смерть, подозвал к себе Кудимыча, и вся процессия остановилась. Они довольно долго говорили меж собой шепотом; наконец Кудимыч сказал громким голосом:

— Пусти, я пойду передом; не бойся ничего: я знаю, что делать!

Весь порядок шествия нарушился: одни вылезли из саней, другие окружили колдуна, и все крестьяне, вместо того чтоб разойтись по домам, пустились вслед за молодыми; а колдун важно выступил вперед и, ободря приказчика, повел за собою всю толпу к дому новобрачных.

VII

Мы оставили Юрия и слугу его, Алексея, в виду целой толпы поляков, которые считали их верной добычей; но они скоро увидели, что ошиблись в расчете. В несколько минут наши путешественники потеряли их из виду. Беспредельные изгибы и повороты дороги, которая часто суживалась до того, что двум конным нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться от преследования густой толпы всадников, которые, стесняясь в узких местах, мешали друг другу и должны были поневоле останавливаться. Проскакав несколько верст, наши путешественники стали придерживать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина, их окружающая, и едва слышный, отдаляющийся конский топот уверили их, что поляки воротились и им нечего опасаться.

— Ну, боярин, — сказал Алексей, — помиловал нас Господь!

— А бедный Кирша?

— И, Юрий Дмитрич! Он детина проворный... Да и как поймать его в таком дремучем лесу?

— Но если он ранен?

— Бог милостив! Он, верно, уцелел!

— Я дорого бы дал, чтоб увериться в этом. Ну, Алексей, не совестно ли тебе? Ты подозревал Киршу в измене...

— Каюсь, боярин, грешил на него; да и теперь думаю.

— Что такое?

— Что он не запорожец.

— Везде есть добрые люди, Алексей.

— Да ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми.

— Конечно, я знаю многих, на которых хотел бы походить.

— И так же, как они, гнаться за проезжими, чтоб их ограбить?

— Шайка русских разбойников или толпа польской лагерной челяди ничего не доказывают. Нет, Алексей: я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время, вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков славян; быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейших поколения древних владык всего севера сольются в один великий и непобедимый народ!

— Не погневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни

словечка не понимаю. Но, воля твоя, что будет вперед, то Бог весть; а теперь куда бы хорошо, если б эти незваные гости убралась восвояси. Покойный твой батюшка — дай Бог ему царство небесное! — не так изволил думать. Ты после смерти боярыни нашей, а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу; а он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя, единокровного своего сына, в ранней могиле, чем слугою короля польского или мужем неверной полячки!

— Мужем!.. — повторил вполголоса Юрий, и глубокая печаль изобразилась на лице его. — Нет, добрый Алексей! Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла мне по сердцу: так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться.

— И, боярин, боярин! Не одна звезда на небе светит, не одна красная девица на святой Руси. Ты все еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую видал в Москве у Спаса на Бору?.. Вольно ж тебе было не проведать, кто она такова; откладывал да откладывал, а она вдруг сгинула да пропала. И то сказать, неужели от этого зачакнуть с тоски такому молодцу, как ты, боярин? Клихни только клич, что хочешь жениться, так не оберешься невест, а может быть... почему знать? Суженого конем не объедешь... и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу...

— Обвенчанную с другим!.. Нет, лучше век ее не видеть, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо, которым она поменялась не со мною!

— Что Бог велит, то и будет. Но теперь, боярин, дело идет не о том: по какой дороге нам ехать? Вот их две: направо в лес, налево из лесу... Да, кстати, вон едет мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя! По которой дороге выедем мы в отчину боярина Кручины-Шалонского?

При этом грозном имени крестьянин снял шапку, поклонился в пояс проезжим и молча показал налево. Чрез полчаса наши путешественники выехали из лесу, и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу небольшой речки, представился их взорам. Широкая поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостный палисад. Вокруг господского двора разбросаны были жилые избы дворовых людей, конюшня, псарня и огромный скотный двор. Все эти строения, с их пристройками, клетями и загородками, занимали столь большое пространство, что

с первого взгляда их можно было почесть вторым селом, не менее первого. Переехав через мост, утвержденный на толстых сваях, путешественники поднялись в гору и въехали на обширный боярский двор. Лицевая сторона главного здания занимала в длину более пятнадцати сажень, но высота дома нимало не соответствовала длине его. Небольшие четверугольные окна с красными рамами и разноцветными ставнями разделились широкими простенками. С левой стороны дом оканчивался крыльцом с огромным навесом, поддерживаемым деревянными столбами, которым дана была форма нынешних точеных баяс, употребляемых иногда для украшения наружности домов. С правой стороны дом примыкал к двухэтажному терему, которого окна были почти вдвое более окон остальной части дома. По обеим сторонам забора выстроены были длинные застольни, приспешная и погребка с высокой голубятнею, а посреди двора стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим читателям, что гордый боярин Кручина славился своей роскошью и что его давно уже упрекали в подражании иноземцам и в явном презрении к простым обычаям предков; а посему описание его дома не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр. Их дома не удивляли огромностью и великолепием: большая комната, называемая светлицею, отделялась от черной избы просторными и теплыми сенями, в которых жилали горничные, получившие от сего название *сенных девишек*. Иногда узкая и крутая лестница вела из сеней в терем; кругом дома строились погреба, конюшни, клетки и бани. Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр и дворян того времени, которые крепко держались старинной русской пословицы: не красна изба углами, а красна пирогами.

Проезжая двором, Юрий заметил большие приготовления: слуги бегали взад и вперед; в приспешной пылал яркий огонь; несколько поваров суетилось вокруг убитого быка; все доказывало, что боярин Кручина ожидает к себе гостей. Те из челядинцев, с которыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смотрели на него с удивлением: измятый и поношенный охабень, коим с ног до головы он был окутан, некрасивая одежда Алексея — одним словом, ничто не оправдывало дерзости незнакомого гостя, который, вопреки обычаю простолюдинов, не сошел с лошади у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина. Отдав своего коня Алексею, Юрий взшел по отлогой лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг

стен, на широких скамьях сидело человек двадцать холопей, одетых в цветные кафтаны; развешанные в порядке панцыри, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственным украшением голых стен сего покоя. Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым голосом Юрия: кого ему надобно?

— Боярина Тимофея Федоровича, — отвечал Юрий.

— А от кого ты прислан?

Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены — покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа; никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной, по тогдашнему времени, живописи. Почти все представляли поляков, а один — короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венец Мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке: «Сигизмунд король польский и царь русский». Не помышляя о последствиях первого необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились и человек лет тридцати, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из *знакомцев* боярина¹, он спросил: какую надобность имеет приезжий до хозяина?

— Я должен сам говорить с Тимофеем Федоровичем, — отвечал Юрий.

— Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.

— Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского.

— От пана Гонсевского? А, это другое дело! Милости просим! Я тотчас доложу боярину. Дозволь только спро-

¹ Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные дворяне: они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу. (Примеч. авт.)

силь: при тебе, что ль, получили известие в Москве о славной победе короля польского?

— О какой победе?

— Так ты не знаешь? Смоленск взят.

— Возможно ли?

— Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом...

— И, верно, не был награжден как следует за такую услугу? — сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование.

— О нет! Он теперь в большой милости у короля польского.

— Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника.

— Что ты! Какой он изменник? Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя и все сгибли до единого. Туда им и дорога!.. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.

— Верные смоляне! — сказал Юрий, оставшись один. — Для чего я не мог погибнуть вместе с вами! Вы положили головы за вашу родину, а я... я клялся в верности тому, чей отец, как лютей враг, разоряет землю русскую!

Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика; несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая престранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался бы, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили в застольную. Вслед за сим *потешным* зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскою позолоченной кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, нео-

бузданных страстей; редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия заплыть бешенством, — все это вместе составляло наружность вовсе не привлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану придавали ему вид богатого польского пана; но в то же время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклонясь вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского.

— Давно ли ты из Москвы? — спросил боярин, развертывая письмо.

— Осьмой день, Тимофей Федорович.

— Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому...

— Я служу одному царю русскому, Владиславу, — прервал хладнокровно Юрий.

— В самом деле! Да кто же ты таков, верный слуга царя Владислава? — спросил насмешливо Кручина.

— Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.

— Димитрия Милославского!.. Закоснелого ненавистника поляков?.. И ты сын его?.. Но все равно!.. Садись, Юрий Дмитрич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.

— Я из дружбы к нему взялся отвезти к тебе эту грамоту.

— Сын боярина Милославского величает польского королевича царем русским... зовет Гонсевского своим другом... диковинка! Так поэтому и твой отец за ум хватился?

— Его уж нет давно на свете.

— Вот что!.. Не осуди, Юрий Дмитрич: я прочту, о чем ко мне пан Гонсевский в своем листу пишет.

Юрий заметил, что боярин, читая письмо, становился час от часу пасмурнее: досада и нетерпение изображались на лице его.

— Нет, — сказал он, дочитав письмо, — с ними добром не разделаешься! По мне бы с корнем вон! Я бы вспахал и засеял место, на котором стоит этот разбойничий городишко!.. Вот что в своем листу пишет ко мне Гонсевский, — продолжал он, обращаясь к Юрию, — до него дошел слух, что неугомонные нижегородцы набирают ис-

подтишка войско, так он желает, чтоб я отправил тебя в Нижний поразведать, что там делается, и, если можно, преклонить главных зачинщиков к покорности, обещая им милость королевскую. Он, дескать, сын боярина московского, который славился своею ненавистью к полякам, так пример его может вразумить этих малоумных: когда-де сын Димитрия Милославского целовал крест королевичу польскому, так уж, видно, так и быть должно.

— Я с радостью готов исполнить поручение Гонсевского, — отвечал Юрий, — ибо уверен в душе моей, что избрание Владислава спасет от конечной гибели наше отечество.

— Да, да, — прервал боярин, — мирвольте этим бунтовщикам! Уговаривайте их! Дождетесь того, что все низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их унять. Нет, господа москвичи! Не словом ласковым усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевский прислал сюда пана Тишкевича с regimentом; но этим их не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем бревна на бревне, камня на камне!

— Невесело, боярин, правой рукой отсекай себе левую; нерадостно русскому восставать противу русского. Мало ли и так пролито крови христианской! Не одна тысяча православных легла под Москвою! И не противны ли Господу Богу молитвы тех, коих руки облиты кровию братьев?

Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия и с насмешливой улыбкою спросил его: на котором году желает он сделаться схимником и ради чего вместо четок прицепил саблю к своему поясу?

— Что я умею владеть саблею, боярин, — сказал Юрий, — это знают враги России; а удостоюсь ли быть схимником, про то ведает один Господь.

— Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского, — продолжал боярин, — что нижегородцы будут к тебе так же милосерды и побоятся умертвить тебя, как предателя и слугу короля польского?

— И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского.

— Ого, молодчик!.. Да ты что-то крупно поговариваешь! — сказал Кручина, нахмутив свои густые брови.

— Да, боярин, — продолжал Юрий, — я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.

— Но Сигизмунд разве не отец его?

— Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские.

— Полегче, молодец, полегче! За всех не ручайся. Ты еще молоденок, не тебе учить стариков; мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу: я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истоме-Туренину. Он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу; а там... что Бог даст! От сына до отца недалеко...

— Нет, боярин, пока русские не переродились...

— Добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела... Итак, не взыщи... Прощай покамест! Не с ума ли сошел Гонсевский! — продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия. — Прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве! Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел! Добро, молодец! Ты поедешь в Нижний, и что б у тебя на уме ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудке, или...

Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: приехал ли из города его стремянный Омляш?

— Сейчас слез с лошади, государь, — отвечал служитель.

— Скажи, чтоб он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был бы готов к отъезду. Ступай!.. Да позови ко мне Власьевну.

Через несколько минут вошла в покой старушка лет шестидесяти, в шелковом шушуне и малиновой, обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина.

— Ну что, Власьевна, — спросил боярин, — порадует ли ты меня? Какова Настенька?

— Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ничего не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем — сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое дитятко, что ты, моя радость? Что с тобою делается?..» — «Больна, мамушка!» — вот и весь ответ; а что болит, Бог весть!

Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского; она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла ли больная снадобья, которые оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву?

— Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! — отвечала старушка, покачав головою. — С этих-то снадобьев никак ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье Тимофеевне попритчилось недаром. Нет, отец мой, неспроста она хворать изволит.

— Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?

— Испорчена, батюшка, видит Бог, испорчена!

— Я плохо этому верю; ну да если ничто не помогает, так делать нечего: поговори с Кудимычем.

— Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе у приказчика Фомы пирует с молодыми.

— Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы у меня чего хочет; но если ей сделает хуже, то, даром что он колдун, не отворожится... Запорю батогами!.. Ну, ступай, — продолжал боярин, вставая. — Через час, а может быть, и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную.

Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов.

— Вот здесь, — сказал он, — отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется.

— Благодарю, — отвечал Юрий, — я не голоден, а желал бы отдохнуть.

— Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня прибыл сюда с своим regimentом. Доброго сна, Юрий Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней.

Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами — вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если б этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду, и, как будто бы с робостью, оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце; все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастье отечества — все, что наполняло восторгом его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение отечества во всей ужасной истине своей представлялись его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши, кровь волновалась в его жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства Русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом; что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к Грановитой палате; что на высоком царском тереме развеивается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отвращает свои взоры... и вот перед ним древний храм Спаса на Бору; церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу?... Она! Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый! Поспешим... Священник готов; он ждет нас у наоя; пойдем!» С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку... И вот уже они стоят рядом... Им подаются брачные свечи... Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым

хотом окружает невесту; Юрий ищет своей сабли — ее нет; хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на холодный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто б пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса... Кругом толпится народ... Радость на всех лицах... Тихое, очаровательное пение раздается в храмах господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце... Она опять возле него; на правой руке ее обручальный перстень... Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой! Посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, скоро заблестает в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе...» Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слышит вопли отчаяния... Она опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»

VIII

Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попеременно то терзают, то улаждают его душу, мы должны возвратиться к новобрачным, которых оставили посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая молодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дети выбегали из хижин; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребятишки, дрожа от страха и холода, забегали вперед и робко посматривали на колдуна, который, приближаясь к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. Не дойдя несколько шагов до ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборотясь назад, закричал диким голосом:

— Стойте, ребята! Никто ни с места!

Глухой шепот пробежал по толпе; передние стали пятиться назад, задние полезли вперед, следуя народной по-

словице: «на людях и смерть красна», каждый прижимался к своему соседу, и, несмотря на ужасную тесноту, один Кирша вышел вперед.

Меж тем Кудимыч делал необычайные усилия, чтоб подойти к воротам; казалось, какая-то невидимая сила тянула его назад, и каждый раз, как он подымал ногу, чтоб перешагнуть через подворотню, его отбрасывало на несколько шагов; пот градом катился с его лица. Наконец после многих тщетных усилий он, задыхаясь, повалился на землю и прохрипел едва внятным голосом:

— Ох, неловко!.. Неладно, ребята!.. Чур меня, чур!.. Никто не мог трогаться с места!.. Ох, батюшки, недаровое! Быть беде!..

От этих ужасных слов шарахнулась вся толпа; у многих волосы стали дыбом, а молодая почти без чувств упала на руки к своему отцу, который трясся и дрожал, как в злой лихорадке.

— Что нам делать? — спросил дьяк, заикаясь от страха.

— погоди! Дай попытаюсь еще, — отвечал Кудимыч, приподнимаясь с трудом на ноги. Он пробормотал несколько невнятных слов, дунул на все четыре стороны и вдруг с разбега перепрыгнул через подворотню.

— Ну, теперь не бойтесь ничего! — закричал он. — Наша взяла! Все за мной!

Он несколько раз должен был повторить это приглашение, прежде чем молодые, родня и гости решились за ним следовать; наконец пример Кирши, который по первому призыву вошел на двор, подействовал над всеми. Кудимыч, подойдя к дверям избы, остановился, и когда сени наполнились людьми, то он, оборотясь назад, сказал:

— Я войду последний, а вы ступайте вперед и посмотрите, как разделаюсь при вас с этой старой ведьмой.

Тут снова начались церемонии: приказчик предлагал дьяку идти вперед, дьяк уступал эту честь приказчику.

— Помилуй, батюшка, — сказал наконец последний, — я здесь хозяин в дому, а ты гость: так милости просим.

— Ни, ни, Фома Кондратьич! — отвечал дьяк. — Ты первый служебник боярский, и непригоже мне, как фальшеру и прокурату, не отдавать подобающей тебе чести.

— Ну, если так, пожалуй, я войду, — сказал приказчик, в котором утешенное самолюбие победило на минуту весь страх. Он перекрестился, шагнул через порог и вдруг, отскока с ужасом, закричал: — Чур меня, чур! Там кто-то нашептывает... Иди кто хочет, я ни за что не пойду...

— Пустите меня, — сказал Кирша, — я не робкого десятка и никакой колдуньи не испугаюсь.

— Ступай, молодец, ступай! — закричали многие из гостей.

— Пускай идет, — шепнул приказчик дяку. — Над ним бы и тряслось! Это какой-то прохожий, так не велика беда!

Кирша вошел и расположился преспокойно в переднем углу. Когда же приказчик, а за ним молодые и вся свадебная компания перебрались понемногу в избу, то взоры обратились на уродливую старуху, которая, сидя на полатах, покачивалась из стороны в сторону и шептала какие-то варварские слова. Кирша заметил на полу, под самыми полатами, несколько снопов соломы, как будто без намерения брошенных, которые тотчас напомнили ему, чем должна кончиться вся комедия.

— Ну, теперь садитесь все по лавкам, — закричал из сеней Кудимыч, — да сидите смирно! никто не шевелиться!

Едва приказ был исполнен, как он с одного скачка очутился посреди избы, и в то же время старуха с диким воплем стремглав слетела с полатей и растянулась на соломе.

Все присутствующие, выключая Киршу, вскрикнули от удивления и ужаса.

— Что, Григорьевна, будешь ли напредки со мною схватываться? — сказал торжественно Кудимыч.

— Виновата, виновата! — завизжала старуха.

— Ага, покорилась, старая ведьма!

— Виновата, отец мой! Виновата!

— То-то, виновата! Знай сверчок свой шесток.

— Виновата, Архип Кудимович!

— Ну, так и быть! Повинную голову и меч не сечет; я ж человек незлой и лиха не помню. Добро, вставай, Григорьевна! Мир так мир. Дай-ка ей чарку вина, посади ее за стол да угости хорошенько, — продолжал Кудимыч вполголоса, обращаясь к приказчику. — Не надо с ней ссориться: неровен час, меня не случится... Да что грех таить! И я насилу с ней справился: сильна, проклятая!

— Милости просим, матушка, Пелагея Григорьевна! — сказал приветливо хозяин. — Садись-ка вот здесь, возле Кудимыча. Да скажи, пожалуйста: за что такая немилость? Мы, кажись, всегда в ладу живали.

— Нет, батюшка! — отвечала с низким поклоном старуха. — Против тебя у меня никакого умысла не было; а, правду сказать, хотелось потягаться с Архипом Кудимовичем.

— Да, видно, не под силу пришел! — прервал, усмехаясь, колдун. — Вперед наука: не спросясь броду, не суйся в воду. Ну, да что об этом толковать! Кто старое помянет, тому глаз вон! Теперь речь не о том: пора за хозяйский хлеб и соль приниматься.

В одну минуту весь стол покрылся разными похлебками. Сначала все ели молча; но дружки так усердно потчевали гостей вином и брагою, что вскоре все языки пришли в движение и общий разговор становился час от часу шумнее. Один Кирша молчал; многим из гостей и самому хозяину казалось весьма чудным поведение незнакомца, который, не будучи приглашен на свадьбу, занял первое место, ел за двоих и не говорил ни с кем ни слова; но самое это равнодушие, воинственный вид, а более всего смелость, им оказанная, внушали к нему во всех присутствующих какое-то невольное уважение; все посматривали на него с любопытством, но никто не решался с ним заговорить.

В числе гостей была одна пожилая сенная девушка, которая, пошептав с хозяином, обратилась к Кудимычу и спросила его: не может ли он пособить ее горю?

— Неравно горе, матушка Татьяна Ивановна! — отвечал Кудимыч, которого несколько чарок вина развеселило порядком. — Если ты попросишь, чтоб я убавил тебе годов пятак, так воля твоя — не могу.

— Вот еще что вздумал! — сказала сенная девушка с досадою. — Разве я перестарок какой! Не о том речь, Кудимыч; на боярском дворе сделалась пропажа.

— Уж не коня ли свели?

— Нет, красна пропали. Вчера я сама их видела: они белились на боярском огороде, а сегодня сгнули да пропали. Ночью была погода, так и следу не осталось: не знаем, на кого подумать.

— Что, видно, без меня дело не обойдется?

— То-то и есть, Архип Кудимович: выкупи из беды, родимый! Ведь я за них в ответе.

— Пожалуй, я не прочь!.. Иль нет: пускай на мировой вся честь Григорьевне. Ну-ка, родная, покажи свою удаль!

— Смею ли я при тебе, Архип Кудимович! — отвечала смиренно Григорьевна.

— Полно ломаться-то, голубушка! Я уж поработал, теперь очередь за тобою.

— Ну, если ты велишь, родимый, так делать нечего. Подайте мне ковш воды.

При самом начале этого разговора глубокая тишина распространилась по всей избе: говоруны замолкли, дружки унялись потчевать, голодные перестали есть; один Кирша, не обращая ни малейшего внимания на колдуна и колдунью, ел и пил по-прежнему. Григорьевне подали ковшик с водой. Пошептав над ним несколько минут, она начала пристально смотреть на поверхность воды.

— Ах, батюшки-светы! — сказала она наконец, покачив головою. — Кто бы мог подумать!.. Мужик богатый, семейный, а пустился на такое дело!..

— Кого ж ты видишь? — спросил с нетерпением приказчик. — Говори!

— Нет, батюшка, не могу: жаль вымолвить. На вот, смотри сам.

— Я ничего не вижу, — сказал приказчик, посмотрев на воду.

— А видишь ли ты, где боярские красна? — спросила сенная девушка.

— Вижу, — отвечала Григорьевна, — они в овине, на гумне у Федыки Хомяка.

— Так это он? — вскричал приказчик. — Тем лучше! Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу этого буйана; сущий разбойник, и перед моим писарем шапки не ломает!.. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на гумно к Хомяку!

Один из дружек вышел поспешно из избы.

— Ну, Григорьевна! Я не ожидал от тебя такой прыти, — сказал Кудимыч, — хоть бы мне, так впору. Точно, точно! — прибавил он, посмотрев в ковш с водою. — Красна украл Федыка Хомяк, и они теперь у него запрятаны в овине.

— Вы лжете оба! — закричал громовым голосом Кирша. Кудимыч вздрогнул, Григорьевна побледнела, и все взоры обратились на запорожца. — Я вас выучу колдовать, негодные! — продолжал Кирша. — Вы говорите, что красна в овине у Федыки Хомяка?

— Ну да, — сказал Кудимыч, оправясь от первого замешательства. — Что ты, лучше моего, что ль, это знаешь?

— Видно, лучше. Их там нет.

— Как нет? — вскричала Григорьевна.

— Да, голубушка! — отвечал спокойно Кирша. — Не за свое ремесло ты принялася, да и за выучку больно дешево платишь. Нет, тетка, одним штофом наливки и пирогом не отделаешься.

От этих неожиданных слов Кудимыч и Григорьевна едва усидели на лавке; их страх удвоился, когда вошед-

ший дружка объявил, что не нашел красен в показанном месте.

— Да где ж они? — спросила торопливо сенная девушка.

— Небойсь найдутся, — сказал Кирша, — Пошлите кого-нибудь разрыть снег на задах, подле самой часовни.

Несколько гостей, не ожидая приказания, побежали вон из избы.

— Послушай, господин приказчик, — продолжал Кирша, — не грехи на Федьку Хомяка: он ни в чем не виноват. Не правда ли, Кудимыч?.. Ну, что ты молчишь? Ты знаешь, что не он украл красна.

Несчастный колдун сидел неподвижно, как истукан, поглядывал с ужасом на Киршу и не мог выговорить ни слова.

— Эге, брат! Так ты вздумал отмалчиваться? — закричал запорожец. — Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу! Подайте-ка мне решето да кочан капусты; у меня и сам вор заговорит!

Кудимыч затрясся как осиновый лист.

— Помилуй! — прошептал он трепещущим голосом. — Твой верх — покоряюсь!

— Что, брат, жутко пришло!

— Не губи меня, окаянного!

— А ты разве не хотел погубить Федьку Хомяка? Нет, нет... Давайте решето!

— Пусти душу на покаяние! — продолжал Кудимыч, повалясь в ноги запорожцу. — Не зарежь без ножа! Да кланяйся, дура! — шепнул он Григорьевие, которая также упала на колена перед Киршею.

— И слушать не хочу! — отвечал запорожец. — Нет вам милости, негодные! Ну, что ж стали? Подавайте кочан капусты!

— Помилуй! — завопил Кудимыч. — Зарок тебе даю, родимый, — век не стану колдовать.

— Полно, не будешь ли?

— Видит Бог, не буду!

— И других не станешь учить?

— Не стану, батюшка!

— Ну, так и быть! Пусть на свадьбе никто не горюет. Бог тебя простит, только вперед не за свое дело не берись и знай, хоть меня здесь и не будет, а если я проведу, что ты опять ворожишь, то у тебя тот же час язык отыметя.

В продолжение этой странной сцены удивление присутствующих дошло до высочайшей степени: они видели

ужас Кудимыча, но никто не понимал настоящей его причины.

— Что это значит? — спросил наконец дьяк приказчика.

— Как что! Разве не видишь, что дока на доку нашел.

— Вот что! Ну, Фома Кондратьич! Мудрен этот прохожий. Смотри-ка, смотри! Вон и холст несут.

Сенная девушка с радостным криком схватила холст, который внесли в избу.

— Слава тебе, Господи! — сказала она, осмотрев все куски. — Целехонек!.. Побегу к Власьевне и обрадую ее; а то мы не знали, как и доложить об этом боярину.

— Чего ж вы дожидаетесь? — спросил Кирша Кудимыча и Григорьевну. — Я вас простил, так убирайтесь вон! Чтоб и духу вашего здесь не пахло!

Пристыженный колдун, не отвечая ни слова, вышел вон из избы; но Григорьевна, наклонясь к Кирше, сказала вполголоса:

— Не погневайся, отец мой! Я вижу, Кудимыч плохой знахарь: вот если б твоя милость взял меня на выучку...

— Молчи, старая дура! — закричал Кирша. — Пошла вон! А не то у меня опять полетишь с полатей, да только солому-то я велю прибрать.

Григорьевна, не смея продолжать разговора с грозным незнакомцем, отвесила низкий поклон всей компании и побрела вслед за Кудимычем.

— А позволь спросить твою милость, имени и отчества не знаю, — сказал приказчик запорожцу, — откуда изволишь идти и куда?

— Издалека, добрый человек; а иду туда, куда Бог приведет.

— По всему видно, что ты путем пошатался на белом свете.

— Да, и так пошатался, что пора бы на покой.

— А что, господин честной, верно, ты за морем набрался такой премудрости?

— Бывал и за морем; всего натерпелся и у басурманов был в полону.

— Ой ли! Где же это? Чай, далеко отсюда?

— Далеконько... за Хвалынским морем.

— Что это, за Казанью, что ль?

— Нет, подальше: за Астраханью.

— Что, ваша милость, какова там земля? Неужли-то Господь Бог также благодать свою посылает и на этот поганый народ, как и на нас, православных?

— Видно, что так. Знатная земля! Всего довольно: и серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого съестного. Зимой только Бог их обидел.

— Как так? Да неужели у них вовсе зимы нет?

— Ни снегу нейдет, ни вода не мерзнет.

— Ах, батюшки-светы! — вскричал приказчик, всплеснув руками. — Экая диковинка! Совсе нет зимы! Подлинно Божье наказание! Да поделом им, басурманам!

— Эх, Фома Кондратьич! — шепнул дьяк приказчику. — Да разве не видишь, что он издевается над нами!

— Порасскажи-ка нам, добрый человек, — сказал один из гостей, — что там еще диковинного есть?

— Пожалуй, да вот если б здесь нашлась чарка-другая романеи, так веселей бы рассказывать.

— Для дорогого гостя как не найти, — сказал приказчик. — Эй, Марфа! Вынь-ка там из поставца, с верхней полки, склянку с романею. Да смотри, — прибавил он потихоньку, — подай ту, что стоит направо: она уж почата.

Романею подали; гости придвинулись поближе к заповождцу, который, выпив за здоровье молодых, принялся рассказывать всякую всячину: о басурманской вере персиян, об Араратской горе, о степях непроходимых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и верблюдах; мешал правду с небылицами и до того занял хозяина и гостей своими рассказами, что никто не заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работницею Марфою, подошел к Кирише и, поклонясь ему ласково, объявил, что его требуют на боярский двор.

IX

Мы попросим теперь читателей последовать за нами во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи Тимофеевны. Занимаемая ею половина состояла из двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен первой, на широких лавках, сидели за пряжею дворовые девушки; глубокая тишина, наблюдаемая в этом покое, прерывалась только изредка тихим шепотом двух соседок или стуком веретена, падающего на пол. Вторая комната была вся обита красным сукном; в правом углу стоял раззолоченный киот с иконами, в богатых серебряных окладах; несколько огромных, обитых жостью сундуков, с приданным и нарядами боярышни, занимали всю левую сторону покоя; в одном простенке висело четырехугольное зеркало в

узорчатых рамках и шитое золотом и шелками полотенце. Прямо против дверей стояла высокая кровать с штофным пологом; кругом ее, на небольших скамейках, сидели Власьевна и несколько ближних сенных девушек; одни перенизывали дорогие монисты¹ из крупных бурмитских зерен, другие разноцветными шелками и золотом вышивали в пяльцах. На их румяных лицах цвела молодость, красота и здоровье; но веселость не оживляла ясных очей их. Утирая украдкой слезы, они посматривали печально на молодую госпожу свою, которая, облокотясь правой рукой на изголовье, была погружена в глубокую задумчивость. Краса садов, пышная роза, и увядая, прекраснее свежих полевых цветов: так точно, несмотря на изнурительную болезнь, дочь боярская казалась прекраснее всех ее окружающих девиц. Изредка грустная улыбка, напоминающая прелестное сравнение одного русского стихотворца:

Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам... —

появлялась на розовых устах ее. Восточный жемчуг, которым украшены были ее блестящие зарукавья и белое как снег покрывало, не превосходили белизною ее бледного лица, на котором ясно изображались следы непрерывных душевных страданий. Казалось, в ее потухших, неподвижных взорах можно было сосчитать все ночи, проведенные без сна в терзаниях мучительной тоски, понятной только для тех, которые, подобно ей, страдали, не разделяя ни с кем своей горести. Богатый парчовый опашень², небрежно накинутый сверх легкой объяринной ферязи³, широкая золотая лента с жемчужной подвязью, большие изумрудные серьги, драгоценные зарукавья, одним словом, весь пышный наряд ее представлял разительную противоположность с видом глубокого уныния, которое изображалось во всех чертах лица ее.

— Ну, что ж ты молчишь, Терентьич? — сказала Власьевна, оборотясь к дверям, подле которых стоял слепой старик в поношенном синем кафтане. — Видишь, боярышня призадумалась; начни другую сказку, да, смотри, повеселее.

— Слушаю, матушка Аграфена Власьевна, — отвечал слепой с низким поклоном. — Да, кажись, и та, что я рассказывал...

¹ Ожерелья. (Примеч. авт.)

² Женское верхнее платье с длинными, висячими до земли рукавами и большим капюшоном. (Примеч. авт.)

³ Женская ферязь — платье почти одинакового покроя с нынешними сарафанами. (Примеч. авт.)

— И полно, батюшка, что в ней хорошего! «Царевна полюбила доброго молодца, злые люди их разлучили... а там Змей Горыныч унес ее за тридевять земель в тридесятое государство, и она, бедная сиротинка, без милого дружка и без кровных, зачахла с тоски-кручины...» Ну, что тут веселого?

— Из сказки слова не выкинешь, матушка Аграфена Власьевна.

— Вот то-то и есть: расскажи другую.

— В угоду ли вам будет повесть о славном князе Владимире, Киевском Солнышке, Святославиче, и о сильном его, могучем богатыре Добрыне Никитиче?

— Ну, ну, рассказывай! Мы послушаем.

Слепой рассказчик разгладил свою бороду, выправил усы и начал:

— «Не вихри, не ветры в полях поднимаются, не буйные крутят пыль черную: выезжает то сильный, могучий богатырь Добрыня Никитич на своем коне богатырском, с одним Торопом слугой; на нем доспехи ратные как солнышко горят; на серебряной цепи висит меч-кладенец в полтора пуда; во правой руке копьё булатное, на коне сбруа красна золота. Он подъезжает ко святому граду Киеву... глядит: в заповедных лугах княженетских раскинуты шатры басурманские, несметно войско облегает стены киевские. Завидя силу поганую, могучий Добрыня вскрикивает богатырским голосом, засвистывает молодецким посвистом. От того ли посвисту сыр-бор преклоняется и лист с деревьев осыпается; он бьет коня по крутым ребрам; богатырский конь разъяряется, мечет из-под копыт по сеной копне; бежит в поля, земля дрожит, изо рта пламя пышет, из ноздрей дым столбом. Богатырь гонит силу поганую: где конем вернет — там улица, где копьём махнет — с переулками, где мечом рубнет — нету тысячи...»

— Довольно; будет, Терентьич, — прервала тихим голосом прекрасная Анастасья. — Ты уж устал. Мамушка, вели дать ему чарку водки.

— Да выслушай, родная, — сказала Власьевна. — Может статья, он и поразвеселит тебя.

— Нет, мамушка, меня ничто не развеселит.

— Ну, власть твоя, сударыня! Ступай, Терентьич. Эй вы, красные девицы! Сведите его вниз; ведь он, пожалуй, сослепу-то расшибется. Ну, матушка Анастасья Тимофеевна, — продолжала она, — уж я, право, и не придумаю, что с тобою делать! Не позвать ли Афоньку-дурака?

— Ах, нет, не надобно.

— Сем кликнем, родная! Да позовем дуру Матрешку; они поболтают, побранятся меж собой; а чтоб распотешить тебя, так, пожалуй, и подерутся, матушка.

— Зачем ты меня сегодня нарядила, мамушка? — сказала со вздохом Анастасья. — Мне и без нарядов так тяжело... так тошно!..

— И, светик мой! Да как же тебе сегодня не быть нарядною? Авось Бог поможет нам вниз сойти. Ведь у батюшки твоего сегодня пир горой: какой-то большой польский пан будет.

— Какой пан?.. Откуда? — вскричала Анастасья.

— Чего ж ты испугалась, родимая? Ну, так и есть! Ты, верно, подумала?.. Вот то-то и беда! Пан, да не тот.

— Слава Богу!

— Ох вы девушки, девушки! Все-то вы на одну статью! Не он, так слава Богу! А если б он, так и нарядов бы у нас недостало! Нет, матушка, сегодня будет какой-то пан Тишкевич; а от жениха твоего, пана Гонсевского, прислан из Москвы гонец. Уж не сюда ли он собирается, чтоб обвенчаться с тобою? Нечего сказать: пора бы честным пирком да за свадебку... Что ты, что ты, родная? Христос с тобой! Что с тобой сделалось? На тебе вовсе лица нет!

— Ничего, мамушка, пройдет!.. Все пройдет!.. — прошептала Анастасья едва слышным голосом. — Только, Бога ради, не говори мне о пане Гонсевском!..

— Не говорить о твоём суженом? Ох, дитятко, нехорошо! Я уж давно замечаю, что ты этого не жалуешь... Неужли-то в самом деле?.. Да нет! Где слыхано идти против отцовой воли; да и девичье ли дело браковать женихов! Нет, родимая, у нас благодаря Бога не так, как за морем: невесты сами женихов не выбирают: за кого благословят родители, за того и ступай. Поживешь, боярышня, замужем, так самой слюбится.

— Нет, мамушка! Не жилища я на этом свете.

— И, полно, матушка! Теперь-то и пожить! Жених твой знатного рода, в славе и чести; не нашей веры — так что ж? Прежний патриарх Гермоген не хотел вас благословить; но зато теперешний, святейший Игнатий, и грамоту написал к твоему батюшке, что он разрешает тебе идти с ним под венец. Так о чем же тебе грустить?

— А разве ты знаешь, что он пришел мне по сердцу?.. Что я люблю его?

— И, что ты, родимая! Как не любить! Мало ли он дарил тебя и жемчугом, и золотом, и дорогими парчами, и меня старуху вспомнил. Легко ль, подумаешь! Отсыпал

мне, голубчик, пятьдесят золотых кораблеников да на три телогреи заморского штофа подарил. И этакой суженый тебе не люб! Эх, матушка Анастасья Тимофеевна! Не гневи Господа Бога! И что в нем охайть можно? Собою молодец: такой дородный, осанистый! Ну, право, сродясь лучше не видала; разве только... и то навряд — вот тот молодой барин, что к Спасу на Бору к обедне ходил — помнишь?... Такой еще богомольный; всегда, бывало, придет прежде нас и станет у левого клироса... Что, боярышня, повеселей стала! То-то же! Слушайся нас, старух! Самой будет радостно, как на твоего муженька станут все засматриваться... Ну вот, опять нахмурилась! О, ох, родимая! Обошел тебя дурной человек!.. Да вот посмотрим, что-то Бог даст сегодня!

— Анюта, — сказала Анастасья одной молодой и прекрасной девушке, которая ближе всех к ней сидела, — спой эту песню... ты знаешь... ту, что я так люблю.

Анюта, не переставая вышивать в пальцах, запела тихим, но весьма приятным голосом:

Не сиди, мой друг, поздно вечером,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди меня до полуночи!

Ах, прошли, прошли
Наши красны дни;
Наши радости
Буйный ветер унес!
Мне отец родной
И родная мать
Под венец идти
Не с тобой велят.
Не горят в небесах
По два солнышка —
Не любить двух разов
Добру молодцу!..
Я послушаюсь
Отца, матери:
Под венец пойду
Не с тобой, душа..
Обвенчаюсь
Я с иной женой;
Я с иной женой —
С смертью раннею!..
Не ручей журчит,
Не река шумит:
Льются слезы
Красной девицы;
Во слезах она
Слово молвила:
«Ах ты милый мой!
Ты сердечный друг!

Не жилица я
На белом свету!
Нет у горлинки
Двух голубчиков —
Нет у девицы
Милых двух дружков! »

Не сидит она поздно вечером,
А горит свеча воску ярого
На столе стоит нов тесовый гроб —
Во гробу лежит красна девица!

— Перестань, Аннушка, — сказала Власьевна. — Ты и на здорового человека тоску нагонишь. Что это, прости, Господи! Словно панихиду поешь!

Тут вошла одна пожилая женщина и шепнула ей что-то на ухо.

— Хорошо, хорошо! — отвечала Власьевна. — Скажи ему, чтоб он подождал. Анастасья Тимофеевна, — продолжала она, — знаешь ли что, матушка? У нас на селе теперь есть прохожий, про которого и невесть что рассказывают. Уж Кудимыч ли наш не мудрен, да и тот перед ним язычок прикусил. Позволь ему, сударыня, словечка два с тобою перемолвить... Да полно же, родная, головкою мотать! Прикажи ему войти.

— Зачем, мамушка? На что?

— А на то, моя радость, что если он подлинно человек досужий, то и твоей болезни поможет.

— Моей болезни... Нет, мамушка... Мне поможет одна смерть!..

— И, полно, боярышня! Спозаранков умирать собираешься! Ну что, родная, не кликнуть ли его?

— Не надобно.

— Послушай, Анастасья Тимофеевна, ведь государь твой батюшка изволил приказать: так власть твоя, сударыня, послушаться не смею!

— О, если батюшке угодно... так позови.

Двери отворились, и наш знакомец, Кирша, вошел в комнату. Поклонясь на все четыре стороны, он остановился у порога.

— Милости просим! — сказала Власьевна. — В добрый час! Милости просим!.. Вот наша больная...

— Вижу, бабушка, — отвечал Кирша, бросив быстрый взгляд на Анастасью. — Вижу... Гм, гм!

— Ну, что ты скажешь, отец мой?

— Что я скажу?.. Гм, гм!

— Ахти! Что это, батюшка, ты мычать изволишь? Уж к добру ли?

— А вот посмотрим. Мне надобно с вашей боярышней словца два перемолвить, да так, чтоб никто не слышал.

— Как? Чтоб никто не слышал?

— Да, да; ворожке так надобно. Станьте-ка все по-одаль.

— Нельзя ли хоть мне?..

— Нет, бабушка, никому.

— Ну, ну! Быть по-твоему. Вставайте, девушки, отойдите к дверям.

Кирша подошел к Анастасье и попросил ее показать ему правую руку. Нехотя и с приметным отвращением она исполнила его желание. Кирша, посмотрев пристально на ладонь, сказал вполголоса:

— Анастасья Тимофеевна, я должен объявить правду: тебя сглазили.

Больная взглянула с презрением на запорожца и отворотилась.

— Да, да, боярышня, — повторил важно Кирша. — Тебя, точно, сглазили голубые глаза одного русоволосого молодца. Болезнь твоя вот тут — в сердце.

Бледные щеки больной вспыхнули; она взглянула недоверчиво на Киршу, хотела что-то сказать, но слова замерли на устах ее.

— Ты нынешней зимой, — продолжал запорожец, — в первый раз встретилась с ним в Москве.

Анастасья вздрогнула, кинула робкий взгляд вокруг себя и устремила удивленные взоры на Киршу, который после минутного молчания прибавил весьма тихо:

— Ты видала его почти каждый день в соборной церкви... кажется... точно так: у Спаса на Бору.

Больная, отдернув торопливо свою руку, вскрикнула от ужаса.

— Что ты, Анастасья Тимофеевна? — спросила Власьевна, подбежав к кровати. — Что с тобою?

— Ничего, — отвечала Анастасья. — Отойди, мамушка, отойди!

— Если ты еще хоть раз подойдешь, старуха, то испортишь все дело, — сказал сердито Кирша. — Стой вон там да гляди издали! Пожалуй-ка мне опять свою ручку, боярышня, — продолжал он, когда Власьевна отошла прочь. — Вот так... гм, гм! Ну, Анастасья Тимофеевна, тебе жаловаться нечего; если он тебя сглазил, то и ты его испортила: ты крушишься о нем, а он тоскует по тебе.

— Смотрите-ка, смотрите! — шепнула Власьевна девушкам. — Что это с боярышней делается? Лицо как жар

горит! Ни дать ни взять как бывало прежде... Слава тебе, Господи!

— Пстой-ка, боярышня, — продолжал после небольшой остановки запорожец. — Да у тебя еще другая кручина, как туман осенний, на сердце лежит... Я вижу, тебя хотят выдать замуж... за одного большого польского пана... Не горкой, Анастасья Тимофеевна! Этой свадьбы не бывать! Я скажу словца два твоему батюшке, так он не повезет тебя в Москву, а твой жених сюда не приедет: ему скоро будет не до этого.

— Ах, дай-то Бог! — вскричала Анастасья, сложив набожно свои руки.

— Да, да, боярышня. Нынче времена шаткие: кто сегодня вверху, тот завтра внизу.

— Глядите-ка, — сказала Анюта, — Анастасья Тимофеевна плачет, а лицо такое веселое. Что за диво!

— Нишни, Анюта, не мешай! — шепнула Власьевна, стараясь вслушаться в разговор, который, по-видимому, становился час от часу занимательнее.

— Однакож, боярышня, — продолжал запорожец, — ты до тех пор совсем не оправисься, пока не увидишь опять того, кто тебя сглазил, и не обойдешь вместе с ним вокруг церковного наоя.

— С ним!.. — повторила Анастасья трепещущим голосом.

— Да, да, с ним! И я вижу, — прибавил Кирша, — что это рано или поздно, а будет.

Больная не могла выговорить ни слова: внезапная радость оковала уста ее; в немом восторге она устремила к небесам свои взоры. Но вдруг на лице ее изобразилось глубокое уныние, глаза померкли, и прежняя безжизненная бледность покрыла снова ее увядшие ланиты.

— Нет, — сказала она, отгалкивая руку запорожца, — нет!.. Покойная мать моя завещала мне возлагать всю надежду на Господа, а ты — колдун; языком твоим говорит враг Божий, враг истины. Отойди, оставь меня, соблазнитель, — я не верю тебе! А если б и верила, то что мне в этой радости, за которую не могу и не должна благодарить Спасителя и Матерь его, Пресвятую Богородицу!

— О, если так, боярышня, — сказал Кирша, — так знай же — я не колдун и ты без греха можешь верить словам моим.

— Ты не колдун?.. Но кто же ты?

— Для других пока останусь колдуном: без этого я не мог бы говорить с тобою; но вот тебе Господь Бог порукою,

и пусть меня, как труса, выгонят из Незамановского куреня или, как убийцу своего брата, казака, — живого заркоут в землю, если я не такой же православный, как и ты.

— Но каким чудом ты мог отгадать то, что знала я одна и ведал один Господь?

— Долго рассказывать, боярышня; да поверь уж моей совести: право, я не колдун! А все-таки знаю, что Юрий Дмитрич Милославский тебя любит, что, может статься, вы скоро увидите друг друга... Молись Богу и надейся! А что ты не будешь за паном Гонсевским, за это тебе ручается Кирша, запорожец, который знает наверное, что его милости и всем этим иноверцам скоро придет так жутко в Москве, как злomu кошевому атаману на раде¹, когда начнут его уличать в неправде. Где ему о свадьбе думать! О своей голове призадумается!.. Ну что, боярышня, полегче ли тебе?

— Ах... да! — отвечала Анастасья, приложив к сердцу свою руку.

— Теперь вы можете все подойти, — сказал Кирша, оборотясь к дверям.

— Ну что, дитяtko мое?... — спросила торопливо Власьевна, подбегав к больной.

— Ах, мамушка, мамушка! — отвечала, всхлипывая, Анастасья. — Боже мой!.. Мне так легко... так весело!.. Поздравь меня, родная!.. — продолжала она, кинувшись к ней на шею. — Анюта... вы все... Подите ко мне... Дайте расцеловать себя!.. Боже мой! Боже мой! Не сон ли это?.. Нет, нет... Я чувствую... Мое сердце... Ах, я дышу свободно!..

Слезы градом катились из прелестных очей ее, устремленных на святые иконы.

— Подите, подите, — сказала она наконец тихим голосом. — Я хочу остаться одна... Мне надобно... Я должна... Ступайте, милые, оставьте меня одну!

Все вышли в другую комнату.

— Ну, батюшка, тебе честь и слава! — сказала Власьевна запорожцу. — На роду моем такого дива не видывала! С одного разу как рукой снял!.. Теперь смело проси у боярина чего хочешь.

— Я за многим не гонюсь, — отвечал Кирша, — и если боярин пожалует мне доброго коня...

— За трех не постоит! Да не нужно ли будет тебе еще поговорить с Анастасьей Тимофеевной?

¹ Так назывались общие собрания запорожских казаков. (Примеч. авт.)

— Нет, не надобно. С боярином мне нужно словцо перемолвить, а для нее... Пстой-ка на часок... На вот тебе...

— Что это, батюшка?.. Сухарь!

— Да, да, сухарь. Смотри: семь дней сряду давай своей боярышне пить с этого сухаря, что ей самой вздумается: воды, квасу, меду ли, все равно.

— Слушаю, батюшка.

— Кружку наливай вровень с краями и подноси левой рукой.

— Слушаю, батюшка.

— Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды; а об наливке забудь и думать!

— Как, отец мой! И перед обедом?

— И перед обедом и после обеда. Слышишь ли? Ни капельки!

— Слышу, батюшка, слышу! Ведь я еще не оглохла! Шесть дней не пить ничего, кроме воды!

— Не шесть, а ровно семь, бабушка.

— Да бишь, да! Целую неделю... Делать нечего! Недаром говорят, — прибавила Власьева сквозь зубы, — что все эти колдуны с причудами. Семь дней!.. Легко вымолвить!

Тут двое слуг, войдя поспешно, растворили дверь настежь, и боярин Кручина вошел в комнату. Все присутствующие вытянулись в нитку и отвесили молча но низкому поклону; одна Власьева, забыв должное к нему уважение, закричала громким голосом:

— Милости просим, государь Тимофей Федорович! Милости просим!.. Что пожелаешь за радостную весточку?

— Что ты, старуха, в уме ли? — сказал боярин.

— Без ума, родимый, без ума! Ведь боярышня совсем выздоровела!

— Возможно ли?

— Да, батюшка! Изволь сам на нее взглянуть.

Боярин вошел к своей дочери и, поговоря с нею несколько минут, возвратился назад. Радость, удивление и вместе какая-то недоверчивость изображались на лице его; он устремил пронизательный взгляд на Киршу, который весьма равнодушно, хотя и почтительно, смотрел на боярина.

— Как тебя зовут? — спросил наконец Кручина.

— Киршею, — отвечал запорожец.

— Давно ли ты здесь?

— С сегодняшнего утра.

— Куда идешь?

— На мою родину, в Царицын.

— Когда ты проходил двором, то повстречался с слугою боярина Милославского и говорил с ним. Ты его знаешь?

— Вчера мы ночевали вместе на постоялом дворе.

— Он объявил, что ты запорожец.

— Да, я запорожский казак; но в Царицыне у меня отец и мать.

— Не желаешь ли остаться здесь и служить мне?

— Нет, Тимофей Федорович, я хочу пожить дома.

Высокий лоб боярина покрылся морщинами; он взглянул угрюмо на запорожца и, помолчав несколько времени, продолжал:

— Ты облегчил болезнь моей дочери: чем могу наградить тебя?

— Я сгубил моего коня, боярин; а пешком ходить не привык...

— Выбирай любого на моей конюшне. Я не спрашиваю тебя, как ты умудрился помочь Анастасье; колдун ли ты, или обманщик — для меня все равно; но кто будет мне порукою, что болезнь ее не возвратится? Ты должен остаться здесь, пока я не уверюсь в совершенном ее выздоровлении.

— Нельзя, боярин: я спешу домой.

— Вздор! Ты останешься.

— Нет, Тимофей Федорович, не останусь.

Боярин взглянул с удивлением на Киршу. Привыкнув к безусловному повиновению всех его окружающих, он не мог надивиться дерзости простого казака, который, находясь совершенно в его власти, осмеливался ему противоречить.

— Посмотрим, — сказал он с презрительною улыбкою, — посмотрим, удастся ли бродяге переупрямить боярина Шалонского!

— Власть твоя, Тимофей Федорович! — продолжал спокойно Кирша. — Ты волен насильно меня оставить; но смотри, чтоб после не пенять!

Глаза боярина Кручины засверкали, как у тигра.

— Молчи, холоп! — заревел он громким голосом. — Ты смеешь грозить мне!.. Знаешь ли ты, бродяга, что я могу всякого колдуна, как бешеную собаку, повесить на первой осине!

— А разве от этого тебе будет легче, — отвечал Кирша, устремив смелый взор на боярина, — когда единородная дочь твоя зачахнет и умрет прежде, чем ты назовешь знаменитого пана Гонсевского своим зятем?

Боярин побледнел как смерть; он пожирал глазами запорожца. Несколько минут продолжалось глубокое молчание, похожее на ту мертвую тишину, которая предшествует ужасному громовому удару. Наконец страх потерять единственную дочь, а вместе с ней и все надежды на блестящую будущность победил в нем желание наказать дерзкого незнакомца. «Тот, кто излечил в несколько минут таким чудесным образом дочь его, вероятно, мог столь же легко сделать противное». Эта мысль спасла Киршу. Лицо боярина, обезображенное судорожными движениями гнева, доведенного до высочайшей степени, начало мало-помалу принимать свой обыкновенный мрачный, но спокойный вид. Он бросил грозный взгляд на всех предстоящих, как будто желая напомнить, им, что дерзость Кирши не должна служить для них примером; потом, взглянув довольно ласково на запорожца, сказал:

— Ну, голубчик, ты не робкого десятка. Добро, добро! Если ты не хочешь остаться, так ступай с Богом! Я не стану тебя держать.

— Так-то лучше, боярин! — сказал Кирша. — Неволью из меня ничего не сделаешь; а за твою ласку я скажу тебе то, чего силою ты век бы из меня не выпытал. Настасью Тимофеевну испортили в Москве, и если она прежде шести месяцев и шести дней опять туда приедет, то с нею делается еще хуже, и тогда, прошу не погневаться, никто в целом свете ей не поможет.

— Шесть месяцев! — вскричал боярин. — Но в будущем месяце я должен непременно ехать с нею в Москву.

— Не езд, Тимофей Федорович!

— Не могу: я дал слово пану Гонсевскому.

— Возьми его назад.

— Нет, я не изменял никогда моему обещанию.

— Ну, воля твоя! Было бы сказано, а там делай что хочешь.

— Но не знаешь ли ты какого способа?..

— Никакого, боярин. Если ты прежде шести месяцев и шести дней привезешь боярышню в Москву, хоть, например, в понедельник, то на той же неделе в пятницу будешь ее отпевать.

— Ты лжешь, бездельник!

— А из чего мне лгать, боярин? Гневить тебя прибыли мало; и что мне до этого, поедешь ли ты в Москву или останешься здесь?.. Я и знать об этом не буду.

Боярин призадумался, а Кирша продолжал:

— Я кончил свое дело, Тимофей Федорович; теперь позволь мне идти.

— Андрюшка! — сказал Кручина одному из слуг. — Отведи его на село к приказчику; скажи, чтоб он угостил его порядком, оставил завтра отобедать, а потом дал бы ему любого коня из моей конюшни и три золотых корабленика. Да крепко-накрепко накажи ему, — прибавил боярин вполголоса, — чтоб он не спускал его со двора и не давал никому, а особливо приедем, говорить с ним наедине. Этот колдун мне что-то очень подозрителен!

Кирша вышел вместе с слугою, и почти в то же время на боярский двор въехали верхами человек пять поляков в богатых одеждах; а за ними столько же польских гусар, вооружение которых, несмотря на свое великолепие, показалось бы в наше время довольно чудным маскарадным нарядом. Все гусары были в латах и шишаках; к латам сзади приделаны были огромные крылья; по обеим сторонам шишака точно такие же, но гораздо менее, а за плечами вместо плащей развевались леопардовые кожи. Каждый гусар был вооружен палашом и длинным дротиком, украшенным цветным флюгером.

— Вот и пан Тишкевич с своими товарищами! — сказал боярин Кручина, взглянув в окно. — Но кто это едет по левую его сторону?.. Мне помнится, этой красной рожи я никогда не видывал!

Сказав эти слова, Шалонский отправился навстречу к своим гостям, а Власьевна и сенная девушка вошли опять в комнату к своей боярышне.

Х

Дворецкий и несколько слуг встретили гостей на крыльце; неуклюжий и толстый поляк, который ехал возле пана Тишкевича, не доезжая до крыльца, спрыгнул, или, лучше сказать, свалился с лошади и успел прежде всех помочь региментарю сойти с коня. Вероятно, каждый из читателей наших знает, хотя по слуху, известного Санчо Пансу; но если в эту минуту услужливый поляк весьма походил на этого знаменитого конюшего, то пан Тишкевич нимало не напоминал собою рыцаря Печального образа. Он был среднего роста, плечист и сидел молодцом на коне. Быстрые движения, смелый взгляд, смуглое откровенное лицо — все доказывало, что пан Тишкевич провел большую часть своей жизни в кругу бесстрашных воинов, живал под открытым

небом и так же беззаботно ходил на смертную драку, как на шумный и веселый пир своих товарищей. Трое других молодцеватых поляков отличались огромными усами и надменным видом, совершенно противоположным добродушию, которое изображалось на открытом и благородном лице их начальника. Боярин Кручина встретил гостей в столовой комнате. При виде портрета польского короля с известной надписью поляки взглянули с гордой улыбкой друг на друга; пан Тишкевич также улыбнулся, но когда взоры его встретились со взорами хозяина, то что-то весьма похожее на презрение изобразилось в глазах его: казалось, он с трудом победил это чувство и не очень торопился пожать протянутую к нему руку боярина Кручины. После первых приветствий Тишкевич представил хозяину сначала своих сослуживцев, а потом толстого поляка, который исправлял при нем с таким усердием должность конюшего.

— Этот краснощекий весельчак, — сказал он, — пан Копычинский, который и без меня был бы твоим гостем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы с известием, что царик¹ убит.

— Как! — вскричал Кручина. — Тушинский вор?..

— Да! Его убили в Калуге, куда он всякий раз прятался, как медведь в свою берлогу.

— Насилу-то калужане за ум взялись!

— Не калужане, боярин, — сказал с важным видом Копычинский, — спроси меня, я это знаю: его убил перекрещенный татарин Петр Урусов; а калужские граждане, отомщая за него, перерезали всех татар и провозгласили новорожденного его сына, под именем Иоанна Дмитриевича, царем русским.

— Безумные! — вскричал боярин. — Да неужели для них честнее служить внуку сандомирского воеводы, чем державному королю польскому?.. Я уверен, что пан Гонсевский без труда усмирит этих крамольников; теперь Сапега и Лисовский не станут им помогать... Но милости просим, дорогие гости! Не угодно ли выпить и закусить чего-нибудь?

Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в которой большой круглый стол уставлен был блюдами с холодным кушаньем и различными водками. Когда гости закусили, разговор снова возобновился.

— Знаешь ли, боярин, — сказал пан Тишкевич, обтирая свои усы, — что сегодня поутру мы охотились в твоих дачах?

¹ Так называли поляки второго самозванца. (Примеч авт.).

— Милости просим! — отвечал боярин. — Забавляйтесь сколько душе вашей угодно.

— И чуть-чуть, — продолжал Тишкевич, — не заподевали красного зверя.

— Так вам не удалось?

— Вот то-то и досадно! А такие зверьки нечасто попадают.

— Так что ж, пан? Если хочешь, завтра мы поохотимся вместе, и я ручаюсь тебе...

— Не ручайся, боярин: теперь этот зверь далеко. Мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается с казною в Нижний Новгород.

— В Нижний?.. — вскричал Кручина.

— Да, в Нижний, — повторил Тишкевич. — Вот пан Копычинский лучше это расскажет; он совсем было подтенетил его.

— Да, — сказал Копычинский, вытянув чарку водки. — Он у меня сквозь пальцев проскользнул. Я застал его с двумя провожатыми на постоялом дворе, верстах в десяти отсюда; с первого взгляда он показался мне подозрительным, вот я и принялся допрашивать его порядком; он забормотал, сбился в речах и занес такую околесную, что я тот же час его и за ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорил и то и се, да я не кто другой! Прижал его к стене, приставил к роже пистолет, крикнул... Трусишка испугался и покаялся мне во всем.

— Да как же ты их упустил? — спросил с нетерпением боярин.

— А вот как: я велел их запереть в холодную избу, поставил караул, а сам лег соснуть; казаки мои — нех их вшисци дьябли везмо! — также вздремнули; так, видно, они вылезли в окно, сели на своих коней, да и до лесу... Что ж ты, боярин, качаешь головой? — продолжал Копычинский, нимало не смущаясь. — Иль не веришь? Дали бук¹, так! Спроси хоть пана региментаря.

— На меня не ссылайся, пан, — сказал Тишкевич, — я столько же знаю об этом, как и боярин, так в свидетели не гожусь; а только, мне помнится, ты рассказывал, что запер их не в избу, а в сени.

— Ну, да не все ли это равно! — прервал Копычинский. — Дело в том, что они ушли, а откуда: из сеней или из избы, от этого нам не легче. Как ты прибыл с

¹ Ей-богу (польск.)

своим regimentом, то они не могли быть еще далеко, и не моя вина, если твои молодцы их не изловили.

— У одного из них убили коня, — сказал Тишкевич, — но зато и у меня лучший налет в regimentе лежит теперь с простреленным плечом.

— Вылезли в окно... и с оружием! — прошептал боярин. — А не в примету ли тебе, каковы они собою?

— Один из провожатых — малый дородный, плотный...

— И также вылез в окно?..

— У страха очи велики, боярин! И в щелку пролезешь, как смерть на носу. Другой похож на казака; а самый-то главный — детина молодой, русоволосый, высокого роста, лицом бел... или, может статься, так мне показалось: он больно струсил и побледнел как смерть, когда я припугнул его пистолетом; одет очень чисто, в малиновом суконном кафтане...

— Одним словом, — прервал боярин, — точь-в-точь, как этот молодец, что стоит позади тебя.

Копычинский обернулся и, отпрыгнув назад, закричал с ужасом:

— Вот он!.. Держите! Схватите его!.. У него за пазухою пистолет!

— Неправда, пан, — сказал с улыбкою Юрий. — Теперь со мною нет пистолета: я чужим добром никого не угощаю.

— Что все это значит? — спросил пан Тишкевич. — Растолкуйте мне...

— Прежде всего прошу познакомиться, — сказал Кручина. — Это Юрий Дмитрич Милославский; он прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от пана Гонсевского.

Поляки отвечали довольно вежливо на поклон Милославского; а пан Тишкевич, оборотясь к Копычинскому, спросил сердитым голосом: как он смел сочинить ему такую сказку? Копычинский не отвечал ни слова; устремя свои бездушные глаза на Юрия, он стоял как вкопанный, и только одна лихорадочная дрожь доказывала, что несчастный хвостун не совсем еще претворился в истукана.

— Я вижу, от него толку не добьешься, — продолжал Тишкевич. — Потрудись, пан Милославский, рассказать нам, как он допытался от тебя, что ты везешь казну в Нижний Новгород, как запер тебя и служителей твоих в холодную избу и как вы все трое выскочили из окна, в которое, чай, и курица не пролезет?

Юрий рассказал им все подробности своей встречи с Копычинским; разумеется, угощение и жареный гусь не

были забыты. Пан Тишкевич хохотал от доброго сердца; но другие поляки, казалось, не очень забавлялись рассказом Юрия; особенно один, который, закручивая свои бесконечные усы, поглядывал исподлобья вовсе не ласково на Милославского.

— Черт возьми! — вскричал он наконец. — Я не верю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собою так ругаться!

— И, пан ротмистр! — сказал Тишкевич. — Не все поляки походят друг на друга.

— Если б я был на месте этого мерзавца, — продолжал сердитый ротмистр, бросив презрительный взгляд на Копычинского, который пробирался потихоньку к дверям комнаты, — то клянусь моими усами...

— Скорей дал бы себе раздробить череп, — перервал региментарь, — чем съел бы гуся! Я в этом уверен так же, как и в том, что всякий правдивый поляк порадует, когда удалый москаль проучит хвастунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. Давай руку, пан Милославский! Будем друзьями! Ты не враг поляков; но если б был и врагом нашим, я сказал бы то же самое. Мы молодцов любим; с ними и драться-то веселее! А ты, храбрый пан Копычинский... Ага, да он уж дал тягу!.. Тем лучше... Надеюсь, боярин, ты не заставишь нас сидеть за одним столом с этим негодяем; он, я думаю, сытехонек, а если на беду опять проголодался, то прикажи его накормить в застолье; да потешь, Тимофей Федорыч, вели его попотчевать жареным гусем!.. Кстати, пан, — прибавил он, обращаясь снова к Юрию, — мы, кажется, поменялись с тобою конями? Только на твоём недалеко уедешь: он и теперь еще лежит в лесу, на большой дороге... Нет, нет, — продолжал он, не давая отвечать Юрию, — дело кончено; я плохой барышник, вот и все тут! Владей на здоровье моим конем. Не ты виноват, что я поверил этому хвастуну Копычинскому, который должен благодарить Бога за то, что не висит теперь между небом и землею; а не миновать бы ему этих качелей, если б мои молодцы подстрелили самого тебя, а не твою лошадь.

— Позволь спросить, пан региментарь, — сказал Юрий, — что сделалось с одним из моих провожатых, который остался пешим в лесу?

— Он, я думаю, и теперь еще разгуливает по лесу.

— Так он уцелел?.. Слава Богу!

— Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему слуге, увел моего коня и подстрелил лучшего моего налета; но я не сержусь на него. Если б ему нечем было заменить

твоей убитой лошади, то вряд ли бы я теперь с тобою познакомился.

Меж тем число гостей значительно умножилось приездом соседей Шалонского; большая часть из них были: местные дети боярские, человек пять жильцов и только двое родословных дворян: Лесута-Храпунов и Замятня-Опалев. Первый занимал некогда при дворе царя Феодора Иоанновича значительный пост стряпчего с ключом. Наружность его не имела ничего замечательного: он был небольшого роста, худощав и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походил нимало на важного царедворца; он говорил беспрестанно о покойном царе Феодоре Иоанновиче для того, чтобы повторять как можно чаще, что любимым его стряпчим с ключом был Лесута-Храпунов. Вторым, Замятня-Опалев, бывший при сем царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный: он был роста высокого и чрезвычайно дороден; огромная окладистая борода, покрывавшая дебелию грудь его, опускалась до самого пояса; все движения его были медленны; он говорил протяжно и с расстановкою. Служив при одном из самых набожных царей русских, Замятня-Опалев привык употреблять в разговорах, кстати и некстати, изречения, почерпнутые из церковных книг, буквальное изучение которых было в тогдешнее время признаком отличного воспитания и нередко заменяло ум и даже природные способности, необходимые для государственного человека. Борис Феодорович Годунов, умея ценить людей по их достоинствам, вскоре по восшествии своем на престол уволил их обоих от службы. С тех пор из уклончивых придворных они превратились в величайших, хотя и вовсе не опасных, врагов правительства. Все, что ни делалось при дворе, становилось предметом их всегдашних порицаний; признание Лжедмитрия царем русским, междуцарствие, вторжение врагов в сердце России — одним словом, все бедствия отечества были, по их мнению, следствием оказанной им несправедливости. «Когда б блаженной памяти царь Феодор Иоаннович здравствовал и Лесута-Храпунов был на своем месте, — говаривал отставной стряпчий, — то Гришка Отрепьев не смел бы и подумать назваться Димитрием». «Если б дворянин Опалев заседал по-прежнему в царской Думе, — повторял беспрестанно Замятня, — то не поляки бы были в Москве, а русские в Кракове. Но, — прибавлял он, всегда с горькой улыбкою, — блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!» В царствование Лжедмитрия, а потом Шуйского оба

заштатные чиновника старались опять попасть ко двору; но попытки их не имели успеха, и они решились пристать к партии боярина Шалонского, который обнадежил Лесуту, что с присоединением России к польской короне число сановников при дворе короля Сигизмунда неминуемо удвоится и он не только займет при оном место, равное прежней его степени, но даже, в награду усердной службы, получит звание одного из дворцовых маршалов его польского величества. А Замятню-Опалева уверил, что он непременно будет заседать в польском сенате, в котором по уничтожении Думы учредятся места сенаторов по делам, касающимся до России.

Когда хозяин познакомил этих двух отставных сановников с поляками, Замятня после некоторых приветствий, произнесенных со всею важностью будущего сенатора, спросил пана Тишкевича: не из Москвы ли он идет с regimentом?

— Из Москвы, — отвечал отрывисто поляк, которому надутый вид Опалева с первого взгляда не понравился.

— Итак, справедливо, — спросил, в свою очередь, Лесута-Храпунов, — что в Москве целовали крест не светлейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его Владиславу?

— Справедливо.

— Хороши же там сидят головы! — воскликнул Замятня. — «Горе тебе, граде, в нем же царь твой юн!» — вещает премудрый Соломон; да и чего ждать от бояр, которые заседали в Думе при злодее Годунове?

— Для чего же ты не едешь сам в Москву? — сказал насмешливо пан Тишкевич. — Ты бы их наставил на путь истинный.

— Чтоб я стал якшаться с этими малоумными?.. Сохрани Господи! Недаром говорит Сирах: «Касаясь смоле очернится, а приобщаясь безумным, точен им будет».

— Вот то-то и есть! — подхватил Лесута. — При блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче были головы, а нынче... Да что тут говорить?.. Когда я служил при светлом лице его, в сане стряпчего с ключом, то однажды его царское величество, идя от заутрени, изволил мне сказать...

— Ты расскажешь нам это за столом, — прервал хозяин. — Милости просим, дорогие гости! Чем Бог послал!

Все вышли снова в столовую, в которой накрытый цветною скатертью стол уставлен был множеством различных кушаньев. Все блюда, тарелки и чаши были оловянные; но напротив стола в открытом поставце расставлены были весь-

ма красиво: серебряные ковши, кубки, стопы, чары и братины. Против каждого двух приборов стояли также серебряные сосуды: один с солью, другой с перцем, а третий, стеклянный, с уксусом. Лучшим и роскошнейшим блюдом был жареный павлин; им и начался обед; потом стали подавать лапшу с курицею, ленивые щи, разные похлебки, пирог с бараниной, курник, подсыпанный яйцами, сырники и различные жаркие. Множество блюд составляло все великолепие столов тогдашнего времени; впрочем, предки наши были непритомливы и за столом любили только одно: наесться досыта и напиться до упаду. Обед оканчивался обыкновенно закусками, между коими занимали первое место марципаны, цукаты, инбирь в патоке, шептала и леденцы; пряники и коврижки, так же как и ныне, подавались после обеда у одних простолюдинов и бедных дворян.

Когда все наелись, началась попойка. Сколько Юрий, сидевший подле пана Тишкевича, ни отказывался, но принужден был пить не менее других, если б, к счастью, не мог сослаться на пример своего соседа, который решительно отказался пить из больших кубков, и хотя хозяин начинал несколько раз хмуриться, но из уважения к региментарю оставил их обоих в покое и выместил свою досаду на других. Один седой жилец не допил своего кубка — боярин принудил его самого вылить себе остаток меда на голову; боярскому сыну, который отказался выпить кружку наливки, велел насильно влить в рот большой стакан полынной водки и хохотал во все горло, когда несчастный гость, задыхаясь и почти без чувств, повалился на пол. Между тем и пан Тишкевич, несмотря на свою умеренность, стал поговаривать веселее.

— Боярин! — сказал он. — Если б супруга твоя здравствовала, то, верно б, не отказалась поднести нам по чарке вина и допустила бы взглянуть на светлые свои очи; так нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям; но ведь ты, боярин, почти наш брат поляк: дозвожь полюбоваться невестою пана Гонсевского.

— И выпить из башмачка ее, — прибавил усатый ротмистр, — за здоровье знаменитого жениха и счастливое окончание веселья.

— Она не очень здорова, — отвечал Кручина.

— Мы все тебя об этом просим! — закричали поляки.

— Быть по-вашему, — сказал хозяин, подозвав к себе одного служителя, который, выслушав приказание своего господина, вышел поспешно вон из комнаты.

— А скоро ли, боярин, веселье? — спросил региментарь.

— Я хотел было в будущем месяце ехать в Москву...

— Не советую: там что-то все не ладится; того и гляди начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит.

— Как так! — сказал Лесута-Храпунов. — Да разве не вы господа в Москве?

— Да, покамест! — отвечал Тишкевич. — Войти-то в нее мы вошли...

— «В граде крепкий вниде премудрый, — прервал, заикаясь, Опалев, — и разруши утверждение, на неже надеяшася нечестви!»

— Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили, — продолжал Тишкевич. — Ну да что об этом говорить! Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас старшие.

— И ведомо так, — сказал Лесута. — Когда я был стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти царь Феодор Иоаннович, идя к обеду, изволил сказать мне: «Ты, Лесута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься». В другое время, как он изволил отслушать часы и я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль...

— Не о шапке речь, — прервал хозяин, — изволь допивать свой кубок! Да и ты, любезный сосед, — продолжал он, обращаясь к Замятне, — прошу от других не отставать. Допивай... Вот так! Люблю за обычай! Теперь просим покорно вот этого...

— Ни, ни, боярин, — отвечал Замятня, с трудом пошевеливая усами, — сказано бо есть: «Не упивайся вином».

— Да это не вино, а наливка!

— Ой ли? Ну, если так, пожалуй! Наливку пить закон не претит.

— Вестимо, нет, — примолвил Лесута. — Покойный государь, Феодор Иоаннович, всегда, отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал...

— Моя хоть и не на золотом подносе, — прервал хозяин, — а прошу прикусать!.. Ну что, какова?

— «Не красна похвала в устах грешника», — глаголет премудрый Сирах, — сказал Замятня, осуша свой кубок, — а нельзя достойно не восхвалить: наливка, ей-же-ей, презрядная!

Когда к концу обеда все гости порядком подгуляли, боярин Кручина велел снова наполнить серебряные стопы и сказал громким голосом:

— Кто любит Кручину-Шалонского, тот за мной!.. За здравие победителей Смоленска!

— Виват! — закричали поляки.

— Да здравствуют все неустрашимые воины! — примолвил Тишкевич, подняв кверху свой кубок.

Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы.

— Пей, Юрий Дмитрич! — закричал боярин.

— Я пью на погибель врагов, а смоляне — русские и братья наши, — отвечал спокойно Юрий.

— Твои, а не мои, — возразил Кручина, бросив презрительный взгляд на Юрия. — Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского.

— Жаль, молодец, — сказал Тишкевич, пожав руку Юрия, — жаль, что ты не наш брат поляк!

Угрюмое чело боярина Кручины час от часу становилось мрачнее; несколько минут продолжалось общее молчание: все глядели с удивлением на дерзкого юношу, который осмеливался столь явно противоречить и не повиноваться грозному хозяину.

— Посмотрим, как ты не выпьешь теперь! — прошептал, наконец, сквозь зубы боярин. Он спросил позолоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальвазии, встал с своего места; все последовали его примеру.

— Ну, дорогие гости! — сказал он. — Этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него, — прибавил он, бросив грозный взгляд на Юрия, — тот друг наш: кто не пьет, тот враг и супостат! За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского! Да здравствует!

— Виват! — воскликнули поляки.

— Да здравствует! — повторили все русские, кроме Юрия.

— «И да расточатся врази его! — заревел басом Замятня-Опалев. — Да пройдет живот их, яко след облака и яко мгла разрушится от луч солнечных».

— Аминь! — возгласил хозяин, опрокинув осушенный кубок над своей головою.

Юрий едва мог скрывать свое негодование: кровь кипела в его жилах, он менялся беспрестанно в лице; правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а левая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, глаза благородного юноши заблестали необыкновенным огнем; он окинул беглым взглядом всех пирующих и сказал твердым голосом:

— Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского; итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги отечества!

— Стой, Милославский! — закричал хозяин. — Или пей, как указано, или кубок мимо!

— Подавай другим, — сказал Юрий, отдавая кубок дворецкому.

— Слушай, Юрий Дмитрич! — продолжал боярин с возрастающим бешенством. — Мне уж надоело твое упрямство; с своим уставом в чужой монастырь не заглядывай! Пей, как все пьют.

— Я твой гость, а не раб, — отвечал Юрий. — Приказывай тому, кто не может тебя послушаться.

— Ты будешь пить, дерзкий мальчишка! — прошипел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручина. — Да, клянусь честью, ты выпьешь или захлебнешься! Подайте кубок!.. Гей, Томила, Удалой, сюда!

Двое огромного роста слуг с зверскими лицами подошли к Юрию.

— Боярин! — сказал Милославский, взглянув презрительно на служителей, которые, казалось, не слишком охотно повиновались своему господину. — Я без оружия, в твоём доме... И если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть; но не забудь, боярин: обидев Милославского, берегись оставить его живого!

— В последний раз спрашиваю тебя, — продолжал едва внятным голосом Шалонский, — хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так, как пьем мы все?

— Нет.

— Пей, говорю я тебе! — повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие глаза.

— Милославские не изменяли никогда ни присяге, ни отечеству, ни слову своему! Не пью!

— Так влейте же ему весь кубок в горло! — заревел неистовым голосом хозяин.

— Стойте! — вскричал пан Тишкевич. — Стыдись, боярин! Он твой гость, дворянин; если ты позабыл это, то я не допущу его обидеть. Прочь, негодяи! — прибавил он, схватясь за свою саблю. — Или... клянусь честью польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час вылетят за окно!

Оробевшие слуги отступили назад, а боярин, задыхаясь от злобы, в продолжение нескольких минут не мог вымолвить ни слова. Наконец, оборотясь к поляку, сказал прерывающимся голосом:

— Не погневайся, пан Тишкевич, если я напомним тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем доме, где, кроме меня, никто не волен хозяйничать.

— Не взыщи, боярин! Я привык хозяйничать везде, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы, поляки, можем и должны желать, чтоб наш король был царем русским; мы присягали Сигизмунду, но Милославский целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет, то Бог весть, а теперь он делает то, что сделал бы и я на его месте.

Казалось, боярин Кручина успел несколько поразмыслить и догадаться, что зашел слишком далеко; помолчав несколько времени, он сказал довольно спокойно Тишкевичу:

— Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недруга твоего государя.

— Да, боярин, я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой; а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский, хотя б он был родным моим братом.

— Но неужели ты поверил, что я в самом деле решусь обидеть моего гостя? И, пан Тишкевич! Я хотел только поугадать его, а по мне, пожалуй, пусть пьет хоть за здравие татарского хана: от его слов никого не убудет. Подайте ему кубок!

Юрий взял кубок и, оборотясь к хозяину, повторил снова:

— Да здравствует законный царь русский, и да погибнут все враги и предатели отечества!

— Аминь! — раздался громкий голос за дверьми столовой.

— Что это значит? — закричал Кручина. — Кто осмелился?.. Подайте его сюда!

Двери открылись, и человек средних лет, босиком, в рубище, подпоясанный веревкою, с растрепанными волосами и включенной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший; глаза его блистали умом, и на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души.

— Ба, ба, ба, Митя! — вскричал Замятня-Опалев, который вместе с Лесутой-Храпуновым во все продолжение предыдущей сцены соблюдал осторожное молчание. — Как это Бог тебя принес? Я думал, что ты в Москве.

— Нет, Гаврилыч, — отвечал юродивый, — там душно, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле! Молись на все четыре стороны, никто не помешает.

— Зачем впустили этого дурака? — сказал Кручина.

— Кто он таков? — спросил Тишкевич.

— Тунеядец, мироед, который Бог знает почему прослыл юродивым.

— Не выгоняй его, боярин! Я никогда не видывал ваших юродивых: послушаем, что он будет говорить.

— Пожалуй; только у меня есть дураки гораздо его забавнее. Эй ты, блаженный! Зачем ко мне пожаловал?

— Соскучился по тебе, Федорыч, — отвечал Митя. — Эх, жаль мне тебя, видит Бог, жаль! Худо, Федорыч, худо!.. Митя шел селом да плакал: мужички испытые, церковь на боку... А ты себе на уме: попиваешь да бражничаешь с приятелями!.. А вот как все приешь да выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью?.. Хвать, хвать — ан в погребе и вина нет! Худо, Федорыч, худо!

— Что ты врешь, дурак?

— Так, Федорыч, Митя болтает что ему вздумается, а смерть придет, как Бог велит... Ты думаешь — со двора, а голубушка — на двор: не успеешь стола накрыть... Здравствуй, Дмитрич, — продолжал он, подойдя к Юрию. — И ты здесь попиваешь?.. Ай да молодец!.. Смотри не охмелей!

— Мне помнится, Митя, я видал тебя у покойного батюшки? — сказал ласково Юрий.

— Да, да, Дмитрич. Жаль тезку: раненько умер; при нем не залетать бы к коршунам ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль! Связал себя по рукам, по ногам!.. Да Бог милостив! Не век в кандалах ходить!.. Побывай у Сергия — легче будет!

— Эй ты, Митя! — сказал Тишкевич. — Полно говорить с другими. Поговори со мной.

— А что мне говорить с тобою? Вишь ты какой уса-тый!.. Боюсь!

— Не бойся!.. На-ка вот тебе! — продолжал поляк, подавая ему серебряную монету.

— Спасибо!.. На что мне?.. Я ведь на своей стороне: с голоду не умру; побереги для себя: ты человек заезжий.

— Возьми, у меня и без этой много.

— Ой ли? Смотри, чтоб достало!.. Погостишь, пого-стишь, да надо же в дорогу... Не близко место, не скоро до дому дойдешь... Да еще неравно и проводы будут... Береги денежку на черный день!

— Я черных дней не боюсь, Митя.

— И я, брат, в тебя! Не боюсь ничего; пришел незваный, да и все тут!.. А как хозяин погонит, так давай Бог ноги!

— И давно пора! — сказал Кручина, которому весьма не нравились двусмысленные слова юродивого. — Убирайся-ка вон, покуда цел!

— Пойду, пойду, Федорыч! Я не в других: не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. А жаль мне тебя, голубчик, право жаль! То-то вдове дело!.. Некому тебя ни прибрать, ни приходить!.. Смотри-ка, сердечный, как ты замаран!.. Чернехонек!.. Местечка беленького не осталось!.. Эх, Федорыч, Федорыч!.. Не век жить неумойкою! Пора прибраться!.. Захватит гостя немытого, плохо будет!

— Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный!.. Пошел вон!

— Послушай-ка, Гаврилыч! — продолжал юродивый, обращаясь к Замятне. — Ты книжный человек; где бишь это говорится: «Сеявый злая, пожнет злая»?

— В притчах Соломоновых, — отвечал важно Замятня, — он же, премудрый Соломон, глаголет: «Не сей на браздах неправды, не имаша пожати ю с седмерицею».

— Слышишь ли, Федорыч, что говорят умные люди? А мы с тобой дураки, не понимаем, как не понимаем!

— Вон отсюда, бродяга! Или я размозжу тебе голову!

— Бей, Федорыч, бей! А Митя все-таки свое будет говорить... Бедненький ох, а за бедненьким Бог! А как Федорычу придется охать, то-то худо будет!.. Он заохает, а мужички его вдвое... Он закричит: «Господи помилуй!..» А в тысячу голосов завопят: «Он сам никого не миловал!..» Так знаешь ли что, Федорыч? Из-за других-то тебя вовсе не слышно будет!.. Жаль мне тебя, жаль!

— Молчи, змея! — вскричал боярин, вскочив из-за стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него с видом величайшей кротости и душевного соболезнования; вдруг двери во внутренние покои растворились, и кто-то громко вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться, и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против самых дверей: он видел, что пышно одетая девица, покрытая с головы до ног богатой фатою, упала без чувств на руки к старухе, которая шла позади ее. В минуту общего смятения юродивый подбежал к Юрию.

— Смотри, Дмитрич! — сказал он. — Крепись!.. Терпи!.. Стерпится — слюбится! Ты постоишь за правду, а

тезка-то, вон там, и заговорит: «Ай да сынок! Утешил мою душеньку!..» Прощай покамест!.. Митя будет молиться Богу, молись и ты!.. Он не в нас: хоть и высоко, а все слышит!.. А у Троицы-то, Дмитрич! У Троицы... раздолбе, есть где помолиться!.. Не забудь!.. — Сказав сии слова, он выбежал вон из комнаты.

Юрий едва слышал, что говорил ему юродивый; он не понимал сам, что с ним делалось: голос упавшей в обморок девицы, вероятно, дочери боярина Кручины, проник до глубины его сердца: что-то знакомое, близкое душе его отозвалось в этом крике, который, казалось Юрию, походил более на радостное восклицание, чем на вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться; но против воли Москва, Кремль, Спас на Бору и прекрасная незнакомка представились его воображению. Более получаса боярин не показывался, и когда он вошел обратно в столовую комнату, то, несмотря на то что весьма скоро притворил дверь в соседственный покой, Юрий успел разглядеть, что в нем никого не было, кроме одного высокого ростом служителя, спешившего уйти в противоположные двери. Милославскому показалось, что этот служитель походит на человека, замеченного им поутру в боярском саду.

— Дочь моя, — сказал Шалонский пану Тишкевичу, — весьма жалеет, что не может тебя видеть; она не совсем еще здорова и очень слаба; но надеюсь, что скоро...

— Заалет опять, как маков цвет, — прервал Лесута-Храпунов. — Нечего сказать, всякий позавидует пану Гонсевскому, когда Анастасия Тимофеевна будет его супругою.

— «Жена доблия веселит мужа своего, — примолвил Замятня, — и лета его исполнит миром».

— Да будет по глаголу твоему, сосед! — сказал с улыбкою Кручина. — Юрий Дмитрич, — продолжал он, подходя к Милославскому, — ты что-то призадумался... Помирился! Я и сам виню себя, что некстати погорячился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть отцу — оба мы желаем блага нашему отечеству: так ссориться нам не за что, а чему быть, тому не миновать.

Юрий в знак примирения подал ему руку.

— Ну, дорогие гости, — продолжал боярин, — теперь милости просим повеселиться. Гей, наливайте кубки! Поднесите взварец¹, да песенников — живо!

¹ Горячий напиток, род пунша, в состав которого входили: пиво, мед, вино и пряные корни. В Малороссии и до сих пор еще в употреблении сей национальный пунш под именем варенухи. (Примеч. авт.)

Толпа дворовых, одетых по большей части в охотничьи платья польского покроя, вошла в комнату. Инструментальную часть хора составляли: гудок, балалайка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина раздались удалые волжские песни, и через несколько минут столовая комната превратилась в настоящий цыганский табор. Все приличия были забыты: пьяные господа обнимали пьяных слуг; некоторые гости ревели наразлад вместе с песенниками; другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи, и даже важный Замятня-Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать голубца; но, видя, что все его усилия напрасны, пробормотал: «Сердце мое смятется и остави мя сила моя!» Пан Тишкевич хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в свою комнату; он желал этого тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему должно было отправиться чем свет в дорогу.

Громкие восклицания возвестили появление плясунов и плясуний. Бесстыдство и разврат, во всей безобразной наготе своей, представились тогда изумленным взорам Юрия. Он не смел никогда и помыслить, чтоб человек, созданный по образу и по подобию Божию, мог унизиться до такой степени. Все гости походили на беснующихся; их буйное веселье, неистовые вопли, обезображенные вином лица — все согласовалось с отвратительным криком полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен. Боярину Кручине показалось, что один из плясунов прыгает хуже обыкновенного.

— Эге, Андрюшка! — закричал он. — Да ты никак стал умничать? погоди, голубчик, у меня прибавишь провору! Гей, Томила! Удалой! В плети его!

Приказание в ту ж минуту было исполнено.

— Что, брат? — сказал с громким хохотом Кручина несчастному плясуну, которого жалобный крик сливался с веселыми восклицаниями пирующих. — Никак под эту песенку ты живее поплясываешь!.. Катай его!..

Юрий хотел было умиловить боярина; но он не стал его слушать, а Замятня-Опалев закричал:

— Не мешайся, молодец, не в свои дела! Писано есть: «Непокоривому рабу сокруши ребра»; и Сирах глаголет: «Пища и жезлие и бремя ослу; хлеб и наказание и дело рабу».

— Но он же, премудрый Сирах, вещает, — прервал Лесута, радуясь, что может также похвастаться своей ученостью. — «Не буди излишен над всякою плотию и без суда не сотвори ничесоже». Это часто изволил мне говорить блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Как теперь помню, однажды, отстояв всюнощную, его царское величество...

— Верно, пошел спать, — прервал Тишкевич. — Кажется, и нам пора. Прощай, боярин! Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь, а я привык вставать рано, так мне пора на покой.

Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике, на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь Богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину; но сон бежал от глаз его: впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось; мысль, что, может быть, он провел весь день под одною кровлею с своею прекрасной незнакомкой, наполняла его душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Но вскоре самая простая мысль уничтожила все его догадки: он много раз видал свою незнакомку, но никогда не слышал ее голоса, следовательно, если б она была и дочерью боярина Кручины, то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному только голосу; а сверх того, ему утешительнее было думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнакомка — дочь боярина Кручины и невеста пана Гонсевского. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его, воображение охладело, и Юрий наконец заснул крепким и спокойным сном.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Порядок нашего повествования требует, чтоб мы возвратились несколько назад. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша, поддержав с честью славу искусного колдуна, отправился в провожании одного слуги обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского и когда оставит его, то по какой отправится дороге. Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуяннить; но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, в трескучие морозы; но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его отцом Киршею и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра — вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтоб оказать ему хотя малейшую услугу; а посему и не удивительно, что ему весьма хотелось знать: скоро ли и куда поедет Юрий? Когда он сошел с боярского двора, то спросил своего провожатого: не знает ли он, как долго пробудет у них Милославский?

— Не знаю, — отвечал отрывисто слуга.

— А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя?

— Нет.

— Нет? Ну, если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить?

— Нет.

— А если я пойду сам искать его?

— Я не пущу тебя.

- А если я тебя не слушаю?
- Я возьму тебя за ворот.
- За ворот! А если я хвачу тебя за это кулаком?
- Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра.
- Коротко и ясно! Так мне никак нельзя его видеть?
- Нет.
- А скажи, пожалуйста: все ли боярские холопы такие медведи, как ты?
- Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь.
- Спасибо за ласку!
- Неначем.

В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе; слуга, сдав Киришу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретило его с громкими восклицаниями. Все уже знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба запорожца; старая сенная девушка, бывшая свидетельницей этого чудного излечения, бегала из двора во двор как полоумная, и радостная весть со всеми подробностями и прикрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу.

— Милости просим! батюшка, милости просим! — сказал хозяин, сажая его в передний угол. — Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена?

— Да, хозяин, испорчена.

— Правда ли, — спросил дьяк, — что лишь только ты вошел в терем, то Анастасья Тимофеевна залаяла собакою?

— И, нет, Мемнон Филиппович! — возразил один из гостей. — Татьяна сказывала, что боярышня запела петухом.

— Ну вот еще! — вскричал хозяин. — Неправда, она куковала кукушкою, а петухом не пела!

— Помилуй, Фома Кондратьич! — перервала одна толстая сваха. — Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами?

— Татьяна врет! — сказал важно Кириша. — Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит. Да и пристало ли боярской дочери лаять собакою и петь петухом! Она не ваша сестра холопка: будет с нее и того, что почахнет да потоскует.

— Истинно так, милостивец! — примолвил дьяк. — Не пригоже такой именитой боярышне быть кликушею... Иная речь в нашем быту: наше дело таковское, а их милость...

— Что толковать о боярах! — перервал приказчик. — Послушай-ка, добрый человек! Тимофей Федорович приказал тебе выдать три золотых корабленика да жалует тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни.

— Знаю, хозяин.

— Ну то-то же; смотри не позарься на вороного аргамака, с белой на лбу отметиной.

— А для чего же нет?

— Он, правда, конь богатый: персидской породы, четырех лет и недаром прозван Вихрем — русака на скаку затопчет...

— Что ж тут дурного?

— А то, что на нем не усидел бы и могучий богатырь Еруслан Лазаревич. Такое зелье, что Боже упаси! Сесть-то на него всякий сядет, только до сих пор никто еще не слезал с него порядком: сначала и туда и сюда, да вдруг как взовьется на дыбы, учнет передом и задом — батюшки-светы!.. хоть кому небо с овчинку покажется!

В продолжение этого рассказа глаза запорожца сверкали от радости.

— Давай его сюда! — закричал он. — Его-то мне и надобно! Черт ли в этих заводских клячах! Подавай нам из косяка... зверя!

— Вот еще что! — сказал приказчик, глядя с удивлением на восторг запорожца. — Видно, брат, у тебя шея-то крепка! Ну, что за потеха...

— Что за потеха! Эх, хозяин! Не арканил ты на всем скаку лихого коня, не смучивал его в чистом поле, не привадил овечкою в свой курень, так тебе ли знать потехи удалых казаков!.. Что за конь, если на нем и баба усидит!

— Да, да! — шепнул дьяк приказчику. — Ему легко: не сам сидит, черти держут.

Меж тем молодые давно уже скрылись, гости стали уходить один после другого, и вскоре в избе остались только хозяин, сваха, дружка и Кирша. Приказчик, по тогдашнему русскому обычаю, которому не следовал его боярин, старавшийся во всем подражать полякам, предложил Кирше отдохнуть, и через несколько минут в избе все стихло, как в глубокую полночь.

Кирша проснулся прежде всех. Проведя несколько часов сряду в душной избе, ему захотелось, наконец, поосвежиться. Когда он вышел на крыльцо, то заметил большую перемену в воздухе: небо было покрыто дождевыми облаками, легкий полуденный ветерок дышал теплотою; сло-

вом, все предвещало наступление весенней погоды и конец морозам, которые с неслыханным постоянством продолжались в то время, когда обыкновенно проходят уже реки и показывается зелень. В то время как он любовался переменою погоды, ему послышалось, что на соседнем дворе кто-то вполголоса разговаривает. Узнав, по опыту, как выгодно иногда подслушивать, он тихонько подошел к плетню, который отделял его от разговаривающих, и хотя с трудом, но вслушался в следующие слова, произнесенные голосом, не вовсе ему неизвестным:

— Жаль, брат Омляш, жаль, что ты был в отлучке! Без тебя знатная была работа: купчина богатый, а кладито в повозках, кладит! Да и серебреца нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дороге?

— Да, черт побери!.. — отвечал кто-то сиповатым басом. — Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался, — не тут-то было! Боярин посылает меня в ночь на нижегородскую дорогу, верст за сорок.

— Зачем?

— А вот изволишь видеть... — Тут несколько слов было сказано так тихо, что Кирша не мог ничего разобрать, потом сиповатый голос продолжал: — Он было сначала велел мне за ним только присматривать, да, видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай, верстах в десяти от Нижнего вражек в лесу?

— Как не знать!

— Туда передом четырех молодцов уж отправили, а я взялся поставить им милого дружка!.. понимаешь?

— Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про все отвечай нижегородцы: их дело, да и все тут!

— Не вовсе так, любезный! С слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить.

— Да кто этот Милославский?

— Какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы от Гонсевского, да что-то под лад не дается. Детина бойкий! Говорят, будто б он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином.

— С боярином?.. Ну, брат, видно же, сорвиголова!

— Видно, так! И правду-матку сказать, если он живой в руки не дастся...

— Так что ж? Рука, что ль, дрогнет?

— Не то чтоб дрогнула... да пора честь знать, Прокофьич!

— Полно, брат Омляш, прикидывайся с другими! Не он первый, не он последний...

— А что ты думаешь! И то сказать: одним меньше, одним больше — куда ни шло! Вот о спожинках стану говеть, так за один прием все выскажу на исповеди; а там может статья...

— В монахи, что ль, пойдешь?..

— В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич; душа надобна.

Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе; он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо; а в другом с первого взгляда узнал земского ярыжку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решил пуститься наудачу и во что б ни стало отыскать Юрия или Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиною крестьянин заступил ему дорогу.

— Пусти-ка, товарищ! — сказал Кирша, стараясь пройти.

— Не велено пускать, — отвечал крестьянин.

— Не велено! Как так?

— Да так-ста! Не приказано, вот и все тут!

— Не приказано, так не пускай! — сказал Кирша, возвращаясь во двор.

— Да не пройдешь и в задние ворота, — закричал ему вслед крестьянин, — и там приставлен караул.

— Так я здесь в западне! Ах, черт побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице.

— Я те толком говорю, слышь ты: заказано.

— Да кто заказал?

— Приказчик.

— Зачем?

— А лукавый его знает; вон спроси у него самого.

— Э, дорогой гость!.. куда? — закричал приказчик, показавшись в дверях избы. — Скоренько проснуться изволил.

— Господин приказчик, — сказал весьма важно Кирша. — Ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой?

— Не погневайся! Я приставил караул, пока спал, а теперь тотчас сниму! Эй ты, Терешка! Ступай домой!

— Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону и волен идти куда хочу.

— Вот то-то и есть, что нет, любезный! Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю.

— Да неужто в самом деле он хочет задержать меня насильно?

— От него приказано, чтоб я угощал тебя и сегодня и завтра; а послезавтра, хоть чем свет, возьми деньги да коня и ступай себе с Богом на все четыре стороны.

— Ну, было из чего караул приставлять! Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут!

— Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показывался его гостям.

— Так вот что! Он опасается, чтоб я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена.

— Видно, что так.

— Стану я толковать об этом! Да из меня дубиною слова не вышибешь!.. Что это, хозяин, никак на барском дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то веселятся!

— Что ты, брат! Неравно Тимофей Федорович тебя увидит — сохрани Боже... беда!

— Так Господь с ними! Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя... Да, кстати, вон и гости опять идут.

— Как же, любезный! И сегодня и завтра целый день все бражничают у меня.

Толпа родственников, перед которою важно выступал волостной дьяк, подошла к приказчику; молодые вышли их встречать на крыльцо; и через минуту изба снова наполнилась гостями, а стол покрылся кушаньем и различными напитками.

Тем из читателей наших, которым не удалось постоянно жить в деревне и видеть своими глазами, как наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сомнения, покажется невероятным огромное количество браги и съестных припасов, которые может поместить в себе желудок русского человека, когда он знает, что пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый человек, который съест за один прием то, чего какой-нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его плохой колодезной водою. В храмовые праздники церковный причет обходит обыкновенно все до-

мы своего селения; не зайти в какую-нибудь избу — значит обидеть хозяина; зайти и не поестъ — обидеть хозяйку; а чтоб не обидеть ни того, ни другого, иному церковному старосте или дьячку придется раз двадцать сряду пообедать. Это невероятно, однакож справедливо, и мы должны были сделать это небольшое отступление для того, чтоб заметить нашим читателям, что нимало не погрешаем против истины, заставив гостей приказчика почти непрерывно целый день пить, есть и веселиться.

Но не все гости веселились. На сердце запорожца лежал тяжелый камень: он начинал терять надежду спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым: рассеянные ответы, беспокойные взгляды, нетерпение, задумчивость — все изобличало необыкновенное волнение души его. К счастью, прежде чем хозяин мог это заметить, одна счастливая мысль оживила его надежду; взоры его прояснились, он взглянул веселее и, обращаясь к приказчику, сказал:

— Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню?

— Нельзя, любезный! Я должен быть при тебе неотлучно; а ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось?

— А вот что: помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней, ну да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет?

— Да, брат, больно лих.

— Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привести.

Приказчик задумался.

— Привести-то можно, — сказал он, наконец, — но уговор лучше денег: любуйся им как хочешь, но верхом не садись.

— Да как же я узнаю: годится ли он для меня или нет? Позволь на нем по улице проехать.

— Нет, дорогой гость, нельзя.

— Нельзя так нельзя, вели хоть так привести.

— Андрюшка! — сказал приказчик одному молодому парню, который прислуживал за столом. — Сбегай, брат, на конный двор да вели конюхам привести сюда вороного персидского жеребца.

Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяином и гостями, встал потихоньку из-за стола; он тотчас заметил, что хотя караул был снят от ворот, но зато у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо которого

прокрасться было невозможно. Запорожец отыскал свою саблю, прицепил ее к поясу, надел через плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил первого: весело ли ему будет называться дедушкою?

— Как же! — отвечал приказчик. — Я и сплю и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора — шестой десяток доживаю.

— А что бы ты хотел для первой радости, — продолжал запорожец, — внука или внучку?

— Вестимо, внука! Девка — товар продажный: не успеет подрасти, ан, глядишь, и сбывай с рук.

— А я, прошу не погневаться, — сказал дьяк, — хочу не внука, а внучку.

— А почему так? — спросил хозяин.

— Да так! Скоро ли от внука-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее.

— Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь! Пустое, сват: дай Господи внука!

— Пошли Господи внучку!

— Так не будет же по-твоему!

— Ан будет! и если святые угодники услышат грешные мои молитвы...

— Послушайте, господа честные, — перервал Кирша, — ну, если я службу вам обоим?

— Как так? — спросили вместе дьяк и приказчик.

— А вот как: если я захочу, то молодая родит двойни — мальчика и девочку.

— То-то бы знатно! — вскричал приказчик. — Я стал бы лелеять внука...

— А я нанчить внучку! — примолвил дьяк. — Да не издеваешься ли ты над нами.

— Право, нет! Послушай, хозяин, — продолжал Кирша вполголоса, — припаси мне завтра крупчатой муки да сотового меду; я изготовлю пирожок, и как молодые его покушают, то чрез девять месяцев ты с внуком, а он с внучкою.

— Неужто в самом деле? — вскричал приказчик.

— Уж я вам говорю. Припасите две зыбки да приискивайте имена для новорожденных.

— Я назову внука Тимофеем, в честь боярина, — сказал приказчик.

— А я внучку — Анастасией, в честь боярышни, — примолвил дьяк.

— Так за здравие Тимофея и Анастасьи! — возгласил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный ковш с брагою. — Многие лета!

— Многие лета! — воскликнули все гости.

— Ах ты родимый! — сказал приказчик, обнимая запорожца. — Чем мне отслужить тебе? Послушай-ка: если я к трем боярским корабленикам прибавлю своих два... три... ну, куда ни шло!.. четыре алтына...

— Нет, хозяин, не такое дело: за это мне денег брать не велено; а если хочешь меня потешить, так не пожалей завтра за обедом романей.

— И вишневки, и романей, и фряжского вина... и что твоей душеньке угодно будет!

— Ой ли так? Ладно же, хозяин, — по рукам!

— По рукам, любезный! Постой-ка: вот, кажется, и Вихря привели... Что за конь!

Кирша и все гости встали из-за стола и вышли вслед за хозяином на улицу. Два конюха с трудом держали под уздцы вороного жеребца. Он был среднего роста, но весьма красив собою: волнистая грива, блестя как полированный агат, опускалась струями с его лебединой шеи; он храпел, взрывал копытом землю, и кровавые глаза его сверкали, как раскаленное железо. При первом взгляде на борзого коня Кирша вскрикнул от удивления; забилося сердце молодоецкое в груди удалого казака; он забыл на несколько минут все свои намерения, Милославского, самого себя, — и в немом восторге, почти с подобострастием смотрел на Вихря, который, как будто бы чувствуя присутствие знатока, рисовался, плясал и, казалось, хотел совсем отделиться от земли.

— Ну, что, — спросил приказчик, — не правду ли я тебе говорил? Смотреть любо, знатный конь!.. А на что он годится?

— Почему знать, хозяин? Мы и не таких зверей умучивали, и если б ты дозволил мне дать на нем концов десяток вдоль этой улицы, так, может статься...

— Нет, любезный, помни уговор.

— Да чего ты боишься?

— Как чего? Бог весть, что у тебя на уме. Как вздумаешь дать тягу, так куда мне будет деваться от боярина?

— Тьфу пропасть! Да на кой черт мне тебя обманывать? Ведь послезавтра я волен ехать куда хочу?

— То дело другое, приятель! Послезавтра, пожалуй, я сам тебя подсажу, а теперь — ни, ни!..

— Ну, хозяин! ты не хочешь меня потешить, так не погневайся, если и я тебя тешить не стану.

— Эх, любезный! и рад бы радостью, да рассуди сам... Как ты думаешь, сват? — продолжал приказчик, обращаясь к дьяку, — дать ли ему промять Вихря или нет?

— Как ты, Фома Кондратыч, а я мыслю так: когда тебе наказано быть при нем неотлучно, то довлеет хранить его как зеницу ока, со всякою опасностью, дабы не подвергнуть себя гневу и опале боярской.

— Ну вот, слышишь, что говорят умные люди? Нельзя, любезный!

— Я вижу, господин дьяк, — сказал Кирша, — ты уж раздумал и в прадеды не хочешь: а жаль, была бы внучка!

— Я ничего не говорю, — возразил дьяк, — видит Бог, ничего! Как хочет сват.

— И я дурак! — продолжал Кирша, — есть о чем просить! Не нынче, так послезавтра, а я все-таки с конем, и вы все-таки без внучат.

— Как так? Помилуй! — вскричали приказчик и дьяк.

— Да так! Пословицу знаете? «Как аукнется, так и откликнется!..» Пойдемте назад в избу!

— Не троньте его, — сказал вполголоса один из конюхов. — Вишь, какой выскочка! Не хуже его пытались усидеть на Вихре, да летали же вверх ногами. Пускай сядет: я вам порукою — не ускачет из села.

— Да, да, — примолвил другой конюх, — видали мы хватов почище его! Мигнуть не успеете, как он хватится оземь, лишь ноги загремят!

— Добро, так и быть, любезный! — сказал приказчик Кирше, — если уж ты непременно хочешь... Да что тебе загорелось?

— Бегите, ребята, — шепнул дьяк двум крестьянским парням, — ты на тот конец, а ты на этот: покарауйте да приприте хорошенько околицу.

— Ох, сват! — сказал приказчик, — недаром у меня сердце замирает! Ну, если... упаси Господи!.. Нет, — продолжал он решительным голосом, схватив Киршу за руку, — воля твоя, сердись или нет, а я тебя не пускаю! Как ускачешь из села...

— Право! А золотые-то боярские корабленики? Небось вам оставлю? Вот дурака нашли!

— А что ты думаешь, сват? — продолжал приказчик, убежденный этим последним доказательством. — В самом деле, черт ли велит ему бросить задаром три корабленика?.. Ну, ну, быть так: оседлайте коня.

В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных расступилась; Кирша оправился, подтянул кушак, надвинул шапку и не торопясь подошел к коню. Сначала он стал его приголубливать: потрепал ласково по шее, погладил, потом зашел с левой стороны и вдруг, как птица, вспорхнул на седло.

— Дальше, ребята, дальше! — закричали конюхи. — Смотрите, какая пойдет потеха!

Народ отхлынул, как вода, и наездник остался один посреди улицы. Не дав образумиться Вихрю, Кирша приударил его нагайкою. Как разъяренный лев, дикий конь встряхнул своей густою гривой и взвился на воздух; народ ахнул от ужаса; приказчик побледнел и закричал конюхам:

— Держите его, держите! Ахти! Не быть ему живому! Держите, говорят вам!

— Да! Черт его теперь удержит! — сказал один из конюхов. — Как слетит наземь, так мы его подыдем.

— Ах, батюшки! — продолжал кричать приказчик. — Держите его! Слышите ль, боярин приказал мне угощать его завтра, а он сегодня сломит себе шею! Господи, господи, страсть какая!.. Ну, пропала моя головушка!

Меж тем удары калмыцкой плети градом сыпались на Вихря; бешеный конь бил передом и задом; с визгом метался направо и налево, загибал голову, чтоб схватить зубами своего седока, и вытягивался почти прямо, подымаясь на дыбы; но Кирша как будто бы прирос к седлу и продолжал не уставая работать нагайкою. Толпа любопытных зрителей едва переводила дух, все сердца замирали... Более получаса прошло в этой борьбе искусства и ловкости с силою; наконец, полуизмученный Вихрь, соскучив бесноваться на одном месте, пустился стрелою вдоль улицы и, проскакав с версту, круто повернул назад; Кирша пошатнулся, но усидел. Казалось, неукротимый конь прибегнул к этому способу избавиться от своего мучителя, как к последнему средству, после которого должен был покориться его воле; он вдруг присмирел и, повинувшись искусному наезднику, пошел шагом, потом рысью описал несколько кругов по широкой улице и, наконец, на всем скаку остановился против избы приказчика.

— Жив ли ты? — вскричал хозяин.

— Ну, молодец! — сказал один из конюхов, смотря с удивлением на покрытого белой пеною аргамака. — Тебе и владеть этим конем!

— А я так не дивлюсь, — продолжал дьяк, обращаясь к приказчику, — ведь я говорил тебе: не сам сидит, черти держут!

— Слезай проворней, любезный, — продолжал приказчик. — Пока ты не войдешь в избу, у меня сердце не будет на месте.

— Не торопись, хозяин, — сказал Кирша, — дай мне покрасоваться... Не подходите, ребята! — закричал он конюхам, — не пугайте его... Ну, теперь не задохнется, — прибавил запорожец, дав время коню перевести дух. — Спасибо, хозяин, за хлеб за соль! Береги мои корабленики да не поминай лихом!

— Как!.. Что?.. — закричал приказчик.

Вместо ответа запорожец ослабил поводья, понагнулся вперед, гикнул и как молния исчез из глаз удивленной толпы.

— Держите его, держите! — раздался громкий крик приказчика, заглушаемый общим восклицанием изумленного народа.

Но Кирша не опасался ничего: поставленный на въезде караульный, думая, что сам сатана в виде запорожца мчится к нему навстречу, сотворив молитву, упал ничком на землю. Кирша перелетел на всем скаку через затворенную околицу, и когда спустя несколько минут он обернулся назад, то построенный на крутом холме высокий боярский терем показался ему едва заметным пятном, которое вскоре совсем исчезло в туманной дали густыми тучами покрытого небосклона.

II

Все спали крепким сном в доме боярина Кручины. Многие из гостей, пропировав до полуночи, лежали преспокойно в столовой: иные на скамьях, другие под скамьями; один хозяин и Юрий с своим слугою опередили солнце; последний с похмелья едва мог пошевелить головою и поглядывал не очень весело на своего господина. Боярин Кручина распрощался довольно холодно с своим гостем.

— Желаю тебе, Юрий Дмитрич, благополучно съездить в Нижний, — сказал он, — но я опасаюсь, чтоб ты не испытал на себе самом, каковы эти нижегородцы. Прощай!

— Ты хотел, Тимофей Федорович, дать мне грамоту к боярину Истоме-Туренину, — сказал Юрий.

— Да, да! Но я передумал; теперь это лишнее... иль нет... — продолжал боярин, спохватясь и чувствуя, что он некстати проговорился. — Благо уж лист мой готов, так все равно: вот он, возьми! Счастливой дороги! Да милости просим на возвратном пути, — прибавил он с насмешливой улыбкою и взглядом, в котором отражалась вся злоба адской души его.

Никогда и ни с кем Юрий не расставался с таким удовольствием: он согласился бы лучше снова провести ночь в открытом поле, чем вторично переночевать под кровлею дома, в котором, казалось ему, и самый воздух был напоитан изменою и предательством. Раскланявшись с хозяином, он проворно вскочил на своего коня и, не оглядываясь, поскакал вон из селения.

Мы, русские, привыкли к внезапным переменам времени и не дивимся скорым переходам от зимнего холода к весеннему теплу; но тот, кто знает север по одной наслышке, едва ли поверит, что Юрий, захваченный накануне погодою и едва не замерзший с своим слугою, должен был скинуть верхнее платье и ехать в одном кафтане. Во всю ночь, проведенную им в доме боярина Кручины, шел проливной дождь, и когда он выехал на большую дорогу, то взорам его представились совершенно новые предметы: тысячи быстрых ручьев стремились по скатам холмов, в оврагах ревели мутные потоки, а низкие поля казались издалека обширными озерами. Когда наши путешественники потеряли из виду отчину боярина Шалонского, Алексей, сняв шапку, перекрестился.

— Ну, теперь отлегло от сердца! — сказал он. — Хвала Творцу небесному! Вырвались из этого омута. Если б ты знал, боярин, чего я вчера наслушался и рассмотрелся...

— Я также слышал и видел довольно, Алексей.

— Да тебе, Юрий Дмитрич, хорошо было пировать с хозяином; заглянул бы к нам в застольную: ни дать ни взять лобное место! Тот пролил стакан меду — дерут! этот обмишулился и подал травнику вместо наливки — порют! чихнул громко, кашлянул — за все про все катают! Ах ты, Владыко небесный! Ну, ад крошечный да и только! Правда, и холопи-то хороши: как подпили да начали похваляться, так у меня волосы дыбом стали! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Ведь дневной разбой; сам боярин обозы останавливает, и если купец, проезжая чрез его отчину, не пойдет к нему с поклоном, так уж, наверное, выедет из села в одной рубашке. Помнишь вчерашнего купца, которого мы застали на постоялом дворе? Он было хотел

втихомолку проехать мимо села задами, ан и попался в беду! Облупили его как липку да из четырех лошадей двух выпрягли: ты, дескать, поедешь теперь налегке, так и две доvezут!

— Возможно ли? И на него нет управы?..

— И, Юрий Дмитрич, кому его унимать! Говорят, что при царе Борисе Феодоровиче его порядком было скрутили, а как началась суматоха, пошли самозванцы да поляки, так он принялся буйнить пуще прежнего. Теперь времена такие: нигде не найдешь ни суда, ни расправы.

— Однакож, Алексей, мне кажется, тебе вчера вовсе не было скучно: ты насилу на ногах стоял.

— Виноват, боярин! В этом проклятом доме только и хорошего, что одно вино. Как не выпьешь лишней чарки? А нечего сказать: каково вино и мед!.. Хоть у кого с двух стаканов в голове затрещит!

— Не узнал ли ты чего-нибудь о Кирше?

— Как же! Я вчера встретился с ним на боярском дворе, да не успел двух слов перемолвить: его вели к боярину.

— Зачем?

— Не знаю; мне только проболтался один пьяный слуга, что Кирше большая честь была: боярин подарил ему коня и велел приказчику угощать его как самого себя.

— Что б это значило?

— Кто его знает; уж не остался ли служить у боярина? Товарищами у него будут все сорванцы да разбойники, он сам запорожский казак, так ему житье будет привольное; глядишь — еще боярин сделает его есаулом своей разбойничьей шайки! Рыбак рыбака далеко в плесе видит!

— Нет, Алексей, Кирша добрый малый; он не может быть разбойником; и после того, что он для меня сделал...

— А что такое он сделал? Он был у тебя в долгу, так диво ли, что вздумал расплатиться? Ведь и у разбойника бывает подчас совесть, боярин; а что б он был добрый человек — не верю! Нет, Юрий Дмитрич, как волка ни корми, а он все в лес глядит.

Юрий не отвечал ни слова; погруженный в глубокую задумчивость, он старался не помышлять о настоящем, искал — но тщетно — утешения в будущем, и только изредка воспоминание о прошедшем услаждало его душу. Милославский был свидетелем минутной славы отечества; он сам с верными дружинами под предводительством юноши-героя, бессмертного Скопина, громил врагов России; он не знал тогда страданий безнадежной любви; веселый, беспечный юноша, он любил Бога, отца, святую Русь и не-

навидел одних врагов ее, а теперь... Ах! сколько раз завидовал он участи своего полководца, который, как будто б предчувствуя бедствия России, торопился украсить лаврами юное чело свое и, обремененный не летами, но числом побед, похоронить вместе с собою все надежды отечества!

Наши путешественники, миновав Балахну, от которой отчина боярина Кручины находилась верстах в двадцати, продолжали ехать, наблюдая глубокое молчание. Соскучив не получать ответов на свои вопросы, Алексей по обыкновению принялся насвистывать песню и понукать Серко, который начинал уже приостанавливаться. Проведя часа два в сем занятии, он потерял, наконец, терпение и решился снова заговорить с своим господином.

— Пора бы нам покормить коней, — сказал он. — В Балахне ты не хотел остановиться, боярин, и вот уж мы проехали верст пятнадцать, а жилья все нет как нет.

— Мне кажется, вон там... подле самого лесу... Ты зорек, Алексей, посмотри: не изба ли это?

— Нет, Юрий Дмитрич, это простой шалаш или стог сена, а только не изба.

— Не ошибаюсь ли я? Мне кажется, подле этого шалаша кто-то стоит... видишь?

— Вижу, боярин: вон и конь привязан к дереву... Ну, так и есть: это стог сена. Верно, какой-нибудь проезжий захотел покормить даром свою лошадь... Никак он нас увидел... садится на коня... Кой прах! Что ж он стоит на одном месте? ни взад, ни вперед!.. Он как будто нас дожидается... Полно, добрый ли человек?.. Смотри! Он скачет к нам... Берегись, боярин!.. Что это? С нами крестная сила! Не дьявольское ли наваждение?.. Ведь он остался в отчине боярина Шалонского?.. Ах, батюшки-светы!.. Точно, это Кирша!

— Подобру ли, поздорову, Юрий Дмитрич? — закричал запорожец, подскакав к нашим путешественникам.

— Эк тебя нелегкая носит! — сказал Алексей. — Что ты, с неба, что ль, свалился?

— Нет, товарищ, не с неба свалился, а вырвался из ада, — отвечал запорожец, повернув свою лошадь.

— Мы думали, что ты остался у боярина Шалонского, — сказал Юрий.

— Он было хотел меня задержать, да Кирша себе на уме! По мне лучше быть простым казаком на воле, чем атаманом под палкою какого-нибудь боярина. Ну что, Юрий Дмитрич, вам, чай, пора дать коням вздохнуть?

— Доедем до первой станции, так остановимся.

— Отсюда близехонько есть небольшой выселок — вон там... за этим лесом. Я боялся вас проглядеть, так стоял постоем на большой дороге.

— И, как видно, не больно исхарчился, любезный, — примолвил Алексей. — Смотри, как растрепал стог сена! Наверяд ли хозяин скажет тебе спасибо.

— А вольно ж ему ставить стога на большой дороге, — отвечал хладнокровно запорожец.

— Скажи, Кирша, — спросил Юрий, — за что ты попал в милость к боярину Кручине?

— За то, что взялся не за свое дело.

— Как так?

— А вот как, Юрий Дмитрич: я был смолоду рыбаком, не знал устали, трудился день и ночь; раз пять тонул, заносило меня погодою к басурманам; словом, натерпелся всякого горя, а деньжонок не скопил. Пошел в украинские казаки, служил верой и правдой гетману, рубился с поляками, дрался с татарами, сносил холод и голод — и нечего было послать моим старикам на одежку. Записался в запорожцы, уморил с горя красную девицу, с которой был помолвлен, терпел нападки от своих братьев казаков за то, что миловал жен и детей, не увечил безоружных, не жег для забавы дома, когда в них не было вражеской засады, — и чуть было меня не зарыли живого в землю с одним нахалом казаком, которого за насмешки я хватил неловко по голове нагайкою... да, к счастью, он отдохнул. Потом таскался два года с польским войском, лил кровь христианскую, спас от смерти пана Лисовского, и все-таки не разбогател. А вздумал однажды на роду прикинуться колдуном — так мне за это дали три золотых корабленика да этого аргамака, которому, веришь ли, Юрий Дмитрич, цены нет, — примолвил Кирша, лаская своего борзого коня и поглядывая на него с нежностью страстного любовника.

— Что за вздор! — сказал Юрий. — Как ты мог прикинуться колдуном?

— И, боярин, мало ли чем прикидываются люди на белом свете, да не всем так удается, как мне. Знаешь ли, что я не на шутку сделался колдуном и, если хочешь, расскажу сейчас по пальцам, что у тебя на душе и о чем ты тоскуешь?..

— Мудрен бы ты был, если б отгадал.

— А вот увидишь.

Кирша посмотрел на него пристально и продолжал:

— Боярин! Тебя сокрушила черноглазая красавица — не правда ли?

Юрий поглядел с удивлением на запорожца.

— Что ты, боярин, слушаешь этого балясника? — сказал Алексей. — Большое диво отгадать, когда я сам ему об этом проболтался!

— Что дашь, боярин, — продолжал запорожец, не слушая Алексея, — если я скажу тебе, кто такова родом и где живет теперь твоя чернобровая боярышня?

— Перестань шутить, Кирша!

— Я не шучу, Юрий Дмитрич: ты видал ее в Москве, в соборном храме Спаса на Бору.

— Вот те раз! — вскричал Алексей. — Да этого я ему не сказывал! Видит Бог, не сказывал! От кого ты узнал?..

— То ли еще я знаю! Вот ты, Юрий Дмитрич, не ведаешь, любит ли она тебя, а я знаю.

— Возможно ли? — вскричал Милославский, остановив свою лошадь.

— Да, боярин; она по тебе сохнет пуще, чем ты по ней.

— Итак, она еще не замужем?

— Нет.

— Но кто она? где живет? как ты мог узнать?.. Говори, говори скорее!..

— И сердце твое не чуяло, что ты ночевал с ней под одной кровлею?.. Она дочь боярина Кручины-Шалонского.

— Невеста пана Гонсевского? — вскричал Алексей.

— Невеста, а не жена.

— Дочь боярина Кручины!.. — прошептал Юрий, побледнев, как приговоренный к смерти. — Боярина Кручины!.. — повторил он с отчаянием. — Итак, все кончено!..

— Нет, не все, Юрий Дмитрич! Мало ли что может случиться? И если тебе суждено на ней жениться!..

— На ней!.. Никогда, никогда! — перервал Милославский, — но, может быть, ты обманулся... да, добрый Кирша, ты, точно, обманулся... Эта кроткая девица, этот ангел красоты... дочь Шалонского... Невозможно!..

— Да что мы остановились, боярин? Лошадей балясами не кормят. Поедем шажком вперед; до деревушки версты три, так я успею тебе рассказать все, и тогда ты согласишься, что я тебя не обманываю.

Юрий слушал со вниманием рассказ запорожца, и чем вернее казалось, что прекрасная незнакомка — дочь боярина Кручины, тем мрачнее становились его взоры. Он не помышлял о препятствиях: обстоятельства и время могли

их разрушить; его не пугало даже то, что Анастасья была невеста пана Гонсевского; но назвать отцом своим человека, которого он презирал в душе своей, соединиться узами родства с злодеем, предателем отечества... Ах, одна эта мысль превращала в ничто все его надежды! Если бы все благоприятствовало любви его, то собственная его воля была бы непреодолимым препятствием. Супруг дочери боярина Кручины мог ли, не краснея, слышать об измене и предательстве? Мог ли призывать правдивое мщение небес и сограждан на главу крамольников, обрекших гибели и вечному позору свою родину? Если без Анастасии он не мог быть совершенно счастливым, то спокойная совесть, чистая, святая любовь к отечеству, уверенность, что он исполнил долг православного, не посрамил имени отца своего, — все могло служить ему утешением и утверждало в намерении расстаться навсегда с любимой его мечтою. Но когда Кирша стал рассказывать о разговоре своем с Анастасиею, когда Юрий узнал, как был любим, то все мужество его поколебалось.

— Довольно, — сказал он прерывающимся голосом, — довольно!.. Я не хочу знать ничего более.

— Как хочешь, боярин, — отвечал Кирша, взглянув с удивлением на Милославского.

— Несчастный! мог ли я думать, что блаженнейший час в моей жизни будет для меня Божьим наказанием!.. Не говори... не говори ничего более!

— Я и так молчу, боярин.

— Ах, Кирша! зачем ты сказал мне!.. Какой ангел тьмы внушил тебе мысль...

— Виноват, Юрий Дмитрич! я думал тебя порадовать: Анастасья Тимофеевна...

— Молчи!.. Не произноси никогда этого имени!

— Слушаю, боярин.

— Не напоминай мне никогда... или нет, расскажи мне все! Что она говорила с тобою?.. Знает ли она, что я крушусь по ней, что белый свет мне опостылел?..

— Как же! она ожила, когда узнала, что ты ее любишь. Вспомнить не могу, так слезы ручьями и полились...

— Боже мой, боже мой!

— Зарыдала, принялась молиться Богу...

— Перестань, Кирша... перестань!..

— Да помилуй, боярин, — сказал запорожец, не понимая истинной причины горести Милославского, — отчего ты так кручинишься? Во-первых, и то слава Богу, что ты узнал, наконец, кто такова твоя незнакомая красавица;

во-вторых, почему ты ей не суженый? Ты знаменитого рода, богат, молодец собою; она помолвлена за пана Гонсевского, а все-таки этой свадьбы не бывать. Припомни мое слово: скоро ни одной приходской церкви не останется во владении у гетмана, и он, со всей своей польской ордою, не будет сметь из Кремля носа показать. Все православные того только и ждут, чтоб подошла рать из низовых городов, и тогда пойдет такая ножовщина... Да что и говорить!.. Если все русские примутся дружно, так где стоять ляхам! Много ли их?.. шапками закидаем!

— Ты забыл, Кирша, что я целовал крест Владиславу.

— Эх, боярин! ну если вы избрали на царство королевича польского, так что ж он сидит у себя в Кракове? Давай его налицо! Пусть примет веру православную и владеет нами! А то небось прислали войско да гетмана, как будто б мы присягали полякам! Нет, Юрий Дмитрич, видно по всему, что король-то польский хочет вас на бобах провести.

Никогда еще Юрию не приходила в голову эта мысль, и хотя она выражена была несколько грубо, но поразила его своею истиною.

— Ах, Кирша! — вскричал он с восторгом. — Я позабыл бы все мое горе, если б мог увериться в истине слов твоих!.. Но, к несчастью, это одни догадки; а я клялся быть верным Владиславу, — прибавил Юрий, и сверкающий, исполненный мужества взор, ожививший на минуту угрюмое чело его, потух, как потухает на мрачных осенних небесах мгновенный блеск полуночной зарницы.

Меж тем наши путешественники подъехали к деревне, в которой намерены были остановиться. Крайняя изба показала им просторнее других, и хотя хозяин объявил, что у него нет ничего продажного, и, казалось, не слишком охотно впустил их на двор, но Юрий решился у него остановиться. Кирша взялся убрать коней, а Алексей отправился искать по другим дворам для лошадей корма, а для своего господина горшка молока, в котором хозяин также отказал проезжим.

Может быть, кто-нибудь из читателей наших захочет знать, почему Кирша не намекнул ни Юрию, ни Алексею о предстоящей им опасности, тем более что главной причиною его побега из отчины Шалонского было желание предупредить их об этом адском заговоре? Но дорогою он передумал. Счастливый случай открыл ему сердечную тайну Милославского и прекрасной Анастасии, а вместе с этим поселил в душе его непреодолимое желание во что б ни

стало соединить двух любовников. Мы говорили уже, что он полагал почти священной обязанностью мстить за нанесенную обиду и, следовательно, не сомневался, что Юрий, узнав о злодейском умысле боярина Кручины, сделается навсегда непримиримым врагом его, то есть при первом удобном случае постарается отправить его на тот свет. Хотя Кирша был и запорожским казаком, но понимал, однакож, что нельзя было Юрию в одно и то же время мстить Шалонскому и быть мужем его дочери; а по сей-то самой причине он решился до времени молчать, не упуская, впрочем, из виду главной своей цели, то есть спасения Юрия от грозящей ему опасности.

Юрий, войдя в избу, спросил хозяина, кому принадлежит пегая лошадь, которую он заметил, проходя двором.

— Проезжий, батюшка, — отвечал хозяин, — едет из Казани в Нижний.

— Да где же он?

— Вышел поискать себе съестного. У меня и хлеба-то вдоволь нет; дней пять тому назад нагрнула ко мне целая ватага шишей¹: все приели; слава тебе Господи! что голова на плечах осталась!

— А разве и здесь эти разбойники водятся?

— Недавно показались. Послушаешь их, так они-то одни и стоят за веру православную; а попадись им в руки хоть басурман, хоть поляк, хоть православный, все равно — рубашки на теле не оставят.

— Так поэтому теперь опасно ездить по вашей дороге?

— Нет, батюшка, Господь милостив! До этих хабрецов дошла весть, что верстах в тридцати отсюда идет польская рать, так и давай Бог ноги! Все кинулись назад по Волге за Нижний, и теперь на большой дороге ни одного шиша не встретишь.

— Вот, боярин, молоко: кушай на здоровье! — сказал Алексей, войдя в избу. — Ну, деревенька! словно после пожара — ничего нет! Насилу кой-как нашел два горшочка молока у одной старухи. Хорошо еще, что успел захватить хоть этот; а то какой-то проезжий хотел оба взять за себя. Хозяин, дай мне хоть хлебца! да нет ли стаканчика браги? Одолжи, любезный!

Когда Кирша вошел опять в избу, хозяин поставил на стол деревянный жбан с брагою и положил каравай хлеба.

¹ Так прозвали поляки буйные толпы не подчиненных никакому порядку русских партизан, или охотников, которых можно уподобить испанским гверилласам (Примеч авт)

К счастью, наши путешественники так хорошо были угощены накануне, что почти вовсе могли обойтись без обеда. К тому же Юрий отказался от еды, и хотя сначала Алексей уговаривал его покушать и не дотрагивался до молока, но, наконец, видя, что его господин решительно не хочет обедать, вздохнул тяжело, покачал головою и принялся вместе с Киршею так усердно работать около горшка, что в два мига в нем не осталось ни капли молока. Окончив эту умеренную трапезу, Алексей вышел вон из избы и минут через пять прибежал назад как бешеный. Никогда еще Милославский не видал своего смиренного Алексея в таком необычайном расположении духа; он почти был уверен, что этот тихий малый во всю жизнь свою не сердился ни разу, и потому неудивительно, что с некоторым беспокойством спросил: что с ним случилось?

— Что со мной случилось, боярин! — отвечал, запыхавшись, Алексей. — Черт бы ее побрал! Старая колдунья!.. Ведьма киевская!.. Слыхано ли дело!.. Живодерка проклятая!

— Да кто? На кого ты так озлился?

— Ну, есть ли в ней Христос — пять алтын!.. Да стоит ли она сама, с внучатами, с коровою и со всеми своими животами, пять алтын! Ах, старая карга!.. Смотри пожалуй, пять алтын!

— Скажешь ли ты мне, наконец?..

— Как бы знато да ведано, так я лучше подавился бы сухою коркою, чем хлебнул хоть ложку ее снятого молока! Как ты думаешь, боярин, эта старушонка просит за свой горшочек молочишка пять алтын!.. Пять алтын, когда за две копейки можно купить целую корчагу сливок!

— Ты сам виноват, Алексей: зачем не торговался?

— Да кому придет в голову... беззубая жидовка!..

— О чем тут кричать? Заплати ей, что она требует, так и дело с концом!

— Нет, боярин, хоть убей меня на этом месте...

— Алексей! я не люблю приказывать десять раз одно и то же.

— Ну, как хочешь, боярин, — отвечал Алексей, понизив голос. — Казна твоя, так и воля твоя; а я ни за что бы не дал ей больше копейки... Слушаю, Юрий Дмитрич, — продолжал он, заметив нетерпение своего господина. — Сейчас расплачусь.

— Позволь мне заплатить ей, боярин, — сказал Кирша, — разумеется, твоими деньгами.

— Пожалуй.

— Давай-ка пять алтын, Алексей. Да, кстати, вот никак она сама изволит сюда идти.

Старуха, в изорванной кичке и толстом сером зипуне, вошла в избу, перекрестилась и, поклонясь низехонько на все четыре стороны, сказала Алексею:

— Ну что ж, мой кормилец, не держи меня, рассчитывайся.

— Вот я с тобой рассчитаюсь, тетка, — сказал запорожец, — а он ничего не знает. Поди-ка сюда! Ты просишь пять алтын за твое молоко?

— Да, батюшка, пять алтын. Прошу не погневаться: я в своем добре вольна...

— Знаю, мой свет, знаю. Вот пять алтын — получай!

Старуха с жадностью схватила деньги и принялась их считать.

— Ну что, так ли? — спросил запорожец.

— Так, батюшка!

— Все ли ты сполна получила?

— Все, отец мой!

— Слышишь, хозяин? Будь свидетелем. Ну, тетка, глупа же ты!

— А что, мой кормилец?

— Ах ты дура неповитая! ну те ли времена, чтоб продавать горшок молока по пяти алтын? Мы нигде меньше рубля не платили.

— Как так, батюшка?

— Да так. Опростоволосилась, голубушка, вот и все тут!

— Не меньше рубля! — повторила старуха, всплеснув руками. — Ах я глупая! Все-то нас, бедных, обманывают.

— И, тетка, на то в море щука, чтоб карась не дремал!

— Не грех ли вам обижать старуху!

— Да чем мы тебя обижаем? Что запрсила, то и даем.

— Бог вам судья, господа честные, обманывать круглую сироту!

— Какая ты сирота! — закричал Алексей. — У тебя вся изба битком набита внучатами.

— Да, батюшка, мал мала меньше!

— Что ты врешь! Меньшой-то внук целой головой меня выше. Пошла вон, старая хрычовка!

— Пойду, батюшка, пойду! что ты гонишь! Прощенья просим!.. Заплати вам Господь и в здешнем и в будущем свете... чтоб вам ехать, да не доехать... чтоб вы...

— Ну, ну, проваливай! — перервал Алексей, выталкивая за дверь старуху. — Что тебе вздумалось сказать этой ведьме, — продолжал он, обращаясь к Кирше, — что мы платим везде по рублю за горшок молока?

— Как что, — отвечал запорожец, — да знаешь ли, что она теперь недели две ни спать, ни есть не будет с горя; а сверх того, первый проезжий, с которого она попросит рубль за горшок молока, непременно ее поколотит... Ну, вот посмотри: не правду ли я говорю?

В самом деле, какой-то проезжий, с которым старуха повстречалась у ворот избы, сказав с ней несколько слов, принялся таскать ее за волосы, приговаривая: «Вот тебе рубль! вот тебе рубль!..» Потом, бросив ей небольшую медную монету, вошел на двор. Кирша смотрел с большим примечанием на этого проезжего: и подлинно, наружность его обратила бы на себя внимание самого нелюбопытного человека. Он был необычайно высок, но вместе с тем так плотен и широк в плечах, что казался почти среднего роста; не только видом, но даже ухватками он походил на медведя, и можно было подумать, что небольшая, обросшая рыжеватыми волосами голова его ошибкою попала на туловище, в котором не было ничего человеческого. Лицо его выражало какое-то бездушное спокойствие; небольшие, прищуренные глаза казались заспанными, а голос напоминал дикий рев животного, с которым он имел столь близкое сходство. Этот уродливый великан, войдя в избу, поклонился нашим путешественникам и промычал:

— Доброго здорovia, господа проезжие!

Кирша вздрогнул и стал еще внимательнее рассматривать незнакомца.

— Откуда едешь, любезный? — спросил Юрий.

— Из Казани, боярин.

— В Нижний Новгород?

— Да, в Нижний.

— Так ты нам попутчик?

— Если ваша милость дозволит, так я от вас не отстаю. Хоть, правда, ничего дурного не слышно, а все-таки больше народу — едешь веселее.

— Посмотри, добрый человек, — сказал хозяин Кирше, — из ваших коней один сорвался; чтоб со двора не сбежал.

Кирша поспешил выйти на двор. В самом деле, его Вихрь оторвался от коновязи и подбежал к другим лошадям; но, вместо того чтоб с ними драться, чего и должно

было ожидать от такого дикого коня, аргамак стоял смиренхонько подле пегой лошади, ласкался к ней и, казалось, радовался, что был с нею вместе.

— Ого! — сказал Кирша. — Так вы с одной конюшни!.. Вот что!.. Видно, я не ошибаюсь: не издалека этот казанец едет.

Привязав опять на прежнее место своего коня, он возвратился в избу, подсел к проезжему, попотчевал его брагою и спросил, давно ли он из Казани.

— Ближе недели, — отвечал проезжий.

— Знатный городок! — продолжал запорожец. — Я жывал в нем месяцев по шести сряду, и у меня есть там задушевный приятель. Не знавал ли ты купца из мясного ряда, по имени Кирилла Степапова?.. а по прозванью... как бишь его?.. дай Бог память! тьфу, батюшки!.. такое мудреное прозвище... вспомнить не могу!

Тут Кирша призадумался, начал почесывать в голове, топал ногою от нетерпения и, дав незнакомому заговорить с Юрием, который стал расспрашивать его о Казани, вдруг вскрикнул: «Омляш!» Проезжий вздрогнул и быстро повернулся к Кирше.

— Да, да, — продолжал казак, не обращая, по-видимому, никакого внимания на приметный испуг проезжего, — вспомнил! Омляш... иль нет... Бурдаш, что ль?.. как-то этак. Не знавал ли ты, брат, этого купчину?

— Нет, — отвечал отрывисто проезжий, поглядев пристально на запорожца, который примолвил весьма спокойно:

— Жаль, товарищ, что ты его не знаешь. Вот уж близко года, как я с ним расстался. Что-то он, сердечный, подельывает? Говорят, будто торжишка его худо идет?

— Почему мне знать! — отвечал проезжий грубым голосом. — Если, боярин, — продолжал он, обращаясь к Юрию, — ты хочешь засветло приехать в Нижний, то мешкать нечего: чай, дорога плоха, а до города еще не близко.

— За нами дело не станет, — сказал Алексей. — Мы поели, лошади также, хоть сейчас в дорогу.

— Ступайте же, ребята, — примолвил Кирша, — да седлайте коней, а я мигом буду готов.

Проезжий и Алексей вышли из избы.

— Послушай-ка, Юрий Дмитрич, — сказал запорожец, — пистолет-то у тебя знатный, да заряжен ли он?

— А что?

— Да так, боярин: дорожным людям дремать не надобно.

— Разве ты опасешься чего-нибудь?

— Времена такие, Юрий Дмитрич. Конечно, никто как Бог, да недаром же пословица в народе: «Береженого и Бог бережет».

Выходя вон из избы, Кирша повстречался в сених с хозяином и спросил его:

— Далеко ли до Нижнего?

— Верст двадцать с походом, — отвечал хозяин.

— Мне помнится, есть овраги?

— Всего один. На половине дороги будет часовня: тут годов с пяток назад потеряли трех нижегородских купцов, а версты полторы за часовней придет овражек, да небольшой.

— Нельзя ли миновать?

— Нет-ста, не минуешь. Правда, от часовни пойдет старая дорога в город; да по ней давно уж не ездят.

— Что так?

— Буерак на буераке, и, бывало, в осеннее время вовсе проезду нет.

Кирша пошел седлать своего коня, и через четверть часа наши путешественники отправились в дорогу. Алексей не отставал от своего господина; а запорожец, держась левой стороны проезжего, ехал вместе с ним шагах в десяти позади. Несколько уже раз незнакомый посматривал с удивлением на его лошадь.

— Кой черт, — сказал он, наконец, — чем больше я смотрю... Да где ты добыл этого коня?

— А на что тебе?

— Если б только он был побойчее, так я бы в него вклепался: я точь-в-точь такого же коня знаю... ну вот ни дать ни взять, и на лбу такая же отметина. Правда, тот не пошел бы шагом, как этот... а уж так схожи меж собой, как две капли воды.

«Ага! — сказал про себя Кирша, — признал боярского коня, господин казанец!»

— Чему дивиться? — примолвил он громко. — Человек в человека приходит, а конь и подавно.

Тут дорога, которая версты две извивалась полями, повернула налево и пошла лесом. Кирша попевал беззаботно веселые песни, заговаривал с проезжим, шутил; одним словом, можно было подумать, что он совершенно спокоен и не опасается ничего. Но в то же время малейший шорох возбуждал все его внимание: он приостанавливал под разными предлогами своего коня, бросал зоркий взгляд на обе

стороны дороги и, казалось, хотел проникнуть взором в самую глубину леса.

Около двух часов ехали они, не встречая никого и не замечая никаких признаков жилья; наконец, вдали, подле самой дороги, стало виднеться что-то похожее на строение; но когда они подъехали ближе, то увидели вместо избы полуразвалившуюся большую часовню. Кирша осадил полегоньку свою лошадь и, проехав несколько шагов позади незнакомого, вдруг вскрикнул:

— Гей, товарищ! посмотри-ка, что у тебя на шапке!

Едва проезжий успел схватить ее с головы, как от сильного удара нагайкою у него посыпались искры из глаз. Он выхватил из-за пазухи длинный нож, но Кирша повторил удар — незнакомого зашатался и упал с лошади. С быстротою птицы запорожец спрыгнул с коня, кинулся на лежащего и, прежде чем он мог очнуться, скрутил ему назад руки собственным его кушаком.

— Что ты, разбойник! — вскричал Алексей.

— Разбойник-то лежит, — отвечал спокойно Кирша, затягивая узел.

— С чего ты взял?.. почему ты знаешь?.. — спросил торопливо Юрий.

— А потому знаю, что слышал своими ушами, как этот душегубец сговаривался с такими же ворами тебя ограбить. Нас дожидаются за версту отсюда в овраге... Ага, собака, очнулся, — сказал он незнакомцу, который, опомнясь, старался приподняться на ноги. — Да не уйдешь, голубчик! С вашей братьей расправа короткая, — прибавил он, вынимая из ножен саблю.

— Стой, Кирша! Я не допущу тебя! — вскричал Юрий. — Ну, если ты ошибаешься...

— Эх, боярин! Коли не веришь мне, так посмотри хорошенько на эту рожу. Ну можно ли с такой образиной не быть разбойником?

— Побойтесь Бога! что я вам сделал? — прохрипел незнакомый.

— Что, брат, заговорил! — перервал запорожец. — Так говори же все! Если ты покаешься, мы тебя помилуем; а если нет, так прощайся навсегда с белым светом! Скажывай, много ли у тебя товарищей в засаде?

— Помилуйте! каких товарищей?

— Слушай, Омляш! — закричал грозным голосом Кирша, — я знаю тебя... говори правду!

Незнакомый с ужасом взглянул на запорожца, но не отвечал ни слова.

— Так, видно, брат, с тобой один конец, — сказал Кирша, обнажив свою саблю. — Я не хочу губить твоей души — молись Богу!

— Пстой! — вскричал незнакомый.

— Нет! нам некогда с тобой растабарывать: кайся проворней в грехах или... так и быть!.. В последний раз, — примолвил Кирша, подняв свою саблю, — говори сейчас, сколько у тебя товарищей?

— Шестеро, — прошептал разбойник.

— Слышишь, боярин? — сказал Кирша. — Счастливы ты, что я дал тебе слово... Делать нечего, околевай своей смертью, проклятый! Помогите мне привязать его к дереву; да нет ли у вас чем-нибудь заткнуть ему глотку, а то, как мы отъедем, он подымет такой рев, что его за версту услышат.

Алексей вынул из кисы платок и, пособляя Кирше привязать к дереву разбойника, спросил: для чего он не предупредил их об этом в деревне?

— Я боялся, что вы не сумеете притвориться, — отвечал запорожец. — Этот вор как раз смекнул бы делом, дал тягу — и мы верно бы их рук не миновали.

— Но мы и теперь их не минуем, — сказал Юрий.

— Авось, боярин! Бог милостив! — примолвил Кирша, садясь на лошадь. — Здесь есть другая дорога. Говорят, она больно плоха, да все лучше: зато остановки не будет.

Кирша поехал вперед. Подле самой часовни дорога делилась надвое: та, которая шла направо, едва была заметна и походила более на межевую просеку, чем на большую дорогу. Кирша повернул по ней и, пробираясь с большим трудом сквозь кустарник, пеньки и кучи валежника, медленно подвигался вперед; глубокие рытвины и крутые овраги встречались им почти на каждом шагу, и только изредка на проталинах едва заметные колеи означали проезжую дорогу. С полчаса ехали они, не говоря ни слова; вдруг налево послышался отдаленный свист, ближе к ним отвечали тем же. Кирша остановился и скинул шапку. Несколько минут, подобно истукану, он пробыл в этом неподвижном положении. Едва заметно было, что он переводит дух; казалось, ни один волос не пошевелился на голове его во все время, как он прислушивался к свисту.

— Ну боярин, — сказал он, надевая шапку, — мы, точно, их миновали. Теперь надобно выбираться опять на большую дорогу; а не то мы заедем в такую трущобу, что как раз загубим всех коней.

Путешественники стали держаться левой стороны; хотя с большим трудом, но попали, наконец, на прежнюю дорогу и часа через два, выехав из лесу, очутились на луговой стороне Волги, против того места, где впадает в нее широкая Ока. Огромные льдины неслись вниз по ее течению; весь противоположный берег усыпан был народом, а на утесистой горе нагорной стороны блестили главы соборных храмов и белелись огромные башни высоких стен знаменитого *Новгорода Низовския земли*.

III

Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними; но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбацкой лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой гибели. Кругом их незаметно было никакого жилья, кроме пустых сараев и небольших рыбацких хижин без дворов, по-видимому также необитаемых. Проехав с версту по берегу реки, путешественники увидели, наконец, избу, перед которою стояло человек двадцать рыбаков; все они смотрели с большим вниманием на противоположный берег.

— Глядь-ка, боярин! — сказал Алексей. — Вон там, у пристани, никак человек идет по реке... так и есть! Ах, батюшки-светы! кого это нелегкая понесла! Смотри, смотри!.. ну... поминай как звали!

В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов двадцать от противоположного берега, провалился сквозь лед и утонул в виду множества любопытных, которые толпились на переправе.

— Ах, Боже мой! — вскричал Юрий. — Зачем пускают этот народ?..

— А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит: где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать.

Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них, седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохожий не мог бы утонуть, если б был легче на ногу.

— Да, ребята, — говорил он, — все дело в сноровке, а то как не перейти! Льдины толстые хоть кого подымут!

— Эх, Пахом Кондратьич! — возразил один молодой рыбак. — Какая теперь ходьба! Разве — прости Господи! — какой ни есть полоумный сунется.

— Ох вы, молокососы! — сказал седой старик, покачивая головою. — Не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходят по льдинам. У нас, бывало, это плевое дело!.. Да правду-матку сказать, и народ-то не тот был.

— Что ты, дедушка, больно расхвастался! — перервал Кирша. — Неужли-то на святой Руси все молодцы повывелись?

— Нет, господин проезжий, — отвечал старик, махнув рукою, — не видать мне таких удалцов, какие бывали в старину! Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас выискался бы охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку; а теперь небось — дожидайтесь! Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкою?

— Я! — сказал один широкоплечий крестьянин.

— Ай да молодец! — вскричал Кирша. — Постой-ка! Да ты никак крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк?

— А ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине?

— Ну да! Как ты сюда попал?

— Да как, горе взяло! Житья не было от приказчика; взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем, и ну придирается! За все про все отвечай Хомяк — мочушки не стало! До нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную; вот я помолился святым угодникам, да и тягу из села; а сирот Господь Бог не покинет.

— Послушай, молодец! — сказал Юрий. — Я не хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу!

— А почему нет, боярин? Смелым Бог владеет! Авось перейду!

— А если ты утонешь?

— Что на роду написано, того не миновать. Дайте-ка мне багор.

— На, молодец! — сказал седой рыбак. — Да полно, за свое ли дело берешься?

— Авось! Бог милостив!

— Нет, я не допущу тебя!.. — вскричал Юрий.

— Ой ли! Так лови ж меня, боярин! — сказал Хомяк, перепрыгнув через закраину.

— Держись правей! — закричал седой рыбак. — Вот так!.. Эй, смотри не становись на эту льдину, не сдержит!.. Ай да парень!.. Хорошо, хорошо!.. отталкивайся живей!..

багром-то, брат, багром!.. Не туда, не туда! постой!.. Ну, сбился!.. Не быть пути!..

— Ахти! — вскричал Алексей. — Сорвался... упал в воду!.. Ах, батюшки!.. тонет, сердечный!..

— Ну, ребята! — сказал старик. — Не правду ли я говорил?.. Что нынче за народ: ни силы, ни проворства... Смотрите! как ключ ко дну пошел.

— Вынырнул! — закричал Кирша. — Не робей, товарищ, не робей!

— Что толку, что вынырнул! — возразил седой рыбак. — Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки, так смелостью не возьмешь...

— Кондратьич! Кондратьич! — закричал один из молодых рыбаков. — Глядь-ка... справился!

— И впрямь справился... Смотри, пожалуй!

— Эва, как пошел... — продолжал молодой парень, — со льдины на льдину!.. Ну хват детина!.. А что ты думаешь... дойдет, точно дойдет!

— Бог весть! — сказал старик, покачивая головою. — Вишь какой торопыга! словно по полю бежит! Смотри, вплавь пошел!.. Дело!.. дело!.. Лихо, молодец!.. Знатно!.. Вот это по-нашенски!

Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил усилия, перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже и наконец, борясь ежеминутно с смертью, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, оборотясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощаник отчалил от берега и, пристав к тому месту где ждали проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностью на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа; но его уже не было на пристани. Заплатя щедро рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома-Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея.

Чтоб подняться на гору, Милославский должен был проехать мимо Благовещенского монастыря, при подошве которого соединяется Ока с Волгою. Приостановясь на минуту, чтоб полюбоваться прелестным местоположением этой древней обители, он заметил полуодетого нищего, ко-

торый на песчаной косе против самых монастырских ворот, играл с детьми и, казалось, забавлялся не менее их. Увидев проезжих, нищий сделал несколько прыжков, от которых все ребятишки померли со смеху, и, подбежав к Юрию, закричал:

— Здравствуй, Дмитрич!

— А! Митя, ты здесь! Когда ты успел?!

— Эко диво... Шел, шел, да и пришел. Завтра, брат, здесь пир во весь мир, так я торопился.

— Какой пир?

— А вот сам увидишь. Жаль мне тебя, сердечный! Для всех будет праздник, а для тебя будни.

— Как так, Митя?.. Разве я не православный?

— Вот то-то то и горе, Дмитрич: ты, чай, справляешь праздники по московским святцам?

— Я тебя не понимаю.

— Мало ли чего ты не понимаешь! Сам виноват: не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться!.. А у кого ты пристанешь, Дмитрич?..

— У боярина Истома-Туренина.

— Ай да хват!.. Смотри, пожалуй! Из огня да в полымя!.. Ну, Дмитрич! держи ухо востро!.. Ты, чай, знаешь, где сказано: «Будьте мудры яко змии и цели яко голубие?» Смотри не поддавайся! Андрюшка Туренин умен... поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку, другую... а как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким; да каково-то с похмелья будет!.. Станешь каяться, да поздно!

— Спасибо, Митя! Я не забуду твоих советов. Но мне пора...

— С Богом, голубчик! ступай!.. Да слушай, молодец: как будешь у Сергия, так помолись и за меня. Смотри не забудь!

Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками; а Милославский, поднявшись в гору, въехал Ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истома. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низки и некрасиво построены. В небольшой передней комнате встретился Юрию опрятно одетый слуга, и когда Милославский сказал ему свое имя, то, попросив его пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину. Двери через минуту отворились, и хозяин с распростертыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю.

— Милости просим, Юрий Дмитрич! — воскликнул он, обнимая Милославского. — Добро пожаловать!.. Ну, могли я ожидать такой радости?!.. Сын друга моего!.. Милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках моих!.. Милославский у меня в дому!.. Ах, мой родимый! Да как же ты вырос!.. каким стал молодцом!.. Эй, Пармен!.. Никанор! накрывайте на стол!.. Накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей. Да принесите сюда бутылочку имбирного меда... Садись, мой ясный сокол!.. Садись, мой красавец! Как две капли воды — вылитый батюшка... дай Бог ему царство небесное! Кабы ты знал, Юрий Дмитрич, как мы были с ним дружны!..

— Не погневайся, Андрей Никитич! я что-то не помню...

— Да как тебе и помнить! Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с твоим батюшкою. То-то был столбовой русский боярин! Терпеть не мог поляков! Бывало, как схватится с Кривым-Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси! Не то бы было, если б он еще здравствовал! Не пировать бы иноверцам на святой Руси!.. Эх! как подумаю, до чего мы дожили, Юрий Дмитрич, — примолвил боярин, утирая текущие из глаз слезы, — так сердце кровью и обливается!.. Прогневили мы, грешные, Господа Бога!..

Юрий не мог опомниться от удивления. Он не сомневался, что найдет в приятеле Шалонского поседевшего в делах, хитрого старика, всей душой привязанного к полякам; а вместо того видел перед собою человека лет пятидесяти, с самой привлекательной наружностью и с таким простодушным и откровенным лицом, что казалось, вся душа его была на языке и, как в чистом зеркале, изображалась в его ясных взорах, исполненных добросердечия и чувствительности. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем другой боярин Истома-Туренин; но хозяин, не дав ему времени сделать этот вопрос, продолжал:

— Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитрич!.. Уж, верно, недаром к нам пожаловал! Правду сказать, здесь только православные и остались; кабы не Нижний Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела!.. Помогите вам Господь!

— Да, Андрей Никитич, — отвечал Юрий, — я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский.

— Приятель твой, пан Гонсевский! — вскричал Истома, вскочив со скамьи.

— А вчера я ночевал у боярина Кручины-Шалонского...

— У Тимофея Федоровича!.. И ты, Юрий Дмитрич Ми-
лославский?..

— Да, боярин! Я привез к тебе от Шалонского гра-
моту.

— Тише! Бога ради, тише! — прошептал Истома, по-
глядывая с робостью вокруг себя. — Вот что!.. Так ты из
наших!.. Ну что, Юрий Дмитрич?.. Идет ли сюда из Мо-
сквы войско? Размечут ли по бревну этот крамольный го-
родишко?.. Перевешают ли всех зачинщиков? Заруют ли
живого в землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухо-
рукова?.. Давнуть, так давнуть порядком, — примолвил он
шепотом. — Да, Юрий Дмитрич, так, чтоб и правнуки-то
дрожкой дрожали!

Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова от
удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а не-
постижимая перемена всей его наружности: в одно мгно-
вение не осталось на лице его и следов того простодушия
и доброты, которые сначала пленили Милославского. Все
черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу, он
с таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан
своих, что Юрий, отступив несколько шагов назад, готов
был оградить себя крестным знаменем. И подлинно, этот
взор, который за минуту до того обворожал своим добро-
душием и вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд ва-
силиска, напоминал так живо *соблазнителья*, что
набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы:
«Да воскреснет Бог и расточатся врази его». Меж тем хо-
зяин продолжал делать ему вопрос за вопросом и, наконец,
потеряв терпение, вскричал:

— Да отвечай же, Юрий Дмитрич! Что ты на меня
так уставился?

— Я не могу надивиться, боярин... После первых речей
твоих...

— То-то молодость, молодость!.. Да неужели ты дума-
ешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня на
душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского,
так как же я мог говорить иначе?.. Но тише! Вот несут
мед!.. Подай сюда, Никанор, — продолжал он, обращаясь
к служителю. — Ну-ка, Юрий Дмитрич, выпьем за здра-
вие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших
поляков! Услышь Господи грешные молитвы раба твоего! —
примолвил Истома, устремив к небесам глаза свои, выра-
жающие душевное смирение и усердную молитву. — Ос-
тавь кувшин здесь и ступай вон, — сказал он слуге,

осушив до дна свой кубок. — Ну, теперь, — продолжал Истома, притворив плотно двери комнаты, — ты можешь, Юрий Дмитрич, смело отвечать на мои вопросы: никто не войдет.

— Да это напрасная предосторожность, — отвечал Юрий. — Мне нечего таиться: я прислан от пана Гонсевского не с тем, чтоб губить нижегородцев. Нет, боярин, отсеки по локоть ту руку, которая подыметя на брата, а все русские должны быть братьями между собою. Пора нам вспомнить Бога, Андрей Никитич, а не то и он нас совсем забудет.

— Как!.. Что это значит?.. — вскричал Истома, изменившись в лице.

— Вот лист боярина Кручины, — прочти. Он, верно, пишет в нем, зачем я прислан и как намерен поступать.

Истома принял дрожащей рукою письмо и, прочтя его со вниманием, казалось, несколько ободрился.

— Теперь я вижу, о чем идет дело, — сказал он. — Ты прислан от пана Гонсевского миротворцем. Ведь ты целовал крест королевичу Владиславу?

— Да, — отвечал отрывисто Юрий.

— Так, в самом деле, чего же лучше! Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы, а твоего покойного родителя; может статься, пример твой на них и подействует. Дай-то Господи! Досадуя на их упорство, иногда кажется, вот так бы и запалил с четырех концов весь город!.. А как подумаешь да размыслишь, что они такие же православные, так и жаль станет. Эх, Юрий Дмитрич! все мы таковы!.. Не по-нашему делается, так на первых порах вот так бы и съел, а дойдет до чего-нибудь — хват, ан и сердца вовсе нет! Вот хоть теперь: ты, чай, думаешь, куда, дескать, Истома-Туренин зол!.. всех хочет вешать да живых в землю закапывать!.. И, мой родимый!.. Дай-ка мне в самом деле волю, так и бешеной собаки не повешу... Свое ведь, батюшка, родное!

— Я очень рад, боярин, что ты одних со мною мыслей и, верно, не откажешься свести меня с почетными здешними гражданами. Может быть, мне удастся преклонить их к покорности и доказать, что если междуцарствие продолжится, то гибель отечества нашего неизбежна. Без головы и могучее тело богатыря...

— Все, конечно, так, — перервал Истома, — не что иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов и плотоядных зверей! Правда, королевич Владислав молодец, и не ему бы править таким обширным государством,

каково царство Русское; но зато наставник-то у него хорош: премудрый король Сигизмунд, верно, не оставит его своими советами. Конечно, лучше бы было, если б мы все вразумились, что честнее повиноваться опытному мужу, как бы он ни назывался: царем ли русским, или польским королем, чем незрелому юноше...

— А кто здесь управляет делами? — перервал Юрий, желая прекратить разговор, возмущающий его душу.

— Да как тебе сказать: здесь много теперь именитых воевод и бояр, — отвечал Туренин, — но сила-то не в них, а знаешь ли, в ком?.. Стыдно сказать, Юрий Дмитрич! Добро бы наш брат боярин или родовой дворянин; а то какой-то смерд, бобыль, простой мясник... срам и позор для всей земли Русской! Этот серокафтанник помыкает целым городом: что сказал Козьма Минич Сухорукой, то и свято. Вперед знаю, когда ты будешь совещаться с здешними сановниками, то и его позовут; и что ж ты думаешь: этот холоп, отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, Юрий Дмитрич, начнет орать пуще всех!.. Вот до чего мы дожили!

— Однакож, боярин, видно, этот мясник чем ни есть заслужил такую доверенность своих сограждан?

— Вестимо чем: он мужик ражий, голос как из бочки; а на площади, меж глупого народа, тот и прав, кто горланит больше других.

— Когда же я могу иметь свидание с здешними сановниками?

— Завтра мы сберемся все для этого у князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского.

— И ты надеешься, что слова мои подействуют?

— Бог весть. Начнут, пожалуй, говорить, зачем королевич Владислав не едет в Москву? зачем поляки разоряют нашу землю? зачем король Сигизмунд берет Смоленск? зачем то, зачем другое? Всего не переслушаешь. А кто корень всему злу?.. Бывший патриарх Гермоген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек всем умным боярам. Да вот хоть при пострижении в иноки Василья Шуйского: он один его отстаивал, и когда Шуйский не стал отвечать во время обряда и родственник мой, князь Василий Туренин, произносил за него все обеты, то знаешь ли, что сделал Гермоген? Провозгласил на ектинье Шуйского благоверным царем русским, а родственника моего, Туренина, — новопостриженным иноком Василием! Каково это тебе покажется?.. Да что и гово-

рять! Сами виноваты: ведь охота же была мирволить! Как бы с первых поров святейшего Игнатия опять в патриархи, а Гермогена на смирение в Соловки, так давным бы давно все пришло в порядок.

— Не все так думают о святейшем Гермогене, боярин; я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. Если б мы все так любили наше отечество, как сей благочестивый муж, то не пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных... Но что прошло, того не воротишь.

— Конечно, что прошло, то прошло!.. Но вот нам несут поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы! Чем богаты, тем и рады: сегодня я ем постное. Ты, может быть, не понеделничаетшь, Юрий Дмитрич? И на что тебе! Не все должны с таким упорством измозжать плоть свою, как я — многогрешный. Садись-ка, мой родимый, да похлебай этой ущицы. Стерляжья, батюшка! У меня свой садок, и не только стерляди, осетры никогда не переводятся.

После сытного ужина, за которым хозяин не слишком изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с боярином, пошел в отведенный ему покой. Алексей сказал ему, что Кириша ушел со двора и еще не возвращался. Милославский уже ложился спать, как вдруг запорожец вошел в комнату.

— Я пришел проститься с тобою, боярин! — сказал он. — Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь.

— Дай Бог тебе всякого счастья, добрый Кириша! Я никогда не забуду услуг твоих!

— Я также, боярин, вечно стану помнить, что без тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы тебя не покинул. А что, Юрий Дмитрич! неужли-то у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православным? Эй, останься здесь, боярин!

Юрий вздохнул и не отвечал ни слова. Помолчав несколько времени, он спросил Киришу: при чем он остается в Нижнем?

— Я встретил на площади; — отвечал запорожец, — казацкого старшину, Смагу-Жигулина, которого знал еще в Батурине; он обрадовался мне, как родному брату, и берет меня к себе в есаулы. Кабы ты знал, боярин, как у всех ратных людей, которые валом валят в Нижний, кипит в жилах кровь молодецкая! Только и думушки, чтоб идти в белокаменную да по-

резаться с поляками. За одним дело стало: старшего еще не выбрали, а если нападут на удалого воеводу, так полякам несдобровать!

— Но разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые целовали крест Владиславу, не станут защищать своего законного государя?

— Да ведь присяга-то была со всячинкою, Юрий Дмитрич: кто волею, кто из-под палки!

— Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения пана Гонсевского, и когда Владислав сдержит свое царское слово и приедет в Москву...

— Так не за что будет и драться... Оно так, боярин! Да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же пахать в самом деле!

— А для чего же и не так! Одни разбойники живут бедствиями мирных граждан. Нет, Кирша: пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр и упитанных кровию нашей грабителей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не стало с их разбойничьими шайками, если б русские не враждовали сами друг на друга.

— Может статься, ты и дело говоришь, Юрий Дмитрич, — сказал Кирша, почесывая голову, — да удалество-то нас заело! Ну как сидеть весь век поджавши руки? С тоски умрешь!.. Правда, нам, запорожцам, есть чем позабавиться: татары-то крымские под боком, а все охота забираться помериться с ясновельможными поляками... Однакож, боярин, тебе пора, чай, отдохнуть. Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то сходбище; чай, и ты захочешь послушать, о чем нижегородцы толковать станут.

Милославский распрощался с Киршею и, несмотря на усталость, провел большую часть ночи размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе незавидным. Как ни старался Юрий уверить самого себя, что, преклонив к покорности нижегородцев, он исполнит долг свой и спасет отечество от бедствий междоусобной войны, но, несмотря на все убеждения холодного рассудка, он чувствовал, что охотно бы отдал половину своей жизни, если б мог предстать пред граждан нижегородских не посланником пана Гонсевского, но простым воином, готовым умереть в рядах их за свободу и независимость России.

Заря еще не занималась; все спало в Нижнем Новгороде; во всех домах и среди опустелых его улиц царствовала глубокая тишина; и только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукою в чугунные доски, прерывали молчание ночи. В этот час, посвященный всеобщему покою, какой-то человек высокого роста, закутанный с ног до головы в черный охабень, пробирался, как ночной тать, вдоль по улице, стараясь приметным образом держаться как можно ближе к заборам домов. Казалось, малейший шорох пугал его: он останавливался, робко посматривал вокруг себя и, наконец, подойдя к калитке дома боярина Туренина, тихо стукнул кольцом. Подождав несколько времени, он повторил этот знак и, когда услышал, что кто-то подходит к калитке, то, свистнув два раза, отошел прочь. Через минуту вышел на улицу человек небольшого роста с фонарем; высокий незнакомец, сняв почтительно свою шапку, открыл голову, обвязанную полотном, на котором приметны были кровавые пятна. Они поговорили с полчаса между собою; потом человек небольшого роста, в котором нетрудно было узнать хозяина дома, вошел опять на двор, а незнакомец пустился скорыми шагами по улице, ведущей вниз горы.

Темно-голубые небеса становились час от часу прозрачнее и белее; величественная Волга подернулась туманом; восток запылал, и первый луч восходящего солнца, осыпав искрами позлащенные главы соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и прогремел по всей земле русской первый общий клик: «Умрем за веру православную и святую Русь!»

Солнце взошло, но тишина и молчание царствовали еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне первый удар колокола, за ним другой, вот третий... все чаще, все сильнее... призывный гул промчался по всей окрестности, и — все ожило в Нижнем Новгороде.

— Ахти, никак пожар! — вскричал Алексей, вскочив с своей постели. Он подбежал к окну, подле которого стоял уже его господин. — Что б это значило? — продолжал он, — к заутрени, что ль?.. Нет! Это не благовест!.. Точно... бьют в набат!.. Ну, вот и народ зашевелился!.. Глядь-ка, боярин!.. все бегут сюда... Эх их высыпало!.. Да этак скоро и на улицу не продерешься!

— Одевайся, Юрий Дмитрич, — сказал Истома-Туренин, войдя в их покой. — Пойдем посмотреть, что там еще этот глупый народ затевает?

В две минуты Милославский и слуга его были уже совсем одеты. Они с трудом могли выйти за ворота дома; вся их улица, ведущая на городскую площадь, кипела народом.

— Тише, детушки, тише! — говорил, запыхавшись, один седой старик, которого двое взрослых внучат вели под руки. — Дайте дух перевести!

— Ну, отдохни, дедушка, — сказал один из внучат, — да только поскорее, а то как опоздаем, так не продеремся к Лобному месту.

— И не услышим, что будет говорить Козьма Минич, — подхватил другой внук. — Ну что, отдохнул ли, родимый?

— Ух, батюшки!.. Погодите!.. Вовсе умирился!

— Напрасно, дедушка, ты не остался дома.

— Что ты, дитятко, побойся Бога! Остаться дома, когда дело идет о том, чтоб живот свой положить за матушку святую Русь!.. Да если бы и вас у меня не было, так я ползком бы приполз на городскую площадь.

— Постой-ка!.. Да вот и батюшка! — сказал первый внук. — Втроем-то мы тебя и на руках донесем.

Сын и двое внучат, подхватя на руки старика, пустились почти бегом по улице.

— Да что ж ты отстаешь, жена? — сказал, приостановясь, небольшого роста, но плотный посадский, оборотясь к толстой горожанке, которая, спотыкаясь и едва дыша от усталости, бежала вслед за ним.

— Задохнулась, Терентий Никитич... Видит Бог, задохнулась!

— Вот то-то же, и зачем тебя нелегкая понесла! Сидела бы дома на печи...

— И, батюшка! да разве я не хочу также послушать, о чем вы на площади толковать будете?

— Вестимо о чем: когда идти на супостатов.

— И ты пойдешь, Терентий Никитич?

— А как же? Разве я не такой же православный, как и все?..

— А ребятишки-то наши! На кого их покинешь?.. Ведь мал мала меньше!

— Да, жаль, что малыньки! Правда, старшему двенадцать годков, так он от меня не отстанет.

— Как, батюшка!.. Ты хочешь?..

— А что ж? Не подымет рогатины, так с ножом пойдет: авось хоть одного супостата на тот свет отправит — и то бы слава Богу!

Тут новая толпа, хлынув рекою из поперечной улицы, увлекла с собою посадского и жену его.

Как бурное море, шумел и волновался народ на городской площади, бояре и простолюдины, именитые граждане и люди ратные — все теснились вокруг Лобного места; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание. Вдруг народ зашумел более прежнего, раздались громкие восклицания: «Вот Козьма Минич! Глядите, вон он!» — и человек средних лет, весьма просто одетый, но осанистый и видный собою, взошел на Лобное место. Оборотясь к соборным храмам, он трижды сотворил крестное знамение, поклонился на все четыре стороны, и по мановению руки его утихло все вокруг Лобного места; мало-помалу молчание стало распространяться по всей площади, шум отдалялся, глухой говор бесчисленного народа становился все тише... тише... и чрез несколько минут лишенный зрения мог бы подумать, что городская площадь совершенно опустела.

— Граждане нижегородские! — начал так бессмертный Минин. — Кто из вас не ведает всех бедствий царства Русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи и очищения ниоткуда не чаем. Доколе злодеям и супостатам напоят землю русскую кровию наших братьев? Доколе православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане нижегородские! Потерпим ли мы, чтоб царствующий град повиновался воеводе иноплеменному? Предадим ли на поругание пречистый образ Владимирския Божия Матери и честныя, многоцелебныя мощи Петра, Алексия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву?.. Ответствуйте, граждане нижегородские!

— Нет, нет! — загремели тысячи голосов. — Идем к Москве! Не выдадим святую Русь!..

— Итак, во имя Божие к Москве!.. Но чтоб не бесплодно положить нам головы и смертью нашей искупить отечество, мы должны избрать достойного воеводу. Я был в Пурецкой волости у князя Димитрия Михайловича Пожарского; едва излечившийся от глубоких язв, сей неустрашимый военачальник готов снова обнажить меч и грянуть Божиею грозой на супостата. Граждане нижегородские, хотите ли иметь его главою? Люб ли вам стольник и знаменитый воевода, князь Димитрий Михайлович Пожарский?

— Хотим! Хотим! Он люб нам! — воскликнул народ, волнуясь час от часу более.

— Граждане и братии! — продолжал Минин. — Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояния земного? Нет, православные! Для содержания людей ратных отдадим все золото и серебро; а если мало и сего, продадим все имущества, заложим жен и детей наших... Вот все, что я имею! — продолжал он, бросив на Лобное место большой мешок, наполненный серебряной монетою. — И пусть выступит желающий купить мой дом — с сего часа он принадлежит не мне, а Нижнему Новгороду, а я сам, мы все, вся кровь наша — земскому делу и всей земле русской!

— Отдаем все наши имущества! Умрем за веру православную и святую Русь! — загремели бесчисленные голоса. — Нарекаем тебя выборным от всея земли человеком! Храни казну нижегородскую! — воскликнул весь народ.

В эту минуту общего восторга разверзлись западные двери соборного храма Преображения Господня и печерский архимандрит Феодосий, в провожании многочисленного духовенства, во всем облачении, со святыми иконами и церковными хоругвями, вышел на городскую площадь. Народ расступился, весь духовный синклит взшел на Лобное место. Раздался громкий благовест. Иереи запели собором: «Царю небесный! Утешителю душе истинный!» — и Минин, а вслед за ним все граждане преклонили колена. Когда ж, благословляя оружие христоролюбивого войска, благочестивый архимандрит Феодосий, возведя к небесам взор, исполненный чистейшей веры, возгласил молитву: «Господи Боже наш, Боже сил! Сильный в крепости и крепкий во бранех...» — народ пал ниц, зарыдал, и все мольбы слились в одну общую, единственную молитву: «Да спасет Господь царство Русское!» По окончании молебствия Феодосий, осеняя животворящим крестом и окропив святой водою усердно молящийся народ, произнес вдохновенным голосом: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог! Спешите, избранные Господом, на спасение страждущей России! Как огонь палящий, предъидет сила Господня пред вами, и посрамится враг нечестивый и возрадуются сердца православных! Воины Христовы! не жалеете благ земных: слава нетленная ожидает вас на земле и вечное блаженство на небесах. Грядите, верные сыны России! грядите во имя Господне! На вас благословение всех пастырей духовных! За вас святые молитвы страдальца Гермогена! Кто против вас? Кто против Господа сил?»

О, как недостаточен, как бессилён язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от своего земного усыпления! Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного, чистого восторга, который наполнял в сию торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего!

Все спешили по домам, чтоб сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, как вокруг Лобного места возвышались уже горы серебряных денег, сосудов и различных товаров: простой холст лежал подле куска дорожной парчи, мешок медной монеты — подле кошелька, наполненного золотыми деньгами. Гражданин Минин принимал все с равной ласкою, благодарил всех именем Нижнего Новгорода и всей земли русской, и хотя несколько сот рабочих людей переносили беспрестанно эти дары в приготовленные для сего кладовые на берегу Волги, но число их, казалось, нимало не уменьшалось.

Старинный наш знакомец, Алексей, находился также в толпе граждан, которые теснились с приношениями вокруг Лобного места. Обшарив свои карманы и не найдя в них ничего, кроме нескольких мелких монет, он снимал уже с себя серебряный крест, как вдруг кто-то, ударив его по плечу, сказал:

— Нет, брат, не расставайся с отцовским благословением: я положу и за тебя и за себя.

— А, это ты, Кирша! — сказал Алексей. — Как, и ты хочешь класть?

— Да, товарищ! Вот в этом мешочке все, что я накопил; да Бог с ним! Жаль только, что мало!.. Эге, любезный, ты все еще реवेशь. Полно, брат; что ты расхныкался, словно малый ребенок!

— А ты сам разве не плачешь? — отвечал Алексей.

— Кто? Я? Вот вздор какой! — вскричал запорожец, утирая рукавом свои глаза. — А что ты думаешь, — продолжал он, — никак в самом деле! Кой прах! что это, брат Алексей? Мне часто случалось у нас в Запорожской Сечи гулять и веселиться; пьешь, бывало, без просыпу целую неделю, и хоть нельзя сказать, чтоб было очень весело, а пляшешь и поешь с утра до вечера. Теперь же, ну веришь ли Богу, так сердце от радости выскочить и хочет, а вовсе не до песен: все бы плакал...

да и все также, на кого ни посмотришь... что за диво такое!

В самом деле, все многолюдное собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство; не слышно было громких восклицаний: проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской любовью обнимали друг друга... Но кто этот отверженный?.. Кто стоит поодаль от всей толпы, с померкшим взором, с отчаяньем на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев?.. Ах, это Юрий Милославский! это тот, кто отдал бы тысячу жизней за то, чтоб воскликнуть вместе с другими: «Умрем за веру православную и святую Русь!» Несмотря на приглашение боярина Истома, который, заливаясь слезами, кричал громче всех: «Идем к матушке Москве!» — Юрий не хотел подойти вместе с ним к Лобному месту. Он не видел Минина, не слышал слов его; но видел общий восторг народа, видел радостные слезы, усердные мольбы всех русских и, как отступник от веры отцов своих, не смел молиться вместе с ними. Ему казалось, что каждый гражданин нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать: «Презренный раб Владислава! чего ты хочешь от свободных сынов России?.. Беги! не оскверняй своим присутствием сие священное торжество веры и любви к отечеству! Ты не русский, ты не сын Милославского!» Тут вспомнил Юрий последние слова умирающего своего родителя. Благословляя его охладевшею уже рукою, он сказал: «Юрий! держись веры православной; не своди дружбы с врагами нашего отечества и не забывай, что Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!»

— Так! — вскричал несчастный юноша. — Присутствие мое при сем торжестве есть осквернение святыни! Я не могу, я не должен оставаться здесь долее!

Он поспешил оставить площадь, но на каждом шагу встречались ему толпы граждан, несущих свои имущества, везде раздавались поздравления, на всех лицах сияла радость. Пробежав несколько улиц, он очутился, наконец, в одном отдаленном предместьи и, не видя никого вокруг себя, сел отдохнуть на скамье, подле ворот небольшой хижины. Не прошло и двух минут, как несколько женщин и почти столетний старик подошли к скамье, на которой сидел Юрий. Старик сел возле него.

— Как это, господин честной, — сказал он, — ты здесь, а не на площади?

— Я сейчас оттуда, — отвечал Юрий.

— И я на старости ходил. Слава Богу, кой-как дотащился, теперь готов умереть хоть завтра! Да и пора костям на покой!

— Ты, я думаю, очень стар, дедушка? — спросил Юрий, стараясь переменить разговор.

— Да, молодец, без малого годов сотню прожил, а на всем веку не бывал так радостен, как сегодня. Благодарение Творцу небесному, очнулись, наконец, православные!.. Эх, жаль! кабы Господь продлил дни бывшего воеводы нашего, Дмитрия Юрьевича Милославского, то-то был бы для него праздник!.. Дай Бог ему царство небесное! столбовой был русский боярин!.. Ну, да если не здесь, так там он вместе с нами радуется!

— Я слышала, дедушка, — сказала одна из женщин, — что у него есть сын.

— Как же! Помнится, Юрий Дмитриевич. Если он пошел по батюшке, то, верно, будет нашим гостем и в Москве с поляками не останется. Нет, детушки! *Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь!*

— Ахти! — вскричала одна из женщин. — Что это с молодцом сделалось? Никак он полоумный... Смотри-ка, дедушка, как он пустился от нас бежать! Прямехонько к Волге... Ах, Господи боже мой! долго ли до греха! как сдуру-то нырнет в воду, так и поминай как звали!

Как громом пораженный последними словами старика, Юрий, не видя ничего перед собою, не зная сам, что делает, пустился бежать по узкой улице, ведущей к Волге. В ушах его раздавались слова умирающего отца; ему казалось, что его преследуют, что кто-то называет его по имени, что множество голосов повторяют: «Вот он! Вот Милославский». Вся кровь застыла в его жилах. Вдруг ему послышалось, что вслед за ним прогремел ужасный голос: «Да взыдет вечная клятва на главу изменника!» Волосы его стали дыбом, смертный холод пробежал по всем членам, в глазах потемнело, и он упал без чувств в двух шагах от Волги, на краю утесистого берега, застроенного обширными сараями.

Солнце было уже высоко, когда Милославский очнулся; подле него стоял Алексей.

— Слава тебе Господи! — вскричал он, заметив, что Юрий пришел в себя. — Ну, перепугал ты меня, боярин! Что это с тобой сделалось?

— Где я? — спросил Милославский, взглянув с удивлением вокруг себя.

— На берегу Волги. Как помиловал тебя Господь, Юрий Дмитрич, и что с тобою сделалось? Мне сказали на площади, что ты пошел вниз под гору, я за тобой следом; гляжу: сидишь смиренхонько подле какого-то старичка; вдруг как будто б тебя чем обожгло, как вскочишь да ударишься бежать! я за тобой, а ты пуще! я ну кричать: «Постой, Юрий Дмитрич, постой! не беги!» — а ты пуще... Ну, веришь ли, осип кричавши: «Куда, боярин, куда?» Гляжу, прямо к Волге... сердце у меня замерло!.. Да, слава Богу, что тебя оморок ошиб прежде, чем ты успел добежать до реки. И то беда, уж оттирал, оттирал тебя... и водой прыскал и вином тер... насилу-то очнулся. Да что это, боярин, с тобою попритчилось?

— Так, Алексей, ничего! Теперь мне лучше. Но скажи... мне помнится, я слышал чей-то голос... кто возле меня предавал проклятию изменника?

— Какого изменника, боярин? Я ничего не слышал.

— Ничего?.. А что за народ толпится вокруг этих сараев?.. О чем они говорят?.. Чу! Слышишь? Они называют меня по имени.

— И, нет, Юрий Дмитрич! Это тебе чудится. Разве не видишь, сюда складывают все, что нижегородцы нанесли на площадь.

— На площадь?.. Я также был на площади?..

— Как же, боярин!

Юрий провел рукою по глазам и, как будто бы пробудившись от глубокого сна, сказал:

— Да! да! теперь я вспомнил... Мы остановились здесь у боярина Истома-Туренина...

— Да, Юрий Дмитрич; и, чай, он ждет тебя к обеду.

Юрий при помощи Алексея приподнялся на ноги и только что хотел идти, как вдруг позади его кто-то сказал:

— Здравствуй, боярин! Милости просим! Добро пожаловать к нам в Нижний Новгород!

Милославский невольно вздрогнул и, бросив быстрый взгляд на того, кто его приветствовал, узнал в нем тотчас таинственного незнакомца, с которым ночевал на постоялом дворе.

— Ну вот, не отгадал ли я! — продолжал незнакомец, — Бог привел нам опять увидеться.

— Так это ты! — вскричал Алексей. — Я было и на площади признал тебя, да боялся вклепаться. Ну, Козьма Минич, дай Бог тебе здоровья! Красно ты говоришь!

— Как, — сказал Юрий, — ты тот знаменитый гражданин?..

— И, боярин! Я просто гражданин нижегородский и ничем других не лучше. Разве ты не видел, как все граждане, наперерыв друг перед другом, отдавали свои имущества? На мне хоть это платье осталось, а другой последнюю одежонку притащил на площадь: так мне ли хвастаться, боярин!

— Но разве не ты первый?..

— Ну да... я первый заговорил — так что ж?.. Велико дело!.. Нельзя ж всем разом говорить. Не я, так заговорил бы другой, не другой, так третий... А скажи-ка, боярин, уж не хочешь ли и ты пристать к нам? Ты целовал крест королевичу Владиславу, а душа-то в тебе все-таки русская.

— К несчастью, ты говоришь правду! — сказал со вздохом Юрий.

— А почему ж к несчастью? Скажи мне, легко ль тебе было присягать польскому королевичу?

— Ах!.. видит Бог, нет!

— А для чего ж ты это сделал?

— Для того, что был уверен и теперь еще... да, и теперь еще надеюсь, что этой жертвою мы спасем от гибели наше отечество.

— Вот видишь ли: все-таки у тебя отечество на уме. Послушай, я скажу тебе побасенку, боярин. Один мужичок, переплывая через реку, стал тонуть. У него было три сына: меньшой, думая, что он один не спасет его, принялся кричать, рвать на себе волосы и призывать на помощь всех проходящих; между тем мужик выбился из сил, и когда старший сын бросился спасать его, то насилу вытащил из воды и чуть было сам не утонул с ним вместе. На берегу стоял третий сын, или, лучше сказать, пасынок; он не просил помощи, да и сам не думал спасать утопающего отца, а рассчитывал, стоя на одном месте, какая придется ему часть из отцовского наследия. Как ты думаешь, боярин? Хоть меньшему сыну и не за что сказать спасибо, а по мне все-таки честнее быть им, чем пасынком.

Юрий молча пожал руку Минина, который продолжал:

— Чему удивиться, что ты связал себя клятвенным обещанием, когда вся Москва сделала то же самое. Да вот хоть, например, князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский изволил мне сказывать, что сегодня у него в дому сберутся здешние бояре и старшины, чтоб выслушать гонца, который прислан к нам с предложением от пана Гонсевского. И как ты думаешь, кто этот доверенный человек злейшего врага нашего?.. Сын бывшего воеводы нижегородского, боярина Милославского.

— Да это господин мой! — вскричал Алексей.

— Как! Так это ты, Юрий Дмитрич? — сказал Минин, сняв почтительно свою шапку и устремив на Милославского взор, исполненный душевного сострадания. — Ну, жаль мне тебя! Кому другому, а тебе куда должно быть тяжело, боярин!

— Я исполню долг свой, Козьма Минич, — отвечал Юрий. — Я не могу поднять оружия на того, кому клялся в верности; но никогда руки мои не обагрятся кровию единоверцев; и если междоусобная война неизбежна, то... — Тут Милославский остановился, глаза его заблестали... — Да, — продолжал он, — я дал обет служить верой и правдой Владиславу; но есть еще клятва, пред которой ничто все обещания и клятвы земные!.. Так! сам Господь ниспослал мне эту мысль: она оживила мою душу!..

В самом деле, давно уже лицо Милославского не выражало такой твердой решимости и спокойствия. Вся бодрость его возвратилась.

— Прощай, почтенный гражданин! — сказал он Минину. — Я спешу теперь в дом боярина Туренина и через несколько часов явлюсь вместе с ним пред лицом сановников нижегородских, в числе которых надеюсь увидеть и тебя. Повторяю еще раз: я исполню долг мой; но... прошу тебя — не осуждай меня прежде времени!

V

Часу в шестом пополудни Юрий и боярин Туренин отправились в дом к князю Черкасскому. Проходя городской площадью, на которой никого уже не было, Туренин сказал Юрию:

— Насилу-то это дурачье угомонилось! Я, право, думал, что они до самой ночи протолкаются на площади. Куда, подумаешь, народ-то глуп! Сгоряча рады отдать все; а там как самим перекусить нечего будет, так и заговорят другим голосом. Небойсь уймутся кричать: «Пойдем к матушке Москве!»

— Но, кажется, боярин, — сказал Юрий, — и ты кричал вместе с другими?

— С волками надо выть по-волчьи, Юрий Дмитрич; и у кого свой царь в голове, тот не станет плыть в бурю против воды. Да и сговоришь ли с целым народом! Вот теперь дело другое: можно будет и потолковать и посудить. Смотри, Юрий Дмитрич, говори смело! Я знаю наперед,

что пуще всех будет против мира князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский да Григорий Образцов: первый потому, что сын князя Мамстрюка и такой же, как он, чеченец — ему бы все резаться; а второй оттого, что природный нижегородец и терпеть не может поляков. С другими-то стговорить еще можно; правда, они позвали Козьму Сухорукого, а этот нахал станет теперь горланить пуще прежнего.

— Позволь сказать, боярин: мне кажется, он человек скромный.

— Кто? Он? Что ты! Иль забыл, что его наименовали выборным от всея земли человеком? Так ему, чай, теперь черт не брат! Чего доброго, заламается в первое место... Но вот и дом князя Димитрия Мамстрюковича...

Пройдя широким двором, посреди которого возвышались обширные по тогдашнему времени каменные палаты князя Черкасского, они добрались по узкой и круглой лестнице до первой комнаты, где, оставив свои верхние платья, вошли в просторный покой, в котором за большим столом сидело человек около двадцати. С первого взгляда можно было узнать хозяина дома, сына знаменитого Черкасского князя, по его выразительному смуглому лицу и большим черным глазам, в которых блистало все неукротимое мужество диких сынов неприступного Кавказа. По правую руку его сидели: татарский военачальник Барай-Мурза Алеевич Кутумов, воевода Михайло Самсонович Дмитриев, дворянин Григорий Образцов, несколько старшин казацких и дворян московских полков; по левую сторону сидели: боярин Петр Иванович Мансуров-Плещеев, стольник Федор Левашев, дьяк Семен Самсонов, а несколько поодаль ото всех гражданин Козьма Минич Сухорукий.

Князь Черкасский встретил боярина Туренина и Милославского в дверях комнаты. Сказав несколько холодных приветствий тому и другому, он попросил их садиться, и по данному знаку вошедший служитель поднес им и хозяину по кружке меду.

— Юрий Дмитрич, — сказал князь Черкасский, — поздравляем тебя с счастливым приездом в Нижний Новгород; хотя, сказать правду, для всех нас было бы радостнее выпить этот кубок за здоровье сына Димитрия Юрьевича Милославского, а не посланника от поляков и верноподданного королевича Владислава.

— Князь Димитрий Мамстрюкович, — сказал вполголоса боярин Мансуров, — не забывай нашего уговора: посмотри-ка — его в жар бросило от твоих речей!

— Не вытерпел, боярин! — отвечал Черкасский. — Грустно, видит Бог, грустно! Ведь я был задушевный друг его батюшке... Юрий Дмитрич, — продолжал Черкасский, оборотясь к Милославскому, — боярин Истома-Туренин известил нас, что ты приехал с предложениями от ляха Гонсевского, засевшего с войском в Москве, которую взял обманом и лестию богоотступник Лотер и злодей гетман Жолкевский.

— Да, да, злодей гетман Жолкевский! — повторил Барай-Мурза.

— Гетман Жолкевский не злодей, — сказал Юрий. — Если б все советники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, как он, то давно бы прекратились бедствия отечества нашего.

— То есть Владислав был бы московским воеводою!.. — перервал князь Черкасский.

— А мы все рабами короля польского!.. — примолвил насмешливо дворянин Образцов.

— Нет, — отвечал Юрий, — не воеводою, а самодержавным и законным царем русским. Жолкевский клялся в этом и сдержит свою клятву: он не фальшер, не злодей, а храбрый и честный воин.

— Неправда, это ложь! — вскричал Черкасский.

— Да, да, это ложь! — повторил Барай-Мурза.

— Ложь противна Господу, бояре! — сказал спокойно Юрий. — И вот почему должно говорить правду даже и тогда, когда дело идет о врагах наших.

— Защищай, Юрий Дмитрич, защищай этих кровопийц! — перервал хозяин. — Да и чему дивиться: свой своему поневоле брат!

— Князь Димитрий, — шепнул боярин Мансуров, — не обижай своего гостя!

— Раб Владислава и угодник ляха Гонсевского никогда не будет моим гостем! — вскричал с возрастающим жаром князь Черкасский. — Нет! Он не гость мой!.. Я позволяю ему объявить, чего желает от нас достойный сподвижник грабителя Сапеги; пусть исполнит он данное ему от Гонсевского поручение и забудет навсегда, что князь Черкасский был другом отца его.

— Да, да, пусть он говорит, а мы слушаем! — сказал Барай-Мурза, поглаживая свою густую бороду.

— Не забывай, однакож, Юрий Дмитрич, — прибавил дворянин Образцов, бросив грозный взгляд на Юрия, — что ты стоишь перед сановниками нижегородскими и что дерзкой речью оскорбишь в лице нашем весь Нижний Новгород.

— Я буду говорить истину, — сказал хладнокровно Юрий, вставая с своего места. — Бояре и сановники нижегородские! Я прислан к вам от пана Гонсевского с мирным предложением. Вам уже известно, что вся Москва целовала крест королевицу Владиславу; гетман Жолковский присягнул за него, что он испросит соизволение своего державного родителя креститься в веру православную, что не потерпит в земле русской ни латинских костелов, ни других иноверных храмов и что станет, по древнему обычаю благоверных царей русских, править землю нашу, как наследственной своей державою. Не безызвестно также вам, что Великий Новгород, Псков и многие другие города стонут под тяжким игом свейского воеводы Понтуса, что шайки Тушинского вора и запорожские казаки грабят и разоряют наше отечество и что доколе оно не избрет себе главы — не прекратятся мятежи, крамолы и междоусобия. Бояре и сановники нижегородские! последуйте примеру граждан московских, целуйте крест королевицу Владиславу, не восставайте друг против друга, покоритесь избранному царствующим градом законному государю нашему — и, именем Владислава, Гонсевский обещает вам милость царскую, всякую льготу, убавку податей и торговлю свободную. Я сказал все, бояре и сановники нижегородские! Избирайте, чего хотите вы...

— Упиться кровию врагов наших! — вскричал Черкасский. — Кровию губителей России, кровию всех ляхов!

— Да, да, всех ляхов! — повторил Барай-Мурза Алевич Кутумов, поглядывая на Черкасского.

— Но русские, присягнувшие в верности Владиславу...

— Пусть гибнут вместе с врагами веры православной! — перервал хозяин.

— Итак, — возразил Юрий, — одна жажда крови, а не любовь к отечеству, боярин, заставляет тебя поднять оружие?..

Черкасский устремил сверкающий взор на Милославского и, помолчав несколько времени, спросил его: был ли он на нижней торговой площади?

— Нет, — отвечал Юрий, не понимая, к чему клонится этот вопрос.

— Жаль, — продолжал Черкасский, — ты увидел бы, что на ней цела еще виселица, на которой нижегородцы повесили изменника Вяземского. Берегись дерзкою речью напомнить им, что не один князь Вяземский достоин этой позорной казни!

— Князь Димитрий!.. — сказал боярин Мансуров. — Пристало ли тебе, хозяину дома!.. Побойся Бога!.. Сограждане, — продолжал он, — вы слышали предложение пана Гонсевского: пусть каждый из вас объявит свободно мысль свою. Боярин князь Черкасский! Тебе, яко старшему сановнику Думы нижегородской, довлеет говорить первому; какой даешь ответ пану Гонсевскому?

— Я уже отвечал, — сказал Черкасский. — Избранный нами главою земского дела, князь Димитрий Михайлович Пожарский пусть ведет нас к Москве! Там станем мы отвечать гетману; он узнает, чего хотят нижегородцы, когда мы устелем трупами врагов все поля московские!

— Итак, ты объявляешь?..

— Непримируемую вражду до тех пор, пока хотя один лях или предатель дышит воздухом русским! Мщение за погибших братьев! Кровь за кровь!

Мурза Кутумов встал с своего места, погладил бороду и начал:

— Бояре, что сказал князь Димитрий Мамстрюкович Черкасский, то говорю и я: вражда непримиримая... доколе хотя один лях или русский... то есть предатель... сиречь изменник...

— Довольно, Барай-Мурза, садись! — перервал Черкасский.

Барай-Мурза Алеевич Кутумов отвесил низкий поклон всем присутствующим и сел на прежнее место.

— Граждане нижегородские! — сказал кипящий мужеством и ненавистью к полякам дворянин Образцов. — Чего требует от нас этот атаман разбойничьей шайки, этот изверг, пирующий в Москве на могилах наших братьев?.. Он желал бы, чтоб нижегородцы положили оружие так же, как желает хищный волк, чтоб стадо осталось без пастыря и защиты. Сигизмунд дает нам своего сына — и берет Смоленск, древнее достояние царей православных! Поляки предлагают нам мир — и покрывают пеплом сел и городов всю землю русскую! Нет, сограждане! Не царствующий град целовал крест королевичу Владиславу, а пленная Москва; не свободные граждане клялись в верности иноплеменному, но безоружные жители, рабы, отягченные оковами!.. И насильственная клятва, данная под ножом убийц, должна служить примером для вольных сынов Нижнего Новгорода!.. Нет! да будет вечная вражда между нами и злодеем нашим, Сигизмундом! Гибель и смерть всем ляхам!

— Гибель и смерть всем ляхам! — повторили Черкасский, Барай-Мурза и все старшины казацкие.

— Мужи доблестные и верные сыны отечества! — сказал боярин Туренин, вставая с своего места. — Нельзя без радостных слез видеть ваше рвение на защиту земли русской! И во мне кипит желание обагриться кровию врагов наших, и я готов идти к Москве; но прежде всего следует помыслить, чего требует от нас отечество: кровавой мести или спасения от конечной своей гибели? Великое дело, с малым и необученным войском устоять против бесчисленных врагов... но Господь укрепит десницу рабов своих, хотя, по тяжким грехам нашим, мы не достойны, чтоб свершилось над нами сие чудо, и поистине не должны надеяться... но милосердие всевышнего неистошимо. Пусть будет так: мы победим ненавистных ляхов; рассеем, как прах земной, их несметные ополчения; очистим Москву и, несмотря на то, останемся по-прежнему без главы, и вящее тогда постигнет нас бедствие. Каждый знаменитый боярин и воевода пожелает быть царем русским; начнутся крамолы, восстанут новые самозванцы, пуще прежнего польется кровь христианская, и отечество наше, обессиленное междоусобием, не могущее противустать сильному врагу, погибнет навеки; и царствующий град, подобно святому граду Киеву, соделается достоянием иноверцев и отчиною короля свейского или врага нашего, Сигизмунда, который теперь предлагает нам сына своего в законные государи, а тогда пришлет на воеводство одного из рабов своих. Помыслите, сограждане! Что станется тогда с верою православною? Что станется со всеми нами, когда и имя царства Русского изгладится из памяти людской?.. Я все сказал: судите слова мои, бояре и сановники нижегородские!

— Боярин Андрей Никитич Туренин! — сказал с низким поклоном дьяк Семен Самсонов. — В речах твоих много разума, хотя ты напрасно возвеличил могущество врагов наших. Нам известно бессилие ляхов; они сильны одним несогласием нашим; но ты изрек истину, говоря о междоусобиях и крамолах, могущих возникнуть между бояр и знаменитых воевод, а посему я мыслю так: нижегородцам не присягать Владиславу, но и не ходить к Москве, а собирать войско, дабы дать отпор, если ляхи замыслят нас покорить силою; Гонсевскому же объявить, что мы не станем целовать креста королевичу польскому, пока он не прибудет сам в царствующий град, не крестится в веру православную и не утвердит своим царским словом и клятвенным обещанием договорной грамоты, подписанной боярскою Думой и гетманом Жолкевским.

— Я мыслю то же самое, — сказал боярин Мансуров. — Безвременная поспешность может усугубить бедствия отечества нашего. Мой ответ пану Гонсевскому: не ждать от нас покорности, доколе не будет исполнено все, что обещано именем Владислава в договорной грамоте; а нам ожидать ответа и к Москве не ходить, пока не получим верного известия, что король Сигизмунд изменил своему слову.

— Мы согласны во всем с боярином Мансуровым, — сказали воевода Михаил Самсонович Дмитриев и стольник Левашев.

— И мы также! — вскричали все дворяне московских полков.

Князь Черкасский вскочил с своего места.

— Как! — сказал он, бледнея от гнева и досады, — вы согласны признать Владислава царем русским?

— Да, если он сдержит свое обещание, — отвечал спокойно Мансуров.

— Признать своим владыкою неверного поляка! — перервал Образцов.

— Он отречется от своей ереси, — возразил дьяк Самсонов.

— Кто нейдет к Москве, тот изменник и предатель! — вскричал Черкасский.

— Изменник и предатель! — повторил Барай-Мурза.

— Князь Димитрий! — сказал Мансуров. — И ты, Мурза Алеевич Кутумов, не забывайте, что вы здесь не на городской площади, а в совете сановников нижегородских. Я люблю святую Русь не менее вас; но вы ненавидите одних поляков, а я ненавижу еще более крамолы, междоусобие и бесполезное кровопролитие, противные Господу и пагубные для нашего отечества. Если ж надобно будет сражаться, вы увидите тогда, умеет ли боярин Мансуров владеть мечом и умирать за веру православную.

— Боярин, — сказал Образцов, — когда мы не согласны меж собою, то пусть решит весь Нижний Новгород, кто из всех нас любит более свое отечество.

— Вы это сейчас увидите, бояре и сановники нижегородские, — сказал Минин, вставая с своего места и поклонясь почтительно всем присутствующим.

— Да ты еще ничего не говорил, Козьма Минич, — вскричал Черкасский. — Говори, говори, чья сторона правее!

— Не мне, последнему из граждан нижегородских, — отвечал Минин, — быть судьей между именитых бояр и

воевод; довольно и того, что вы не погнушались допустить меня, простого человека, в ваш боярский совет и дозволили говорить наряду с вами, высокими сановниками царства Русского. Нет, бояре! Пусть посредником в споре вашем будет равный с вами родом и саном знаменитым, пусть решит, идти ли нам к Москве, или нет, посланник и друг пана Гонсевского.

— Что ты, Минич, в уме ли? — вскричал Черкасский.

— Юрий Дмитрич, — продолжал Минин, обращаясь к Милославскому, — ты исполнил долг свой, ты говорил, как посланник гетмана польского; теперь я спрашиваю тебя, сына Димитрия Юрьевича Милославского, что должны мы делать: идти ли к Москве, или покориться Сигизмунду?

Яркий румянец покрыл лицо Юрия; он приподнялся до половины, хотел что-то сказать, но вдруг остановился и с судорожным движением закрыл рукою глаза свои.

— Боярин! — продолжал Минин. — Если бы ты не целовал креста Владиславу, если б сегодня молился вместе с нами на городской площади, если б ты был гражданином нижегородским, что бы сделал ты тогда? Отвечай, Юрий Дмитрич!

— Что сделал бы я? — сказал Юрий, устремив сверкающий взор на Минина. — Что сделал бы я?.. Положил бы мою голову за святую Русь!

— Что ты, Юрий Дмитрич! — шепнул Туренин.

— Молчи, боярин! — вскричал Милославский с возрастающим жаром. — Это выше всех сил моих! Так, граждане нижегородские, я умер бы, благословляя Господа, допустившего меня пролить свою кровь за веру православную. К Москве, верные и счастливые нижегородцы! Спасайте угнетенных ваших братьев! Они ждут вас. Они рабы поляков, а не подданные Владислава. Не верьте Сигизмунду: он вечный и непримиримый враг наш; не страшитесь поляков — их многочисленная рать страшна для одних безоружных жителей московских. Спешите, храбрые нижегородцы! Спешите водрузить хоругвь Спасителя на поруганных стенах священного Кремля! Вы свободны, вы не присягали иноплеменнику. А я... я добровольно поклялся быть верным Владиславу; я не могу умереть вместе с вами! Но если не оружием, то молитвами буду участвовать в святом и великом деле вашем. Так, граждане нижегородские! Я удалюсь в обитель преподобного Сергия; там, облаченный в одежду инока, при гробе угодника Божия стану молиться день и ночь, да поможет вам Господь спасти от гибели царство Русское.

Юрий замолчал; крупные слезы градом катились по лицу его. Пораженные неожиданною речью Милославского, все присутствующие онемели от удивления. Несколько минут продолжалось общее молчание; вдруг опрокинутый стол с громом полетел на пол, и князь Черкасский, перескочив через него, бросился на шею к Милославскому.

— Прости меня, любезный, — кричал он, прижимая его к груди своей, — я обидел тебя!.. Пусть осмелится кто-нибудь сказать, что ты не сын моего друга Милославского!

— Да, да, пусть попытается кто-нибудь! — повторил Барай-Мурза.

— Ты достоин быть нижегородцем, Юрий Дмитрич! — сказал Образцов, пожимая его руку.

Минин не говорил ни слова, но с нежностью отца смотрел на Юрия и утирал потихоньку текущие из глаз слезы.

— Итак, — продолжал Черкасский, — теперь, кажется, нам спорить не о чем, идем ли к Москве?

— Идем! — вскричали почти все присутствующие.

— К Москве так к Москве! — сказал боярин Мансуров. — Дождемся князя Пожарского да с Божьим благословением...

— Но кто же будет главою царства Русского? — спросил дьяк Самсонов.

— Прежде очистим Москву, а там уж подумаем, — отвечал Мансуров.

— Изберем всей землей в цари кого Бог даст! — сказал Образцов.

— И поклянемся, — прибавил Мансуров, — жить дружно, забывать всякую вражду, а помнить одного Бога и святую Русь!

— Насилу-то и ты заговорил, молодец! — закричал Черкасский. — Пусть дьяки и бояре, которые ничем не лучше дьяков, — прибавил он, взглянув на Туренина, — заседают в приказах, а в Воинскую думу им бы и носа не надобно показывать.

— Теперь, Юрий Дмитрич, — сказал боярин Мансуров, — ты можешь отвезти наш ответ Гонсевскому.

— Не лучше ли остаться с нами, — перервал Черкасский, — и подраться с поляками?

— Нет, боярин: Бог карает клятвопреступников: пока я ношу меч — я подданный Владислава.

— Юрий Дмитрич, — сказал Мансуров, — мы дозволяем тебе пробыть завтрашний день в Нижнем Новгороде; но я советовал бы тебе отправиться скорее: завтра же весь

город будет знать, что ты прислан от Гонсевского, и тогда, не погнавайся, смотри, чтоб с тобой не случилось того же, что с князем Вяземским. Народ подчас бывает глуп: как расходится, так его ничем не уймешь.

— Прощай, боярин! — сказал Минин. — Дай Бог тебе счастья! Не знаю отчего, а мне все сдается, что я увижу тебя опять не в монашеской рясе, а с мечом в руках, и не в святой обители, а на ратном поле против общих врагов наших.

Милославский, уходя, заметил, что боярина Туренина не было уже в комнате. У самых дверей дома встретил его Алексей; он казался очень встревоженным.

— Я больше часу дожидаюсь тебя здесь, Юрий Дмитрич, — сказал он. — Знаешь ли что? Ведь хозяин-то наш недобрый человек!

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что мы из одного омута попали в другой. Воля твоя, боярин, сердись на меня или нет, а я, не спросясь тебя, перетащил наши пожитки на постоянный двор, вот тот, что возле самой пристани.

— Для чего ты это сделал?

— А вот для чего. Знаешь ли, кто теперь спрятан в дому у боярина Туренина?.. Тот самый разбойник, который вчера в лесу хотел нас ограбить!

— Неужели?

— Да добро бы один, а то с ним еще четверо пострелов, из которых каждый уберет нас обоих. Как ты пошел сюда, я вышел поглядеть на улицу и присел у самых ворот за столбом. Этак около сумерек — гляжу, крадутся пятеро молодцов вдоль забора; я-то за столбом им был не в примету, а мне все было видно. Вот один из них шмыг в ворота! Глядь — тот самый разбойник, которого Кирша называл Омляшем. Он перемолвил словца два с дворецким, махнул товарищам, и они шасть на двор. Пошептались, потолковали меж собой, да и полезли все на сенник. Вот, боярин, и я смекнул, что дело плоховато; тотчас все наши пожитки и конскую сбрую вытащил потихоньку за ворота да ну-ка скорей выводить лошадей будто б на водопой; навьючил на одну все наше добро, да и был таков. Хорошо еще, что некому было за мной присмотреть: дворецкий, видно, заболтался с своими гостями, другие слуги пошли шататься по городу, а конюха так пьяны, что лыком не вяжут.

— Ты хорошо сделал, Алексей. Я и сам не слишком доверяю нашему хозяину.

— Да он сущий Иуда-предатель! Сегодня на площади я на него насмотрелся: то взглянет, как рублем подарит, то посмотрит исподлобья, словно дикий зверь. Когда Козьма Минич говорил, то он съест его хотел глазами; а как после подошел к нему, так — Господи боже мой! Откуда взялись медовые речи! И молодец-то он, и православный, и сын отечества, и Бог весть что! Ну вот так мелким бесом и рассыпался!

В продолжение этого разговора они дошли до городских ворот, и когда вышли в предместье, то Юрий увидел, что кто-то идет за ними следом. Несмотря на умножающуюся ежеминутно темноту, Милославский заметил, что всякий раз, когда он оглядывался назад, этот человек старался прятаться за углы домов. Юрий шепнул Алексею, чтоб он остерегался и вынул на всякий случай саблю. Между тем они вошли в улицу, или, лучше сказать, переулок, ведущий прямо к пристани: по обеим его сторонам тянулись длинные заборы, и только изредка кое-где выстроены были небольшие избы, но и те казались пустыми и, вероятно, служили амбарами для складки хлеба и товаров. Когда они поравнялись с одной полуразвалившеюся деревянною церковью, которая, судя по разбитым окнам и совершенно обрешенной паперти, давно уже была оставлена, незнакомый, который следовал за ними издалека, удвоил шаги и стал к ним приближаться. Юрий, желая скорее узнать, чего хочет от них этот безотвязный прохожий, пошел вместе с Алексеем прямо к нему навстречу; но лишь только они приблизились друг к другу и Алексей успел закричать: «Берегись, боярин, это разбойник Омляш!..» — незнакомый свистнул, четверо его товарищей выбежали из церкви, и почти в ту ж минуту Алексей, проколотый в двух местах ножом, упал без чувств на землю.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прежде чем мы приступим к продолжению этой повести, нам должно предупредить читателей, что промежуток времени, отделяющий эту главу от предыдущей, заключает в себе почти четыре месяца. Большой части наших читателей, без сомнения, известны все обстоятельства, предшествовавшие освобождению Москвы и вступлению на всероссийский престол Михаила Федоровича Романова; но, несмотря на то, мы полагаем нужным упомянуть, хотя мимоходом, о том, что происходило в Нижнем Новгороде и около Москвы от апреля месяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земского ополчения князь Пожарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний Новгород, сопровождаемый верною дружиною воинов. Его величественная наружность, радушие и ласковое со всеми обращение привлекли к нему все сердца. Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря на закоренелый предрассудок местничества, добровольно подчинились его власти; со всех сторон спешили под знамена его люди ратные; смоляне, дорогобужане и вязьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые; вслед за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украйны умножили собою число *свободных людей*: так называли себя воины, составившие отечественное ополчение нижегородское, которое вскоре под предводительством Пожарского двинулось к Ярославлю. В сем городе, подкупленные злодеем Заруцким, убийцы посягнули на жизнь знаменитого вождя, но Бог не допустил их свершить это злодеяние, а великодушный Пожарский не только не предал их заслуженной казни, но вырвал из рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные причины замедлили приход нижегородцев под Москву; наконец, приближение гетмана Хоткевича с сильным войском, посланным против стоящего под Москвою князя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим приходом к столице, и 1 августа 1612 года нижегородское

ополчение прибыло к Троицкой лавре, отстоящей от Москвы в шестидесяти четырех верстах.

В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, какой-то прохожий, с небольшою котомкою за плечами и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости, шел по большой нижегородской дороге, которая в сем месте была проложена почти по самому берегу Волги. Его изнуренный вид, бледное лицо и впалые щеки — все показывало в нем человека, недавно излечившегося от тяжелой болезни, но в то же время нельзя было не заметить, что причиною его необычайной худобы была не одна телесная болезнь: глубокая горесть изображалась на лице его, а покрасневшие от слез глаза ясно доказывали, что его душевные страдания не миновались вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершенно излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерезывала узкая проселочная дорога, он остановился и, казалось, с большим вниманием стал рассматривать едва заметное полуобгоревшее строение, коего развалины виднелись на высоком холме, верстах в пяти от рощи, в тени которой он тогда находился.

— Я не ошибаюсь, — сказал он, наконец, — это отчина боярина Шалонского... Слава Богу! она останется у меня в стороне... — Сказав эти слова, прохожий сел под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба, принялся завтракать.

Он не успел еще проглотить первого куска, как вдруг ему послышался в близком расстоянии конский топот, и через минуту человек двадцать казаков, выехав проселочной дорогою из рощи, потянулись вдоль опушки к тому месту, на котором расположился прохожий. Впереди всех на вороном коне ехал начальник отряда; он отличался от других казаков не платьем, которое было весьма просто, но богатой конской сбруею и блестящим оружием, украшенным дорогою серебряной насечкой. Когда он поравнялся с прохожим, который несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей последний вскрикнул радостным голосом:

— Так точно, это он!.. Здравствуй, Кирша!

— Почему ты меня знаешь, добрый человек? — спросил всадник, приостановя своего коня.

— Так, видно, я больно похудел, когда и ты меня не узнаешь? Вглядись-ка хорошенько...

— Вот-те раз!.. Неужели?.. Да нет, зачем ему здесь быть?

— Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть, а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем Новгороде.

— Неужели то в самом деле ты, Алексей Бурнаш?

— В старину меня так зывали.

— Ах, батюшки! Что это тебя так перевернуло?.. А где твой барин?..

Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько заплакал.

— Что с ним сделалось? — спросил запорожец, соскочив с коня. — Где он?

— Уж, верно, там... — сказал Алексей, показывая на небо. — Он был ангел во плоти!

— Так Юрий Дмитрич?..

— Приказал долго жить, — отвечал, всхлипывая, верный служитель Милославского.

— Ах, Боже мой! Боже мой! — вскричал запорожец. — Гей, ребята!.. Долой с коней. Мы можем здесь позавтракать и дать вздохнуть лошадям; да подайте-ка мою кису.

Казаки спешили и, разнуздав коней, пустили их на обширный луг, который расстилался перед рощею, а сами, поставив на небольшом возвышении часового, расположились кружком под деревьями. Кирша, вынув из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел подле Алексея.

— Ну-ка, брат, перекуси, — сказал он, — ты, я вижу, больно отошал. Да расскажи мне, как это случилось, что твой боярин умер? Он был такой детина здоровый, кровь с молоком! Отчего бы, кажется?..

— Его зарезали, — отвечал Алексей.

— Как?.. Кто?.. Где?

— А вот послушай. Ты, чай, помнишь, как в Нижнем на площади, когда Козьма Минич Сухорукий...

— Помню, помню!

— Ну, в этот самый день, вечером, боярин был у князя Черкасского, и на дворе уж стало смеркаться, как мы пошли с ним на постоялый двор, в который перебрались из дома этого жида, Истома-Туренина. Вот недалеко от пристани вдруг выскочили на нас из пустой церкви человек пять разбойников; не успел я мигнуть, как меня хватили в бок ножом — и я невзвидел света божьего. Не помню, долго ли пробыл без памяти; а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье в избе и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж после, что он рыбак и что, идучи поутру с пристани, наткнулся на меня нечаянно и, заметя, что я

еще дышу, ради Христа перенес меня к себе в избу. Как сквозь сон помню: лишь только он мне пересказал об этом, я опять обеспамятел и уж спустя недели четыре, придя в себя, спросил его о боярине; он сказал мне, что никакого тела не подымали на том месте, где нашли меня... Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бросили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я, без малого четыре месяца, был при смерти; а как немного поправился, то задумал идти в подмосковную нашу отчину. О тебе и спрашивать было нечего: мне сказали, что все ратные люди ушли в Ярославль с князем Пожарским; так и отслужил третьего дня панихиду по моем боярине и отправился в путь... Да что-то ноги плохо слушаются, насилу тащусь.

— Ах, жалость какая! — сказал Кирша, когда Алексей кончил свой рассказ. — Уж если ему было на роду писано не дожить до седых волос, так пусть бы он умер со славою на ратном поле: на людях и смерть красна, а то, подумаешь, умереть одному, под ножом разбойника!.. Я справлялся о вас в дому боярина Туренина; да он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Москву.

— Злодей! Он лучше меня знает, куда отправился Юрий Дмитрич: это его дело.

— Неужели?

— Как Бог свят! У него в дому разбойничья пристань.

— Так недаром же он стречка дал из Нижнего. Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так, говорят, его везде искали, да не нашли... Ну, брат Алексей, ошеломил ты меня!.. Мне все еще не верится.

— И я долго не верил. Ведь про покойного моего боярина было какое-то пророчество; и так как до сих пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтоб его зарезали; да пришлось, наконец, поверить.

— А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат, пожалуйста...

— Вот, изволишь видеть: это случилось при царе Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего покойного боярина был еще дитятею; нянюшка его Федора рассказывала мне это под большой тайной. Однажды... надобно тебе сказать, что матушка его, то есть бабушка Юрия Дмитрича, была премилосердная: вся нищая братия в околотке его только и жила. Ну вот однажды, в день рождения... нет, в день именин своего сожителя, она изволила на крыльце своеручно раздавать милостыню неимущим, которых набралось на боярский двор видимо-невидимо. Все нищие, как водится, так и лезли друг пред другом, чтоб схватить

милостыню; одна только старушка не рвалась вперед и, стоя поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже боярыня отдавала последнюю копейку, и иной нищий, попроворней других, протягивал в четвертый раз руку, а старушка все не трогалась с места. На ту пору нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила старуху и доложила о ней боярыне; нищую подозвали, и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын, подала ей и сказала: «Молись за здравие именинника!» — то старушка, взглянув пристально на боярыню и помолчав несколько времени, примолвила: Ох ты, моя родимая! здоров-то он будет, да уцелеет ли его головушка?..» — «Как так?» — спросила боярыня, побледнев как смерть. «Дай-то Господи, — продолжала старушка, — чтоб о вешнем Николе не пришлось тебе панихиды служить». Сказав эти слова, старуха поклонилась, юркнула в толпу нищих — и след простыл; боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тут-то было: сгнула да пропала, и все нищие сказали в один голос, что не знают, кто она такова, откуда взялась и куда девалась. Ну что ж? И в самом деле, вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед царем нашего боярина и его казнили накануне Николина дня. Боярыня, оставшись вдовою с одним малолетним сыном Дмитрием Юрьевичем, батюшкою покойного моего господина, отправилась в свою закамскую отчину, и ровно десять лет о той старушке слуху не было. В это время Дмитрий Юрьевич подрос, женился и прижил покойного моего господина, Юрия Дмитриевича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им пришлось под вечер проезжать Брынским лесом. Боярыня и Федора ехали в колымаге, а боярин и холопы верхами. Вдруг в самой середине леса застигла их гроза, загремел гром, поднялся вихрь, дождь полил как из ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахнулись и стали на одном месте как вкопанные — ни назад, ни вперед. Федора божилась мне, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась в подушки, а старая, хоть также робела, однакож заметила и показала Федоре, что подле дороги, против самой колымаги, сидит под кустом какая-то женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кругом, Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее тихонько локтем, приказала молчать: они обе узнали в этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойного боярина. Вот, как гроза поунялась, боярыня вылезла из колымаги, подошла к старухе и начала

с нею говорить шепотом. Но тут набежала новая туча, загремел опять гром и сделалась такая темнота, что хоть глаз выколи, а когда прочистилось, то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась, Бог весть! Старая боярыня крепилась месяца два, наконец, не вытерпела и пересказала Федоре, под большою тайной, что нищая говорила с ней о ее внуке, Юрие Дмитриче, что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на своей постеле; что станет служить иноплеменному государю; полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон.

— Что ж из этого сбылось?

— Как что? На двадцатом году Юрий Дмитрич осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова.

— Правда, правда, но ведь ему должно было умереть своею смертью?

— Кажись бы должно, а на беду вышло не так.

— И что за свадьба, которая не веселее похорон?

— Уж этого, любезный, и нянюшка Федора растолковать не могла.

— Вот то-то и есть! Не все, брат, предсказания сбываются. Пожалуй, и про меня в Царицыне какой-то цыган сказал, что я попаду в Запорожскую Сечь и век останусь простым казаком... Что ж вышло? Одно сбылось, а другое нет. Ты видишь сам, — продолжал Кирша, взглянув с удовольствием на своих казаков, — у меня под началом вот этаких молодцев до сотни наберется; и кабы я знал да ведал, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с моими ребятами на дне морском нашел!.. Уж поплатились бы мне за твоего боярина! — примолвил Кирша, принимаясь за флягу с вином.

— Одного-то из них ты знаешь, я его и впотьмах рассмотрел: он тот самый разбойник... вот что ты называл Омляшем.

— Как! — вскричал Кирша, выронив из рук свою флягу.

— Ну да! тот самый, которого ты, помнишь, в лесу перекрестил по голове нагайкою.

— Ах, Боже мой! Алексей, знаешь ли что? Ведь твой боярин-то, может быть, жив!

— Что ты говоришь?

— Этот Омляш и его товарищи — слуги боярина Кручины-Шалонского...

— Неужто?

— Я слышал своими ушами, что им приказано было захватить Юрия Дмитрича живьем. Ну, теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертвого?.. Он теперь в руках у этого кровопийцы Шалонского.

— А что ты думаешь?

— Верно так, и если только он жив...

— Дай-то Господи!

— То во что б ни стало, а Кирша его выручит. Видишь, там вдаль?.. Ведь это, кажется, отчина Шалонского?

— Должна быть она; только куда девались его хоромы, там, на холме...

— Одни угольки остались... Это, брат, наше дело; хозяйина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили через село и стали добиваться от крестьян, где их боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со всеми своими пожитками, холопями и домочадцами уехал, а куда — никто не знает. Пуще всего грыз на него зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас ускользнул, мы запалили его хоромы: первый пук соломы бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку в руки, несдобровать бы ему! Мы было хотели поджечь и село, да жаль стало мужичков: они, сердечные, не виноваты, что их боярин предатель и изменник.

— Так что ж были, если Юрий Дмитрич и жив, — сказал печально Алексей, — когда мы не ведаем, куда этот злодей Шалонский его запрятал?

— А почему знать? Может быть, и добьемся толку. Жаль, что со мной народу-то немного, а то бы я не выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где теперь их боярин. Статься не может, чтобы в целой отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропастился.

— Может быть, он уехал в Москву.

— Со всей своей дворнею? Что ты, брат! В Москве и полякам-то перекусить нечего, так примут они его с такой ватагою! Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь другом поместье... Да вот постой! Достанем языка, так авось что-нибудь выведаем.

— Эх, любезный, — сказал Алексей, покачивая головою, — не верится мне!.. Ты было сначала меня обрадовал, а после как подумал... не может быть! Если его и взяли живого, так, верно, уж давным-давно уходили.

— Авось, брат! попытка не шутка, а спрос не беда! Слава Богу, что мой старшина Смага-Жигулин не отпустил меня одного! Что б мы стали теперь делать?

— Да как ты сюда попал?

— Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам, и я было уже совсем отправился с одним только казаком, да Жигулин велел мне взять с собою этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по всем дорогам бродят шиши; хоть они грабят и режут одних поляков да изменников, но, неравен час, когда они под хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками; а нашу братью казаков, и чужих и своих, они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него и Бог весть что! Чудо-богатырь, аршин трех ростом, а зовут его, помнится, отцом Еремеем. Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения рук отвести не смеют, и если б не он, так от этих русских налетов и православным житья бы не было.

— Так ты едешь теперь из Нижнего?

— Да, торопиться мне незачем: станем искать твоего боярина, авось Господь нам поможет... Постой-ка, мне пришло в голову... А что и в самом деле!.. Я знаю в этом селе одного мужичка: он со всей боярской дворнею водил знакомство и ремеслом колдун; так, верно, лучше другого может нам намекнуть... Эй, молодцы! — продолжал Кирша, — побудьте здесь, а я на часок-место отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш! ты останешься старшим; если и через час не вернусь, то ступайте все... вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни; да только без шума, втихомолку и не кучею, а врасыпную, понимаешь?

— Разумею, — отвечал Малыш, небольшого роста, но ловкий и проворный казачий урядник.

— Смотри, чтоб без меня ребята не дурили: проезжих не трогать!

— Слышите ли, товарищи, что есаул-то говорит? — сказал Малыш. — Однакож, Кирила Пахомыч, — продолжал он, обращаясь к Кирше, — неравно повезут из Балахны вино или брагу, так по чарке, другой можно?..

— Ну, ну! Так и быть, только чур, ребята, из бочек дны не выбивать! Подайте моего коня, да если вам придется ехать в лес, так дайте и этому детине заводную лошадь.

Кирша вскочил на своего Вихря и, повторив еще раз все приказания, пустился полем к знакомому для нас лесу, который чернелся верстах в трех налево от большой дороги.

II

Кирша пробирался осторожно опушкою леса и, не встретив никого, поравнялся, наконец, с гумном Федыки Хомяка, которое, вероятно, принадлежало уже другому крестьянину; он поворотил к часовне и пустился по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Проехав версты полторы, Кирша повстречался с крестьянской девушкою.

— Здорово, красная девица! — сказал он, приподняв вежливо свою шапку. — Откуда идешь?

Девушка сначала испугалась, но ласковый голос и веселый вид запорожца ее успокоили.

— Я иду домой, господин честной, — отвечала она, отвесив низкий поклон Кирше.

— И верно, ходила ворожить на пчельник?

— А почему ты это знаешь? — спросила она, взглянув на него с удивлением.

— Видно, знаю! Ну что? Радостную ли весточку сказал тебе Кудимыч?.. Скоро ли свадьба?

— Архип Кудимыч баит, что скоро. Да почему ты знаешь?..

— Как не знать!.. А что, лебедка, чай, ты не с пустыми руками к нему ходила?

— Коли с пустыми! Я ему носила на поклон полсорока яиц да две копейки.

— Эк твой суженый-то расхарчился!

— Вот еще, велико дело две копейки! Для меня Ванюша не постоит и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко до пчельника?

— Близехонько.

— Прощай, красавица!

Кирша поехал далее, а крестьянская девушка, стоя на одном месте, провожала его глазами до тех пор, пока не потеряла совсем из виду. Не доехав шагов пятидесяти до пчельника, запорожец слез с лошади и, привязав ее к дереву, пробрался между кустов до самых ворот загородки. Двери избышки были растворены, а собака спала крепким сном подле своей конуры. Кирша вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц, которые в большом решете стояли перед ним на столе, не приподнял даже головы.

— Кудимыч! — сказал Кирша грозным голосом.

Колдун вздрогнул, поднял голову, вскрикнул, хотел вскочить, но его ноги подкосились, и он сел опять на скамью.

— Узнаешь ли ты меня? — продолжал запорожец, глядя ему прямо в глаза.

— Узнал, батюшка, узнал! — пробормотал, заикаясь, Кудимыч.

— Так-то ты помнишь свое обещание, негодный, а?.. Не божился ли ты мне, что не станешь никогда колдовать?

— И не колдую, отец мой! Видит Бог, не колдую!

— Право?.. А это что? Кто принес тебе это решето яиц? Чьи это две копейки?.. Ага! прикусил язычок!

— Помилуй, кормилец! как Бог свят...

— Молчи!.. Кто тебе сказал, что Ванька скоро женится, а?..

— Никто, батюшка, никто! Я ничего не говорил.

— Ого! да ты еще запираешься! Так стой же!.. *Гирей, мурей, алла боржук!*

— Виноват, отец мой! — закричал колдун, вскочив со скамьи и повалясь в ноги к запорожцу.

— Вот этак-то лучше, негодный! А не то я скажу еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог!

— Что делать, согрешил, окаянный! Месяца четыре крепился, да сегодня черт принес эту проклятую Марфушку!.. «Поворожи да поворожи!..» — пристала ко мне как лихоманка; не знал, как отвязаться!

— Добро, добро, встань! Счастлив ты, что у меня есть до тебя дельцо; а то узнал бы, каково со мной шутить!.. Ты должен сослужить мне службу.

— Все, что прикажешь, батюшка!

— Если ты мне поможешь в одном деле, так и я тебе удружу. Ведь ты только обманываешь добрых людей, а хочешь ли, я сделаю из тебя исправного колдуна?

— Как не хотеть, батюшка! Да я тогда за тебя куда хочешь — и в огонь и в воду!

— Слушай же! Во-первых, ты, верно, знаешь, где боярин Шалонский?

— Кто, батюшка?

— Боярин Кручина-Шалонский.

— Тимофей Федорович?

— Ну да.

— То есть боярин мой?

— Кой черт! что ты, брат, переминаешься? Смотри не вздумай солгать! Боже тебя сохрани!

— Что греха таить, родимый, знать-то я знаю...

— Так что ж?

— Да не велено сказывать.

— А я тебе приказываю.

— Да на что тебе, кормилец?.. Ведь ты и без меня всю подноготную знаешь; тебе стоит захотеть, так ты сейчас увидишь, где он.

— Вот то-то и дело, что нет; у кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба целый год не действует.

— Вот что!

— А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай!

— Отец родной, взмилуйся! Ведь меня совсем обдерут... и если боярин узнает, что я проболтался...

— Небось никому не скажу.

— Не смею, батюшка! воля твоя, не смею!

— Так ты стал еще упрямитесь!.. погоди же, голубчик!.. *Гирей, мурей...*

— Постой, постой!.. Ох, батюшки! что мне делать? Да точно ли ты никому не скажешь?

— Дуралей! Когда ты сам будешь колдуном, так что тебе сделает боярин? Если захочешь, так никто и пчельника твоего не найдет: всем глаза отведешь.

— Оно так, батюшка; но если б ты знал, каков наш боярин...

— Да что ты торгуешься, в самом деле? — закричал запорожец. — В последний раз: скажешь ли ты мне или нет, где теперь Тимофей Федорович?

— Не гневайся, кормилец, не гневайся, все скажу! Он теперь живет верст семьдесят отсюда, в Муромском лесу.

— В Муромском лесу?

— У него там много пустошей, а живет он на хуторе, который выстроил еще покойный его батюшка; одни говорят, для того, чтоб охотиться и бить медведей; другие бают, для того, чтоб держать пристань и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым Станом, и, как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдни солнышка не видно. Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой осталась одна каменная ограда да подземные склепы, и что будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней подходить; что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся служить сами по себе панихиду; что частенько, когда дельвали около этого места порубки, мужики слышали в сумерки благовест. Один старик, которого сын и теперь еще жив, рассказывал, что однажды зимою, отыскивая медвежий след, он заплутался и в самую полночь забрел на пустынь; он божился, что своими глазами видел, как целый ряд монахов, в черных рясах, со свечами в руках, тянулся вдоль ограды и, обойдя кругом

всей пустыни, пропал над самым тем местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заметил, что все они были изувечены: у одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе без головы...

— И этот старик от страха не умер? — спросил робким голосом Кирша, который в первый раз от роду почувствовал, что может и сам подчас струсить.

— Нет, не умер, — отвечал Кудимыч, — а так испугался, что тут же рехнулся и, как говорят, до самой смерти не приходил в память.

— Как же отец вашего барина решился на этом месте построить хутор?

— Он был, не тем помянуто, какой-то еретик: ничему не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил, не лучше был татарина. Правда, бают, при нем мертвецы наружу не показывались, а только по ночам холопи его слышали, что под землею кто-то охает и стонет. Был слух, что это живые люди, заточенные в подземелье; а я так мекаю, да все так мыслят, что это души усопших; а не показывались они потому, что старый боярин был ничем не лучше тех некрещеных бусурман, которые разорили пустынь. Однакож, наконец, и он унялся ездить на хутор; после ж его смерти годов двадцать никто туда не заглядывал, и только в прошлом лете, по приказанию Тимофея Федоровича, починили боярский дом и поисправили все службы.

— Ну, теперь скажи мне: этак месяца четыре назад не слышал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина?..

— Месяца четыре?.. Кажись, нет!..

— Точно ли так?

— Постой-ка!.. Ведь это никак придется близко святой?.. Ну так и есть!.. Мне сказывала мамушка Власьевна, что в субботу на Фомино воскресенье ей что-то ночью не спалось; вот она перед светом слышит, что вдруг прискакали на боярский двор; подошла к окну, глядь: сидит кто-то в телеге, руки скручены назад, рот завязан; прошло так около часу, вышел из хором боярский стремянный, Омляш, сел на телегу подле этого горемыки, да и по всем по трем.

— Так точно, что он! — вскричал Кирша. — Может быть, я найду его на хуторе... Послушай, Кудимыч, ты должен проводить меня до Теплого Стана.

— Что ты, родимый, я сродясь там не бывал.

— Полно, так ли?

— Видит Бог, нет!

— Так не достанешь ли ты мне проводника?

— Наверяд. Дворовых в селе ни души не осталось; а из мужичков, чай, так же, как я, никто туда не езжал.

— Но не можешь ли хоть растолковать, по какой дороге надо ехать?

— Кажись, по муромской. Кабы знато да ведано, так я меж слов повыспросил бы у боярских холопей: они часто ко мне наезжают. Вот дней пять тому назад ночевал у меня Омляш; его послали тайком к боярину Лесуте Храпунову; от него бы я добился, как проехать на Теплый Стан; хоть он смотрит медведем, а под хмельком все выболтает. В прошлый раз как он вытянул целый жбан браги, так и принялся мне рассказывать, что у них на хуторе...

Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его.

— Ну, что ж у них на хуторе? — сказал запорожец. — Да кой прах! что с тобою сделалось?

Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа, с прищуренными глазами и рыжей бородою.

— Омляш! — вскричал Кирша, выхватив свою саблю, но в ту ж минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол.

— Скрутите его хорошенько! — кричал в окно Омляш. — А я сейчас переведаюсь с хозяином. Ну-ка, Архип Кудимович, — сказал он, входя в избу, — я все слышал: посмотрим твоего досужества, как-то ты теперь отворишься!

— Виноват, батюшка! — завопил Кудимыч, упав на колени. — Не губи моей души!.. Дай покаяться!

— Ах ты проклятый колдун! Так ты всякому прохожему рассказываешь, где живет наш боярин?

— Батюшка, отец родимый! В первый и последний раз проболтался! Век никому не скажу!..

— И не скажешь! Я за это порукою...

Омляш махнул кистенем, и Кудимыч с раздробленной головой повалился на пол.

— Ай да Омляш! — сказал небольшого роста человек, в котором Кирша узнал тотчас земского ярыжку. — Исполать тебе! Смотри-ка... не пикнул!

— Я не люблю томить, — отвечал хладнокровно Омляш, — мой обычай: дал раза, да и дело с концом! А ты что за птица? — продолжал он, обращаясь к Кирше. —

Ба, ба, ба! старый приятель! Милости просим! Что ж ты молчишь? Иль не узнал своего крестника?

— Да это тот самый колдун, — сказал один из товарищей Омляша, — что пользовал нашу боярышню.

— Ой ли? Ну, брат! не знаю, каково ты ворожишь, а нагайкою лихо дерешься. Ребята! поищите-ка веревки, да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть; а вон, кстати, у самых ворот знатная сосна.

— Знаете ль, молодцы, — сказал земский, — что повесить и одного колдуна богоугодное дело; а мы за один прием двоих отправим к черту... эко счастье привалило!

— А скажи-ка, крестный батюшка, — спросил Омляш, — зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли тебя нарочно повыведасть, где наш боярин?.. Что ж ты молчишь?.. — продолжал Омляш. — Заговорил бы ты у меня, да некогда с тобой растабарывать... Ну, что стали, ребята? Удалой! тащи его к сосне да втяните на самую макушку: пусть он оттуда караулит пчельник!

Киршу вывели за ворота. Удалой влез на сосну, перекинул через толстый сук веревку; а Омляш, сделав на одном конце петлю, надел ее на шею запорожцу.

— Послушайте, молодцы! — сказал Кирша. — Что вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так каяться не будете.

— Ага, брат! Заговорил, да нет, любезный, нас не убайкаешь. Подымайте его!

— Пойдите, я дам за себя выкуп!

— Выкуп?.. Погодите, ребята.

— Что ты его слушаешь, Омляш, — сказал земский, — я его кругом обшарил: теперь у него и полденьги нет за душою.

— Здесь в лесу есть клад.

— Клад! — вскричал Омляш. — А что вы думаете, ребята? Ведь он колдун, так не диво, если знает... Да не обманываешь ли ты!

— Что мне прибыли обманывать? Ведь я у вас в руках.

— Ну, добро, добро! Покажи нам, где клад? — сказал земский.

— Да, покажи вам, а после вы меня все-таки уходите. Нет, побожиться прежде, что вы отпустите меня живого.

— Ты еще вздумал с нами торговаться! — вскричал Омляш. — Покажи нам клад, а там посмотрим, что с тобою делать.

— Как бы не так! Обещайтесь отпустить меня с честью, так покажу, а без этого, — прибавил твердым голо-

сом Кирша, — хотя в куски меня режьте, ни слова не вымолвлю.

— Ну, ну, — сказал земский, мигнув Омляшу, — так и быть! Вот те Христос, мы тебя отпустим на все четыре стороны и ничем не обидим, только покажи клад.

— Точно ли так, ребята?..

— Да, да, — повторил Омляш и его товарищи, — мы ничем тебя не обидим и отпустим с честью.

— Смотрите же, молодцы! Ведь вам грешно будет, если вы меня обманете, — сказал Кирша.

— Не обмани только ты, а мы не обманем, — отвечал Омляш. — Удалой, возьми-ка его под руку, я пойду передом, а вы, ребята, идите по сторонам; да смотрите, чтоб он не юркнул в лес. Я его знаю: он хват детина! Томила, захвати веревку-то с собой: неравно он нас морочит, так было бы на чем его повесить.

— А вот кстати и заступ, — сказал земский. — Ведь мы не руками же станем раскапывать землю.

Кирша повел их по тропинке, которая шла к селению. Желая продлить время, он беспрестанно останавливался и шел весьма медленно; отвечая на угрозы и понуждения своих провожатых, что должен удостовериться по разным приметам, туда ли он их ведет. Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул быстрым взором все окружности и удостоверился, что его казаки не прибыли еще на сборное место. Помолчав несколько времени, он сказал, что не может исполнить своего обещания до тех пор, пока не развяжут ему рук.

— Не хлопочи, брат, — отвечал Омляш, — покажи нам только место, а уж копать будешь не ты.

— Да, много выкопаете! — сказал запорожец. — Ведь клад не всем дается: за это надо взяться умеючи.

— Что правда, то правда, — примолвил земский. — Я много раз слышал, что без досужего человека клад никому в руки не дается; как не успеешь сказать: «Аминь, аминь, рассыпья!» — так и ступай искать его в другом месте.

— Ну, ну, хорошо! развяжите его, — сказал Омляш, — да чур не дремать, ребята, а уж я его не смигну!

Когда Кирше развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине; потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявляя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилег ухом к земле. Сначала он не слышал ничего: все было тихо кругом; наконец ему послышался отдаленный конский топот.

— Ну что, чуешь ли что-нибудь? — спросил с нетерпением Омляш.

— Да, да, — отвечал запорожец, — дело идет порядком, только торопиться не надобно. Я примусь теперь копать землю, а вы стойте вокруг за чертою; да смотрите не шевелитесь! К этому кладу большой караул приставлен: нелегко он достанется.

— А что, — спросил робким голосом земский, — уж не будет ли какого демонского наваждения?

— Не без того-то, любезный, — отвечал Кирша важным голосом. — Лукавый хитер, напустит на вас страх! Смотрите, ребята, чур не робеть! Что б вам ни померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назад.

— Что за вздор! — сказал Омляш, взглянув подозрительно на Киршу. — Я никогда не слыхивал, чтоб он — наше место свято — показывался по утрам, когда уж петухи давным-давно пропели!

— Не слыхал, так другие от тебя услышат. Становитесь же в кружок, не говорите ни слова, смотрите вниз, а если покажется из земли огонек, тотчас зачурайтесь.

Наблюдая глубокое молчание, все стали кругом Кирши, который, пошептав несколько минут, принялся копать с большими расстановками.

— Чу! — шепнул Омляш земскому. — Слышишь ли?.. конский топот!..

— Ради Бога молчи! — отвечал земский дрожащим голосом.

— Тс!.. что вы? Ни гугу! — сказал запорожец, погрозив пальцем.

Шум час от часу приближался и становился внятнее.

— Я слышу голоса! — примолвил Омляш, посматривая с беспокойным видом вокруг себя. — Эй ты, колдун!..

— Тс!..

— Если ты завел нас в какую-нибудь засаду, то...

— Тс!..

— Уймешься ли ты? — сказал Томила, толкнув его локтем.

— К нам, точно, подъезжают! — вскричал Омляш, вынув из-за пояса большой нож.

— Эх, братец, перестань! — шепнул Удалой. — Это нам мерещится...

Земский не говорил ни слова; он не смел пошевелить губами и стоял как вкопанный.

— Слушайте, ребята, — сказал Кирша, перестав копать, — если вы не уйметесь говорить, то быть беде! То

ли еще будет, да не бойтесь, стойте только смирно и не оглядывайтесь назад, а я уже знаю, когда зачурать.

Омляш замолчал и, устремив проницательный взор на запорожца, следил глазами каждое его движение. Между тем из-за кустов показался казак, за ним другой... там третий...

— Ну, ребята, — сказал запорожец, — дело идет к концу: стойте крепко!.. Малыш, сюда!..

— Измена!.. — вскричал Омляш, схватив за ворот Киршу. Он ударил его оземь и, занеся над ним нож, сказал: — Если кто-нибудь из них тронется с места...

Вдруг раздался ружейный выстрел... Омляш вскрикнул, хотел опустить нож, направленный прямо в сердце запорожца, но Кирша рванулся назад, и разбойник, захрипев, упал мертвый на землю. Удалой и Томила выхватили сабли, но в одно мгновение, проколотые дротиками казаков, отправились вслед за Омляшем.

В продолжение этой минутной суматохи земский не смел пошевелиться и, считая все это дьявольским наваждением, творил про себя, заикаясь от страха, молитву. Когда ж, по знаку запорожца, двое казаков принялись вязать ему руки, он не вытерпел и закричал как сумасшедший:

— Чур меня! Чур! Наше место свято!..

— Что ты горло-то дерешь? — сказал Кирша. — От этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься.

— Что ж это такое?.. — спросил земский, поглядывая вокруг себя как помешанный. — Омляш!.. Удалой!.. Томила!..

— Полно орать, никого не докличешься; мы с ними разделались, теперь очередь за тобою.

— Ах, батюшки-светы! Так мы попались в засаду?..

— Не погневайся! Ребята, веревку ему на шею да на первую осину!

— Помилуй! — закричал земский. — Что я тебе сделал?

— А разве вы не хотели меня повесить? Долг платежом красен.

— Не я, видит Бог, не я: это все Омляш! Я ни слова не говорил!..

— Добро, добро! тебя не переслушаешь. Проворней, ребята!

— Взмилуйся! — заревел земский, растянувшись в ногах запорожца. — Таскай меня, бей... вели отодрать плетми, делай со мной что хочешь... только будь отец родной: отпусти живого.

Уродливая фигура земского, его отчаянный вид, исключенная рыжая борода, растрепанные волосы — одним словом, вся наружность его казалась столь забавною казакам, что они, умирая со смеху, не слишком торопились исполнять приказание своего начальника. Один добрый Алексей сжалился над несчастным ярыжкой.

— Не губи его души, — сказал он Кирше, — Бог с ним!..

— Пустое, брат, — отвечал запорожец, мигнув Алексею, — тащите его!.. или нет!.. постой!.. Слушай, рыжая собака! Если ты хочешь, чтоб я тебя помиловал, то говори всю правду; но смотри, лишь только ты заикнешься, так и петлю на шею! Жив ли Юрий Дмитрич Милославский?

— Жив, батюшка! Видит Бог, жив!

— Неужто в самом деле? — вскричал Алексей.

— Где он теперь? — продолжал Кирша.

— В Муромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича.

— Доведешь ли ты нас туда?

— Доведу, кормилец, доведу!

— Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитрича?

— Помогу, отец мой, помогу!

— А где теперь дочь боярина Шалонского, Анастасия Тимофеевна?

— Не знаю, батюшка!

— Не знаешь?

— Как Бог свят, не знаю; а слышал только, что батюшка отвез ее в какой-то монастырь под Москву, в котором игуменья приходится ей теткою.

— Много ли у боярина на хуторе холопей?

— Много, батюшка: за сотню будет.

— За сотню?.. Правду ли ты говоришь?

— Сущую правду, кормилец! Всех по пальцам перечту: Гаврила, Антон, Федот, Кондратий...

— Верю, верю... Ах, черт возьми! Так дело-то трудно-вато!.. Тут на силу не возьмешь...

— Уж я вам помогу, — прервал земский, — только отпустите меня живого; я все тропинки в лесу знаю и доведу вас ночью до самого хутора, так что ни одна душа не услышит.

— Хорошо, господин ярыжка! — сказал Кирша. — Если мы выручим Юрия Дмитрича, то я отпущу тебя без всякой обиды; а если ты плохо станешь нам помогать, то закопаю живого в землю. Малыш, дай ему коня да при-

ставь к нему двух казаков, и если они только заметят, что он хочет дать тягу или, чего Боже сохрани, завести нас не туда, куда надо, так тут же ему и карачун! А я между тем сбегая за моим Вихрем: он недалеко отсюда, и как раз вас догоню.

— На коня, добрые молодцы! — закричал Малыш. — Эй ты, рыжая борода, вперед!.. показывай дорогу!.. Ягайло, ступай возле него по правую сторону, а ты, Павша, держись левой руки. Ну, ребята, с Богом!..

III

Знаменитые в народных сказках и древних преданиях, дремучие леса Муромские и доныне пользуются неоспоримым правом — воспламенять воображение русских поэтов. Тот, кому не случилось проезжать ими, с ужасом представляет себе непроницаемую глубину этих диких пустынь, сыпучие пески, поросшие мхом и частым ельником непроходимые болота, мрачные поляны, устланные целыми поколениями исполинских сосен, которые породились, выросли и истлевали на тех же самых местах, где некогда возвышались их прежние, современные векам, прародители; одним словом, и в наше время многие воображают Муромские леса

Жилищем ведьм, волков,
Разбойников и злых духов

Но, к сожалению юных поэтов наших и к счастью всех путешественников, они давно уже потеряли свою питическую физиономию. Напрасно бы стали мы искать окруженную топкими болотами долину, где некогда, по древним сказаниям, возвышалось на семи дубах неприступное жилище Соловья-Разбойника; никто в селе Карачарове не покажет любопытному путешественнику того места, где была хижина, в которой родился и *сиднем* сидел тридцать лет могучий богатырь Илья Муромец. О ведьмах не говорят уже и в самом Киеве; злые духи остались в одних операх, а романтические разбойники, по милости классических капитан-исправников, вовсе перевелись на святой Руси; и бедный путешественник, мечтавший насладиться всеми ужасами ночного нападения, приехав домой, со вздохом разряжает свои пистолеты и разве иногда может похвастаться мужественным своим падением на стационарного зрителя, который *Бог зна-*

ет почему не давал ему до самой полуночи лошадей, или победою над упрямым извозчиком, у которого, *верно, было что-нибудь на уме*, потому что он ехал шагом по тяжелой песчаной дороге и, подъезжая к одному оврагу, насвистывал песню. Но что всего несноснее: этот дремучий лес, который в старину представлялся воображению чем-то таинственным, неопределенным, бесконечным — весь вымерен, разделен на десятины, и сочинитель романа не найдет в нем ни одного уголка, которого бы уездный землемер не показал ему на общем плане всей губернии. Правда, говорят, будто бы и в наше время голодные волки бродят по лесу и кой-где в дуплах завывают филины и сычи; но эти мелкие второклассные ужасы так уже износились во всех страшных романах, что нам придется скоро отыскивать девственную природу, со всеми дикими ее красотами, в пустынях Барабинских или бесконечных лесах южной Сибири.

С лишком за двести лет до этого, то есть во времена междуцарствия, хотя мы и не можем сказать утвердительно, жила ли в Муромских лесах ведьмы, лешие и злые духи, но по крайней мере это народное поверье существовало тогда еще во всей своей силе; что ж касается до разбойников, то, несмотря на старания губных старост, огнищан и всей земской полиции тогдашнего времени, дорога Муромским лесом вовсе была не безопасна. Купец из какого-нибудь низового города, отправляясь во Владимир, прощался со всеми своими родными и, доехав благополучно до Мурома, полагал необходимою обязанностью отслужить благодарственный молебен муромским чудотворцам, святым и благоверным: князю Петру и княгине Февронии.

Мы попросим теперь читателей перенестись вместе с нами в самую глубину Муромского леса, на Теплый Стан, хутор боярина Шалонского. Чтоб дать сколь возможно более понятия о его местоположении, мы скажем только, что он находился верстах в двадцати от большой дороги и почти столько же от берегов Оки, которая перерезывает, или, лучше сказать, оканчивает, большой Муромский лес. Не доезжая верст пяти до хутора, должно было переправиться через обширное болото, в коем терялась небольшая речка, которая, прокрадываясь потом между мхов и поросших тростником небольших озер, впадала в Оку. Узкая, едва заметная тропинка извивалась по болоту; по обеим сторонам ее расстилались, по-видимому, зеленеющие луга; но горе проезжему, который, пленясь их наружностью, решился

бы съехать в сторону с грязной и беспокойной дороги: под этой обманчивой зеленой оболочкою скрывалась смерть, и один неосторожный шаг на эту бездонную трясику подвергал проезжего неминуемой гибели; увязнув раз, он не мог бы уже без помощи других выбраться на твердое место: с каждым новым усилием погружался бы все глубже и, продолжая тонуть понемногу, испытал бы на себе все-мучения медленных казней, придуманных бесчеловечием и жестокостью людей. По другой стороне топи начиналась прямая просека, ведущая на окруженную со всех сторон болотами и дремучим лесом обширную поляну; во всю ширину ее простирались стены древней обители, на развалинах которой был выстроен хутор боярина Кручины. Небольшая речка, о которой мы уже говорили, обтекая кругом всей стены, составляла перед самым выездом на поляну продолговатый и довольно широкий пруд; длинная и узкая гать служила плотиною, по которой подъезжали к самым стенам хутора. По всем углам четырехсторонней ограды построены были круглые башни, из которых две, казалось, готовы были ежеминутно разрушиться; но остальные, несмотря на все признаки ветхости, могли еще быть обитаемы. Над главными воротами, на которых заметны были остатки живописи, изображавшей, вероятно, святых угодников, возвышалась до половины разрушенная сторожевая башня. Внутри ограды, вдоль всей восточной стены, выстроены были бревенчатые хоромы боярина Шалонского, а остальная часть хутора занята службами и огромною конюшнею. На самой середине двора видны были остатки довольно обширной, но низкой церкви; узкие, похожие на трещины окна, совершенно заглохли травой, а вся поверхность сводов поросла кустами жимолости, из средин которых подымались две или три молодые ели.

Глухая полночь давно уже наступила; ветер завывал между деревьями, и ни одна звездочка не блистала на черных, густыми тучами покрытых небесах. Почти все жители Теплого Стана покоились крепким сном, и только караульный, поставленный на сторожевой башне, изредка перекликался с своим товарищем, стоящим у противоположных ворот. Кой-где мелькал сквозь окна слабый свет лампад, висящих перед иконами, и одна только часть хором боярина Кручины казалась ярко освещенною. В обширном покое, за дубовым столом, покрытым остатками ужина, сидел Кручина-Шалонский с задушевным своим другом, боярином Истоною-Турениным; у дверей комнаты дремали, прислонясь к стене, двое слуг; при каждом новом

порыве ветра, от которого стучали ставни и раздавался по лесу глухой гул, они, вздрогнув, посматривали робко друг на друга и, казалось, не смели взглянуть на окна, из коих можно было различить, несмотря на темноту, часть западной стены и сторожевую башню, на которых отражались лучи ярко освещенного покоя.

— Выпей-ка еще этот кубок, — сказал Кручина, наливая Туренину огромную серебряную кружку. — Я давно уже заметил, что ты мыслишь тогда только заодно со мною, когда у тебя зашумит порядком в голове. Воля твоя, а ты уж чересчур всего опасаясь. Смелым Бог владеет, Андрей Никитич, а робкого один ленивый не бьет.

— Благоразумие не робость, Тимофей Федорович, — отвечал Туренин. — И ради чего Господь одарил нас умом и мыслию, если мы и с седыми волосами будем поступать, как малые дети? Дозволь тебе сказать: ты уж не в меру малоопасен; да вот хоть, например: для какой потребности эти два пострела торчат у дверей? Разве для того, чтобы подслушивать наши речи.

— Подслушивать? Да смеют ли они иметь уши, когда стоят в моем покое.

— Смеют ли!.. Чего не смеет подчас это хамово отродье. Послушай, Тимофей Федорович, коли ты желаешь продолжать со мною начатый разговор, то вышли вон своих челядинцев.

— Ну, если хочешь, пожалуй! Эй вы, дурачье!.. ступайте вон.

Слуги молча поклонились и вышли в другую комнату.

— Вот этак-то лучше! — сказал Туренин, притворяя дверь. — Итак, Тимофей Федорович, — продолжал он, садясь на прежнее место, — ты решился оставить Теплый Стан?

— Да, делать нечего. Гетман Хоткевич должен быть уже под Москвою, и, если нижегородские разбойники с атаманом своим, Пожарским, и есаулом его, мясником Сухоруковым, и подоспеют на помощь к князю Трубецкому, то все ему несдобровать: Заруцкий с своими казаками и рук не отведут; так рассуди сам: какой я добыюсь чести, если во все это время просижу здесь, на хуторе, как медведь в своей берлоге?

— Оно так, Тимофей Федорович; не худо бы нам добраться до войска пана Хоткевича: если он будет победителем, тем лучше для нас — и мы там были налицо; если ж на беду его поколотят...

— Что ты?.. может ли это случиться?

— Бог весть! Не узнаешь, любезный. Иногда удастся и теляти волка поймать; а Пожарский не из простых воевод: хитер и на руку охулки не положит. Ну если каким ни есть случаем да посчастливится нижегородцам устоять против поляков и очистить Москву, что тогда с нами будет? Тебя они величают изменником, да и я, чай, записан у Пожарского в *нетех*¹, так нам обоим жутко придется. А как будем при Хоткевиче, то какова ни мера, плохо пришло — в Польшу уедем и если не здесь, так там будем в чести.

— Вот то-то же; ты видишь сам, что нам мешкать не должно.

— Видеть-то я вижу, да как мы доберемся до польского войска?.. Ехать одним... того и гляди попадешься в руки к разбойникам шишам, от которых, говорят, около Москвы проезду нет. Взять с собой человек тридцать холопей... с такой оравой тайком не прокрадешься; а Пожарский давно уже из Ярославля со всем войском к Москве выступил.

— Не выходить бы ему из Ярославля, — вскричал Кручина, — если б этот дурак, Сенька Жданов, не промахнулся! И что с ним сделалось?.. Я его, как самого удалого из моих слуг, послал к Заруцкому; а тот отправил его с двумя казаками в Ярославль зарезать Пожарского — и этого-то, собачий сын, не умел сделать!.. Как подумаешь, так не из чего этих хамов и хлебом кормить!

— Как бы то ни было, Тимофей Федорович, а делать нечего, надобно пуститься наудалую. Но так как по мне все лучше попасться в руки к Пожарскому, чем к этим проклятым шишам, то мой совет — одним нам в дорогу не ездить.

— И я то же, думаю. Итак, если завтра погода будет получше... Тьфу, батюшки! что за ветер! экой гул идет по лесу!

— Да, погодка разыгралась. И то сказать, в лесу не так, как в чистом поле: и небольшой ветерок подымет такой шум, что подумаешь — светопреставление... Чу! слышишь ли? и свистит и воет... Ах, батюшки-светы! что это?.. словно человеческие голоса!

— В самом деле, — сказал Кручина, вставая с своего места, — и мне что-то слышалось... — прибавил он, глядя из окна на сторожевую башню.

¹ Так назывались те, которые по требованию правительства не являлись на службу (*Примеч авт.*)

— Нет, — отвечал Туренин, покачав сомнительно головою, — это не так близко отсюда, а разве за плотиною в просеке.

— Уже не едет ли назад Омляш с товарищами? — сказал Кручина.

— Может статься, — отвечал Туренин, — однакож не худо, если б ты велел разбудить человек десяток холопей.

— На что?

— Да так, чтоб, знаешь ли, врасплох не пожаловали гости...

— Помилуй, любезный! кому?.. Кто, кроме наших, в такую темноту проедет болотом?

— Все так; а, право, не мешало бы...

— Э, да, я вижу, ты еще не допил своего кубка! Ну-ка, брат, выкушай на здоровье! Авось храбрости в тебе прибавит. Помилуй, чего ты опасаться? В нашей стороне никакого войска нет, а если б и было, так кого нелегкая понесет? Вернее всего, что нам послышалось. Омляш все тропинки в лесу знает, да и он навряд пустится теперь через болото.

— А куда ты его отправил?

— К Замятне-Опалеву. Сегодня или завтра чем свет ему назад вернуться должно. Итак, Андрей Никитич, дело кончено: мы завтра отправляемся в дорогу. Знаешь ли, что нам придется ехать мимо Троицкой лавры?

— Для чего?

— Да надо завернуть в Хотьковскую обитель за Настенькой: она уж четвертый месяц живет там у своей тетки, сестры моей, игуменьи Ирины. Не век ей оставаться невестою, пора уж быть и женою пана Гонсевского; а к тому ж если нам придется уехать в Польшу, то как ее после выручить? Хоть, правду сказать, я не в тебя, Андрей Никитич, и верить не хочу, чтоб этот нижегородский сброд устоял против обученного войска польского и такого знаменитого воеводы, каков гетман Хоткевич.

— Не говори, Тимофей Федорович: мало ли что случиться может; не подумайшь вперед, так чтоб после локтей не кусать. Ну, а скажи мне, если завтра мы отсюда отправимся, что ты сделаешь с Милославским? Неужли-то потащишь с собою?

— Да, мне хотелось бы этого предателя руками выдать пану Гонсевскому.

— Нет, Тимофей Федорович, неравно попадемся сами, так бедовое дело: ведь он живая улика.

— Что правда, то правда; придется оставить его здесь.

— Вот то-то же! Ну к чему навязал себе на шею эту заботу? Кабы твой Омляш меня послушался, то давно б об этом Милославском и слуху не было; так нет!.. «Мне, дескать, наказано от боярина живьем его схватить!» Живьем!.. Вот теперь и возись с ним!

— Да знаешь ли, что этот мальчишка обидел меня за столом при пане Тишкевиче и всех моих гостях? Вспомнить не могу!.. — продолжал Кручина, засверкав глазами. — Этот щенок осмелился угрожать мне... и ты хочешь, чтоб я удовольствовался его смертью... Нет, черт возьми! я хотел и теперь еще хочу уморить его в кандалах: пусть он тает как свеча, пусть, умирая понемногу, узнает, каково оскорбить боярина Шалонского!

— Оно так, — перервал хладнокровно Туренин, — конечно, весело потешиться над своим злодеем; да чтоб оглядок не было. Ты оставишь его здесь... ну, а коли, чего Боже сохрани! без тебя он как ни есть вырвется на волю!.. Эх, Тимофей Федорович! послушайся моего совета... мертвые не болтают.

— Так ты думаешь?..

— Ну да! Хватил ножом, да и концы в воду!

Боярин Кручина, помолчав несколько минут, повторил вполголоса:

— Ножом!.. Но неужели я должен сам?..

— Кто тебе говорит? Что, у тебя мало, что ль, молодцов?.. Стоит только намекнуть...

— Омляш и Удалой в дороге, а на других я не больно надеюсь.

— Вели позвать моего дворецкого: у него рука не дрогнет.

— Так ты думаешь что мы должны?.. Что для безопасности нашей?..

— Как же! ведь он нас за руки держит; один конец — так и нам и ему легче будет.

— Ну ин быть по-твоему, — сказал Кручина, вставая медленно из-за стола. Он наполнил огромную кружку вином и, выпив ее одним духом, подошел к дверям, взялся за скобу, но вдруг остановился; казалось, несколько минут он боролся с самим собою и, наконец, прошептал глухим голосом: — Нет! не могу!.. никак не могу!..

— Чуден ты мне! — сказал, покачав головою, Туренин. — Ведь ты хотел же его уморить в кандалах?

— Да, и как вспомню, что этот молокосос осмелился ругаться надо мною, то вся кровь закипит!

— Так что ж?

— Так что ж!.. Эх, Андрей Никитич! в сердцах я готов на все: сам зарежу того, кто осмелится мне поперечить... а ведь он в моих руках!..

— Тем лучше.

— В цепях... истомленный голодом, едва живой... Когда подумаю, что он, не вымолвив ни слова, как мученик, протянет свою шею... Нет, Андрей Никитич, не могу! Видит Бог, не могу!..

— Кто говорит, Тимофей Федорович, — конечно, жаль: детина молодой, здоровый, дожил бы до седых волос... да, что ж делать, своя рубашка к телу ближе.

Шалонский бросился на скамью и, закрыв обеими руками лицо, не отвечал ни слова.

— Послушай, любезный, — продолжал Туренин, — что сделано, то сделано: назад не воротиться; и о чем тут думать? Не при мне ли Милославский говорил нижегородцам, чтоб не покорялись Владиславу? Не по его ли совету они пошли под Москву? Не он ли ободрял их, рассказывая о бессилии поляков и готовности граждан московских восстать против Гонсевского? Не клялся ли он в верности Владиславу? Не изменил ли своей присяге и не заслуживает ли этот предатель смертной казни? Ну что ж ты молчишь? Отвечай, Тимофей Федорович!

— Боярин Туренин, — сказал Кручина, бросив на него угрюмый взгляд, — не нам с тобою осуждать Милославского... Но ты прав: назад вернуться не можно. Делай что хочешь... и пусть эта кровь падет на твою голову!

— Аминь! — сказал Туренин, подходя к дверям.

— Постой! — вскричал Шалонский. — Слышишь ли?.. это уж не ветер...

— Да, — отвечал Туренин, отворяя окно. — Точно!.. Конский топот!

— Неужели Омляш! Скоро ж он назад воротился... Нишни!.. караульный с кем-то разговаривает... Кажется... точно так! Это голос Прокофьича.

— Земского ярыжки, который у тебя живет?

— Да; я отправил его вместе с Омляшем.

— Ну, так и есть; это должны быть они... вот и караульный сошел с башни... отворяет ворота... Кой черт!.. а сколько ты людей отправил с Омляшем?

— Их было всего четверо.

— Четверо?.. Полно, так ли?.. Кажется, их гораздо больше... Постой-ка... тьфу, батюшки, какая темнота!

Тут на дворе раздался болезненный крик, похожий на удушливое и слабое восклицание умирающего человека.

— Что это значит? — спросил торопливо Туренин.

— Дурачье, — сказал Кручина, — уж не задавили ли кого-нибудь в потемках?

— Тимофей Федорович! — вскричал Туренин. — Посмотри-ка!.. Мне кажется, что от ворот идет что-то много пеших людей...

— Право?.. Ну, спасибо Замятне! Я просил его прислать ко мне десятка два своих холопей. У меня здесь больных наполовину, а как возьмем с собой человек тридцать, так было бы кому хутор покараулить. Пожалуй, заберутся в гости и разбойники.

— А что, у тебя заведено, что ль, держать по ночам ворота настежь?

— Как настежь?

— Да разве не видишь? Караульный и не думает запирать.

— В самом деле... Может быть, не все еще въехали.

— Не все?.. Кажется, и так порядочная кучка прошла двором.

Вдруг в сенях послышались шаги многих людей, поспешно идущих.

— Тимофей Федорович! — вскричал испуганным голосом Туренин. — Сюда идут!..

— Что это значит?.. — спросил Кручина, подойдя к дверям.

В соседнем покое раздался громкий крик, и Кирша, в провожании пяти казаков и Алексея, вбежал в комнату.

— Измена! — вскричал Шалонский.

— Молчать!.. — сказал Кирша, прицелясь в него пистолетом. — Слушайте, бояре! Если из вас кто-нибудь пикнет, то тут вам и конец! Тимофей Федорович, веди нас сейчас туда, где запрятан у тебя Юрий Дмитрич Милославский.

Шалонский протянул руку, чтоб схватить со стола нож; но Туренин, удержав его, закричал:

— Бога ради, боярин, не губи нас обоих! Добрый человек! — продолжал он, обращаясь к Кирше...

— Тсс! ни слова! — перервал запорожец. — Где ключи от его темницы?

Кручина молча показал на стену.

— Хорошо, — сказал Кирша, сняв их со стены, — возьмите каждый по свече и показывайте, куда идти... Да Боже вас сохрани сделать тревогу!.. Ребята! под руки их! ножи к горлу... вот так... ступай!

В соседнем покое к ним присоединилось пятеро других казаков; двое по рукам и ногам связанных слуг лежали на полу. Сойдя с лестницы, они пошли вслед за Шалонским к развалинам церкви. Когда они проходили мимо служб, то, несмотря на глубокую тишину, ими наблюдаемую, шум от их шагов пробудил несколько слуг; в двух или трех местах народ зашевелился и растворились окна.

— Тимофей Федорович! — сказал Кирша. — Если все эти рожи сей же час не спрячутся, то... — Он приставил дуло пистолета к его виску. — Слышишь ли, боярин?

Шалонский не отвечал ни слова; но Туренин закричал прерывающимся от страха голосом:

— Что вы глазеете, дурачье? Иль хотите подсматривать за вашими боярами?.. Вот я вас, бездельники!..

Окна затворились, и снова настала совершенная тишина. Подойдя к развалинам, казаки вошли вслед за боярином Кручиною во внутренность разоренной церкви. В трапезе, против того места, где заметны еще были остатки каменного амвона, Шалонский показал на чугунную широкую плиту с толстым кольцом. Когда ее подняли, открылась узкая и крутая лестница, ведущая вниз.

— Тимофей Федорович, — сказал Кирша, — потрудись идти вперед; а ты, боярин, — продолжал он, обращаясь к Туренину, — ступай-ка подле меня; неравно у вас есть какая-нибудь лазейка, и если он от нас ускользнет, то хоть ваша милость не вывернется.

Сойдя ступеней двадцать, они очутились в обширном подземелье; покрытые надписями чугунные доски и каменные плиты, с высеченными словами, доказывали, что это подземелье служило склепом, в котором хоронили некогда усопших иноков. В одном углублении окованная железом низкая дверь была заперта огромным висячим замком. Кручина, не говоря ни слова, остановился подле нее; в одну минуту замок был отперт, дверь отворилась, и Алексей вместе с Киршею и двумя казаками вошел, или, лучше сказать, пролез, с свечкою в руках сквозь узкое отверстие в небольшой четырехугольный погреб. В нем, прикованный толстой цепью к стене, лежал на соломе несчастный Милославский. Услышав необычайный шум и увидя вошедших людей, он молча перекрестился и закрыл рукою глаза.

— Ахти! Нас обманули! — вскричал Алексей. — Это не он!

Звуки знакомого голоса пробудили от бесчувствия полумертвого Юрия; он открыл глаза, привстал и, протянув вперед руки, промолвил слабым голосом:

— Алексей, ты ли это?

— Боже мой!.. это его голос! — вскричал верный служитель, бросившись к ногам своего господина. — Юрий Дмитрич, — продолжал он, всхлипывая, — батюшка!.. отец ты мой!.. Ах злодеи!.. богоотступники!.. что это они сделали с тобою? Господи боже мой! краше в гроб кладут!.. Варвары! кровопийцы!

Рыдания прерывали слова его; он покрывал поцелуями руки и ноги Юрия, который, казалось, не мог еще образумиться от этого нечаянного появления и не понимал сам, что с ним делалось.

— Добро, будет, Алексей! — сказал запорожец. — Успеешь нарадоваться и нагореваться после; теперь нам не до того. Ребята, проворней сбивайте с него цепи... иль нет... постой... в этой связке должны быть от них ключи.

Кирша не ошибся: ключи нашлись, и через несколько минут, ведя под руки Юрия, который с трудом переступал, они вышли вон из погребца.

— Алексей, — сказал запорожец, — выведи поскорей своего господина на свежий воздух, а мы тотчас будем за вами. Ну, бояре, — продолжал он, — милости просим на место Юрия Дмитрича; вам вдвоем скучно не будет; вы люди умные, чай, есть о чем поговорить. Эй, молодцы! Пособите им войти в покой, в котором они угощали боярина Милославского.

Туренин хотел что-то сказать, но казаки, не слушая его, втолкнули их обоих в погреб, заперли дверь и когда выбрались опять в церковь, то принялись было за плиту; но Кирша, не приказав им закрывать отверстия, вышел на паперть. Казалось, чистый воздух укрепил несколько изнуренные силы Милославского. Они дошли без всякого препятствия до ворот, подле которых стояли на часах двое казаков и лежал убитый караульный; а на плотине, шагах в десяти от стены, дожидались с лошадьми остальные казаки и земский. Алексей при помощи других посадил Юрия на лошадь, и вся толпа вслед за земским, который ехал впереди между двух казаков, переправясь в глубоком молчании через плотину, пустилась рысью вдоль просеки, ведущей к болоту.

IV

Проехав версты четыре на рысях, Кирша приказал своим казакам остановиться, чтоб дать отдохнуть Милославскому, который с трудом сидел на лошади, несмотря на то

что с одной стороны поддерживал его Кирша, а с другой ехал подле самого стремя Алексей.

— Отдохни, боярин, — сказал запорожец, вынимая из сумы флягу с вином и кусок пирога, — да на-ка хлебни и закуси чем Бог послал. Теперь надо будет тебе покрепче сидеть на коне: сейчас пойдет дорога болотом, и нам придется ехать поодиночке, так поддерживать тебя будет некому.

Юрий, не отвечая ни слова, схватил с жадностью пирог и принялся есть.

— Ну, Юрий Дмитрич, — продолжал Кирша, — сладко же, видно, тебя кормили у боярина Кручины! Ах сердечный, смотри, как он за обе щеки убирает! А пирог-то вовсе не на славу испечен.

— Душегубцы! — сказал Алексей. — Чтоб им самим издохнуть голодной смертью!.. Кушай, батюшка! кушай, мой родимый!.. Разбойники!

— На-ка, выпей винца, боярин, — прибавил Кирша. — Ах, Господи боже мой! Гляди-ка, насилу держит в руках флягу! Эх они его доконали!

— Басурманы! Антихристы! — вскричал Алексей. — Чтоб им самим весь век капли вина не пропустить в горло, проклятые!

Утолив несколько свой голод, Юрий сказал довольно твердым голосом:

— Спасибо, добрый Кирша; видно, мне на роду написано век оставаться твоим должником. Который раз спасешь ты меня от смерти?..

— И, Юрий Дмитрич, охота тебе говорить! Слава тебе Господи, что всякий раз удавалось; а как считать по разам, так твой один раз стоит всех моих. Не диво, что я тебе служу: за добро добром и платят, а ты из чего бился со мною часа полтора, когда нашел меня почти мертвого в степи и мог сам замерзнуть, желая помочь Бог знает кому? Нет, боярин, я век с тобой не расплачусь.

— Но как ты узнал о моем заточении?.. Как удалось тебе?..

— На просторе все расскажу, а теперь, чай, ты поотдохнул, так пора в путь. Если на хуторе обо всем проведуют да пустятся за нами в погоню, так дело плоховато: по болоту не раскачешься, и нас, пожалуй, поодиночке всех, как тетеревей, перестреляют.

— Небось, Кирила Пахомыч, — сказал Малыш, — без бояр за нами погони не будет; а мы, хоть ты нам и не

приказывал, все-таки вход в подземелье завалили опять плитой, так их не скоро отыщут.

— Эх, брат Малыш, напрасно! Ну, если их не найдут и они умрут голодной смертью?

— Так что ж за беда? Туда им и дорога! Иль тебе их жаль?

— Не то чтоб жаль; но ведь, по правде сказать, боярин Шалонский мне никакого зла не сделал; я ел его хлеб и соль. Вот дело другое — Юрий Дмитрич, конечно, без греха мог бы уходить Шалонского, да на беду у него есть дочка, так и ему нельзя... Эх, черт возьми! кабы можно было, вернулся бы назад!.. Ну, делать нечего... Эй вы, передовые!.. ступай! Да пусть рыжий-то едет болотом первый и если вздумает дать стрелка, так посадите ему в затылок пулю... С Богом!

Доехав до топи, все казаки вытянулись в один ряд. Земский ехал впереди, а вслед за ним один казак, держащий наготове винтовку, чтоб ссадить его с коня при первой попытке к побегу. Они проехали, хотя с большим трудом и опасностью, но без всякого приключения, почти всю проложенную болотом дорожку; но шагах в десяти от выезда на твердую дорогу лошадь под земским ярыжкой испугалась толстой колоды, лежащей поперек тропинки, поднялась на дыбы, опрокинулась на бок и, придавя его всем телом, до половины погрузилась вместе с ним в трясиину, которая, расступаясь, обхватила кругом коня и всадника и, подобно удаву, всасывающему в себя живую добычу, начала понемногу тянуть их в бездонную свою пучину.

— Батюшки, помогите! — завопил земский. — Погибаю... помогите!..

Казаки остановились, но Кирша закричал:

— Чего вы его слушаете, ребята? Ступай мимо!

— Отцы мои, помогите! — продолжал кричать земский. — Меня тянет вниз!.. задыхаюсь!.. Помогите!..

— Эх, любезный! — сказал Алексей, тронутый жалобным криком земского. — Вели его вытащить! Ведь ты сам же обещал...

— Да, — отвечал хладнокровно Кирша, — я обещал отпустить его без всякой обиды, а вытаскивать из болота уговора не было.

— Послушай, Кирша Пахомыч, — примолвил Малыш, — черт с ним! Ну что? Уж, так и быть, прикажи его вытащить.

— Что ты, брат! Ведь мы дали слово отпустить его на все четыре стороны, и если ему вздумалось проехать-

ся по болоту, так нам какое дело? Пускай себе разгуливает!

— Бога ради, — вскричал Милославский, — спасите этого бедняка!

— И, боярин, — отвечал Кирша, — есть когда нам с ним возиться; да и о чем тут толковать? Дурная трава из поля вон!

— Слышишь ли, как он кричит? Неужели в тебе нет жалости?

— Нет, Юрий Дмитрич! — отвечал решительным голосом запорожец. — Долг платежом красен. Вчера этот бездельник прежде всех отыскал веревку, чтоб меня повесить. Рысью, ребята! — закричал он, когда вся толпа выехала на твердую дорогу.

Долго еще долетал до них по ветру отчаянный вопль земского; громкий отголосок разносил его по лесу — вдруг все затихло. Алексей снял шапку, перекрестился и сказал вполголоса:

— Успокой Господи его душу!

— И дай ему царство небесное, — примолвил Кирша, — я на том свете ему зла не желаю.

Они не отъехали полуверсты от болота, как у передовых казаков лошади шарахнулись и стали храпеть; через минуту из-за куста сверкнули как уголь блестящие глаза, и вдруг меж деревьев вдоль опушки промчалась целая стая волков.

— Экое чутье у этих зверей! — сказал Кирша, глядя вслед за волками. — Посмотрите-ка: ведь они пробираются к болоту...

Никто не отвечал на это замечание, от которого волосы стали дыбом и замерло сердце у доброго Алексея. Вместе с рассветом выбрались они наконец из лесу на большую дорогу и, проехав еще версты три, въехали в деревню, от которой оставалось до Мурома не более двадцати верст. В ту самую минуту как путешественники, остановясь у постоянного двора, слезли с лошадей, показалась вдали довольно большая толпа всадников, едущих по нижегородской дороге. Алексей, введя Юрия в избу, начал хлопотать об обеде и понукать хозяина, который обещался попотчевать их отличной ухой. Все казаки въехали на двор, а Кирша, не приказав им разнуздывать лошадей, остался у ворот, чтобы посмотреть на проезжих, которых передовой, поравнявшись с постоянным двором, слез с лошади и, подойдя к Кирше, сказал:

— Доброго здоровья, господин честной! Ты, я вижу, нездешний?

— Да, любезный, — отвечал запорожец.
— Так у тебя и спрашивать нечего.
— Почему знать? О чем спросишь.
— Да вот бояре не знают, где проехать на хутор Теплый Стан.

— Теплый Стан? К боярину Шалонскому?
— Так ты знаешь?
— Как не знать! Вы дорогу-то мимо проехали.
— Версты три отсюда?

— Ну да: она осталась у вас в правой руке.
— Вот что!.. И мы, по сказкам, то же думали, да боялись заплутаться; вишь, здесь какая глушь: как сунешься не спросясь, так заедешь и Бог весть куда.

В продолжение этого разговора проезжие поравнялись с постоянным двором. Впереди ехал верховой с ручным бубном, ударяя в который он подавал знак простолюдинам очищать дорогу; за ним рядом двое богато одетых бояр; шага два позади ехал краснощекий толстяк с предлинными усами, в польском платье и огромной шапке; а вслед за ними человек десять хорошо вооруженных холопей.

— Степан Кондратьевич, — сказал передовой, подойдя к одному из бояр, который был дороднее и осанистее другого, — вот этот молодец говорит, что дорога на Теплый Стан осталась у нас позади.

— Ну вот, — вскричал дородный боярин, — не говорил ли я, что нам должно было ехать по той дороге? А все ты, Фома Сергеевич! Недаром вещает премудрый Соломон: «Неразумие мужа губляет пути его».

— Небольшая беда, — отвечал другой боярин, — что мы версты две или три проехали лишнего; ведь хуже, если б мы заплутались. Не спросясь броду, не суйся в воду, говаривал всегда блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Бывало, когда он вздумает потешиться и позвонить в колокола, — а он, царство ему небесное! куда изволил это жаловать, — то всегда пошлет меня на колокольню, как ближнего своего стряпчего с ключом, проведать, все ли ступеньки целы на лестнице. Однажды, как теперь помню, отрезвонив к обедне, его царское величество послал меня...

— Знаю, знаю! уж ты раз десять мне это рассказывал, — перервал дородный боярин. — Войдем-ка лучше в избу да перекусим чего-нибудь. Хотя и сказано: «От плодов устен твоих насытишь чрево свое», но от одного разглагольствования сыт не будешь. А вы смотрите, с коней не слезать; мы сейчас отправимся опять в дорогу.

Сказав сии слова, оба боярина, в которых читатели, вероятно, узнали уже Лесугу-Храпунова и Замятню-Опалева, слезли с коней и пошли в избу. Краснощекий толстяк спустился также с своей лошади, и когда подошел к воротам, то Кирша, заступя ему дорогу, сказал улыбаясь:

— Ба, ба, ба! здравствуй, ясновельможный пан Копычинский! Подобрю ли, поздорову?

Поляк взглянул гордо на Киршу и хотел пройти мимо.

— Что так заспесивился, пан? — продолжал запорожец, остановив его за руку. — Перемолви хоть словечко!

— Цо то есть! — вскричал Копычинский, стараясь вырваться. — Отцепись, москаль!

— А разве ты его знаешь? — спросил Киршу один из служителей проезжих бояр.

— Как же! мы давнишние знакомцы. Не хочешь ли, пан, покушать? У меня есть жареный гусь.

— Слушай, москаль! — завизжал Копычинский. — Если ты не отстанешь, то, дали бук...

— И, полно буянить, ясновельможный! Что хорошего? Ведь здесь грядок нет, спрятаться негде...

Поляк вырвался и, отступя шага два, ухватился с грозным видом за рукоятку своей сабли.

— Небось, добрый человек! — сказал служитель. — Он только пугает: ведь сабля-то у него деревянная.

— Ой ли! Эй, слушай-ка, пан! — закричал Кирша вслед поляку, который спешил уйти в избу. — У какого москаля отбил ты свою саблю?.. Ушел!.. Как он к вам попался?

— Он, изволишь видеть, — отвечал служитель, — приехал месяца четыре назад из Москвы; да не поладил, что ль, с паном Тишкевичем, который на ту пору был в наших местах с своим regimentом; только, говорят, будто б ему сказано, что если он назад вернется в Москву, то его тотчас повесят; вот он и приютился к господину нашему, Степану Кондратьичу Опалеву. Вишь, рожа-то у него какая дурацкая!.. Пошел к боярину в шуты, да такой зазорный, что не приведи Господи!

Кирша вошел также в избу. Оба боярина сидели за столом и трудились около большого пирога, не обращая никакого внимания на Милославского, который ел молча на другом конце стола уху, изготовленную хозяином постоянного двора.

— Ты, что ль, молодец, сказывал нашим людям, — спросил Лесуга у запорожца, — что мы миновали дорогу на Теплый Стан?

- Да, боярин. Я вчера сам там был.
- И видел Тимофея Федоровича?
- Как же! И его и боярина Туренина.
- Так и Туренин на хуторе? Ну что, здоровы ли они?
- Слава Богу! Только больно испостились.
- Как так?
- Да разве ты не знаешь, боярин?.. Они теперь оба живут затворниками.
- Затворниками?
- Как же! Если ты не найдешь их в хоромах, то ищи в подземном склепе, под церковным полом.
- Что ж они там делают?
- Вестимо что: спасаются!
- Эко диво! — сказал Опалев. — И вина не пьют?
- Какое вино! Не приезжайте вы к ним, так они дня три или четыре куска бы в рот не взяли: такие стали постники.
- Что это им вздумалось?.. — вскричал Лесута. — Да они этак вовсе себя уходят!
- Вот то-то и есть, — прибавил Опалев, — учение свет, а неучение тьма. Что сказано в Екклесиасте? «Не буди правдив вельми и не мудрися излишне, да некогда изумишися».
- Видно, боярин, они этой книги не читывали.
- В это время Копычинский, который, сидя у дверей избы, посматривал пристально на Юрия, вдруг вскочил и, подойдя к Замятне-Опалеву, сказал ему на ухо:
- Боярин! уедем скорее отсюда: здесь неловко.
- Что ты врешь, дурак! — сказал Замятня.
- Нет, не вру, — продолжал поляк, — посмотри-ка на этого бледного и худого детину...
- Ну что за диковинка?
- Ты, видно, его не знаешь... Он настоящий разбойник!
- Разбойник!.. Постой-ка! Лицо что-то знакомое... Ну, точно так... Позволь спросить: ведь ты, кажется, Юрий Дмитрич Милославский?
- Юрий ответствовал одним наклоением головы.
- В самом деле! — вскричал Лесута-Храпунов. — Теперь и я признаю тебя. Ну как ты похудел! Что это с тобой сделалось?
- Он четыре месяца был при смерти болен, — отвечал Кирша.
- То-то тебя и не видно было, — продолжал Лесута-Храпунов. — Помнишь ли, Юрий Дмитрич, как мы познакомились с тобой у боярина Шалонского?

— Помню, — отвечал Юрий.

— Не правда ли, что он знатную нам задал пирушку!.. Помнится, вы с ним что то повздорили, да, кажется, помирились. Нечего сказать, он немного крутенок, не любит, чтоб ему поперечили; а уж хлебосол! И как захочет, так умеет приласкать!

— «Прещение его подобно рыканию львову, — перевал Опалев, — и яко же роса злаку, тако тихость его».

— Эх, Юрий Дмитрич! — продолжал Лесута. — Много с тех пор воды утекло! Совсе житья не стало нашему брату, родовому дворянину! Нижегородские крамольники все вверх дном поставили. Хотя бы, к примеру сказать, меня, стряпчего с ключом, — поверишь ли, Юрий Дмитрич? В грош не ставят; а какой-нибудь простой посадский или мясник — воеводу!

— Да, да, — примолвил Опалев, — чего мы не насмотрелись!

— Ты, верно, Юрий Дмитрич, — сказал Лесута, помолчав несколько времени, — пробираешься к пану Хоткевичу?

— Я и сам еще не знаю, — отвечал отрывисто Милославский.

— Да другого-то делать нечего, — продолжал Лесута, — в Москву теперь не проедешь. Вокруг ее идет такая каша, что упаси Господи! И Трубецкой, и Пожарский, и Заруцкий, и проклятые шиши, — и, словом, весь русский сброд, ни дать ни взять, как саранча, загатил все дороги около Москвы. Я слышал, что и Гонсевский перебрался в стан к гетману Хоткевичу, а в Москве остался старшим пан Струся. О-ох, Юрий Дмитрич! Плохие времена, отец мой! Того и гляди придется пенять отцу и матери, зачем на свет родили!

— Что ты, Степан Кондратьич! — вскричал Опалев. — Не моги говорить таких речей: «Злословящему отца и мать угаснет светильник, зеницы же очес его узрят тьму».

— Да мы и так уж давно ходим в потемках, — возразил Лесута. — Когда стряпчий с ключом, как я, или думный дворянин, как ты, не знают, куда голов приклонить, так, видно, уже пришли последние времена.

— Что и говорить, Степан Кондратьевич, мерзость запустения!.. По всему видно, что скоро наступит время, когда угаснет солнце, свергнутся звезды с тверди небесной и настанет повсюду тьма кромешная! Недаром прозорливый Сирах глаголет...

— Однакож нам пора в путь, — перервал Лесута, вставая с своего места. — Прощенья просим, Юрий Дмитрич! Мы будем от тебя кланяться Тимофею Федоровичу.

— Да не забудьте же, бояре, — примолвил Кирша, — если не найдете его в хоробах, то ищите в склепе под церковным полом.

— А где мой дурак? — закричал Опалев. — Эй ты, пан! Куда ты запропастился?

— Я здесь, ясновельможный, — отвечал Копычинский, выглядывая из сеней. — Прикажешь садиться на коня?

— Садись!.. Да тише ты, польская чучела! куда торопишься?.. Смотри, пожалуй! с ног было сшиб Степана Кондратьевича.

Часа через два и наши путешественники отправились также в дорогу. Отдохнув целые сутки в Муроме, они на третий день прибыли во Владимир; и когда Юрий объявил, что намерен ехать прямо в Сергиевскую лавру, то Кирша, несмотря на то что должен был для этого сделать довольно большой крюк, взялся проводить его с своими казаками до самого монастырского посада.

V

Троицкая лавра святого Сергия, эта священная для всех русских обитель, показавшая неслыханный пример верности, самоотвержения и любви к отечеству, была во время междуцарствия первым по богатству и великолепию своему монастырем в России, ибо древнее достояние князей русских, первопрестольный град Киев, с своей знаменитой Печерской лаврою, принадлежал полякам. Обитель Троицкая, основанная около половины четырнадцатого столетия радонежским чудотворцем, преподобным Сергием, близ протока, называемого Кончурою, отстоит от Москвы не далее шестидесяти четырех верст. Хотя в 1612 году великолепная церковь святого Сергия, высочайшая в России колокольня, две башни прекрасной готической архитектуры и много других зданий не существовали еще в Троицкой лавре, но высокие стены, восемь огромных башен, соборы: Троицкий, с позлащенной кровлею, и Успенский, с пятью главами, четыре другие церкви, обширные монастырские строения, многолюдный посад, большие сады, тенистые рощи, светлые пруды, гористое живописное местоположение — все пленяло взоры путешественника, все поселяло в душе его непреодолимое желание посвятить несколько часов уеди-

ненной молитве и поклониться смиренному гробу основателя этой святой и знаменитой обители.

В описываемую нами эпоху Троицкая лавра походила более на укрепленный замок, чем на тихое убежище миролюбивых иноков. Расставленные по стенам и башням пушки, множество людей ратных, вооруженные слуги монастырские, а более всего поврежденные ядрами стены и обширные пепелища, покрытые развалинами домов, находившихся вне ограды, напоминали каждому, что этот монастырь в недавнем времени выдержал осаду, которая останется навсегда в летописях нашего отечества непостижимой загадкою, или, лучше сказать, явным доказательством могущества и милосердия Божия. Тридцать тысяч войска польского, под предводительством известных своею воинскою доблестью и зверским мужеством панов Сапеги и Лисовского, не успели взять приступом монастыря, защищаемого горстью людей, из которых большая часть в первый раз взялась за оружие; в течение шести недель более шестидесяти осадных орудий, гремя день и ночь, не могли разрушить простых кирпичных стен монастырских. Упование на Господа и любовь к отечеству превозмогли всю силу многочисленного неприятеля: простые крестьяне стояли твердо, как поседевшие в боях воины, бились с ожесточением и гибли, как герои. Никто не хотел окончить жизнь на своей постели; едва дышащие от ран и болезней, не могущие уже сражаться воины, иноки и слуги монастырские приползали умирать на стенах святой обители от вражеских пуль и ядер, которые сыпались градом на беззащитные их головы. Начальники осажденного войска князь Долгорукий и Голохвастов, готовясь, по словам летописца, *на трапезе кровопролитной испить чашу смертную за отечество*, целовали крест над гробом святого Сергия: *сидеть в осаде без измены* — и сдержали свое слово. Простояв более шестнадцати месяцев под стенами лавры, воеводы польские, покрытые стыдом, бежали от монастыря, который недаром называли в речах своих *каменным гробом*, ибо обитель святого Сергия была действительно обширным гробом для большей части войска и могилою их собственной воинской славы.

В одно прекрасное утро, перед ранней обеднею, человек пять слуг монастырских, собравшись в кружок, отдыхали на лугу, подле святых ворот лавры. Один из них, который, судя по его усталому виду и запыленному платью, только что приехал из дороги, рассказывал что-то с большим жаром; все слушали его со вниманием, кроме одного высокого

и молодцеватого детины. Не принимая, по-видимому, никакого участия в разговоре, он смотрел пристально вдоль ростовской дороги, которая, огибая Терентьевскую гору, терялась вдаль между полей, густых рощ и рассыпанных в живописном беспорядке селений.

— Полно, так ли, брат Суета? — сказал один из слуг монастырских, покачив головою. — И тебя к нему допустили?

— Как же, братец! — отвечал рассказчик, напоминающий своим колоссальным видом предания о могучих витязях древней России. — Стану я лгать! Я своеручно отдал ему грамоту от нашего архимандрита; говорил с ним лицом к лицу, и он без малого слов десять изволил перемолвить со мною.

— А мне так не удалось посмотреть на князя Дмитрия Михайловича Пожарского, — сказал тот же служитель, — я был в отлучке, как он стоял у нас в лавре. Что, брат Суета, правда ли, что он молодец собою?

— Как бы тебе сказать?.. Росту не очень большого и в плечах узенок, — отвечал Суета, кинув гордый взор на собственные свои богатые плеча, — но зато куда благодоброобразен собою!.. А что за взгляд! Ах ты Господи боже мой!.. Поверите ль, ребята, как я к нему подходил, гляжу: кой прах! Мужичонок небольшой — ну, вот не больше тебя, — прибавил Суета, показывая на одного молодого парня среднего роста, — а как он выступил вперед да взглянул, так мне показалось, что он целой головой меня выше! Вы знаете, товарищи, я детина не робкий и силка есть, а если б пришлось мне на ратном поле схватиться с князем Пожарским, так, что греха таить, не побожусь, статья может, и я бы сбердил.

— Что ты, Суета? Помилуй!.. Ты для почину целый полк ляхов один остановил и человек двадцать супостатов перекрошил своим бердышем, так статочное ли дело, чтоб ты сробел одного человека?

— Да слышишь ли ты, голова! он на других-то людей вовсе не походит. Посмотрел бы ты, как он сел на коня, как подлетел соколом к войску, когда оно, войдя в Москву, остановилось у Арбатских ворот, как показал на Кремль и соборные храмы!.. и что тогда было в его глазах и на лице!.. Так я тебе скажу: и взглянуть-то страшно! Подле его стремени ехал Козьма Минич Сухорукий... Ну, брат, и этот молодец! Не так грозен, как князь Пожарский, а нашего поля ягода — за себя стоит!

— А что слышно о поляках?

— Вестимо что: одни сидят в Кремле да выглядывают из-за стен как сычи; а другие с гетманом Хоткевичем, как говорят, близехонько от Москвы.

— Так, стало быть, скоро большая схватка будет?

— Видно, что так. Жаль только, что наша сила поубавилась: изменник Заруцкий ушел в Коломну, да и князя Трубецкого войско-то не больно надежно: такой сброд!.. Они ж, говорят, осерчали за то, что нижегородцы не пошли к ним в таборы; а по мне, так дело и сделали: что им якшаться с этими разбойниками? Вся понизовская сила, что пришла с князем Пожарским, истинно христолюбивое войско!.. не налюбуйешься! А как посмотришь на дружины князя Трубецкого, так бежал бы прочь без оглядки: только и думают, как бы где понажиться да ограбить кого бы ни было, чужих или своих, все равно. Есть, правда, и у них ребята знатные, да сволочи-то много.

— А не попадались ли тебе на московской дороге шиши? Говорят, они везде шатаются.

— Как же! Они и меня останавливали верстах в тридцати отсюда; но лишь только я вымолвил, что еду из Троицы к князю Пожарскому, тотчас отпустили да еще на дорогу стаканчик вина поднесли.

— Вот что! Так они не вовсе разбойники?

— Какие разбойники!.. Правда, их держит в руках какой-то приходский священник села Кудинова, отец Еремей: без его благословенья они никого не тронут; а он, дай Бог ему здоровье! стоит в том: режь как хочешь поляков и русских изменников, а православных не тронь!.. Да что там такое? Посмотрите-ка, что это Мартыаш уставилясь?.. Глаз не спускает с ростовской дороги.

— А кто его знает! — отвечал один из служителей. — Мы слушаем твои рассказы, а он ведь глух, так, может статья, от безделья по сторонам глазееет.

— Нет, брат Данило, — сказал Суета, — не говори, он даром смотреть не станет: подлинно Господь умудряет юродивых! Мартыаш глух и нем, а кто лучше его справлял службу, когда мы бились с поляками? Бывало, как он стоит сторожем, так и думушки не думаешь, спи себе вдоволь: муха не прокрадется.

Вдруг Мартыаш вскочил, схватил за руку Суету и, заставив его встать, показал пальцем на ростовскую дорогу.

— Ну так и есть! — вскричал Суета. — Видите ли, ребята?..

— Да, — сказал Данило, — по большой дороге едут казаки. Пойти сказать старшинам.

— Постой, вот они никак все выехали из-за рощи... Да их навряд будет человек тридцать: из чего делать тревогу?

— А если это только передовые? — сказал один из слушателей.

— И, нет, — продолжал Суета, — там дальше никого не видно. Видите ли? Мартыаш уселся опять на прежнее место и вовсе на них не смотрит, так, верно, уж опасаться нечего: какие-нибудь проезжие или богомольцы.

— Да так и должно быть, — сказал Данило. — Посмотрите, впереди казаков едет какой-то боярин... Вот сняли шапки и молятся на соборы... Видно, какой-нибудь понизовский дворянин едет к нам на богомолье.

Читатели наши, без сомнения, уже догадались, что боярин, едуший в сопровождении казаков, был Юрий Дмитрич Милославский. Когда они доехали до святых ворот, то Кирша, спеша возвратиться под Москву, попросил Юрия отслужить за него молебен преподобному Сергию и, подаря ему коня, отбитого у польского наездника, и литовскую богатую саблю, отправился далее по московской дороге. Милославский, подойдя к монастырским служителям, спросил: может ли он видеть архимандрита?

— Вряд ли, боярин, — отвечал Суета, — я сейчас был у него в палатах: он что-то прихворнул и лежит в постели; а если у тебя есть какое дело, то можешь переговорить с отцом келарем.

— Авраамием Палицыным?

— Да, боярин; он вчера приехал из-под Москвы и нынче же после трапезы опять туда едет.

— Не может ли кто-нибудь из вас проводить меня в его келью?

— Пожалуй, я провожу, — сказал Суета. — А ты, брат, — продолжал он, обращаясь к Алексею, — отведи коней в гостиницу.

— А где бы достать чего-нибудь перекусить, любезный? — спросил Алексей.

— Уж там тебя накормят; благодаря Бога, из Сергиевской лавры ни один еще богомалец голодный не уходил.

Юрий, идя вслед за Суетою, заметил, что и внутри монастыря большая часть строений была повреждена и хотя множество рабочих людей занято было поправкою оных, но на каждом шагу встречались следы опустошения и долговременной осады, выдержанной обителью.

— Вот в этих палатах живал прежде отец Авраамий, — сказал Суета, указав на небольшое двухэтажное строение, прислоненное к ограде. — Да видишь, как их злодеи ляжи

отделали: насквозь гляди! Теперь он живет вон в той связи, что за соборами, не просторнее других старцев; да он, Бог с ним, не привередлив: была б у него только келья в стороне, чтоб не мешали ему молиться да писать, так с него и довольно.

— А что он такое пишет?

— Бог весть! Послушник его Финоген мне сказывал, что он пишет какое-то сказание об осаде нашего монастыря и будто бы в нем говорится что-то и обо мне; да я плохо верю: иная речь о наших воеводах князе Долгорукове и Голохвастове — их дело боярское; а мы люди малые, что о нас писать?.. Сюда, боярин, на это крылечко.

Пройдя длинным коридором до самого конца здания, они остановились, и Суета, постучав в небольшую дверь, сказал вполголоса:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!

— Аминь! — отвечал кто-то приятным и звучным голосом внутри кельи.

— Теперь ступай, боярин, — сказал Суета, отворяя дверь.

Юрий взшел в небольшую келью с одним окном. В левом углу стояла деревянная скамья с таким же изголовьем; в правом — налой, над которым теплилась лампада перед распятием и двумя образами; к самому окну приставлен был большой, ничем не покрытый стол; вдоль одной стены, на двух полках, стояли книги в толстых переплетах и лежало несколько свитков. Перед столом на скамье сидел старец в простой черной ряске и рассматривал с большим вниманием толстую тетрадь, которая лежала перед ним на столе. Приход Юрия не прервал его занятия: он взял перо, поправил несколько слов и прочел вслух: «В сей бо день гетман Сапега и Лисовский, со всеми полки своими, польскими и литовскими людьми, и с русскими изменники, побегоша к Дмитреву, никем же гонимы, но десницею Божией...» Тут он написал еще несколько слов, встал с своего места и, благословя подошедшего к нему Юрия, спросил ласково: какую он имеет до него надобность?

— Отец Авраамий, — отвечал с смиренным видом Юрий, — я имею до тебя немаловажную просьбу.

— Садись, молодец, и говори, чего ты от меня хочешь?

Краткий и вместе величественный вид старца, его блестящие умом и исполненные добросердечия взоры, приятный благозвучный голос, а более всего известные всем

русским благочестие и пламенная любовь к отечеству — все возбуждало в душе Юрия чувство глубочайшего почтения к сему бессмертному сподвижнику добродетельного Дионисия. Помолчав несколько времени, Милославский сказал робким голосом:

— Отец Авраамий, я не смею надеяться, что ты исполнишь мою просьбу.

— Говори смело, чадо мое, — отвечал старец, — нам ли, многогрешным, отвергать просьбы наших братьев, когда мы сами ежечасно, как малые дети, прибегаем с суетными мольбами к общему Отцу нашему!

— Я хочу, — продолжал Милославский, ободренный ласковою речью Авраамия, — умереть свету и при помощи твоей из воина земного соделаться воином Христовым.

Старец поглядел на Юрия и спросил с некоторым сомнением:

— Ты желаешь вступить в обитель нашу послушником?

— Да, отец Авраамий, и если Господь Бог сподобит, а вы, благочестивые наставники, удостоите меня принять образ иноческий... то все желания мои исполнятся.

Авраамий покачал головою и, взглянув с соболезнованием на Юрия, сказал:

— В столь юные годы!.. На утре жизни твоей!.. Но точно ли, мой сын, ты ощущаешь в душе своей призвание Божие? Я вижу на твоём лице следы глубокой скорби, и если ты, не вынося с душевным смирением тяготеющей над главою твоей десницы Всевышнего, движимый единым отчаянием, противным Господу, спешишь покинуть отца и мать, а может быть, супругу и детей, то жертва сия не достойна Господа: не горесть земная и отчаяние ведут к нему, но чистое покаяние и любовь.

— У меня нет ни отца, ни матери, — сказал Юрий, — я сирота!

— Но кто ты, юноша?

— Юрий Милославский.

— Сын покойного боярина Милославского?

— Да, сын его.

Старец устремил испытующий взор на Юрия и после короткого молчания сказал с приметным удивлением:

— И ты, сын Димитрия Милославского, желаешь, наряду с бессильными старцами, с изувеченными и не могущими сражаться воинами, посвятить себя единой молитве, когда вся кровь твоя принадлежит отечеству? Ты, юноша во цвете лет своих, желаешь, сложив спокойно руки, смотреть, как тысячи твоих братьев, умирая за веру отцов и

святую Русь, утучняют своею кровью родные поля московские?

— Итак, отец Авраамий, ты отвергаешь мою просьбу?

— Нет, Юрий Дмитрич, не я!.. Взгляни вокруг себя, вопросы эти полуразрушенные стены, пожженные дома, могилы иноков, падших в кровавой битве с врагом веры православной, и если их безмолвный ответ не напомнит тебе долга твоего, то ты не сын Димитрия! Нет, Юрий Дмитрич, не здесь твое место: оно в рядах храбрых дружин нижегородских, под стенами оскверненного присутствием злодеев Кремля! Сын мой, светла пред Господом жизнь праведника; но венец мученика есть верх его благости и милосердия! Иди стяжать сию нетленную награду! Ступай умри верным защитником православной греческой церкви и достойным сыном добродетельного Димитрия!

Юрий, потупив глаза, стоял, как преступник пред своим судиею, и не отвечал ни слова.

— Ты молчишь, — продолжал Авраамий, — колеблешься?.. Да простит тебя Господь! Ты надругался над моими сединами: ты обманул меня. Юноша! Ты не сын Милославского!..

— Ах, отец Авраамий, — примолвил едва слышным голосом Юрий, — я не могу поднять меча на защиту моей родины!

— Не можешь?

— Я целовал крест королевичу Владиславу...

— Несчастный!..

Несколько минут продолжалось молчание; наконец Авраамий сказал как будто б нехотя:

— Юрий Дмитрич, ты, может быть, не знаешь, что святейший Гермоген разрешил всех православных от сей богопротивной присяги?

— Но я целовал крест добровольно. Отец Авраамий, не вынужденная клятва тяготит мою душу; нет, никто не побуждал меня присягать королевичу польскому! И тайный, неотступный голос моей совести твердит мне ежечасно: горе клятвенному преступнику! Так, отец мой! Юрий Милославский должен остаться слугою Владислава; но инок, умерший для света, служит единому Богу...

— И отечеству, боярин! — перервал с жаром Авраамий. — Мы не иноки западной церкви и благодаря Всевышнего, переставая быть мирянами, не перестаем быть русскими. Вспомни, Юрий Дмитрич, где умерли благочестивые старцы Пересвет и Ослябя!.. Но я слышу благовест... Пойдем, сын мой, станем молить угодника Божия,

да просияет истина для очей наших и да подаст тебе Господь силу и крепость для исполнения святой его воли!

По окончании литургии и молебствия с коленопреклонением о даровании победы над врагом Авраамий, подведя Юрия ко гробу преподобного Сергия, сказал торжественным голосом:

— Боярин Юрий Дмитрич Милославский, желаешь ли ты отречься от мира и всех прелестей его?

— Желаю! — отвечал твердым голосом Юрий.

— Не ищешь ли ты укрыться в обители нашей от забот, трудов и опасностей, тебе по рождению и сану предстоящих? Не избираешь ли ты участь сию, дабы избежать заслуженного наказания или по всякому другому, единственно земному побуждению?

— Нет.

— Не обещался ли ты пред Господом иметь попечение о земном благе отца, матери, супруги и детей?

— Я сирота... и не был никогда женат.

— Итак, да будет по желанию твоему, боярин Милославский! Я принимаю здесь, при гробе преподобного Сергия, твой обет: посвятить себя на всю жизнь покаянию, посту и молитве. Преклони главу твою... Раб Божий Юрий, с сего часа ты не принадлежишь уже миру, и я, именем Господа, разрешаю тебя от всех клятв и обещаний мирских. Встань, послушник старца Авраамия; отныне ты должен слепо исполнять волю твоего пастыря и наставника. Ступай в стан князя Пожарского, ополчись оружием земным против общего врага нашего и, если Господь не благоволит украсить чело твое венцом мученика, то по окончании брани возвратись в обитель нашу для принятия ангельского образа и служения Господу не с оружием в руках, но в духе кротости, смирения и любви.

— Итак, — воскликнул Юрий, обливаясь слезами, — я снова могу сражаться за мою родину! Ах, я чувствую, ничто не тяготит моей совести!.. Душа моя спокойна!.. Отец Авраамий, ты возвратил мне жизнь!

— Возблагодарим за сие Господа и святых угодников его, — сказал старец, преклоня колена вместе с Юрием.

После усердной и продолжительной молитвы Авраамий Палицын, прощаясь с Юрием, сказал:

— Отдохни сегодня, Юрий Дмитрич, в нашей обители, а завтра чем свет отправься к Москве. Стой крепко за правду. Не попускай нечестивых осквернить святыню храмов православных. Сражайся как сын Милославского, но щади безоружного врага, не проливай напрасно крови че-

ловческой. Ступай, сын мой, — примолвил Авраамий, обнимая Юрия, — да предъидет пред тобою ангел Господень и да сопутствует тебе благословение старика, который... Всевышний! Да простит ему сие прегрешение... любит свою земную родину почти так же, как должны бы мы все любить одно небесное отечество наше!

На другой день вместе с солнечным восходом Юрий в сопровождении Алексея выехал из лавры и пустился по дороге, ведущей к Москве.

VI

Когда наши путешественники, миновав Хотьковскую обитель, отъехали верст тридцать от лавры, Юрий спросил Алексея: знает ли он, куда они едут?

— Вестимо куда, — отвечал с приметной досадою Алексей, — в Москву, к пану Гонсевскому.

— Ты не отгадал: мы едем в стан князя Пожарского.

— Зачем?

— Затем, чтоб драться с поляками.

— С поляками!.. Да нет, ты шутишь, боярин!

— Видит Бог, не шучу. Я уж больше не слуга Владислава.

— Слава тебе Господи! — вскричал Алексей. — Насилу ты за ум хватился, боярин! Ну, отлегло от сердца! Знаешь ли что, Юрий Дмитрич? Теперь я скажу всю правду: я не отстал бы от тебя, что б со мной на том свете ни было, если б ты пошел служить не только полякам, но даже татарам; а как бы знал да ведал, что у меня было на совести? Каждый день я клал по двадцати земных поклонов, чтоб Господь простил мое прегрешение и наставил тебя на путь истинный.

— Ну вот видишь, Алексей, твоя молитва даром не пропала. Но я что-то очень устал. Как ты думаешь, не остаться ли нам в этом селе?

— Да и пора, Юрий Дмитрич: мы, чай, с лишком верст двадцать отъехали. Вон, кажется, и постоялый двор... а видно по всему, здесь пировали незваные гости. Смотри-ка, ни одной старой избы нет, все с иголочки! Ох эти проклятые ляхи, накутили они на нашей матушке святой Руси!

Путешественники въехали на постоялый двор. Юрий лег отдохнуть, а Алексей, убрав лошадей, подсел к хозяйке, которая в одном углу избы трудилась за пряжею, и спросил ее: не слышно ли чего-нибудь о поляках?

— И, родимый, наше дело крестьянское, — отвечала хозяйка, поправив под собою донце, — мы ничего не ведаем.

— А что, разве поляки никогда не бывали в вашем селе?

— Как не бывать!

— Ну что, голубушка, чай, они вам памятны?

— Вестимо, кормилец.

— Уж нечего сказать, знатные ребята! Не так ли?

Хозяйка взглянула недоверчиво на Алексея и не отвечала ни слова.

— Куда, чай, с ними весело хлеб-соль водить, — продолжал Алексей, — не правда ли?

— Вестимо, батюшка, — примолвила вполголоса хозяйка. — Дай Бог им здоровья — люди добрые.

— В самом деле?

— Как же! Такие приветливые.

— Что ты, шутишь, что ли?

— И, родимый, до шуток ли нам!

— Неужели в самом деле?.. Кого ж ты больше любишь: своих иль поляков? Ну, что ж ты молчишь, лебедка, иль язык отнялся?.. Ну, сказывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о приказе речь; я толком тебе говорю: кого больше любишь, нас иль поляков?

— Вас, батюшка, вас! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тут спрашивать: за матушку святую Русь.

— Полно, так ли, родимый?

— Видит Бог, так! Мы едем под Москву, биться с поляками не на живот, а на смерть.

— Ой ли? Помози вам Господи!.. Разбойники!.. В разор нас разорили! Прошлой зимой так всю и одежонку-то у нас обобрали. Чтоб им самим ни дна ни покрывки! Передохнуть бы всем, как в чадной избе тараканам... Еретики, душегубцы!.. Нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! Что ты, молодница? Кого ты это изволишь честить?

— Кого?.. Как кого?.. Вестимо, кого!.. Кого ты, родимый, того и я.

— Да что ты переминаешься?.. Чего ты боишься, иль не видишь, что мы православные?

— О, ох, батюшка, не равны православные! Этак с чаша места останавливались у нас двое проезжих бояр и с ними человек сорок холопей, вот и стали меня так же, как твоя

милость, из ума выводить, а я сдуру-то и выболтай все, что на душеньке было; и лишь только вымолвила, что мы денно и ночью молим Бога, чтоб вся эта иноземная сволочь убралась восвояси, вдруг один из бояр, мужчина такой ражий, Бог с ним, как заорет в истошный голос да ну меня из своих ручек плетью! Уж он катал, катал меня! Кабы не молодая боярыня, дочка, что ль, его, не знаю, так он бы запорол меня до смерти! Дай Бог ей доброе здоровье и жениха по сердцу, вступилась за меня, горемычную, и, как господа стали съезжать со двора, потихоньку сунула мне в руку серебряную копеечку. То-то добрая душа! Из себя не так чтоб очень красива, не дородна, взглянуть не на что... Ахти я дура! — примолвила хозяйка, вскочив торопливо со скамьи, — заболталась с тобой, кормилец!.. Чай, у меня хлебы-то пересидели.

Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапною переменою его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду; и когда они, отправясь опять в путь, отъехали еще верст двадцать пять, то солнце начало уже садиться. В одном месте, где дорога, проложенная сквозь мелкий кустарник, шла по самому краю глубокого оврага, поросшего частым лесом, им послышался отдаленный шум, вслед за которым раздался громкий выстрел. Юрий приостановил своего коня.

— Что это, боярин! — вскричал Алексей. — Слышишь? Другой... третий... четвертый... Ахти, батюшки, считать не поспеешь!.. Ой, ой, ой! Какая там идет жарня!

— Что б это такое было? — сказал Юрий, прислушиваясь к стрельбе, которая час от часу становилась сильнее. — Мы, кажется, еще не близко от Москвы.

— Сердце мое чует, — перервал Алексей, — это разбойники шиши прокажут! Не воротиться ли нам, боярин?

— Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем поближе, Алексей.

Они не успели отъехать пятидесяти шагов, как вдруг из-за куста заревел грубый голос:

— Кто едет? Стой!.. — И человек двадцать вооруженных кистенями, рогатинами и винтовками разночинцев высыпали из оврага и заслонили дорогу нашим путешественникам. С первого взгляда можно было принять всю толпу за шайку разбойников: большая часть из них была одета в крестьянские кафтаны; но кой-где мелькали остроконечные шапки стрельцов, и человека три походили на казаков; а тот, который вышел вперед и, по-видимому,

был начальником всей толпы, отличался от других богатой дворянской шубою, надетою сверх простого серого зипуна; он подошел к Юрию и спросил его не слишком ласково:

— Кто вы таковы?

— Проезжие, — отвечал Милославский.

— Куда едете?

— Под Москву.

— Не вместе ли вон с теми боярами, что едут впереди?

— Нет, мы едем сами по себе.

— Полно, так ли?

— Видит Бог так, господи шиши! — закричал Алексей.

— Ты врешь!.. Мы православное земское войско, а не шиши. Пстой-ка, брат, нас этак прозвали зубоскалы поляки, так, видно, ты, голубчик с ними знаешься?

— Да, да! Они изменники! — заревела вся толпа. — Долой их с лошадей!

— Что вы, ребята, перекреститесь! — вскричал Алексей. — Мы едем с боярином из Троицы к князю Пожарскому биться с поляками.

— Не верь им, Бычура, — сказал один из стрельцов, — они, точно, изменники.

— Пстойте, ребята, — перервал Бычура, — чтоб маху не дать!.. Как тебя зовут, молодец? — продолжал он, обращаясь к Юрию.

— Юрий Милославский.

— Сын покойного воеводы нижегородского?

— Да, сын его.

— Коли так, — сказал Бычура, снимая почтительно свою шапку, — то мы просим прощения, боярин, что тебя остановили; и если ты точно Юрий Дмитрич Милославский и едешь из Троицы, то не изволь ничего бояться.

— Я ничего и не боюсь, добрые люди! Только не задерживайте меня: я тороплюсь к Москве.

— Не погневайся, ты слышишь, какая жарёха идет на большой дороге?.. Так воля твоя, а изволь побождать.

— Но что значит эта стрельба?

— Да так, боярин, наши молодцы справляются там с русскими изменниками.

— А почему вы знаете, что они изменники?

— Как не знать? Они было и проводника уж нашли, который взялся довести их до войска пана Хоткевича; да не на того напали: он из наших; повел их проселком, водил, водил да вывел куда надо. Теперь не отвертятся.

— Нельзя ли нам хоть стороною объехать?

— Оно бы можно, — сказал Бычур, почесывая голову, — да не погневайся, господин честной: тебе надо прежде заехать в село Кудиново.

— Зачем?

— А вот, изволишь видеть, мы наслышались о батюшке твоём от нашего старшины отца Еремея, священника села Кудинова, так он лучше нашего узнает, точно ли ты Юрий Дмитрич Милославский.

— Как, — вскричал с досадою Юрий, — вы не верите?..

— Не то чтоб не верили, боярин, да сбруя то на коне твоём польская.

— Так что ж?

— Оно, конечно, ничего, не велика беда, что и сабля-то у тебя литовская: статься может, она досталась тебе с бою; да все лучше, когда ты повидеешься с отцом Еремеем. Ведь иной как попадетя к нам в руки, так со страстей, не в обиду твоей чести будь сказано, не только Милославским, а пожалуй, князем Пожарским назовется.

Тут кто-то подбежал, запыхавшись, к толпе и закричал:

— Что вы здесь стоите, ребята? Ступайте на подмогу!

— А разве вас там мало? — сказал Бычур.

— Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло врукопашную: одного-то боярина, что поменьше ростом, с первых разов повалили; да зато другой так наших варом и варит, а глядя на него, и холопи как приняли нас в ножи, так мы свету божьего невзвидели. Бегите проворней, ребята!

Бычур, приказав четверым шипам сесть на коней и проводить наших путешественников в село Кудиново, побежал с остальными товарищами вперед. Юрий и Алексей должны были поневоле следовать за своими провожатыми и, проскакав верст пять проселочной дорогой, въехали в селение, окруженное почти со всех сторон болотами и частым березовым лесом. Посреди села, перед небольшой деревянной церковью, на обширном лугу толпился народ. Провожатые слезли с лошадей; Юрий и Алексей сделали то же и подошли вслед за ними к двум большим липам, под которыми сидел на скамье человек лет тридцати, с курчавой черной бородою и распушенными по плечам волосами. Он был одет отменно богато для сельского священника; его длинный, ничем не подпоясанный однорядок с петлицами походил на боярскую ферязь, а желтые сапоги с длинными, загнутыми кверху носками напоминали также щеголеватую обувь знатных особ тогдашнего времени. Взглянув нечаянно

на противоположную сторону, Алексей с ужасом заметил два высоких столба с перекладиною, которые, вероятно, поставлены были не для украшения площади и что-то вовсе не походили на качели. Присоединясь к толпе, путешественники и их провожатые остановились, ожидая, когда дойдет до них очередь явиться пред лицом грозного отца Еремея, к которому подходили, один после другого, отрядные начальники со всех дорог, ведущих к Москве.

— Спасибо, сынок! — сказал он, выслушав донесение о действиях отряда по серпуховской дороге. — Знатно! Десять поляков и шесть запорожцев положено на месте, а наших ни одного. Ай да молодец!.. Темрюк! Ты хоть родом из татар, а стоишь за отечество не хуже коренного русского. Ну что, Матерой, говори, что у вас по владимирской дороге делается?

— Да что, отец Еремей, хоть всё не выходить на большую дорогу! Вот уже третий день ни одного ляха в глаза не видим; изменники перевелись, и кого ни остановишь, все православный да православный. Кабы ты позволил поплотнее допрашивать проезжих, так авось ли бы и отыскался какой-нибудь предатель; а то, рассуди милостиво, кому охота взводить добровольно на себя такую беду?

— Да, как бы не так! Дай вам волю, так у вас, пожалуй, и Козьма Минич Сухорукий изменником будет. Нет, ребята, чур у меня своих не трогать! Ну что ты скажешь, Зверев?

— По ярославской дороге все благополучно, — отвечал рыжеватый детина с разбойничьим лицом. — Сегодня, почитай, никого проезжих не было.

— И ты никого не останавливал?

— Никого.

— Смотри не лги: ведь скажешь же на исповеди всю правду! Точно ли ты никого не останавливал?

— Как Бог свят, никого.

— Право!.. Эй, вы, подойдите-ка сюда!

Тут вышли из толпы двое купцов и, поклонясь низко отцу Еремею, стали возле него.

— Ну, — продолжал он, взглянув грозно на Зверева, — знаешь ли ты этих гостей нижегородских?.. Что... прикусил язычок!

— Виноват!.. Отец Еремей, — сказал Зверев, упав на колени, — помилуй! Не я же один от них поживился!

— Кто поставлен от меня старшим над другими, тот за всех один и в ответе! Разве я благословлял тебя на разбой?.. Зачем ты их ограбил? а?.. На виселицу его!

Глухой ропот пробежал по всей толпе. Передние не смели ничего говорить, но задние зашумели, и местах в трех раздался голоса:

— Как-ста не на виселицу!.. Много будет!.. Всех не перевешаешь!..

— Что, что... много будет? — сказал отец Еремей, приподнимаясь медленно с своего места.

— Посмотри-ка, боярин, — шепнул Алексей Юрию. — Господи боже мой!.. Что это?.. Экой чудо-богатырь!.. Да перед ним и Омляш показался бы малым ребенком!

— Ах вы крамольники! — продолжал отец Еремей, — халдейцы проклятые! Да знаете ли, что я вас к церковному порогу не подпущу! Что вы все, как псы окаянные, передохнете без исповеди!

Ропот утих, но никто не трогался с места, чтобы выполнить приказание отца Еремея.

— Что вы дожидаетесь, — закричал он громовым голосом, — иль хотите, чтоб я повесил его своими руками?.. Темрюк, Гаврило, Матерой, возьмите его!.. Ну, что ж вы стали? — примолвил он, выступя несколько шагов вперед.

Винового схватили и, несмотря на отчаянное сопротивление, потащили к виселице.

— Взмилуйся, батюшка, — сказал один из купцов, — не прикажи его вешать, а вели только нам отдать то, что у нас отняли.

— Ваше добро не пропадет, а не в свое дело не мешайтесь, — отвечал хладнокровно отец Еремей.

— Преложи гнев на милость, батюшка! Бог с ним, мы ничего не ищем, — сказал купец.

— Нет, господа купцы, кто милует разбойников, того сам Бог не помилует; да я уж давно заметил, что он нечист на руку... А разве, и то только для вас, дам ему время покаяться. Эй! Пойдите, ребята, отведите его в мирскую избу. Матерой! Приставь к нему караул; да смотри, чтоб он был чем свет повешен, и если кто-нибудь хоть пикнет, то я завтра велю поставить другую виселицу. Ба, ба, ба! Кондратий... ты как здесь?.. — продолжал он, заметив одного из провожатых Юрия, который, поклонясь почтительно, подошел к нему вместе с своими товарищами под благословение. — Ну что, детушки, как вы справились с этими изменниками?

— Авось Господь поможет, — отвечал Кондратий, — а шибко дерутся, собачьи дети! Достанется и нашим на орехи.

— Как! — вскричал отец Еремей. — Так у вас на тропицкой дороге еще дерутся, а вы здесь?..

— Не гневайся, батюшка, нас прислал к тебе Бычура вот с этим проезжим, который показался нам подозрительным, хоть он и называет себя Юрием Дмитричем Милославским.

— Милославским, — повторил священник, подойдя к Юрию, — сыном Димитрия Юрьевича?.. Милости просим, боярин! Ах ты мой сокол ясный... — промолвил он, благословляя Юрия, — как ты схож с покойным твоим родителем: как две капли воды!.. Дай Бог ему царство небесное! Он не оставлял меня своею милостию. Батюшка твой изволил часто охотиться около нашего села, и хоть я был тогда простым дьячком, но он не гнушался моего дома и всегда изволил останавливаться у меня. Просим покорно, Юрий Дмитрич, ко мне в мою избенку! Да чем Бог послал!

Юрий и Алексей вошли вслед за священником в большую и светлую избу, построенную внутри церковного погоста.

— Жена, — сказал отец Еремей, войдя в избу, — накрывай стол, подай стклянку вишневки да смотри поворачивайся. Что есть в печи, все на стол мечи!.. Знаешь ли, кто наш гость?

— Не знаю, батюшка! — отвечала попадья с низким поклоном.

— Сын боярина Милославского.

— Ой ли?.. Ох ты мой кормилец!.. Подлинно дорогой гость!.. Пожалуй, батюшка, изволь садиться! Милости просим, а я мигом все спворю.

— Куда изволишь ехать, боярин? — спросил отец Еремей.

— К князю Пожарскому в Москву.

— Биться с супостатами? Дело, Юрий Дмитрич! Да и как такому молодцу сидеть поджавши руки, когда вся Русь святая двинулась грудью к матушке Москве! Ну что, боярин, ты уж, чай, давно женат... и детки есть?

— Нет, батюшка, — отвечал со вздохом Юрий, — я не женат и век останусь холостым.

— Что так?

— Да, видно, уж мне так на роду написано.

— Не ручайся, Юрий Дмитрич, придет час воли Божией.

— Да, — перервал Милославский, — и надеюсь, что час воли Божией придет скоро; но только не так, как ты думаешь, отец Еремей!

— Что это, боярин? Уж не о смертном ли часе ты говоришь? Оно правда, мы все под Богом ходим, и ты едешь не на свадебный пир; да Господь милостив, и если загадывать вперед, так лучше думать, что не по тебе станут служить панихиду, а ты сам отпоешь благодарственный молебен в Успенском соборе; и верно, когда по всему Кремлю под колокольный звон раздастся: «Тебе Бога хвалим», — ты будешь смотреть веселее теперешнего... А!.. Наливайко, — вскричал отец Еремей, увидя входящего казака, — ты с тройцкой дороги? Ну, что?

— Слава Богу, справились с злодеями, — отвечал казак. — Я приехал передовым.

— Много побито наших?

— Да с полсорока больше своих не дочтемся! Изменники дрались не на живот, а на смерть: все легли до единого. Правда, было за что и постоять! Сундуков-то с добром... серебряной посуды возов с пять, а казны на тройке не увезешь! Наши молодцы нашли в одной телеге бочонок ромanei да так-то на радости натянулись, что насилу на конях сидят. Бычуря с пятидесятью человеками едет за мной следом, а другие с повозками поотстали.

— А где ваш старшина?

— Кто? Федор Хомяк?.. Не спрашивай о нем, батюшка... изменник!

— Что ты говоришь?

— Бычуря из своих рук застрелил этого предателя. Вот как было все дело: их оставалось всего человек двадцать, не больше; но с ними был их боярин, и нечего сказать — молодец! Стали поперек просеки, которая идет направо в лес, да, слышь ты, вот так наших в лоск и кладут. Мы глядь туда, сюда, где Федька Хомяк? Не тут-то было! Чем бы ему, как старшине, ни пяди от нас, он вздумал спастись дочь изменника боярина, и уж совсем было выпроводил ее из лесу, да Бог попутал. Бычуря, который был позади в засаде и шел к нам на подмогу, повстречался с ним в овраге; его, как предателя, застрелил, а боярышню вместе с ее сенной девушкой поворотил назад.

— Напрасно, пустили б их на все четыре стороны! На что вам они?

— Как на что, отец Еремей? Ведь она дочь изменника.

— Да разве мы воюем с бабами?

— Вестимо, не с бабами! Да наши молодцы не то говорят. А вот никак они въехали в село.

Юрий едва дышал в продолжение этого разговора: он не смел остановиться на мысли, от которой вся кровь за-

стывала в его жилах; но, несмотря на то, сердце его невольно сжималось от ужасного предчувствия. Вдруг пронесся по улице громкий гул; конский топот, песни, дикие восклицания, буйный свист огласили окрестность; толпа пьяных всадников, при радостных криках всего селения, промчалась вихрем по улице, спешила у церковного погоста и окружила дом священника. Через минуту Бычура, в провожании человек двадцати окровавленных и покрытых пылью товарищей, вошел в избу.

— Поздравляем, батька, — сказал он не слишком почтительным голосом, — знатная добыча! Нечего сказать, поработали мы сегодня на матушку святую Русь!

— Спасибо, детушки, — отвечал отец Еремей, — жаль только, что и наших легло довольно!

— Зато уж и мы натешили свои душеньки, и завтра можем позабавиться. Мы захватили дочь одного из изменников бояр; так как прикажешь: сегодня, что ль, ее на виселицу иль завтра?.. Да вот она налицо.

Два мужика внесли закутанную с ног до головы в богатую фату девицу; за нею шла, заливаясь слезами, молодая сенная девушка.

— Несчастливая, она умерла от страха! — сказал Юрий.

— Нет, — отвечал Бычура, — она только в забытьи; дорогою ее раз пять схватывало. Пройдет!

— Варвары! Злодеи! Кровопийцы! — кричала, всхлипывая, сенная девушка. — Добьюсь ли я от вас хоть каплю воды?

— На, голубушка, — сказала попадья, подавая ковш воды, — спрысни ее! Бедная боярышня, — промолвила она жалобным голосом, — неужли-то вы над нею не взмилуетесь?

— Молчи, жена, — шепнул священник, — утро вечера мудренее... Хорошо, ребята, пусть она здесь переночует, а завтра увидим.

Невольно повинувшись какому-то непреодолимому влечению, Юрий подошел к скамье, на которой лежала несчастная девица; в ту самую минуту как горничная, стараясь привести ее в чувство, распахнула фату, в коей она была закутана, Милославский бросил быстрый взгляд на бледное лицо несчастной... обмер, зашатался, хотел что-то вымолвить, но вместо слов невнятный, раздирающий сердце вопль вырвался из груди его.

Незнакомая девица открыла глаза и, посмотрев вокруг себя, устремила неподвижный и спокойный взор на Юрия.

— Ну вот, ведь я говорил, что очнется! — сказал хладнокровно Бычура.

— Анастасья!.. — вскричал, наконец, Милославский.

— Опять он!.. — шепнула Анастасья, закрыв рукою глаза свои. — Ах, я все еще сплю!

— О, если б это был сон!.. Анастасья!..

— Боже мой! Боже мой!.. Так!.. я не сплю!.. Это он!.. Но зачем вы здесь... вместе с этими палачами?.. Ах! Я сейчас была в Москве... ты был один со мною... а теперь!..

— Ба, ба, ба!.. Так ты ее знаешь, боярин? — спросил Бычура.

— Да, добрые люди! — подхватил Юрий. — Вы ошибаетесь, она не дочь Шалонского.

— Как так?

— И я так же думаю, ребята! — сказал священник. — Я видал боярина Шалонского: она вовсе на него не походит.

— Кой прах, — возразил один из шишей, — что ж он, как я разрубил ему голову, примолвил, умирая, своим холопам: «Спасайте дочь мою!»

— Как? — вскричала Анастасья... — Умирая?.. Кто умер?

— Боярин Кручина-Шалонский.

— Родитель мой?..

— Слышишь ли, батька, что она говорит? — сказал Бычура. — Что ж это, боярин, никак ты вздумал нас морочить?

— Но разве вы не видите? Она не знает сама, что говорит... она без памяти!

— Нет, — сказала твердым голосом Анастасья, — я не отрекусь от отца моего. Да, злодеи, я дочь боярина Шалонского, и если для вас мало, что вы, как разбойники, погубили моего родителя, то умертвите и меня!.. Что мне радости на белом свете, когда я вижу среди убийц отца моего... Ах, умертвите меня!

— Анастасья, — вскричал Юрий, — неужели ты можешь думать?..

— Нет, боярышня, — сказал священник, — хоть и жаль, а надобно сказать правду: он не помогал нашим молодцам. Да что об этом толковать!.. До завтра, ребята, с Богом! Вам, чай, пора отдохнуть... Ну, что ж вы переминаетесь? Ступайте!

— Да вот, батька, — сказал Бычура, почесывая голову, — товарищи говорят, что сегодня, за один бы уж прием, повесить ее, так и дело в шляпе.

— Ах вы богоотступники, — вскричала сенная девушка, — что вы затеваете? Иль вы думаете, что теперь уж некому вступиться за боярышню? Так знайте же, разбойники, что она помолвлена за гетмана Гонсевского, и если вы ее хоть волосом тронете, так он вас всех живых в землю закопает.

— Как!.. Она невеста пана Гонсевского? — сказал Бычура.

— Что вы слушаете эту дуру! — перервал священник.

— Да, да, невеста пана Гонсевского, — продолжала кричать горничная, — и Боже вас сохрани...

— Невеста Гонсевского! — повторила с яростным криком вся толпа. — На виселицу ее! Тащите, ребята! На виселицу!

— Остановитесь! — сказал отец Еремей, заслонив собою Анастасью. — Я приказываю вам...

Но неистовые крики заглушили слова священника. Быстрее молнии роковая весть облетела все селение, в одну минуту изба наполнилась вооруженными людьми, весь церковный погост покрылся народом, и тысяча голосов, осыпая проклятиями Гонсевского, повторяла:

— На виселицу невесту еретика!

— Да выслушайте меня, детушки! — сказал священник, успев, наконец, восстановить тишину вокруг себя. — Разве я стою за нее? Я только говорю, чтоб вы подождали до завтра.

— Нет, батька, — возразил Бычура, — выдавай нам ее сейчас, а то будет поздно: вишь, она опять обмерла!.. Где ей дожить до завтра!..

— Ребята, — вскричал Юрий, — не берите на душу этого греха! Она невинна: отец насильно выдавал ее замуж.

— Все равно! — подхватил один пьяный мужик с всклоченной бородою и сверкающими глазами. — Этот жид Гонсевский посадил на кол моего брата... На виселицу ее!

— Он отрубил голову отцу моему! — вскричал другой.

— Расстрелял без суда пятерых наших товарищей, — примолвил третий.

— Тащите ее! — заревела вся толпа.

— Друзья мои, — продолжал Юрий, ломая в отчаянии свои руки, — ради Бога!.. если вы хотите кого-нибудь казнить, так умертвите меня.

— Что ты, боярин, разве мы разбойники? — сказал Бычура. — Ты православный и стоишь за наших, а она дочь предателя, еретичка и невеста злодея нашего Гонсевского.

— Так попытайтесь же взять ее! — вскричал Юрий, вынимая свою саблю.

— Безумный, — сказал священник, схватив его за руку, — иль ты о двух головах?.. Слушайте, ребята, — продолжал он, — я присудил повесить за разбой Сеньку Зверева; вам всем его жаль — ну так и быть, не троньте эту девчонку, которая и так чуть жива, и я прошу вашего товарища.

— Нет, батька! — сказал Бычур. — Если Зверев виноват, то мы не стоим за него: делай с ним что тебе угодно, а нам давай невесту пана Гонсевского.

— Да, да! — вскричала вся толпа. — Мы из твоей воли не выступаем, Еремей Афанасьевич; казни кого хочешь, а еретичку нам выдавай.

Юрий с ужасом заметил, что твердость священника колебалась: в его смущенных взорах ясно изображались нерешимость и боязнь. Он видел, что распаленная вином и мщением буйная толпа начинала уже забывать все повинование, и один грозный вид и всем известная исполинская его сила удерживали в некоторых границах главных зачинщиков, которые, понукая друг друга, не решались еще употребить насилия; но этот страх не мог продолжаться долго. Снаружи крик бешеного народа умножался ежеминутно, и несколько уже раз имя священника произносилось с ругательством и угрозами. Взоры его становились час от часу мрачнее; он поглядывал с состраданием то на Юрия, то на бесчувственную Анастасью, но вдруг лицо его прояснилось, он схватил за руку Милославского и сказал вполголоса:

— Готов ли ты пуститься на все, чтоб спасти эту несчастную?

— На все, отец Еремей!

— Если так — она спасена! Ну, детушки, — продолжал он, обращаясь к толпе, — видно, вас не переспоришь — быть по-вашему! Только не забудьте, ребята, что она такая же крещеная, как и мы: так нам грешно будет погубить ее душу. Возьмите ее бережненько да отнесите за мною в церковь, там она скорей очнется! Дайте мне только время исповедать ее, приготовить к смерти, а там делайте что хотите.

— Ну вот, что дело то дело, батька, — сказал Бычур, — в этом с тобою никто спорить не станет. Ну-ка, ребята, пособите мне отнести ее в церковь... Да выходите же вон из избы! Эх они набились — не продерешься!.. Ступай-ка, отец Еремей, передом; ты скорей их поразодвинешь.

Минуты через две в избе не осталось никого, кроме Юрия, Алексея и сенной девушки, которая, заливаясь горькими слезами и вычитая все добродетели своей боярышни, вопила голосом. Милославский, несмотря на обещание отца Еремея, был также в ужасном положении; он ходил взад и вперед по избе, как человек, лишенный рассудка: попеременно то хватался за свою саблю, то, закрыв руками глаза, бросался в совершенном отчаянии на скамью и плакал, как ребенок. Алексей не смел утешать его и, наблюдая глубокое молчание, стоял неподвижно на одном месте. Не прошло пяти минут, как вдруг двери вполтину отворились и небольшого роста старичок, в котором по заглаженным назад волосам и длинной косе нетрудно было узнать приходского дьячка, махнул рукою Милославскому, и когда Алексей хотел идти за своим господином, то шепнул ему, чтоб он остался в избе. Юрий вышел с своим проводником на церковный погост и, пробираясь осторожно вдоль забора, подошел к паперти. Входя на лестницу, он оглянулся назад: вокруг всей ограды, подле пылающих костров, сидели кучами вооруженные люди; их неистовые восклицания, буйные разговоры, зверский хохот, с коим они указывали по временам на виселицу, вокруг которой разведены были также огни и толпился народ, — все это вместе составляло картину столь отвратительную, что Юрий невольно содрогнулся и поспешил вслед за дьячком войти во внутренность церкви. Перед иконостасом теплилась одна лампада, а в трапезе, подле наоя, во всем облачении стоял отец Еремей и трепещущая Анастасья.

— Скорей, Юрий Дмитрич, скорей, — сказал священник, идя к нему навстречу, — становись подле твоей невесты!

— Моей невесты? — повторил с ужасом Юрий.

— Да, это один способ спасти ее! Слышишь ли, как беснуются эти буйные головы? Малейшее промедление будет стоить ей жизни. Еще раз спрашиваю тебя: хочешь ли спасти ее?

— Хочу! — сказал решительно Юрий, и отец Еремей, сняв с руки Анастасьи два золотых перстня, начал обряд венчанья. Юрий отвечал твердым голосом на вопросы священника, но смертная бледность покрывала лицо его; крупные слезы сверкали сквозь длинные ресницы потупленных глаз Анастасии; голос дрожал, но живой румянец пылал на щеках ее и горячая рука трепетала в ледяной и, как мрамор, бесчувственной руке Милославского.

Между тем нетерпение палачей несчастной Анастасии дошло до высочайшей степени.

— Что ж это? Батяка издевается, что ль, над нами? — вскричал наконец Бычур. — Где видано держать два часа на исповеди? Кабы нас, так он успел бы уже давно десятка два отправить. Послушайте, ребята, войдемте в церковь; при людях исповедовать нельзя, так ему придется нехотя кончить.

— А что ты думаешь?.. И впрямь!.. В церковь так в церковь!.. Пойдемте, ребята, — закричали товарищи Бычуры и вслед за ним хлынули всей толпой на паперть.

— Вот те раз! — сказал Бычур, остановясь в недоумении, — ведь двери-то заперты...

— Так что ж? Ну-ка, товарищи, понапрям, — вскричал Матерой, — авось с петлей соскочит!

Вдруг двери церковные с шумом отворились, и отец Еремей в полном облачении, устремив сверкающий взгляд на буйную толпу, предстал пред нею, как грозный ангел Господень.

— Богоотступники, — воскликнул он громовым голосом, — как дерзнули вы силою врываться в храм Господа нашего?.. Чего хотите вы от служителей алтарей, нечестивые святотатцы?

— Отец Еремей! — отвечал Бычур робким голосом, поглядывая на присмиривших своих товарищей. — Ведь ты сам обещал выдать нам невесту Гонсевского?

— И сдержал бы мое обещание, если б мог выдать вам невесту нашего злодея.

— А почему ж ты не можешь?

— Ее здесь нет!

— Как нет?.. Ребята! Что ж это?..

— Да! Здесь нет никого, кроме Юрия Дмитрича Милославского и законной его супруги, боярыни Милославской! Вот они! — прибавил священник, показывая на новобрачных, которые в венцах и держа друг друга за руку вышли на паперть и стали возле своего защитника. — Православные! — продолжал отец Еремей, не давая образумиться удивленной толпе. — Вы видите, они обвенчаны, а кого Господь сочетал на небеси, тех на земле человек разлучить не может!

— Да! — вскричал Юрий. — Ничто не разлучит меня с моей супругою, и если вы жаждете упиться ее неповинной кровью, то умертвите и меня вместе с нею!

— Слышите ль, православные! Вы не можете погубить жены, не умертвя вместе с нею мужа, а я посмотрю, кто

из вас осмелится поднять руку на друга моего, сподвижника князя Пожарского и сына знаменитого боярина Дмитрия Юрьевича Милославского!

Глубокое молчание распространилось по всей толпе, которая беспрестанно увеличивалась от прибегающего со всех сторон народа.

— Как вы думаете, товарищи? — промолвил наконец Бычура.

— Не знаем-ста, как ты?.. — отвечал Наливайко.

— Вишь, батька-то стоит за них грудью! — прибавил Матерой.

На всех лицах заметно было какое-то сомнение и недоверчивость. Все молча поглядывали друг на друга, и в эту решительную минуту одно удачное слово могло усмирить все умы, точно так же, как одно буйное восклицание превратить снова весь народ в безжалостных палачей. Уже несколько пьяных мужиков, с зверскими рожами, готовы были подать первый знак к убийству, но отец Еремей предупредил их намерение.

— Ну что ж вы задумались, православные! — воскликнул он, принимая из рук дьячка кружку с вином. — За мной, детушки!.. Да здравствуют новобрачные!

Два или три голоса повторили поздравление, но вся толпа молчала.

— А чтоб было чем выпить за их здоровье, — продолжал отец Еремей, — боярин жалует вам бочку вина, ребята.

— Да здравствуют новобрачные! — закричали сотни голосов.

— А я, — прибавил священник, — на радости прощаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по пяти алтын на человека.

— Ура! — заревел весь народ. — Многие лета боярыне Милославской!.. Да здравствуют молодые!

— Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем, боярин, — примолвил отец Еремей вполголоса, — пока они будут пить и веселиться, нам зевать не должно... Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать будет Темрюк: он парень добрый и, верно, теперь во всем селе один-одинехонек не пьян; хотя он и крестился в нашу веру, а все еще придерживается своего басурманского обычая: вина не пьет.

Когда они вошли в избу и сенная девушка узнала, что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсем бы

обезумела от радости, если б ей не объявили, что боярышня ее вышла замуж за Милославского. Это известие тотчас расхолодило ее восторг.

— Как, — вскричала она, — Анастасья Тимофеевна обвенчалась?.. Ну, хороша свадебка!.. Без помолвки, без девишника!.. Ах, Боже мой!.. Что, если б Власьева это узнала!.. Ах ты моя родимая, сиротка ты бесталанная, некому было тебя, горемычную, и повеличать перед свадьбою!..

— И, голубушка! — сказал священник. — До величания ли им было! Ты, чай, слышала, какие ей на площади попевали свадебные песенки? Ну, боярин, — продолжал он, обращаясь к Юрию, — куда ж ты теперь поедешь с своею супругой?.. Чай, в стане у князя Пожарского жить боярыням не пристало?.. Не худо, если б ты отвез на время свою супругу в Хотьковский монастырь; он близехонько отсюда, и, верно, игуменья не откажется дать приют боярыне Милославской.

— Она родная моя тетка, — сказала Анастасья.

— Так и думать нечего! В добрый час, боярин! У меня на душе будет легче, как вы уедете... Не то чтоб я боялся... однакож все лучше... лукавый силен!.. Поезжайте с Богом!

— Отец Еремей, — сказал Юрий, — чем могу я возблагодарить тебя?..

— Не за что, Юрий Дмитрич! Я взыскан был милостию твоего покойного родителя и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долг. Но вот, кажется, и Темрюк готов! Он проведет вас задами; хоть вас никто не посмеет остановить, однакож лучше не ехать мимо церкви. Дай вам Господи совет и любовь, во всем благое поспешение, несчетные годы и всякого счастья! Прощайте!

Молодые и служители их, проехав задними воротами на огороды, в провожании Темрюка, добрались потихоньку до околицы и выехали из села Кудинова.

VII

В этот самый день, в который по необычайному стечению обстоятельств Милославский нарушил обет, данный им накануне: посвятить остаток дней своих безбрачной жизни, часу в десятом ночи какой-то бедный прохожий, в изорванном сером кафтане, шел скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенной в этом месте по

скату глубокого оврага, поросшего густым лесом. Миновав длинный и узкий мост, перекинутый чрез тонкую пойму, прохожий вышел на небольшую поляну, пересекаемую поперечной дорогой. Ночь была лунная, и, несмотря на густую тень от деревьев, можно было без труда различать все предметы. Прохожий, достигнув перекрестка, остановился, вздрогнул и с ужасом отступил назад: освещенная полным месяцем, вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвых тел. Пораженный этим неожиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько минут неподвижно на одном месте, как вдруг слабый, едва слышный стон долетел до его слуха, и в то же время ему показалось, что среди большой груды тел, в том самом месте, где поперечная дорога выходила на поляну, кто-то приподнял с усилием голову и, вздохнув тяжело, опустил ее опять на землю. Подойдя поближе, прохожий увидел, что этот несчастный, покрытый глубокими язвами, один из всех сохранил еще признаки жизни. В то время как человеколюбивый незнакомец, желая, по-видимому, подать какую-нибудь помощь раненому, заботливо над ним наклонился, он снова сделал движение и повернулся лицом к стороне, освещенной луною.

— Правосудный Боже! — вскричал прохожий, отступив назад и сложа крестообразно свои руки. — Это он! Это тот надменный и сильный боярин!.. Итак, исполнилась мера долготерпения твоего, Господи!.. Но он дышит... он жив еще... Ах! если б этот несчастный успел примириться с тобою! Но как привести его в чувство?.. — прибавил прохожий, посмотрев вокруг себя. — Изба полесовщика недалеко отсюда... попытаюсь...

Он приподнял раненого, в котором читатели, вероятно, узнали уже боярина Кручину-Шалонского, положил его на плечи и, сгибаясь под этой ношею, пошел вдоль поперечной дороги, в конце которой мелькал сквозь чащу деревьев едва заметный, тусклый огонек.

Почти в то же самое время Милославский и его супруга выехали из села Кудинова; впереди ехал провожатый их, татарин Темрюк, а позади Алексей и сенная девушка. Во все время пока до их слуха долетали еще громкие крики и веселые песни, Анастасья наблюдала глубокое молчание и, вздрагивая при каждом новом радостном восклицании, которое доносил до них отголосок, с трепетом прижималась к Милославскому. Но когда вокруг их все утихло и мало-помалу стало потухать бледное зарево от пылающих костров, вокруг которых пировала буйная толпа ее палачей,

она, казалось, стала дышать свободнее и наконец сказала робким, исполненным прелести голосом:

— Ты молчишь, Юрий Дмитрич!.. Промолви хотя словечко... Ах! одно твое слово ласковое, один твой привет могут уменьшить скорбь несчастной сироты.

— Анастасья! — отвечал тихим голосом Юрий. — Я сам сирота, и мне ли, горькому, бесталанному, утешать тебя в несчастии, когда для самого меня нет утешенья на белом свете?.. Ах, не на радость соединил тебя Господь со мною!

— Не на радость!.. Нет, Юрий Дмитрич, я не хочу гневить Бога: с тобой и горе мне будет радостью. Ты не знаешь и не узнал бы никогда, если б не был моим супругом, что я давным-давно люблю тебя. Во сне и наяву, никогда и нигде я не расставалась с тобою... ты был всегда моим суженым. Когда злодейка кручина томила мое сердце, я вспоминала о тебе, и твой образ, как ангел-утешитель, проливал отраду в мою душу. Теперь ты мой, и если ты также меня любишь...

— Люблю ли я тебя!.. — вскричал Милославский. — Тебя!.. Ах, Анастасья! Помнишь ли, в Москве, у Спаса на Бору?.. Я не знал, кто ты, когда в первый раз тебя увидел, но сердце мое забилось от радости... Мне казалось, что я встретился с тобою после долгой разлуки, что я давно тебя знаю... что я не мог не знать тебя! Несчастный! Я забыл все... забыл, что стою в храме Божиим... Недоконченная молитва замерла на устах моих... Нет! Я согрешил еще более: в безумии моем я молился не на лики святых угодников... Анастасья!.. я видел одну тебя! Так я прогневил Господа и должен сносить без ропота горькую мою участь; но ты молилась, Анастасья, в глазах твоих, устремленных на святые иконы, сияла благодать Божия... я видел ясно: никакие земные помыслы не омрачали души твоей... тебя не тяготит ужасный грех поруганной святыни!.. За что ж Господь наказал нас обоих?

— Не грехи, Юрий Дмитрич! К чему этот безрассудный ропот? Всевышний посетил нас скорбью, мы оба сироты; но разве он до конца нас покинул? И должны ли мы искушать его милосердие в ту самую минуту, когда он, сжалясь над нами, соединил нас навеки.

— Навеки! — повторил вполголоса Юрий. — Ах, Анастасья!..

— Да, мой милый, мой сердечный друг! Одна смерть может разлучить нас... Дай мне свою руку, радость дней моих, ненаглядный мой!.. Не правда ли, ты никогда не

покинешь твоей Анастасии... никогда?.. Чувствуешь ли ты, — продолжала она голосом, исполненным неизъяснимой нежности, прижимая руку Юрия к груди своей, — чувствуешь ли, как бьется мое сердце?.. Оно живет тобою! И если когда-нибудь ты перестанешь любить меня...

— Никогда! Никогда! — прошептал Юрий, покрывая пламенными поцелуями ее трепещущую руку.

— Бесценный мой!.. Избавитель мой!.. О, как снова мне жизнь становится мила!.. Она твой дар, мой возлюбленный! Она вся принадлежит тебе!.. Ах! повтори еще раз, что ты меня любишь!

— Более всего на свете! — вскричал Милославский, забыв на минуту весь ужас своего положения.

— И ты можешь роптать на промысл Божий?.. И я смею называть себя сиротою, когда ты супруг мой?..

Как пробужденный от глубокого сна, Юрий вздрогнул.

— Твой супруг... — повторил он, отдернув с ужасом свою руку.

— Что с тобою, мой милый друг? — спросила робким голосом Анастасья.

Юрий не отвечал ни слова.

— Ты молчишь?.. — продолжала она. — Ах! Говори, Юрий Дмитрич, скажи, чем могла я прогневить тебя?

— Анастасья, — отвечал, наконец, Милославский, — я не ропщу... я покоряюсь воле Всевышнего; но мы несчастливы, мой друг, очень несчастливы!

— Нет, пока ты называешь меня своей супругою... пока я принадлежу тебе...

— Но знаешь ли ты, сирота злополучная?.. Так! к чему откладывать!.. для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья!.. я не супруг твой!

— Ты не супруг мой?.. Но не ты ли сейчас обошел со мною налож церковный?.. Не с тобою ли я поменялась этим перстнем?..

— Чтоб спасти тебя, я должен был это сделать; но я не могу быть ничьим супругом.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, над гробом преподобного Сергия, я клялся оставить свет и произнес обет: по окончании брани возложить на себя одежду инок.

— Милосердный Боже!.. Так для чего ж, жестокий, ты не дал мне умереть?..

— Выслушай меня, Анастасья, и не осуждай меня!

Юрий стал рассказывать, как он любил ее, не зная, кто она, как несчастный случай открыл ему, что его

незнакомка — дочь боярина Кручины; как он, потеряв всю надежду быть ее супругом и связанный присягою, которая препятствовала ему восстать противу врагов отечества, решился отказаться от света; как произнес обет иночества и, повинувшись воле своего наставника, Авраамия Палицына, отправился из Троицкой лавры сражаться под стенами Москвы за веру православную; наконец, каким образом он попал в село Кудиново и для чего должен был назвать ее своей супругою. Анастасья с необыкновенной твердостью выслушала весь рассказ его; но когда он кончил, она завернулась в свою фату, зарыдала, и горькие слезы рекой полились из глаз ее. Юрий молча продолжал ехать подле нее; несколько раз он хотел возобновить разговор, но слова замирали на устах его; и что мог бы он сказать в утешение несчастной, горькой сироте?

Вдали мелькнул огонек; Темрюк остановил свою лошадь и, обращаясь к Юрию, сказал:

— Видишь, боярин. Вон там, за этими деревьями?.. Это Хотьков монастырь. Чай, теперь вы и без проводника доедете; дорога прямая; а мне пора и отдохнуть. Вот другие сutki, как я глаз не сводил.

Юрий отпустил своего провожатого, и через четверть часа наши путешественники доехали до монастырских ворот. Не скоро достучались они привратника; наконец калитка отворилась, и монастырский слуга, протирая заспанные глаза, спросил сердитым голосом:

— Кто тут?.. Что за полуночники такие?.. — но, узнав Анастасью, вскрикнул от радости и побежал доложить о ней игуменье. Путешественники сошли с лошадей. Анастасья молчала, Юрий также; но, когда через несколько минут ворота отворились и надобно было расставаться, вся твердость их исчезла. Анастасья, рыдая, упала на грудь Милославского.

— Прости, мой избавитель, — говорила она, всхлипывая, — прости навсегда!

— Навсегда!.. Нет, Анастасья! — вскрикнул Юрий, заключив ее в свои объятия. — Когда мы оба проснемся от тяжкого земного сна для жизни бесконечной, тогда мы увидимся опять с тобою!.. И там, где нет ни плача, ни вздыханий, там — о милый друг! — я снова назову тебя моей супругою!

Анастасья вырвалась из его объятий. Тяжелые ворота закрипели, застучал железный запор, привратник захлопнул калитку, и Юрий, вскочив на коня, помчался вихрем

от стен обители, в которой, как в безмолвной могиле, он похоронил навсегда все земное свое счастье.

Оставим на несколько времени Юрия, который спешил в крови врагов или в своей собственной утопить мучительную тоску свою, и перенесемся в хижину, где, осыпанный проклятиями, заклеянный позорным именем предателя, некогда сильный и знаменитый боярин, но теперь покинутый целым миром, бесприютный страдалец боролся со смертью. До половины вросшая в землю, освещенная одним восковым огарком, который теплился перед иконами, лачужка полесовщика была в эту минуту последним земным жилищем богатого боярина Кручины, привыкшего жить с царскою пышностью. Несколько снопов соломы, брошенных на скамью, заменяли роскошное пуховое ложе, а вместо толпы покорных рабов один бедный, покрытый изорванным рубищем нищий сидел у его изголовья. Испустя тяжелый вздох, умирающий очнулся от своего беспамятства и открыл глаза; несколько минут его тусклые, безжизненные взоры оставались неподвижными; наконец, мало-помалу он стал различать окружавшие его предметы. С большим усилием он поднял руку и молча поднес ее к запекшимся кровью устам своим. Нищий подал ему ковш с водою, и боярин, утолив свою жажду, промолвил невнятным голосом:

— Где я?

— В избе, у доброго человека, — отвечал нищий.

— Кто говорит со мною?

— Это я, Федорыч, Митя.

— Где мои слуги?

— Твои слуги!.. Бедняжка!.. Ты всех их отпустил на волю, Федорыч!

— Где дочь моя?

— Как?.. Так и она, сердечная, была с тобою?.. Голубушка моя!.. Ну, Федорыч, пришла беда — растворяй ворота!

— Ах! Я начинаю вспоминать... убийцы!.. кровь!.. Так... они умертвили ее!.. Злодеи... А я жив еще!.. За чем?.. Для чего?

— Как зачем, Федорыч?.. Подумай-ка хорошенько. Ведь благочестивую дочь твою врасплох бы не застали: она всегда, как чистая голубица, готова была принять жениха своего. А чтоб ты стал делать, горемычный, если бы Господь не умилился над тобою и не дал тебе времени принарядиться да раззнакомиться с твоими приятелями? Оглянись-ка, Федорыч, посмотри, сколько их стоит за то-

бою — и гордость, и злость, и неправда, и убийство, и всякое нечестие... Эй, Федорыч! Не губи себя, голубчик! Отрекись от этих друзей, не бери их с собою! Ведь двери-то на небеса небольшие — с такой оравой туда не пролезешь!

Бледные щеки Шалонского вспыхнули; казалось, все силы его возвратились: он приподнялся до половины и, устремив дикий взор на Митю, сказал твердым голосом:

— О чем ты говоришь, юродивый? Чего ты от меня хочешь?.. Покаяния?.. Нет!.. Поздно!.. Если все правда, чему я верил в ребячестве, то приговор мой давно уже произнесен!

— И, Федорыч, Федорыч! Кто это тебе сказал?

— Да, если из двух дорог я выбрал одну и шел по ней всю жизнь мою, то могу ли перед смертью возвратиться опять на перепутье?

— Можешь ли? — перервал Митя, и глаза его заблистали необыкновенным огнем, и кроткое величие праведника изобразилось на челе его, выражавшем до того одно простодушие и смирение. — Можешь ли? — повторил он вдохновенным голосом. — Ничтожное, брэнное создание! Тебе ли полагать пределы милосердию Божию? Тебе ли измерять неизмеримую любовь Творца к его созданию?.. Так с юности твоей преданный лукавству и нечестию, упитанный неповинной кровию, ты шел путем беззакония, дела твои вопиют на небеса; но хуже ли ты разбойника, который, умирая, сказал: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии твоём!» И едва слова сии излетели из уст убийцы — и уже имя его было начертано на небеси! Едва, омытая кровию Спасителя, душа его воспарила в горние селения — и уже навстречу ей спешил сам Искупитель! О боярин! возведи скорбящий взор к Отцу нашему, пожелай только быть вместе с ним, и он уже с тобою, и он уже в душе твоей!..

Как истомленный жаждою в знойный день усталый путник глотает с жадностию каждую каплю пролившего на главу его благотворного дождя, так слушал умирающий исполненные христианской любви слова своего утешителя. Закоснелое в преступлениях сердце боярина Кручины забилось раскаянием; с каждым новым словом юродивого изменялся вид его, и наконец на бледном, полумертвом лице изобразилась последняя ужасная борьба порока, ожесточения и сильных страстей — с душою, проникнутою первым лучом небесной благодати.

— Как, — сказал он после продолжительного молчания, — ты, которого я выгнал с позором из дома свое-

го... над кем ругался, кого осыпал проклятиями... кто должен меня ненавидеть... желать моей вечной гибели...

— Твоей гибели!.. Ах! ты не знаешь... ты не вкусил еще всей сладости любви христианской, боярин... Твоей гибели!.. Пусть Господь возьмет остаток дней моих за одно мгновение твоего душевного покаяния! Но что я говорю... бессмысленный! Нужна ли эта ничтожная жертва, дабы подвинуть к милосердию того, кто есть беспредельная любовь, которая наполняет уже твою душу, боярин?.. Так я вижу благодать Всевышнего в твоих потухающих взорах!.. Ты плачешь?.. Плачь, боярин, плачь! Эти слезы... О! приветствуй сих посланников небесных!..

Кто может описать чувство умирающего грешника, когда перст Божий коснулся души его? Он видел всю мерзость прошедших дел своих, возгнушался самим собою, ненавидел себя; но не отчаяние, а надежда и любовь наполняли его душу.

— Милосердый Боже! — воскликнул он, проливая источники слез. — Для чего я не могу продлить моей позорной жизни?.. Для чего в болезнях, страданиях, покрытый язвами, от всех отверженный, всеми презираемый, я не могу изгладить продолжительным покаянием хотя сотую часть моих тяжких беззаконий!..

— Их нет уже, боярин, — сказал с восторгом Митя, — твои слезы смыли их... первые слезы кающегося грешника... О! какое веселие, какое торжество готовится на небесах, когда я, окаянный, недостойный грешник, скрывающий гордость и тщету даже под сим бедным рубищем, не нахожу слов для изъявления моей радости!

Ослабевши от сильного душевного потрясения, боярин Кручина опустился на свое ложе; предвестница близкой смерти, лихорадочная дрожь пробежала по всем его членам.

— Митя, Митя! — сказал он прерывающимся голосом. — Конец мой близок... я изнемогаю!.. Если дочь моя не погибла, сыщи ее... отнеси ей мое грешное благословение... Я чувствую, светильник жизни моей угасает... Ах, если б я мог, как православный, умереть смертью христианина!.. Если б Господь сподобил меня... Нет, нет!.. Достоин ли убийца и злодей прикоснуться нечистыми устами... О, ангел-утешитель мой! Митя!.. молись о кающемся грешнике!

Вдруг кто-то постучался у окна.

— Кто тут? — спросил Митя.

— Священник из села Никольского, — отвечал незнакомый голос.

— Священник! — вскричал юродивый.

— Да, добрый человек! Я еду с требою к умирающему, да заплутался; не выведешь ли меня на большую дорогу?

— Слышишь ли, Тимофей Федорович? Сомневайся еще в милосердии Божиим! Войди, батюшка, здесь также есть умирающий.

— Митя! — вскричал Кручина. — Приподыми меня! пособи мне встать... Нет!.. оставь меня... я чувствую в себе довольно силы...

Боярин приподнялся, лицо его покрылось живым румянцем, его жадные взоры, устремленные на дверь хижины, горели нетерпением... Священник вошел, и чрез несколько минут на оживившемся лице примиренного с небесами изобразилось кроткое веселие и спокойствие праведника: Господь допустил его произнести молитву; «Днесь, Сыне Божий, причастника мя приими!» Он соединился с своим Искупителем; и когда глаза его закрылись навеки, Митя, почтив прах его последним целованием, сказал тихим голосом:

— Прости, Тимофей Федорович, веселись в горних селениях, избранный для прославления неизреченного милосердия Божия! Ты жил как злодей и кончил жизнь как праведник... Блаженна участь твоя: над тобой совершилась великая тайна искупления!..

VIII

В первый день решительной битвы русских с гетманом Хоткевичем, то есть 22 августа 1612 года, около полудня, в бывшей Стрелецкой слободе, где ныне Замоскворечье, близ самого Крымского брода, стояли дружины князя Трубецкого, составленные по большей части из буйных казаков, пришедших к Москве не для защиты отечества, но для грабежа и добычи. С первого взгляда на эти разбросанные без всякого порядка по берегу Москвы-реки толпы пеших и конных ратников можно было догадаться, что дух мятежа и своевольства царствовал в рядах сего необузданного и едва знающего подчиненность войска. Во многих местах раздавались песни и громкие восклицания; и даже шагах в двадцати от ставки главного своего воеводы, князя Трубецкого, человек пятьдесят казаков, рас-

положась покойно вокруг пылающего костра и попивая вкруговую, шумели и кричали во все горло, осыпая ругательствами нижегородское ополчение, пришедшее с князем Пожарским. При появлении старшин никто не трогался с места: ни один казак не приподымал своей шапки, и даже нередко грубые насмешки и обидные прозвания раздавались вслед за проходящими начальниками, которых равнодушие доказывало, что они давно уже привыкли к такому своевольству. В некотором расстоянии от этого войска стояли особо человек пятьсот всадников, в числе которых заметны были также казаки; но порядок и тишина, ими наблюдаемая, и приметное уважение к старшинам, которые находились при своих местах в беспрестанной готовности к сражению, — все удостоверило, что этот небольшой отряд не принадлежал к войску князя Трубецкого. Впереди, на небольшом земляном возвышении, с которого можно было следовать взором за изгибами Москвы-реки, обтекающей Воробьевы горы, стоял начальник этой отдельной дружины. Казалось, все внимание его было обращено к стороне Ново-Девичьего монастыря, вокруг которого и по всему пространству Лужников рассыпаны были палатки и шатры многочисленной рати польской. Шагах в десяти позади его разговаривали вполголоса давнишние знакомцы наши: Кирша и Алексей. Первый смотрел тоже с большим вниманием в ту сторону, где расположено было неприятельское войско.

— Ну что, — спросил Алексей, — выходят ли они из лагеря?

— Кажется, нет, — отвечал Кирша. — Видно, еще князь Пожарский не двинулся от Арбатских ворот.

— А скажи, пожалуйста, любезный, не знаешь ли, зачем он прислал вас сюда с моим господином?

— Князь Трубецкой просил у него подмоги, чтоб ударить в поляков, когда начнется сражение.

— Да разве у него мало войска? Посмотри-ка, видимо-невидимо! Одних казаков, почитай, столько же, сколько нас всех у князя Пожарского — и пеших и конных.

— Эх, брат Алексей, и много, да черт ли в них! Вишь, какая вольница! Мы с часу на час ждем драки, а они себе и в ус не дуют! Дал бы этим озорникам в воеводы пана Лисовского, так он бы их повернул по-своему; у него, бывало, расправа короткая: ладно так ладно, а не так, так пулю в лоб!.. Эва! Слышишь, как покрикивают... подле самого шатра княжеского, как будто б им черт не брат! Небось у Лисовского не стали б этак горланить. Бывало,

как закрутит усы да гаркнет, так во всем лагере услышишь, как муха пролетит... Пстой-ка, брат... пстой! Никак поляки зашевелились... Чу! Пушка... другая!.. Пошла потеха!

Вся окрестность дрогнула. Со стороны Арбатских ворот, как отдаленный гром, пронесся глухой рокот по воздуху: двинулись пехотные дружины нижегородские, промчалась конница, бой закипел, и через несколько минут вся окрестность Ново-Девичьего монастыря покрылась густыми облаками дыма.

— Эх! Если б поскорей дошла до нас очередь, — вскричал Кирша, — так руки и зудят!..

— Эка трескотня!.. — сказал Алексей. — Ух! Как грянули из пушек!.. Да это никак с нашей стороны?

— С нашей, с нашей!.. — перервал Кирша. — Вот так!.. Знатно, ребята, знатно! Катай их, еретиков!

Весь отряд под начальством Милославского, которого, вероятно, читатели наши узнали уже в начальнике отдельного отряда, горел нетерпением вступить в бой с неприятелем; но в дружинах князя Трубецкого не заметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки; и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более двух часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого не приметно было никаких приготовлений к бою; все оставалось по-прежнему: одни отдыхали, другие веселились, и только несколько сот казаков, взобравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели, как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства Русского.

Едва скрывая свое негодование, Кирша подошел к одной толпе, которая стояла далее других от шатра главного воеводы.

— Что, товарищи, — сказал он, — не пора ли и вам взнуздать коней?

— Зачем? — спросил один казак.

— Как зачем? Чай, нашим становится жутко; вот уж часа три, как они бьются с поляками.

— Так что ж?.. На здоровье! Пусть себе забавляются! — перервал другой казак. — Богаты пришли из Ярославля, отстоятся и сами от гетмана!

— Спесивы больно, — подхватил один урядник, — не пошли к нам в таборы, так пусть теперь одни и справляются с ляхами!

— Они не хотели с нами знаться, — примолвил первый казак, — так и мы их знать не хотим. Ну-ка, Терешка, запевай плясовую!

Полупьяный казак затянул песню, и вся толпа гаркнула вслед за ним хором.

Милославский подошел к ставке князя Трубецкого.

— Не пора ли нам? — сказал он казацкому старшине, который стоял у дверей шатра.

— Как придет время, так вам прикажут, — отвечал хладнокровно старшина.

— Нельзя ли мне поговорить с князем Дмитрием Тимофеевичем?

— Нет, он никого не велел к себе пускать.

Вдруг подскакал к шатру покрытый пылью и окровавленный всадник; спрыгнув с коня, он спросил торопливо:

— Где князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой?

— На что тебе? — спросил старшина.

— Я прислан от князя Пожарского. Поляки начинают нас одолевать.

— Неужто в самом деле? — перервал с насмешливой улыбкою старшина.

— К ним прибывает беспрестанно свежее войско, а мы все одни; и если б князь Дмитрий Михайлович не приказал всем конным спешиться, то нас давно бы сбили с поля. Он просит подмоги.

— И, полно, брат, одни отгрызетесь! Да постой, куда ты?

— К вашему воеводе.

— Не велено пускать. С Богом, убирайся-ка откуда приехал!

— Что же мне сказать князю Дмитрию Михайловичу?

— Что мы желаем ему справиться с поляками, а сами будем драться тогда, когда до нас дойдет очередь.

— Нет, — вскричал Милославский, — это уже превосходит все терпение! Если вы не боитесь Бога и хотите из личной вражды и злобы губить наше отечество, то я с моей дружиною не останусь здесь.

— Потише, молодец, не горячись! Ты здесь не старший воевода. И как бы ты смел без приказа князя Дмитрия Тимофеевича идти на бой?

— А вот увидишь! — сказал Милославский, подходя к своему отряду.

— На коня, товарищи!

— Именем главного воеводы, князя Трубецкого, приказываю тебе не трогаться с места!.. — сказал старшина, подбежав к Юрию, который садился на лошадь.

— Я служу не ему, а отечеству! — отвечал Юрий, выезжая вперед.

— Стойте, — вскричал старшина, — а не то я велю остановить вас силою!

— Попытайся, — сказал Юрий, взглянув с презрением на старшину. — Живей, ребята, — продолжал он, — сабли-вон!.. С Богом!.. вперед!..

В полминуты отряд Милославского переправился через Москву-реку и при громких восклицаниях: «Умрем за веру православную и святую Русь!» — помчался на место сражения.

Из всей дружины Милославского остался на другой стороне реки один только казак, и читатели едва ли отгадают, что этот предатель был наш старинный знакомец Кирша. Но честный и храбрый запорожец не для измены отстал от своих. Он заметил, что решительный поступок Милославского сильно подействовал на многих казаков из войска князя Трубецкого; некоторые даже вслух кричали, что стыдно пред людьми и грешно перед Богом выдавать своих единоверцев. Четверо атаманов казацких: Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов и Марко Козлов, казалось, более других досадовали на свое бездействие, и когда Кирша подошел к ним, то Афанасий Коломна сказал ему с негодованием:

— Не совестно ли тебе отставать от своих?

— Нет, господа старшины... — отвечал Кирша, — мне совестно, да только не за себя, а за вас.

— Ну тебе ли говорить! — вскричал Козлов. — Беглец... Покинул своих товарищей!..

— Да я и других казаков уговаривал здесь остаться. Как нам глаза показать перед войском князя Пожарского? Ведь мы такие же казаки, как вы, так не радостно будет слушать, как православные станут при нас всех казаков называть изменниками.

— Изменниками! — вскричал Дружина Романов.

— А как же, — продолжал Кирша, — разве мы не изменники? Наши братья, такие же русские, как мы, льют кровь свою, а мы здесь стоим поджавши руки... По мне уж честнее быть заодно с ляхами! А то что мы? ни то ни се — хуже баб! Те хоть Бога молят за своих, а мы что? Эх, товарищи, видит Бог, мы этого сраму век не переживем!

— А что вы думаете, ведь он правду говорит, ребята! — сказал Межаков. — Где слыхано выдавать своих!

— Вся беда оттого, что наши воеводы повздорили между собою, — прибавил Дружина Романов.

— Да пусть их ссорятся, — закричал Марко Козлов, — нам какое до этого дело? Кто как хочет, а я с моим полком иду. Гей, батуринские, на коня!

— И мы также идем! — вскричали Коломна, Межаков и Романов.

Кзаки столпились вокруг своих начальников; но большая часть из них явно показывала свою ненависть к нижегородцам, и многие решительно объявляли, что не станут драться с гетманом. Атаманы, готовые идти на помощь к князю Пожарскому, начинали уже колебаться, как вдруг один из казаков, который с кровли высокой избы смотрел на сражение, закричал:

— Ай да нижегородцы!.. Попятили ляхов!.. Глядите-ка! Поляки бегут.

— Бегут... — вскричал Кирша. — Так вам и делать нечего. Прощайте, ребята, я один поеду. Ну, знатная же будет пожива нижегородцам! Говорят, в польском стане золота и серебра хоть возами вози!

— Что ж мы зеваем, ребята? — заговорили меж собой казаки. — На коней!..

— На коней! — повторили тысячи голосов.

— Живей, добрые молодцы! Живей! Садись! — закричали атаманы.

Из ставки начальника прибежал было с приказаниями завоеводчик¹; но атаманы отвечали в один голос: «Не слушаемся! Идем помогать нижегородцам! Ради нелюбви вашей Московскому государству и ратным людям пагуба становится». И, не слушая угроз присланного чиновника, переправились с своими казаками за Москву-реку и поскакали в провожании Кирши на Девичье поле, где несколько уже минут кровопролитный бой кипел сильнее прежнего.

Между тем отряд Юрия, проехав берегом Москвы-реки, ударил сбоку на неприятеля, который начинал уже быстро подвигаться вперед, несмотря на отчаянное сопротивление князя Пожарского. Как ангел-истребитель, летел перед своим отрядом Юрий Милославский; в несколько минут он смял, втоптал в реку, рассеял совершенно первый конный полк, который встретил его дружину позади

¹ Звание, равное нынешнему генерал-адъютанту (*Примеч. авт.*)

Ново-Девичьего монастыря: пролить всю кровь за отечество, не выйти живому из сражения — вот все, чего желал этот несчастный юноша. Врываясь, как бурный поток, в самые густые толпы польских гусар, он бросался на их мечи, устилал свой путь мертвыми телами и, невидимо хранимый десницею Всевышнего, оставался невредим. Отборная его дружина, почти вся составленная из стрельцов московских, не уступала ему в мужестве. Опрокинув еще несколько пехотных региментов, они врзались в самую средину сторожевых полков неприятельских. От орлиного взора князя Пожарского не укрылось замешательство, в какое приведены были поляки от этого неожиданного нападения; он двинул вперед все войско... Поляки дрогнули, побежали; но, соединясь с сторожевыми полками своими, возобновили снова сражение на самом берегу Москвы-реки. Положение отряда Милославского, из которого не оставалось уже и третьей доли, становилось час от часу опаснее: окруженный со всех сторон, стиснутый между многочисленных полков неприятельских, он продолжал биться с ожесточением; несколько раз пробивался грудью вперед; наконец, свежая, еще не бывшая в деле неприятельская конница втеснилась в сжатые ряды этой горсти бесстрашных воинов, разорвала их, — и каждый стрелец должен был драться поодиночке с неприятелем, в десять раз его сильнейшим. Этот неравный бой не мог продолжаться долго. В ту самую минуту как Милославский, подле которого бились с отчаянием Алексей и человек пять стрельцов, упал без чувств от сильного сабельного удара, раздался дикий крик казаков, которые, под командою атаманов, подоспели наконец на помощь к Пожарскому. В одно мгновение опрокинутые поляки рассыпались по полю, и Кирша, с сотнею удалых наездников, гоня перед собой бегущего неприятеля, очутился подле того места, где, плавая в крови своей и окруженный трупами врагов, лежал без чувств Юрий Милославский. Запорожец соскочил с коня, при помощи Алексея положил Юрия на лошадь, вывез из тесноты и, доехав до Арбатских ворот, внес в один мещанский дом, который менее других казался ему разоренным. Оставив с ним Алексея, Кирша возвратился на поле сражения; но оно было уже совсем очищено от неприятеля. Пришедшие на помощь казаки князя Трубецкого решили участь этого дня: их неожиданное нападение расстроило поляков, и гетман Хоткевич, отступя в беспорядке за Москву-реку, остановился у Поклонной горы.

Несмотря на претерпенное неприятелем поражение, он успел ночью на 23-е число, при помощи изменника Григория Орлова привести в Кремль шестьсот человек гайдуков. Усиленный этим отрядом, крепостной гарнизон сделал чем свет вылазку и взял за Москвой-рекой небольшой окоп близ церкви св. Георгия. Желая воспользоваться этой удачей, гетман Хоткевич, зайдя со стороны Донского монастыря, напал на конницу князя Трубецкого, которая, не выдержав первого натиска, дала хребет и смешала в бегстве своем конные полки князя Пожарского. Пехотные дружины нижегородские остановили однакоже стремление неприятеля; упорный бой продолжался до шестого часа пополудни. Тщетно Пожарский требовал помощи от князя Трубецкого: он отступил в свои укрепленные таборы близ Крымского брода, не принимал никакого участия в сражении, и нижегородское ополчение должно было выдерживать одно весь натиск многочисленного неприятеля. Наконец, непреодолимое мужество этих верных сынов России восторжествовало над множеством врагов: гетман принужден был отступить. Казаки Трубецкого, увидя бегущего неприятеля, присоединились было сначала к ополчению князя Пожарского; но в то самое время, когда решительная победа готова была уже увенчать усилия русского войска, казаки снова отступили и, осыпая ругательствами нижегородцев, побежали назад в свой укрепленный лагерь. Это предательство изменило совершенно вид сражения: поляки ободрились, русские дрогнули, и князь Пожарский, гнавший уже неприятеля, увидел с ужасом, что войско его, утомленное непрерывным боем и расстроенное изменою казаков, едва удерживало за собою поле сражения. Предвестники победы, радостные крики раздавались в рядах вражеских; отчаяние и робость изображались на усталых лицах воинов нижегородских... Гибель войска русского, а вместе с сим и падение России казались уже неизбежными. В эту решительную минуту, вдохновенный свыше, знаменитый Авраамий Палицын прибежал в стан казаков князя Трубецкого, умоляя их со слезами подать помощь погибающим братьям. Исполненные пламенной любви к отечеству слова его потрясли, наконец, закоснелые в буйстве и нечестии сердца этих грубых воинов. Обещая одним нетленную награду на небесах, предлагая другим всю казну монастырскую, он заклинал всех именем Божиим не выдавать отечества и спешить на помощь к князю Пожарскому. Увлеченные сильным чувством и неизъяснимым красноречием этого

бессмертного старца, все казаки восстали, двинулись вперед и, повторяя имя святого Сергия, грудью ударили на поляков. В то же время гражданин Минин, с тремя отборными дворянскими дружинами, обойдя в тыл сильному неприятельскому отряду, расположенному за Москвой-рекою, истребил его совершенно. Смятение и, наконец, бегство неприятеля сделалось всеобщим. Укрепленный лагерь, артиллерия, весь обоз достались победителям, и гетман Хоткевич, потеряв почти половину своего войска, на другой день поутру, то есть 25-го числа августа, бежал со стыдом от Москвы.

Оставшиеся поляки заперлись в Кремле и вскоре по взятии нашими войсками Китай-города, окруженные со всех сторон, должны бы были сдаться, если б несогласия между главными начальниками и явная нелюбовь одного войска к другому не мешали осаждающим действовать общими силами. Уже близко двух месяцев продолжалась осада Кремля; наконец, поляки, изнуренные голодом и доведенные, по словам летописцев, до ужасной необходимости пожирать друг друга, — решились сдаться военнопленными.

Но нам пора уже возвратиться к герою нашей повести. По взятии Китай-города и окружающих его предместий раненый Милославский переехал, по приглашению князя Пожарского, в собственный дом его, на Лубянку¹. Юрий начинал уже оправляться, но он чувствовал себя столь слабым, что не смел еще выходить из дому. В пылу сражения и потом, во время тяжелой болезни, он, казалось, забыл о своем положении; но когда телесная болезнь его миновалась, то сердечный недуг с новой силою овладел его душою. Иногда посещал его князь Пожарский, изредка Авраамий Палицын и князь Черкасский; но безотлучно находились при нем добрый его служитель и верный Кирша, которому удавалось иногда веселыми своими рассказами рассеивать на несколько минут мрачные мысли и глубокое уныние, овладевшие душою несчастного юноши.

Одним вечером Кирша, войдя поспешно в комнату больного, закричал:

— Добрые вести, Юрий Дмитрич, добрые вести!

— Какие вести? — спросил Милославский.

— Завтра мы будем петь благодарственный молебен в Успенском соборе.

¹ Дом князя Пожарского находился против церкви Введения Божией Матери, на том самом месте, где ныне дом 3-й гимназии. (Примеч. авт.)

— Поэтому поляки сдаются?

— Видно, что так. А надобно им честь отдать: постояли за себя! Кабы им было что перекусить, не стали бы просить милости, да голодом-то мы их доехали!

— И ты точно знаешь, что мы завтра входим в Кремль?

— Говорят так. Поляки, как слышно, просят только о том, чтобы им сдаться нашему воеводе, князю Пожарскому, а не другому кому. Видно, и они уж знают, каковы казаки Трубецкого. Посмотрел бы ты, Юрий Дмитрич, когда выпустили из Кремля на нашу сторону боярских жен, которые были в полону у поляков, какой бунт подняли эти разбойники! И как ты думаешь, за что?.. За то, что им не дали грабить русских боярынь!.. Хороши защитники отечества! Но вот никак отец Авраамий идет тебя навестить... Так и есть! Он лучше тебе расскажет обо всем, боярин.

Авраамий Палицын вошел к Юрию и, благословя его, спросил, как он себя чувствует.

— Все так же, — отвечал Милославский.

— Все так же? — сказал старец, покачав с неудовольствием головою. — Кажется, давно бы пора тебе опривиться. Жаль, Юрий Дмитрич, если ты еще так слаб, что не можешь сидеть на коне: мы завтра входим в Кремль.

— Я уж слышал об этом, отец Авраамий, и решился во что б ни стало войти в Кремль с вами.

— Но если твое здоровье требует...

— Нет, эта радостная весть оживила меня, и я начинаю чувствовать в себе довольно силы...

— Итак, завтра чем свет...

— Ты увидишь меня на коне, перед моим отрядом, отец Авраамий.

— Прощай, Юрий Дмитрич! Я зашел только проведать тебя и не могу долго с тобой оставаться. Завтрашний день мне бы надобно ехать верст за пятьдесят для исполнения одной священной обязанности; но так как мы входим в Кремль, то мне нельзя отлучиться из Москвы, и я хочу послать сейчас гонца для уведомления, что обряд, при котором присутствие мое необходимо, не может быть совершен завтра. Послезавтра я буду свободен и успею еще исполнить то, чего от меня требуют, — примолвил Авраамий, вздохнув от глубины души. — Прощай, сын мой! — продолжал он. — Да укрепит Господь твои силы и да снидет на главу твою его животворящая благодать!

Наконец, наступило 22-е число октября 1612 года, день достопамятный и незабвенный в летописях нашего отечества. Вместе с восходом солнечным поляки вышли двумя толпами из Кремля. Эти несчастные, изнуренные голодом походили более на мертвецов, чем на живых людей. Одна половина гарнизона, находившаяся под командою пана Будилы, вышла на сторону князя Пожарского и встречена была не ожесточенным неприятелем, но человеколюбивым войском, которое поспешило накормить и успокоить, как братьев, тех самых людей, коих накануне называли своими врагами. Совсем другая участь постигла остальную часть гарнизона, вышедшую под начальством пана Струса на сторону князя Трубецкого: буйные казаки, для которых не было ничего святого, перерезали большую часть пленных поляков и ограбили остальных. Это нарушение всех прав народных было, так сказать, предвестником тех грабежей, убийств и пожаров, которыми по окончании брани ознаменовали след свой неистовые казаки, рассеясь, как стая хищных зверей, по всей России.

По выходе неприятеля из Кремля войско князя Пожарского, предшествуемое архимандритом Дионисием, Авраамием Палицыным и многочисленным духовенством, вступило Спасскими воротами во внутренность этого древнего жилища православных царей русских. Впереди всей рати понизовской ехал верховный вождь, князь Дмитрий Михайлович Пожарский: на величественном и вместе кротком челе сего знаменитого мужа и в его небесно-голубых очах, устремленных на святые соборные храмы, сияла неизъяснимая радость; по правую его руку на лихом закубанском коне гарцевал удалой князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский; с левой стороны ехали: князь Дмитрий Петрович Пожарский-Лопата, боярин Мансуров, Образцов, гражданин Минин, Милославский и прочие начальники. Арсений, епископ Галасунский, с иконою Владимирской Божией Матери, встретил победителя у самых Спасских ворот. Вслед за войском хлынули в Кремль бесчисленные толпы народа; раздался громкий благовест; нижегородское ополчение построилось вокруг царских чертогов; духовенство, начальники, именитые граждане взойшли в Успенский собор, и *русское*: «Тебе, Бога, хвалим!» — оглася своды церковные, раздавалось, наконец, в стенах священного Кремля, столь долго служившего вер-

тепом разбойничьим для врагов иноплеменных и для предателей собственной своей родины.

Выходя из Успенского собора, Милославский повстречался с Мининым.

— Ну, вот видишь, боярин, — сказал знаменитый гражданин нижегородский, — я не пророк, а предсказание мое сбылось. Сердце в нас вещун, Юрий Дмитрич! Прощаясь с тобою в Нижнем, я головой бы моей поручился, что увижу тебя опять на поле ратном против общего врага нашего, и не в монашеской рясе, а с мечом в руках. Когда ты прибыл к нам в стан, то я напоминал тебе об этом, да ты что-то мне отвечал так чудно, боярин, что я вовсе не понял твоих речей.

— Что ж я отвечал тебе, Козьма Минич?

— Как теперь помню, ты сказал мне, что мое пророчество сбылось только вполовину.

— И говорил истинную правду.

— Как так, боярин? Я что-то в толк не беру? Ты, кажется, одет не чернецом; а что твой меч в ножнах не оставался, так этому я сам был свидетелем. Правда, ты и теперь с виду походишь на затворника... Да будь повеселее, боярин! Кажется, есть чему порадоваться: злодеев не стало. Много пролито крови христианской; да и то, слава Богу, что наконец правда взяла свое! Грустно только видеть, как поруганы и осквернены храмы Господни, да это также дело поправное; а вот что худо, Юрий Дмитрич: с одними супостатами мы справились, как-то справимся с другими?..

— С другими?

— Ну да! Посмотри, — продолжал Минин, указывая на беспорядочные толпы казаков князя Трубецкого, которые не входили, а врывались, как неприятели, Троицкими и Боровицкими воротами в Кремль. — Видишь ли, Юрий Дмитрич, как беснуются эти разбойники? Ну, походит ли эта сволочь на православное и христоролюбивое войско? Если б они не боялись нас, то давно бы бросились грабить чертоги царские. Посмотри-ка, словно волки рыщут вокруг Грановитой палаты.

В самом деле, своевольные казаки рассыпались по всему Кремлю, ломались толпами в дома боярские и, казалось, выжидали только удобной минуты, чтоб ворваться в царские палаты и разграбить казну, оставленную поляками.

Между тем Юрий и гражданин Минин, продолжая разговаривать друг с другом, подошли незаметно к церкви святого Спаса на Бору. В ту самую минуту как Милославский

поравнялся против церковных дверей, густые тучи заслонили восходящее солнце, раздался дикий крик казаков, которые, пользуясь теснотой и беспорядком, ворвались наконец в чертоги царские; и в то же самое время многочисленные толпы покрытых рубищем граждан московских, испуганных буйством этих грабителей, бежали укрыться по домам своим. Юрий невольно содрогнулся: в его глазах наяву повторялось то, что он видел некогда во сне, будучи гостем в доме боярина Кручины. Минин поспешил назад, на Соборную площадь, приглашая Милославского идти с ним вместе; но он не слышал слов его: какая-то непреодолимая сила влекла его ко храму Спаса на Бору. В растерзанной душе его стали пробуждаться одно за другим тысячи грустных воспоминаний. Несколько минут он колебался; наконец с трепетом переступил церковный порог. Все было тихо внутри; дневной свет, проникая с трудом сквозь узкие, едва заметные окна, боролся с вечным сумраком, который царствовал под низкими и тяжелыми сводами этого древнего храма, пережившего многие столетия. Ни одна свеча не горела перед иконами и только налево, за низкой аркою, отражался вдоль стены тусклый свет лампы, которая теплилась над гробом святителя Стефана Пермского.

Кто опишет горестные чувства Милославского, когда он вступил во внутренность храма, где в первый раз прелестная и невинная Анастасия, как ангел небесный, представилась его обвороженному взору? Ах! Все прошедшее оживилось в его воображении: он видел ее пред собою он слышал ее голос... Несчастный юноша не устоял против сего жестокого испытания: он забыл всю покорность воле Всевышнего, неизъяснимая тоска, безумное отчаяние овладели его душою.

— Злополучный! — вскричал он. — Для чего ты спешил погубить самого себя! Она твоя супруга, и ты не можешь, не должен называть ее своею... О Анастасья, Анастасья!..

— Что ты, Юрий Дмитрич? — сказал позади Милославского знакомый голос. Он обернулся и увидел подходящего Авраамия. — Что с тобою? — продолжал Палицын. — Ах, сын мой! Ты не для молитвы взошел в сей храм: эти блуждающие взоры, это отчаяние на обезображенном челе твоём... Нет, Юрий Дмитрич, не так молятся христиане!

— Отец мой! — вскричал Юрий. — Отец мой! Спаси меня!.. В душе моей весь ад... все мучения погибающего грешника!

— Что ты говоришь, сын мой? Какое преступление тяготит твою совесть?..

— Одна ужасная тайна!..

— Тайна?.. Для чего ж ты скрывал ее от меня? Разве я не пастырь, не наставник, не друг твой?

— Отец Авраамий! Я... женат.

— Женат! — вскричал Палицын. Он посмотрел молча на Юрия и повторил с негодованием: — Женат! Для чего же ты обманул меня, несчастный? И ты дерзнул в храме Божиим, пред лицом Господа твоего, осквернить свои уста лукавством и неправдою!.. Ах, Юрий Дмитрич, что ты сделал!

— Нет, отец мой! Я не обманул тебя: я не был женат, когда клялся посвятить себя безбрачной жизни, не помышлял нарушить этот обет, данный пред гробом святого угодника Божия, — и мог ли я думать, что на другой же день назову моей супругою дочь злейшего врага моего — боярина Кручины-Шалонского?

Удивление оковало уста Авраамия Палицына, но вдруг на лице его изобразилось живое сострадание; он взял Милославского за руку и сказал тихим голосом:

— Успокойся, Юрий Дмитрич! Я вижу, ты не совсем еще выздоровел.

— Ах, если б это была правда, отец мой... если б это был один бред!.. Так я открою тебе мою душу, послушай меня!

Юрий рассказал все отцу Авраамию, и когда он кончил, то этот добродетельный старец, заключа его в свои объятия, сказал сквозь слезы:

— Нет, Юрий Дмитрич! Ты не нарушил свой обет! Ты не клятвопреступник, точно так же как не самоубийца тот, кто гибнет, спасая своего ближнего.

— Но что же я?..

— Супруг Анастасии. Ты обещался быть иноком, но обряд пострижения не был совершен над тобою, и простой белец ты можешь, не оскорбляя церкви, возвратиться снова в мир. Ты не свободен более располагать собою; вся жизнь твоя принадлежит Анастасии, этой несчастной сироте, соединенной с тобою неразрывными узами, освященными одним из великих таинств нашей православной церкви.

Не смея предаваться радости, не веря самому себе, Юрий сказал дрожащим голосом:

— Как, отец Авраамий, я могу еще надеяться, что после данного мною обета?..

— Московские святители разрешат тебя от оно́го, — перервал Палицын. — Так, Юрий Дмитрич, я вижу ясно перст Божий, указующий тебе путь, по коему ты должен следовать. Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки — все, соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской. Ты пойдешь по стопам покойного твоего родителя, Юрий Дмитрич! Ты будешь твердейшим оплотом отечества против ухищрения и злобы домашних врагов наших; а что бы ты был, произнеся обет иночества? Отрекаясь мира, ты заключал еще в душе своей любовь мирскую. Что случилось бы с тобою, если б ты поколебался в своей вере? Если б, искушаемый земными помыслами, ты предался отчаянию и твой преступный язык произнес бы хулу на самого себя, стал бы проклинать?.. О, Юрий Дмитрич! От одной мысли застывает кровь в моих жилах!.. Благодарю Господа, что ты не произнес еще обета, которого разрешить не в силах вся власть человеческая!

С безмолвным восторгом слушал Милославский утешительные слова своего наставника.

— Безумный! — вскричал он наконец. — И я смел роптать на промысл Божий!.. Я могу назвать Анастасию моей супругою; могу, не отягчая преступлением моей совести, прижать ее к своему сердцу...

— Да, боярин! Пусть добродетельная супруга будет наградою за труды, понесенные тобою для отечества. Но где она теперь?..

— В Хотьковском монастыре, в котором игуменья родная ее тетка.

— В Хотьковском монастыре?.. Племянница игуменьи?.. Ах, Юрий Дмитрич! Для чего ты молчал? Если б ты знал?.. Но пойдём, поклонимся гробу преподобного Стефана Пермского.

Юрий вошел в северный придел, а Палицын приостановился, чтоб взглянуть, какие должно было сделать поправки в главном иконостасе, с которого были содраны все серебряные украшения. Милославский подошел к гробнице святителя и тут только заметил, что он и прежде был не один в церкви. Какой-то нищий стоял перед гробницею; длинные и густые волосы, опускаясь в беспорядке с поник-

шего чела его, покрывали изможденное и бледное лицо, на коем ясно изображались все признаки потухающей жизни. Услышав близкий шум, он повернулся лицом к Мирославскому, ласково протянул к нему иссохшую свою руку и произнес слабым голосом:

— Здравствуй, Дмитрич! Уж я ждал, ждал тебя! Насилу ты пришел!

— Это ты, Митя! — сказал Юрий. — Ах, Боже мой! Что с тобой сделалось? Бедняжка! Как ты похудел!

— Домой собираюсь, Дмитрич!.. Да и пора, голубчик, видит Бог, пора! Помаялся, пошатался лет пятьдесят по чужой стороне, будет с меня!

— А где твоя родина? — спросил Юрий, не понимая истинного смысла слов юродивого.

— Где моя родина? Чай, там же, где и твоя.

— Так поэтому близко отсюда?

— И близко и далеко: как пойдешь, голубчик.

— А! Теперь я понимаю, — сказал Мирославский, — ты говоришь не о земном своем отечестве и хочешь сказать, что смерть твоя близка. Почему ты это думаешь?

— И рад бы не думать, Дмитрич, да думается!.. Вот боярин Шалонский и гадать не гадал, а вдруг отправился, и как же?.. прямехонько туда, куда дай Бог попасть и мне, и тебе, и всякому доброму человеку.

— Что ты говоришь, Митя?

Кроткое небесное веселие изобразилось на лице юродивого, глаза его наполнились слезами.

— Да, Юрий Дмитрич! — сказал он прерывающимся от сильного чувства голосом. — Там, в горних селениях, не скорбят уже о заблудшем сыне: он возвратился в дом Отца своего!

— Так он покаялся пред смертью?

— И Господь отверз ему свои объятия. Я был свидетелем сего торжества милосердия и благодати Божией; я, презренный окаянный грешник, удостоился отнести дочери не тщетное, но святое благословение умирающего родителя.

Митя замолчал и, сложа крестообразно руки, устремил к небесам взор, исполненный любви, надежды и душевного умиления. Помолчав несколько времени, Юрий спросил робким голосом:

— Ты видел ее?

— Да, Дмитрич, видел. Я третьего дня был в Хотькове.

— Ну что?.. Говори, Митя! Здорова ли она?

— Слава Богу! Она мне все рассказала... Бедная, горемычная сиротинка! Пстой-ка! У меня есть от нее посылочка... На, возьми.

— Что я вижу! Мой обручальный перстень!

— Да, Дмитрич! Сегодня утром она обручится с женихом, который получше нас с тобою.

— Милосердый Боже!.. Итак, она...

— Успокойся, Юрий Дмитрич! — сказал Палицын, который, подойдя к Юрию, застал окончание этого разговора. — Анастасья не произнесет обета расстаться навсегда с тобою. Я должен был сегодня постричь ее и завтра поеду в Хотьковскую обитель, но не для того, чтоб разлучить тебя с супругою, а чтоб привести ее сюда и соединить вас навеки.

Юрий почти без чувств упал на грудь отца Авраамия, а Митя, утирая рукавом текущие из глаз слезы, тихо склонился над гробом угодника Божия, и через несколько минут, когда Милославский, уходя вместе с Палицыным из храма, подошли с ним проститься, Мити уже не было: он возвратился на свою родину!

Спустя недели три после описанного нами приключения Кирша, прощаясь с Алексеем, который провожал его до городских ворот, сказал:

— Поклонись, брат, еще раз от меня твоему боярину. Век не забуду его благодений! По милости его я могу теперь завестись своим домиком и жить не хуже всякого атамана.

— А на что тебе свой дом? Ведь вы, запорожцы, живете все вместе, как старцы в общине?

— Да кто тебе сказал, что я поеду жить в Запорожскую Сечь? Нет, любезный, как я посмотрел на твоего боярина и его супругу, так у меня прошла охота оставаться век холостым запорожским казаком. Я еду в Батулин, заведу также женою, и дай Бог, чтоб я хоть вполовину был так счастлив, как твой боярин! Нечего сказать: помаялся он, сердечный, да и наградил же его Господь за потерпенье! Прощай, Алексей, авось Бог приведет нам еще когда-нибудь увидеться!

Мы полагаем достаточным упомянуть только слегка о последствиях народной войны 1612 года, ибо уверены, что большей части наших читателей известны все исторические подробности этой любопытной эпохи *возрождения* России. Вскоре по взятии Кремля король польский пытал-

ся снова завладеть Москвою; но осада и отчаянная защита Волоколамска доказали ему, что он вторично не успеет обольстить русских. Простояв без всякой пользы над этим небольшим городом, он решил не ходить далее и бежал со всем своим войском назад в Польшу. По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств; наконец, Господь умилился над несчастным отечеством нашим: все несогласия прекратились, общий глас народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета, Михаила Феодоровича Романова, и в 1613 году, 11-го числа июля, этот юный царь, дед Великого Петра, возложил на главу свою венец Мономахов. Утвердив князя Пожарского в звании думного боярина, он осыпал милостями и наградами всех бравших участие в великом деле освобождения России. Старинные наши знакомцы, Замятня-Опалев и Лесута-Храпунов явились также ко двору; первый хотел было объявить свои права на заседание в царской Думе; но, узнав, что простой мясник Козьма Сухорукий наименован таким же, как он, думным дворянином, ускакал назад в свои отчины, повторяя с важностию любимое свое изречение: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Лесута-Храпунов, как человек придворный, снес терпеливо эту обиду, нанесенную родовым дворянам; но когда, несмотря на все его просьбы, ему, по званию стряпчего с ключом, не дозволили нести царский платок и рукавицы при обряде коронования, то он, забыв все благоразумие и осторожность, приличные старому царедворцу, убежал из царских палат, заперся один в своей комнате и, наговоря шепотом много обидных речей насчет нового правительства, уехал на другой день восвояси, рассказывать соседям о блаженной памяти царе Феодоре Иоанновиче и о том, как он изволил жаловать своею царскою милостию ближнего своего стряпчего с ключом Лесуту-Храпунова.

Наступил тридцатый год царствования Михаила Феодоровича Романова. Под кротким и мудрым его правлением Россия отдохнула от протекших бедствий, и гордящиеся своим просвещением народы Западной Европы начинали уже с приметным беспокойством посматривать на этого северного исполина, которому недоставало только Великого Петра, чтоб удивить вселенную своим могуществом и славою.

В одно весеннее утро, накануне Троицына дня, по ро-стовской дороге тянулись многочисленные толпы богомольцев. Граждане московские, жители низовых провинций и даже обитатели благословенной Украйны — все спешили на храмовый праздник знаменитой Троицкой лавры. Внутри ограды монастырской, посреди толпящегося народа, мелькали высокие шапки бояр русских; именитые гости московские с женами и детьми своими переходили из храма в храм, служили молебны, сыпали золотом и многоценными вкладами умножали богатую казну монастырскую. Среди множества этих усердных богомольцев отличались от всех, не столько одеждою, сколько бодрым и воинственным видом, украинские казаки, присланные с богатыми дарами от гетмана малороссийского. Их старшина, человек среднего роста, но, видно, еще в полной силе, обращал на себя более других общее внимание. Он осматривал с большим любопытством все ближайшие окрестности монастырские и показывал толпе, которая всюду за ним следовала, те места, на которых стояли некогда войска панов Сапеги и Лисовского.

— Здесь, — говорил он, — делали поляки подкоп; вон там, в этом овраге, Лисовский совсем было попался в руки удалым служителям монастырским. А здесь, против этой башни, молодец Селява, обрекши себя неминуемой смерти, перекрошил один около десятка супостатов и умер, выкупая свою кровию погибшую душу родного брата, который передался полякам.

В числе любопытных, которые окружали старшину, один молодой боярин, видный и прекрасный собою, казалось, внимательнее всех слушал рассказы старого воина. Он осыпал его вопросами, и когда старшина, увлеченный воспоминаниями прошедших своих подвигов, от осады Троицкого монастыря перешел к знаменитой победе князя Пожарского, одержанной под Москвою над войском гетмана Хоткевича, то внимание молодого боярина удвоилось, лицо его пылало, а в голубых, кипящих мужеством и исполненных жизни глазах изобразились досада и нетерпение бесстрашного воина, когда он слушает рассказ о знаменитом бое, в котором, к несчастью, не мог участвовать.

Служитель молодого боярина, седой как лунь старик, не спускал также глаз с рассказчика, который, обойдя кругом монастыря, вошел наконец в ограду и стал рассматривать надгробные камни.

— Над кем поставлен этот деревянный голубец? — спросил он у одного проходящего старца.

— Тут похоронен Борис Годунов, — отвечал хладнокровно инок.

— Годунов!.. — повторил старшина, покачав головою. — Думал ли он, когда под Серпуховом осматривал свое бесчисленное войско, что над ним поставят эту убогую деревянную часовню!..

Облокотясь на один высокий надгробный камень, казачий старшина продолжал смотреть задумчиво на этот красноречивый памятник ничтожества величия земного, не замечая, что седой служитель молодого боярина стоял по-прежнему подле него и, казалось, пожирал его глазами...

— Так! — вскричал, наконец, этот неотвязчивый старик. — Это он!.. Кирша!

Старшина вздрогнул и, взглянув быстро на служителя, спросил: почему он его знает?

— Ты уж не в первый раз не узнаешь меня, — отвечал старик. — И то сказать: век пережить — не поле перейти! Когда ты знавал меня, я был еще детина молодой; а теперь насилу ноги волочу, и не годы, приятель, а горе сокрушило меня, грешного.

— Да кто же ты?

— Алексей Бурнаш.

— Как! Служитель боярина Милославского?

— Что, брат, не верится?

— Нет, нет! Я начинаю узнавать тебя. Здравствуй, приятель! — продолжал Кирша, обнимая с радостью Алексея.

Между тем один пожилой купец и с ним молодой человек, во-видимому, сын его, подошли к надгробному камню, возле которого стоял Кирша, и стали разбирать надпись.

— Ну что, старый товарищ, — спросил Кирша, — как поживаешь? Да скажи, пожалуйста, кто этот молодой боярин, вон тот, с которым ты ходил и который меня так обо всем расспрашивал?

— Владимир Юрьич Милославский.

— Сын Юрия Дмитрича?

— Да, сын его.

— Ну, молодец! Вот таков-то был смолрду его батюшка — кровь с молоком! А что он поделывает? Где он? Здоров ли? Чай, устарел так же, как и ты?

Алексей взглянул печально на Киршу и не отвечал ни слова.

— Посмотри-ка, Ванюша, — сказал пожилой купец своему сыну, — оба в один день... видно, любили друг друга.

— Да что ж ты молчишь, — вскричал запорожец, — иль не слышал? Я спрашиваю тебя, где теперь Юрий Дмитрич?

В эту самую минуту молодой купец наклонился и прочел тихим голосом: *«Лета 7130-го октября в десятый день, преставися раб Божий болярин Юрий Милославский и супруга его Анастасия...»*

СОДЕРЖАНИЕ

А. И. АНТОНОВ
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ

3

М. Н. ЗАГОСКИН
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

321

*Александр Ильич
Антонов*
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ

*Михаил Николаевич
Загоскин*
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Редактор
И. Шурьгина
Художественный редактор
И. Марев
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректор
Л. Назарова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 27.06.95. Уч.-изд. л. 35,02.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г.Долгопрудный,
ул.Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

В книгу включены романы о трагических событиях в России в начале XVII в. Смутным назвали это время современники. На страну обрушились тяжелейшие испытания: голод 1601—1603 годов, восстания крестьян, Лжедмитрий I; боярский заговор и правление Василия Шуйского, крестьянская война, так называемая семибоярщина, захват Москвы польскими интервентами. Казалось, что наступает погибель земли русской, но, как неоднократно было в нашей истории, отчизну спасает сам русский народ.

В романе А. И. Антонова «Великий государь» в центре повествования личность патриарха всея Руси Филарета, в миру боярина Федора Романова, отца Михаила — первого русского царя из рода Романовых.

Роман известного русского писателя М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» дает возможность современному читателю взглянуть на события Смутного времени глазами россиянина XIX столетия.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах